

АНДРЕЙ САХАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ [3]

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



АНДРЕЙ САХАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ [3]

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



# АНДРЕЙ САХАРОВ

собрание сочинений

составитель  
елена боннэр

# АНДРЕЙ САХАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ [3]

елена боннэр  
постскриптум.  
книга о горьковской ссылке

андрей сахаров  
горький, москва, далее везде

МОСКВА  
2006



ББК 63.3(2)

С22



**Издательство выражает благодарность  
Анатолию Борисовичу Чубайсу  
за поддержку в издании собрания сочинений**

дизайн, оформление  
Валерий Калныньш

**Андрей Сахаров**

С22 Воспоминания. Т. 3. — М.: Время, 2006. — 944 с.; илл. — (Собрание сочинений)

В первое собрание сочинений академика Андрея Дмитриевича Сахарова (1921–1989) входят сборник статей, писем, выступлений и интервью «Тревога и надежда» (в двух томах), «Воспоминания» (в трех томах), а также впервые публикующийся роман-документ «Дневники» Андрея Сахарова и Елены Боннэр (в трех томах).

В настоящий том включены книга Елены Боннэр «Постскриптум», подробно и ярко повествующая о перипетиях горьковской жизни, о голодовках, насильственных разлуках, судебных преследованиях, а также завершающая книга воспоминаний Андрея Сахарова «Горький, Москва, далее везде» — об участии в бурных событиях перестройки.

ISBN 5-94117-162-5 (общий)  
ISBN 5-94117-165-X (т. 3)



© А. Д. Сахаров, наследники, 2006  
© Е. Г. Боннэр, 2006  
© Е. С. Холмогорова, Ю. А. Шиханович,  
комментарии, 2006  
© «Время», 2006

**АНДРЕЙ САХАРОВ  
ТРЕВОГА И НАДЕЖДА**

**(СТАТЬИ, ПИСЬМА, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ИНТЕРВЬЮ)**

**ТОМ 1**

**ТОМ 2**

**ВОСПОМИНАНИЯ**

**ТОМ 1**

**ТОМ 2**

**ТОМ 3**

**АНДРЕЙ САХАРОВ, ЕЛЕНА БОННЭР  
ДНЕВНИКИ**

**ТОМ 1**

**ТОМ 2**

**ТОМ 3**



**[3]**

**елена боннэр**  
**постскриптум.**  
**книга о горьковской ссылке**

**а ндрей са харов**  
**горький, москва, далее везде**





**елена боннэр**  
**постскриптум.**  
**книга о горьковской ссылке**

*Посвящается Андрею*

Мы снова в Горьком. Свободны приехать сюда и свободны уехать. За несколько дней до отъезда из Москвы друзья из США сказали по телефону, что книга, которую я писала в Америке, отрывая время от общения с мамой, детьми, внуками, в перерывах между операциями, поездками по стране, встречами, собраниями, выступлениями, за которую мне стыдно, потому что я отчетливо ощущаю ее торопливость и неприбранность, книга эта осенью наконец-то будет издана на русском языке и меня просят написать к ней нечто вроде предисловия, какое-то дополнение, связующее ее, как я понимаю, с сегодняшним днем<sup>1</sup>.

Но как связать несвязываемое, несовместимое? У меня сегодняшней совсем другое мировидение — не оптимистичней, не пессимистичней, но другое. Я как будто смотрю на все совсем с другой точки: то ли поднялась выше, то ли спустилась — только все сместилось, и очертания всего (и видимого, и невидимого) совсем другие.

Нет, все же не все сместилось. Кое-что и осталось. Вот, например, погода. В Горьком она всегда была и есть не по мне. А сейчас она такая, будто это не конец апреля, а глубокая осень, начало зимы. Температура то минус 3, то плюс 3, но от этих «плюс» и «минус» она не становится лучше. Главный метеоролог

телевидения (человек, известный в лицо не меньше, чем генеральный секретарь, ведь люди на всех континентах почему-то больше всего интересуются погодой) вчера сказал, что такой, с позволения сказать, весны не было уже целых сто лет и в Армении сто лет не было таких морозов, а вокруг Читы — таких лесных пожаров. Ничего хорошего на ближайшее время он не обещал. И сегодня в «цветущей Грузии» снегопад и метели. На экране дают кадры цветущих садов, потом наплыв и крупный план: видно, что каждый цветок как бы облит стеклом — все замерзло, а на земле сплошной снежный покров. Весна!

Я вижу, как прохожие вытягивают из луж ноги и на обуви у них — пудовые комья грязи. Ветер клонит верхушки деревьев. С тусклого неба падает снег с дождем, бело-грязными пятнами лежащий на поверхность, которую и землей назвать язык не поворачивается. Семь лет назад, глядя на эту грязь, я написала в письме к Регине: «Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, только мусор и г...о, лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны — представители страны». Что изменилось? Нет топтунов. Куда делись эти без малого полсотни молодых, здоровых красавцев, денно и ночью семь лет державших фронт против нас — двух старых, больных, оторванных от всего мира? Семь лет! Я, привыкшая долгое время мерить на войну, только диву даюсь: ведь это же почти две Великих Отечественных! И вдруг — буквально вдруг — после звонка Горбачева их не стало, сдуло как пыль ветром. Где они теперь? Каким созидательным трудом заняты? Куда их занес ветер перестройки? Или, может, они все еще держат

оборону против нас, но уж теперь как «бойцы невидимого фронта»? Их не видно, а вот грязь — она осталась. За эти годы ее обложили со всех сторон бетонными глыбами, напоминающими надолбы, и в одном месте проложили асфальтовую дорожку. Но суть этого пространства осталась прежней. Возможно, здесь когда-нибудь возникнет сад. Как писал когда-то Марк Лисянский, «...и на Марсе будут яблони цвести».

Я обозначила время и место — и теперь мне надо вернуться в июнь прошлого года. Я прилетела в Москву в сопровождении двух конгрессменов, Барни Франка и Дана Лангрена, и двух наших молодых друзей, Боба Арсенала и Ричарда Соболя, так почеловечески волновавшихся: вдруг меня плохо встретит отечество.

Москва, в лице своих таможенников, под взорами американских, английских, французских, итальянских и других дипломатов приняла меня, ничем не выделив в потоке других пассажиров. За кордоном ждали несколько друзей (одного из них успела-таки замести милиция, правда ненадолго). Милиционеры, бессменно дежуривших в машине у подъезда и на лестничной площадке дома на улице Чкалова с 20 мая 1983-го — три года с небольшим, — не было, хотя еще за два часа до моего прибытия они были. Мои американские провожатые — все четверо — спокойно вошли в дом вместе со мной. А мы так готовились к тому, что их не пустят... Они знали, что по поручению посла США в каждый мой приезд из Горького — до апреля 1984 года, пока я еще имела возможность приезжать, — сотрудники посольства безуспешно пытались пройти ко мне. Я рассказыва-

ла им, что вначале пост был только днем, но потом стал круглосуточным, что в долгие месяцы моего отсутствия они продолжали нести свое дежурство и даже поставили на площадке раскладушку, чтобы по очереди спать. А раньше они пускали ко мне людей только по предъявлении паспорта, всех приходивших заносили в какие-то списки и ни разу не пустили ко мне ни одного иностранца. Я почувствовала себя вроде как обманщицей — вот наговорила: милиция, пост, слежка, Бог знает что, а ничего этого нет. Барни Франк и Дан Лангрэн вскоре ушли: им надо было отдохнуть, наутро они улетали домой. А у меня собралось несколько друзей. Я чувствовала себя усталой, надо было сделать еще много, и я заранее боялась, как наберусь сил.

Я решила, что пробуду в Москве дней 5—6. Меня раздирали противоречивые чувства: нестерпимо хотелось к Андрею, и я совсем не была спокойна за детей, ведь и им эти месяцы моего пребывания в Америке нелегко достались. Наутро — солнце и сверкающее небо, потом июньский дождь, так счастливо звенящий, ударяя в стекло окон и подоконники, а я совсем в депрессии и уже не хочу и не могу что-то делать. Скорей за билетом, затем дать телеграмму в Горький. Ведь к делам можно вернуться и потом.

В скоропалительном моем отъезде, кроме того, что хотелось к Андрею, что не могла ни за что взяться, сыграло свою роль и отсутствие милиционеров, какая-то иллюзия свободы.

Еще из окна поезда я увидела Андрея, он показался мне растерянным и одетым как-то нелепо. И эта растерянность и нелепость были такими своими. Носильщика не было. Андрей ска-

зал, что он пытался найти, даже разговаривал с одним. Тот объяснил, что им не велели обслуживать пассажиров из одиннадцатого (моего) вагона: «Там кто-то из Америки приехал, так вот нельзя». Андрей схватился за чемоданы, но я рявкнула на весь вагон, что если они хотят (они — это «они»), чтобы он, дождав-шись меня, умер, таская какое-то дерьмо, то пусть они и пода-вятся моими чемоданами. «Пошли». И мы вышли на вокзальную площадь и сели в нашу машину. Рядом, задним стеклом к нашему ветровому, стоял какой-то фургон, вроде санитарного, и оттуда, раздвинув шторы и ничуть не стесняясь, нас начали снимать. Все стало на свои места. Ко мне вернулось реальное представле-ние о действительности. И мы взахлеб начали разговор, который продолжался, с перерывами на сон, не одну неделю. Так мы сто-яли, то есть машина стояла, а мы-то сидели, поболее часа, потом к нам подошел какой-то железнодорожник и позвал опознавать вещи, которые ему якобы сдали как забытые. Видимо, обыск кончился. Я не пошла. Опознавать вещи, которые он никогда не видел, пошел Андрей, ведь все это была игра. Еще минут через сорок очень вежливый носильщик привез багаж. И мы поехали домой. Где мы — там и дом!

Через день меня вызвали в ОВИР. Там потребовали сдать за-граничный паспорт. Я сказала, что он в Москве. Они не верили, но это было уже их дело. Еще я получила там вроде как нагоняй за то, что была во Франции и Англии, что-то не больно вежливо ответила, и мы — я и это учреждение — вполне благополучно на этот раз расстались. Потом был вызов в районный ОВД. Быв-ший капитан, ныне подполковник (теперь, может, и полный



полковник?) Снежницкий обстоятельно мне разъяснил, что все дни моего отсутствия из Горького будут приплюсованы к сроку моей ссылки — видимо, только теперь, постфактум, они решили, по какому из возможных способов меня выпускали, и оформили как приостановку действия приговора. Мне выдали новое удостоверение ссыльной — старое ведь осталось в Москве, в ОВИРе СССР — и назначили дни явки на отметки. Итак, путешествие благополучно окончилось. Осталось только получить багаж на московской таможне. Но и об этом они позаботились. Я получила телеграмму со склада горьковского аэродрома, что должна явиться за багажом, и... не явилась. Последовала еще телеграмма, потом еще и еще, потом с угрозой, что багаж будет реализован «в соответствии», а вот с чем — не помню. Потом багаж привезли домой (без таможенного досмотра?). Мы сказали «спасибо», но за хранение (что-то около двадцати рублей) я платить отказалась. Я полагала, что раз багаж был послан в Москву, то там я и должна его получить, а все, что не входит в мои планы, не должно идти за мой счет. Мы напаковали более двадцати посылок, многие в Москву (вот они, встречные перевозки, загружающие транспорт), — и разослали подарки.

И пошла наша обычная жизнь. От прежней она отличалась тем, что раз в месяц нам звонили мама и дети. Нас вызывали на почту (ту самую, где снимали для фильмов Виктора Луи). Разговор всякий раз прерывался, как только дети нам или мы им пытались сказать о чем-нибудь, кроме здоровья, погоды или рецептов тех блюд, которые я стряпаю. Все более или менее содержательное сразу вырубалось. Техника! И еще наша жизнь отли-

чалась отсутствием напряжения. Все предыдущие годы мы жили то в состоянии предборьбы, то борьбы — за Лизин отъезд, за госпитализацию Андрея в больницу Академии наук, за мою поездку. Сейчас этого не было.

Стояло лето. Мы ездили по своему разрешенному кругу, как белки в колесе. Я терла витамин из смородины и варила варенье — много, чтобы хватило на всю долгую зиму. Слушали радио, по-прежнему чаще у кладбища. Так и называли его — «наше кладбище», и мне казалось, что оно и будет нашим. Ни с кем ни разу не разговаривали. Никого не видели, кроме прохожих на улице да вечных, казалось, своих топтунов. А они за эти годы если не состарились, то тоже как-то отяжелели, заматерели на своей безработной работе.

Все это время я очень много читала. Андрей сохранил все «Литературные газеты» за те месяцы, что я отсутствовала. Очерки и статьи о судах, Чернобыле, дискуссии о театре, съезд кинематографистов, съезд писателей, обещания всех редакторов всех толстых журналов напечатать Набокова, Ходасевича, Бека, Пастернака, Нарбута, уже опубликованная «Плаха», «Карьер», Астафьев. Я как будто вернулась в какую-то новую для меня страну (правда, это касалось только печатной продукции — остальное-то было как раньше). К моменту начала подписки на 1987 год я составила грандиозный список. Получалось, что надо выписывать все журналы, даже «Огонек», который мы сроду не читали. Это в нашем затворничестве обещало какую-то новую жизнь. Прямо-таки «вита нуова». Я не очень-то понимала, что означает слово «перестройка» для всей страны в целом (да и сей-

час понимаю не больше), но что будет, что читать, — в это поверила сразу.

В конце лета мы были в кино. Смотрели прекрасный французский фильм «Бал», а в ноябре выбрались на фильм Лопушанского «Письма мертвого человека». Потом как-то сразу ударили морозы, и я намертво закупорилась в доме, но предвидела войну нервов с районным ОВД за мои явки (верней, неявки) на отметку. Я еще в октябре подала заявление туда, что не смогу во время морозов являться на отметку, так как после операции на сердце мне запрещено выходить на улицу при температуре ниже 9 градусов. Ответа я не получила.

В октябре мы один раз услышали по радио, что Толя Марченко с 4 августа держит голодовку. Больше ничего услышать не удалось. Мы все время напряженно ждали известий, волновались. Я без конца мучила приемник, но по радио почти ничего не было — значило ли это, что и в Москве нет никаких известий? А в конце ноября услышали, что Ларису вызывали в КГБ и предложили уехать из страны — мы так поняли, что вместе с Толей. И тут на нас, на меня больше, напала эйфория, как будто он уже освобожден, уже они уезжают. Я послала Ларисе открытку — радостную, с приветами. И каждый вечер, крутя ручку приемника, ждала сообщений об их отъезде. Но 9 декабря в 23 часа 45 минут по радио Франции услышали: умер. Умер Толя Марченко. И Лариса с детьми уехала туда, в Чистополь.

Невозможно было поверить. Невозможно слушать. Невозможно оторваться от приемника. Ничего невозможно сказать. И хочется кричать — нет, нет, нет! И мы молчали и плакали.

И мне почему-то в эти часы и дни вспоминался Толя — только веселый, только счастливый. Как он пришел к нам поздно вечером, почти ночью, в гостиницу в Сухуми — мы там отдыхали, а они только что приехали из Чуны. Кончилась его ссылка. Лариса осталась укладывать детей, а Толя пришел к нам. Мы ели арбуз каких-то невероятных размеров. И Андрей доказывал Толе, что ему надо уезжать, а Толя утверждал, что это не для него. Андрей, обычно как никто способный прислушиваться к доводам оппонента, на этот раз был неукротим, почти агрессивен, но спорить с Толей — это уже бессмысленная работа. И хоть спор шел серьезный, но было все так весело, как бывает, наверно, только когда человек освободился.

А еще раньше! Веселый, молодой Толя — счастливый папа с младенцем на руках, приехал из Карабанова и скрылся с Андреем где-то в комнате. Таня, у которой шли последние недели перед родами, лежала в кухне на диванчике, а Пашка ползал по ее животу и улыбался беззубым ртом. Почему такое лезет в голову — ясное, беззаботное? И теперь это известие. Мне трудно писать слово «смерть». Каждый вечер мы слушали радио, ловили все, что говорилось о Толе, и не верили, что это случилось.

Через два или три дня по телевидению днем по учебной программе шла пьеса Радзинского «Лунин, или Смерть Жака». Я не могу объективно судить о пьесе. Нас тогда потрясали параллели. Особенно то место, где говорится: «Хозяин думает, что раб побежит, но он (подразумевается Лунин) не раб и не бежит». Я передаю не дословно, мне бы теперь эту пьесу глазами прочесть, но тогда я восприняла спектакль как передачу о Толе.

А спустя какое-то время Андрей упомянул эту пьесу в каком-то интервью, где говорил о гибели Толи, и некий досужий журналист (не знаю, русского происхождения или нет) перепутал Лунина и Ленина и написал, что Сахаров оскорбил память Марченко, сравнив его судьбу с судьбой Ленина.

В начале осени Андрей получил странное письмо от редактора журнала «Новое время», в котором предлагалось выступить на страницах этого журнала по вопросу ядерных испытаний. Андрей оставил это письмо без ответа. В ноябре Виталий Лазаревич Гинзбург написал, что «Литературная газета» хотела бы взять интервью у Андрея и если Андрей согласен, то корреспондент газеты приедет в ближайшие дни вместе с физиками Теоротдела. Это, видимо, означало, что и физики, не бывавшие в Горьком с мая, собираются приехать. Андрей Виталию Лазаревичу написал, что он не будет давать никаких интервью «с петлей на шее» (вот и Фучика вспомнили). И мы думали, что вопрос приезда и корра, и физиков отпал. А в это время по ФИАНу водили корреспондента журнала «Штерн», показывали комнату, где работал (и будет!) Сахаров, говорили, что ждут его приезда со дня на день. Но мы узнали это уже в Москве.

Наше возвращение. Его описали, кажется, все корреспонденты, аккредитованные в Москве, показали десятки телекомпаний. Я не буду с ними состязаться. А мы? Были ли мы счастливы? Про себя — я не знаю. Конечно, это хорошо — вернуться домой. Но сколько труда надо приложить, чтобы почти вконец разрушенное помещение вновь стало домом; а я не то что стала барыней, но после операции начала бояться большой физиче-

ской нагрузки. Я вдруг ощутила странную комфортность здешнего — горьковского — нашего уклада, когда жизнь от тебя ничего не требует, кроме: немного повозиться на кухне — всего-то еды на двоих, немного постирать, кое-как прибраться. А остальное — твоя воля. Можно читать, а можно и нет, можно одеться и выйти из дома, а можно никогда не вылезать из халата. И главное — никакой ответственности. Ну что я могу решить о маме? Ясно ведь, что нельзя тащить ее сюда, под арест, — значит, она будет у детей. Чем я могу помочь детям? Ничем! Впрочем, я все равно ничем не могу им помочь, сколькими бы параметрами свободы я ни обладала, как на самом-то деле и любые родители любимым взрослым детям. Ответственность перед временем и людьми, перед друзьями? Но о чем может идти речь, когда соприкосновение со всем миром может быть только через нашу собственную вохру.

Я вспомнила смешной (страшный?) давнишний разговор двух мальчиков, тогда восьмиклассников, — моего Алешки и его школьного приятеля. Алешка говорил: «Хорошо, что Хрущев освободил и реабилитировал тысячи людей, что они смогли вернуться домой, к семьям», а Павлик (я забыла его фамилию) не соглашался: «Они уже там привыкли». Подразумевалось: в лагере, в ссылке, на вечном поселении. Так вот, я уже привыкла — в Горьком и без ответственности! Сама просится цитата: «Привычка свыше нам дана», — и уже звучит эта навязчивая мелодия.

А вместе со свободой пришло, прямо навалилось. Мы дома, но за несколько дней до этого умер Толя. Друзья в Перми, Мордовии, Чистополе, ссылке. Десятки, нет, сотни людей, которые

приходят, приезжают Бог знает как издалека к Андрею, хватаясь за него как за последнюю надежду в своих бедах, и считают, что он должен (это бы еще куда ни шло) и, главное, может им помочь. А письма? Ежедневно 20, 30, 40. Я не успеваю их распечатать и прочесть, только малую часть подсовываю Андрею, а он сердится, потому что у него ни минуты на них. А уж отвечать совсем некогда — ни мне, ни, тем паче, ему. И хамство неотвечания гнетет меня постоянно. А на некоторые письма просто хочется ответить. Но когда? Телефонные звонки. Я пытаюсь ввести их в русло: сказала друзьям, что звонить можно только с 11 утра до 16 и вечером с 8 до 11, но звонят не только друзья, звонят со всего мира. И им не укажешь время, и они постоянно забывают, что есть часовые пояса, что у них, может, день, а у нас глубокая ночь. У меня постоянно что-то горит на кухне или в ванной через край переливается вода, и мы вечно ходим с головной болью от ночных телефонных побудок — прямо как по тревоге поднимают и в три, и в четыре, и в пять утра. Выключить телефон боюсь, ведь может быть что-то действительно нужное, может, мама, дети, кто-то заболел, узники совести.

Андрей говорит, что ничем не должен заниматься, кроме их судьбы, но это только слова. А на самом деле интервью разные, в том числе и неопубликованное — «Литгазете». Ему писать, потом вместе печатать и перепечатывать. А Форум? Помимо того, что надо было подготовить тексты трех выступлений, но еще до его открытия сколько разговоров, предупреждений, объяснений — это все с друзьями, — сколько нервов и времени. А бесконечные просьбы знакомых, друзей и незнакомых выступить в за-

щиту (чаще всего просьбы помочь с выездом). У всех многолетние отказы, сломанные судьбы — и обида на Андрея. Непонимание того, что помочь он не может и что заключенные — все-таки главная проблема и главная беда. Сколько уже обид было за эти месяцы — тоже и нервы, и время, и больно.

Радость, что освобождено более ста человек, — и сразу глубокое разочарование от унижительных требований каких-то (пусть формальных) покаяний<sup>2</sup>. В чем? И все застопорилось. Ведь было официально объявлено, что будут освобождены сто пятьдесят человек и потом еще столько же. Где же они? И когда наступит это «потом»?

А бесчисленные телеграммы — то в ссылку какому-нибудь официальному лицу, где плохо с кем-то из осужденных, то главврачам психбольниц, то высокому начальству о больном заключенном, которого давно пора освободить, но дело стоит на мертвой точке. И так каждый день: кто-то приходит, куда-то пишем, что-то надо делать, может даже совершить какой-нибудь «культурный» поход — в кино, в концерт или в театр. Нормальная человеческая жизнь почему-то становится нам совсем недоступной.

А венец моих личных мучений — это телефонное общение с московскими корреспондентами. Андрей совсем не переносит таких нагрузок, и оно целиком ложится на меня. Когда им сообщаяешь об освобожденных, они еще способны понять. Но как только об аресте, голодовке, тяжелобольных, погибающих в лагере, о психбольницах и положении их узников — обязательно на радио все звучит неверно, да еще с пространством коммента-



рием, в котором зачастую мне приписываются слова, которых я сроду не говорила. Я снова на телефоне, снова слушаю радио и часто снова слышу совсем не то. Постоянный вопрос: где, на каком этапе все принимает вид, только отдаленно напоминающий переданную информацию? Я никогда не могла получить на него ответа. И изо дня в день это общение по телефонам — как разговор глухих. Я им про наши волнения за кого-то, а они мне встречный вопрос «про перестройку». «Да не знаю я ничего про нее, кроме того что вышли на экран несколько фильмов, где-то идут какие-то «очень смелые» пьесы, а в журналах и газетах столько интересного, почти как в лучшие годы самиздата». И главное: «Сто человек дома (в том числе и мы)». — «Мало это или много?» — «Мне? Мало, плохо, мне надо, чтобы все узники совести были дома, и для страны позорно, если в ней объявлена перестройка и время гордо называется революционным. А насчет фильмов и чтения мне достаточно, я и так не успеваю ни прочесть, ни посмотреть и жду не расширения круга чтения, а того, что было уже обещано: пересмотра уголовного законодательства и отмены статей 70-й и 190-й». — «Чего-о-о?» — удивляются на том конце провода.

И, так вот всласть наговорившись с кем-нибудь из корров, я, как цепная собака, бросаюсь на друзей, появляющихся в доме с «новостями» из радио, и с трудом удерживаю себя, чтобы не облаять заодно и незнакомых. И с тоской вспоминаю бездумные, кажущиеся бессмысленными долгие горьковские вечера у телевизора — наш отдых и совершенная близость, какую бы чушь мы ни смотрели. Я для приличия (а то стыдно перед

самой собой) что-нибудь шью-штопаю совсем ненужное. Таких вечеров в Москве уже нет и не будет. Мы даже умудряемся пропускать (в доме люди) какие-то абсолютно обязательные вещи.

Ну вот я и нажаловалась на наше освобождение. Но на самом деле — это все же перекося. После возвращения в Москву я перестала замирать от ужаса при мысли, что я буду делать, если у Андрея станет плохо с сердцем, или мозговые спазмы, или еще что-нибудь, столь же далекое от педиатрии, как его возраст от счета на дни у новорожденного. Он говорит, что испытывал то же самое в отношении меня. Ведь мы зареклись от горьковской медицины. И не этот ли зарок продлил нам жизнь?

Раньше, каждый раз выходя на улицу, я внутренне сжималась (иногда до реальных сердечных спазмов, и мне нужен был нитроглицерин) только от мысли, что я опять как препарат на предметном стекле, что меня снимают и будут разглядывать и демонстрировать всему миру<sup>3</sup> и я ничего не могу сделать против этого, ну разве только запереть себя в четырех стенах. (Позднее добавление: оказывается, и в стенах снимали, как? — не знаю; но миру показывали кадры, где я полуодетая что-то делаю на кухне.) Отсутствие этого киномучения — тоже глоток свободы.

Месяцами мы были насильственно разлучены и мучились от незнания того, что происходит с другим из нас. Месяцами не сказали слова кому-нибудь, кроме как друг другу. Правда, в эти годы мы выяснили свою абсолютную совместимость. Андрей шутит, что нас теперь можно запустить в космос.

Возвращенная возможность общения с людьми — радость, ничем не заменимая. Правда, иногда его столько, что уже не получается контакта и все общение — это скольжение по поверхности. Иногда даже думаешь, что общения столько, что надо бы, надо чуть-чуть поменьше — чтоб не передать. Сколько друзей, сколько людей с Запада прошли за эти месяцы через наш дом — невозможно сказать: счет идет на сотни. Сколько я ватрушек напекла и сколько заварила чаю! И сколько удовольствия — кормить, поить друзей! Теперь на основании вполне достаточного статистического материала могу твердо сказать, что в мире что-то изменилось: Запад стал предпочитать чай, а кофе — это так, баловство для друзей!

По ночам, когда уже перемыта посуда и голова раскалывается от разговоров, в которых бесконечные «про» и «контра» (ох, этот московский разговор ночью на кухне, высшая точка духовной жизни столицы и предмет зависти всех перебивавших на этих кухнях иностранцев!), я слабо вякаю Андрею, что надо бы вести дневник (кражи дневников и архивов отвадили Андрея от этой потребности), ведь не упомнишь всех и все разговоры, но вижу, как он шатается от усталости, и замолкаю.

Теперь может быть решен вопрос о возвращении мамы. Семь лет она прожила в США в беспокойстве за нас и тревоге от неустроенности и неполадок в жизни детей. И не дома, и не в гостях, и это в ее возрасте! Стала ли я ближе детям? Доступней стал телефон, а он, как известно, враг писем, они совсем перестали нам писать, а я им. И их жизнь так же непостижима для меня, хотя и был шестимесячный период моего соприсутствия

в ней. Но было счастье — чудо приезда Алеши через девять лет<sup>4</sup>, трудные и радостные дни с ним. Собственно, этих десяти дней как не было, нам на общение оставались только ночи. А он был такой усталый, напряженный, глаза внимательные, но несчастливые. Видел ли это кто-нибудь, кроме меня?

Мне всегда эмиграция казалась невероятно трудным процессом, на грани человеческих сил. И уж если эмигрировать, то не для того, чтобы «спасти Россию», а для себя. Моим детям такое было невозможно в силу нашей (Андреевой) судьбы и — если мне простят такое слово — миссии, их полной связанности с этим. Каждая моя поездка на Запад (общения были и с теми, у кого удачно сложилась судьба там и у кого не сложилась) эту мысль только укрепляла. Были ли мы правы, настояв на эмиграции детей? Вспоминаю слова Генриха Бёлля. Он в разговоре с Андреем сказал (речь шла о немцах, выехавших из СССР в ФРГ): «У нас жить трудно, у вас невозможно».

А сейчас жду Таню, которая должна привезти бабушку, и мечусь между надеждой и опустошающим «нет», которое ничего не стоит сказать всесильному ОВИРу. А почему все-таки? Ведь вроде как новый закон и «новое мышление». Кто бы растолковал, что же это все-таки такое, если по-новому мыслить должны все те же старые начальники, давно притершиеся к своим креслам? Вот и Литвиновых, наконец, пустили повидать детей. И никто (но это уже другая тема) вокруг не сомневается, что съездят и вернуться. А мои поездки всегда вызвали столько осуждений и объяснений. Однажды даже Таня Великанова на аэродроме

шепнула мне: «Только, пожалуйста, возвращайся». Видимо, есть во мне что-то, что вызывает сомнение не у «них», Бог с ними, а у хороших людей. А может, это и не во мне, а в моем положении «жены академика»?

Но сейчас, перед приездом Тани, тот же вопрос, что давил отсутствием ответа, когда в Москве был Алешка. Эмиграция? Дети — эмигранты, от этого уже не уйти. Правильно ли это? И хоть бы дети детей не были эмигрантами! Дело ведь не в формальном — все они давно граждане США, — а во внутреннем. Эк куда меня занесло — в проблемы эмиграции. Пишу о том, что даже с Андреем никогда не обсуждала.

Эта страница была написана 28 апреля, а 30 апреля (не раньше и не позже, как в канун праздничных, нерабочих дней, что очень типично) начальник Московского ОВИРа С. И. Алпатов сказал по телефону Андрею, что в визе Тане отказано. Никаких объяснений, только: «Не сочтено возможным». Потом последовали многие телефонные разговоры с более высоким начальством, не разговоры, собственно, а очередное объявление войны. Потом начальник всесоюзного ОВИРа Кузнецов заявил: «Московские товарищи не разобрались». В контексте это выглядело как обещание разобраться. И вечером звонок из КГБ Горского: «Рудольф Алексеевич (это Кузнецов) лично попросил передать, что вопрос решен положительно, ранее вас неправильно информировали». Что это было? Вроде как и не было — все ведь без документов, только на словах. Игра, трепка нервов, некомпетентность или чья-то надежда, что у Андрея изменился характер и он смолчит?

Параллельно шли переговоры о поездке Аси Великановой<sup>5</sup> на лечение по вызову родного брата. Тоже несколько раз Андрею говорили какие-то пустые слова вроде «Вопрос решается» и еще что-то. Потом был отказ. Снова разговоры, уже на более высоком уровне. И в тот же день, что и Тане, на несколько часов раньше — положительный ответ после долгой трепки нервов тяжело, безнадежно больному человеку и ее близким. Получается, что на эту машину (это не только ОВИР) обязательно надо давить, так вот всегда и идти «стенка на стенку», а без этого даже ничемную бумажку служащие этой системы не напишут.

Эта короткая и благополучно вроде бы закончившаяся история в очередной раз была для меня холодным душем во всех моих раздумьях об эмиграции. И все же сомнения мои со мной. А чтобы не было очень грустно от них, можно вспомнить старый анекдот: «Ехать — не ехать? Брать зонтик — не брать зонтик?».

В Горьком почти три недели мы складываем вещи, чтобы отправить их в Москву. Просто поразительно, до чего человек умеет обрастать барахлом — как маленький снежок из мокрого первого снега: его сомнешь в ладошках, налепишь еще, а покатишь по земле — и вырастет огромное, круглое тело снежной бабы. Когда в январе 1980 года Андрей позвонил из прокуратуры и сказал, что его отправляют в Горький, но я могу поехать с ним, мне понадобился только один час и всего две дорожные сумки, чтобы быть готовой отправиться хоть на край света. А теперь! Андрей напакоевал уже 14 ящичков (28 кг каждый — взвесили!) одних только бумаг — все препринты. Невероятный труд —

каждый препринт просмотреть и решить: взять (куда — домой или в ФИАН) или выбросить?

Я разбирала письма — их больше четырех тысяч — вроде как своеобразный итог семи лет, небольшие стопки писем от друзей, мамы, тонюсенькая от детей. И ящики ругани, море злобы и лжи, в котором нет-нет да и выплеснется чье-то доброе слово. Спасибо тому, кто его написал. А книги — набралось за эти годы под тысячу томов, и журналы. Где только потом мы их разместим? Да, я умудрилась так поверить в постоянность нашей жизни до самого конца в Горьком, что купила два шкафа, письменный стол, книжные полки и еще много разных мелочей, создающих видимость прочного уклада и какой-то свой мир, уют. И невероятная какая-то жадность, что ли, — выбросить жалко, — и кажется, что все это не надо.

Я написала эти странички, выплеснула на них свои сегодняшние заботы. Завершила ими нашу горьковскую жизнь. Еще говорят: подвела черту. И впрямь, жизнь невидимыми линиями разделяется на какие-то фрагменты, как стоп-кадры: мое детство, моя юность, моя зрелость и мой закат. Мысленно пытаешься их проследить. Неужели это действительно была я? Чем же все это скрепляется? Как получается моя жизнь? Одна! И в единении со всеми, кого люблю.

Когда я писала книгу, мне казалось (и сейчас кажется) самым важным быть самой собой, не казаться ни лучше и ни хуже, ни злей и ни добрей, ни умнее и ни глупее, чем я есть. Я знаю, что мой рассказ может быть интересен людям не сам по себе, а потому, что я живу рядом с Андреем. И в этом нет ни капли самоуни-

чижения. А он часто говорит, что я должна написать книгу о своей семье и своей жизни до него — без него. А была ли она тогда? И когда он говорит «должна», то забывает, что мы с ним сами завели установку «никто никому ничего не должен». Мне думается, что судьба моих близких и моя вполне банальны — не в плохом смысле этого слова, а как нечто типичное для среды, в которой я выросла, и времени, в котором жила. Я, естественно, должна когда-то покинуть этот мир. У меня все еще не появилось страха за свою жизнь: может, 64 — еще не возраст. Но я страшусь той боли, которую мой уход принесет детям. И если я когда-нибудь возьмусь за книгу о себе, то только в надежде, что она сможет смягчить им утрату.

После выхода книги в США я получила много писем. Они были очень теплыми, дружескими. Правда, меня ругали за то, что мой взгляд на Америку и ее интеллигенцию очень поверхностен. И я с этим, в основном, согласна, хотя думаю, что даже мимолетное знакомство не есть повод умолчать о своих впечатлениях. И, право же, я не выдавала свои мысли за истину в последней инстанции. Я сомневалась в них, когда писала, и полна сомнений сегодня. В одно из женских писем (они вообще были больше от женщин, и это меня радовало) была вложена большая семейная фотография. Муж и жена (письмо от нее), сын с невесткой, дочь с зятем и внуки — много внуков. Эта фотография так напоминала ту, что помещена в моей книге (мама, дети, внуки, я, и только нет Андрея), так перекликалась внутренне с ней, что была как прямое доказательство, что все мы — и здесь, и там — живем одними стремлениями и одними забота-



ми и в мире так просто. Если бы еще не было так сложно — ох, этот разделенный мир.

Я дописывала последние строчки книги в Ньютоне, и мне очень хотелось около даты так это фатовски, вроде как с привычной легкостью поставить: «Ньютон, Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско, Вирджин Горда, Кейп Код». Красиво смотрится? И я вспоминала, как в детстве, кончая читать книгу и видя какое-нибудь такое замысловато-далекое географическое название, испытывала легкие уколы зависти и казалось: «ветер заморских странствий» шевелит мне волосы. Теперь к этому перечню прибавляю еще «Горький». Я ведь и вправду писала во всех этих местах.

*1 мая 1987 года*  
*Горький*

Самолет завис в воздухе над серединой Америки — все внизу движется так медленно, что, похоже, стоит. Так же стоит абсолютной голубизны небо — иллюзия покоя исходит от полного отсутствия облаков. Я, пожалуй, никогда не летала при столь ясной погоде, при такой отчаянно полной видимости. Середина Америки — горы, языки снега и ледников, темные обвалы леса, натянуто-прямые ниточки дорог, блестящие блюдечки озер, домики, как для кукол Дюймовочки. Иногда большие пространства без жилья — видно, и Америка не везде обитаема.

Середина моего пути от Сан-Франциско до Бостона — я возвращаюсь. Возвращаются люди домой, а я? Куда? Середина между небом и землей. Как найти точку отсчета, если это называется «небо»? И еще — середина моего путешествия в Италию и США: это уже не в пространстве, а во времени середина. 90 дней мне отпустила Москва, а сейчас — щедрость необычайная — добавила еще три месяца. Итак, 180 дней свободы, и я нахожусь в их середине. Середина свободы. Пожалуй, я никогда еще не встречала, у кого точно известно, сколько еще ему отпущено и когда, а у меня все проставлено в главном документе — паспорте — и скреплено печатью. Правда, при этом я не знаю, что по возвращении получу в обмен на заграничный паспорт —

удостоверение ссыльной или обычный паспорт. Если я ссыльная, то мне на поездку полагалось бы выдать путевой лист и указать, что я отпускаюсь на лечение с временным прекращением исполнения приговора — есть такое положение в законодательстве. А может, я помилована — ведь я подавала прошение, как в старину говорили, «на высочайшее имя». Куда ни глянь — все середина. Начало — середина — конец.

Я написала: середина путешествия. Но это по здешним, западным, представлениям путешествие начинается с того, что человек трогается в путь — садится в машину, поезд, самолет, идет пешком. Кстати, а ходят ли здесь? Мне все больше попадалась бегущая Америка. Мне кажется, что вся страна — это подросток, бегущий в школу. А у нас «дальний путь» начинается с ОВИРа. Для непосвященных — отдел виз и регистрации; бывает районный, городской, областной, республиканский, всесоюзный или союзный — не знаю; относится к ведомству, которое называется МВД — Министерство внутренних дел. Существует, кажется, с тех пор, что и государство, и только что в Сан-Франциско мне довелось встретиться с одной из давних его клиенток. Родилась в США. В 20-х годах приехала с родителями в СССР строить коммунизм. Подала заявление о выезде в 1937 году. Получила разрешение в 1941 году, перед войной. Сейчас преподает в Беркли.

Итак, я пришла в ОВИР (районный) 25 сентября 1982 года. Дата связана с человеком, о котором сейчас читает в газете мой самолетный сосед, — это не литературный прием, а чистая прав-

да, все читают сейчас о Толе Щаранском. Я специально приехала из Горького, чтобы Толина мама Ида Петровна Мильгром могла встретиться у меня дома с иностранными корреспондентами. Мы должны были объявить, что Толя 27 сентября начинает голодовку. В то время родным Толи трудно было найти в Москве дом, где они могли бы это сделать. Я приехала заранее, и у меня оказались свободными два дня, их как раз хватило, чтобы получить и заполнить анкеты, два экземпляра, на машинке, без помарок и исправлений. Фотографии у меня были готовы давно (ух, и страшна же я стала!). А необходимость думать о поездке появилась уже с весны, когда после гриппа было обострение увеита в левом глазу, а в правом вновь стало прыгать давление. В ОВИРе все прошло без особых осложнений, так как копия свидетельства о смерти моего отца у меня была с собой. Я знала по прошлым годам, что прочерк вместо указания места его смерти всегда вызывал беспокойство нижнего чина МВД, принимавшего документы. Других несуразностей этого документа он не замечал, а там год смерти был 1939, а запись о смерти сделана в 1954 году — кто хранил это в памяти? И места смерти нет вообще — только прочерк.

Я была довольна, что подала документы, — вроде сделан какой-то шаг. Но, даже предполагая, сколько еще будет трудностей впереди, пока получим разрешение, я все же и представить не могла, каким будет этот путь на самом деле. А сейчас я в самолете над серединой Америки — сосед справа читает газету; скосив глаза, я вижу фотографию: улыбающийся Толя (выглядит неплохо — откормили перед обменом), прислонив-

шаяся к его плечу серьезная Авиталь. Сосед слева дремлет, и на коленях — журнал «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», на обложке портрет: приспущенные веки, худое изможденное лицо — вот он, Андриюшин путь к моей поездке в Америку. Его письмо президенту советской Академии наук, его надзорная жалоба по моему делу (дополнения 5, 6) — это только часть того, что было с нами за три года, прошедшие со дня подачи мною заявления в ОВИР. Все, что не рассказал он, теперь должна рассказать я.

У меня очень мало времени. У меня не очень много сил. Мне не хочется вспоминать — хочу забыть, так отличается от нормальной жизни и вообще от жизни здешней та, которой мы живем там. Рассказ невеселый, и его трудно сделать развлекательным. Это еще не воспоминания — для них все слишком близко и слишком больно. Здесь хорошо бы дневник, но в нашей жизни писать дневник нельзя, обязательно попадет в чужие руки. Это, скорее всего, хроника. Так как у меня нет времени, чтобы сделать из нее то, что можно назвать книгой, то пусть уж те, кому захочется читать, так и воспринимают. Я же постараюсь быть максимально точной в изложении. Для меня самой это еще и «После воспоминаний», «Postscriptum», — «Воспоминания» писал Андрей, я же была их инициатором, потом машинисткой, редактором и нянькой. Все, что я сделала как нянька, чтобы они выжили, стали книгой и дошли до своего читателя, стоит других «Воспоминаний» или, может, детектива, но этому еще не пришло время. Андрей поставил дату окончания своей книги — 15 февраля 1983 года. Я начну с этого дня.

Сердце болит. — Академическая медицинская  
помощь. — Письмо академиков и «глас народа».  
Подает в суд. — Лизин день рождения

Мы праздновали мой день рождения вдвоем — оба были нарядно одеты, были цветы, Андрюша рисовал какие-то плакаты, я стряпала так вдохновенно, будто ожидала в гости всю свою семью. Было много телеграмм из Москвы, из Ленинграда, от детей и мамы. То, что я наготовила, мы ели три дня. Но пришло время все же пополнить запасы, и я поехала на рынок — день был, по горьковским нормам, теплый и ясный. Когда я вернулась и Андрей открыл дверь на мой звонок, я не узнала его: чисто выбрит, серый костюм, розовая рубашка, серый галстук и даже жемчужная булавка (я подарила ее в первую горьковскую зиму — на десятилетие нашей жизни вместе). «Что случилось?» — в ответ он молча протянул мне телеграмму, она была из Ньютона. «Родилась девочка Саша Лиза девочка чувствуют себя хорошо все целуют». Когда я прочла телеграмму, Андрей сказал: «Это не девочка, это голодовочка». И всегда, когда из Ньютона приходят новые фотографии детей, Сашу он называет «наша голодовочка».

В прошедшую осень я стала ощущать, что у меня есть сердце. Конечно, сердце иногда болело и раньше, но как-то мимоходом. Ощущать-то я его ощущала, но как-то не задумывалась, да и где тут задумываться. Осень 1982 года. Уже отстучали колеса моих более чем ста поездов Горький — Москва, Москва — Горький, уже уехал Тольц, прошел обыск у Шихановича, арестован Алеша Смирнов, а еще раньше Ваня Ковалев, я вожу в Горький каждый раз две сумки с продуктами и еще всякое нужное и не очень, а Андрюша сидит над «Воспоминаниями» и периодически часть их пишет заново — не строгость автора, не ворчание первого читателя, первого редактора и первой машинистки (это все я) — нет! Чужая воля и чужая рука. Они исчезают. То из дома — еще в Москве, то украдены с сумкой в зубоврачебной поликлинике в Горьком, то в эту самую осень на улице из машины, которая оказалась взломана, а Андрей чем-то одурманен. Каждый раз он пишет все заново. В общем, каждый раз это уже нечто новое — иногда написано лучше, иногда хуже и даже не про то.

Вечером того дня, как сумку украли в поликлинике, Андрей встречал меня на вокзале; он был осунувшийся, как бывает в бессоннице, при тяжелой болезни и от долгой боли. Губы дрожали, и голос прерывался: «Люсенька, они ее украли». Я сразу поняла: сумку, — но сказано было так, с такой острой болью, что я решила: это сейчас было, здесь, на вокзале. В другой раз, когда сум-

ку украли из машины, Андрей шел от нее мне навстречу. У него было лицо такое, как будто он только что узнал, что потерял кого-то близкого. Но проходило несколько дней — надо только, чтобы мы были вместе, — и он снова садился за стол. У Андрея есть талант, я называю его «главный талант». Талант сделать все до конца. Ну, а мне только оставалось развивать в себе талант «спасти», и я развивала, видит Бог, старалась, чтобы «рукописи не горели». Чтобы то, что пишет Андрей, не сгнуло в лубяньских или подобных, но уже новых (Лубянка-то старая) подвалах.

Так вот. В сентябре объявила вместе с мамой Толи про его голодовку, в октябре провела сама — одна — день политзэка, в ноябре в Горьком сердце уже не просто ощущалось, а стало гореть огнем. Почти неделю пролежала, ничего не могла, ничего не хотелось, даже не читалось, уж не говорю, что не печаталось — на машинке, на той «Эрике», которая «берет четыре копии» (Александр Галич). В декабре, шестого, поехала в Москву. В поезде — обыск, поезд отогнали куда-то далеко за город, на запасные пути. Когда отгоняли и я смотрела в окно, а следователь мне читал вслух постановление об обыске, у меня в голове все время стучало: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». И старалась вспомнить, кто же автор этих строк, откуда они. Про этот обыск у Андрея в «Воспоминаниях» все подробно и даже протокол обыска есть, так что я не



буду много рассказывать. У меня отобрали большой кусок его рукописи — опять сгорела!

Про сердце. Когда шла по путям, тащилась. А потом лестница была, казалось непреодолимая, на мост над путями. На мосту плохо стало, и тут вместе с возвращением сознания пришло: «И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет». Господи, да Светлов же это, Михаил Аркадьевич! Мы же под эту песню — патефон, ручку крутить надо — во дворе танцевали. А Михаил Аркадьевич, проходя, говорил: «Ну, ребята, ну, выберите другую какую-нибудь, ну, под Алтаузена танцуйте, что ли, у него и имя подходящее — американское все-таки — Джек». Мы танцевали фокстрот. А уж тогда это было точно — «Америка». Наверное, это «имя американское» говорилось неодобрительно — западное влияние. Но я не знаю: танцевать танцевала, а про «влияния» любые тогда еще не знала — не интересовалась.

То, что в поезде отобрали, — это была уже четвертая потеря. И будут еще, так что не удивляйтесь, что я сама себя талантом называю. Книга ведь будет — или, вернее, уже есть.

После обыска все же добралась до города, дала телеграмму об обыске Андрею и скорей домой, на Чкалова. Я спешила, так как должна была прийти Ида Петровна, я обещала позвать корреспондентов, чтобы она могла рассказать им, что происходит с Толей. Успела только помыться, услышала на лестнице шум. Открываю

дверь. Там два милиционера пытаются затолкать в лифт Леню Щаранского. Я кричу ему: «Ждите меня на улице, я сейчас к вам спущусь», — но сама не знаю, смогу ли выйти. Может, меня не выпустят? Выпустили, смогла, вышла и решили, что свидание с коррами будет на улице. Пошли в сторону вокзала, там дорога в гору. Чувствую: не могу идти, тошнит, ноги как ватные, стыдно Иды Петровны, Лени. Дошли до остановки троллейбуса, доехали до Цветного бульвара. Там в фойе кукольного театра звонили коррам, ждали, а потом разговаривали с ними на Цветном бульваре про Толю, про мой обыск, еще про многое.

На следующий день я решила, что надо думать про сердце. С телефона-автомата у нашего подъезда, который тогда еще работал, вызвала врача. Пришла доктор — незнакомая, назначила обследование. Академическая поликлиника. Электрокардиограмма. Говорят, изменений нет. Я поверила, решила, что, видимо, все мои ощущения «от нервов» и жить надо, как жила, то есть о сердце, даже если оно все время напоминает, что оно есть, задумываться не следует.

15 февраля у кого «к сожаленью, день рожденья только раз в году», а у меня два — один в Москве, другой в Горьком. На первый Ших принес книгу Яковлева «ЦРУ против СССР». Белка очень расстроилась, что он принес, она уже читала, но мне не сказала; это ее всегдашнее стремление — не огорчить. Я взяла книгу в Горь-

кий. Я долго ее не читала, не хотелось, было заранее неприятно, и чувства брезгливости не могла преодолеть. Андрей же прочел почти сразу, как привезла, сказал, что обязательно будет писать про это, но не сейчас. В начале февраля он закончил статью «Опасность термоядерной войны»<sup>1</sup> и еще не отошел от волнений, связанных с написанием и с тем, чтобы она увидела свет, — тут и мне досталось хорошо. Снова Андрей ругал меня, что когда-то я не дала ему подать заявление в суд на издающуюся в США газету «Русский голос», там еще в 1976 году началась кампания против меня, которую продолжила сицилийская «Сетте джорни», а Яковлев только расширил и, так сказать, оформил соответственно.

Я не буду касаться писаний Яковлева, как и многого, о чем пишет Андрей Сахаров в своих «Воспоминаниях», позже я расскажу только о своей попытке обратиться в суд за защитой от клеветы. Но Яковлев, конечно, заставил нас волноваться. Вначале — больше Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подобной литературы вредно, и не только психологически, но и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 14 июля 1983 года Яковлев приехал к нему — этот человек хотел то ли интервью от Сахарова, то ли еще чего и получил — пощечину. Об этом своем поступке Андрей рассказывает сам в своей книге. После пощечины Андрей успокоился и был очень доволен собой. Как врач я думаю, что этим Андрей снял стресс — и это было по-

лезно. Как жена — восхищаюсь, хотя понимаю, что вообще подобное не соответствует натуре моего мужа.

Но, в общем, мы жили тем же способом и в том же ритме, как и до этого, хотя сердце все болело и болело. Я треть времени проводила в Москве, где на меня наваливались куча дел и куча людей: чтобы делать дело, надо было гнать людей, а они обижались, хотя дела-то были, в основном, не мои, а их.

\* \* \*

Так и сейчас, в Штатах, уже Бог знает сколько обиженных, что я не общаюсь, стараюсь как можно меньше вести разговоров и обсуждений, кто и каков здесь стал, а там, мол, был другим. Мне не хочется, да и невозможно объяснить, что и здесь есть дела, есть обязательные обеды или ланчи (ну почему, почему все обязательно с едой?), хочется побыть с внуками и даже с детьми. Не говорю о том, что в течение полутора месяцев до операции было по 20 нитроглицеринов в сутки, после операции еще полтора месяца тоже было ох как несладко. Но — не понимают, обижаются. А я? Мне так хочется крикнуть домашнее, хамское: «Вас много, а я одна!». И нет времени и сил не только чтобы писать эти строки, но и на общение с друзьями.

Не вижу, когда же будет день, час, чтобы побыть наедине с каждым из детей. И чтобы он — ребенок мой — был готов хоть на тот день или час, что мы вдвоем, как-

то раскрыться, как-то быть со мной. А кто из тех, кому доведется читать эти строки, знает, что ждет меня там, за чертой, за границей, и как уже сейчас от страха все внутри каменеет? Вы думаете, я каменная? Вы прислушайтесь к странному звучанию и понятию наоборот: заграница — это ведь там.

\* \* \*

В Москве все было так плохо — седьмого числа арестовали Сережу Ходоровича, ожидался какой-то дурацкий суд у Верочки Лашковой<sup>2</sup>, было непонятно: за что? И как могут (дурацкий вопрос) ее выгонять из Москвы? А в Горьком вовсю шла весна. Я люблю весну, и Андрей тоже. И хоть все плохо, а душа как-то незаметно начинала отходить, оттаивать. Для нас было радостно, что дни длиннее и можно где-то на обочине дороги погулять. Тогда еще можно было ездить в Зеленый город (район Горького), где есть лес, расположено несколько санаториев, детских лагерей и дач. Можно было слушать радио. Теперь этот район для нас тоже стал запретным.

25 апреля утром, после завтрака, я убирала что-то в комнате, где мы спим. Андрей был у себя, работал. Вдруг меня как проткнули чем-то острым насквозь, так что я ничего сказать, двинуться, закричать не могла. Остановилась на вдохе и так стою, потом медленно, почти ползком, по кровати добралась до Андреевой по-

ловины — и дотянулась до его нитроглицерина, своего у меня тогда еще не было. Через некоторое время боль чуть-чуть отпустила, и я смогла позвать Андрея, смогла лечь; начался бесконечный нитроглицерин, мази, валидол, анальгин, но-шпа, папаверин, несколько раз инъекции атропина, один раз с промедолом, были рвота, слабость необычайная, давление низкое. Все себе сама делала — и больная, и врач. Испуганный Андрей помчался как угорелый в аптеку. Я все как проваливалась в небытие. На третий день небольшая температура — держалась два дня. Я уже поняла, что это инфаркт. Но, и поняв, подсознанием стремилась это опровергнуть. Первую неделю вставала только до ванной-уборной. Вторую — стала выползать и дальше и вообще понемногу начала приходить в себя.

Шло это все волнами — то лучше чуть, то совсем пропадаю, а тут пришла телеграмма, что начинается суд над Алешей Смирновым, и 10 мая я поехала в Москву. Встречал Ших. Идти до такси было трудно, но добрались. Вечером у меня были Маша Подъяпольская, Лена Костерина и Любаня (мать и жена Алеши), сказали, что суд завтра в 10 утра в Люблине. Я мысленно представила себе лестницу на мост над путями — через него надо перейти, чтобы добраться до здания суда, там уже судили стольких: Буковский, Краснов-Левитин, Твердохлебов, Орлов, Таня Великанова, Таня Осипова и другие. И мне стало плохо — плохо реально, по-на-

стоящему: закружилась голова, схватило сердце, посинели ноги. Маша спросила: «Что с тобой?» — «Плохо». И потом: «Вы простите, я к суду не пойду. Пусть днем ко мне после перерыва кто-то придет и расскажет. А я все расскажу коррам. И вечером тоже сделайте так». Мне было очень неудобно перед Леной — у нее сын завтра предстанет перед судом, а я... Но я чувствовала, что иначе не выдержу. Чтобы позвонить коррам, я не могу воспользоваться телефоном-автоматом, который у подъезда: его выключили. Звонить надо идти в сторону Курского вокзала (в гору) или за мост. Но это уж как-нибудь, потихоньку, без свидетелей, наедине с собой. Так же, как сесть за машинку и напечатать то, что расскажут. Сердце болит и за машинкой. Но это тоже наедине. Я не умею болеть на людях, мне трудно переносить и принимать сострадание и даже помощь. Я как животное: мне надо быть одной, скрыться, уйти в нору.

Суд продолжался два дня. Приговор — 6 лет лагеря и 4 года ссылки. 10 лет — десять. Какой Алешка молодец. Как он смог выдержать и битые, и давление следователя, и как безумно жаль его, Лену, Любу.

На следующий день — это была суббота — приехали из Ленинграда друзья, Ира и Лесик Гальперины. Они еще появятся в моем рассказе в связи с тем, как я их чудесным образом «вывезла» из Советского Союза. Мы попили вместе кофе — долго и вкусно. Как всегда, когда

приезжают друзья, утренний кофе у нас перерастает в некий ритуал — может быть, лучшее, что есть в нашем общении. И я поехала в поликлинику Академии наук — сердце все болело и болело, с 25 апреля ни на минуту не переставало.

Сделали ЭКГ. Врачи забегали. Посадили меня в кабинет. Пришла заведующая и повела разговор, что она не может меня отпустить домой, а должна сразу госпитализировать: очаговые изменения, инфаркт. По анамнезу получается, что ему немногим больше трех недель. Я была несколько ошеломлена, и это доказывает, что хоть я и поняла после 25 апреля, что у меня инфаркт, но верить не верила: не хотелось. Или боялась. Да и забоишься — любой человек боится, а при нашей-то жизни! Зав. отделением очень волновалась, и, пока она волновалась, я думала и — надумала. Я сказала Марине Петровне (так звали заведующую), что согласна на госпитализацию, если привезут из Горького моего мужа и госпитализируют вместе со мной — ему давно пора. Я сказала также, что в этом случае обещаю ничего не сообщать корреспондентам ни о моем инфаркте, ни о нашей госпитализации и обещаю, что в больнице нас будут навещать только самые близкие друзья. В противном же случае 20 мая я проведу пресс-конференцию.

Чтобы непосвященному была понятна обоснованность моей просьбы, придется пояснить. Академик



в своей поликлинике всегда пользуется привилегией быть госпитализированным с женой и регулярно проходит (в среднем раз в год) стационарное обследование в течение двух-трех недель, обычно также вместе с женой. Андрей с момента ссылки никакой помощи от поликлиники не получал и не обследовался. Потому моя просьба, если считать, что все обстоит так, как говорят академические функционеры (что с Сахаровым все хорошо и он живет, как все академики), вполне обоснованна. Если же считать, что Сахаров — ссыльный, то моя просьба, чтобы Сахаров приехал (или его привезли), тоже обоснованна, так как кодекс предусматривает, что ссыльный может быть временно отпущен из ссылки, если тяжело болен кто-либо из его близких. Этот момент нашей жизни очень наглядно доказал, что положение Сахарова во всем незаконно и апеллировать к закону он не может.

Марина Петровна сказала, что от нее ничего не зависит, что она передаст мою просьбу начальству, но отпустить меня одну не может — отвечает теперь за мою жизнь, и меня повезли домой на «скорой помощи» в сопровождении медсестры. Мое появление дома с таким эскортом вызвало у Лесика и Иры шок — по-моему, они смертельно испугались. А я начала телеграфную переписку с Андреем. Включились в это и физики — у них на 19 мая была назначена поездка в Горький, и они очень старались успокоить Андрея, видимо несколько

введенные в заблуждение академическими врачами. Озабоченность академических врачей моим состоянием столь велика была только в день моего обращения к ним, а потом — думаю, не без влияния со стороны (снова та самая медицина, которую Андрей зовет управляемой) — резко упала.

У Андрея и у меня сложилось впечатление, что физикам было сказано, что я вроде бы сознательно обостряю свое состояние, а академик Скрябин, как сказал Андрею один из его коллег, просто заявил: «Мы не дадим ей шантажировать нас своим инфарктом». Похоже, что в данном случае он сам себя отождествлял с КГБ, иначе что бы означало его «мы»: ведь не Президиум Академии держал и держит Сахарова в Горьком. Со мной тот же Скрябин (по телефону, не лично: он — в своем кабинете, я со своим инфарктом — в уличной автоматной будке) говорил подчеркнуто уважительно и даже не забыл сказать, что мы с ним одного поколения и оба прошли армию. Поэтому мне было чрезвычайно занимательно узнать, что с одной из научных американских делегаций тот же Скрябин обо мне говорил так, как редко кто говорит на коммунальной кухне, да и базарные торговки в наши дни стали хоть «на язык» культурнее.

20 мая, в час, назначенный для пресс-конференции, я услышала на лестнице какую-то возню. Открыв дверь, я увидела милиционеров, заталкивающих корров в лифт. Тогда я вышла на улицу.

Стоя у окна книжного магазина и держа в руке нитроглицерин, с которым теперь уже не расставалась ни на секунду, я рассказала коррам о нашем положении. В западной печати появились сообщения об этой встрече. Но, видимо, все недооценили мое состояние, считая, что раз я вышла на улицу, то, может, у меня и не инфаркт. Одна газета написала «микроинфаркт», другие вообще забоялись серьезных определений. Иногда я думаю, что если бы пресса (единственная наша и правозащитников реальная защита — это гласность) отнеслась к моей просьбе помочь нам серьезней, если бы наши друзья во всем мире поняли, насколько трагично было положение в те дни, то, может, не случилось бы всего, о чем я рассказываю дальше.

С этого дня у дверей моей квартиры постоянно дежурили милиционеры, а у подъезда стояла милицмейская машина. Милиция проверяла документы у всех, кто хотел пройти ко мне, и пропускала только советских граждан. Моих друзей, постоянно навещающих меня, дежурные скоро знали уже в лицо и документы у них не проверяли.

26 мая у меня дома был консилиум. Были зав. отделом, в котором лечат академиков и членов их семей, доктор Бормотова, зав. нашим с Андреем отделением, доктор, фамилии которой я не знаю, — та самая Марина Петровна. С ними были и двое мужчин. Мне их представили как кардиологов — консультантов Академии, но

один произвел на меня впечатление не врача. Судя по описанию Андрея, это те самые доктора Григорьев и Пылаев, которые потом были у него.

Они вновь предложили мне госпитализацию одной; они считали, что, пока сердечный процесс не выравнивается (платная ЭКГ 24 мая показала ухудшение), быть дома мне просто опасно для жизни. Я отказалась, повторив свои условия. Они хотели записать в историю болезни только мой отказ, но я не дала это сделать и сама в историю болезни написала: «От госпитализации не только не отказываюсь, но настаиваю на ней, но госпитализироваться согласна только совместно с мужем академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым и только в больницу Академии наук СССР».

После этой моей записи Бормотова заплакала, но не от страха за мою жизнь (как это трактовал Евгений Львович Фейнберг), а из-за того, что не выполнила задания — госпитализировать меня одну. Потом она еще будет приходить и предлагать машину с врачом и медсестрой, чтобы отвезти меня в Горький — там они якобы будут меня лечить. Но это уже был совершеннейший план КГБ — еще тогда запретить нас в Горьком обоим.

Скрябин в конце мая сказал мне, что к Андрею поедут академические врачи, чтобы решить, нужна ли ему госпитализация. Они действительно были у Андрея 2 июня и дали заключение, что он нуждается в госпитализации, обследовании и лечении. Казалось, пробле-

ма решена. Такая, в сущности, простая проблема — госпитализировать двух больных людей в медицинское учреждение той системы, к которой они принадлежат. У нас медицина ведомственная — водников, железнодорожников, МВД, МСМ, кремлевская, академическая. Но шар покотился совсем в другую сторону.

Первые дни после визита врачей мы оба — Андрюша в Горьком, а я в Москве — ждали госпитализации, но время шло, я постепенно стала чувствовать себя чуть легче. Мне все время предлагали вначале госпитализацию, а потом санаторий, но одной, без мужа. Я написала обращение к американским и европейским ученым и отдала его на улице корреспондентам.

#### К АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ УЧЕНЫМ

Я обращаюсь к вашей помощи. Сегодня наше остро трагическое положение усугубилось моей болезнью и нарастающими изменениями в состоянии здоровья моего мужа. 25 апреля у меня в Горьком случился инфаркт. Я лечилась сама. Почему мы не можем лечиться в Горьком, вы поймете из моего письма президенту Академии наук СССР Александрову и из заявления прессе от 20 мая (копии этих документов у наших детей в США).

11 мая я смогла приехать в Москву и с тех пор добиваюсь возможности нам обоим лечиться в больнице Ака-

демии наук в Москве. Единственно, чего я смогла пока добиться, — это что в Горьком к мужу впервые за три с половиной года были посланы консультанты лечебного отдела Академии. Они дали заключение о необходимости госпитализации, обследования и лечения. Я опасаюсь, что без вашей помощи даже это минимальное требование — лечение у врачей, которым мы можем хоть сколько-то доверять, — не будет осуществлено. Мы не получим необходимого для сохранения жизни лечения — проблема Сахарова будет решена смертью одного из нас или обоих.

В отношении нашего будущего. Даже если мы получим лечение, видимо, после инфаркта миокарда я не смогу вновь вынести ту нагрузку, которая на меня легла в связи с незаконной депортацией и изоляцией Сахарова. Это будет означать, что Сахаров полностью потеряет связь с внешним миром. Это будет трагично не только в плане нашей личной безопасности и судьбы, но и в общественном плане. Уникальность Сахарова, его единственного независимого и компетентного в среде советских ученых голоса будет потеряна для всего мира и в первую очередь для всех, кто стремится к благополучному разрешению наиболее острых проблем современности — разоружению и сохранению мира. Сегодня советские руководители и советские ученые призывают вас к совместным действиям в защиту будущего всего человечества. Вам самим судить, может

ли быть этот призыв искренним, если Сахарова в это время держат в изоляции, лишают права на общественную и любую интеллектуальную деятельность, воруют его бумаги, убивают, оставляя без медицинской помощи. Жизнь Сахарова, защита его права на научную и общественную деятельность, права жить свободно и там, где он выберет, — больше всего зависит от активности мирового сообщества ученых.

В надежде на ваше глубокое понимание я пишу это письмо и прошу вас приложить усилия и использовать свой авторитет для защиты Андрея Сахарова, его жизни и его свободного голоса.

12 июня 1983 г.

20 июня в журнале «Ньюсуик» появилось интервью с президентом Академии наук СССР Анатолием Александровым. Я приведу ту часть этого интервью, которая касается Андрея Сахарова.

— Вы упомянули о желательности большего сотрудничества в области науки. Американские ученые говорят, что одним из препятствий к увеличению сотрудничества является преследование Андрея Сахарова, осуществляемое КГБ. Что вы можете об этом сказать?

— Он занимался теми же вещами, что и Эдвард Теллер (разработка водородной бомбы). Я думаю, что

если б вокруг Теллера наши люди организовали какую-нибудь систему постоянных контактов — американское правительство не отнеслось бы к этому с большой симпатией, так же как и американские ученые. Вероятно, они попытались бы каким-то способом ликвидировать эту ситуацию. Я думаю, наше правительство действовало очень гуманно по отношению к Сахарову, поскольку Горький, где он живет, — красивый город, большой город с большим числом академических институтов. Академики, которые живут там, не хотят никуда переезжать.

*— Прошло 15 лет с тех пор, как Сахаров перестал заниматься секретными исследованиями. Почему он не может покинуть Россию?*

— В этой области 15 лет — не такой уж большой промежуток времени. Системы, в разработке которых он принимал участие, существуют и будут существовать. Если, не дай Бог, произойдет военное столкновение, американцы узнают, хороши или плохи эти системы.

*— Почему он по-прежнему остается членом Академии, если, как говорит «Правда», вы считаете его пособником международного империализма?*

— Мы надеемся, что Сахаров одумается и изменит свое поведение. К сожалению, я думаю, что в последний период его жизни его поведение более всего обусловлено серьезным психическим сдвигом.



Думаю, что это интервью было первым ответом на статью Сахарова «Опасность термоядерной войны»<sup>1</sup>, хотя дано оно было до того, как статья появилась в печати. Но такие вещи тем, кому нужно, становятся известны заранее и иногда задолго до публикации. Об этом стоит задуматься! Я же думаю, что отсутствие решения о нашей госпитализации было вызвано именно тем, что в тех сферах, где решают, стало известно о статье. Это было первое, что эта статья принесла в нашу жизнь. Напечатана она была в американском журнале «Форин афферс» 22 июня.

Весь тон интервью Александрова был столь немирнолюбив, чуть ли не агрессивен, что непонятно, почему это интервью прошло почти незамеченным западными учеными, ведущими неправительственные переговоры о разоружении, и прессой. А может, я просто не знаю их реакции? И мне неуютно оттого, что я не знаю ни одного отклика коллег Андрея на слова Александрова. Я же не могла молчать и послала письмо Александрову сразу же, как получила журнал с интервью.

Президенту Академии наук СССР  
ак. Александрову А. П.

Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в связи с интервью, которое Вы дали журналу «Ньюсуик» (№ 25, 20 июня 1983). В нем

Вы заявили, что (цитирую) «в последний период жизни Сахарова у него произошел весьма серьезный психический сдвиг».

Что дало Вам право произнести эти слова — принципиальные выступления Сахарова по актуальным проблемам современности, не всегда совпадающие с мнением правительства СССР, его лично Вам известная честность и бескомпромиссность?

Вы знаете, что само насильственное поселение и удержание Сахарова в Горьком является откровенным беззаконием и что Академия наук ничего этому беззаконию не противопоставила. Вы знаете, что сегодня Сахаров остро нуждается в госпитализации и лечении большого сердца и что дальнейшая отсрочка может обернуться трагедией. Однако вместо помощи Вы делаете свое беспрецедентное заявление.

Насколько мне известно, впервые в истории Российской — Советской Академии наук ее президент обвиняет Действительного члена в психической неполноценности. И это Ваше заявление, Анатолий Петрович, действительно войдет в историю.

*Елена Боннэр-Сахарова*

*14 июля 1983 года*

P. S. Я адресую это письмо не только Вам, но всем иностранным академиям и научным сообществам, членом которых является академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Когда началась наша горьковская жизнь, Евгений Львович, с одной стороны, и Лидия Корнеевна — с другой, оба волновались за Андрюшино сердце и оба рекомендовали в Горьком известную им с чьих-то слов доктора Матусову. Похоже, и тот, и другая сердились на меня, что я отмахиваюсь, говоря, что никого, кроме назначенных и обозначенных органами врачей, не допустят до контакта с нами. Ну, что сердился Евгений Львович, понятно: у него академические критерии, и по ним я максималистка. И хоть Яковлев и жлет, но все же! Но Лидия Корнеевна? Наверное, это все-таки непонимание особенностей нашего положения. А мы сами? Когда очень приспичило с моим инфарктом, через Майю (тогда еще пускали к нам трех человек — Ковнера и иногда Феликса с Майей) пытались получить помощь от доктора Матусовой и получили ответ — на бумаге, чтобы ни слова вслух: ничего не может, может только через Майю, если никто не будет знать, посмотреть мои кардиограммы. Ну а потом мы не имели уже никаких контактов с Майей. В Москве Ших тайно носил мои кардиограммы на просмотр доктору, который был общим знакомым его и Лидии Корнеевны. Поскольку это были еще «розовые времена», когда милиция дежурила у моих дверей в Москве с 9 утра до 11—12 ночи, а не круглосуточно, Юра попросил этого доктора навестить меня. Доктор пришел через 20 минут после полуночи, но милиционеры были у дверей — похоже,

ждали. Его пропустили. Я видела: он очень разволновался от того, что у него проверили документы. После осмотра и недлинной беседы он, смущаясь, сказал мне, что если я еще раз буду в нем нуждаться, то я должна обратиться в Академию и, если они его официально вызовут на консультацию, он будет рад мне помочь. На этом наши отношения кончились — даже и показ электрокардиограмм. А никто его не пугал, не грозил. Это страх. Этот врач свободно лечит Лидию Корнеевну, что не осложнило его служебного положения, и он сам этого не боится. Но мы — другое дело! Когда врач Лидии Корнеевны перестал смотреть мои электрокардиограммы, это стал по просьбе одного нашего приятеля делать другой врач. Он пошел чуть дальше — дважды смотрел меня дома у этого приятеля. Я никогда не называла его фамилии, так как он этого не хотел. Тогда его фамилию назвал ТАСС.

Истории с врачами стали сыпаться на нашу семью после того, как в нее вошел Сахаров. Началось с того, что к маме пришел никем не вызванный врач-психиатр якобы консультировать, а на самом деле пугать ее. Потом начались мои истории. В 1974 году возникла необходимость оперировать меня по поводу тиреотоксикоза. По рекомендации Наташи Гессе мы обратились к ее знакомому доктору Б-о. Он назначил срок операции, предварительно попросив, чтобы мы получили официальное направление в больницу, где он работал. Андрей

обращался в Ленгорздравотдел и Министерство здравоохранения, и мы получили такое направление. Но, когда я приехала на операцию, он через Наташу передал, что не сможет меня оперировать, так как ему не утвердят докторскую диссертацию. Жаль, что Наташа, давая показания в Конгрессе США о нашей жизни, не рассказала эту историю, в которой была главным свидетелем. После операции тиреотоксикоза возникли острые осложнения с глазами. И я с Андреем вместе пошла к профессору Краснову. Я делала у него свою первую глазную операцию в 1965 году, еще когда не была женой Сахарова, и операция прошла успешно. Еще раньше я много лет была больной его отца. Но в этот раз Краснов отказался оперировать меня. Я легла в Московскую глазную больницу и ожидала операции, когда друзья-врачи сказали, чтобы я уходила из больницы, так как они не знают, «кто и что со мной будет делать». Именно после этого появилась идея ехать оперироваться в Италию, где жили мои подруги Мария Олсуфьева и доктор Нина Харкевич. Меня всегда удивляло и расстраивало, что, хотя мы все это рассказывали друзьям, они с удивительной поспешностью все забывали. Потом зачастую именно друзья первыми удивлялись — почему мне лечиться пришлось в последние годы не дома, а так далеко. Я же всегда говорила, что, не будь я женой академика Сахарова, мое лечение могло бы проходить в советской больнице. Конечно, все, кроме теперешних ше-

сти шунтов на сердце, с которыми я и здесь чемпион, — еще не видели никого с таким же количеством.

3 июля в «Известиях» появилось письмо четырех академиков<sup>3</sup>. Письмо это подписали А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов (говорят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо принимают за границей; Скрябину, думаю, все равно, как принимают, — лишь бы посылали; ездят ли два других ученых мужа, не знаю). Их письмо вызвало бурю. Советские люди академикам верят, тем паче один — Нобелевский лауреат. А что эти академики постеснялись даже название статьи Сахарова привести в тексте — этого советские люди не знают.

Пошел поток писем — 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132 в один день, потом постепенно их количество стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая «социальная активность» — вот хоть в этом. Среди писем — от Володи Чавчанидзе (я его так коротко называю, потому что он был в аспирантуре одновременно с Андреем, и Андрюша так его зовет в своих рассказах о том времени). От одноклассников моей дочери. От одной сотрудницы Андрея, которую он очень

по-доброму вспоминает в своей книге. Много священнослужителей, много пенсионеров, большинство — ветераны войны, и все считают, что Сахаров призывает к термоядерной войне. Именно это они вынесли из письма четырех академиков. В том же июле на подмогу академикам пришел журнал «Смена» (тираж идет чуть ли не на миллионы), где Яковлев повторил и развил то, что было в его книге. Поток писем изменил свою направленность, многие письма стали откровенно антисемитскими, участились угрозы — особенно в мой адрес.

В августе уже не президент Академии, а глава государства (тогда Андропов) в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший\*.

А нам угрожают на рынке и когда выходишь на балкон, на улице скандалы — было все. Кажется, только не били. И как апофеоз — погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького.

---

\*«Отвечая на заявление сенатора Пелла, упомянувшего дела известных диссидентов, Андропов начал с того, что описал Андрея Сахарова как «психически больного человека», который написал статью, «призывающую к войне» (поразительная характеристика недавней статьи Сахарова в журнале «Форин афферс». — Е. Б.)». Из отчета делегации восьми сенаторов о поездке в Советский Союз (сенатский документ 98-16). (Все подстрочные примечания перепечатаны из парижского издания «Постскриптума».)

Я ехала дневным поездом. Он выходит из Горького в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходит в 13 часов 40 минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины средних лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «Вы где живете в Горьком?» — «На проспекте Гагарина». — «В доме 214?» — «Да». — «Вы жена Сахарова?» — «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина: «Какой он академик! Его давно гнать надо было. А вас вообще...». Что «вообще» — он не сказал. Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. Потом проводница куда-то скрылась. Люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали, что-то кричали. Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе. Так я доехала до Москвы.



Из дневника А. Д. Сахарова:

«Для Люси с ее чуткой эмоциональностью повседневное столкновение с неприязнью и ненавистью окружающих тяжело (для меня тоже). Старуха, грозящая кулаком, еще что-то в этом роде. Столкновение в поезде 4 сентября было, конечно, спровоцировано несколькими гебистами, но большинство пассажиров, кто по охотке, кто из страха, приняли участие в общем крике... Люся писала мне в фототелеграмме: «Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна». Ших и Белка, встречавшие ее, сразу по ее лицу поняли, что произошло что-то ужасное. После рассказа Люси Белка плакала».

Толпа, погром, фашизм — как все сходится в нашем мире к одному. Мне все время, пока стоял крик, пока грозили и пока я не увидела на перроне Шиха и Белку, было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе на платье.

Вот еще из дневника А. Д. Сахарова:

«Следующий раз Люся ехала в Москву 22 сентября 37-м поездом. Мы боялись повторения «вагонного погрома», но вечерний поезд вообще менее подходит для такого, а кроме того, Люсе (впервые за три с половиной года) удалось обменять билет на СВ. Она ехала в полу-

пустом вагоне. В купе с ней артист Жженов (это какая-то знаменитость), боюсь только, что он был выпивши. Его провожала шумная компания. Кто-то крикнул: «С тобой поедет очень интересная (или симпатичная) женщина». Люся сказала: «Знали бы они...».

Я уезжала из Горького 22 сентября, был теплый для этого времени года вечер, и мы с Андрюшей долго стояли на перроне, а когда вошли в вагон (в кои веки мне удалось обменять в кассе вокзала плацкартный билет на СВ — спальный вагон), то около нашего — моего то есть — купе увидели несколько человек, смеющихся, с шампанским и явно не из ГБ. Эти люди нас пропустили, Андрей положил вещи, и мы снова вышли в коридор. Кто-то из них спросил, кто из нас едет. Я ответила. Тогда другой, стоящий рядом, крикнул в глубь купе: «С тобой едет симпатичная женщина», — после предыдущей поездки, когда был тот погром, это восклицание показалось странным, и я сказала Андрею: «Знали бы они...». Мы еще постояли в тамбуре, грустна нам всякая разлука, даже вот так, на несколько дней. И всегда помнятся слова Мандельштама: «Кто может знать при слове расставанье — какая нам разлука предстоит?». Андрей спустился на перрон, поезд тронулся, как в песне «вагончик тронется, перрон останется» — кинофильм «Ирония судьбы»; это действительно наша с Андрюшей жизнь — ирония судьбы. Мне тут по необъясни-

мым ассоциациям вспомнилось начало 1971 года. Я что-то делала у Андрея Дмитриевича, для Андрея Дмитриевича, наверное по просьбе Валерия, и почему-то разговор зашел о славе. Андрей Дмитриевич сказал: «Ну, у меня все эти валентности давно заняты». Думаю, это должно было означать: «Большей не будет, и большей, упаси Бог, не надо». Однако вот пришли эти заполнившие дом тысячи писем, которые мы не в силах прочесть. Для них нужен государственный архив, чтобы разобрать их и хранить. Это слава — жена, которую узнают на улице, в поезде и готовы линчевать.

Я прошла в купе. Все провожающие ушли. Мой визави несколько старше нас с Андреем, взгляд и глаза хорошие, хорошая большемерная улыбка, правда с оттенком некоего профессионализма: в общем, то, что называют открытым лицом. Что-то в нем знакомое. Говорит, как хозяин, правда дружелюбный: «Давайте знакомиться — Жженов Георгий Николаевич» (в отчестве сегодня, когда пишу, не уверена<sup>4</sup>; на Георгия Николаевича Владимова, которого очень люблю, смахивает). И как будто ждет от меня реакции какой-то особой, то ли на фамилию, то ли на дружелюбность его. Это я потом поняла, что он привык, чтобы везде узнавали, чтобы на фамилию реакция была бурная, — он народный артист, но я не узнала его. А фамилий актеров вообще, кроме пяти-шести, ничьих не знаю. И я ему тоже по возможности дружелюбно, хотя поначалу на дружелюбие совсем не тянуло:

— Боннэр Елена Георгиевна, — и вижу, он руку не мне, а к двери протянул, закрыл и полушепотом:

— Та самая?

— Да, та самая.

— Никогда не подумал бы.

— Недостаточно страшна для той, о которой читали?

— Пожалуй.

— Перетерпите мое соседство или мне попросить проводника, чтобы перевели в другое купе? — Молчит. — Ну, раз молчите, я останусь, а вы уж как хотите.

На столе стояла наполовину опорожненная бутылка водки и открытая бутылка шампанского. Он налил в два стакана и предложил мне.

— Не пью.

— Совсем?

— Совсем...

— Странно!

— Вам что, где-нибудь наплели, что я к тому же и пьющая, — у Яковлева этого вроде нет?

— Говорили. Ну а чайку?

— Чай пью.

Он достал из портфеля металлическую коробку с чаем. Любит, видимо, хороший чай. Вышел и вернулся вместе с проводницей, которая принесла все для чая. И начался наш очень долгий разговор — до четырех ночи; чай перемежался у него с водкой, к концу разговора он был сильно выпивши, если говорить мягко. Суть раз-

говора мне хочется изложить — это ответ на частый вопрос: «Как относятся к нам, ко мне люди, верят ли они тому, что писал Яковлев?». На мой вопрос, как он может верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом:

— А как не верить, на основании чего?

— На основании собственного жизненного опыта. Вам сколько лет?

— 67.

— Дело врачей помните? Журнал «Звезда», Ахматова, Зощенко, космополиты...

Молчит; и потом вдруг, после еще одной рюмки, заговорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился в Ленинграде в театральном училище и начинал в Ленинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случайно попал в кино — пришелся на роли солдат не самого юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт! И это я ему должна что-то доказывать — при его-то опыте. Он говорит, что думает, что теперь в стране все по-другому, но, когда говорит это, видно: он не меня — себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня ощущение: вот еще немного, совсем немного, и что-то в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. Но — не прорвалось. Я даже его уговаривала с поезда поехать ко мне кофе пить, чтобы посмотрел своими глазами дом, из которого я якобы выгнала детей Сахарова, нашу — мамину — двухкомнатную. А я ему книжку

квартплаты покажу, где написано, что квартира была дана маме в 1954 году. Говорила, что милиционеры дежурят только с 9 утра (тогда так было), что он кофе выпьет и уйдет и никто ему этого никогда не вспомнит.

— Нет.

— Но почему, почему нет?

— Боюсь.

— Чего?

— Боюсь, и все.

К четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку мне целовал, говорил, что преклоняется перед Андреем и передо мной тоже. Но...

— Боюсь. Боюсь.

Утром старался не глядеть в мою сторону. Как-то мельком, не глядя пожал руку, вышел, сухо бросив: «До свидания».<sup>5</sup>

На перроне меня ждал Юра Ших. Он мне сразу сказал: «С тобой Жженов ехал в одном вагоне, хороший артист, я его люблю». Ших — завзятый кино-театрал, не то что мы: сразу узнал. А я ему всю эту историю рассказала. Ших почему-то на меня ворчал, считал, что я была недостаточно красноречива, могла бы и убедить, а уж на кофе затащить — подавно. Не прав он: страх ни в чем убедить нельзя и ничем — ни словом, ни делом. Преодолеть страх можно только самому.

Мы решили подавать в суд. Мысль была не моя. Так считал необходимым Андрей, и с ним были согласны

многие друзья. Я же понимала, что от меня опять требуется большая работа. Надо писать заявление. До этого собрать какие-то бумаги. Потом подача заявления, наверняка неоднократные хождения в суд, объяснения. Где взять сил, если мне даже сто метров пройти трудно, если, даже сидя за машинкой, я обливаюсь холодным потом от слабости! Если надо заверить показания Андрея — согласится ли нотариус? Если надо где-то достать адрес Яковлева. И, в конце концов, надо же его внимательно прочесть, а я так и не сделала этого — тошно.

Но вот все «если» преодолены. И даже есть адрес Яковлева. Его мне дала одна моя приятельница. Она живет недалеко от него и, сообщая адрес, добавила к нему довольно длинный рассказ о личности и прошлой и сегодняшней жизни моего ответчика. Так что, если б я была привержена тому жанру, в котором работает Яковлев, то могла бы здесь поместить еще пару десятков страниц.

После двух-трехнедельной писанины вперемежку с сердечными приступами и ни на минуту не выпуская нитроглицерина из рук, я считаю себя готовой к суду. У меня на руках следующие три документа:

1. Исковое заявление.
2. Мои показания вместе с автобиографией.
3. Свидетельские показания Андрея Дмитриевича Сахарова.

И в дополнение к ним еще журнал «Смена», № 14, июль 1983 года.

В районный народный суд  
Киевского района г. Москвы  
от Боннэр Елены Георгиевны,  
прож.: Москва Б-120, ул. Чкалова,  
д. 486, кв. 68,  
по делу с Яковлевым Николаем  
Николаевичем, прож.: Москва,  
Смоленская наб., д. 5/13, кв. 135,  
соответчик: журнал «Смена»,  
адрес: 101457, ГСП Москва,  
Бумажный проезд, 14.

**О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА**  
(в порядке ст. 7 Гражданского кодекса РСФСР)

**Исковое заявление**

В журнале «Смена» (июль 1983) напечатана статья Н. Н. Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направленности статьи, искаженных и порочащих сведений о моем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. Я обращаю внимание суда только на несколько утверждений автора. Перехожу к тексту статьи (все цитаты — журнал «Смена», № 14, 1983).

1. «...Все старо как мир — в дом Сахарова после смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей... Боннэр по-



клялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея...»

2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно прибрала...»

3. «Вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве», «...ведя развеселую жизнь...»

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обидании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы советского криминалиста и публициста Льва Шейни-

на написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бойкая «Люся Б. «укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

5. «Боннэр в качестве метода убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало».

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и таким образом подпадает под действие ст. 7 Гражданского кодекса РСФСР. Все это является измышлениями автора статьи, не соответствует действительности.

Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства — в соответствии с законом вся тяжесть доказательств лежит на ответчике — и вынести решение, которым обязать гр. Яковлева Н. Н. и журнал «Смена» опубликовать соответствующие опровержения.

*Е. Г. Боннэр*

*26 сентября 1983*

### МОИ ПОКАЗАНИЯ

В своей статье Яковлев тенденциозно излагает мою биографию. Поэтому считаю необходимым привести краткую биографию.

Я родилась в 1923 г. Мой отец Геворк Алиханов, заведующий отделом кадров Коминтерна, член ВКП(б)

с 1917 г., был арестован в мае 1937 г. как изменник родины, посмертно реабилитирован в 1954 г. Моя мать Руфь Григорьевна Боннэр, член КПСС с 1924 г., также была арестована в 1937 г. как ЧСИР (член семьи изменника родины), реабилитирована в 1954 г., персональный пенсионер республиканского значения.

Я окончила семь классов в Москве и после ареста родителей уехала с младшим братом к бабушке и дяде в Ленинград. Дядя был арестован в конце октября 1937 г., его жена была выслана, и нас у бабушки росло трое — кроме меня и брата, еще двухлетняя дочь дяди. Мы с братом оказались в Ленинграде без всяких документов (метрик у нас не было) и были направлены РОНО на медкомиссию, где мне был определен возраст не 15, а 16 лет; в феврале 1938 г. по определению медкомиссии я получила паспорт с годом рождения 1922. В Ленинграде я окончила среднюю школу в 1940 г.; учась в школе, одновременно работала уборщицей в домоуправлении, а в летние каникулы после 8-го и 9-го классов архивариусом на заводе им. Тельмана в Москве. В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факультета русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. Герцена и работала пионервожатой в школе. Никогда — ни в детстве, ни став взрослой — я не верила, что мои родители могли быть врагами родины, их идеалы и их интернационализм были для меня высоким образцом, и, когда началась

война, именно поэтому я пошла в армию (медсестра, курсы РОКК<sup>6</sup>) — добровольно и по велению сердца, если относиться к этим словам всерьез, а не играть с ними. 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена и контужена около станции Валя (Волховский фронт), лежала в госпиталях в Вологде и Свердловске. В конце 1941 г. я была выписана в распоряжение РЭПа<sup>7</sup>. Свердловска и оттуда направлена медсестрой на военно-санитарный поезд № 122. В 1942 г. я стала ст. мед. сестрой, и мне было присвоено звание мл. лейтенанта мед. службы. В 1945 г. — лейтенант мед. службы. В мае 1945 г. я была направлена в распоряжение Беломорского военного округа на должность зам. нач. мед. части отдельного саперного батальона, откуда и была демобилизована в августе 1945 г. с инвалидностью второй группы — почти полная потеря зрения на правом глазу и прогрессирующая слепота на левом (последствия контузии). Последующие два года я упорно боролась за то, чтобы сохранить зрение, и с благодарностью перечисляю здесь врачей, которые мне в этом помогли: д-р Финляндская (поликлиника на ул. Труда, Медицинская академия), проф. Чирковский (Первый Ленинградский медицинский институт), д-р Суконщикова (Институт глазных болезней) — это в Ленинграде; затем я дважды лежала в Институте глазных болезней в Одессе, где моими лечащими врачами были проф. Владимир Петрович Филатов и его жена д-р

Скородинская. В 1947 г. мое состояние стабилизировалось, хотя всю последующую жизнь я была инвалидом то третьей, то второй группы в зависимости от состояния, а в 1970 г. признана инвалидом второй группы Великой Отечественной войны пожизненно. В 1947 г. я поступила в Первый Ленинградский медицинский институт, который и окончила в 1953 году по шестилетнему курсу обучения. С этого времени и до достижения пенсионного возраста я всегда работала, кроме перерыва несколько больше года в 1961-62 гг., когда тяжело болел мой сын. Была участковым врачом, врачом-педиатром род. дома, преподавала детские болезни в мед. училище, работала по командировке Минздрава СССР в Ираке. Работу по специальности часто сочетала с литературной — печаталась в журналах «Нева», «Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась в «Литгазете», в газете «Медработник», участвовала в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны», была одним из составителей книги Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», сотрудничала как внештатный литконсультант в литконсультации СП, одно время была редактором в ленинградском отделении Медгиза. Отличник здравоохранения СССР. С 1938 г. — член ВЛКСМ, все годы службы на ВСП — комсорг, в институте — профорг курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала для себя (внутренне) возможным вступление в пар-

тию, пока мои родители числились изменниками родины или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». После XX и особенно после XXII съезда решила вступить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член КПСС. После осени 1968 г. сочла свой шаг неправильным и в 1972 г. в связи со своими убеждениями вышла из КПСС.

У меня двое детей — дочь Татьяна (1950 г. р.) и сын Алексей (1956 г. р.). Их отец, Иван Васильевич Семенов, учился вместе со мной в Первом Ленинградском медицинском институте и работает там до настоящего времени. Фактически мы разошлись с ним в 1965 г. Татьяна осенью 1967 г. поступила в Московский университет, была исключена осенью 1972 года за участие в демонстрации протеста у ливанского посольства в связи с террористическим актом — убийством израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. В 1974 г. она была восстановлена и в 1975 г. успешно окончила университет, на «отлично» защитив диплом. Алексей отлично закончил среднюю школу, так же отлично учился на математическом факультете Московского педагогического института им. В. И. Ленина, был исключен с последнего курса, формально — как не сдавший военное дело (предмет, не входящий в учебный план института). Мой зять Ефрем Янкевич закончил Московский электротехнический институт связи.

Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем из них дает разъяснение в своем заявлении мой муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Я остановлюсь на двух остальных — на пункте 3 и на пункте 4.

3. «...вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве...», «...ведя развеселую жизнь...» («Смена», № 14). Я не поступала никогда ни в какой институт в Москве. Я поступила в 1947 г. в Первый Ленинградский мед. институт, имея аттестат об окончании ленинградской средней школы № 14 (ныне № 239), сдавала экзамены на общих основаниях и была зачислена после успешной их сдачи. Никакими подложными справками не пользовалась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая биография.

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Ра-

зочарование — погиб на войне. Девушка, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы советского криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бойкая «Люся Б.» укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

Трагедия — убийство моей школьной подруги Елены Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным братом моей другой школьной подруги, Регины Этингер) — произошла в конце октября 1944 г. Я последний раз видела Елену Доленко в конце 1942 года, когда она вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры Регины — Евгении Этингер. Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, осенью 1943 года. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезновении Е. Доленко я узнала в канун 1945 г., когда снова была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник арестован.



стован и что он убил Е. Доленко. Кроме этого единственного допроса, когда меня спрашивали о личности убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Доленко я знала с младших классов, Злотника с 1938 года), меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По фабуле этого трагического уголовного дела Л. Шейнин написал рассказ. По литературной версии, Глотник (Злотник) — сексуальный маньяк (по официальной судебной — Злотник совершил убийство из ревности), у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них «Люся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я — никак не подстрекатель к убийству, а скорее жертва. И Яковлев точно так же, как меня (если опираться на рассказ), мог бы обвинить в подстрекательстве к убийству двух других — «Нелли Г.», живущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую в Москве.

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. В 1976 году я получила два письма, подписанных Семеном Злотником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и некую сумму за границей», так как он решил эмигрировать из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угрозой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое «темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через

некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах мира люди, знающие А. Д. Сахарова или меня (академики, писатели, врачи, политические и общественные деятели, наши друзья), стали получать письма из Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злотником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель — Сандлер Е. Х. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 году в газете «Сетте джорни», издающейся на Сицилии, появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эмигранта из России Семена Злотника», где излагается «моя биография», — в ней не только два убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из моих писем и писем ко мне моего родственника из Франции, умершего в 1972 году. (Эти письма прошли нормальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении Семена Злотника.) В ней же сказано, что проживает Семен Злотник во Франции. Все выглядело бы правдоподобно, но... никто из семьи Злотников из СССР не выезжал и Семена Злотника — племянника Моисея Злотника — в семье Злотников нет и никогда не было, это поручик Кижее. Не моя задача исследовать, кто сочинил его.

Возвращаюсь к своему заявлению в суд (пункт 4).

Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого, не был ни пожилым, ни богатым — он родился 19 апреля 1922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г. недалеко от Любани, не дожив до 20 лет. Мы учились в одном классе и сидели на одной парте, вместе ходили в школу и из школы, и он читал мне стихи. Его отец в шутку называл меня «наша законная невеста», и так меня называла до самой своей смерти мать Севы Лидия Густавовна Багрицкая и его тетя Ольга Густавовна Суок-Олеша. Была у нас с Севой детская дружба, была первая любовь. Потом была общая судьба: мы были вместе, когда арестовали моих родителей, когда арестовали его мать, когда погиб его брат; он провожал в ссылку мою тетю и нянчил ее тогда двухлетнюю дочь. Потом у нас были ночные очереди, чтобы раз в месяц сделать передачи нашим мамам в Бутырки; передачи брали по буквам: день — буква, а нам повезло — мамы были на одну букву. Была разлука, я жила у бабушки в Ленинграде. Были мои приезды в Москву, его каникулы у нас в Ленинграде. Потом война и гибель Севы. Лидия Густавовна Багрицкая из женского Карагандинского лагеря (где тогда была и моя мать) написала мне: «Люсенька милая, как же мы будем жить без Севки...» Но живые — живут. Лидия Густавовна, реабилитированная, вернулась в Москву. И все годы до ее смерти в 1969 г. моя се-

мья была — моя мама, мои дети, мой муж Иван Семенов (до нашего развода) и Лида. Дети знали, что у них есть бабушки и Лида. Лидия Густавовна болела на моих руках, выздоравливала, и мы собирали «Севкину книгу» — вначале не для печати, для себя. Многие стихи в книге — только из моей памяти, другое я собирала по крохам у друзей, некоторые бумаги после гибели Севы сохранил Корнелий Зелинский. Потом Лидии Густавовне передали Севину пробитую осколком полевую сумку с его тетрадью и документами.

При жизни у Всеволода Багрицкого было опубликовано лишь несколько стихотворений (см. сборник «Строка, оборванная пулей», «Московский рабочий», 1976, стр. 82). В 1964 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи», составители Л. Г. Багрицкая и Е. Г. Боннэр. Книга получила премию Ленинского комсомола, давно стала библиографической редкостью. И все же, читатели «Смены», найдите и прочтите ее. Эта книга — документ истории, в ней нет ни одной сочиненной кем-либо строки. Все написано Всеволодом. Яковлев охотно ссылается на детектив Л. Шейнина, но он не может сослаться на книгу В. Багрицкого. Детектив главного следователя сталинских времен и «детектив» Яковлева внутренне близки. Книга В. Багрицкого Яковлеву противопоказана: нельзя допустить читателя в сложный, чистый мир трагически одинокого юноши 37—42 гг.; на-

до «повязать» (простите уголовный жаргон) читателя, вместе с собой окунуть в мусть своего повествования. Я обращаюсь к книге В. Багрицкого (стр. 68 — письмо к маме в лагерь от 14 октября 1940 года): «Пока мы работали над первым актом «Дуэли», я успел влюбиться в одну больную девушку (у нее порок сердца) и, поборов сопротивление ее родных, жениться на ней. Прожили мы вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться не может. Семейная жизнь не удалась. Она переехала обратно. И вот сейчас я снова со своей старой Машей (няня Севы. — Е. Б.). Снова могу лежать с ногами на кровати и курить в комнате. Но чувствую, что самое трудное и сложное впереди — нужно еще идти в загс разводиться. Моей женой была Марина Владимировна Филатова<sup>8</sup>, очень хорошая девушка. Я и сейчас с ней в прекрасных отношениях. До сих пор не могу понять, почему я женился. Все меня отговаривали, даже она сама. А я все-таки женился — глупо! Легкомыслие, наверно, преобладает во мне». И другое письмо — письмо Маши Брагиной (стр. 71, декабрь 1940 г.): «Здравствуй, дорогая, милая Лидия Густавовна! Посмотрела бы на тебя, как на солнышко. Долго ли мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень слабое. Для него стираю, мою, ушиваю и собираю ему кое-что поесть. Кое-что собираю из одежды. Купила ему трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все износил, а некоторые роздал своим друзьям. И носочки

кое-как поштопаю, утяну худенько, да не спрашивает много... Осенью Сева стал скучать и от скуки было женился, но скоро развелся. Девушка была хорошая, скромная, но очень болезненная. А наша законная невеста Люся живет в Ленинграде. Ну, пока ждем вас домой с нетерпением большим. Крепко вас целую, будьте здоровы. Маша». Вот вся история женитьбы и развода Всеволода Багрицкого, изложенная им самим. Если книга не является документом, достаточным для выяснения истины, то сообщаю, что весь архив Всеволода находится в ЦГАЛИ — там подлинники этих писем, там и его паспорт, пробитый осколком авиабомбы. В паспорте есть штамп и о женитьбе, и о разводе — осенью 1940 года. Я никогда не видела М. В. Филатовой, никогда не говорила с ней по телефону. Упоминанием Всеволода, фразой «Разочарование — погиб на войне» Яковлев оскорбил не меня, а всех, у кого погибли близкие, память всех мальчиков, не пришедших с войн. Я в память своего мальчика, не пришедшего с войны, сделала все, что могла: по крохам собрала все, что от него осталось, до последнего дня жизни его мамы была ей ближайшим другом и почти дочерью, научила своих детей любить ее и чтить память Севы.

Мне всегда было горько, что друзья Севы за своими жизненными заботами не проявили к ней внимания, кроме двух встреч по моей инициативе, никогда даже не приходили к ней. Может, теперь они защитят па-

мать Всеволода? Я прошу вызвать в суд товарищей Севы по студии, руководителей студии Алексея Николаевича Арбузова и Валентина Николаевича Плучека, писателя Исаю Кузнецова, других студийцев, а также писателя Александра Свободина — женитьба и развод Севы были на их глазах, я же в то время жила в Ленинграде.

На этом фактическую сторону моего заявления в суд можно было бы кончить. Но почему Яковлеву нужна моя биография, да еще изложенная так, как сделал он? Потому что в нашей трагической жизни кто-то надеется этой грязной «литературной» стряпней довести двух очень немолодых и очень больных людей до смерти, потому что можно заморочить головы миллионов доверчивых читателей — и ради этого годится творчество в духе геббельсовской пропаганды. Это подтверждается тысячами разъяренных, злобных писем, которые мы получаем, рекомендующих Сахарову «покаяться», «развестись с еврейкой» и «жить своим умом, а не боннэровским». Подтверждается погромом, который мне устроили в поезде Горький—Москва, скандалами, устраиваемыми Сахарову и мне на улицах в Горьком, бесчисленными угрозами расправиться с нами, а то и просто убить нас.

В 1983 г. в одном из самых читаемых (тираж 8 млн. 700 тыс.) журналов «Человек и закон» появилась серия статей Яковлева «ЦРУ против Страны Советов». Если

в книге «ЦРУ против СССР» и в журнале «Смена» еврейско-сионистская тема преподносится несколько приглушенно, набором фамилий и ссылками на анонимных мифических учеников Сахарова, то в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) она становится абсолютно явной и откровенной. Цитирую раздел статьи «Фирма “Е. Боннэр энд чилдрен”», стр. 105: «В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегло и к услугам международного сионизма <...> Используется при этом не только агентурная сеть американских, израильских и сионистских спецслужб и связанный с ними еврейский масонский орган «Бнай Брит», но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А. Д. Сахаров. Какие бы гневные слова ни произносились (и вполне заслуженно) в адрес Сахарова, по-человечески его жалко <...> используя особенности его личной жизни примерно за полтора десятка последних лет (о чем дальше), провокаторы из подрывных ведомств толкнули и толкают этого душевно неуравновешенного человека на поступки, противоречащие облику Сахарова-ученого. Все старо, как мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла махеча <...> Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина. Прошу простить длинную цитату, частично повторяющую изложенное в «Смене», но в ней по контексту однозначно утверждается, что именно я — провокатор из



«подрывных» масонских, сионистских и ЦРУ служб и именно я несу ответственность за всю деятельность Сахарова в защиту мира и прав человека, он же — жертва, душевно неуравновешенный человек. Антисемитская направленность статьи Яковлева в популярном юридическом журнале по существу является возбуждением национальной ненависти. В этой связи не могу не вспомнить антисемитское дело «врачей-убийц» и «Почту Лидии Тимашук» — одну из позорнейших страниц истории нашей страны. Читатели Яковлева, возможно, забыли об этом, но ему — профессору-историку — должно помнить.

Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? Я никогда никого не предавала. Испугать меня судом по статье 64 УК РСФСР (вплоть до смертной казни)? Я никогда не состояла на службе никаких разведок — американских, масонских, сионистских. Все бесчисленные публикации Яковлева вызваны только тем, что я жена Сахарова, да к тому же я — еврейка, что облегчает ему задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до конца достойной русской культуры и среды, в которой прошла моя жизнь, своей еврейской и своей армянской национальности и горжусь тем, что мне выпала трудная и счастливая судьба быть женой и другом академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

*Елена Боннэр*

*26 сентября 1983 г.*

## СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заявлением в суд моей жены Е. Г. Боннэр об ущербe ее чести и достоинству, нанесенном публикациями Н. Н. Яковлева в книге «ЦРУ против СССР» (3-е изд., переработанное и дополненное, Москва, «Мол. гвардия», 1983) и в статье «Путь вниз» (журнал «Смена», № 14, июль 1983), я хочу и должен по ряду утверждений Яковлева дать нижеследующие свидетельские показания.

1. Ложью является утверждение Яковлева («Смена», стр. 27): «В конце 60-х годов Боннэр наконец вышла на крупного зверя — вдовца, академика А. Д. Сахарова. Но увы, у него трое детей — Татьяна, Люба и Дима. Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея». Никто не имеет права писать о чужой личной жизни в таком пошлом тоне и столь лживо, как это делает Яковлев в приведенном отрывке и во множестве других мест своих статей и книг. В недавно опубликованной статье в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: «Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Елена Георгиевна Боннэр не «навязывалась» мне, не давала никаких «клятв вечной любви». Я просил ее быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет

эту трудную долю, трагическую судьбу. Это *наша* судьба, *наши* счастье и трагедия. Прошу оградить нас от грязного и пошлого вмешательства Яковлева.

На самом деле мои младшие дети от первого брака Любовь Андреевна Сахарова (1949 г. р.) и Дмитрий Андреевич Сахаров (1957 г. р.), проживавшие вместе со мной до моего второго брака в трехкомнатной квартире по адресу: Москва, ул. маршала Новикова (ранее — Первый Щукинский проезд), д. 1, кв. 15, площадь 57 кв. м, проживают там до сих пор, без какого-либо перерыва. Моя жена Е. Г. Боннэр и ее дети Татьяна (1950 г. р.) и Алексей (1956 г. р.) (Яковлев ошибочно пишет: 1955 г.) не жили в этой квартире ни одного дня. После брака я перешел жить в двухкомнатную квартиру матери моей жены, где на площади 34 кв. м в это время проживали (кроме меня) пять человек. Моя старшая дочь Татьяна Андреевна Сахарова (1945 г. р.) вышла замуж в 1967 году, еще при жизни моей покойной жены К. А. Вихиревой, и с этого времени жила отдельно. Я оплатил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР, в 1972 году она въехала в трехкомнатную квартиру в центре Москвы (Ростовская наб., д. 1, кв. 26), где и живет с мужем и дочерью. Все изложенное мной по этому поводу может быть подтверждено выписками из домовых книг и свидетельскими показаниями. Свидетелями прошу вызвать: Бобылева Александра Акимовича, Зельдовича Якова Борисовича, Романова Юрия

Александровича, Фейнберга Евгения Львовича. Нарочитое название моих детей уменьшительными именами, а детей жены полными предназначено Яковлевым для того, чтобы у читателя создалось впечатление, что малых детей на улицу «вышвырнули».

2. Ложью является то, что моя жена «прибрала» мои сбережения. В 1969 г. я передал в фонд государства (Красному Кресту и на строительство Онкологического центра) 139 000 рублей. В 1971-73 годах я отдавал своим детям от первого брака и моему брату Георгию Дмитриевичу Сахарову более 500 руб. ежемесячно. В 1973 году я перевел на счет своих детей от первого брака половину оставшихся у меня к тому времени сбережений в сумме 14 400 руб. В 1972 году я подарил старшей дочери Татьяне свою автомашину ЗИМ. В 1973-77 годах я продолжал регулярно оказывать помощь сыну Дмитрию в размере 150 руб. в месяц, в дальнейшем оказывал ему материальную помощь эпизодически. Одновременно я оказывал и продолжаю оказывать материальную помощь своему брату. Все с 1971 года происходило с ведома и одобрения моей второй жены, а иногда и по ее инициативе.

3. Яковлев пишет заведомую ложь, называя моего зятя Ефрема Янкелевича недоучкой и лоботрясом. Е. Янкелевич успешно кончил Московский электротехнический институт связи в 1972 году. В настоящее время в США он по моей доверенности выполняет весьма

сложную и ответственную работу моего представителя за рубежом. Яковлев называет лодырями и бездельниками Алексея Семенова и Татьяну Семенову-Янкелевич. Это заведомая клевета, которая легко опровергается документами.

4. Яковлев пишет: «С изменением семейного положения Сахарова изменился фокус его интересов. Теоретик по совместительству занялся политикой, став встречаться с теми, кто скоро получил кличку «правозащитников». Это утверждение — ложь. Я встретился с моей будущей женой Е. Г. Боннэр осенью 1970 года (Яковлев умышленно ложно пишет — в конце 60-х годов). Еще в середине 50-х годов меня стали глубоко волновать общественные и общеполитические вопросы. Я сыграл определенную роль в заключении Московского договора 1963 года о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Это может подтвердить в качестве свидетеля министр среднего машиностроения СССР, член ЦК КПСС Е. П. Славский. В 1968 году, за два с половиной года до встречи с Е. Г. Боннэр, опубликована моя статья «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней определились основные линии моей общественной позиции, получившие развитие в ряде последующих моих выступлений. С очень многими наиболее известными защитниками прав человека в СССР я встретился в первой половине 1970 года, т. е. до моей встречи с Е. Г. Боннэр.

5. Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, объявленной моей женой и мною с целью добиться для нашей невестки Елизаветы Алексеевой, ставшей заложницей моей общественной деятельности, разрешения на выезд в США к мужу. Я заявляю, что решение о голодовке было нашим общим, каждый из нас признавал абсолютную необходимость и серьезность этого шага. Голодовку проводили мы оба, а не только я (см. газету «Известия» 4 декабря 1981 года). На тринадцатый день голодовки мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы. Мы прекратили голодовку на 17-й день, когда власти дали нам заверения, что наше требование будет удовлетворено.

6. Яковлев пишет: «Боннэр в качестве метода убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало». Яковлев с одобрением цитирует статью выходящей в Нью-Йорке газеты «Русский голос»: «Похоже, что Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия». Яковлев пишет: «...такой аттестат выдан Сахарову теми, кто сумел объективно поставить его на службу интересам империализма. Как? Для этого придется вторгнуться в личную жизнь Сахарова. Все старо как мир — в дом Сахарова пришла махача...» «Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает

в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу <...> Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с побоями <...> На этом фоне я бы рассматривал очередные откровения *от имени* Сахарова, передаваемые западными радиоголосами». Я заявляю, что все приведенные мною утверждения Яковлева представляют собой сознательную и намеренную провокационную ложь. Яковлев не приводит и не может привести никаких доказательств того, что моя жена Е. Г. Боннэр меня избивает и таким образом добивается нужных ей поступков и заявлений. Я утверждаю, что это порочащее честь и достоинство моей жены и мои утверждение Яковлева абсолютно ложно. Ни на чем не основаны и ложны также утверждения Яковлева о колебаниях в моем настроении, якобы депрессивном в присутствии жены. Я заявляю, что все мои статьи, книги и обращения, опубликованные на Западе или распространявшиеся в СССР, выражают мои личные убеждения, сложившиеся в течение целой жизни. Яковлев изображает меня неким недоумком, большим ребенком, находящимся в подчинении у властной, коварной и корыстолюбивой женщины. Он также говорит о моем психическом нездоровье. Недавно эту же инсинуацию повторил президент АН СССР А. П. Александров. Таким образом пытаются дискредитировать мои общественные выступления как несамостоятельные, внушенные чужой волей. При этом

преследуется и вторая цель, быть может еще более важная, — поставить мою жену в непереносимое и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем попытаться парализовать мою общественную активность. В подкрепление используются инсинуации о личной жизни и мнимых преступлениях моей жены в прошлом, клевета о ее моральном облике. Но особо важную роль играет подчеркивание ее национальности, эксплуатация национальных предрассудков части населения нашей страны. Я глубоко благодарен моей жене за ее самоотверженность и стойкость в нашей трагической жизни, за усиление гуманистической направленности, которой я обязан ей. Но я с определенностью заявляю, что за всю свою общественную деятельность, за содержание и форму своих выступлений я несу полную единоличную ответственность, и только я. Я категорически отвергаю утверждение Яковлева, что мои выступления явились хотя бы в какой-то степени результатом давления со стороны моей жены Е. Г. Боннэр или кого-либо иного. Я считаю свои выступления соответствующими общечеловеческим целям сохранения мира на земле, прогресса и свободы, прав человека, соответствующими целям гуманности и гласности и отвергаю обвинение Яковлева, что они имеют антинародный или проимпериалистический характер. Мои выступления, текст которых подтвержден моей женой Е. Г. Боннэр или моим представителем на Западе Е. В. Янкелевичем, являются полностью моими,



авторскими. Поэтому я утверждаю, что приведенная выше формулировка Н. Н. Яковлева — «откровения *от имени Сахарова*» — злонамеренная ложь. Вместе с тем я официально заявляю, что не могу нести ответственности за те выступления от моего имени, текст которых не подтвержден лично мною, или лично моей женой Е. Г. Боннэр, или лично Е. Янкевичем, если когда-либо такие публикации появятся в СССР или на Западе. До сих пор такие публикации мне не известны. Сказанное относится к статьям, книгам, воспоминаниям, заявлениям, обращениям, интервью, вообще к любым публикациям, включая научные. В сложившейся ситуации я считаю необходимым заявить: в случае моей смерти авторские права на все написанное мною, опубликованное и в рукописях, завещаю моей жене Е. Г. Боннэр, назначая ее единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства. В случае же и ее смерти единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства назначаю Янкевич (Семенову) Татьяну Ивановну, эта моя воля в числе других моих распоряжений закреплена в нотариальном завещании, подлинник которого хранится в Нотариальной конторе Приокского района города Горький.

А. Д. Сахаров

19 сентября 1983

г. Горький, пр. Гагарина, 214, кв. 3

Районный суд Киевского района Москвы. На прием к судье довольно большая очередь, и нигде нет надписи, что инвалидам войны без очереди. Я впервые в жизни пришла на такой прием. Все сидят в комнате, большой, похожей на класс. Открывается дверь в соседнюю. Выходит молодая, хорошенькая женщина и тут же при всех расспрашивает каждого, по какому делу он пришел. В результате кому-то дается справка, бланк заявления, кому-то говорят, что надо заплатить пошлину, кого-то вообще отсылают в другое учреждение. Людей сразу становится меньше, оставшиеся по одному входят в кабинет судьи. Кто задерживается там на 3—5 минут, кто дольше. Моя очередь. Объясняю очень кратко, с чем я пришла, подаю всю пачку документов и журнал «Смена». Она начинает читать, в это время входит ее секретарь и дает ей какую-то записку. Судья просит прощения и выходит. Со мной остается секретарь. Судья возвращается через несколько минут и говорит: «Я не могу принять ваше заявление без разрешения председателя районного суда, пройдите к нему». Я уже поднялась к ней на третий этаж. После инфаркта я стала везде и всюду считать этажи — каждый этаж стал для меня прямо событием. Теперь еще один этаж, и я около кабинета председателя. У него тоже очередь. Небольшая — человека четыре. Но задерживаются дольше, чем у районного судьи. Сразу после меня подошли три человека вместе. По их разговору поняла: пос-

ле суда просить свидание. В чем дело, не знаю, но, похоже, осужден сын этих двух пожилых — она заплаканная, все время говорит, он больше молчит (может, суд был сегодня, сейчас) — и муж молоденькой девчонки (которая с ними), на лице ее не видно ни большого горя, ни озабоченности.

Судья — крупное, усталое лицо, грузный, костюм на нем серый, много ношенный, на груди орденские планки. Встал из-за стола к шкафу, протез скрипит — без ноги, похоже, инвалид войны. Ну, посмотрим, что мне этот скажет. Взял бумаги и уселся так удобно — может, будет читать. Действительно, читает. Почти полчаса. Потом: «Значит так, Елена Георгиевна. Вы пройдите к судье снова, я распоряжусь, чтобы она приняла заявление». Протянул руку. Я пожалала и в состоянии некоего недоумения, так как ожидала опять отказа, пошла к судье. Теперь уже, слава Богу, счет этажей идет вниз. Как только вышел от судьи очередной посетитель, секретарь позвала меня. Судья записала меня в какую-то большую тетрадь, приклеила туда гербовую марку, которая у меня была куплена еще раньше, в преддверии визита в суд. Я расписалась, секретарь вложила все мои бумаги в папку с крупно напечатанным «ДЕЛО». Под этим проставила мое имя, адрес и дату. Судья сказала: «Мы вас известим в течение месяца о времени слушания дела». Я вышла. Спускаясь по лестнице, как мне кажется теперь, я думала: «Вот как все хорошо. Похоже,

я буду действительно судиться, и, может, стоит предупредить девочек (моих сверстниц, но все девочки) в Ленинграде, что я их вызову на суд в качестве свидетелей, что я кончала школу с одними, а с другими — медицинский институт». Я вышла на улицу. В тщетных попытках найти такси покружила в переулках вокруг суда. Медленно (было очень скользко, и сердце от этажей болело) двигалась к Кутузовскому проспекту. И тут я стала терять этот первый свой энтузиазм. Похоже, достаточно свежий октябрьский ветер сумел быстро остудить мой оптимистический порыв.

В Москве среди друзей подачу заявления в суд много обсуждали. В начале были обсуждения «подавать — не подавать». Кто был за, кто — против, и вообще все делились на «за» и «против». Интересно, что часто те, кто против, — это тоже вроде друзья, и в повседневной жизни мы много общаемся, есть у нас и взаимопомощь, и еще какие-то черты дружбы, видимо вынужденной обстоятельствами. Это те, кто, тем не менее, может сказать: «Нет, лучше ей не судиться, все-таки не все ясно в ее жизни». Я просто знаю, что так говорили те, кого иногда даже весь мир считает нашими друзьями. Те, кто «за», ничего подобного никогда не скажут, и даже в мыслях у них такое не заронится. Они не будут никогда ни с кем обсуждать в полуяковлевском стиле что бы то ни было (не только про нас), а если усомнятся, то просто спросят.

В деле с подачей заявления пересилили те, кто был «за», и, конечно, Андрей. Теперь обсуждалась подача заявления. Многие считали, что суд будет, но Яковлева не осудят и не оправдают — решение будет неопределенным. Некоторые считали, что осудят, но опровержения не напечатают. А у меня, как только октябрьский ветер меня остудил, взгляд был на дальнейшее вполне определенный: ничего не будет. Так прошел октябрь. Шиханович в мой очередной приезд потребовал, чтобы я пошла к судье. Мы договорились, что на следующий день после работы он повезет меня туда. Он сбегал в автомат и узнал, что и у судьи, и у председателя завтра приемный день. Когда мы приехали в суд и преодолели три этажа, то оказалось, что моя судья заболела и прием отменен. Мы поднялись еще на этаж — прием отменен: председатель суда вызван в райком (или горком, не помню). Прием будет на следующей неделе. Через неделю я приехала уже с Эмилем — Ших не мог уйти с работы, а прием был не в вечерние часы. Районный судья по-прежнему была больна. Но секретарь ее (похоже, она ждала меня) сказала, что меня примет председатель. Поднялись к нему. Вошла в кабинет вместе с Эмилем. Он попросил Эмиля выйти, хотя я просила вести разговор при нем. Не хотел свидетеля, что ли?

Мы остались вдвоем, он достал из шкафа папку «ДЕЛО», из которой торчал журнал «Смена», положил к себе на стол и, прижав рукой, сказал:

— Дело ваше к рассмотрению я принять не могу.

— Почему? — Он пожал плечами и, как-то вобрав голову в плечи, сказал снова:

— Не могу.

— Тогда дайте письменный мотивированный отказ, ведь это положено, так написано в кодексе.

— Положено, но я не дам мотивированного отказа, не могу.

— Ну а куда мне жаловаться, что нарушается закон?

— Жаловаться? Елена Георгиевна, вы женщина умная. Если вам не жаль сил и времени, то можете, конечно, жаловаться, но не советую.

Тогда я спросила:

— Скажите, а вам на высоком уровне приказали не принимать моего заявления в суд к рассмотрению?

Он посмотрел на меня вдруг другим, не мертвым, как было во все время разговора, а живым взглядом и сказал:

— На достаточно.

— Понятно, но ведь я пишу правду, а Яковлев врет, — разговор становился уже каким-то неофициальным.

— Я знаю, — ответил он. — Я кое-что проверял — вот не жили вы никогда в квартире Сахарова. И книжечку Всеволода Багрицкого прочел.

Мы оба замолчали. Потом я встала, чтобы уходить, и мне непроизвольно захотелось протянуть ему руку,

когда он, скрипя протезом, вышел из-за стола, держа в руках мое «Дело». Я протянула руку, он протянул мне «Дело», потом понял мой жест, переложил его в другую руку и, пожимая мою, сказал:

— А хотите, я не буду вам возвращать ваше «Дело», а положу к себе в сейф, у вас все равно, небось, есть копии. А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут реабилитировать.

— Оставьте.

Мы пожали друг другу руки. Я вышла со странным смешанным чувством и уважения к этому человеку за то, что он мне, в общем, много сказал, и удивления, что он все понимает, и сожаления, что вот ведь может работать в этой системе. И сочувствия: «А что делать?».

Я рассказала это Эмилю, потом дома друзьям, потом в Горьком Андрею. А сама до сих пор думаю: «А может, действительно скоро будут снова реабилитировать? Сомнительно что-то». Ну, если не будут, то, может, из этого сейфа мое дело против Яковлева все-таки попадет в категорию тех, на которых в верхнем правом углу написано: «Хранить вечно».

Этой же весной был обыск у Натальи Гессе в Ленинграде. Я не отнеслась к нему всерьез. Так же расцениваю и сейчас, что ничего они там особо не искали, а то бы нашли. Им это было не нужно. Единственное, что было надо, это подтолкнуть ее решение уехать из СССР. Им был не нужен лишний человек, которому

я могу полностью доверять. То, что обыск был проведен сразу, как Наташа пришла с поезда, привезшего ее из Москвы от меня, преследовало и параллельную цель. А не прячу ли я чего-нибудь в Ленинграде?

Вскоре после обыска умерла Зочка. Ленинградский «Пушкинский дом» за годы, что мы в Горьком, все больше двигался к тому, чтобы совсем опустеть, — это началось со смерти Инки в октябре 1980-го. Наташа подошла к решению уезжать и вскоре получила вызов, а Ших прислал нам фототелеграмму с бессмертным четверостишием:

Наташа получила вызов,  
Увы, прощанье предстоит.  
И наш грядущий коммунизм  
Ее, увы, не осенит.

Я поехала в Москву своим обычным поездом, в 11 вечера уезжаешь, в 7.15 приезжаешь (если поезд не запаздывает, что бывает часто, — это не «Красная стрела» Москва—Ленинград). Я не помню никаких особых событий в этом пути, не помню, как себя чувствовала. Встречал меня Шиханович. Помню, что было холодно в Москве, идти надо было далеко по платформе. Шиханович рассказывал мне разные лагерные и другие неприятные вещи по дороге, пока мы шли. Приехали домой, попили кофе и... Собственно говоря, я в связи



с этим и приехала. Шиханович настаивал, чтобы мы праздновали дни рождения Лизы и Саши. Он говорил, что отъезд Лизы и рождение Саши — это наша общая победа. Когда она родилась, в Москве пили «За Сашу и нашу свободу!». И было решено, что все будут отмечать эти два дня рождения, тем паче, что в мой день рождения и в дни рождения мамы и Андрея меня в Москве в последние годы не бывает — я в Горьком.

Мы попили кофе, я дала Шихановичу деньги на разные покупки для Горького и на покупки к 20 ноября, к Лизиному дню рождения. Он должен был распределить, кто что будет готовить, а сам должен был купить вино и воду. В свой обеденный перерыв Шиханович пришел, принес часть покупок, вино он принес, это я точно помню. И, стоя на корточках около холодильника и укладывая что-то туда, рассказывал мне о разных московских делах, которые были не очень хороши. И у меня было такое чувство, что он ощущает, что находится на свободе последние дни, а может быть, часы. Раньше я за ним этого не замечала. Он ушел около двух часов. Вечером он снова пришел и отвез меня на такси к Гале. Мы с ним долго разговаривали, сидя на скамейке около ее подъезда. Шел небольшой снег, и снежинки мягко кружили в свете фонаря. К Шиху ластилась какая-то чужая собака. Впрочем, какая там «чужая» — Шиху все собаки свои.

На следующий день стало известно, что Шиханович арестован. Таким образом, Лизин день рождения мы

праздновали без него. «Праздновали» — это не то слово. Аля была чернее ночи, да и всем было очень трудно. Мы все привыкли, что Шиханович никогда не пропускает никаких праздников, и даже когда нет никаких сил и охоты праздновать, он заставляет нас. Его лозунг: «У нас слишком мало праздников, а они нам тоже нужны!» — пока он был на свободе, железно выполнялся благодаря его настойчивости.

В декабре Наталья уже фактически уезжала, хотя и находилась в фазе ожидания разрешения. Мы с Андреем были уверены, что дадут ей его очень быстро. В декабре она негласно приезжала в Горький проститься с Андреем. Они виделись дважды или трижды. Я видела Наташу только в день приезда. Я тогда так плохо себя чувствовала, что мне это было просто физически тяжело — вставать с постели, куда-то ехать. У Андрея уже полностью созрела уверенность, что голодовку ему объявлять необходимо и что он будет это делать. Он показывал Наташе черновик письма-обращения к ученым (дополнение 1) и письма участникам Стокгольмской конференции (дополнение 2). Знала Наташа и о том, что мы планируем, что я уйду на время голодовки в посольство — тогда речь шла о норвежском. Эти бумаги мы показывали ей, когда встретились в первый день втроем. Бумаги эти я носила на себе, а не Андрей в своей сумке — мы уже знали, что сумки воруют. Наташа была в Горьком 12, 13 и 14 декабря.

Пришел Новый год и прошел.  
Уйти в американское посольство? Арест.  
Андрей начинает голодовку. Допросы.  
Обвинительное заключение. Суд

За несколько дней до Нового года (похоже, в канун Рождества) меня попросили прийти в консульский отдел США. Там меня ждал доктор Стоун. Он привез Андрюше в подарок фотоаппарат и калькулятор. Сказал, что разговаривал с руководством советской Академии об Андрее, но, к сожалению (нашему), этот разговор не сопровождался никакой гласностью. А разговоры с глазу на глаз — это игра, которую советские власти даже поддерживают. И от них никогда никому проку никакого еще не было. Однако именно так действуют многие западные друзья моего мужа. Я сказала доктору Стоуну, что Сахаров вновь обращался к Президиуму Академии и президенту с просьбой помочь получить разрешение мне поехать на лечение и не получил ответа, что он решил вновь объявлять голодовку и что он написал письмо Андропову. Стоун сам попросил у меня это письмо и сказал, что он лично передаст его Велихову для передачи выше. Мы полагаем, что доктор Стоун

выполнил свое обещание. И это означает, что руководство Академии знало о предстоящей голодовке Сахарова, знало, чем вызвана ее необходимость. И так же, как в предыдущий раз, ничего не сделало, чтобы ее предотвратить!

Перед самым Новым годом в Горький приезжал Виталий Лазаревич Гинзбург. Он был у нас 29 декабря, и Андрей ему рассказал все о наших планах. Таким образом, круг посвященных расширялся, и Андрей считал, что это хорошо: чем больше людей будет знать, тем больше возможность того, что власти не захотят скандала и мне просто дадут разрешение. Возможно, это так и было бы. Но все, кто знал, мне кажется, считали, что это их знание — «вещь в себе» и они вроде как об этом не знают.

Пришел праздник Новый год и прошел. Мне эта зима была очень тяжела, я отсчитывала даты по принципу «дожить бы». Пришел старый Новый год. В начале февраля я ездила в Москву проститься с Наташей. Ехать провожать ее в Ленинград уже мне было совсем не под силу, хотя во время пребывания в Москве дела были и мне приходилось их делать, даже если «не под силу».

\* \* \*

Сегодня мне 63 года, по странной случайности или закономерности я нахожусь во Флориде, в Disneyworld'e. Воспринимается это как нереальное существование,

хотя и не ощущается сном. Я здесь с тремя своими внуками, о встрече с которыми много думала в Горьком. Может быть, потому, что Горький так далеко, не географически, а по-другому далеко, они мне казались другими. Я испытываю чувство неловкости при общении с ними и некоего не то что разочарования, а невстречи того, что думала встретить. Они оказались другие: не хуже и не лучше — просто другие. К ним надо долго присматриваться, а этого «долго» у меня нет и не будет. Видимо, поэтому я, в общем, никогда не смогу сказать, какие они, мои внуки. Во всяком случае, сейчас они увлечены Disneyworld'ом, как и взрослые, которые здесь со мной, как и я сама.

Я тут с очень хорошими взрослыми; сказать «друзья» — это сказать очень мало. И хорошие они не потому, что они наши друзья, а потому, что от них исходит некая аура приязни к миру и взаимной любви. Обращенная ими друг на друга, она согревает и тех, кто рядом.

Быть вместе с внуками и с друзьями, да еще в таком безоблачном месте, как Disneyworld, а он, этот мир, действительно безоблачный, ни одного облачка на голубом небе, а ночью — луна и звезды такие яркие, что кажутся сделанными, как и все в этом микромире, — было бы счастьем, если бы...

\* \* \*

Сегодня 15 февраля 1986 года. А 15 февраля 1984-го? Ровно два года назад в этот день... и потом!

Господи, сейчас вокруг меня температура 20 градусов с лишним, дети и Джилл ушли на пляж, где-то музыка, все земное здесь кажется таким беззаботным, и цветущие деревья сбивают с толку — где же зима? Два года тому назад день был холодный, ветреный и пасмурный. Мы с Андреем праздновали мой день рождения, как всегда, с традиционным пирогом, вином, свечами на столе. И, как всегда, вдвоем, вместе были счастливы. Потом я поехала в Москву. Я пробыла в Москве неделю, поехала в Горький. Приехала назад; в общем, я не помню, почему я моталась взад-вперед, какие-то дела у меня были нужные. В этот раз я тоже, как и всегда, встречалась с представителями американского посольства. Опять меня звал на чай посол Норвегии, и у меня был с ним разговор, когда он мне сказал, что норвежское правительство не может хлопотать по поводу моей поездки на лечение: это лучше и легче делать правительству Италии. Разговор этот вызвал у меня неприятный осадок, как будто мы просители, а не приглашены норвежским правительством<sup>1</sup>: и приглашают, и отмахиваются от того действия, которым могут реально помочь.

Приехала я в Горький, но числа 7-го или 8-го вернулась в Москву: у меня было договорено с детьми, что они будут звонить в начале марта, а кроме того, я хотела добиться консультации Сыркина.

Я сделала в Москве анализ крови и ЭКГ. Приблизительно в середине марта я лежала у Галки, где и была

консультация Сыркина. Когда я стала договариваться о консультации, у Гали сразу выключили телефон. Все переговоры с поликлиникой Академии наук — кроме первого моего разговора — Галя вела из телефона-автомата. За ней при этом, как за мной, ходили сотрудники КГБ: они, видно, боялись, что я к ней в дом приглашу иностранных корреспондентов. Когда я уехала в Горький, телефон ей снова включили.

Сыркин приехал не один, а с моим участковым врачом, Людмила Ильинична ее зовут, фамилии не знаю, и с врачом-мужчиной, фамилии которого тоже не знаю, — он был у меня дома вместе с другим врачом, заведующим отделением, когда был диагностирован инфаркт. После осмотра они закрылись и довольно долго, минут 40, а может, целый час, что-то обсуждали шепотом. Н. К., которая была при этом у Галки, пыталась подслушать через дверь, но ничего из этого не получилось.

Мне же они после своего совещания сказали, что я должна быть пока что очень осторожна: похоже, что я снова перенесла какие-то нарушения кровообращения, очаговые или микроочаговые. И Сыркин сказал, чтобы до тепла, не до календарной весны, а до настоящего тепла, я, по возможности, на улицу не выходила. С этим я вышла на улицу и поехала в Горький. Еще были назначены какие-то лекарства, которые я взяла с собой.

Был разговор с детьми по телефону, и мы договорились, что я буду разговаривать с ними 8 апреля. Исходя из этого я планировала, что выеду из Горького 7 апреля.

Когда я приехала в Горький в конце марта, у Андрея немножко побаливала нога, потому что он ударил ее мусорным ведром. В области колена был небольшой синяк, ссадина даже видна не была.

30 марта Андрея вызвали в горьковский ОВИР. Как ни странно, вызвали Андрея, хоть он никогда в ОВИР не обращался. Зав. ОВИРом сказала, что ей поручено сообщить, что ответ на его заявление будет после 1 мая. Андрей сказал ей, что он никаких заявлений в ОВИР не подавал, что заявление в ОВИР подавала его жена. «Я ничего не знаю, меня просили вам передать, и я передаю, что ответ будет вам 2 мая».

С этим Андрей пришел домой. Нога у него все больше болела, и, как всегда, когда что-нибудь болит, неизвестно откуда узнают, но появляются Феликс с Майей... Она посмотрела ногу, решила, что это тромбофлебит, и назначила согревающие компрессы, которые я стала ставить. На следующий день после прихода Майи приезжали физики, и Евгений Львович сказал, что появилась такая очень хорошая мазь троксевазин и она тоже хороша была бы Андрею.

Вместе с Евгением Львовичем в тот раз был, мне кажется, Линде, но я не уверена. Евгений Львович — мо-



жет быть, от Гинзбурга — знал, что Андрей собирается объявить голодовку, и у него с Андреем был очень длинный разговор. Андрей, который уже к этому времени принял твердое решение объявить голодовку, если мы не получим разрешения на мою поездку в самое ближайшее время, показал Евгению Львовичу разные документы, которые он написал, в частности обращение к коллегам, два обращения к Александрову. Евгений Львович очень возражал против решения Андрея о голодовке, впрочем, как и всегда. Он настоятельно убеждал, что раз Андрея вызывали в ОБИР и сказали, что надо ждать мая, то надо ждать мая. А Андрей считал, что это просто жульничество, в котором КГБ хочет перехватить инициативу. Кроме того, тогда мы этого не понимали, но позже стали понимать, что это приглашение в ОБИР вызвано еще и тем, что в самом деле КГБ хотело перехватить инициативу, но было решено действовать после 1 мая — видимо, заключение Сыркина и других врачей о моем состоянии возбуждало их опасения. Вызов в ОБИР был именно таким шагом со стороны КГБ: после него, рассчитывали они, Андрей будет ждать мая. Но Андрей как раз решил не ждать.

Мы по Майкиной рекомендации ставили два дня компрессы, но ноге стало хуже. Я перестала ставить компрессы. Несмотря на то что у него болела нога, Андрей считал, что отменять мою поездку не надо, и 7 апреля я поехала в Москву. Поехала с твердой договорен-

ностью с Андреем, что я уйду в американское посольство, а он начинает голодовку.

Мысль об уходе в американское посольство была вызвана тем, что Андрей боялся: если я останусь в Москве на Чкалова одна или, тем паче, в Горьком одна, то меня могут забрать в больницу или еще куда-то и со мной может вообще неизвестно что случиться, что мне небезопасно быть дома и поэтому я должна уйти в посольство. Вначале он думал, что лучше всего мне уйти в норвежское посольство, и просил меня еще зимой выяснить, есть ли в норвежском посольстве врач. Оказалось, там врача нет, и они сами, если им нужна срочная медицинская помощь, обращаются в поликлинику для дипломатов. Андрей считал, что это нам не подходит и в таком случае я должна уйти в американское посольство.

Надо сказать, что мне американское посольство совсем не нравилось: я думала и сейчас думаю, что, уйди я в американское посольство, ко мне еще легче было бы прилепить всякие названия вроде как сотрудник ЦРУ, сионистский разведчик или еще что-либо в этом роде. Правда, я не ушла, а все равно эти названия ко мне прилепляют, но хоть с меньшими, даже и на их взгляд, основаниями.

Я вообще была против того, чтобы мне идти в посольство: я не пятидесятник<sup>2</sup> и прекрасно понимаю, что посольство помочь в решении моей проблемы не может. Но и Андрей считал, что нам нужна не помощь по-

сольства — нам нужно только убежище для меня как таковое.

7-го числа у Андрея болела нога, но мы думали, что все это пройдет, по рекомендации Евгения Львовича мазали этим троксевазином, который у меня нашелся. Андрюша поехал меня провожать, в купе он сидел, подняв ногу на сиденье, потому что она сильно болела. Но мы оба не придавали этому особого значения. Я виню себя: я медицински более грамотна, должна была в этом случае насторожиться, — однако слишком волновалась, поскольку уже было окончательно решено, что я из Москвы не возвращаюсь. Это означало, что я иду в посольство, предварительно послав Андрею телеграмму с указанием даты, а он в этот день посылает телеграммы председателю Президиума Верховного Совета СССР и в КГБ и начинает голодовку. Кто у нас тогда был? Я уже забыла — Черненко, кажется, а может, и не Черненко. Так я была занята мыслями о предстоящей голодовке Андрея, что о ноге много не думала.

8-го числа я разговаривала с детьми. Мне кажется, дети поняли, что готовится голодовка, только не понимали, когда начнется.

Я встречалась с сотрудниками посольства, договорилась с ними, что они 12-го числа за мной заедут и повезут к послу. Документы, которые подготовил Андрей: обращение к послам и остальные письма, я должна была передать лично послу (дополнение 3). Так он хотел.

10-го числа ко мне неожиданно пришел Дима и сказал, что у него свободные дни и он едет к отцу. Я обрадовалась, дала ему кое-какие продукты и троксевазин, который уже к тому времени купила. Дала деньги на билет, и он уехал 10-го числа.

11-го вечером я пошла ночевать к Галке. 12-го я вернулась от нее в час дня, в два часа у меня была встреча с американцами. Я собрала сумку с вещами: белье, платье, какие-то книги, чтобы ехать с нею в посольство, — и в это время мне принесли телеграмму от Андрея: «Ноге хуже, рекомендуют госпитализацию, согласилась». Я оставила свою сумку недособранной и решила немедленно ехать в Горький. Спустилась к двум часам вниз. Еще не приехали американцы, вдруг вижу — бежит Галя, размахивая моим мешочком с лекарствами. Она пришла совершенно случайно, потому что я забыла свои лекарства, и она решила мне их принести. Я ей сказала, что получила телеграмму от Андрея и еду в Горький. Она не знала, как и никто из друзей, о планах насчет посольства, хотя, мне кажется, понимала, что что-то я делаю не так, как всегда.

Галя отдала мне лекарства и ушла. А в это время приехали посольские. Я им сказала, что к послу не поеду, — они, по-моему, очень растерялись от моих слов — и попросила отвезти меня на вокзал. Показала телеграмму от Андрея. Сказала, что еду туда, вернусь 2-го числа, что 3-го я их прошу приехать ко мне на встречу и что

по возвращении, видимо, состоится мое свидание с послом, если он согласится меня принять. По дороге на вокзал я вспомнила, что у меня в сумке, в конверте, лежат все Андрюшины письма послам и прочее. Я решила, что мне лучше не тащить это с собой в Горький, и попросила посольских сотрудников сохранить этот пакет. Я не давала им его для передачи кому-нибудь — я совершенно четко сказала:

— Я с вами 3-го числа встречу, и тогда вы мне отдадите эти письма, а ехать мне с ними не хочется.

Они поняли. Они отвезли меня на вокзал, я с ними попрощалась и купила билет на поезд на 4 часа дня, который прибывает в Горький в 12 вечера. Спустилась вниз, где буфет, и там же оказались кассы Аэрофлота. Я увидела, что есть билет на самолет на 6 часов вечера, который будет в Горьком в 7 часов. Свой билет я отдала тут же какому-то мужику, купила билет на самолет и позвонила Гале, что я еду к ней, потому что мне осталось до самолета еще три часа.

Приехала к Гале, поела, приехали Неля с Эмилом, которым мы позвонили, и отвезли меня в аэропорт Домодедово.

В Горький самолет прилетел почти вовремя, и домой я приехала в восемь вечера. Такси я не отпускала. Дома застала большой разгром и Диму, курящего и листающего все журналы, какие есть, подряд, — во всяком случае, весь стол завален разными журналами, и Дима

в этом царстве дыма и полном довольстве собой. Он сказал мне, что отец в больнице. Я поехала туда, меня не пустили, но взяли записку.

Я написала: «Приехала, не волнуйся, завтра утром буду у тебя. Целую. Люся». Вернулась домой. Утром поехала в больницу снова. Андрюшу я застала уже после того, как ему вскрыли нарыв. Они важно называли это «после операции». У него оказался карбункул в области коленного сустава, но сустав не был затронут.

Андрюша, очень растерянный, сразу мне сказал, что накануне, когда его привезли в больницу, во время обследования в рентгеновском кабинете и еще где-то его сумка оказалась не с ним. Он считает, что она была в руках КГБ. Из сумки исчезли адрес посольства, фамилии посольских сотрудников, с которыми я разговаривала, и еще какие-то бумаги. А копии писем послам, обращения и другие в сумке остались. Но Андрей считал, что сумка была не у него в руках, а сама по себе достаточно долго, чтобы могли успеть сфотографировать эти документы. Он был очень расстроен этим. Я ему сказала: «Наш поезд ушел, считай, что из-за ноги, считай, что из-за помойного ведра, — в этот раз надо остановиться». Он ответил: «Нет, ни за что не остановлюсь, я все равно буду делать то, что решил».

Чувствовал он себя вполне прилично. Я не понимала вообще, почему его положили, назначили строгий постельный режим, ногу упаковали в гипс, назначили сер-

дечные лекарства, ну, ладно, дают антибиотики, это еще оправданно. Этот день я провела полностью с Андреем, уехала в 8 вечера. На следующий день, когда я приехала, у него было хуже с сердцем. Врач сказала, что у него появилось много экстрасистол. ЭКГ ему делали. Я еще в этот день не спрашивала, какие медикаменты ему дают. И только на пятый день его пребывания в больнице после подробного разговора выяснила, что ему дают изоптин и дигиталис — и про то, и про другое по предыдущему его пребыванию в больнице было известно, что действуют они на него плохо. И вообще такую экстрасистолию, как у него — одна-две в минуту, — лечить не надо.

У меня был очень сердитый разговор с врачом об этом и о том, почему его держат лежащим, — лежать после такой операции совсем не надо, он вполне может встать и мог бы быть дома. Кроме того, я стала настаивать, чтобы меня оставили в больнице. Андрей тоже настаивал, чтобы его отпустили из больницы или меня оставили с ним, собственно второе — это была уже его идея, когда он понял, что отпускать из больницы они его не хотят. «Они» — это не врачи, конечно; врачи во всем были только исполнители. На то, чтобы меня оставили в больнице, мы разрешение получили. Скандал же с врачом по поводу медикаментов перерос уже в некий более широкий.

Врач пришла и сказала, что звонила Таня Сахарова и настаивала, чтобы папу лечили, чтобы папу никак не

выписывали из больницы, что у него много всяких заболеваний и даже дизентерия и что-то еще, какие-то заболевания, о которых я никогда не слышала; сейчас забыла, что Таня говорила. Через несколько часов снова пришла врач и сказала, что ей звонил «друг Сахарова доктор Ковнер» и настаивал, чтобы Сахарова держали в больнице, чтобы его лечили, не слушались его жены, которая против того, чтобы Сахаров получал нужное лечение.

Одновременно, как выяснилось от Феликса, который приходил, уже все в городе кругом говорят, что у Сахарова чуть ли не гангрена ноги, ему грозит ампутация, а я не даю его лечить. Причем сам же это рассказывает с возмущением нам, а с другой стороны, это же подтверждает, насколько возможно, везде и всем. И он, и Майя были в ужасе от того, что Сахаров так тяжело болен, а я вроде торможу его лечение; кажется, говорили, что у него сепсис (или, может быть, это говорил Ковнер). При этом Феликс говорил, что Ковнер сотрудничает с КГБ, а Ковнер говорил то же про Феликса. Из всего этого мы с Андреем только поняли: КГБ их здорово натравило друг на друга и на нас, вернее на меня. Ругать за что-либо Сахарова ни один из них не решался.

Тут еще возник у Андрея инцидент с Димой. Когда Дима приехал, он сказал, что ему 18-го надо выходить на работу, что он устроился работать наконец и приехал



до начала работы повидаться с отцом. 17-го числа Дима заявляет, что он никуда не поедет, что работать ему вообще не надо. Он не может оставить больного отца, не доверяет мне и желает ухаживать за отцом. Отец сказал какие-то резкие слова Диме, после чего Дима согласился уехать и ушел из больницы.

Как потом выяснилось, он не сразу уехал из Горького, а еще ездил к Марку жаловаться на меня, как я гублю отца, и к Майе и Феликсу с этим же. Но это все, в общем, не имеет значения ни для чего, кроме нашего настроения и душевного состояния.

Андрей уже больше не может быть в госпитале на людях. Ему продолжают делать перевязки, лекарств он уже никаких не принимает, но ЭКГ действительно с большим количеством экстрасистол. Несмотря на это он по собственному настоянию 21-го числа выписывается из больницы, договорившись с хирургом, что будет приезжать на перевязки. Потом на следствии мне скажут, что я заставила Андрея выписаться. И действительно, мы еще два или три раза приезжали на перевязки, потом Андрей меня спросил: «А что, ты сама это не можешь делать, что ли?» Я сказала, что могу. И он сказал: «Ну, я больше не поеду». И езда на перевязки на этом и кончилась. К терапевтам же Андрей не обращался, и, как там с экстрасистолией, было неизвестно. А препараты дигиталиса и изоптин он кончил пить еще в больнице.

Числа 24-го мы взяли мне билет на самолет, и я послала Галке телеграмму, что прилетаю 2-го числа, что встречать меня не надо и что приеду прямо к ней. Но в Москве они все же решили, что встречать надо, и то ли Леня Литинский, то ли кто-то еще поехал меня встречать. Значит, друзья в Москве были чем-то обеспокоены: поведением КГБ или еще чем-то, — потому что обычно, когда я писала, что встречать не надо, они мне верили; я писала, что встречать надо, — они встречали. Мы до 2-го числа жили спокойно и нормально, хотя уже внутренне я вся тряслась, как и в апреле, от ужаса перед тем, что мне надо ехать в посольство, что Андрей начинает голодовку. И одновременно я думала, что из всего этого ничего не выйдет. Ведь мы оба знали, что ГБ все известно, и остановить это я уже не могла, а Андрей уж, конечно, не остановит.

И с этим настроением 2-го числа мы едем на аэродром. Я до сих пор не могу понять и думаю, что Андрей тоже, зачем у меня в сумке лежат заново им написанные письма послам, обращение и все прочее и копии моих писем Андрею и детям, где тоже говорится о голодовке и о том, что я уйду в посольство. Зачем они у меня были? Зачем я их таскала с собой? Я не понимаю этого до сегодняшнего дня, ведь все они были (ну, может, Андрюшины письма не в таком варианте) в том конверте, который я передала американским дипломатам.

Мы оба очень волновались в ожидании посадки. Я сидела, Андрей стоял рядом, держал мою руку. И снова: «Кто может знать при слове расставанье...». Эти слова стали лейтмотивом нашей горьковской жизни. На аэродроме, когда повели к самолету, меня обступили человек пять, я оглянулась на зал, но никого не увидела. Они меня отделили от других пассажиров, взяли под руки и провели к машине — такой маленький рафик, похожий на воронок. Я сразу поняла, что арестована, тем паче, что, когда мы прощались, мы уже ожидали чего-то в этом роде.

Завезли в другой конец аэродрома. Небольшое приземистое здание, второй этаж, кабинет какого-то начальника, там две женщины в форме МВД и высокий мужчина в штатском. Он представляется: старший советник юстиции, еще что-то (так и не помню всех его званий) Геннадий Павлович Колесников<sup>3</sup>. Предъявляет мне обвинение по статье 190<sup>1</sup> и постановление об обыске; что точно было написано в этих бумажках, я не помню.

Меня провели в соседнюю комнату, где две женщины сделали личный обыск и обыск моих вещей — всего одна сумка. Отобрали только копии бумаг, которые были в том конверте, что я в Москве отдала дипломатам. Ясно было, что Колесников уже с ними знаком, потому что он на них едва глянул.

Сегодня передо мной эти документы и два моих письма — то, что было тогда забрано на обыске. Эти письма

должны были оказаться в Ньютоне до голодовки Андрея и до моего суда (мы ведь не предполагали, что меня ждет суд). Сегодня, когда я пишу и, отрываясь от бумаги, вижу в окно тихую, зеленеющую, такую провинциальную ньютонскую улицу, они мне кажутся излишне трагическими, прощальными. Но в них мое тогдашнее ощущение, то, как нам было тяжело принимать решение и как я неоптимистично смотрела на затеваемое нами. Сейчас я бы так не написала, но я не могу их переделывать. Андрей их переписал тогда своей рукой (привычка делать копии). Эти копии и дошли сюда спустя два года с припиской Андрея: «Письма написаны Люсей в апреле 1984». Хочу я этого или нет — эти письма уже стали документами, и поэтому я помещаю их в книгу.

Мои родные, ненаглядные мои мамочка и дети! Простите, что этим письмом я не советуюсь с вами, а ставлю вас в известность о нашем решении. Но Андрей не видит другого пути. С сентября я уговаривала его пересмотреть это решение. Но для него в сегодняшней нашей ситуации бездействие стало невозможным, и он жаждет моего излечения и моей встречи с вами, может, даже больше, чем я. Мы знаем, что многими это будет воспринято как политический акт, но какая политика стремится стать хоть чуть здоровей и увидеть маму и детей. Многие будут вновь говорить, что Андрей занимается мелочами. И осуждать — конечно, меня. Это

вам надо пережить. Вы знаете нас лучше, чем кто-либо, и вам не надо объяснять, как мы неразделимы. Я хочу, чтобы мое письмо смягчило и утишило вашу боль.

Я не так мало прожила на свете. Было много горя — гибель папы в тюрьме, осколок, нашедший Севу где-то под Любанью, безвременная смерть Игоря, потеря друзей, смерть Инны. И моя непроходящая вина, что в революционно-романтическом порыве бросилась спасать отчизну и человечество, оставив в Ленинграде, ставшем блокадным, бабушку с двумя детьми; а сейчас в странном горьковском изгнании ничем не могу помочь одинокой и больной Раиньке и тебя, мамочка, отдала на попечение детей.

И все-таки жизнь сложилась счастливо. Я всегда любила то, что делала: любила крик новорожденных, и своих девчонок, и то, чему их учила, еще раньше любила быть медсестрой и позже в мединституте даже сомневалась, может, и не надо становиться врачом; любила свой женский труд — мыть окна, готовить, стирать и мыть полы; любила литературный труд (самый для меня трудный) и гонорар за него. Любила танцевать, любила друзей и нашу кухню — «трактир веселых нищих». Всю жизнь была со мной моя первая любовь — я как будто никогда не расставалась с Севой. Остались солнечные годы с Иваном, и ваше рождение, и как вы росли, и было жалко, что перестанете быть маленькими. И потом — теперь — та невероятная, невысказанная

человеческая близость, которой судьба наградила нас с Андреем.

Жизнь свершилась счастливо. Я бесконечно благодарна вам, Таня и Алеша, за то, что вы, мои дети, — мои самые близкие друзья. Я счастлива, что мои зять и невестка — Рема и Лиза — мне свои, а не чужие (это так нечасто бывает). Как безмерно я благодарна тебе, мамочка, за Таню и Алешу — за то, что они хорошие люди. Нам с тобой, мама, невероятно повезло: они всегда были душевно близки с нами — это наш с тобой ТРУД, и ты вправе им гордиться. Я хочу, чтобы ты жила подольше: ты для детей — это наша семья, наш дом. Чем дольше ты будешь с внуками и с правнуками, тем крепче будет их связь друг с другом во всей их жизни. И найди, мамочка, найди в себе сил побыть с детьми. Я тебя очень люблю. Прости за все недоданное тебе тепло, за взрывчатый характер — я всегда старалась быть добрей, но всегда не получалось.

Мои маленькие, мои большие Таня и Алеша, все мои восемь детей. Пусть навсегда с вами будут наши общие друзья и вместе пройденные дороги, и наши костры, и дикий берег, и город, где родились, и все другие наши общие города; музыка, которую вместе слушали, картины, которые вместе смотрели, книги, которые вместе читали, стихи, которые вместе любили. Я прошу вас хранить вашу близость и нашу семью, дух нашего дома — это вам в помощь, и это так нужно вашим де-

ням. Заботьтесь о бабочке, помните Андрея. А я всегда буду с вами.

Я хочу, чтобы это письмо не было прощанием, а было залогом нашей встречи. Целую вас. Мама.

Андрей, милый! Наша жизнь независимо от нас стала во всем гласной, обсуждается прессой, знакомыми и незнакомыми людьми. Поэтому я пишу это письмо всем, кто захочет понять, откликнуться, помочь. Я устала от клеветы, от травли, от милицейских постов, постоянной слезки — беззаконности всего, что с нами происходит. Я устала от бездомности, от ощущения ненависти твоих детей, от неверия им и ожидания, что кто-то из них тебя предаст. Я мучаюсь оттого, что мы ничем не можем помочь друзьям; сомневаюсь, не бесплодны ли страдания тех, кто сейчас в Мордовии, Перми, Казахстане. Я стыжусь глаз их мам, жен, детей — мне кажется, они думают, что ты можешь помочь. Но я знаю, что ты не можешь! Вижу только, что реальны наши безмерная дружба и уважение к ним; да посылки с бандеролями. Моя мечта — не все с ней согласны: один самолет им всем, все равно на кого их менять, только бы была свобода. Я устала от разлуки с мамой и детьми, от того, что все беды, все границы мира и борьбы за мир — идут прямо через меня, через мое сердце: они девять там, а ты и моя судьба — здесь. Я люблю тебя, благодарна тебе за это, и никакая усталость неспособна разрушить

это чувство. Я очень устала от болезни. Мне нечего добавить к твоим соображениям, почему я не могу лечиться в СССР. В сентябре ты решил начать бессрочную голодовку, чтобы добиться разрешения на мою поездку. Я, как могла, оттягивала начало голодовки. Не жалость, не тревога за твоё здоровье, не страх за твою жизнь удерживают меня. Я знаю, что это твоё решение и что любые действия для тебя сейчас легче бездействия. Этому не понимают даже многие друзья (о недругах не говорю) — и обвинять будут меня. Мне кажется внутренне неправильным, что ты хотел проводить голодовку один. Я ведь тоже хочу (если медицина сможет) продлить свою жизнь, и я не хочу жить без надежды увидеть ещё раз маму и детей. Добиться этого не должен ты один. Тринадцать лет мы не разделяли наши труды и наши беды, не должны разделять их сейчас. А достанет ли нам обоим сил — это «нам не дано предугадать». ...Я пишу это письмо с надеждой. Люся.

Не помню ни одного вопроса на первом допросе, однако помню свой ответ. Он был один и тот же на протяжении всего следствия. Иногда в беседе со следователем я говорила какие-то другие вещи, но для протокола, для записи существовал только один этот ответ:

«Так как никогда и нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений,



порочащих советский государственный или общественный строй, а также государственный или общественный строй других государств, а также частных лиц, в следствии не участвую и на поставленный Вами вопрос не отвечаю».

Этот ответ, конечно громоздкий и довольно длинный, повторен мною во всех вопросах. Несколько раз следователь говорил, что, может быть, будем кратко записывать ответ, но я не соглашалась, и он всегда записывал ответ полностью, таким длинным и таким нескладным. В конце концов с меня была взята подписка о невыезде из Горького.

На первом допросе я заметила, что кисть правой руки у Колесникова деформирована ранением и писать ему трудно. Наверное, не убыло бы в моей позиции, если б я согласилась, чтоб он писал «ответ тот же», как он предлагал, а не тот длинный и громоздкий, который я сочинила.

Обыск и первый допрос продолжались более двух часов — я думаю, часа два с половиной, если не все три. После этого мне дали повестку на допрос на 3-е число, посадили в тот же самый рафик и повезли домой. Везли меня человек пять, наверно, если не больше. Когда я вышла из машины около нашего дома, ко мне обратился какой-то мужчина и сказал:

— Елена Георгиевна Боннэр? Разрешите представиться.

Я испугалась, что это какой-то проситель на виду у всего ГБ пристаёт ко мне, и стала ему говорить:

— Уходите, вас сейчас задержат.

А он говорит:

— Разрешите представиться — начальник УКГБ по Горьковской области.

Положение какое-то дурацкое. Я на него смотрю и не очень знаю, что я должна сказать. И с этим «не очень знаю» иду к лестнице и прохожу в подъезд. Он идет за мной. Я иду мимо милиционера, прямо в дверь, и он за мной в квартиру.

Андрей бросается ко мне:

— Люсенька!

Я ему говорю:

— Андрюша, это начальник ГБ Горьковской области.

А надо сказать, что к этому времени мне ужасно захотелось в уборную; если учесть, что из дома я выехала четыре часа назад и давно должна была быть в Москве, то это вполне понятно. Я прямо ставлю сумку на пол и бегу в уборную. Когда я выхожу, то здесь уже полный крик. Разговор идет на самых высоких тонах. Начальник КГБ кричит, что «о ней я вообще разговаривать не хочу. Боннэр является американской шпионкой, сотрудником ЦРУ и сионистской разведчицей. Будем судить ее по 64-й статье. А вот вы...» — и чем-то грозит Андрею. Андрей кричит ему совершенно не помню что. Тот вылетает через дверь, продолжая выкрикивать уг-

розы по моему адресу, а Андрей бежит в коридор за ним и что-то кричит ему. Спустя несколько секунд Андрей возвращается, и тогда выясняется, что Андрей уже начал голодовку. Он видел, как меня посадили в машину и увезли, и понял, что меня арестовали. Вернувшись домой, он сразу послал телеграмму председателю Президиума Верховного Совета и КГБ о том, что начинает голодовку за мою поездку. Пришел после этого домой, принял слабительное, сделал себе клизму и уже сидит, попивает водичку. И уже все мои многомесячные возражения, начинать ли голодовку, имеет ли это смысл, — повисли в воздухе.

Я ему рассказала, что мне предъявлено обвинение, что с меня взята подписка о невыезде и что формально я в данный момент нахожусь под следствием и завтра надо являться на допрос. На этом «рабочий день» 2 мая у нас кончился.

Можно считать, что вызов Андрея в ОВИР 30 марта был вполне оправданным: они дали ответ после 1 мая, начав против меня 2 мая следствие. Андрей был прав, когда говорил о вызове в ОВИР, что это КГБ хочет перехватить инициативу.

3 мая на допросе я не была. Такси не сумело подъехать к прокуратуре — там закрыто движение, — а пешком я не пошла, плохо себя чувствовала. 4-го я явилась на допрос, мне 3-го принесли повестку на 4-е. О чем был допрос, я не помню, ответ всегда был один и тот же,

как я уже говорила, и поэтому у меня очень плохо в памяти сохранились вопросы, хотя я все старалась записывать. 4-го вечером по телевизору была передача, где сказали, что я вступила в преступную связь с американскими дипломатами и еще что-то в этом роде. 5 мая был день без особых событий.

6-го Андрей чувствовал себя еще вполне прилично, хотя это был уже четвертый день голодовки. Я решила сажать цветы. Андрюша начал вскапывать клумбу перед балконом, а я на балконе возилась с землей в ящиках. Это было часов около 12, может начало первого, когда к Андрею довольно близко подошла Ирина Кристи. Она была одета в бежевый плащ, у нее в руках была сумка, а в сумке букетик цветов. Андрей — как всегда с ним бывает, если он не подготовлен, — не узнал ее. Я ее узнала сразу. И сразу начала говорить, что меня задержали на аэродроме, что против меня начато следствие и что Андрей голодает со 2-го числа. Я ей сказала, что следствие начато по 190-й статье, но одновременно меня заманивают, пугают 70-й или даже 64-й. (А 70-я выплыла на допросах, потому что Колесников все говорил, что это не 190-я, это гораздо больше, это 70-я, 64-й он не называл ни разу — о 64-й говорил начальник КГБ.)

Все это я объяснить Ире не успела: набежали гебешники и Иру утащили, буквально уволокли в соседний дом, в помещение, которое они называют «опорным пунктом охраны порядка». Когда ее оттуда вывели, мы не

видели, хотя ждали у окна по очереди почти весь день. Я все жалела, что мы не успели взять у нее цветочки.

Это было 6-го числа. 7-го мы пошли на допрос. На допрос я была вызвана во второй половине дня, где-то часа в три. Поехали мы на такси. Я была у Колесникова, а Андрей сидел в коридоре. При нем была сумка и термос с горячей водой, которую он попивал. Допрос был какой-то вялый, недолгий, в конце допроса Колесников сказал, что ему надо поговорить с Андреем и не против ли я, если он его вызовет в кабинет. Я не возражала, он его позвал и сказал: «Андрей Дмитриевич, за вами приехали врачи, вам надо ехать в больницу». Андрей стал протестовать. В это время вошли несколько человек в белых халатах, человек пять-шесть опять же, и предложили ехать в такой форме, что возражать им было явно бессмысленно. Тогда Андрей попросил, чтобы разрешили мне ехать с ним в больницу. Они разрешили.

Нас привезли в больницу на «скорой помощи» и провели в ту же палату, где мы лежали вместе после Лизиной голодовки и Андрей один, когда у него болела нога. Одна кровать в палате была занята мужчиной. Нас ввели в палату и на некоторое время оставили одних — впрочем, не совсем одних: этот мужчина из палаты не выходил. Надо сказать, что у меня в эти дни очень болела спина, я вообще чувствовала все эти дни себя плохо и полуприлегла на Андрееву кровать, и Андрей тоже прилег рядом со мной. В это время пришел Обу-

хов<sup>4</sup> и сказал, что мне надо уйти. Андрей стал спорить и настаивать, чтобы меня оставили с ним, как было в предыдущее пребывание его в больнице. Обухов категорически возражал против этого, а потом предложил, что я могу остаться в больнице, только в другом отделении и в другой палате. Он так это сказал, что было совершенно ясно — обманывает. Андрей на это не соглашался. Вошли несколько мужчин, и мы поняли, что меня будут удалять силой. Я встала с постели. Андрей тоже вскочил и обхватил меня, стоя сзади, поперек живота двумя руками. Меня стали вырывать из его рук. Он меня тянет к себе, а меня вырывают. Тут я на какое-то мгновение ничего не помню — просто не помню, как я оказалась в коридоре. Меня силой вырвали; может быть, я даже на мгновение потеряла сознание. Утверждать я этого не могу, но как оказалась в коридоре, я не помню. Я только слышала, как Андрей что-то кричит, но, видимо, его держали там силой в комнате, в коридор он не выбежал. Меня потащили по коридору на весу, как детей за руки тащат.

В конце коридора поставили на ноги, дали мне мою сумку в руку — значит, кто-то из них ее нес. Мы на лифте спустились вниз, меня посадили опять в машину и отвезли домой. Это было около восьми вечера.

Осталась я одна — как провела ночь, не помню. Утром разбудил меня звонок в дверь. Когда я открыла, в квартиру вошли Колесников, какие-то две женщины с ним, од-

на в милицейской форме, несколько мужчин и понятия — две женщины из нашего дома. Они предъявили постановление об обыске. Это было около девяти утра, и начался обыск, долгий, нудный. Забрали они безумное количество, всего 319 наименований, причем некоторые — наименование одно, а содержит папку в 300 страниц, папку в 119 страниц. Забрали много книг, все английские, немецкие. Забрали, конечно, и пишущую машинку, и магнитофон, и фотоаппарат, и киноаппарат, и, самое главное, радиоприемник. В общем, забрали все, что можно. Обыск был нарочито тщательный: выстукивали стены, выстукивали мебель, искали всякие тайники. Очень странно и неожиданно для меня было, что в конце обыска приехал еще какой-то мужчина в штатском и в разные пробирки забирал образцы продуктов и образцы лекарств, видимо на наркотики. Ну, тут была одна накладка. У меня вообще все продукты в стеклянных банках с надписями, а одна баночка без надписи. Там какой-то желтовато-грязный кристаллический порошок. Он меня спрашивает: «Что это такое?». Я говорю: «Понятия не имею». Он растирал между пальцами, нюхал, потом взял в пробирку. Потом взял всю эту банку, и, уже когда они ушли, я вспомнила, что Андрей одно время покупал йодированную соль, это она и есть. Я ею не пользовалась и совсем забыла, что это такое.

Ушли поздно, в 10 часов. Я легла спать, вернее, не легла, а повалилась и как провалилась в сон, такая была усталая.

На следующий день, 9 мая утром, я решила ехать в больницу, взяла такси, по дороге попросила таксиста свернуть к маленькому рыночку купить цветов. Я видела, что за мной едут две гебешные машины. Когда я подошла к женщине, которая продает цветы, выбрала тюльпаны и, расплачиваясь, держала их в руках, ко мне подошли два гебешника и спросили, что я делаю. Я сказала: «Что, не видите, цветы покупаю, а что? Нельзя?» — «Нет, цветы можно, — сказал один из них. — Но в больницу нельзя. И не вздумайте подъезжать даже близко. Вас все равно туда не пустят, а у вас будут большие неприятности». Я сказала, что больше уж некуда, все неприятности, которые могут быть, уже есть.

В больницу я не поехала. Ну что ехать! Силой прорываться бессмысленно. Никуда я силой не прорвусь. И вернулась домой. Таким образом я провела 9 мая, не увидев Андрея, расставив по всему дому цветы, которые собиралась отвезти ему.

Надо заставить себя делать что-то. День солнечный, ясный, весенний. У меня перед балконом вскопана земля, и я пошла сажать цветы, сеять семена, которые у меня были собраны еще прошлой осенью. В общем, довольно долго возилась во дворе. У меня, конечно, была еще мысль, что так как 9 мая — нерабочий день, то, может, кто-нибудь объявится из москвичей или ленинградцев и будет хорошо, если я на улице все это время.



Гебешники ходили вокруг, и я не видела, чтобы кто-нибудь объявился из своих или кого-то потащили в их штаб — опорный пункт.

Ну, дальше пошли допросы. 10 мая меня стали допрашивать о Лесике Гальперине и об Ирине Борисовне Исат. «Понятия не имею, кто это такая», — сказала я следователю, нарушив тем самым свое правило отвечать на все вопросы так, как на первом допросе. Правда, для протокола было записано, как всегда. Но я ему (это был первый непротокольный разговор) сказала, что я действительно понятия не имею, кто она такая, и меня это очень интересует. Так он мне и не объяснил, кто это. И я решила, что это жена Лесика Гальперина Ирина, так как ни фамилии ее девичьей, ни, тем более, отчества я не знала.

Допросы продолжались все эти дни. Числа 16-го или 17-го я получила телеграмму от Димы, Тани и Любы. Текст этой телеграммы приведен Андреем в письме маме и ребятам в Бостон (см. дополнение 11). Для меня она была тяжелым добавлением ко всему, что уже случилось, и самое неприятное было то, что телеграмма стала чуть ли не ведущей темой в ближайшие дни на допросах. Колесников меня все время спрашивал об этом, все время доказывал мне, исходя из этой телеграммы, что меня еще надо судить и по статье 107 или 103 — это принуждение к самоубийству и прямо «умышленное убийство». Я послала ответ, тоже телеграфный, на Лю-

бин адрес, потому что других адресов я не знала, у меня на обыске забрали все записные книжки. Я могла пользоваться только тем, что помню.

Я написала Любе, что я не знаю, что с отцом, с 7-го числа, что остановить его голодовку и спасти его я не могу и что их телеграмма... Ох, я не помню, что я им ответила. Только я им написала, что понимаю: не Люба — инициатор этой телеграммы, а отвечаю я на ее адрес, потому что у меня нет другого. Это я помню, а остальное не помню.

И следовательно, когда меня потом допрашивал, все время упрекал за этот ответ, за то, что я им написала, что я не знаю, что с отцом сейчас происходит, и никакой связи у меня с ним нет, это вроде как я неправду говорю, в то время как прекрасно знаю, что отца лечат и он находится в больнице, и что именно это я должна была написать его детям. Тогда я не понимала, почему именно в эти дни была телеграмма, почему именно в эти дни им было важно такое давление на меня. Теперь, уже постфактум, я знаю, что 11-го у Андрея был спазм или инсульт, резко ухудшилось состояние, и эта телеграмма им была нужна на всякий случай, если они потеряют Андрея из-за насильственного кормления. И для этого же им, возможно, был нужен какой-нибудь свидетель. Тогда я этого не понимала, поняла только потом, когда Андрей вернулся и рассказал, что с ним было.

И свидетеля на всякий случай, кажется, сделали.

18 мая произошло совершенно неожиданное для меня событие. Часов в шесть вечера вдруг звонок в дверь, я открыла: стоит дядя Веня, убирающий паспорт в карман — предъявил охране, — и его ко мне милиционер пропускает.

Здесь надо рассказать, кто такой дядя Веня. В 77-м Андрюша, я и Мотенька отдыхали в Сочи. И на пляже мы познакомились, вернее Мотя познакомился и привел ко мне этого человека: «Это мой новый друг дядя Веня». Мы представились: «Вениамин Аронович» — «Елена Георгиевна», — о чем-то говорили, сидя у воды и кидая камешки в волны. Дядя Веня пошел нас провожать. Оказалось, что он в той же гостинице, собирался идти с нами вместе обедать. Тогда я решила, что мне уже надо сообщить, кто я такая, и сказала, что мы с Мотенькой не возражаем, но мы должны зайти за дедушкой, за моим мужем, и мой муж — академик Сахаров. Я считала необходимым сообщить об этом новому случайному знакомому: а вдруг он не захочет неприятностей, связанных с именем Сахарова, но дядечка Венечка не испугался, а даже очень обрадовался, стал говорить, как он уважает Сахарова, хотя даже в мечтах не мог представить реального знакомства с ним. Обедать мы пошли вместе и все оставшиеся дни в Сочи проводили вместе.

В следующие годы, в 78-м и 79-м, мы тоже ездили на юг, уже без Моти, без детей, которые уехали. И каждый

раз, когда мы были на юге, дядя Веня приезжал и тоже отдыхал одновременно где-нибудь неподалеку, так что мы много времени проводили с ним. Это было и приятно, и весело, он очень симпатичный человек.

Теперь дядя Веня рассказал мне такую историю. Он знаком и близок по работе с представителем Олимпийского комитета. По радио дядя Веня услышал о голодовке и обратился с просьбой к нему помочь устроить свидание с Сахаровым: он, мол, попытается остановить голодовку, потому что считает, что голодовка — это очень страшно для здоровья Сахарова. И ему, как он сказал, разрешили приехать навестить меня и навестить Андрея в больнице. Он стал уговаривать меня написать Андрею, чтобы повлиять на него и остановить голодовку. Я сказала дяде Вене, что ничего подобного я писать не буду, что раз Андрей начал голодовку, хотя я и была против, то теперь я вмешиваться в это и действовать так же, как те, кто ее не одобряет, или как его враги, не буду. Как будет, так будет.

Дядечка Венечка поужинал у меня и ушел в гостиницу. Обещал заехать ко мне, рассказать, как Андрей, так как он считал, что на следующий день его пустят к Андрею. И действительно, на следующий день, 19-го числа днем, дядя Веня заезжал ко мне — правда, меня не было дома. Он оставил записку, которую мне передал милиционер. В записке было сказано, что он торопится на самолет и поэтому ждать меня не может, что он ви-

дел Андрея, что Андрей в хорошем состоянии и что у него хорошее настроение.

Я поверила этой записке и только потом, когда Андрей вышел из госпиталя, узнала, что это были как раз самые тяжелые для Андрюши дни. Он еще плохо ходил, не мог писать, у него были задержки с речью, так что ни о каком хорошем состоянии и настроении говорить не стоило бы. И именно в эти дни приезжал дядя Веня, именно в эти дни была телеграмма от детей. Теперь я думаю, что дядя Веня был нужен (приготовлен) тоже вроде как живой свидетель того, что он меня уговаривал повлиять на Андрюшу, чтобы он не голодал, а я отказалась. Это я так думаю, но утверждать, что для этого приезжал дядя Веня, не могу. Было ли это его собственным порывом, и его пустили по какому-то большому благу, или он был свидетель от КГБ? Не хочется думать, что все от КГБ, но и по-другому думать очень трудно, почти невозможно.

21 или 22 мая (думаю, что 22-го: если бы это было 21-го, я бы запомнила — ведь это день рождения Андрея) меня не вызывали на допрос, и ко мне в середине дня приходила женщина, сказала, что она медсестра из больницы. Она приехала по поручению заместителя главного врача взять для Андрея очки, зубы и книгу о Паскале. Я все время до этого как раз думала, что, когда его утащили в больницу, он был без съемного протеза. Ему все время мешал протез, он его часто снимал.

Все это она сказала на словах, причем было сказано так: «Очки для дали, зубной протез и Паскаль» — какое-то очень домашнее название книги. Это книга из серии «Жизнь замечательных людей», я ее читала как раз перед тем, как Андрея забрали, и мы ее много обсуждали. Но вряд ли Андрей постороннему назвал бы ее так просто, без автора и без ничего. И поэтому я решила, что была записка. Я сказала этой женщине, что я все дам, когда мне отдадут записку от Андрея. Она сказала, что она ничего не знает и никакой записки ей не давали, и с этим уехала.

Допроса не было еще два или три дня. И потом утром — звонок в дверь. Появляется Колесников со слесарем из нашего дома и еще какой-то женщиной и с этой медсестрой — оказывается, он приехал с постановлением о выемке очков и зубов, слесарь и женщина из нашего дома — понятые. Следователь начал читать мне нотацию о том, какая я плохая жена и что я явно хочу, чтобы Андрей Дмитриевич продолжал голодовку, раз не отдаю ему зубы. Я снова повторила, что уверена, что была записка от Андрея Дмитриевича, и, если мне ее передадут, я сразу отдам. Но это мое «если» уже не имело значения, уже было постановление о выемке. Представить себе, что снова будут делать обыск и перерывать весь дом, а потом все это мне надо будет приводить в порядок, было невозможно. И я собрала очки (причем очки разные, у Андрея мно-

го пар очков), зубы. Про Паскаля я забыла, а принесла трехтомник Пушкина.

Следователь очень удивился — или сделал вид, что удивился, — тому, что я дала несколько пар очков. Я говорю, что Андрей Дмитриевич в разных случаях любит носить разные очки. Я даже сказала: это для еды, у него есть особые очки. Однако он повел разговор о том, что только плохая жена не знает, какие очки мужу нужны, но потом все очки взял. А про Пушкина сказал: «А зачем ему Пушкин?». И мне как-то очень трудно было объяснить, что Пушкин может быть нужен всегда, в любом случае жизни. Вот это и есть то самое, что называется «другая ментальность» — кому и зачем нужна поэзия. Но Пушкина он все-таки тоже взял. Еще я попросила передать карандаши и бумагу. Все это у меня взяли. Дату, когда это было, я не помню. Мне кажется, 26 или 27 мая. Потом от Андрея я узнала, что ему отдали только одну пару очков, остальные вернули при выписке. То же произошло и с трехтомником Пушкина, его Андрею не передали, но при выписке вернули. Очевидно, и то и другое было принято за некие условные знаки — может, мы так заранее сговаривались (о чем?), — и не отдали.

На очередном допросе Колесников неожиданно вспомнил о документах, забранных у меня на обыске 2 мая: об обращении Андрея к послу США, моих письмах и обращении. Позже они были приобщены к делу,

включены во второй том, но на суде никак не фигурировали. Колесников сказал, что посол США Хартман провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что я должна была укрыться в посольстве по согласованию с американскими дипломатами\*. Но я знала, что американские дипломаты не знали наш с Андреем план, и не поверила следователю. Тогда он процитировал мне какие-то куски из статьи в газете «Известия» (см. дополнение 8), но полностью прочесть статью не дал. Ее содержание я узнала, когда Андрей вернулся домой в сентябре и мы с ним съездили в читальню на улице Бекетова (это довольно далеко от нашего дома) и провели там почти два часа, чем очень разозлили нашу охрану. Но Андрей за это время переписал статью полностью.

На следующем допросе следователь сказал, что доктор Стоун написал статью, в которой упрекает меня за то, что Сахаров из-за меня уже трижды был вынужден голодать. Что это была за статья и была ли она вообще,

---

\* 18 мая 1984 года не названный по имени «старший сотрудник» посольства подтвердил в разговоре с американскими журналистами, что перед отъездом в Горький Е. Г. Боннэр оставила в посольской машине письмо, содержащее просьбу о предоставлении убежища. Однако посольство отрицало, что его сотрудники обсуждали с Е. Г. Боннэр возможность предоставления ей убежища.



я не знала до приезда в Соединенные Штаты\*. Здесь я ее прочла, и она меня поразила. Доктор Стоун в ней просто повторил все, что обычно говорят администраторы советской науки о Сахарове и обо мне. Он просто не заметил, как его «воспитали» во время его нередких поездок в СССР.

Потом допросы продолжались еще несколько дней. И около 5 июня следователь на допросе прочел мне записку от Андрея. В записке, собственно говоря, ничего не было конкретного о здоровье или еще о чем-либо, были какие-то интимные слова мне о том, как он скучает и как тяжела разлука. Я понимала, что записка написана им — никто другой этих слов не написал бы, однако мне записку в руки не дали. Тогда я не понимала, почему, и уже только потом, когда Андрей вышел из больницы и мне стало известно о его состоянии в это время, я поняла, что, видимо, эта записка была написана еще не вполне хорошим почерком.

---

\* В статье «Бунт ученого» («Интернейшнл геральд трибюн», 1984, 29 мая) Джереми Стоун, в частности, писал: «...Так что, когда в спровоцированных КГБ статьях Сахаров обвинялся в том, что он попал в плен сионистского агента Елены Боннэр, там среди антисемитской грязи была крупница истины: жена Сахарова радикализовала его мышление, и он полностью ей предан. Не случайно две из трех голодовок Сахарова проводились в защиту ее интересов...»

Тогда же мне разрешили сделать Андрею первую передачу через следователя. После того как у меня взяли зубы, я считала, что Андрей снял голодовку, и все время просила разрешения на передачи. Наконец мне разрешили передать соки, помидоры, ягоды и зелень. Во время следствия Колесников несколько раз передавал мне записки от Андрея, не регулярно, всего пять или шесть записок, хотя он написал много больше, — мне передали не все. Иногда из текста записки было понятно, что предыдущая ко мне не попала. Но то, что большинство записок не передано, я узнала, когда Андрей был уже дома. У меня также брали записки, обычно в ответ на Андрюшины, и два раза в неделю брали передачи: ягоды и овощи.

В середине или в конце июня на одном из допросов я подала заявление Колесникову, что я настаиваю на встрече с мужем, которого не видела с 7 мая и не знаю, что с ним. Спустя неделю, когда я пришла на очередной допрос, в кабинете у следователя уже был какой-то мужчина. Колесников мне сказал, что для ответа на мое заявление он вызвал зам. главного врача Толченова. Зам. главного врача заявил, что Андрей Дмитриевич находится в больнице по поводу заболевания сердца и сосудов головного мозга и проходит лечение. Никаких конкретных данных о лечении он не привел, а когда я стала спрашивать, он сказал, что он непосредственно его лечением не занимается и не знает. Он —

зам. главного врача, а лечение ведет лечащий врач. Врачи считают, что свидание, о котором я просила, вредно для здоровья Андрея и может повредить его лечению, поэтому свидание дано не будет. Выписку они считают несвоевременной, поэтому Андрей Дмитриевич выписан не будет. И опять же был какой-то непонятный разговор на тему о том, что вообще мое общение с Андреем, мое присутствие около него вредны для его здоровья, поэтому врачи его изолировали от меня. Письменно ответить Колесников и этот зам. главного врача не захотели. Таким образом, я получила устный ответ, а когда указала на это Колесникову, он сказал, что это его право.

А допросы шли своим чередом, и ничего интересного в них не было. Одно можно сказать: вначале мне вообще непонятно было, на чем же будет строиться обвинение. Потом стало казаться, что оно будет иметь какую-то связь со статьей в «Известиях» (см. дополнение 8) и посольством США. Постепенно, к середине июля, уже было ясно, что в обвинение будут входить эпизоды, связанные с Нобелевской церемонией, два эпизода — документы Хельсинкской группы, один эпизод — интервью в Москве и один эпизод — рассказ о жизни в Горьком, напечатанный в «Русской мысли», которую забрали на обыске. Значит, до обыска 8 мая этого эпизода у них в заготовках не было. Мне вообще кажется, что состав обвинения был выбран произволь-

но и по ходу следствия, а не заранее, с учетом только одного — показать какому-то высокому начальству, как плохо я себя веду за границей. Заранее было решено только взять с меня подписку о невыезде.

25 июля мне предъявили обвинительное заключение. Но уже 20 июля начались разговоры об адвокате. Я сказала, что прошу Резникову из Москвы. Следователь вначале отказал и настаивал на горьковском адвокате. Эти переговоры длились два дня. После чего он сказал, что адвокат у меня будет тот, которого я прошу, я могу написать заявление о том, что прошу адвоката Резникову, и он у меня это заявление возьмет — до этого брать не хотел. Когда я спросила, как все это оформлять и кому из друзей в Москве я могу это поручить, он ответил, что сейчас не надо ничего делать, а оформить можно потом. Я написала заявление об адвокате, и Резникова приехала.

Чтение дела было 25, 26 и 27 июля. Мне было предъявлено обвинительное заключение, и мы читали дело. Дело было в шести томах. Собственно, само дело было в первых двух томах и частично в третьем. В четвертом — какие-то бумажки, непонятно даже кому нужные или ненужные, и приговоры тем людям, которых я когда-либо упоминала в своих выступлениях. В пятом томе тоже приговоры. В шестом были письма трудящихся, которые требуют суда надо мной и моей изоляции или наказания.

Обвинительное заключение и эти шесть томов позволили мне лучше представить, в чем заключается мое дело, до этого я представляла как-то размазанно и неопределенно. Из чтения дела я узнала, что 10 мая у Андрея была выемка, что у него забрали много документов из сумки, магнитофон и еще что-то<sup>5</sup>.

Из чтения дела я узнала также об обысках в Ленинграде у Гальперина и у Ирины Исат. У Гальперина они забрали всю частную переписку с границей и со мной и старое охотничье ружье. У Исат забрали довольно много сам- и тамиздата и тоже какую-то переписку. Но ко мне все это никакого отношения не имело. Я решила, что у них были обыски (причем эти обыски были 8-го числа, то есть в тот же день, что и у меня) в связи с тем, что они пытались приехать в Горький. Но, как выяснилось уже здесь, в Америке, никакой такой попытки они не делали.

Я не очень понимаю до сих пор, почему у них были обыски. Ну, ладно у Лесика, я с ним дружна, у него иногда останавливалась; в последние поездки в Ленинград я разговаривала от него по телефону с ребятами и мамой. Но почему обыск у Исат? Во-первых, только при чтении дела я узнала, кто она такая. Это Регина Шамина, жена Толи Шамина, я ее вообще мало знаю. Наташа Гессе с ней дружила, а я даже никогда у нее дома не была и не знаю, где она живет. Мне кажется, здесь произошла ошибка. ГБ много раз могло слышать в наших

разговорах фразу о том, что «Регина — главная подруга моей жизни». Все, что мы с Андреем говорим, подслушивается, записывается и тщательно анализируется. Этот обыск — подтверждение. Они спутали Регину Шамину с моей Инкой, с Региной Этингер, которая умерла в октябре 80-го года и на похороны которой тогда Андрея не пустили из Горького. Теперь они нашли «Регину».

Пора, видимо, подробнее рассказать об обвинении. Это ужасно скучно, потому что это уже вчерашний день, но все-таки надо.

Первый эпизод — пресс-конференция 2 октября 1975 года во Флоренции. Пресс-конференция была посвящена выходу в Италии книги Сахарова «О стране и мире». Андрей по телефону во Флоренцию прочел мне свое как бы вступление к этому изданию (русское уже было несколько раньше в «Хронике-пресс»). Оно называлось «Обращение к зарубежным читателям книги “О стране и мире”». Я прочла полностью текст этого обращения, а потом ответила на вопросы. Меня попросили рассказать о женщинах в политическом лагере, в частности в связи с тем, что в самом «Обращении» Андрей пишет о необходимости политической амнистии, в первую очередь — для больных и женщин политического лагеря в Мордовии. Я говорила не о правозащитницах, которые там были, а о Марии Павловне Семеновой. Эта женщина, принадлежавшая к Истинно

Православной Церкви, за исключением редких коротких периодов, когда она была на свободе, почти всю жизнь, всю свою взрослую жизнь провела в лагере<sup>6</sup>. Я сказала: «Трагическая судьба Марии Павловны Семеновой». Это действительно моя фраза, а не Сахарова. Причем я вообще не говорила о справедливом или несправедливом осуждении или еще о чем-то в отношении приговора, но слово «трагическая» я сказала. И это было первым пунктом обвинения: я-де в этой фразе клевету, и Семенова осуждена правильно, что подтверждено приговором, находящимся в моем деле. Я пыталась уже потом, на суде, говорить, что если человек находится в лагере почти всю взрослую жизнь, будь он даже убийцей, то судьба действительно трагическая. А этот человек к тому же находится в лагере за веру. Но это как-то пропускалось мимо ушей, вообще не доходило слова до тех, кто их слышал. Раз в деле есть приговор и она осуждена, значит, мои слова о трагической судьбе являются клеветой.

Следующий эпизод — это пресс-конференция тоже во Флоренции 9 или 10 октября 1975 года — они обе как-то объединены в обвинениях. Дело в том, что в это время (примерно через неделю) в Копенгагене должны были начаться первые Сахаровские слушания. И еще до слушаний в Копенгаген приехали представители официальной советской Православной Церкви (странное сочетание — «Православной» и «советской», но как

иначе сказать — не знаю). У них было несколько выступлений, в которых они говорили, что религия никак не преследуется, за веру нет никаких преследований и вообще полная свобода вероисповедания в Советском Союзе гарантирована законом и реально соблюдается. И у меня в ответе на вопрос, правду ли они говорят или нет, есть слова, которые следствие сочло криминальными. Я говорю (это магнитофонная запись): «Ну, это, мягко говоря, неправда». И как пример привожу судьбу священника Романюка<sup>7</sup>, который как раз незадолго до этого был осужден. Так вот эти слова: «Ну, это, мягко говоря, неправда» насчет религиозных преследований были квалифицированы как клевета.

Третий эпизод — беседа за «круглым столом» в газете «Иль темпе» (Рим, 7 ноября), где я рассказала об Андрее Дмитриевиче в связи с присуждением ему Нобелевской премии и где обсуждалось, разрешат ли ему выезд из СССР или не разрешат. Я не могу точно вспомнить, что там мне инкриминировалось, какие именно слова.

Далее — пресс-конференция в Осло. Там мне инкриминировались два момента. Во-первых, что я говорю, что в СССР есть национальная дискриминация и, в частности, она проявляется в отношении к евреям при приеме в высшие учебные заведения. И второе — это очень активно и на следствии, и на суде потом обсуждалось — то, что я сказала, что в СССР есть два рода денег: просто деньги и сертификаты.



Об этом пишет Андрей Дмитриевич всерьез. Я сказала как-то так, между прочим, что называются они «деньги для черных» и «деньги для белых», но следствие и суд этот вопрос о сертификатах восприняли очень болезненно, прямо подняли на «принципиальную» высоту.

\* \* \*

Я сидела и работала над этой книгой, и все не кончалась какая-то работа, которую и делать некогда: через две недели уезжать. На душе очень смутно и тревожно — уже несколько дней невозможно избавиться от мыслей о катастрофе около Киева. И телефонный звонок одного из норвежских друзей: умер Тим Гreve, наш норвежский друг. Он был директором Нобелевского института, он приезжал в Рим познакомиться со мной, и мне кажется, что мы стали с ним друзьями с первого взгляда. (Впрочем, у меня это, кажется, было со всеми норвежцами.) Мы вместе ездили положить цветы на могилу погибших во время войны. Сейчас я бы хотела отнести цветы Тиму.

\* \* \*

Следующий эпизод обвинения был для следствия очень важным. Это документ Хельсинкской группы 1977 года «Обращение к Белградской конференции». Мне инкриминировалось, что я совместно с Алексеевой и Григоренко являюсь автором этого документа, что

я распространяла этот документ и вывезла его за границу, в Италию. Для подтверждения того, что я могла составлять этот документ вместе с Алексеевой и Григоренко, в деле имеются справки из ОВИРа о том, когда выехал Григоренко и когда выехала Алексеева. В первой говорится, что Григоренко выехал в конце 1977 года; в другой — что Алексеева выехала в декабре 1981 года. Но это другая Алексеева, Лиза Алексеева, моя невестка, которая никогда не была членом Хельсинкской группы. Когда я при чтении настаивала, чтобы следователь заменил эту справку справкой о выезде Люды Алексеевой, мне было отказано. Суд тоже отказал и мне, и адвокату, когда мы просили об этом. А Люда Алексеева выехала в феврале 1977 года, и наличие справки о ее выезде было бы важно как доказательство того, что, во всяком случае, совместно с Алексеевой я этот документ составлять не могла. Главное же было в этом эпизоде обвинения, что я вывезла этот документ в Италию 5 сентября 1977 года.

Свидетелем, доказывавшим этот эпизод обвинения в ходе следствия и в суде, был Феликс Серебров. Серебров на допросах и в ходе следствия утверждал, будто Григоренко ему сказал, что я вывезла этот документ в Италию «на себе». Из дела видно, что Серебров дает лживые показания. В деле есть справка ОВИРа, что я выехала в Италию 5 сентября 1977 года. Есть другая справка, что сам Серебров был арестован 18 августа.

Этого расхождения в сроках следствие постаралось не заметить.

Создавалось впечатление, что следствию непременно надо было доказать, что я вывезла документ. И, как я понимаю, это было очень важно доказать какому-то высокому начальству. Неважно, сошлись бы там концы с концами или нет, важно, чтобы это было зафиксировано в деле и, таким образом, можно было бы говорить, что уж за границу-то лечиться меня никак нельзя отпустить: я вывожу документы.

Следующий пункт обвинения был также связан с Серебровым — это документ Группы в защиту Сереброва, после его ареста. Этот документ объявили клеветническим на основании того, что после ареста Серебров стал считать свою деятельность в Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях неправильной и заявил это на своем суде. Исходя из того, что Серебров переоценил свою работу в Рабочей комиссии, а в документе говорится, что он арестован за свою справедливую деятельность в ее составе, документ был признан клеветническим, а мы, все те, кто его подписал, в частности я, — клеветниками.

Далее — следующий эпизод — статья в «Русской мысли» от 26 марта 1981 года о жизни Сахарова в Горьком. Статья явно переведена с какого-то языка снова на русский — это, видимо, какой-то корреспондент из ак-

кредитованных в Москве беседовал со мной, и в газете оказался мой рассказ в обратном переводе. Это не авторизованный и не мой текст, и вообще неизвестно чей. Там есть абзац, в котором меня спрашивают, что мы знаем о событиях в мире. И я говорю, что, к сожалению, знаем очень мало, потому что невероятное глушение не дает слушать зарубежное радио. Корреспондент, вероятно, спросил: «А советские газеты разве вы не можете читать?». Я говорю: «В советских газетах все сплошная ложь»\*. Из всей статьи, в которой много важных подробностей о жизни Сахарова в Горьком, инкриминировалась мне только эта фраза.

Последний эпизод относится к 1983 году, когда у меня был диагностирован инфаркт и я пыталась добиться госпитализации для себя и для Андрея. Ко мне неожиданно пришел приехавший в Москву на несколько дней французский общественный и политический деятель Франсуа Леотар. Он снял фильм любительской камерой, задал мне несколько вопросов и снял меня отвечающей на них. Я сижу совсем больная (это видно) и говорю ему о своем инфаркте и что хочу добиться,

---

\* В тексте «Русской мысли», озаглавленном «Говорит Елена Сахарова»: «Теперь мы должны довольствоваться советскими газетами. Конечно, это сплошная ложь, но при внимательном изучении из них можно кое-что узнать» (перевод из французского журнала «Экспресс», 1981, 31 января).

чтобы меня вместе с Андреем положили в больницу или чтобы Андрей приехал ко мне. Это право любого ссыльного, даже официально ссыльного, приехать к тяжело больным родственникам. Нам — Андрею — в этом отказывают. И когда Леотар спрашивает: «Что же с вами теперь будет?» — я отвечаю: «Я не знаю, по моему, нас убивают!». Эта фраза «нас убивают» интерпретировалась следствием как клеветническое сообщение о том, что кто-то из членов правительства (или не знаю кто еще) берет пистолет и стреляет в нас. Вот и все эпизоды, предъявленные мне следствием.

Во время чтения дела я имела возможность познакомиться с тем, кого допрашивали по моему делу. Из допрашиваемых Саша Подрабинек, Слава Бахмин и Мальва Ланда никаких показаний по существу (и не по существу) не дали. Допрашивался Кувакин<sup>8</sup>, который тоже, в общем, никаких показаний, важных для следствия, не дал, но, может быть, он создал какую-то атмосферу отрицательного отношения ко мне. У него были такие фразы, что он-де встречался со мной в разных домах на разных днях рождения (не бываю нигде, это знает вся Москва, и уж не зовут), в частности у Тани Великановой. Что от друзей он знает, что я играю ведущую роль в Хельсинкской группе; знает, что я собирала разные подписи под разными обращениями; что он виделся со мной около судов. Пожалуй, это все, что было сказано Кувакиным. И допрашивался Серебров: об этом я уже сказала.

Самым важным — не для хода следствия или моей подготовки к суду, а для меня — при чтении дела был допрос Ивана Ковалева. Иван Ковалев тоже не дал никаких показаний в отношении меня, но он дал собственно-ручные показания (они занимают страниц 15 в деле) о положении заключенных в лагерях. Его показания строятся на том, что его обвинили в антисоветской пропаганде, меня — в клевете на советский строй, но в документах нашей группы мы, в частности, много писали о положении политзаключенных. И то, что мы утверждали, часто объявлялось клеветой. Теперь, став политзаключенным, он может сам рассказать и дать показания о том, каково же положение в лагерях. Далее он говорит о питании, о работе — о питании заведомо недостаточном, полуголодном, о труде принудительном, заведомо запрещенном международными конвенциями<sup>9</sup>; о системе наказаний за невыполнение плана: о лишении свиданий, лишении переписки<sup>10</sup>, лишении ларька, о помещении в ПКТ и штрафной изолятор. И потом он подробно пишет о себе, о том, что он провел 353 дня в ПКТ, что все это время он получал пониженное питание, подвергался пытке холодом и голодом, был лишен переписки и ларька. К показаниям Ивана Ковалева прилагается его лагерная характеристика как один из документов моего дела. Характеристика подписана начальником лагеря. Я ее несколько раз переписывала и пыталась передать в Москву, но, к сожалению, она, ви-

димо, не дошла. В характеристике утверждается, что Ковалев действительно провел 353 дня в ПКТ, что он не выполняет плана, невежлив с начальством, груб. Кончается характеристика фразой, которая как бы является ответом на нынешнее интервью Горбачева\*, заявившего, что у нас за убеждения не судят и что около 200 человек сидят за свои действия, а не за убеждения. В характеристике Ивана Ковалева, находящейся во втором томе моего следственного дела, сказано: «Своих антисоветских убеждений не изменил и на путь исправления не встал». Таким образом, этот официальный документ опровергает то, что заявляет генеральный секретарь ЦК КПСС, и подтверждает, что Иван Ковалев осужден за свои убеждения и целью его содержания в лагере является изменение его убеждений.

Чтение дела продолжалось три дня. Я очень обрадовалась приезду Резниковой — он показался мне неким прорывом нашей изоляции. Я давала ей читать все записки, которые к тому времени получила от Андрея, рассказывала, как его госпитализировали. Ну, и вместе с ней мы читали дело. Ей не нравилось, как я вела себя на следствии, она полагала, что лучше бы я давала ответы и объяснения, и ей уже тогда не нравилось, как я собираюсь вести себя на суде, не в смысле того, что я ни в чем не признавала и не могла признать себя виновной,

---

\* Интервью газете «Юманите» (1986, 4 февраля).

а просто она не одобряла моей позиции, хотя понять на этой стадии ее мотивы мне было трудно. Но по-человечески ее приезд был для меня положительным, радостным событием. Обедать мы с ней ходили в кафе недалеко от прокуратуры, потом сидели курили в скверике на ул. Свердлова. А позже я видела все это в одном из фильмов, показанных на Западе. В фильме не говорилось, конечно, что я ожидаю суда, что это мой адвокат, а преподносилось так, будто я с приятельницей свободно гуляю по городу.

Пару раз я ее возила по городу, по набережной, показала какие-то красивые места, откос, однажды подвезла к нашему дому. Она даже вышла из машины, подошла к парадному и видела милиционеров и гебешников. В эти дни с ней произошел инцидент, который был явно накладкой у КГБ. На второй день чтения дела мы договорились с ней встретиться около кафе в 10 часов и вместе идти читать дело. Я подъехала, вышла из машины, а она увидела меня и пошла мне навстречу. Мы поздоровались, и гебешник, видимо не знавший ее в лицо, сразу схватил ее и поволок. Она испугалась, закричала: «Что вы делаете, я же адвокат!» — и стала доставать свои документы. Но тут подбежал другой гебешник, который уже знал Резникову в лицо, и ее отпустили. Потом она говорила, что очень жалеет, что крикнула: интересно было бы, что бы они сделали и куда бы ее поволокли.



Во время чтения дела мы заявили три ходатайства. Первое ходатайство было наше общее о вызове свидетелем в суд Сахарова. Другое ходатайство Резниковой было о запросе из военной прокуратуры справки о реабилитации отца и мамы. Третье ходатайство — о запросе из ОВИРа СССР справки о времени выезда Людмилы Алексеевой, не Елизаветы, справка на которую в деле была, хотя совсем не нужна. На все ходатайства мы по ходу чтения дела получили отказ от следователя. В отношении справки о реабилитации он сказал ей: «Запрашивайте сами». И она сама запросила военную прокуратуру.

Резникова уехала после чтения дела, а я стала потихоньку готовиться к суду. Когда будет суд, я, конечно, не знала. Могла предполагать, что он будет скоро, потому что весь ход дела предполагал быстрое решение вопроса. Да я и хотела, и надеялась, и все время ждала: будет суд, а потом выпустят Андрея.

Время от чтения дела до суда прошло довольно быстро. 7 или 8 августа — хоть убей, не помню — я получила вызов в суд. Мне кажется, что 7-го, но в удостоверении ссыльной у меня написано, что суд кончился 10-го, — значит, это было 8-е. Суд продолжался два дня. Рассказывать суд ужасно скучно, но надо. Он проходил в здании областного суда в центре города, на главной улице. Это здание было губернским судом до Октябрьской революции, и здесь судили героя романа

Горького «Мать». Не помню, как его звали, Власов или Заломов, — которая из этих фамилий является литературной, которая настоящей. Но судили его в этом здании, тоже на втором этаже, только зал был больше, чем тот, в котором судили меня. Однако и мой зал был немаленький. Я насчитала около 85 человек, а при желании там могло поместиться человек сто. И ни одного знакомого лица (хотя знакомых наших гебешников было много).

Судьей был заместитель председателя областного суда Воробьев, имя-отчество не помню. Фамилии заседателей не помню. Прокурор — Перельгин, тот, который когда-то Андрею объявлял то ли режимные условия, то ли еще что-то. Оба очень отличались манерой поведения и характером речи от следователя, который производил впечатление юридически грамотного и интеллигентного человека. Риторический вопрос — может ли советский следователь быть интеллигентом. По ходу следствия он ни разу не допустил никаких нарушений, никаких грубостей, все формально было соблюдено и очень корректно. Но потом, когда я увидела Андрея, я узнала, что он писал заявление Колесникову с просьбой о привлечении и его к ответственности за те якобы преступления, которые мы совершили вместе или я по его доверенности, и о вызове в суд в качестве свидетеля (дополнение 4). Этот документ, так же как и ответ Колесникова, не были приобщены к моему делу.

Это очень серьезное процессуальное нарушение, фактически подлог. На основании одного этого дело может быть пересмотрено. Вот и суди тут по впечатлению. Судья производил впечатление человека и юридически, и вообще не очень грамотного, небольшой культуры, хамоватого. Прокурор тоже.

Допрос в суде начался с вопроса, признаю ли я себя виновной. Ответ был: «Виновной себя категорически не признаю, потому что никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, государственный или общественный строй других стран, а также частных лиц».

Я потребовала, чтобы в суд вызвали моего мужа. У меня была такая позиция по первым четырем эпизодам. В Италии на пресс-конференции 2 октября я читала текст Сахарова «Обращение к зарубежным читателям книги “О стране и мире”» — первый пункт обвинения. И мне приписывают цитаты из Сахарова как клеветнические. Это не может быть моей клеветой, я выполняла его поручение, и только Сахаров может сказать, точно или нет. И в отношении Нобелевской пресс-конференции, где я старалась, отвечая на вопросы, максимально точно излагать взгляды Сахарова по затронутым проблемам, только он может сказать, ошибалась ли я умышленно, заведомо ли клеветала или по некомпетентности ошибалась. И Сахаров дол-

жен быть свидетелем. Кроме того, я настаивала, чтобы Сахаров был в зале суда как мой единственный и ближайший родственник. Конечно, суд отклонил это требование, хотя оно было поддержано адвокатом.

Далее я рассказала о себе приблизительно в том же ключе, в каком была написана моя биография для суда над Яковлевым. Я сказала, что вообще-то судить за клевету надо не меня, а Яковлева, в миллионных тиражах распространяющего клевету обо мне, но, когда я обратилась в суд, мне было отказано в защите от клеветы.

Я сказала, что суд если не формально, то по существу является ответом на мое заявление о поездке для свидания с матерью и детьми. И если я действительно совершала преступления, то почему меня судят сейчас, ведь большая их часть — четыре эпизода — относится к 1975 году? Почему же надо судить спустя девять лет, в 1984 году? Если это действительно было преступление, то его надо было пресечь сразу же. Я говорила о том, что суд не правомочен судить меня в отсутствие единственного и главного свидетеля — академика Андрея Сахарова, по поручению которого я, в соответствии со своими убеждениями, выступала в Осло и принимала Нобелевскую премию, так как его не пустили в Осло для участия в церемонии, по поручению которого я передавала другие документы для публикации, в частности письмо Сиднею Дреллу, которое называется «Опасность термоядерной войны»<sup>11</sup>. Это письмо

вызвало бурные отклики, скажем так, трудящихся. После выступления четырех академиков<sup>12</sup>, критиковавших Сахарова за письмо к д-ру Дреллу, Андрей Дмитриевич получил три тысячи писем. Эти четыре академика: Прохоров, Дородницын, Тихонов и Скрябин — в своем выступлении в газете «Известия» даже не рискнули привести название статьи Сахарова, голословно обвиняя его в том, что он выступает против мира и за войну.

На суде я привела несколько цитат из их письма. Оно очень важно для понимания того, как создается общественное мнение на основе клеветы. Пока я говорила, меня много раз прерывал судья Воробьев. Он все время говорил, что это не относится к делу, но я продолжала. У меня было такое ощущение, что заставить меня замолчать он не может, ему формально надо соблюсти все, что записано в уголовно-процессуальном кодексе. И вот это их стремление сделать все как надо давало мне возможность говорить все, что я хочу, хотя меня и прерывали.

Много о суде говорить не буду. Андрей Дмитриевич в своем письме Александрову (дополнение 5) рассказывает о нем. Я хочу только рассказать один, может быть смешной, эпизод суда и свои впечатления о двух свидетелях.

Эпизод, инкриминируемый мне и на суде явившийся чуть ли не главным, — это то, что я сказала на пресс-

конференции в Осло, что в СССР имеются два рода денег: «деньги для белых» и «деньги для черных», — имея в виду сертификаты и обыкновенные деньги, в которых советский человек получает зарплату, пенсию и которыми пользуются все в обычной жизни. Сертификаты получают немногие — работающие за границей дипломаты и приравненные к ним: писатели, киношники, ученые. Для опровержения следствием была запрошена справка из Министерства финансов. Эта справка гласила, что двух видов денег в СССР нет, имеется только один рубль — советский, но имеются также чеки Внешторгбанка СССР, которыми оплачиваются люди, работающие за границей, публикации и еще что-то такое. Зная, что этот эпизод будет фигурировать в суде, я заранее приготовила два рубля — рубль обычный и рубль сертификатный, и они лежали у меня в сумке. Я взяла с собой документ, подтверждающий, что Андрей Дмитриевич получает сертификаты за публикацию научных статей за границей. Это такое вежливое письмо из Внешторгбанка, где пишется: «Уважаемый Андрей Дмитриевич! Просим сообщить, в каком виде перевести вам причитающийся гонорар, в советских рублях или чеках Внешторгбанка». Обычно Андрей отвечает, что просит перевести в чеках Внешторгбанка, и спустя какой-то срок получает чеки по почте ценным письмом. Вот эта бумага у меня тоже была с собой.

Когда дело дошло до этого эпизода, я сказала, что я простой, нормальный человек и вещи вижу такими, как они есть. Вот у меня есть такой рубль и такой рубль. Я знаю, что за один рубль я могу купить что-то определенное, иногда не то, что мне хочется. А если то, что хочется, то надо постоять в очереди или как-то специально доставать. И знаю, что за другой, сертификатный, рубль я могу купить те вещи, которые захочу, без очереди, лучшего качества. Я знаю, что сертификатный рубль продается на черном рынке в стоимости 1:2, а иногда и выше, то есть за один сертификатный рубль люди дают тем, кто его продает, два рубля обычных, и это преследуется как валютная спекуляция. Вот они оба перед вами. Я считаю, что действительно есть два вида денег. После этих слов взорвался прокурор. Начал кричать, что я показываю деньги, которыми меня оплачивает ЦРУ, что я платный сотрудник ЦРУ и что это они сертификатами меня и оплачивают.

Я тоже на повышенных тонах начала ему отвечать и кричать, что ничего подобного, что я в ЦРУ не работаю, что ЦРУ меня не оплачивает, что эти деньги получает Андрей Дмитриевич за публикацию своих научных статей на Западе и вот документ, подтверждающий это. И передаю судье бумагу, где спрашивают Андрея, в каком виде перевести ему деньги из Внешторгбанка. «Прокурор меня оскорбил, — заявляю я, — если он не извинится, то я отказываюсь принимать участие дальше

в судебном заседании». Это я уже не говорила, а кричала еще громче, чем прокурор. Судья ничего не ответил, а через несколько мгновений сказал: «Суд удаляется на совещание». И суд удалился. Спустя несколько минут они вернулись, и судья сказал: «Суд принял решение: прокурору попросить извинения у подсудимой». И Перельгин под нос буркнул: «Извиняюсь». Ну, в общем, я была вполне удовлетворена.

Теперь о свидетелях. Свидетелей в суде было два. Первый — Феликс Серебров; о его показаниях подробно пишет Андрей Дмитриевич в своей надзорной жалобе (дополнение б), и по поводу его показаний очень поделовому, вполне удовлетворительно, на мой взгляд, выступала Резникова, доказав по числам, по датам, что Феликс говорит неправду. Надо сказать, что эта часть выступления адвоката не была внесена в протокол суда, как потом выяснилось при чтении протокола, и никак не отразилась на приговоре.

Серебров, когда его привели в зал, вызвал у меня своим внешним видом ощущение, что передо мной неизлечимо больной человек. Я не помню, чтобы кто-то из эзков даже в момент освобождения так плохо выглядел. У него желто-землистый цвет кожи, он безумно похудел, впалые глаза, впалые щеки, череп, обтянутый кожей, в синей куртке заключенного. Он выглядел, как те узники Освенцима, которых мы видели в документальных кадрах роммовского «Обыкновенного фашизма»



или у Вайды в фильме «Пейзаж после битвы». Он вызывал ужасную жалость и одновременно, когда он говорил такую абсолютную неправду, чувство, которое я не могу назвать... Ну, в общем, не хотелось быть с ним вместе в одном помещении. Вот так бы я сказала.

И говорил он не только эти абсолютно не сходящиеся с истиной данные, но и еще какие-то вещи, которые создают общее настроение. Он сказал такую глупость — на мой взгляд, явно подсказанную: «Елена Боннэр имеет очень большое влияние на своего мужа, и плохое влияние. Вот я могу рассказать такую историю, что однажды Сахаров сам написал очень хорошую статью («сам написал» — это слова Феликса), но когда ее все начали подписывать, то отказался ее подписывать, потому что Елене Боннэр она не понравилась».

В этом отрывке, который я сейчас буквально процитировала, все ложь. Если Сахаров писал сам статью, то он ее не показывал Сереброву, а подписывал сам и никогда не давал вообще подписывать свои статьи кому бы то ни было. Он их сам писал и сам подписывал, сам нес за них ответственность. Другое дело, что он, может быть, со мной когда-нибудь и советовался по поводу того, что писал, но никогда не советовался с Серебровым. И вообще он не был близко знаком с Серебровым. Серебров в основном стал бывать у нас в доме уже после высылки Сахарова в Горький. Впервые его привела Маша Подъяпольская: он пришел советоваться с Сахаро-

вым перед своим арестом 77-го года, когда ему уже было предъявлено обвинение в подделке документов и он находился еще на свободе, но с подпиской о невыезде. А потом он стал бывать у нас часто, когда стал членом Хельсинкской группы, уже в 1982 году.

Вторым свидетелем был Кувакин. Если в своих письменных показаниях Кувакин говорил, что он со мной знаком и знает, что я играю ведущую роль в Хельсинкской группе, даю подписывать документы всем и составляю их, то на суде он уже не утверждал, что знаком со мной. На суде он сказал, что встречался со мной около различных судов над диссидентами и практически не знаком. Один раз был у нас дома вместе с Гершуни<sup>13</sup>. Он сказал: «Я был один раз в доме Сахарова, но Боннэр дома не было. И один раз ее видел, когда уходил от Меймана, а она с мужем пришла к Мейману». Так что практически его показания не имели никакого значения для суда. И вообще можно было подумать, что его привезли на суд только для того, чтобы был не один свидетель, а хотя бы два.

Остальные доказательства моей вины — это приговоры, целый том приговоров людям, которых я когда-либо упоминала. В связи с этими документами я готовила суду и отдала список 90 с лишним человек, которых я упоминала в Нобелевской лекции Сахарова, сказав, что раз уж вы берете эти приговоры как доказательства, то присокупите еще, у вас не все лица по-

именованы, которых я когда-либо упоминала, пусть уж будут все.

Судья взял этот список и приобрел его к делу. Доказательством моей вины была справка из Министерства финансов, газета «Русская мысль», в которой была опубликована не авторская статья о жизни Сахарова в Горьком, и пленки с записями моих пресс-конференций, часть которых я свободно везла через границу. Резникова сказала, что, раз я их свободно и никак не пряча везла через границу, значит, я была убеждена, что это не клевета. Была здесь и видеокассета с записью фильма, снятого Франсуа Леотаром и показанного в конце мая 1984 года по французскому телевидению. Никаких экспертиз того, клевету я говорила или правду, не было. Поэтому мне вообще не было понятно все это словоговорение. Что такое клевета, заведомо ложные измышления? Судья и прокурор говорят, что я заведомо знаю, что это клевета, потому что по своему развитию (не знаю, что они подразумевали под этим) не могу не знать заведомо, что распространяю клевету.

В последнем слове, которое очень понравилось Андрею, но которое теперь я уже забыла, я вновь повторила, что виновной себя не признаю, вновь повторила, что лучше бы пустили меня поехать лечиться и увидеть детей, чем судить. Чем позориться на весь мир, держа Сахарова в полной изоляции в Горьком, а теперь еще и в полной изоляции, в течение трех месяцев, от жены,

проводя суд беспрецедентно в смысле нарушения гласности, когда даже членов семьи нет в зале и муж содержится в больнице именно для того, чтобы он не присутствовал на суде, чем все это — лучше восстановить «советскую законность». Тут я напомнила, что ее уже один раз восстанавливали. Далее я говорила, что Сахаров, который мог бы быть единственным реальным свидетелем, не вызван в суд. Не только в зале суда нет ни одного члена семьи или знакомого, но и в городе нет никого, и, наверно, во всем мире никто не знает, что сейчас идет суд\*. В конце своего последнего слова я вновь сказала, что «виновной себя не признаю и никаких просьб к суду у меня нет».

Суд довольно быстро написал (или переписал написанный заранее) приговор. Через час или полтора приговор был зачитан. Все, что было в обвинительном заключении, вошло в приговор. Я была приговорена к пяти годам ссылки.

Мне надо рассказать еще немного о тех документах, которые были в моем судебном деле. Кроме важного документа — показаний Ивана Ковалева и справки из ла-

---

\* Первое сообщение о суде над Е. Г. Боннэр появилось 23 августа 1984 года в заявлении госдепартамента США. Даты суда, ошибочно указанные в этом заявлении, и обвинения, предъявленные Е. Г. Боннэр, оставались неизвестными еще около года.

геря, характеристики на него, — там были документы о моей болезни и вообще подробная выписка из истории болезни поликлиники Академии наук. Тогда я впервые узнала, какой инфаркт я перенесла — крупноочаговый переднебоковой и задней стенки. Кроме того, в этой справке было написано о положении с глазами и о том, что до этого в 1974 году я перенесла операцию тиреотоксикоза. В общем, выписка была подробной и реальной.

Были документы, подтверждающие мою службу в армии с 1941 года (дополнение 7), справка о том, что я являюсь инвалидом войны второй группы. Были справки из ОВИРа о моих поездках, об отъезде детей, о поездке мамы, о выезде Лизы Алексеевой. Была справка о болезни Андрея, о том, что он страдает кардиосклерозом, ишемической болезнью и атеросклерозом сосудов головного мозга. Никаких новых экстраординарных данных по состоянию здоровья Андрея в этой справке не было.

Сразу же после суда я написала заявление о кассации, очень короткое: «Прошу назначить кассационное рассмотрение, так как с приговором я не согласна». Подробное заявление о кассации должна была писать Резникова уже в Москве. Я очень быстро с ней прощалась. Я торопилась домой, так как мне казалось, что Андрея больше держать в больнице незачем и его отпустят. Но мои ожидания оказались напрасными. Андрей

не был отпущен ни в этот день, ни в последующие. Опять началась моя жизнь без него, уже после суда.

Через несколько дней меня вызвали для чтения протокола суда и написания замечаний. Надо сказать, что я к этому была не готова, не знала, что это вообще делается и как. Чтение протокола вызвало у меня некоторое удивление: там были неточности, очень тенденциозные, какие — сейчас не помню. Я написала очень подробные замечания к протоколу и оставила себе копию этих замечаний. Потом Андрей их читал. Если бы у меня была возможность их получить здесь, я бы их напечатала — это очень интересно. Во-первых, все аргументы адвоката почти полностью исчезли из протокола заседания суда. Очень многое из того, что я говорила, когда меня судья прерывал: о деятельности Андрея, о письме Дреллу, о значении его правозащитной деятельности, — все было исключено. Протокол судебных заседаний выглядел, как будто суд проходил очень спокойно, а извинений прокурора не было. Я все это вписывала заново в свои замечания. Были какие-то другие тенденциозные изменения. Замечания к протоколу я ходила писать три дня.

Снимают... Что делали с Андреем во время голодовки. Зима. Каким языком с нами разговаривают. «Счастливые вы...»  
Живой человек или символ?  
«Тихая дипломатия» и права человека

А вообще, как я жила это лето? С одной стороны — очень трудно, с другой — в общем, загруженно. Ну, суд, это много работы, допросы, их было много, больше 20, обыск, приведение дома в порядок после обыска, приведение дома в порядок в надежде, что вот-вот отпустят Андрея, покупка каких-то вещей, зимних ботинок, носков, шапки, еще чего-то, свитер, белье теплое покупала, потому что я не была уверена, что меня оставят с ним, и думала, что ему надо все заготовить для жизни без меня. К дню рождения без него купила ему письменный стол. Потом был приезд Резниковой, обдумывание каких-то связанных со следствием проблем, решение вопроса, что мне надеть на суд. Я довольно много ездила по городу, искала юбку, потом искала блузку. Купила юбку и блузку, потом надо думать, что же на ноги надеть. Какие-то туфли у меня были в Горьком, но хотелось получше, а вообще-то я там оставалась практически раздетой.

Во время одной из поездок на рынок, покупая ягоды, я увидела, что меня снимают. Я видела, что снимают киноаппаратом, вернее, подумала, что это киноаппарат. Но у меня и в мыслях не было, что снимают меня для показа на Западе, и это был единственный раз за все эти годы, когда я видела, что меня снимают. Теперь я вспоминаю, что был один случай, про который рассказывал Андрей: он вышел с Димой, чуть ли не в первый Димин приезд в 1980 году, за хлебом и увидел, что их снимают. Он закрыл лицо руками, а потом повернулся и ушел. Это он мне рассказал, но вспомнила я это только теперь, здесь, в Америке. И как я заметила однажды, что меня снимают на рынке, я тоже вспомнила только здесь, в Бостоне, когда смотрела фильмы — Андрюшу и себя на экране. Я еще вернусь к этому и постараюсь рассказать о всех своих мыслях в связи с киноэпопеей, представленной Западу Виктором Луи.

Продолжала разводить цветы на балконе и около балкона. Цветов было много. Табак пах одуряюще. Было много и других буйно цветущих цветов. Очень пахли левкой. На улице из посеянных — маттиола. Выросли мальвы. Вот такой зеленый, красивый и душистый был у меня балкон и маленький квадратик земли перед ним летом 1984 года.

Ездила на рынок, делала передачи Андрею, варила варенье, много варений. Опять же думаю, что вдруг Андрей останется без меня, чтобы у него был запас варенья на всю зиму.



После суда и писания замечаний к протоколу я осталась в пустоте. Мои контакты со следователем кончились. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем никаких не было, и я послала телеграмму главврачу с запросом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и лечащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 15 августа утром я получила бумажку, в которой сообщалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут принять меня в горздравотделе в два часа дня. В горздравотделе, а не в больнице — они все еще боялись, вдруг Андрей как-нибудь меня увидит или я его. Я поехала в горздрав.

Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдокимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» или не помню какой, на котором дата, в доказательство, что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорожкой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя «здорового» Сахарова всему миру, и Евдокимова, которая дважды в одном и том же фильме по-разному докладывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хорошо, по ее словам, и о том, как его кормят и как его лечат.

Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмитриевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие

нарушения сосудов головного мозга и он не может быть выписан из больницы, а мои посещения или его контакты со мной вредны для его здоровья. На этом мой разговор с ними кончился. Правда, когда они мне говорили, чем они его лечат, было вновь упомянуто лечение дигиталисом. Я пыталась им доказать, что дигиталис вреден Андрею Дмитриевичу, что при наличии экстрасистолии это все равно, что давать яд, но из этого ничего не получилось.

Спустя два дня после этого разговора мне удалось купить учебник педиатрии в магазине, где продаются книги, изданные в соцстранах. Учебник был переведен с болгарского. Я послала его Обухову, отчеркнув те места, где написано, что дигиталис при врожденных или юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются всю жизнь, противопоказан.

Так я и жила до 6 сентября, ничего не зная про Андрея, кроме того, что мне сказали Евдокимова и Обухов, тоскуя, стараясь держать себя в руках. 6-го пришла ко мне секретарь суда и принесла повестку о вызове в суд на 7-е число на кассационное заседание. Беспрецедентно! Оказалось, что Верховный суд РСФСР приезжает на кассационное заседание в Горький. Это для того, чтобы соблюсти даже тут такую возможность для осужденного, как присутствие на кассационном суде, и для того, чтобы никто в Москве не узнал, что суд надо мной уже состоялся и я осуждена. Меня вызывают

на кассационный суд, но кассационный суд проходит не в Москве, а в Горьком. Потом спустя два года я узнаю, что в Москве все ждали кассационного суда и никто не мог узнать, когда же он был и был ли вообще. Так и не узнали, когда же была кассация, как до этого ничего толком не знали о суде, и адвокат никому ничего не сказала.

7-го я явилась на кассационный суд. Приехала Резникова. Она повторила свои доводы. Мне дали высказаться, я повторила все, что говорила суду, и сказала, что виновной себя не признаю. После этого было определение, ничем не отличающееся от приговора, и я стала формально ссыльной. Сразу же из зала суда, где, между прочим, телевидение или кто-то снимал меня без конца — именно не на суде, а на кассационном заседании, — меня попросили пройти на первый этаж в комнату такую-то к начальнику такому-то. Там был начальник 5-го отдела МВД Горьковской области, который отобрал у меня паспорт и дал мне справку, что я являюсь ссыльной. Заявил на мой вопрос, что за вещами в Москву поехать я не имею права, что никуда за пределы Горького выезжать я не имею права, что местом ссылки мне назначен Горький и что я имею все права граждан СССР, кроме права покидать этот город.

Тогда я ему заявила, что я инвалид войны и пусть мне как инвалиду войны будет обеспечение продуктами и другие льготы, положенные инвалидам войны. Он немножко растерялся, но, в общем, не возражал. Вся моя

беседа с ним продолжалась пять-семь минут. Он мне еще сказал, что 12-го числа я должна явиться для получения удостоверения ссыльной в ОВД Приокского района города Горького и назвал фамилию, к кому.

Так я стала формально ссыльной. После этого я опять очень быстро распрощалась с Резниковой и заторопилась домой в надежде, что Андрей будет дома. Но Андрея дома не было.

Я многое пропустила. Во-первых, за это лето я несколько раз обращалась в неотложную помощь. Один раз, видимо, гебешники услышали ночью мои стоны, и неотложку мне вызвал якобы милиционер, как мне было сказано. Я обращалась в неотложную помощь, понимая, что им очень важно довести меня здоровой до суда и поэтому я могу их не бояться. Интересно, что во время суда было организовано дежурство врача и сестры и мне предложили, если я хочу, перед каждым заседанием делать укол. Я делала дважды анальгин с папаверином и но-шпой. Так что бывают случаи, когда и на горьковскую медицину можно положиться. Кроме того, во время следствия Колесников сам предлагал и доставал мне необходимые лекарства, то есть они прекрасно знали, что я нуждаюсь в лекарствах. Однажды, давая мне тимоптик, он даже сетовал, что вот долго его не было, потому что в СССР тимоптика нет и привезли из Финляндии. Вначале он брал с меня деньги, а потом перестал, сказав, что, так как я инвалид войны, деньги

брать с меня не положено. Дошло до того, что он меня спрашивал, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь. Я ему сказала, что мне нужен растворимый кофе. «Нужен» тут, конечно, понятие относительное, можно было купить и горьковского плохого кофе, но я ему так сказала. Прошли день или два, и он мне вручил две банки кофе по 6 рублей, как и в продаже, когда он есть. Только никогда нету. Так что очень они старались, чтобы я дошла живой и здоровой и в полном благополучии до суда.

Что еще было в этот период? Ничего. Тоска, ужасная тоска, беспокойство за Андрея ужасное. И, как я ни беспокоилась, того, что с Андреем произошло, я представить себе не могла.

На следующий день после кассации, 8 сентября в середине дня, часа в два, я поехала в ОВД отвозить заявление о том, что я прошу вернуть мне забранные у меня при обыске вещи, в частности приемник, пишущую машинку, магнитофон и прочее, и разрешить мне поездку в Москву за вещами, иначе получается, что я приговорена не только к ссылке, но и к конфискации имущества, поскольку я не имею к нему доступа.

По дороге меня остановило ГАИ — я не поняла почему. Когда я прижалась к поребрику, из машины, которая ехала за мной (на этот раз одна черная «Волга»), вышла женщина в белом халате. Я узнала медсестру, которую допускали, когда мы лежали в больнице после голодовки за Лизу и когда я была с Андреем в больнице, где он ле-

жал с ногой. Ее зовут Валя. Она сказала: «Елена Георгиевна, вас просят к пяти часам вечера приехать в больницу к главврачу Олегу Александровичу Обухову». Я спросила, как Андрей Дмитриевич. Она мне сказала: «Я ничего не знаю» — и вернулась к своей «Волге».

Я доехала до ОВД, отдала свое заявление. Потом купила хлеба и еще чего-то на рынке, но немного, потому что было уже поздно, четыре часа, а рынок в это время уже очень бедный, почти пустой, и поехала в больницу.

В больнице, в кабинете Обухова, кроме него были профессор Вогралик, кардиолог, который пользовал, если можно так сказать, нас с Андреем во время голодовки за Лизу (это он ходил и к нему, и ко мне в разные больницы и на наши вопросы друг о друге говорил, что он ничего не знает), профессор Трошин, невропатолог, Наталья Михайловна Евдокимова и еще кто-то, не помню кто.

Они хором начали мне говорить, какое плохое состояние здоровья у Андрея Дмитриевича, что он находится буквально на краю гибели, что у него тяжелая экстрастилия, что он страдает тяжелым атеросклерозом сосудов головного мозга, что у него то ли болезнь Паркинсона, то ли явления паркинсонизма. На мой прямой вопрос: «Так Паркинсон или явления?» — мне не ответили. И что я не должна волновать его и чуть ли должна не рассказывать о том, что был суд, или еще что-нибудь.

Я на них кричала, что если бы они были врачи, то понимали бы, что человека с таким состоянием здоро-

вья нельзя четыре месяца держать в изоляции от единственного близкого человека — жены, что они подумали бы, как изменить его положение, а то, что они мне говорят, это чепуха. Они давали дигиталис и этим привели к тяжелым экстрасистолиям, и это единственное, что я не считаю их намеренным действием, а просто, я сказала, «со страха перед ГБ потеряли голову». Все остальное, что они делали с Сахаровым, — это преступление. Это я сказала, еще не зная, что были пытки и унижения насильственного кормления и к чему оно привело. В общем, у нас был совсем не дружественный разговор, после чего я вышла к машине. Провожал меня Обухов. Не знаю, на какую мою реплику он ответил мне стихами Пушкина, в которых проскользнуло некое, так сказать, сочувствие мне и что он вроде бы не виноват, а таковы обстоятельства. Я, идя по лестнице вниз, все продолжала ругать уже неизвестно кого и, в частности, своих судей. Вдруг Обухов сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Я ему ответила: «Ах, вот вы какой образованный и не только на все подлости, что делаете, но и на поэзию». Он ничего не ответил. Вообще после неоднократных скандалов с ним (а как я могу быть ужасна на язык, знают лучше всех мои близкие) он всегда при следующем контакте делал вид, что ничего никогда не было.

Вышла я от Обухова, села в машину, сижу и жду. Прошло минут 15, и та же медсестра Валя ведет Анд-

рюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли тогда в начале мая в больницу из прокуратуры, в своем беретике, не похудевший, скорее одутловатый. Мы обнялись, и Андрюша заплакал, и я тоже. Сели в машину. Я не могу двигаться, сидим и плачем обнявшись. Так прошло минут двадцать.

Потом Андрей стал меня спрашивать про суд. Ну, я ему «кратко и подробно» (А. Твардовский) все рассказала. Собственно говоря, что рассказывать. Приговор, и все. Подробности потом.

Выехали мы из больницы. Поехали по окружной дороге, там есть такая горка, с которой видно Волгу, остановились на этой горке, стояли и молчали. А потом начал рассказывать Андрей. Я не буду за него рассказывать. Он все рассказал сам: и что с ним было и как. Я привожу в приложениях полностью письмо Александрову (дополнение 5), мне кажется это необходимым. Я расскажу из того, что было с Андреем, только то, что он не рассказал в своем письме Александрову, не придавая этому значения, да и я стала придавать этому значение, только узнав здесь, на Западе, какие известия о нас были и какие разговоры здесь шли из Москвы.

9 мая меня не пустили в больницу. 10 мая у Андрюши была выемка, забрали все документы. Как потом выяснилось, кроме документов и вещей, поименованных при выемке, из его сумки пропала еще книжка Всеволода Багрицкого «Дневники, письма, стихи». Эту книжку



я привезла в Горький, потому что ее всегда возжу с собой. С тех пор как Яковлев запустил свою клеветническую пишущую машину, мы очень боялись, что она у нас пропадет, и Андрей носил ее в сумке. Так вот, она пропала, ее не изъяли, в списке изъятого ее нет, — ее просто украли.

10-го вечером, когда Андрей уже спал, пришел Обухов, разбудил его и сказал, что к нему приехали из Москвы врачи. Ввел в палату двух человек, одетых в медицинские халаты. Эти люди задали какие-то ничего не значащие вопросы Андрею и ушли. И тогда, в 84-м году, Андрей не придавал никакого значения этому визиту. Но в 85-м году, когда он снова был в больнице и к нему приехал большой начальник Соколов, он узнал в Соколове одного из тех двух мужчин. Про второго мы ничего не знали, пока я не услышала в Москве и на Западе разговоры о том, что в больницу в 84-м году к Андрею приезжал какой-то психолог или психиатр, кажется по фамилии Рожнов\*, который пытался его гипнотизировать во сне или еще что-то такое. Ну, если «во сне», так ведь Андрюша не мог знать этого. Постфактум мы ре-

---

\* Владимир Евгеньевич Рожнов — заведующий кафедрой психотерапии Центрального института усовершенствования врачей. Летом 1984 года в Москве циркулировали упорные слухи, обсуждавшиеся западной прессой, о том, что Рожнов посещает Сахарова в больнице и что под его наблюдением Сахарову дают психотропные препараты.

шили с Андреем, что именно эти два человека дали разрешение на его принудительное кормление. Что это разрешение дал Соколов как начальник, Андрей понял в 85-м году, когда Соколов к нему приехал уже не под видом врача.

Что произошло во время первого принудительного кормления, Андрей описал сам. Я была не права, когда думала, что Андрей снял голодовку 21 и 22 мая, в дни, когда ко мне приходили за зубами. Он снял голодовку 27 мая. Почему он ее снял, он объяснить мне не мог. Но в письме Александрову он объясняет, что не выдержал мучений. Я думаю, что это наиболее правильное объяснение. Действительно, я была права, когда не отдавала зубы и очки, считая, что была записка от Андрея. Записка была, и мне ее не передали, так как это был период, когда у него был совершенно патологический после инсульта (или спазма?) почерк и когда у него в отдельных словах повторялись буквы. Видимо, мне не хотели показать эту записку, полагая совершенно справедливо, что по ней я пойму, как плохо с Андреем.

Тут мне становится непонятной записка от дядечки Венечки, что Андрей в полном порядке и чувствует себя хорошо. Не мог Андрей себя чувствовать 19 мая хорошо. Это был самый трудный период его пребывания в больнице, между 11 и 27 мая. Это был период, когда он еще плохо ходил, у него отмечалась задержка речи, он сам об этом мне говорил, плохой почерк и прочее.

Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кроме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у него не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его читать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсона, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и говорил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы будете полным инвалидом и даже сами себе штанов расстегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем», — говорил Обухов.

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных явлений, которые у него были в сентябре и частично остались (это некие самопроизвольные движения нижней челюсти), я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем случае — тяжелый спазм.

Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние было довольно странное. С одной стороны, он очень радовался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не расставались, ходили друг за другом даже в ванную. А с другой — он почти с первого дня начал грызть себя за то, что не выдержал голодовки и что второй раз, когда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сразу выписали и он отказался продолжать голодовку, не в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. В общем, настроение у него было сложное, скорее нерадостное. А когда я ему говорила, что надо учиться про-

игрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я должен учиться достойно умирать». Он все время повторял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. Они хотят это пресечь».

С первых же дней после кассации мне надо было являться на отметку как ссыльной. И было сказано, что я должна сделать фотографию для удостоверения ссыльной. Я решила, что мы поедем вместе в фотографию и сделаем общую. Андрюша принарядился. И вот имеется наша фотография, она сделана 9 или 10 сентября 84-го года, фактически сразу после выписки (и моя — для удостоверения ссыльной — 12-го мне надо было явиться в ОВД). Андрей на ней отнюдь не исхудалый, потому что с конца голодовки прошло уже много времени: июнь, июль, август — больше трех месяцев. Но сказать, что он хорошо выглядит, я не могу. У него на этой фотографии какая-то несвойственная ему одутловатость.

12-го я была в районном ОВД. У меня взяли отпечатки пальцев — дактилоскопию делают у нас всем уголовным преступникам — и две фотографии: фас и профиль для моего дела — уже не подследственной, а осужденной. И пошла наша обычная, наша счастливая жизнь.

В сентябре мы еще раз были в больнице: Андрея обязали туда являться. Думаю, что наш визит в больницу, продемонстрированный в одном из фильмов, где я говорю, что у него никаких болей в сердце не было и что он хорошо спит дома и все прочее, — это и был первый осенний визит. Думаю, что я ездила с ним один или два раза. Один раз осенью и один раз — весной. В том кинофильме, где Трошин его осматривает и Наталья Михайловна, — это, видимо, весенний визит (кажется, в последних числах марта).

Уже с конца сентября Андрей говорил, что он вновь будет голодать, и спорить с ним было невозможно. Он стал в этом плане раздражительнее, чем был раньше. Он говорил примерно так: «Они меня пугали Паркинсоном, которого вовсе нет, они меня пугали тем-другим, они думают, что сломали меня, — нет, я буду голодать».

Пока что мы опять счастливо жили. Купили ему зимнее пальто, потом — мне. Когда после обыска забрали радиоприемник, я сделала попытку купить, но в магазине ко мне подошел один из гебешников, сопроводивший меня, и сказал: «Вы что, собираетесь купить приемник?». Я сказала: «Да». — «Не советую, — сказал он, — придем с выемкой». Я ему поверила, подумала: зачем зря тратить деньги?

А тут, кажется прямо в сентябре, мы заехали в радиомагазин, и Андрюша купил приемник «Океан», очень громоздкий, тяжелый, но, в общем, им можно

что-то ловить. И вне дома, особенно летом, я им пользовалась в 85-м году постоянно.

Андрей начал писать свое письмо Александрову и надзорную жалобу, наверное, в октябре 84-го года. Одновременно он решил, что выйдет из Академии и что ему понадобится Резникова как адвокат для продажи дачи, чтобы было на что жить, когда он выйдет из Академии. В то же время он послал письмо в ФИАН, что готов принять физиков. А я послала письмо Резниковой, чтобы она приехала для составления надзорной жалобы.

Визит фиановцев и приезд Резниковой были в ноябре. Я не помню точно числа, но все это было около 20 ноября, почти подряд. К этому времени у Андрея был готов вариант надзорной жалобы, правда еще не окончательный, и не последний вариант письма Александрову. Надзорную жалобу он обсуждал с Резниковой. Резникова сделала ему какие-то замечания, которые ему не понравились, и на этом они расстались. Он что-то изменил в надзорной жалобе и послал ее в конце ноября (дополнение 6).

С физиками он начал обсуждать наше положение вообще и то, что он напишет Александрову. Его приводило в какой-то ужас и одновременно состояние безысходной тоски то, что он так подробно и Резниковой, и физикам рассказывал о своем пребывании в больнице, а они никак на это не реагировали. Они были как истуканы, как мертвые. Андрей был поражен их наро-

читым равнодушием, желанием отстраниться от этого. Это волновало его больше, чем что-либо другое. Он так искал и так надеялся на их сопереживание. Еще я запомнила, что и физики, и Резникова говорили о фильме «Чучело». Вскоре после их визитов фильм пошел в Горьком. Мы с Андреем ходили на него.

Это был короткий, пасмурный, с мокрым снегом день. Чего можно ждать от погоды в конце ноября? У меня сильно болела спина. Мы доехали до кинотеатра — билеты были только на 19 часов, а было около 17. Вернулись в кафе на площади. Что-то там поели — когда вышли, машина была как мертвая. Что они успели с ней сделать? Мы не сомневались, что это был первый ответ на разговор Андрея с коллегами, на то, что он снова собирается действовать, чтобы решить проблему моего лечения. Мы оставили машину, где стояла. Назавтра Андрей привезет ее. На такси доехали до кинотеатра. Смотрели фильм: плакали, ужасались, страдали. Этот фильм — одно из больших событий советской жизни последних лет. Вышли потрясенные. А я не могу идти — спина отказала. Я стояла, прислонясь к стене, Андрей ловил такси, гебешники злились, что из-за нас торчат под мокрым снегом. Наконец, машина есть. Водитель — женщина. Когда Андрей сказал, куда ехать, спросила: «Это там, где живет Сахаров?» — «А это он и есть», — ответила я. Мы разговаривались, и неожиданно, после всех погромов и угроз, спровоцированных Яковлевым, она — эта женщина —

была другая, и отношение ее к нам другое, и меня она до слез растрогала, сказав: «Да ведь видно, как вы друг друга любите. Мне самой скоро 60 — пенсионерка уже, это я свои два законных месяца отрабатываю<sup>1</sup>, и я сразу вижу, что по-хорошему все у вас». Я часто эти годы вспоминаю ее «по-хорошему».

С этой поездки началось мое зимнее 1984/85 года ухудшение с сердцем. После нее же я получила предупреждение, чтобы не выходила из дома после восьми вечера.

Ну, мы и не выходили по вечерам. Зима. Ни к кому нельзя, да и не к кому. Самое время поговорить о наших буднях.

Повесть о нашей машине. Она старенькая — год рождения 1976-й. И ее КГБ делает объектом преследования. Как только стало широко известно, что мы с Андреем собираемся объявить голодовку за выезд Лизы, ее у нас украли — это была осень 1981-го. Сразу же по Горькому были распущены слухи, что я перегнала машину в Москву и спрятала, чтобы потом обвинить власти в ее краже. Когда мы уже голодали и не выходили из дома, так как боялись, что на улице нас схватят и насильно госпитализируют, она вдруг нашлась, и представители автоинспекции усиленно вызывали нас поехать за ней. Андрюша говорил, что теперь нам уже не до машины, но они выдвигали свой аргумент: это же такая дорогая вещь, что голодовку можно и прекратить.



Так как перспективой возвращения машины нас не удалось выманить из дома, была просто выломана дверь, и нас силой госпитализировали и поместили в разных больницах, даже в разных концах города. После отъезда Лизы машина была возвращена, но это на самом деле были остатки ее — с нее было снято все, что отвинчивается. Заменены шины на совсем лысые. Из-под капота сняли половину частей и в салоне вытащили все — даже пепельницы. Лиза уехала 19 декабря. Восстановить машину мы смогли только к маю.

Во все последующие годы установилось странное обращение с неодушевленным объектом. Как только наше поведение чем-либо не нравилось надзирателям — страдала машина: то ей проколют два колеса сразу, то сломают стекло, то замажут каким-то синтетическим клеем. Если в машине что-то такое произошло, значит, уж точно мы были, по их критериям, плохие: с кем-то умудрились заговорить на улице или на рынке, что-то не то планируем сделать, не туда пошли, отказались явиться на вызов к Обухову или другому их врачу. Грехов много — машина одна, вот она и страдает, бедняжка. Но вообще всякие наши ограничения нарастали, и это отражалось и на машине. В первое лето мы решили поехать на Оку купаться — это по спидометру ровно 12 километров от нашего дома. Мы выкупались и посидели на бережку. Когда выезжали с приречной дороги на шоссе, меня остановил гаишник. Я очень удивилась,

так как ничего не нарушила. Но сразу увидела, что, кроме машины автоинспекции, на шоссе стоит другая машина — милицейская. Из нее вышел Снежницкий (тогда — капитан, теперь — майор) и направился к нам.

Я не могу удержаться, чтобы не напомнить один эпизод, с ним связанный. Еще в самом начале нашей жизни в Горьком, 15 февраля 1980 года, из Москвы со мной на мой день рождения приехал Юра Шиханович. Его сразу уволокли в «пункт охраны общественного порядка», где Снежницкий начал проводить воспитание Юры и допрос. Мы с Андреем ворвались туда. Нас стали выталкивать, и я дала Снежницкому пощечину. Потом нас, конечно, вытащили, еще повалили в коридоре — мы, в общем, были как битые собаки. Потом суд, на котором я не была. А может, не суд, а нечто административное — приговорили меня к штрафу в 30 рублей. И я имела случай сказать капитану Снежницкому, что это совсем недорого — 30 рублей за удовольствие влупить ему пощечину. Кстати, чьим-то историческим розыском было выявлено, что в николаевские (Николая I) годы полицмейстером в центральной части Нижнего Новгорода был некто Снежницкий — возможно, это у них семейная профессия.

Снежницкий подошел к нам и сразу заявил, что Андрей нарушил режим, выехав за черту города. И составил акт об этом. Андрей подписать акт отказался, но больше мы с ним туда не ездили. Я одна ездила доволь-

но часто, так как там есть ларек от совхоза, где три раза в неделю продают очень хорошие творог и сметану. С момента, как у меня 2 мая взяли подписку о невыезде, — не ездила и я. Внутри города мы довольно часто в первые годы подвозили случайных людей. Потом, не делая никаких разъяснений, нам это запретили. Вначале запретили не тотально, то есть когда я ехала одна, то подвезти кого-нибудь можно, а если мы с Андреем в машине вдвоем, то нельзя. Был долгий период, когда я ездила два раза в неделю за творогом, а Андрюша где-нибудь на обочине внутри черты города ждал меня — я тогда многих подвозила. Однажды пошел сильный дождь, и гаишники (они все же не КГБ) позвали Андрея переждать ливень в их будочке.

Так же было, когда я какого-то старенького дедушку с бородой Льва Толстого в дождь довозила до междугородной автобусной станции, а Андрюша ждал меня в машине инспектора ГАИ. Ждал он меня и в тот раз, когда я решила съездить посмотреть, что находится за большим волжским мостом. Но одной ездить не хотелось, было и скучно, и обидно за Андрея. Поэтому я не съездила ни в пушкинское Болдино, ни в село Выездное, откуда пошел род Сахаровых. Наивно ждала, наверно, лучших времен, когда будет можно съездить вдвоем, а получилось, что никому нельзя.

Они поясняли свой запрет проколами шин или еще чем-либо в этом роде. Потом, видя, что мы как-то не до

конца это понимаем, стали силой вытаскивать наших пассажиров из машины. Вспоминаю тяжелую сцену. За рулем был Андрей. Он посадил женщину, сопровождавшую совсем дряхлую, почти не передвигающуюся старушку. Только Андрей тронулся, как набежали наши сопровождающие, остановили машину и с криками и руганью стали вытаскивать из машины этих двух пассажиров. Старушка так испугалась, что, казалось, может просто умереть. А мы были вынуждены уехать.

Другой случай был последним летом, когда я была без Андрея. У дороги голосовал мужчина, державший на руках кричащего мальчика лет четырех-пяти. Я остановилась. У ребенка был явно перелом голени в средней трети. Мужчина поддерживал ножку. Я стала сажать их в машину. В этот момент набежала моя охрана, и они стали оттаскивать от машины этого мужчину. Наверно, он полез бы драться, но не мог — на руках был мальчик. Все кричали — и ребенок, и мужчина, и гебешники. И тут я так закричала, что перекрыла и напугала всех. Я кинулась на одного из охранников и, мне кажется, или его убила бы, или сама умерла. Я кричала, чтоб он сам садился в мою машину и вез. Мне кажется, гебешник испугался моего состояния. Он сел ко мне на переднее сиденье. Сзади я посадила того человека с мальчиком, и мы доехали до травматологического пункта, который находился недалеко от нашего дома. Когда мужчина с ребенком ушел, гебешник мне сказал:

«Вам запрещено останавливаться. Вы это прекрасно знаете, и если еще раз попробуете, то прощайтесь со своей машиной». Я ничего ему не ответила и захлопнула дверцу. Меня еще долго трясло.

Еще один случай, скорее смешной, чем трагический. Иногда надо сменить колесо, машина есть машина. Мне это трудно. Я говорю гебешникам, что буду останавливать грузовик. Любой водитель за трешку с удовольствием мне это делает. Гебешник иногда разрешает сам. Иногда по своему радио идет просить разрешения у начальства. Наконец, разрешение получено, я остановила какой-то «рафик». Водитель очень удивился моей просьбе, так как видел около машины молодого, здорового парня. Если б я была одна, удивления бы не было. Когда он сменил колесо, я протянула ему три рубля, но он отвел мою руку: «Не надо, мать, а вот этого твоего лба проучить или научить бы надо — он что, больной у тебя, что ли, что колесо сменить не может?» — «Это не мой — это комитетский», — ответила я. «А...» — и водитель заторопился к своей машине. Я так и не знаю, что понял этот человек. Но в последний момент он как-то так посмотрел на меня, что, думаю, сообразил, кто я.

Я говорю, что языком поломки или угона машины наши стражи разговаривают с нами. Разговаривают они еще и по-другому — языком пропаж и последующих подкидываний различных вещей. Очки пропадают неизменно и потом находятся именно там, где мы их

оба искали. В первое время я шипела на Андрея, что он просто забывает, а ГБ ни при чем. Потом такое же стало со мной. Я стала записывать. Вот такая глупость: «Пропала зубная щетка, и я, и Андрей оба смотрели в ванной в стаканчике» и дата; спустя неделю и больше: «Ура, щетка в стаканчике» и дата. Явно мы не сумасшедшие: так пропадали книги, однажды Андриюшин зубной протез (перед тем, как он объявил предпоследнюю голодовку, — но тогда, когда о том, что она будет, уже знали и физики, и КГБ: мы говорили о ней вслух), он потом нашелся, когда Андрея выпустили из больницы. Я не буду перечислять все малые и большие пропажи и возвраты. Когда я 10 месяцев была одна, было часто внутреннее беспокойство оттого, что знала: они в мое отсутствие постоянно входят в квартиру, что-то делают, что-то ищут. Что унесут? Что подбросят? Пропал приговор суда по моему делу, пропадали и без Андрея разные бумаги. Этот круговорот вещей создает ощущение, с одной стороны, какого-то кафкианского кошмара, и с другой — что ты на предметном стекле какого-то микроскопа, над тобой проводят опыты.

Андрей обсуждал последнюю голодовку с Е. Л. Фейнбергом. Физики уехали. Через несколько дней он распаковывал пакеты с препринтами, и вдруг из одного пакета к нему на стол выбежало полтора десятка больших тараканов. Было до вроты противно и страшно. А надо

помнить, что вся приходящая нам почта проверяется. Потом Андрей написал в своем дневнике об этом: «Вчера был такой случай: когда я раскрыл пакет, присланный из ФИАНа, из него во все стороны стали разбегаться тараканы, пять из них удалось убить. Вряд ли они заползли в пакет в ФИАНе. Скорей это демонстрация презрения со стороны ГБ. Дескать, вы — голодающие тараканы. Конечно, эта интерпретация — быть может, плод моего воображения. Эллинам тоже нелегко было догадаться, что означает посылка от скифов (стрела, лягушка, еще что-то в том же роде: см. старые книги по истории)». Такой же (но не столь отвратительный) язык жестов — пустые заклеенные конверты вместо писем от друзей.

Постепенно нарастала наша изоляция и в плане телефонной связи. Если с 1980 по 1983 год мы не имели возможности пользоваться международным и междугородным телефоном, то внутри Горького мы могли позвонить — правда, особенно было некуда, но все-таки несколько раз, когда я болела, Андрей звонил Феликсу и Майе Красавиным, иногда Ковнеру. Однажды, когда мне было как-то очень плохо и я не хотела оставаться одна, Андрей продиктовал ему текст телеграммы в Ньютон и попросил отправить; иногда мы просили его (Андрей, а не я — я никогда не звонила Ковнеру) купить на рынке что-то, так как он живет около рынка. Иногда мы (чаще я) звонили Хайновским, звонили несколько раз в различные кинотеатры — хотели узнать,

что идет и когда сеанс. С 1984 года подходить к телефону-автомату нам запретили вообще. Ну ладно — я вскоре стала ссыльной, но про Андрея ведь некоторые советские государственные деятели заявляли, что он свободен и сам выбрал город Горький для жизни.

Приняв решение о голодовке, Андрей стал упорно думать, как можно будет в нашем положении передать информацию. Отношение к голодовке физиков и адвоката не внушало особых надежд. Кто еще? Ковнера и Феликса мы не видели с начала апреля. Им, видимо, запретили посещения, да и можно ли было пытаться делать это через них — и страшно их подвести, и... Андрей вспомнил, что один наш знакомый В. часто бывал в Горьком, и стал советоваться со мной — конечно, письменно. Ни одного слова вслух. В Москве в прошлом тоже часто надо было не говорить, а писать. Людей, с которыми так общаешься — писали чаще всего на стирающихся досочках, — Андрей называл «свой в доску». Я очень засомневалась в том, что В. «свой в доску» и что мы сможем разыскать его, встретиться с ним так, чтобы получилось «случайно» и чтобы можно было что-то передать. Да и захочет ли, рискнет ли он? И я напредила Андрею историю более чем двухлетней давности.

...Снова поезд. Как же они мне надоели — поезда. «Что мне делать в «стреле» — отошедшем от города поезде? Я ходил по земле, как герой по удавшейся повести» (А. Межиров). На этот раз не угадала — будет мне



что делать. Всю ночь до первых петухов выяснять отношения со случайным спутником — старым знакомцем. Давно я не выясняла отношений, это ушло куда-то в прошлое вместе с молодостью и здоровым сердцем.

В тот раз — это конец зимы 1981/82 г. — было так. Меня провожали Ших и Эмиль. У меня было так много вещей, что не влезало в одну машину. Леня Щаранский подвез к вокзалу часть вещей, остальные вез Эмиль. Мы разгрузили машину Лени и отпустили его. Взяли носильщика и тронулись к вагону. У меня было место в СВ. Из Москвы я, пользуясь правом инвалида Отечественной войны, часто могла купить хороший билет. Это из Горького практически невозможно — за все годы всего два раза ездила этим вагоном.

Почему из Горького невозможно купить хороший билет? Просто потому, что их нет в нормальной продаже, они вообще не поступают в городскую кассу, а продаются в Кремле, в здании, где помещается облсовет.

На мое место у меня было многовато багажа. Осенью 1981-го наша машина была растаскана по кускам. Сейчас мы ее так же по кускам собирали, и я везла два колеса, аккумулятор и еще чемодан всякой машинной мелочи. Это не считая своего обычного багажа — двух больших сумок-холодильников с едой. Проводница не пустила меня в вагон. Она была вежлива и сказала, что если пассажир, который поедет со мной, разрешит, тогда пожалуйста. Мы на перроне ждали этого будущего

соседа или соседку. Наконец он подошел. Я его увидела уже после того, как услышала, что проводница назвала номер его места — 15 (мое было 16) и спросила, показывая на меня, не будет ли он возражать против моих вещей. Он посмотрел на меня вслед за проводницей и стал краснеть. Это был какой-то медленный процесс. Мне кажется, его видели все вокруг.

Он краснел и краснел, и я стала волноваться за него. Но, может, на самом деле все произошло мгновенно? Он сказал: «Да, конечно», — и прошел в вагон. Ребята (носильщика мы уже отпустили, да и стал бы он стоять?) начали таскать колеса и прочее в вагон. Потом я прошла в купе. Его там не было. Я простилась с Шихом и Эмилем, они ушли. Мой сосед не появлялся. Я переоделась в халат. Прилегла, прикрыв ноги. Они у меня уже в ту зиму (в голодовку и после нее) стали постоянно мерзнуть. Поезд пошел. Я достала книгу и под стук колес уже собралась почитать-полудремать. Про своего соседа подумала, что он, может, как-то незаметно ушмыгнул в другое купе или даже вагон. Я была пока что, в общем, равнодушна к этой встрече. И тут он появился. Смущенный и улыбающийся. Закрыв дверь и начал разговор. Мне показалось сразу: он специально где-то ждал, когда поезд пойдет. Наверно, думает, что под стук колес наш разговор не будет слышен в соседнем купе.

Мы с ним очень странно знакомы — знаем друг друга издали с ранней молодости, но стали знакомы непо-

средственно во вполне зрелые годы. А в прошлом все было через друзей: он был дружен с теми, с кем когда-то дружила я, — с моими одноклассниками и, как тогда говорили (а может, и сейчас говорят?), с ребятами из нашей компании. Он был рад нашей встрече. Я тоже ощущала какой-то привет из прошлого, из юности. Он все такой же ладный, высокий, по мне — так красивый человек. Но, говорят, у меня понятия о мужской красоте неверные. Сто лет назад я сказала про одного ленинградского поэта, в которого была влюблена по уши (и он тоже — все было вполне взаимно), что он самый красивый мужчина в Ленинграде. Мои приятельницы мне до сих пор поминают и говорят, что это я так сказала сослепу: мне еще не сделали ни одной глазной операции. Но я тогда говорила всерьез. И сейчас тоже. Этот человек был и продолжал быть красивым. Мне это важно, мне всегда кажется, что красота, приятность, прелесть, обаяние — это тоже своего рода благословение, дар, делающий человека лучше, мягче, счастливее (если не в чем-то конкретном, то уж в мироощущении обязательно).

Вначале мы робко говорили об общих друзьях, их детях и их делах. Один из них покончил жизнь самоубийством, странно это. Не юноша, нашего возраста, прошедший уже жизненные трагедии и неустроенность, успешный гуманитарий (я говорю тут такое общее слово, потому что мне не хочется уточнений; я не

хочу, чтоб гадали, о ком я пишу; я пишу об Андрюше и о себе; и все остальное, все остальные — только если имеют отношение к этому). А мой спутник вдруг стал спрашивать об Андрее. Они когда-то учились вместе. Мы с Андрюшей в начале нашей совместной жизни часто удивлялись, как много у нас общих знакомых, особенно в нашей юности, когда казалось: вот-вот, и мы бы пересеклись.

Потом он стал говорить о себе. Как трудно жить (это не о материальном — о внутреннем), как гнетет, что не разрешаешь себе поступить, как должен: ни сказать, ни сделать. Да что там — как часто даже думать не разрешаешь. Потом он стал говорить о Лизе — верней, о нашей голодовке, о том, как в московских интеллигентских научных, литературных и других кругах все обсуждали нашу голодовку — все ее не одобряли. Но наша победа и Лизин отъезд изменили оценки, и постепенно все стали говорить, что они, оказывается, были «за». Много говорил он о том, что мы с Андреем и не подозреваем, как часто наша жизнь, наша судьба и наши поступки не только становятся темой бесед, но и фоном существования многих людей, хотя это и не значит, что люди одобряют наш способ жизни. Чаще нет. Но всегда мы мешаем им жить спокойно.

И еще он говорил, что нередко в отношении к нам есть нелюбовь, особенно ко мне. Он хотел понять, почему это, что такого конкретно плохого люди знают или

думают обо мне, что плохого я сделала в прошлом или сейчас, но так и не смог выявить этого. И грустно смеялся, что причина банальна — просто привыкли, что самое простое объяснение лучше других: «шерше ля фам», а почему или за что, неважно. Ему было грустно, мне тоже. Он все допытывался, почему я мало говорю, — действительно, больше говорил он, я слушала, думала и смотрела. Такой большой, такой красивый. Он ведь старше меня — а так хорошо смотрится. Такой успешливый, умный русский интеллигент; семья его Бог знает сколько поколений известна в русской культуре и истории. Мне было его жалко. Я не могла забыть, что в 1980 году кто-то из друзей спросил его, поедет ли он к Андрею в Горький, и он сказал, что не может, что он тогда лишится своего поста. Я потом спросила Андрея: «А что бы ты сделал, если бы это он был в Горьком, а ты имел бы пост?» — «Я лишился бы своего поста».

Часа в четыре ночи он спросил: «А какое снотворное ты пьешь?» — «Я? Никакого». — «А Андрей?» — «Тоже». — «Счастливые вы», — как-то полукокетливо протянул он. Я почувствовала, как стал разжигаться воздух дружбы, что невесть откуда, из давно прошедшей молодости пришел и витал в нашем купе.

«Счастливые вы», — нам с Андреем однажды сказал один академик. Мы шли по Ленинскому проспекту весенним солнечным днем. Он шел навстречу и остановился с нами — с Андреем. Я просто была при этом.

Они говорили о сборнике памяти какого-то умершего ученого. Академик стал жаловаться, что боится: цензура что-то не пропустит — и лучше снять самому. Андрей сказал, что самому-то уж совсем лишне торопиться. На что академик ответил: «Да уж вы бы, конечно, не торопились (это относилось уже к нам обоим) — счастливые вы».

Были времена, когда все только начиналось: 1973 год, статья в «Литературной газете», где Чаковский говорит об Андрее, что он «кокетливо помахивает оливковой веточкой». Вообще-то статья была вполне разносная и на целую газетную полосу. Я стояла на лестнице в поликлинике Академии. Жена одного членкора поднималась по лестнице, увидела и кинулась ко мне. (Она знала меня сто лет и, когда мы с Андреем поженились, рассказывала половине Москвы, какой я была «прелестной девочкой».) «Люся, как Андрей и ты себя чувствуете? Это такой ужас в «Литгазете», у моего мужа чуть не случился инфаркт». Я была как-то смущена ее порывом, потому что Андрея она, в сущности, не знает, незнакома с ним. Я чувствую себя виноватой оттого, что раз она знает меня с детства, то думает, что это дает ей право так его называть. Я злюсь на себя, что мне неудобно сказать ей: «Какой он тебе Андрей, и я уже сто лет не Люся. Люсей ты меня звала, когда еще папа не был арестован. А потом?» Но я говорю только: «Мы чувствуем себя хорошо», —

между прочим, я говорю правду. И она мне: «Счастливые вы».

Да, мы счастливые — ну что здесь поделаешь!

«...Как мы живем? Трагически (трагично). Заживо погребенные. И в то же время, как это ни странно звучит, — счастливо. 7-го отметили 13-летие официальной свадьбы, все было честь-честью, угощение на двоих — Люся постаралась (торт и ватрушка, «гусь» (т. е. курица) с яблоками, наливка), 13 свечей красивым углом. Каждая открытка Руфь Григорьевны, каждый снимок — большая радость для нас. Целуем вас. Будьте здоровы. Целуйте от нас младших. Люся каждый день перед сном 11 раз стучит по дереву, с мыслью о вас, поименно вспоминая и желая добра. Целую. Андрей».  
(15 января 1985 года. Из письма Андрея в Ньютон.)

Все сошлись на одном. Андрей с ними согласен. Я тоже. — Счастливые мы! Стучу по дереву.

А с передачей информации через В. у нас ничего не получилось. Андрей ни разу не смог даже подойти незамеченным к телефону-автомату, чтобы навести справки о нем через какого-то общего знакомого.

\* \* \*

Я все это рассказываю, лежа в Майами на пляже, глядя на море. Сейчас идет мимо яхта с алым парусом,

а сзади — с белым! Алые паруса. Неимоверно все это. Чудо Андреева противостояния и чудо, что я после этой невероятной операции второй день купаюсь в море, — это все трудно описать и еще труднее представить себе реальным. Как трудно представить здесь реально ту несвободу, которая есть в Горьком, в которую я так скоро возвращусь. С одной стороны, так скоро, а с другой — так нескоро, ведь Андрюша уже почти три месяца один. А я-то знаю, что значит быть там одному, проведя в этой шарашке на одного человека четыре месяца в 84-м году плюс шесть месяцев в 85-м.

Вчера мне дали продление, нет, позавчера, 18 февраля. Совершенно непонятно, зачем ГБ нужны были эти фокусы. Зачем нужно было выступление Агентства печати Новости, что я могла делать эту операцию дома, зачем надо было Виктору Луи сообщать о том, что мне дали продление, когда можно было без всего этого обойтись? А сейчас даже официант в ресторане роскошной гостиницы «Хилтон» и вчера продавец в магазине поздравляли меня с тем, что я получила еще три месяца продления. Но ничего невозможно никому объяснить, даже Аасе Лионас: такой прелестный и такой смелый человек, все про нас знает и вдруг говорит мне по телефону два дня тому назад, что она хочет, чтобы я возвращалась домой через Норвегию и была гостем в ее доме. И невозможно от «а» до «я» объяснить, что я не могу возвращаться так, как мне хочется, или так,



как хочется моим друзьям. И что надо на все просить разрешение. И ни на что просто так разрешение не дается. Это здесь можно без разрешения.

Дети улетели с Джилл и Эдом. Я одна в городе, знакомом по романам — название всегда было завлекательным, и творились в этом городе (по романам же) Бог знает какие дела. Я в Майами. Едва машина, увозившая детей, растворилась в столпотворении проспекта в часы пик, чувство необычайной легкости, ничем не обремененного, кроме самой себя, существования охватило меня с давно не испытанной силой. За что скорей хвататься — море или город? У меня нет купальника, но не в «Хилтоне» же его покупать. Еще утром, когда мы ездили в музей, я присмотрела там улицы, мне приглянувшиеся, и решила повторить поездку по городу. Мое такси вполне могло бы обогнать то, на котором уехали дети (хороша была бы я, бабушка, желавшая побыть одна без работы), так быстро я все решила! Таксисту я смогла объяснить все: и что я хочу видеть, что поинтересней, куда мне надо и откуда я.

Интересно — потом я это несколько раз проверила: на севере страны, точнее в Бостоне или Нью-Йорке, Россия вызывает хоть какой-то внешний, может, интерес; на юге — никакого: мы им и не экзотика и вроде вообще ничего — так, глухая провинция, конечно, слышали, что есть такая. Но моя статистика маленькая, и, может, я не права. Мы проехали по длинной прекрас-

ной набережной — это не океан, а залив, вначале виллы, потом красивые ультрасовременные, многоэтажные, но явно жилые дома, а не банки-конторы. Потом старые прелестные улицы-улучки, все сплошь торгово-ресторанные и человеческие. И я пошла по ним бродить, попила кофе, купила купальник, показалось мало — в другом магазине купила пляжный костюм, потом тапки и все глазела и радовалась просто так, ничему. И страдала, что я одна, а Андрюша там один и под этими постоянными объективами — наедине с телескрином (Орвелл).

Вернулась я в гостиницу и пришла на пляж, когда стемнело. Я побоялась лезть в воду, села на лежаке около воды. Море по-вечернему было спокойное. Давно не сидела я у «моря-окияна». Прошел мужик бородатый, через несколько минут вернулся, потоптался у воды и стал меня что-то спрашивать, я его совсем не понимаю, он сел на лежаке напротив и стал говорить что-то много и долго. Когда кончил, я сказала свое: «Я не говорю по-английски». Он хлопнул себя руками по коленям, рассмеялся и сказал: «Это прекрасно», и еще что-то — по интонации ругательное, что — не поняла. Потом пошел у нас разговор. Он понял мое: «Пожалуйста, медленней», и я услышала целую повесть американского «бича»: 27 лет, четыре года бродит, раньше в нескольких университетах учился, но ни к чему не лежала душа. Вначале не показался больным, потом создалось

какое-то неясное ощущение — наркоман, что ли. Говорили про мою и его страну. Что хорошо, что плохо. Я сказала: «У нас нет свободы». — «У нас есть — бросаться в море». — «Где ночуешь?» — «На пляже». — «Куда идешь?» — «В Калифорнию». — «Зачем?» — Пожал плечами. — «Что ешь?» — «Что дадут». — «Можно, дам денег?» Опять пожал плечами — ни обиды, ни заинтересованности. Я раскрыла сумку, которая лежала у меня на коленях. И вдруг испугалась — и деньги, и билет, и драгоценный советский паспорт, и даже все телефоны; он был по-прежнему равнодушен, взял деньги, сунул в карман. Помолчал, сказал: «Вы удивительная женщина, все поняли, что я говорил. Кто вы? Кто вы?». Вопрос вдруг стал настойчив и неприятен. Я вспомнила, как в студенческие времена, да и потом, боялась душевнобольных. А он вдруг взял мою руку и поцеловал, даже не успела испугаться. От него пахло на меня невымытым, нерабочим, нездоровым телом, спиртным и еще чем-то отвратительно сладким (может, наркотики). Я с трудом удержала рвотное движение, встала: «Гуд бай». — «Гуд бай, мэ, гуд лак», — это он мне, не я ему счастья или удачи, в общем, «гуд лак».

Зачем был этот разговор? Только для того, чтобы я потом бродила без сумки, оставляя ее в отеле, с одним кошельком? Я пошла ужинать, то есть обедать. Не туда, где обедала с Джилл и Эдом, — не то что забоялась рожкоши, но есть хотелось всерьез, боялась, что не разбе-

русь в сложностях меню, да и неприятно, когда обслуживают аж три человека сразу — это я в Ираке чувствовала себя на месте и самой собой, будь их хоть пять, а здесь — нет-нет да и отзовется, что я — не я, а «супруга академика Сахарова».

На задворках «Хилтона» нашла ресторан. Почти столовка. Народу — что людей. За столиком, а свободных вблизи не видно, одинокая дама, по сравнению со мной молодая, но так вообще-то вполне средних лет. Я спросила: «Можно?», получила вполне удивленный кивок. Села, потом сообразила, что так здесь не делают. Подошел официант; я с трудом заказала, верней, показала — благо, за соседним столиком кому-то принесли мясо с грудой нормальной жареной картошки, ну, а салат и кофе — так они и есть салат и кофе. Моя визави еще до заказа стала объяснять официанту, что мы по отдельности. Поняла, что я поняла это, и вроде смутилась, а я подумала: «Э, да ты тоже иностранка». В это время к нам подошел молодой мужчина: «Ар ю Елена Боннэр?» — и дальше, как положено, об уважении и прочем. Но недолго — здесь уважение долго не выражают. Принесли нашу еду. Вначале мы были заняты ею молча. Потом она прервала молчание. Удивлялась, что не узнала меня, и начала свою историю. Она из Варшавы — родилась там. Со второй мировой войны — на Западе: во Франции, потом в Италии, теперь в США, разошлась с мужем, живет на его «пансион» (т. е. али-

менты), сейчас дочь привезла ее сюда, так как у нее бывают депрессии. И счастлива встретиться со мной, и готова провести со мной время во Флориде. «Этого мне не хватало, — подумала я, — то бич этот, то ты — чужие дела, чужие судьбы, когда своей под завязку». Но это про себя, а вслух: «Я завтра уезжаю, утром». Мы вышли вместе. Я решила идти гулять по набережной. Она сказала, что в Майами ночью это опасно. Какая ночь — 9 часов вечера! Мы распрощались. Я вышла на набережную. Вода была недвижна, а вдоль парапета, насколько хватало глаз, — яхты, яхты, яхты. И продажа, и аренда, и просто причал.

Утром, вдоволь насидевшись у воды, я впервые за пять лет выкупалась — я боюсь плавать, а теперь вообще, оказывается, боюсь воды: наверно, после операции. Потом пошла на аукцион яхт: можно входить на яхту, смотреть роскошь кают и салонов, сидеть в кресле на палубе. Удивляюсь, почему меня пускали — старая дама в толстых очках и трехрублевых (простите, трехдолларовых) тапках. Ясно ведь, что ничего не купит? А может, пока нет серьезных покупателей (а их почти не было), продавцы развлекались мною, как я — яхтами. Таковую бы яхту: маму, Андрея и всех детей! Нет — без детей. Мы все уже такие, что «врозь скучно, а вместе...». Пусть они будут счастливы сами. Счастливы и спокойны. У каждого чего-то нет. Счастья? Покоя? А как бы нам с Андреем нигде не жить, а плыть,

лететь, ехать, ехать — жить. До свидания, Майами, — нет, прощай!

С воздуха ночной Лос-Анджелес был бесконечной — почти час полета — полосой огней, они были двух цветов, как бумажки для шоколада, — золото и серебро. Я не видела этого города, кроме нескольких улиц и торгового центра, — и вновь сама для себя подтвердила: чтобы видеть, надо быть одной. Это для меня как сестра за машинку — тоже работа.

На аэродроме меня встретил мальчик, с которым вместе училась в нашей альма матер — 1-м Ленинградском медицинском. «Мальчик» — пишу не случайно: все мои соученики, кроме нескольких, как и я, демобилизованных из армии, были младше на пять-семь лет и для меня так и остались младшими... Я студентка первого курса. Мама и Раинька, которая все годы мамино-го лагеря как могла помогала нашей бабушке и очень любила меня и брата, была против моей учебы в институте — боялись за мои глаза, — они против, потому что против мои глазные доктора. Вместе с врачами они будут против и потом, когда я решу, несмотря на медицинские запреты, иметь детей. Сейчас часто думаю: хороша бы я была и во что бы я по совету врачей превратила свою жизнь, если б не училась, не работала, не имела детей.

Итак, февраль 1948-го. Уже прошла денежная реформа, и уже не чересчур голодно. Мы отмечаем мой

день рождения — я зову к себе всех своих соучеников. Мама раздраженно говорит про одного из них, крепенького, розовощекого, 16-17-летнего подростка: «Это что — тоже твой коллега? — прямо из детского сада». Мне слышится презрение ко мне за то, что я общаюсь с «детьми», что я упорно каждый день в семь утра еду на занятия, — она рассчитывала, что я буду их пропускать и как-нибудь само утрясется, что я брошу институт; она сердится, что каждый вечер я заставляю ее читать мне физиологию или биологию, а то и писать конспекты по марксизму — я таким образом уменьшаю себе нагрузку на глаза. Мальчик на аэродроме, доктор Л., — один из тех розовых подростков, теперь вполне не мальчик, и своих мальчиков у него три да плюс одна девочка. Длинный город Лос-Анджелес, но до его дома мы добрались быстро. Или это только ощущение быстро-ты, когда вот так легко и просто на той же точке, где остановились, идет общение, несмотря на десятки наших — пронесшихся — лет?

И вдруг смешная встреча из 1949 года. Молодая женщина в большой круглой шляпе. Я не знаю, как тогда обстояло дело со шляпами во всем мире — границы-то были на замке, но в Ленинграде такие шляпы были очень модны и (по тем временам) безумно дороги. Она то ли улыбается, то ли собралась улыбнуться. Мне она нравится. Чем? Может быть, своей незнакомостью. Я никогда не видела этой фотографии раньше. Когда-то

Л. забыл мне ее дать (с фотолюбителями часто бывает), зато теперь послал в Горький и оттуда пришло подтверждение, что она дошла.

Из письма А. Сахарова от 18.3.1986: «...хорошее письмо с большим твоим портретом 1949 года, я не сразу понял, кто это, вроде похожий на тебя... Я поставил фото на столе. Шляпка как у Марлен Дитрих». Мне очень хочется поместить в книжку эту давнишнюю себя, хотя знаю, что это отдает возрастным кокетством.

Еще о старых фотографиях: фотография 1942 года и моя служебная характеристика здесь (дополнение 7) — это уже не возрастное кокетство, а документы, противостоящие лжи Яковлева. Он пишет где-то, что я в конце войны укрылась в санитарном поезде. На фотографии я в шлеме и еще без погон — специалисты знают, что это доказывает: фотография сделана до 1943 года — до конца войны еще ох как далеко! А характеристика уже указывает точные даты и, кстати, корректирует меня. Я в своей автобиографии для суда написала, что была направлена в Беломорский округ в мае 1945 года, но характеристика, которую я нашла вместе с фотографией, уточняет, что время расформирования нашего поезда, ВСП 122, — июнь. Перед самым Новым 1942 годом я пришла туда после свердловского госпиталя, еще не совсем придя в себя после ранения и контузии, и три с половиной года он был моим домом и моим



фронтом. На этой фотографии все начальство поезда — нач. поезда, врач, нач. АХО, две старшие медсестры, старшина и, чуть не забыла (как всегда, потому что про всех точно знала, кто и чем занимается, а про него никогда не знала), замполит.

Хорошие люди. Их было не так уж мало — хороших. Конечно, на ланч много не позовешь, так лучше бы без еды, но с друзьями. Пасадена, Сан-Диего — передышка, отдых, дрессированные киты, никогда не успокоюсь, что я их видела, а Андрей нет.

В Сан-Диего я была у очень хороших людей, и те, кого они позвали, чтобы встретиться со мной, тоже были очень хорошие. Поверив в мою боязнь ланчей и обедов, хозяева мои устроили встречу без этого. Но то количество тортов, кофе, чая и прочего, что они наготовили, вполне компенсировало и ланч, и обед. И чем-то напоминало наше ленинградско-московское застолье, когда тут тебе все вместе — от завтрака до ужина. Но главное было не это, а живые глаза и хозяев, и их друзей, живые, когда я говорила про Андрея; живые, когда они спрашивали меня. А какие прекрасные, живые люди в Беркли и Сан-Франциско, какие парни в теоретическом отделе SLACa<sup>2</sup>.

Пало-Альто и Менло-Парк, Нью-Йоркская академия, Колумбийский университет, Русский центр в Гарварде, Конгресс, приемы, ланчи и обеды в гостях, в тор-

жественных залах и у себя дома, то есть в Ньютоне у детей. Национальная академия, Федерация американских ученых, Бостонская академия, Американское физическое общество... Люди очень разные: больше всего коллег Андрея — ученых, не только физиков, есть профессиональные политики, люди, связанные с прессой, писатели, актеры — в целом, я бы сказала, интеллектуальная элита. Мне все время думалось: каждый умней Андрея и меня — видел, слышал, общался, читал, ездил — мы во всем этом всю жизнь ограничены.

Многие из этих людей выступают по вопросам разоружения, войны и мира. Говорят о ядерной зиме, звездных войнах, разрушении окружающей среды. Обо всем страшном, что ожидает человечество. Они все в этом компетентны (или нам, некомпетентным, это кажется). Но, когда с ними общаешься, видишь, что им интересно жить — и этими проблемами, и просто интересно. И никакого страха перед будущим своим и человечества они не испытывают — ни врачи, которые против ядерной войны, ни ученые, которые ведут неправительственные переговоры о разоружении, ни все другие разные специалисты. Они постоянно говорят и пишут обо всех этих ужасах чуть ли не профессионально, иногда почти полностью отойдя от той специальности, с которой начинали эту свою деятельность или «борьбу». Но в повседневной жизни они ничуть не обеспокоены тем, о чем говорят. У них на долгие годы

распланированы труд и отдых, ремонт или покупка дома, новая страховка, дающая возможность «списать» налоги, завтрак дома, деловой ланч, обед с женой и друзьями.

Мне нравится, как они живут. И спят спокойно, не замечают, что нарушили сон и вогнали в депрессию миллионы других, — особенно интересны в этой роли врачи; не знаю, что и кому они объяснили, но эпидемию если не создали, то поддержали — эпидемию бессонниц, неврозов, пограничных состояний. В Горьком женщина, работающая на почте, сказала мне (когда нам еще разрешали разговаривать с окружающими), что собирается делать ремонт в своей однокомнатной квартире и купить ковер. Спустя некоторое время она же: «Не знаю, стоит ли все это затевать, — говорят, скоро война...». Может, и здесь, в США, те, кого называют «простые люди» (чем они «простые»? почему?), думают так же, как эта женщина, что не стоит покупать ковер, но интеллектуалы — явно нет. Этот феномен интересен, но не мне его разбирать.

Я попробую рассказать только об отношении к Андрею, заодно и ко мне, так как сейчас это возможно выразить только вкупе и через меня. Большинству мы, в общем-то, не нужны, но почти все проявляют формальную заинтересованность (ну, на обедах и приемах уж такую формальную, что, бывает, кому-то, кто изъясняет свое уважение, так и хочется задать вопрос:

«А знаешь ли ты, кто такой Сахаров?»), почти все готовы что-то подписать (надо бы им больше предлагать на подпись), многие при этом очень мало знают. Это касается не только проблемы Сахарова. Характерно, что это знание им не кажется нужным. У политиков, мне показалось, иногда и по другим проблемам столь же мало серьезной осведомленности. Как будто что-то другое их ведет к действию, а не знание проблемы (будь то Никарагуа, энергетика, медицина, образование, права человека), — какой-то другой стимул. Может, это престиж: главное — понять, что престижно, а что нет. Немногие читали публикацию документов Андрея. В SOS<sup>3</sup> каждому присутствовавшему на встрече со мной вручали копию — они, видимо, знают своих. И именно там я встретила людей, серьезно занятых проблемами прав человека, а не разговорами о них. Но и в других местах есть такие, кто хочет и знать, и что-то делать, и с ними хочется говорить, потому что ощущаешь сопереживание, видишь живые глаза, а не ту отстраненность и пустоту, как было, когда Андрюша рассказывал о том, что с ним произошло в эти два года, своим советским коллегам, приезжавшим в ноябре 1984 и феврале 1985 года. Есть такие, что очень много говорят и про свои дела, и про нас, но...

Сейчас мне надо объяснить одно из самых трудных своих открытий. Я буду говорить о тех, кто знает имя Сахарова, знает даже и его дела, и взгляды, всегда все

подписывает, иногда выступает первым, призывает других, говорит о Сахарове с советскими администраторами (научными или государственными — все равно). Этих людей я условно делю на две категории: для одних Андрей живой, и все, что с ним связано, у них болит, как свое; для других — символ, игра, политика, даже собственный успех, т. е. мертвое понятие, боюсь сказать — мертвый человек. Я поняла это, когда меня пригласил один из больших чиновников.

Вы не знаете, наверно, что у Белого дома есть непарадная сторона — по-русски говорят «задворки». Я знаю. Случайно. Проход шириной со среднюю улицу от административного здания. В него мы вошли через аэродромного типа «пропускалку» и с выписанными заранее пропусками. За «пропускалкой» нас встретили мои старые знакомые — американские дипломаты, отработавшие свой срок в Москве (вот уж правда — «у каждого свой срок»; я бы добавила «и в своем месте»). Может, они теперь заняты тем, что называется «формировать политику». Нет! Ничегошеньки они не формируют — выражение их лиц напоминает мне давнюю историю. Я ее расскажу.

Когда в 1981 году Алешка решил вступить с Лизой в заочный брак, нам надо было заверить подпись Лизы на документе, гласящем, что она доверяет Эду Клайну представлять и заменять ее во время церемонии бракосочетания. Мы обратились к помощи американского

консульства в Москве, поскольку априори было ясно, что ни один советский нотариус такой документ не заверит. Два милых молодых сотрудника консульства — мы с ними потом подружались — сказали нам: «Да, конечно, мы посоветуемся с нашим адвокатом». Адвокат, постарше их, но тоже молодой (американцы не боятся молодых), сказал: «Конечно», — и все трое сказали: «Мы запросим госдепартамент. Думаем, что ответ будет быстро». Потом я ходила к ним в течение четырех месяцев каждую неделю, специально приезжая из Горького, как-то специально встала с постели — у меня был тяжелый грипп. Их лица при встрече со мной становились все напряженнее.

Кажется, даже менялся постепенно сам тембр голоса, когда из раза в раз они мне говорили: «Знаете, там меняется администрация, ответ еще не пришел». И наконец — ответили: «Разрешили». Мы приехали на следующий день уже с Лизой. Видели бы вы сияние на их лицах! Они перестали стесняться нас и, может, своих начальников, говорящих много о гуманитарных проблемах Хельсинкского акта (чем не проблема — дать жениться двум молодым людям?). Так Эд по доверенности от Лизы стал «наша невеста» (прозвище это дал Андрей, и оно укоренилось у нас в обиходе).

Сегодня сюда со мной пришли Алеша, Рема и Эд — «наша невеста». Они не знают этого выражения полусоблезнования, полувиноватости, с которым нас встретили

мои старые знакомцы. «Интересно, зачем нас — меня — сюда позвали? Я не просилась — «никого не трогаю, починаю примус». Проход неширокий, кругом запаркованы машины. Это не то что в Кремле — я, между прочим, там бывала, тоже не просилась, сам звал Анастас Иванович Микоян. У него тоже бывало виноватенькое выражение глаз: он живой, а папа мой... а ведь друзья, и всю-то молодость вместе и даже «на одном коне воевали».

Там, в Кремле, часовых много, на разных уровнях, на разных этажах стоят по нескольку, и все они в парадной форме и по струнке, а здесь, я бы сказала, по команде «вольно». А в Кремле двери так уж действительно двери — в два человеческих роста, дубовые — ну, так и несет дубом, хотя я лично в сортах строительно-мебельного дерева и не разбираюсь. А ширина, а тяжесть! И двигаются так беззвучно! По сравнению с кремлевскими здешняя дверь — совсем провинциалочка. Дверь эта действительно в белой стене — так что дом белый.

Но зачем сравнивать с Кремлем! Кремль — это так далеко. Можно найти и ближе, взять хоть Конгресс США: все просторно, всего много — холлов, окон, дверей, залов, коридоров, лестниц. В Конгрессе лестницы — как символ чего-то уводящего вширь и ввысь, как лестница в эйзенштейновском «Потемкине». А здесь за дверью лестничка узенькая, как в светелку, а за ней комнатки небольшие, потолочки невысокие. С этого входа Белый дом звучит камерно.

Нас тоже ввели в такую же небольшую комнату. При том что нас было четверо и двое знакомых еще по Москве, да там было еще три человека, в ней стало сразу как-то тесно. В голове промелькнуло и мгновенно растаяло наше московское «в тесноте да не в обиде», не пришлось к настроению. Нас принимал адмирал Поиндекстер. Он говорил о глубоком уважении, которое питает к моему знаменитому мужу. Сказал, что американская администрация глубоко озабочена судьбой моего мужа и многих других, но в настоящее время она считает, что лучшим способом им помочь являются тихие, не публичные действия. Поэтому меня пригласили в Вашингтон, чтобы он мог принять меня вместо президента.

У меня сложилось впечатление, что советник по национальной безопасности, кроме общих слов «права человека», не осведомлен о конкретной деятельности Сахарова по предотвращению ядерных испытаний, о его роли в заключении Московского договора, о его научных работах и, в частности, пионерских трудах по использованию термоядерной энергии в мирных целях. Из всего сложного комплекса проблем, которыми Андрей Сахаров занят много лет и которые нашли отражение в названии Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека», иногда вычленяется только одна, и тогда не понимается исключительность личности Сахарова, значение его свободного голоса в современном мире. Должна сказать, что такой ошибочный взгляд на



Сахарова просто как на наиболее крупного — потому что он академик — советского диссидента все еще нередко встречается и в научных, и в политических кругах и говорит только об узости исторических представлений.

Я не просила приема ни у президента, ни у господина Пойндекстера. Но, узнав о его приглашении, я попросила доктора Манкура отложить операцию ангиопластики и отпустить меня на три дня из больницы Масс-Дженерал, где я тогда находилась. Я думала, что адмирал собирается сказать мне нечто серьезное или, по крайней мере, новое. Но «тихая дипломатия» при защите прав человека — это такая старая песня. Неужели было так необходимо принимать меня именно в эти дни «вместо президента» и тем самым включать в какую-то политическую игру, явно вредную защите моего мужа? И других правозащитников.

Мне не показались новыми те доводы, которые привел адмирал. О «тихой дипломатии» и в прошлом иногда говорили как о наилучшем пути защиты прав человека. Я никогда не могла с этим согласиться, не согласна и сейчас. В этом смысле я верная и последовательная ученица своего мужа! Академик Сахаров считает гласность главным оружием борьбы за права человека. Кажется, ни господин адмирал, ни я так и не приняли доводы другой стороны. Прощаясь, советник президента по национальной безопасности просил передать свое

уважение моему мужу. Конечно — я передам. Наша встреча продолжалась недолго. Нас вновь провели по узким лесенкам. Внизу, в маленьком вестибюле, мимо нас стремительно, почти бегом прошла небольшая группа людей. Потом Алеша мне сказал, что это был вице-президент Буш со своей охраной. Уже не возвращаясь в административное здание, мы по проходу мимо часовых вышли в город. Мне жаль, что я не видела знаменитой белой овальной залы (мне нравится писать «зала» — кажется, что это соответствует стилю всего дома — Белого дома) и лужайки, где президент подписывал закон о Дне Сахарова<sup>4</sup>, так что я не смогу рассказать Андрею, как они выглядят, но как выглядит непарадная сторона — я обязательно расскажу.

Права человека. Об этом говорят и этим занимаются самые различные люди и самые разные организации. Но отношение к ним бывает разное, иногда чисто теоретическое, так сказать, абстрактное, иногда живое и человеческое. Я всегда с горечью вспоминаю президента Картера. Однажды он сказал: мы будем заниматься проблемой прав человека, но мы не будем заниматься отдельными случаями. Сказав это, он сам разрушил то глубокое уважение, которое вызывала его позиция, начиная с инаугурационной речи и до этого неудачного выступления. Не может быть защиты прав человека без защиты каждого человека, который нуждается в защите. И сейчас есть политики и общественные деятели,

которые заняты проблемой, но не заняты каждым отдельным случаем: на самом деле они и проблемой не заняты, только о ней говорят. И есть такие, что заняты человеком, его судьбой.

Часто дела в защиту Сахарова у первых и вторых сливаются вместе — это обычно на подъеме, вокруг какой-нибудь даты, события, когда празднуют день рождения или объявляют День Сахарова, на престижном приеме, перед выборами и т. д. Часто они расходятся со всем. Одни говорят: не надо раздражать, сделаем, но тихо; другие говорят: все надо вслух — мы же не воруюем.

Первые едут в Москву, чтобы встретиться с научным истеблишментом и поговорить о разоружении, контактах, обменах и, конечно, о Сахарове. Почему нет? Если в кабинете и тихо, чтобы никто не узнал, то советских это даже не будет раздражать, а западным представителям отчет: разговор был. Советские давно поняли эту игру и приняли ее. Западные делают вид, что не знают, что это игра.

Но они знают. И это особый вид двоемыслия. Всегда говорят, что двоемыслие характерно для советского общества. К сожалению, не только. Я для себя открыла двоемыслие «западное». Один такой ученый на днях мне сказал — мне лично, — что Белый дом его не любит больше, чем Кремль Сахарова. На мой вопрос, чего же он здесь (дело было в Вашингтоне, на роскошном приеме) и чего это ему так часто разрешается ездить в Мо-

ску (не говорю — занимать все его посты), он мне не ответил. Наверно, ответить нечего.

Очень странно с отношением к Андрею. Похоже, многие не хотят и не могут понять (другая ментальность), что оставлять Сахарова дальше в Горьком нельзя, что это гибель — не сегодня, так завтра, — смерть. Зато они будут интересоваться, все ли препринты до него доходят. Иногда доходят; когда надо будет сделать, чтобы не доходили, доходить перестанут. Их волнует, как часто ездят коллеги, — не волнуйтесь, так часто, как надо, чтобы замутить вам мозги, дорогие друзья, чтобы вы думали, что обстановка у Сахарова для научной работы самая благоприятная. Даже теперь, после публикации письма Александрову, они ведут разговор об организации медицинской помощи Сахарову в Горьком. Помощи? От кого? От тех самых врачей, которых Сахаров назвал «Менгеле нашего времени». Оставить Сахарова в Горьком нельзя — и, пока этого не поймут для начала хотя бы те, кто занят проблемой прав человека, в Горьком можно сделать все что угодно, и никто не будет знать. Весь мир будет продолжать смотреть фильмы, за которые через Виктора Луи гонорары получают сотрудники Комитета госбезопасности... Все будут обсуждать, как выглядит Сахаров в очередном фильме и что же он сказал на самом деле. А такие фильмы можно стряпать и выпускать в свет после того, как одного из нас или обоих уже не будет на свете.

(Добавление от 2 мая 1986 г. Фотография в «Бостон глоб» — первомайская демонстрация в Киеве, фото ТАСС. Эти радостные лица в дни, когда все люди на Земле с тревогой подходят к телевизору с одним вопросом: «Что там?»<sup>5</sup> Обман для всего мира и обман своих людей — все вместе. И страшно от того и другого.)

И снова вопрос. А что, коллеги моего мужа и дальше будут вести всякие неправительственные переговоры о разоружении, Пагуошские конференции и прочее без его участия, таким образом пренебрегая единственным голосом, независимым и компетентным вместе?

27 апреля я была гостем Национальной академии. Мне представили физика, занимающегося проблемой мирного использования термоядерной энергии. Он за сотрудничество в этой области. Я спросила:

— Без Сахарова — он ведь автор самых первых работ и еще жив — вроде как неэтично и аморально действовать?

— Зато рационально. Но мы помним вашего мужа.

— Такая память — это как мертвого помнят, так, что ли?

— Возможно.

Он не страдает двоемыслием, этот ученый, — он реалист. Но и те, у кого двоемыслие, по крайней мере, не морочат голову. Гитлеровская Германия, может, потому существовала только 12 лет, что не украшала красивы-

ми словами все свои стремления. Ее идеологи говорили откровенно — они не страдали двоемыслием и двоесловием (простите за новый термин).

Нет, не буду ругаться. Буду надеяться. Ведь я знаю, что есть и такие, которые все понимают и у которых сердце не заросло равнодушием. Лучше кого-то недоругать, чем ругнуть кого-то напрасно.

Вторые — имя Сахарова им обычно не приносит выгоды, успеха, популярности, иногда в своей честности и бескомпромиссности они что-то реально теряют: их куда-то не выберут, куда-то не пригласят, не дадут въездную визу, где-то не посадят на почетное место, — но живы мы ими, и это им я говорю: «Дорогие, родные, хорошие, спасите Андрея Дмитриевича!». Это им говорил Андрей: «Помогите нам, мы надеемся на вашу помощь».

Прощение о помиловании. Андрей начинает новую голодовку. Подделки и фальшивки. Повторная голодовка. «Горбачев дал указание разобраться...» Десятилетие Нобелевской премии. Горьковский ОВИР

И вот мы переходим к заключительному этапу Андрюшиной борьбы за мою поездку. Он долгий, он такой же мучительный, как предыдущий, или мучительный по-другому. Начался он, надо считать, с осени 84-го, когда Андрей писал надзорную жалобу и письмо Александрову. Первый вариант надзорной жалобы он показывал Резниковой в начале ноября и закончил ее в конце месяца. Тогда же написал вариант очередного обращения и письма Александрову и сделал попытку переслать их на Запад. Это было в конце 84-го года. Вторую попытку он сделал в начале весны 1985-го. Я написала прошение о помиловании. Вначале я вообще не хотела его писать. У меня силен диссидентский рефлекс или трафарет, по которому прошение о помиловании — все равно что раскаяние. Андрей же так не думал никогда и сумел убедить меня. К приезду Резниковой в марте прошение было у меня готово. Я хотела, чтобы она сдала его в Москве

в отдел писем Верховного Совета. Нам казалось, что это лучший путь. Но она отказалась. О самом прощении Резникова сказала, что так помилования не просят, что я должна осудить свою деятельность. Я сказала, что я знаю, как пишут прошения о помиловании, но свое переделывать не буду. Я послала прошение о помиловании по почте в конце марта или в начале апреля.

В Президиум Верховного Совета СССР  
От Боннэр Елены Георгиевны,  
проживающей 603137,  
Горький, проспект Гагарина, 214, кв. 3.

#### ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

10 августа 1984 г. Горьковским областным судом я осуждена на 5 лет ссылки по ст. 190<sup>1</sup> УК РСФСР.

В приговоре мне инкриминированы восемь эпизодов: четыре относятся к 1975 г., когда моему мужу академику Сахарову Андрею Дмитриевичу была присуждена Нобелевская премия мира и я по его поручению и доверенности в соответствии со своими убеждениями принимала за него премию и участвовала в нобелевской церемонии; два следующих эпизода — это (согласно приговору) изготовление, подписание и распространение документов Московской Хельсинкской группы (1977 и 1981 г.); седьмой — устный



рассказ о жизни Сахарова в Горьком; восьмой — интервью французскому корреспонденту на третий день после того, как у меня был диагностирован крупноочаговый инфаркт. Все вышеперечисленное было сочтено судом уголовным преступлением, за которое я и была осуждена.

Я родилась в 1922 г. Мой отец арестован в 1937 г. как изменник Родины. Вскоре как член семьи изменника Родины была арестована мать. С 15 лет я работала и училась. Жила с бабушкой, младшим братом и сестрой. Я никогда не верила в виновность родителей. В 1941 г. я добровольно пошла в армию, оставив семью в Ленинграде, вскоре ставшем блокадным. Дети выжили, бабушка умерла. В октябре 1941 г. я была тяжело ранена и контужена. В конце декабря после госпиталя направлена на сан. поезд в должности медсестры, а затем ст. медсестры. В 1943 г. вторично ранена, с поезда не уходила. В 1945 г. назначена зам. нач. медчасти отд. саперного батальона. Демобилизована в августе 1945 г. в звании лейтенанта мед. службы и инвалидом Великой Отечественной войны второй группы. Два года лечилась в различных госпиталях. В 1947 г. поступила в Медицинский институт, во время учебы работала мед. сестрой в детской больнице. По окончании института работала как врач-лечебник и преподаватель. Имею более 32 лет безупречного трудового стажа, несмотря на то что всю жизнь с 22 лет являюсь инвали-

дом Великой Отечественной войны. В настоящее время — пенсионер.

В 1977 г. мои дети — сын и дочь с семьями — были вынуждены эмигрировать и живут в США. Я хочу видеть своих детей, четырех внуков, младшую из которых я никогда не видела, и мать, которая в настоящее время находится у них. Она советская гражданка и может вернуться в СССР, но ей придется жить совсем одной в Москве в ее 84 года (мой брат, штурман дальнего плавания Морфлота СССР, погиб в плавании в Бомбее в 1976 г.) или жить вместе со мной в ссылке, в полной изоляции. Реально для нее это будет означать, что я предложу ей вновь пройти ссыльно-лагерный срок, 17 лет которого окончились для нее после XX съезда КПСС посмертной — за отсутствием состава преступления — реабилитацией мужа, собственной реабилитацией и восстановлением в партии, стаж ее в которой более 60 лет<sup>1</sup>.

В сентябре 1982 г. я подала заявление на поездку на лечение глаз (в прошлом я лечила и оперировала глаза в Италии) и для встречи с детьми, внуками и матерью. Ответа я не получила до сих пор.

Я прошу о помиловании и разрешении мне на поездку к детям и матери. Полтора года назад я перенесла крупноочаговый инфаркт, и эта моя просьба — просьба человека, который не может надеяться на долгую жизнь. Если Вы не сочтете возможным применить ко мне акт

помилования, то разрешите мне в порядке приостановления действия приговора съездить увидеть в последний раз мать, детей и внуков; и если мне будет разрешено, то получить необходимое для сохранения жизни лечение.

Я пишу свое прошение о помиловании или о приостановке действия приговора в год, когда СССР и весь мир по решению Организации Объединенных Наций будут отмечать 40-летие победы над фашизмом — победы, в которую вложены и крупницы моих сил и здоровья. Я заверяю Вас, что моя поездка не будет иметь никаких других целей, кроме встречи с близкими; наша разлука продолжается гораздо дольше, чем шла вторая мировая война. Я заверяю Вас, что вернусь в СССР, чтобы, сколько хватит сил, отбыть срок, назначенный мне судом.

Глубокоуважаемый Председатель Президиума Верховного Совета! Глубокоуважаемые члены Президиума Верховного Совета! Я обращаюсь к вам как к высшей государственной власти и как к людям, в надежде на вашу доброту и гуманность! Считите возможным проявить милосердие к тяжело больной женщине; дочери, матери и бабушке; ветерану второй мировой войны и инвалиду Великой Отечественной войны второй группы. Ваш отказ обречет меня на смерть, так и не увидев мать, детей и внуков.

*Елена Боннэр*

*12 февраля 1985 г.*

У нас не было никаких доказательств того, что документы, которые Андрей пересылал, попали на свободу, попали на Запад. Андрей думал, что даже если документы не дойдут, то физики, дважды приезжавшие, расскажут западным коллегам все, что им сказал Андрей, Резникова расскажет (она была у нас 25 марта) о его планах Софье Васильевне и хоть устно, но все это будет известно и на Западе поймут, что с нами происходит в Горьком. Он просил Резникову передать Софье Васильевне, что просит Иру Кристи 16 апреля устроить в Москве пресс-конференцию и сообщить, что Андрей вновь начал голодовку за мою поездку. Почему Ира Кристи? Андрей считал, что ей меньше всех грозил лагерь или Сибирь, потому что у нее маленький ребенок и потому что она подала документы на выезд и, скорее всего, проблему решат тем, что выпустят ее. Поэтому Андрюша считал, что ей даже выгодно получить от него такое поручение. Мы не знали, что Ира Кристи после поездки 84-го года в Горький была несколько месяцев в осаде и что Сережа очень тяжело переносил это. Мы ничего не знали. Но, когда Андрюша уже начал голодовку, мы получили от Маши телеграмму, что Ира Кристи вызвана в ОВИР и начинает собирать документы, чтобы по-быстрому выезжать, что ей дают разрешение. К этому времени Андрей считал, что его документы попали в КГБ и Бог с ними, с документами, но ведь Ире Кристи устно передали его поручение и она выпол-

нит его. То, что ее вызвали в ОВИР, казалось подтверждением этого. Однако здесь все оказалось не так. Здесь КГБ переиграло и нас, и Иру Кристи, и всех наших друзей.

16-го числа Андрей начал голодовку. Меня часто спрашивают, каким образом была выбрана дата голодовки. А никаким серьезным. То Андрей думал, что 40 лет победы, и меня обязательно помилуют, и голодать он будет недолго; то, что весной голодовка легче переносится, чем в холод; то я ему говорила: «Представляешь, каково им там будет в Бостоне? День рождения Тани, а ты будешь голодать». Потом я просила подождать до Пасхи: мне хотелось испечь куличи — не так есть, как именно испечь. Вот и сошлись, что на Пасху он ест куличи и пасху, а потом начинает голодовку.

В церковь в Горьком Андрей не ходил ни разу. О его отношениях с верой и религией (религиями) я писать не буду, это слишком серьезно и слишком интимно. Он сам пишет об этом в своей книге. В Москве в пасхальную ночь (а иногда в Страстной Четверг или Пятницу) мы ходили к церкви, иногда с ребятами, иногда вдвоем, часто даже не внутрь, а просто постоять поблизости.

Я пошла однажды в Горьком в 1980 году в Страстную Пятницу, в конце дня, одна. У нас там недалеко за мостом очень милая церковь. Уже собираясь уйти, я присела на лавочке внутри церковной ограды. Рядом сидели несколько женщин моего возраста и стояли два

мужика. Разговор у них был спокойный и вполне мирный. Один из мужчин сказал женщине, сидящей рядом со мной: «Пойдем, а то скоро темно будет, а хулиганья развелось». Женщина поднялась, а кто-то из сидевших сказал: «Да стрелять их надо побольше». Мужчина подержал: «Это правильно, стрелять надо всех». — «Ну уж и всех, — не выдержала я. — Всех, может, все-таки не стоит». — «Нет, стрелять, — убежденно продолжил второй мужик, — а то пораспустились, никакого порядку». И третья женщина сказала: «Круче надо, круче». — «Да было уже круче, куда еще?» — снова влезла я и, чувствуя, что могу попасть в ненужную мне перебранку, встала и пошла со скамейки, но спиной еще слышала их неодобрительные теперь уже мне замечания — будто это именно я всех распустила. Больше я в церковь не ходила. Я эту историю рассказала как-то Верочке Лашковой, и она сказала: «Ну, что вы удивляетесь, это везде так». Да, вот и Верочки теперь в Москве нет. Пока я еще была связана с Москвой, мне ее так не хватало.

Вот из-за куличей и пасхи и дата была выбрана после Пасхи, 16 апреля. Я сделала Андрею клизму, он выпил слабительное. Сам, один. Я чувствовала себя препаршиво, оттого что он снова это делает один. Мне казалось все совсем безнадежным, а физически я не находила в себе сил делать то же, что Андрей. Поэтому, уже перестав сопротивляться его плану голодать, вяло соглашалась с ним, что мне не надо это делать, что я все

только осложню. Трусила я, наверно, но не голодовки, а всего с ней связанного. Я очень поняла в эти дни, как болезнь меняет человека.

21 апреля около часа дня к нам в дверь позвонили, и пришел Обухов, а с ним человек шесть мужчин и две женщины. Обухов сказал, что он пришел, чтобы отвезти Андрея Дмитриевича в больницу. Андрей стал отказываться. Женщины стояли в коридоре. Одна из них сделала мне знак рукой — я так поняла, что она просит меня выйти в коридор. Я не поняла, зачем, и вышла по ее знаку. Потом — я не поняла, как, но они меня оттеснили из коридора в маленькую комнату. Обе эти женщины сели по правую и по левую руку от меня, и, хотя они меня не держали, я уже знала, что ни пошевелиться, ни вырваться не смогу. Дверь в коридор они закрыли.

В это время из большой комнаты я услышала крик: «Люсенька! Мне делают укол!». Потом Андрей закричал: «Мерзавцы! Убийцы! Береги себя!». И снова: «Люся, мне делают укол!».

Я пыталась ему что-то кричать, но не знала, слышит он меня или нет. Когда он уже вернулся домой, выяснилось, что он меня слышал. Потом шум какой-то в комнате за стеной, потом все смолкло. Я услышала, как стукнула дверь на лестницу и шаги. Открылась дверь ко мне в комнату, и эти женщины мгновенно исчезли. И какой-то мужчина, который, видимо, командовал

всем этим, стоял в коридоре один. Я бросилась к нему и говорю: «Где и что я могу узнать о своем муже?». Он мне сказал: «Вам сообщат». Потом сказал: «Всех благ», — и закрыл за собой дверь.

Я вошла в большую комнату. Стол был отодвинут к окну. Один из стульев валялся на полу, и на диване, там, где лежат разные подушки, были видны следы борьбы — все было разбросано и смято.

На следующий день, когда я вышла к машине, одна из пожилых женщин, живущих в нашем доме, проходя мимо меня (я вытирала стекла), шепотом сказала мне: «Деда вчера вынесли на носилках».

И началось время, когда я ничего о нем не знала. В отличие от предыдущего года, когда следователь Колесников мне что-то, правду или неправду, сообщал о нем, брал передачи, передавал записки, в этом году ничего такого не было. Но я стала получать письма из Москвы. Много писем от Маши — о том, как Ира собирается, о том, что Сережа болен, потом Сережа вышел из больницы, о том, как Ира уезжает. И вообще полный ажиотаж в связи с Ириным отъездом, причем они явно не понимали, почему Ира уезжает, в отличие от меня, которая понимала, просто знала, почему.

Я стала посылать им телеграммы. Я знаю совершенно точно, что с 21 апреля по 23 октября никогда не писала «целуем», «мы», «Люся, Андрей» или что-либо во



множественном числе. Никогда. Ни разу. Все, что в этот период звучит во множественном числе, — поддельно. А вот открытка от 17 апреля, которая сбила с толку (правда, временно) моих детей, не была поддельной. Но она написана 17 апреля, т.е. до того, как Андрея увезли.

Я просила в телеграммах и Иру, и Машу связаться с адвокатом. Я уже начала понимать, что Резникова ничего не сказала Софье Васильевне, может Софья Васильевна больна или еще что — я ведь не знала. И я все время писала им: «Встретьтесь с моим адвокатом». Адвокату я послала телеграмму о том, чтобы она не занималась продажей дачи, пока не увидится со своим доверителем. И от нее я получила ответ — я думала: значит, она поняла что-то.

Но вместо моих телеграмм и Маша, и Галя, и Ира, и все получали совершенно другого содержания телеграммы. С Машей я дошла до того, что послала ей телеграмму в стихах, вот такую: «Не образумлюсь и не пойму, я — как на тризне, вы — на пиру, прямо от злости скоро помру». Потому что Маша писала, у кого день рождения, у кого проводы, у кого еще что и вообще рассказы про интересную московскую жизнь. И никакой реакции на мои телеграммы.

В день рождения Андрея я получила на удивление много поздравительных телеграмм. Одновременно я получила разные подарки для Андрея: конфеты от

Флоры, чай от Лидии Корнеевны, от кого-то торт, шоколад, еще что-то такое. Книги от Иры и какие-то там письма или телеграммы от Иры же, что она уезжает, что она целует, поздравляет и прочее Андрея.

Я собрала все подарки и, указав, кому что принадлежит, отправила их в Москву на адрес Лены с просьбой раздать.

Когда я была на почте, посылала посылку, пришла телеграмма от Маши, и мне ее сразу вручили — телеграмма, что Ира улетела, была отправлена с аэродрома. И в этот же день вечером в моем доме звучало по радио «Свобода» без глушения выступление Иры Кристи прямо у трапа самолета, где она сказала, что может уверенно заявить, что если Сахаров и голодал, то в настоящее время он не голодает. Звучало так чисто, будто ГБ говорило мне: «На, слушай, и можешь делать что угодно: хоть головой бейся — никто ничего не узнает, хоть вешайся — пожалуйста».

Зла я была на Иру невероятно. Эта злость продолжалась дня два или три. За эти дни, путешествуя на кладбище, я услышала, что дети, оказывается, уже получили поддельную открытку и понимают, что и телеграммы поддельные. Я поняла, что что-то начало раскручиваться, и перестала злиться на Ирку — даже испугалась, как бы ее не приняли за рупор КГБ. Там, на Западе, это любят, но я-то знаю, что она скорей умрет, чем сознательно сделает что-то нужное КГБ.

Это было 24 мая\*. А спустя семь месяцев в Ньютоне я смотрела поддельные открытки моим детям, поддельные телеграммы. Ни одной полностью с моим текстом. Нигде не было, что я прошу повидаться с адвокатом. Везде подписи такие, что действительно похоже, что мы вдвоем. Интересная деталь. Я увидела тут извещение о вручении почтового отправления — Ира нам что-то послала и получила извещение. Там есть моя подпись и мои слова: «Только желаю счастливого пути», — я полагала, что слово «только» как-то всех насторожит, ну, и единственное число «желаю». Извещение пришло со словом «желаем». Исправление видно отчетливо, но его увидели только здесь. Те, кто занимается этой работой, сочли это исправление недостаточным и добавили еще подпись Сахарова. Две подделки — не так уж много, чтобы множество людей во всем мире думали, что с Сахаровым все хорошо.

Я стала часто вспоминать, глядя на поддельные подписи — то мою, то Андрея, — что когда-то приятельствовала с одним милым человеком, у которого было хоб-

---

\* 27 мая семья в Ньютоне сообщила прессе об открытке от Е. Г. Боннэр, полученной 25 мая, и о подделках, обнаруженных в ее тексте и подтвержденных графоаналитической экспертизой. В частности, дата написания — 1 апреля — была исправлена на 21 апреля не рукой автора.

би — подписи знаменитых и великих людей. Он так лихо на чистом листе бумаги сверху вниз писал «А. Пушкин», «Федор Достоевский», «Лев Толстой», «Максим Горький», «В. Ульянов-Ленин» и заканчивал «И. Сталин», что многие просили такой листок на память. У меня на Чкалова тоже где-то в захоронках валяется такой лист.

Другую историю я узнала в Москве. В августе пришло письмо от Марины — внучки Андрея. Она писала деду, что поступила в университет. Я хотела ее поздравить и послала в подарок магнитофон. На бланке посылки я написала: «Дорогая Марина, поздравляю и рада за тебя. Уверена, что, когда дедушка сможет узнать, он тоже будет очень счастлив». Казалось бы, ясно: Андрея дома нет. Но, когда приехала сюда, я узнала: вся Москва говорила, что дед прислал подарок и, кроме того, телеграмму — значит, он дома. Все это я пишу подробно не только для летописи, но и как предупреждение на будущее — не верьте, друзья, ничему, кроме непосредственного контакта. Да вот, кажется, современная техника не дошла еще до подделки телефонных разговоров. А может, я не знаю последних достижений в этой области?

Как только я поняла, почему уезжает Ира, приблизительно с середины мая я стала «вывозить» Лесика Гальперина, может быть даже раньше, где-то около 10 мая. Я стала писать письма, зная прекрасно, что все мои от-

крытки и письма, когда я их опускаю, идут в КГБ: ведь все гебешники видят, когда я опускаю почту, где бы я ни опускала. Но все равно я куда-то ездила на другой конец города и делала вид, что тайком опускаю. Писала Н., писала на другие адреса в Ленинграде, которые помнила, назначала Лесику тайное свидание на кладбище с тем, что я ему там передам что-то, что я оставляю ему записку в тайнике у какой-то могилы.

И каждый день стала ездить на кладбище. На кладбище я стала ездить, потому что во время этих бдений, с Лесиком связанных, я обнаружила, что там довольно хорошо слышно радио. Я слушала радио обычно долго, часов с 4 дня и до 9—10 вечера. Так как дни были длинные и было светло, я пренебрегла своей обязанностью ссыльной в 8 вечера быть дома. Я вообще считала, что на отметку я хожу, а вот 8 вечера — это дополнительные выдумки и выполнять это я не обязана. Я очень надеялась, что раз Ира Кристи выехала благодаря тому, что Андрей поручил ей передать какие-то сведения о нас, то, может быть, я помогу Лесику выехать, прося его приехать и взять у меня какие-то поручения.

30 мая мне принесли повестку — 31 мая в 11 часов утра явиться в райисполком Приокского района к заместителю председателя райисполкома. Я думала, что меня вызывают в связи с нарушением режима: что я к восьми не бываю дома. А стала я возвращаться то в 9, то в 10: когда стемнеет или комары начнут кусать,

тогда и еду домой. Мне было совершенно нестерпимо быть дома, я с утра уезжала, где-нибудь куплю себе какую-нибудь булку, иногда термос с кофе брала с собой, иногда баночку сока. Весь день на стороне была.

Но оказалось, что это ответ на мое прошение о помиловании, которое я послала в конце марта или в начале апреля и, честно говоря, после 9 мая о нем забыла. До 9 мая еще казалось: «А вдруг? Все-таки 40 лет победы».

Зампредрайисполкома, фамилию я его забыла, сообщил мне, что мое прошение о помиловании рассмотрено Верховным Советом РСФСР — и отклонено. Когда я его спросила о дате этого решения, кем это подписано и номер документа, он сказал, что ему этого не сообщили. Я ему сказала: «А что, если я соберусь снова подавать заявление, мне ж надо на что-то сослаться, на документ, который будет иметь номер и то, другое, третье». — «Мне этого ничего не сообщали. Меня уполномочили вам только сообщить, что ваше прошение отклонено». Я говорю: «Слушайте, вы работаете в учреждении, да еще в государственном, советском. А я достаточно грамотна, чтобы знать, что на каждый ответ или на каждую бумагу имеется номер, входящий или исходящий, имеется чья-то подпись и уж, конечно, имеется дата. Если вам это неизвестно и вы мне этого не сообщаете, то считайте, что вы мне ничего не сообщили, я вас в глаза не видела и знать не знаю. Да и вы меня не видели». Повернулась и ушла. И действитель-

но, я настолько не восприняла этот ответ всерьез, что позже, когда увидела Андрея, забыла ему об этом рассказать.

На следующий или в тот же день со мной был такой случай. Пожалуй, это было 1 июня — 31 мая мне объявили об отклонении прошения о помиловании. Я на дороге подобрала чурбачок, чтобы сидеть на нем вместо табуреточки, и положила его в машину. Когда я положила его в машину, ко мне подбежали гебешники из сопровождающих машин и потребовали показать этот чурбачок. Я очень удивленно достала и показала им. Я даже и не поняла, когда они сказали: «Покажите», — что показать. Они его осмотрели со всех сторон, обстукали, я поняла, что они ищут тайник. По этому чурбачку я поняла, что что-то сработало, уж очень они стали внимательны ко всему, даже к чурбачку. Раньше я доски часто подбирала, и никогда они их не осматривали.

1 июня вечером меня вызвали в КГБ. Пришел молодой, красивый, элегантно одетый гебешный порученец и сказал, чтобы в полдесятого утра я была готова и что меня повезут в КГБ. И он очень вежливо говорит: «Вы не возражаете?». На что я ему ответила: «Какой мне смысл возражать? Если я буду возражать, вы меня не повезете? Все равно повезете, раз вам надо». С этим он ушел.

И вдруг ни с того ни с сего через полчаса или через час после его ухода я подумала, что меня вызывают в КГБ, потому что Андрей умер. Это было ни на чем не

основано, просто так. Вот, я подумала, и все. И думала так уже до самого приезда в КГБ. Я не плакала, я просто была в некоем ступоре.

Привезли меня в КГБ. Надо было подняться на третий этаж, довольно трудно мне было, я задыхалась и с нитроглицерином шла. Вошла в большой и явно начальственный кабинет, где меня, улыбаясь, чуть не с распростертыми объятиями встретил некто со знакомым лицом, в элегантном сером костюме, приблизительно моего возраста, ухоженный, плотный мужчина, который сказал: «Елена Георгиевна, мы с вами уже встречались, помните, во время следствия по дневникам Кузнецова? Моя фамилия Соколов».

Я совершенно его не помнила в лицо, не узнала бы, но фамилию помнила, помнила о встрече, которая была до того, как я стала общаться со следователем. В первый вызов в Лефортово со мной довольно долго беседовал Соколов. В этот раз Соколов тоже долго беседовал, часа два. Но прежде чем он начал разговор, я начала реветь, по выражению его лица я поняла, что Андрей Дмитриевич жив, что с ним ничего не случилось такого, о чем я думала целую ночь. Я стала плакать. Я плакала и плакала, а он меня спрашивал: «Что с вами?». И, в общем, не очень понимал. Я ему сказала, что я думала, что Андрей умер. Он, этак радушно улыбаясь, сказал:

— Да что вы! С Андреем Дмитриевичем все в порядке, все в порядке. Все очень хорошо.



Я говорю: «Чего ж хорошего, — сквозь слезы, — он голодает».

— Какая голодовка? Никакой голодовки нет. — Я продолжаю плакать, но уже понимаю, что... — И вообще никаких голодовок не было. И в прошлом году, вы напрасно думали, никакой голодовки тоже не было. Так, три дня каких-то.

Я начала понимать, что они, в частности, считают, что если есть насильственное кормление, то никакой голодовки нет. И так им удобно представлять и всему миру, и начальству своему, Горбачеву или еще кому-нибудь. Никакой голодовки нет, все это выдумки западной пропаганды — есть насильственное кормление, но об этом можно и не говорить.

Я постепенно пришла в себя; «успокоилась» — этого я не могу сказать. Разговор пошел таким образом: он, с одной стороны, пугал меня, что со мной будет хуже, что он знает, будто я предпринимаю попытки передать информацию, и за это мне попадет — я даже не могу представить себе, как сильно они меня накажут. А с другой стороны, он мне говорил, что я никогда никуда не поеду и никогда не увижу детей. А мама, что мама, она может приехать в любой момент, хоть сегодня, с мамой все в порядке. Никто вашу маму задерживать не будет. А вот дети, ваши дети очень плохие. И очень ругал детей. И так повторял несколько раз, что, во-первых, мне попадет за то, что я пытаюсь передать информа-

цию, во-вторых, что мои дети очень плохие, в-третьих, что моя мама может в любой момент приехать и, в-четвертых, что никакой голодовки нет и никогда не было, и в прошлом году тоже. На этом мы с ним расстались. Причем в какие-то моменты в беседе звучало такое, что я, конечно, никогда не увижу детей, но, с другой стороны, если бы я была получше, то, может быть, и увижу. А потом снова пугание. Я стала огрызаться, и тогда он, мило улыбаясь, сказал: «Елена Георгиевна, ну, сколько вам инфарктов надо?» — «Для чего? Чтобы измениться, сколько угодно не помогут». Когда мы уже прощались, он мне сказал, что сегодня же увидит Андрея Дмитриевича. Тогда я его попросила, можно ли я с ним встречусь снова после того, как он увидит Андрея Дмитриевича, хоть на несколько минут. На что он мне сказал: «Нет, этого я вам не обещаю. Но если вам что-то понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне».

Такова была моя встреча с Соколовым 2 июня. Теперь я думаю, что, когда приезжал Соколов и встречался со мной, и пугал меня, и встречался с Андреем, Горбачев уже дал указание КГБ разобраться с нашим делом. Но КГБ говорило: «Никакой голодовки нет, и ничего нет», — и вело свою политику. Так что у них шла своя борьба, в которой было неясно, кто сильнее — Горбачев или КГБ.

После всех этих событий: отнятого у меня чурбачка, отклонения моего прошения о помиловании и раз-

говора с Соколовым — я поняла, что моя игра с вызовами Лесика на свидания на кладбище, в общем, выиграна. И, похоже, главное содержание беседы с Соколовым: что я пытаюсь передать информацию, — связано именно с этим. 2 июня я послала телеграмму Лесику. Я писала: «Поздравляю с свершением, поцелуй маму и детей».

Лесик получил эту телеграмму 5-го, как было мною и помечено, в свой день рождения, но еще до того, как он мне сообщил, что его вызывали в ОВИР. И, конечно, поняв ее содержание, справедливо удивился, откуда я знала о его вызове уже 2-го числа. Сразу после вызова в ОВИР он написал мне письмо, в котором, в частности, говорил, что хочет встретиться со мной перед отъездом и проститься, но не знает, куда обратиться за разрешением, и просит меня предпринять соответствующие шаги. Я получила это письмо 13 или 14 июня.

15 июня я отвезла в КГБ Горьковской области заявление на имя Соколова, в котором просила разрешения Гальперину приехать в Горький проститься со мной перед выездом из страны. Ответа на это заявление я не получила. Но числа 25 или 26-го я получила письмо от Лесика. Это письмо он написал в ночь перед отъездом. Он писал: «Ты получишь мое письмо, когда я уже буду за пределами СССР. Я понимаю, что наш выезд как-то связан с тобой и Андреем Дмитриевичем, как, мне непонятно. Я не хотел бы быть фигурой в игре КГБ про-

тив вас с Андреем Дмитриевичем. Я благодарен судьбе за то, что встретился с тобой, а потом — с Андреем Дмитриевичем. Надеюсь на встречу». Такое хорошее письмо о расставании, и в конце Лесик пишет: «Отъезд — это так трудно, это на пределе человеческих сил».

Письмо, конечно, грустное, но, в общем, для меня это большая радость, что Лешка выехал и что хоть в чем-то удалось переиграть КГБ.

Вот такие события были после госпитализации Андрея 21 апреля 1985 года. Отъезд Иры, ее непонимание, что происходит, отправка мною подарков, присланных Андрею ко дню рождения, моя открытка с подделками, в которых разобрались дети на Западе, отказ на мое прошение о помиловании, беседа с Соколовым и отъезд Лешки.

Я продолжаю жить дальше. Радио я слушаю и понимаю, что весь мир волнуется о Сахарове. И наряду с реальными признаками нашей жизни, которые известны там: подделка открытки или еще что-то такое, — много неточного, неправильного, но все это вместе создает очень активное беспокойство, и ясно, что нас не забыли. В этом плане у меня даже было хорошее настроение, но ужасно было, что я ничего не знала об Андрее. Я ничего не знала, что с ним делают, — никаких известий.

Как же я вообще жила в это время? Это трудно рассказать, потому что, с одной стороны, время как будто остановилось, а с другой — шло, в общем, быстро. Пос-

тараюсь восстановить свой «распорядок дня». Вставала я довольно поздно. Заставляла себя завтракать, как обычно: две чашки кофе и творог. Творог покупала регулярно, тем паче, что есть не хотелось, а его я ем всегда, и есть надо было себя заставлять. Завтрак мой обычно кончался часов в 11. Потом какие-то повседневные, не много берущие времени дела по дому, и, если погода хорошая, я уезжала, чаще всего на кладбище, на дорогу к кладбищу. Брала с собой термос с кофе, когда пошли ягоды — ягоды или яблоки, какой-нибудь бутерброд. Проводила вне дома практически весь день, возвращалась после 9, а иногда и к 10 часам вечера.

Надо сказать, что за все это время мне не было ни разу сделано официального замечания, что я нарушаю установленный мне режим, по которому в 8 вечера как ссыльная должна быть дома. Это мне было объявлено в Приокском ОВД еще в сентябре 84-го года. В ноябре я получила замечание — ходили в кино, смотрели «Чучело». Всю зиму у меня не было поводов нарушать это, так как мы вообще мало куда выходили: я очень плохо себя чувствовала, а уж вечером тем паче. Но с тех пор, как Андрея силой вывезли из дома, а я осталась с радиоприемником, я уходила из дома слушать радио. Во время этих своих отлучек из дома в районе кладбища мне удавалось слушать «Голос Америки», Би-Би-Си, «Немецкую волну», иногда — «Свободу», почти всегда Канаду и Швецию.

Мой радиодень обычно начинался в три часа передачей «Голоса Америки», слышимой редко, а в 4 часа — Би-Би-Си, получасовая программа слышна была в районе кладбища почти всегда. В полпятого — Швеция, слышно всегда, но, к сожалению, в субботу и в воскресенье они не дают даже последних известий. В полшестого по летнему московскому времени — Канада, слышна практически всегда. В 6 часов вечера начинается непрерывная восьмичасовая передача «Голоса Америки» на русском языке. В 6 часов вечера в районе кладбища мне удавалось ее слушать регулярно. В 7 часов Би-Би-Си слышно редко, «Голос Америки», «Свободу» в более поздние часы тоже слышно редко.

В общем, слушая различные радиостанции, я получала какое-то ощущение причастности к миру, понимала, что наше положение вызывает большое беспокойство, знала, что ребята ездят, много выступают. Я слышала передачу из Оттавы, когда там проходило совещание по правам человека в рамках Хельсинкского соглашения. Я знала, что над Оттавой летал самолет с плакатом: «Путь к миру лежит через Горький». Слышала, правда очень забиваемые глушилкой, голоса Алешки и Таньки. Слышала выступление Ремы в Лондоне. Сделала совершенно четкий вывод для себя, что когда идут передачи о Сахарове, то в Горьком и Горьковской области глушение усиливается, не знаю, как в других местах. Однако, во всяком случае, то, что я ле-

том 85-го года имела возможность слушать радио, создавало некий фон моего существования, не совсем безнадёжный. В 84-м году думалось, что память, может, о нас и жива, а больше, наверно, ничего нет. Я понимала, что дети беспокоятся и что-то делают, но конкретно ничего, в отличие от 85-го, у меня тогда не было.

В плохие дождливые дни — а лето в том году было не очень ясное, и много дождей было — я старалась находить себе работу по дому. Я сделала стеллажи в кладовке, при кухне, разобрала все наши хозяйственные принадлежности, там размещенные, всякую химию, стиральные порошки, мыло и т. п. На производство этих стеллажей и разного прочего хозяйства у меня ушло около двух недель. Потом я сделала большую, во всю длину комнатки, полку под потолком в самой маленькой, шестиметровой комнате. Полка для журналов с подпорками, упирающимися в шкаф, занимает в длину почти два с половиной метра. Там разместила все «Успехи физнаук», «Сайентифик американ», «Физикс леттерс» — таким образом я отчасти разгрузила Андрееву рабочую комнату. Раньше там эти журналы лежали стопками на полу и на шкафу.

Пилила и строгала доски я обычно на балконе. Отношение горьковских жителей к этой моей работе было весьма отрицательным — во всяком случае, однажды бабы, проходящие мимо, довольно громко, специально, чтобы я услышала, сказали: «Жена Сахарова гроб себе мастерит».

Доски для этих работ я собирала вдоль дорог, благо у нас разбрасывают деревянные отходы, пиломатериалы в таком количестве, что, мне кажется, можно собрать на дом. Сбор этих материалов почему-то вызывал озлобление у сопровождавших меня гебешников. Я потом эти доски отмывала в ванной, сушила на балконе, и дальше они поступали у меня в работу.

Много занималась цветами. Перед балконом цветы, которые я сажала, и сеянцы растут у меня плохо. Частично потому, что я не могу как следует вскопать и обработать землю, да и земля там — не земля, а нечто неусветное; на самом деле, чтобы там сажать, надо землю привезти. Но на балконе цветы растут хорошо. Было много табака, левкоев, росли всех цветов и оттенков петунии, много календулы, незабудки. Была маттиола, по вечерам очень пахла. Табак, левкой, маттиола пахли так, что уже на подходе к дому слышен был аромат цветов. Через открытое окно запах цветов проникал во все комнаты квартиры, вечером — просто как будто в саду.

Сообщение о том, что в нашей квартире якобы никто не живет и окна не освещены\*, было, наверно, основано на том, что кто-то ходил мимо и видел задернутые шторы,

---

\* Об этом сообщала западная пресса (напр., «Вашингтон пост», 1985, июня) со ссылкой на неназванного человека, посетившего Горький.



неосвещенные окна в той стороне квартиры, которая выходит на проспект Гагарина. Я действительно до вечера там не бывала, а вечером, обычно возвращаясь к 10 часам, готовила себе наскоро какую-нибудь еду в кухне и выходила на балкон. На балконе сидела иногда до часу ночи, ложилась поздно и еще долго читала. Прочла много научно-популярных книг по физике. Эта же тема была у меня основной при чтении летом 84-го года. Английских книг не читала — не было, прочла много интересных вещей в советских толстых журналах. Прочла поразившую какими-то параллелями с нашим тогдашним положением книгу Эйдельмана «Герцен против самодержавия». Прочла книгу «Императорский безумец»<sup>2</sup>, которая вообще столько ассоциаций вызывала, что было ощущение, как будто она написана специально про нас и автор думал о нас, когда писал эту книгу.

В общем, я не могу сказать, что мое время было пустым. Особенное удовольствие доставлял уход за цветами, потому что это было общение с чем-то живым. Кроме того, я купила книжный шкаф, круглый стол, сделала перестановку мебели, потихоньку, сама. И, купив книжный шкаф, сделала попытку (до конца это никогда не удастся) разобраться с книгами, которыми мы опять обросли невероятно за шесть горьковских лет. Потихоньку мыла стены и потолок в кухне, стены в коридоре, в ванной. Потихоньку, потому что долго и в темпе физически работать я в это лето не могла.

К врачам же обращаться, когда возникали приступы стенокардии, не хотела.

Летом 84-го года обращение к врачам не казалось опасным — я чувствовала, что меня хотят, во что бы то ни стало хотят довести до суда и кассации если не здоровой, то, во всяком случае, ходячей. Но в этом году мне казалось, что у них могут быть другие намерения и лучше к ним не обращаться. Несколько раз у меня были довольно тяжелые приступы стенокардии, трижды такие, что предписывала себе по несколько дней лежать, не выходить. Да и заставлять себя особенно не приходилось — была такая слабость, что выходить не могла, даже читать не хотелось или сил не было.

Еще я хочу про это лето сказать. Я не держала голодовку, но у меня, видимо, произошел какой-то стресс, какое-то нервное потрясение. С момента насильственной госпитализации Андрея появилось отвращение к еде, мне приходилось заставлять себя есть, и я регулярно, три раза в день, ела. Но при этом я все время худела, за период от 27 апреля до конца июня я похудела с 67 килограммов до 49. У меня буквально стали торчать все кости, и на копчике появилось раздражение, похожее на предвестники пролежней. Лежать, сидеть мне было больно, пришлось купить подкладной круг и камфарный спирт, чтобы протирать кожу в этой области. Я просто стала бояться, что у меня появятся настоящие пролежни.

11 июля я была днем дома. С утра была не очень хорошая погода, и я не очень хорошо себя чувствовала. Около трех погода разъяснилась, но мне не хотелось никуда ехать, и я сидела и что-то шила. Раздался звонок в дверь, и появились доктор Толченев и какая-то женщина, которая представилась врачом районной поликлиники. А доктор Толченев — это заместитель Обухова, главного врача больницы, того самого, который увозил Андрея из дома, в присутствии которого Андрею делали укол и волокли тогда, 21 апреля, на носилках. Они мне сказали, что Андрей через два часа будет дома, что его выписывают. Представил мне Толченев эту женщину, сказал, что она врач районной поликлиники, что при нужде Андрей может к ней обращаться и получит всяческую помощь. Еще Толченев сказал, что Андрей плохо себя чувствует, что у него есть экстрасистолия, но врачи решили, что его надо выписать, что ему дома будет лучше. Они приехали меня об этом предупредить. Ни слова о голодовке — как будто ее не было.

Мне было очень странно, что приехали с таким разговором. Это была какая-то новая позиция — раньше они говорили, что дома ему вредно. Я как-то очень резко, как всегда с этими врачами, сказала: «Зачем же вы приехали? Андрей приедет, он сам мне все объяснит». — «Нет, мы хотели, чтобы вы знали, чтобы вы могли его встретить». И я не поняла, что мне надо поступить как раз наоборот. Они ушли, сказав, что через

час Андрей будет дома. И это их «встретить» так запахло мне, что я вышла на улицу и почти целый час простояла, ожидая Андрея.

Приехала черная «Волга». Мне помнится, что черная «Волга», но, может быть, это была санитарная машина. Вышел Андрей (нет, не из «Волги»), за ним Валя, которая несла что-то из вещей, или Вали не было в этот раз, Валя была в другой раз, — и мы поцеловались и вошли в дом. И только потом, уже здесь, на Западе, я поняла, зачем им было нужно, чтобы я вышла Андрея встречать, и что я сделала глупость, выйдя на улицу. Эту встречу сняли на пленку и показывали всему миру, как Андрея привозят из больницы как обычного советского человека, а жена спокойно его встречает дома. Надо сказать, что для советского человека и в этом была бы некоторая ложь. Ни одного родственника у нас никогда не предупреждают, что члена его семьи сегодня выпишут из больницы и привезут домой. В крайнем случае, этот человек сам звонит из больницы, а родственники приезжают за ним в больницу. В общем, это нужно было для очередного кинобранья.

Придя домой, Андрей рассказал мне многое, что было с ним за это время. Он мне сказал, что регулярно предпринимал попытки передать какую-то информацию о себе через различных людей, с которыми сталкивался, несмотря на постоянную охрану КГБ. Первое, что он мне сказал, — это почему он выписан: он прекра-

тил голодовку, потому что после визита Соколова написал письмо Горбачеву. Он написал это письмо 10 июля, а 11-го утром ему пришло в голову, что письмо будет более положительно рассматриваться, если он прекратит голодовку<sup>3</sup>. Но уже по тому, как быстро и срочно его решили выписать, ему показалось, что он делает глупость, выписываясь. И в день выписки, то есть вот сейчас же, 11-го, через несколько часов после того, как он подал заявление о прекращении голодовки, он подал Обухову второе заявление, что хотя он прекращает голодовку, но если не получит ответа на свое письмо Горбачеву в разумный срок, которым он считает две недели, то оставляет за собой право возобновить ее. Домой он пришел, уже убежденный, что через две недели вновь начнет голодовку.

Он был очень истощен. Но он был спокойней и как-то внутренне сильнее, чем в сентябре 84-го года, когда его выпустили из больницы. Он говорил, что ему кажется, что во время насильственных кормлений ему дают какие-то психотропные вещества и что под их влиянием у него вдруг возникло желание написать заявление о прекращении голодовки. Но главным, конечно, было бесконечное беспокойство за меня и невнимание, что со мной происходит.

Он рассказал, что у него тоже был Соколов — 31 мая. Соколов провел с ним длительную беседу, в которой, с одной стороны, говорил, что никогда просьба

Андрея Дмитриевича не будет удовлетворена, а с другой — что Андрею Дмитриевичу необходимо отмежеваться от своих прежних общественных выступлений и особенно от письма Дреллу «Опасность термоядерной войны»; говорил о том, как я плохо влияю на него. И абсолютно никаких обещаний о положительном решении Андрюшиного вопроса не давал.

Кроме того, Андрей сказал, что насильственное кормление в этот раз для него проходило легче, чем в 1984 году, потому что он научился не так резко сопротивляться, в общем, стал более опытным — настоящим ээком. По-прежнему, как и в тот год, в палате с ним находился еще один человек, якобы больной, но, видимо, из КГБ. В соседней палате — два кагебешника, на лестнице дежурит кагебешник и у выхода из отделения. В отличие от 84-го года, его за три месяца ни разу не выпустили гулять в сад и даже на балкон. Забили дверь на балкон, заявив, что балкон находится в аварийном состоянии. Это означало, что он три месяца был без воздуха и только каждый день ходил по коридору. В советском исправительно-трудовом законодательстве сказано, что даже в тюрьме заключенного должны ежедневно выводить на часовую прогулку. Вначале его выпускали в коридор смотреть телевизор. Но в последнее время телевизор из коридора убрали, и телевизора были лишены все больные в отделении — им сказали, что телевизор сломался.

11-го вечером Андрюша был какой-то беспокойный. Мы легли спать не поздно, может часов в 12, но оба были возбуждены и продолжали разговаривать. Говорил больше Андрюша — он убеждал меня в том, что ему обязательно надо снова начать голодовку через две недели. Потом вдруг начинал говорить, что на что-то надеется, что, может, все обойдется без возобновления голодовки. Мне кажется, ему было страшно и так хотелось избежать повторения. Потом он как-то сразу уснул. Я лежала не шевелясь и рукой ощущала все его экстрасистолы, сосчитать я не могла — не было часов и темно, но по характеру это было нечто невообразимое. То подряд несколько ударов были разновеликие, то выпадало два-три удара, и была такая долгая пауза, что казалось... Господи, чего только не казалось. И чего только не вспоминалось. Как я так же ладошкой впервые наткнулась на его экстрасистолы — подумаешь, дело, одна-две в минуту — совсем как у подростка, и я засмеялась этому, а Андрей спросил, что я. И потом я впервые послушала ухом. Меня никогда, пока в Горьком не сделали из этих экстрасистол Бог знает что, они не волновали. Но теперь это были другие нарушения, и я в них уже ничего не понимала — какой уж там подросток. Андрей плохо спал в первую ночь дома, он плакал во сне, и я его дважды будила. Во сне ему казалось, что он все еще (или снова) в больнице.

12-го был плохой день — серый, дождливый, ветренный. Мы были дома. 13-го мы ездили только на кладби-

ще слушать радио, было много об Андрее, и он был взбодрен тем, что слышит свое имя, почувствовал, что на свете существует забота о нем.

14-го был хороший день. Мы решили поехать за город, на рынок за продуктами. Андрей за два дня со мной уже отошел, у него выражение лица стало другим, мягче, и вообще он весь был такой хороший, добрый. После первой его ночи дома мы как-то перестали думать, что через две недели он снова собирается начинать голодовку, — мы жили. Андрей так и назвал это время — «время жить».

Мы поехали в город на рынок, покупали там фрукты. Помню, купили первые персики, которые ему не понравились. Купили очень хорошие абрикосы, еще что-то. На обратном пути с рынка к стоянке, а она там довольно далеко, мы купили какие-то пирожки или булочки и ели их на улице, а проходя мимо входа в кино, увидели афишу о французском фильме, который называется «Мужские дела»; там что-то о велосипедных гонках, о гонщиках и об убийстве, такой типичный и не очень хороший детектив, содержание которого я практически забыла. И мы решили пойти в кино, купили билеты и пошли. Это было 14 июля. У нас еще было время до кино. Мы съездили на набережную Волги, слегка позавтракали там фруктами и булочками, которые купили, и вернулись в кинотеатр.

Этот-то день и был снят в фильме, показывавшем якобы нормальную жизнь Сахарова. Надо сказать, что



фильмы, которые показывали «нормальную» жизнь Сахарова в 84-м и 85-м году (это я увидела уже на Западе), содержат кадры, снятые в 80-м, 81-м году и в разное другое время, и все это смонтировано под одно, чтобы создать впечатление нормальной жизни, нормального состояния здоровья. На самом деле это один большой обман. Одна большая ложь, очень опасная. Эта документированная ложь может создать впечатление правды, ее труднее опровергнуть, чем прямую ложь. Вообще это чистая случайность, что, начав с поддельной открытки, ребята сумели распутать весь сложный узел дезинформации, который был вокруг нас. В другой раз может не удастся, и весь мир будет смотреть фильмы о нашем благополучии, когда нас уже не станет.

Так мы жили до 25-го. Это было очень светлое время. Каждый день мы ездили слушать радио. Мы много слышали за это время. Мы купили маленький приемник «Россия» и решили, что Андрей попытается взять его с собой, когда его будут вновь госпитализировать.

У нас были длинные-длинные утренние часы. Мы завтракали буквально часами, потому что это было время, когда мы больше всего рассказывали друг другу, как жили один без другого. Андрей рассказал мне о своих попытках передать какую-то информацию. Я ему — о своих, о выезде Лесика.

Днем мы много были на улице. Уезжали на машине в какие-нибудь перелесочки, где была тень и какой-ни-

будь намек на природу, и даже собирали грибы в одной из узких полосок лесопосадок. Кстати, кинокадры, где Андрей стоит спиной, и те, где мы собираем грибы или грибы на капоте лежат, — сделаны именно в эти дни.

Погода была, в общем, хорошая — даже если и не чересчур теплая, то почти все дни были ясные. Гебешники ездили за нами вплотную, на двух машинах, ходили между деревьями. На самом деле, наедине мы не были ни минуты, и это тоже показывают те кадры, которые вошли в фильмы, показанные на Западе.

25-го прошло две недели с тех пор, как Андрей вышел из больницы. Вечером он снова начал голодовку, то есть снова принял слабительное, сделал клизму, послал телеграмму Горбачеву. 27-го был день рождения Алеши. Андрей еще раньше, когда вышел, спросил, послала ли я поздравительную телеграмму ко дню рождения Ремки 25 июня. Я сказала, что не послала, что с тех пор, как я поняла, что телеграммы подделываются, я перестала их посылать в Москву и детям. Но Андрей считал, что Алеше все-таки надо послать. Я сказала что-то вроде «перебьется», и Андрей пытался меня уговорить, что это уже чрезмерная жестокость — не послать поздравления ему в день рождения.

Утро 27-го началось, как всегда: Андрей вышел на балкон, я, плотно закрыв дверь в кухню, чтобы ему не было слышно запаха, выпила кофе. Потом мы стали собираться поехать куда-нибудь на машине. Но собира-

лись не очень быстро, а у меня оставалась небольшая стирка и еще какие-то дела. Пока я все это сделала, было уже полпервого. Кстати, уже с 25-го числа у меня была в коридоре собранная целлофановая сумка, где лежало Андреево белье, принадлежности для бритья и умывания, новый маленький приемник, который мы купили, бумага, очки и другие нужные мелочи. Мы понимали, что за ним могут прийти в любой день и час. Но, когда приходят, это все-таки всегда оказывается неожиданным. Чувствовал себя Андрей хорошо, шел третий день голодовки. Был он вполне бодрый, даже делал утром зарядку.

Около часу дня мы собирались выходить из дома, в это время раздался звонок в дверь, и вновь появился доктор Обухов со всей своей мужской и женской командой, опять вместе с ним было человек восемь. И был этакий полуигривый тон, когда Обухов сказал: «Ну, что ж, Андрей Дмитриевич, мы за вами». И тут я не выдержала — когда я представила, что они снова будут валить Андрея на диван, делать ему силой укол и тащить, я подошла к Андрею и сказала: «Андрюшенька, иди так, не надо». Они его взяли под руки и полуволоком повели. Он не очень сопротивлялся. Я кому-то из них всунула этот целлофановый пакет, который у меня был собран Андрею, и так они ушли.

Опять я осталась одна, опять неизвестно, на сколько времени. Опять с чувством, что он полностью в их ру-

как и они могут сделать все что угодно: бить, колоть, убивать, миловать — все!

Я собралась и поехала слушать радио, хотя Андрей, даже уходя, сказал: «День рождения Алешки, ты помнишь?». Я сказала: «Помню». Но ехать давать телеграмму не захотела, считая, что она только собьет всех с толку, поехала слушать радио. Вот тут — я не помню, в этот день или на следующий — я услышала о фильме: как мы ходили в кино, как мы благополучно и хорошо существуем. Боже мой! Какой ужас вызвала у меня эта передача! Ужас, оттого что этой лжи совершенно невозможно противостоять. Совершенно невозможно знать, где, когда еще они будут фальсифицировать нашу жизнь.

И опять пошли пустые дни, быстрые и медленные. Чтение, штопка никому не нужных вещей или почти ненужных, мытье стен, иногда нужное, а иногда тоже ненужное, возня с цветами. Все это через силу, сжав себя, как в кулак, и заставляя. Я не худела — того чувства отвращения к пище и ежедневного похудения, ежедневной потери веса, которая была в первые три месяца отсутствия Андрея, больше не было. Я не прибавляла в весе, но как остановилась. А по вечерам, как маятник, меряя шагами балкон, сама себе вслух читала стихи, чтобы не разучиться говорить. И чтобы ответить себе на вопрос: «Кому и зачем нужна поэзия?».

Я все время пыталась передать информацию о нас. Тут был один эпизод, о котором до сих пор еще не вре-

мя рассказывать. Я так и не знаю, что произошло, хотя было сделано все для того, чтобы полная информация о нашем лете 85-го вышла за пределы Горького, — где-то на каком-то этапе что-то сорвалось. А иногда я думаю, что не сорвалось, а было сорвано теми, кому я это доверила, и поэтому вся почта пришла в Ньютон спустя 10 месяцев, уже когда я сама была здесь.

Андрей тоже делал подобные попытки. Я знаю об одном случае, когда еще в апреле информация его дошла до Москвы. К сожалению, те, к кому она пришла, побоялись опубликовать собственноручный текст Сахарова. Они сделали купюры и позже даже перевели на английский\*. Наверно, это была большая работа. Но она привела к тому, что ребята в Штатах не приняли эту информацию за подлинную. Да и трудно было. Я бы тоже, наверно, засомневалась.

А дни шли, шел август. День рождения мамы. Телеграмма от Лени Литинского с просьбой сообщить, когда ее день рождения. Я ему не ответила. Маме телеграмму я не послала. По радио все больше и больше слышала о нас и понимала, что моя тактика не посылать телеграмм даже в такие дни, как день рождения мамы,

---

\* Впервые о письме А. Д. Сахарова сообщило 16 мая 1985 года «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на неназванного друга Сахаровых. Перепечатанный отрывок из письма, в котором Сахаров сообщал о голодовке, появился на Западе в конце лета.

правильная. Раз все подделывается, значит, мы должны молчать.

Очень медленно шло время. Очень медленные были дни, и очень быстро пришла осень. В августе уже стало холодно<sup>4</sup>.

5 сентября днем я была дома, по радио я уже слышала о голодовке Алеши. О ней говорили каждый день, и передач этих становилось все больше; о нас говорили много. Я сидела дома, это было около 3 часов, я хотела выехать слушать радио к четырем часам, вдруг вошел Андрей. Я бросилась к нему, а он как-то сразу очень настороженно сказал мне: «Не радуйся, я только на три часа». Видимо, у меня было такое недоуменное выражение лица, что он сразу же объяснил: «Ко мне вновь приезжал Соколов, он просит написать некоторые бумаги». Я, не слушая дальше, сразу взвилась и закричала: «КГБ — на три буквы!». Андрей очень спокойно и как-то очень тихо сказал: «Да ты послушай». И я смолкла.

Он сказал: «От тебя просят написать, что если тебе будет разрешена поездка для встречи с матерью и детьми и для лечения, то ты не будешь устраивать пресс-конференций, общаться с корреспондентами, то, другое, третье». Когда я поняла, что от меня только требуется закрыть рот от прессы, я сказала: «Да ради Бога!». Спросила: «А что от тебя?» — «А от меня — то же». И я как-то отвлеклась от содержания того, что от него требуется, — мы стали друг другу рассказывать,

что с нами происходило. И я опять забыла сказать Андрею, что мое прошение о помиловании отклонено.

Андрей сказал, что к нему сегодня утром приехал Соколов. Он-то и потребовал такую бумажку, сказал, что Горбачев дал указание разобраться в ситуации с Сахаровым. Когда я села за машинку, я спросила, кому должна быть адресована моя бумажка. А потом сказала: «Нет, я никому не буду адресовать». И в том углу, где полагается писать, кому и от кого, я ничего не написала, никак не озаглавила эту бумажку. Оставив несколько строчек пустого места наверху, я с красной строки написала: *«В случае, если мне будет разрешена поездка за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками, а также для лечения, я не буду устраивать пресс-конференций, давать интервью. Елена Боннэр. 5 сентября 1985 года»*, — и отдала эту бумажку Андрею. И снова вернулась к вопросу, а что же требуется от него.

Тут он мне показал проект своей бумаги, в которой было написано: «Я признаю обоснованным отказ мне в выезде за границу, так как считаю, что обладаю знанием военных тайн (не помню, как у него дословно). Однако это не значит, что я признаю законной мою высылку и изоляцию в Горьком. В дальнейшем, если моей жене будет разрешена поездка за границу для лечения и встречи с близкими, я собираюсь сосредоточиться на научной работе и частной жизни, однако оставляю за

собой право выступать по общественным проблемам в экстремальных ситуациях».

Вот приблизительно то, что написал Андрей. Более точно я не помню (см. дополнение 11). Он как-то очень торопился назад. После того, как мы написали с ним бумажки, мы вышли на балкон. Я похвасталась цветущими моими уже остатками балконного сада. Постояли там обнявшись. Андрюша сказал, что я вроде как немножко прибавила в весе — наверно, так и было. И заторопился, как бы ему не опоздать к 6 часам выйти на улицу, потому что за ним приедет машина. Он боялся, что они его обманут, не приедут за ним и таким образом посчитают, что он прекратил голодовку.

Пожалуй, он верил, что эти бумаги помогут мне выехать, что проблема почти решена. Пожалуй, несмотря на то, что... я думаю, что его бумага была написана и согласие на нее было получено под давлением. Да и сама разлука со мной, к тому времени четырехполовиноймесячная, за исключением двух недель, и изоляция тоже есть давление, и насильственное кормление, и все — все это есть давление. Когда я пыталась об этом говорить, он отвечал, что ничего не видит худого в своей бумаге; он действительно думает, что обладает секретам, он действительно не хочет больше заниматься общественными делами, у него на них нет сил. Он чувствует себя больным, усталым, ему хочется заниматься наукой и быть со мной.



В дневнике, который я читала потом, он написал: *«Мне так хочется быть с Люсей. Мне никогда в жизни ничего так не хотелось».*

Сентябрь — это у нас уже осень. Мне кажется, что я впервые увидела и физически ощутила ее приход, стоя с Андреем на балконе, чувствуя ладонью даже через курточку, которая была на нем, его ребра. Милый, бедный, худой ты мой! Увезли. Сам спешил назад в мучения свои, голодовки и разлуки. И у меня осень, листья настурций стали светло- и густо-желтыми, астры уже отцветают, и пора собирать семена. Я собирала семена на кладбище и там же слушала радио. Алешка голодал в Вашингтоне у советского посольства, диктор-женщина говорила, что там жарко. А у нас быстро холодало и стремительно убывал день. Андрюша, пока был три часа дома, говорил об Алешиной голодовке приподнято и даже радостно. Он о ней знал, так же как и о многом другом, что делалось в мире. Тот маленький приемник, что я вместе с другими вещами сунула кому-то из увозивших Андрея 27 июля, работал, и Андрей все знал. Про Алешину голодовку Андрей сказал, что это нужное дело, в нужное время и в нужном месте. Потом, когда я уже буду в Москве, мне расскажут, что один физик, не одобряющий голодовки Андрея и наш образ жизни, сказал: «Вот до чего она (это я) жестокая, теперь заставила голодать еще и сына», — и на встречную реплику: «Ну, как она сына может заста-

вить, у них же связи нет», — «На это она найдет». А вообще про ребят Андрюша сказал: «Похоже, твои дети вытащат нас из черной дыры». И, как подтверждение его слов, я услышала резолюцию Сената и Конгресса США, после которой Алешка кончил голодовку\*.

А у меня шла осень. Я вдруг ощутила такую усталость, что уже казалось, больше не выдержу. Но каждый день я говорила себе: «Ну, еще день-два, и все решится», — и с этим жила. Я все дни разлуки и 1984 года, и 1985-го отмечала в календаре и на перекидных его листиках записывала, что было: ведь хоть казалось, что время стоит, — оно шло, и случались события — в мире и в моей одиночке. Перекидной календарь — «умираю от воспоминаний над перекидным календарем» (А. Межиров) — кому-нибудь из моих читателей эти строчки что-то, может, скажут. Уезжая сюда, в Штаты, я купила Андрею календарь — пере-

---

\* Алексей Семенов начал голодовку 29 августа 1985 года вблизи советского посольства в Вашингтоне, требуя разрешения посетить Сахаровых, и закончил ее 12 сентября. Совместная резолюция Сената и Палаты представителей № 186 от 10 сентября выражала «солидарность с семьей Сахаровых в их усилиях осуществить свои права» и призывала президента «протестовать сильнейшим образом и на самом высоком уровне против вопиющих и систематических нарушений прав Сахаровых советскими властями».

кидной. Когда он пришел из больницы — он читал мои записи. Возвратясь с моих американских каникул, я буду читать его.

В первые дни после этого трехчасового общения, после того, как ему Соколов сказал, что Горбачев велел разобратся, мне казалось, что Андрей скоро будет дома, что скоро все решится и все будет хорошо, но дни шли.

Предоктябрьские дни были отмечены интервью Горбачева «Тайму», поездкой во Францию и его и Миттерана пресс-конференцией в Париже. Это все на советском телеэкране. Интересно хотя бы потому, что нас много лет не баловали даже таким общением с руководством страны. Страшно — мне, потому что везде про Сахарова и везде так бесперспективно плохо, что прямо мороз по коже. По западным радиостанциям тоже интересно и тоже про Сахарова — много про него, и беспокойство, и забота о нем, и всеобщее недоумение вследствие дезинформации и отсутствия реальной информации. Октябрь. Осло. Присуждение Нобелевской премии врачам. Десятилетие Нобелевской премии Сахарова.

Я слушала эту передачу (дополнение 10) дважды. Первый раз ночью почти ничего нельзя было разобрать. Второй раз днем — верней, октябрьскими сумерками, в машине. Танин голос был слышен очень ясно, чисто. У меня на ветровое стекло падали первые в этом году снежинки, потом снег пошел хлопьями. Когда первый

снег, надо загадать желание. Господи, сколько на свете примет! Как хочется хоть чем-то облегчить душу. Я вышла из машины, собрала горсть снега с капота, положила в рот. Холодно. Почему это в детстве снег был сладкий? Мне кажется, никогда в предыдущие наши разлуки я не считала так дни.

Кончилась осень. Снова пошел снег. Стаял. В доме было очень холодно. Еще не топили, а ветер выдувал тепло. В большой комнате было 12° по Цельсию, а там, где я спала, бывало и меньше. Я уже не шила, не штопала, не мыла окна и двери. Сидела, накрутив на себя все теплое, иногда даже и одеяло, и ждала. Чего? Сердце болело то ли от спазмов, то ли от тоски, то ли от холода. Утро 21 октября такое темное, что не поймешь, рассвело уже или нет, — опять идет мокрый снег. Вставать в такую холодину очень не хотелось. «Вдруг звонок. Натянула халат, открыла. Один из самых хамских наших охранников. Они, между прочим, различаются между собой по степени хамства. «Вам велено в управление явиться к 11 часам дня». — «Я к 11 не успею, сейчас уже 10». — «Ничего не знаю, этаж 2, комната 212 (или другая — сейчас забыла) к Гусевой Евгении Павловне, и чтоб обязательно к 11». — «Сказала, не успею», — и я закрыла дверь. Так у меня получилось, что я не могла быстро собраться и, хоть специально не волынила, только в одиннадцать смогла выйти из дома. На машине лежит мокрый снег — надо счистить. Не работает

обогреватель заднего стекла, вообще я еще к зимнему времени не приспособилась. Наконец, выехала и около 12 приехала. Там везде стоянки запрещены, разрешено только для служебных машин, но я поставила свою. Я была зла и на свои ноги, и на свое сердце за то, что они болят, и на мокрый снег, и на этот пронзительный ветер, и на этот город, про который мне так и хотелось крикнуть: «В гробу я тебя видала, в белых тапочках». И на этот вызов.

Я думала, что вызывают меня или на беседу, или для какого-нибудь наказания за то, что я нарушаю режим и не нахожусь дома после восьми вечера, как мне было предписано. Собственно, в октябре я уже находилась. Это летом и в сентябре, пока не стало холодно, я подолгу слушала радио. И то, что меня вызывали к женщине, только подтверждало мои предположения. Я уже нагляделась на то, что в Горьком (а может, и в других городах) в управлениях внутренних дел именно женщины ведают осужденными. Это те осужденные, которые отбывают наказание без лишения свободы и на своем обычном месте жительства: так называемые «химики» — в Горьком их много, алиментщики и те, кто осужден к принудительным вычетам из заработной платы. Ну и на моем примере — ссыльные, но кажется, что ссыльных на весь город Горький — я одна на 1,5 млн. жителей (в статистических сборниках показывают меньше — 1,3). Я думала, что теперь меня вызывают

к женщине-инспектору по этим делам, но только выше рангом.

Наконец я нашла нужный подъезд и на указателе в вестибюле увидела, что это ОВИР. Я очень удивилась, но мысли о том, что меня собираются пустить в поездку, не появилось. Прошла в бюро пропусков и вдруг вижу объявление: «Сегодня в связи с собранием (не помню каким) приема в ОВИРе не будет». — «А, значит, меня ждут». Я привыкла, что власти так не хотят моих контактов с кем-либо даже в случайной очереди, что в учреждениях могут даже отменить прием, как это было в райисполкоме или в том коридорном отсеке прокуратуры, где находится кабинет моего следователя. Я обратилась к девице в окошке бюро пропусков, сказала, что меня вызвали в ОВИР. «Вы что, слепая, что ли, или неграмотная? — привычно рявкнула она на меня. — Вот объявление висит — приема нет». — «Но меня вызывали», — повысила голос и я и уже собиралась начать привычно и громко, чтобы все, кто есть в помещении бюро пропусков, слышали: «Я жена академика Сахарова...». Но тут подбежал какой-то тип и вежливо просяюкал: «Елена Георгиевна, пройдемте, к вам сейчас спустятся», — и вытолкнул меня из многолюдия бюро пропусков к лестнице, около которой стоял только один часовой, а людей не было.

Буквально через несколько минут по лестнице спустилась женщина в форме офицера МВД (на погонах

просвет широкий и одна звездочка — майор) и тоже вежливенько сюсюкает: «Елена Георгиевна, пройдемте». Мы поднялись на второй этаж. Она принимала меня в кабинете, посередине которого стоял стол, у стола по обе стороны стулья. Вдоль всех стен тоже стулья — это помещение скорее походило на комнату типа холла. Ее как будто нарочно переоборудовали в нечто вроде кабинета. И этот стол казался только что принесенным.

Когда потом я увижу себя и ее около этого стола в фильме — я пойму, что это так и было. Справа и слева в комнате были двери в соседние помещения. Я описываю это так подробно, потому что теперь, после просмотра фильма, где заснята я в этой комнате, беседующая с этой самой Евгенией Павловной Гусевой, я все время думаю, где же находилась камера и почему я не слышала звука съемки. Или, возможно, теперь есть беззвучные камеры.

Гусева сказала: «Вы подавали заявление на выезд, вас просят снова заполнить анкеты». «Я никогда не подавала заявлений на выезд. Только на поездку», — сразу сказала я. «Нет, нет, что вы, это я просто так выразилась. Садитесь удобно и заполняйте анкеты». — «Как, прямо здесь и от руки? Всегда же вы требуете, чтобы было напечатано и в двух экземплярах». — «Ничего, можно один и от руки».

Я заполнила графы — имя, фамилия, место жительства. Далее идет графа — куда. Она мне диктует:

«В Италию». Я стала доказывать, что это я раньше просилась в Италию, а теперь я прошусь в США и Италию, в частности я хочу привезти маму. Она сейчас у детей, но она хочет вернуться, она не эмигрантка, а в гостях, — именно это место заснято в фильме. Я написала «в США и Италию». Дальше я все заполняла, почти не думая. Так, на вопрос: «Когда собираетесь выехать?» — она продиктовала: «Сразу по получении визы», — и я так и написала. И на вопрос: «Через какой пограничный пункт?» — она сказала: «Через Шереметьево», — я тоже написала.

Кончила анкету, отдала ей и заспешила домой. Конечно, я понимала, что, видимо, принято решение в отношении нас и, возможно, положительное, но уверенности у меня в этом не было. И вообще уже с середины анкеты (вся эта писанина заняла больше часа) я стремилась домой — я полагала, что Андрюша уже дома. Именно его возвращение было той единственной реальностью, к которой я стремилась. А поездка все еще была из категории нереальных. Но Гусева меня задержала: «Вы сейчас поедете, сделаете фотографии и завтра в 10 утра привезете мне». — «Кто же это сделает мне так быстро фотографии?» — «С вами поедут и вам сделают, это близко, на Звездинке» (улица в центре Горького).

Я вышла и поехала на Звездинку. Меня сфотографировали без очереди, сказали: «Завтра в полдесятого можно получить готовые», — и я помчалась домой. Мне



повезло, что на пути не было ни одного гаишника, а то прокол был бы обеспечен.

Андрея дома не было. Я так ждала его, что боялась выйти на балкон, хотя мне совсем не надо слушать дверной звонок. Уже давно — может, года два — мы не вынимаем ключ из замочной скважины, он так и торчит. Вначале милиционеры требовали, чтобы я его вынула, но я отказалась, а самим им вроде не положено. Сделали мы это потому, что без нас постоянно ходят в квартиру, видимо, у них плохие ключи, а замок без конца ломался, мне просто надоела эта история.

Андрей не пришел, и всю ночь вместо того, чтобы спать, я думала и процеживала сквозь себя снова и снова свой визит в ОВИР. И я поняла, что, во-первых, они хотят, чтобы я уехала скоро, а во-вторых — не увидев Андрея. Я уже поняла, что решение, конечно, принято и что фактически я имею разрешение на поездку, а все остальное, что сейчас происходит, — это уже вне тех инстанций, которые приняли решение отпустить меня, а зависит только от КГБ. Утром я еще надеялась, что Андрей придет, но до 9 не было никаких известий, и я поехала за фотографиями и в ОВИР. Получив фотографии, почему-то решила в ОВИР не спешить и зашла в парикмахерскую. Мои сопровождающие на двух машинах были этим озабочены больше, чем при обычных моих поездках. Видимо, они ожидали, что я должна стремглав лететь

в ОВИР, а парикмахерская может оказаться местом тайного свидания.

Вообще поведение нашей наружной охраны во все последующее, до моего отъезда из Горького, время было, на мой взгляд, странным. Ведь я получила право на выезд, тем самым право на общение и на контакты. А они усилили свою бдительность и шныряли вокруг меня — а потом, когда Андрея выпустили, вокруг нас — кажется, даже больше, чем всегда. Придя в ОВИР с фотографиями 22 октября (дама-майор меня встречала внизу, гебешники оставались на улице, потом она меня к ним выводила), я сразу сказала, что прошу отдать мне анкеты, я должна сделать добавления: во-первых, я не поеду сразу по получении визы, я поеду только после того, как увижу мужа, которого не видела шесть месяцев, исключая небольшой перерыв. Во-вторых, я не обязательно поеду через Шереметьево. Тут я вспомнила, что, когда я получила разрешение в 1975 году, я ехала поездом, так как окулист считал, что при таком давлении лететь опасно — у меня было давление за 60. Она сначала возражала, говорила, что мне еще не дано разрешение, а я уже скандалю. И что она вообще не может решать, давать ли мне анкеты.

Потом она ушла звонить. Я одна, ни души в этом горьковском ОВИРе — а может, так у них всегда? Нет, не может быть, ведь я точно знаю, что в городе есть и подаванты, и отказники. Теперь-то мне ясно, что всех

сотрудников отпускали, так как из соседних комнат шла съемка, а люди не должны знать про это. Этому майору КГБ доверяет, а уж другим сотрудникам нет. Я вспомнила сейчас, что всегда, когда я хожу на отметку в районный ОВД, мой кагебешник входит в комнату вместе со мной. Видимо, КГБ не доверяет той женщине-лейтенанту (ее фамилия Рыжова), у которой я отмечаюсь.

Гусевой не было больше часа. Вернувшись, она дала мне анкеты. В графе «Что еще хотите сообщить о себе» я написала, что поеду в США и Италию для встречи с родными и лечения, выеду в срок обычный, то есть в течение трех месяцев после получения разрешения, и там, где было написано «Шереметьево», кажется, написала «любой пограничный пункт», но сейчас точно не помню. Она взяла мои анкеты и сказала: «Вас вызовут».

И я помчалась домой. Андрея не было. Я опять почти не спала ночь. Утром еле встала и ходила в халате (а больше лежала), не собираясь ни одеваться, ни куда-либо выходить. Около трех часов звонок в дверь. Медсестра Валя. Просит одежду для Андрея Дмитриевича. Он ведь как был в тренировочном костюме, так в нем и есть, а на дворе зима уже. Я собрала куртку, ушанку, ботинки, брюки, свитер, все отдала, спросила: «А когда они думают его выписать?». — «Я его сейчас привезу, вот только вещи отвезу, он оденется, и привезу». Она ушла. И тут я поверила, что, может, мужа мне отдадут и что

детей и маму я, может, увижу. Ну, а что еще и сердце снова станет работать, про это я не думала. Мне кажется, я одновременно делала не два, а все сто дел: хватала нитроглицерин, накрывала на стол, пекла яблочный пирог и варила курицу, мылась и натягивала розовое платье. Все сделала и даже свечи на столе зажгла.

Еще не было пяти часов, когда в дверях появился Андрей. В меховой шапке и куртке — все это казалось большим, ему не по росту. Очень похудевшее маленькое лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал меня, а ... «Что происходит?» — «Ты ничего не знаешь? Меня вызывали в ОВИР», — и вдруг его лицо преобразилось, собственно лица не стало, одни глаза живые и сияющие (я и сейчас, спустя пять месяцев, когда пишу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это лицо и эту сцену целиком). И вдруг он так вильнул попкой, как будто танцует, — никогда не видала, чтобы Андрюша делал такое движение. «Ну, что, мы опять победили?» — «Победили!». И в нарушение всех норм — сразу из больницы за стол. И начались наши разговоры.

Врачи, подсадные пациенты,  
женская бригада. Снова ОВИР. Снимают, снимают...  
Квартира на улице Чкалова. Долгий путь.  
Америка перед Рождеством. Операция.  
Вопросы и ответы

Андрей ничего не знал, ему просто сказали час назад, что он может ехать домой. О голодовке никто с ним не говорил. Он не видел никого, кроме медсестры, принесшей одежду, — ни лечащего врача, ни Обухова. И что ждет его дома, он, пока ехал, не знал. Он рассказал о своем последнем пребывании немного. Сказал, что среди каждую неделю меняющихся его соседей был один, знавший английский, — кажется, он даже представился переводчиком каких-то специальных технических текстов. Этот человек предложил Андрею почитать английские журналы. Андрей взял. И эти кадры, когда Сахаров в больнице читает западную прессу (даже те журналы, которые в СССР не продаются) — а у нас все иностранные журналы забрали на обыске, — потом были в фильмах показаны всему миру. Кроме того, Андрей был удивлен, что ему в больнице вдруг принесли препринты — несколько пакетов с научными пре-

принтами из США — и дали расписаться на бланках уведомления о вручении. Никогда этого раньше не было: если пакеты приходили, то домой. И далеко не всегда нам давали расписываться. Андрей ничего не подозревал и расписался. И эти кадры как доказательство того, что почта с Запада идет нормально и что подписи не поддельны, тоже фигурируют в фильме.

Еще Андрюша рассказал мне, что один из меняющихся его соседей по палате все время вел с ним разговоры обо мне. Сколько Андрей ни пытался прекратить это, тот все равно продолжал. Это были долгие монологи совсем в стиле Яковлева. Андрей думает, что человека этого специально готовили, так как в его речах проскальзывало то, чего не было в советской прессе, а было только в газете «Русский голос» (издается в США) и в «Сетте джорни» (Италия, Сицилия). Наконец Андрей решил это раз и навсегда пресечь. Он потребовал, чтобы этого человека убрали. Этого не сделали. Тогда он взорвался. Он мне сказал, что способ доводить себя нарочито до истерики иногда помогает. Он стал кричать, схватил подушку и одеяло, силой вырвался в коридор и лег там, сдвинув три кресла. Был вечер, почтиночь — то ли боялись криков, то ли не было высшего начальства, во всяком случае, Андрея оставили в коридоре. Спустя три дня и три ночи, которые Андрей провел в коридоре, этого «яковлеведа» убрали прочь.

Перед последним приездом Соколова 5 сентября (он забыл мне рассказать об этом в тот короткий трехчасо-

вой приезд) у него три дня не было насильственных кормлений. Ему сказали, что женщина-врач, возглавлявшая женскую бригаду его мучителей, заболела (или у нее в семье кто-то заболел). Таким образом, он вновь проходил три первых, самых мучительных дня полной голодовки. Так его готовили к встрече с начальством из КГБ. То же самое было и перед приездом Соколова в мае.

О женской бригаде я должна рассказать подробнее — все, что Андрей мне говорил о них. Это несколько крупных, больших женщин, очень здоровых и сильных. Они приходили насильственно кормить его и в прошлом году. Ими всегда командует такая же крупная женщина-врач. Они валили его, связывали и привязывали к кровати. Все неприятные и неэстетичные моменты, которые могли быть при этом насилии, становились еще труднее переносимыми психологически, когда это происходило при женщинах. Андрей считал, что это нарочно были женщины — чтобы было мучительней. Об этом, в общем не стесняясь, говорил и Обухов, когда летом 1984 года стращал Андрея, уже снявшего голодовку, но требующего, чтоб его вызвали в суд как свидетеля и наконец выпустили из больницы, которую для него специально превратили в тюрьму. Чуть что — Обухов говорил: «Смотрите, Андрей Дмитриевич, опять женскую бригаду пришлю». Точно так же в 1984 году Обухов, совсем забыв, что хотя бы по образованию он врач, пугал Андрея болезнью Паркинсона,

специально давал книги, где описаны самые тяжелые исходы этой болезни, и говорил: «Умереть мы вам не дадим, а инвалидом сделаем. Вы будете в таком состоянии, что сами штанов расстегнуть не сможете». Вот это я сейчас цитирую по письмам Андрея.

Кроме того, Андрей думает, хотя ничем подтвердить этого не может, что были периоды — не все время его пребывания в руках этих лжеврачей, — когда к нему применяли какие-то психотропные препараты, вызывающие сонливость, некую душевную опустошенность, явное снижение волевых возможностей, желание умереть. Рассказ о своих врачах Андрей закончил фразой: «Мои врачи — это Менгеле нашего времени».

Я не могу отделаться от постоянно преследующей меня мысли: а нет ли среди тех, кто мучил моего мужа, активистов движения «Врачи за предотвращение ядерной войны»? Во всяком случае, доктор Чазов\* — кардиолог, и мне известно, что к нему пытались обращаться

---

\* Евгений Иванович Чазов — академик АМН СССР, директор Всесоюзного кардиологического центра АМН, личный врач нескольких советских вождей. Сопредседатель организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW). В 1973 году подписал письмо в «Известия» с нападками на Сахарова — это обстоятельство часто упоминалось западной прессой, критиковавшей присуждение IPPNW Нобелевской премии Мира за 1985 год.



ся по поводу возможностей настоящего, серьезного лечения болезни сердца моего мужа и по поводу моего сердца — безрезультатно. Мы не знаем, кто давал разрешение на насильственное кормление Сахарова весной 1984 года, приведшее к таким страшным последствиям (в одном из фильмов говорится, что к Сахарову приезжали консультанты из Института кардиологии, которым руководит проф. Чазов). В Москве и на Западе упорно говорят, что Сахарова «лечили» (я не случайно беру это слово в кавычки) и психиатры. В этой связи называют фамилию Рожнова — не знаю, кто это. Но знаю, что среди врачей, борющихся за мир, не последнюю роль играет Марат Вартанян\*, один из главных деятелей в применении психиатрии в политических целях.

\* \* \*

В феврале я была в гостях у друзей мужа в Пало Альто. На приеме в мою честь ректор Стенфорда д-р Кеннеди передал мне приглашение для Андрея приехать в их университет. Когда меня представляли ректору, я поняла, что этот милый человек, сейчас передающий приглашение для Андрюши, совсем недавно принимал

---

\* Марат Вартанян — заместитель директора Института психиатрии АМН, осенью 1985 года находился в США по приглашению американского отделения IPPNW — организации «Врачи мира за социальную ответственность».

здесь Марата Вартаняна. Я растерялась и не сказала, что не могу быть здесь после «доктора» Вартаняна. Да, я струсилла. Все кругом так прилично, так красиво и так интеллигентно. Все говорят такие теплые слова об Андрее (а заодно и обо мне). Возможно, им искренне кажется, что их слова могут помочь. Поэтому они ездят в Москву, говорят там со взрослыми людьми — академиками, воспитывая в плане «что такое хорошо и что такое плохо», но говорят не вслух, а с глазу на глаз.

Возможно, они искренне думают, что, вручив мне приглашение, они уже спасли Андрея от того, что его в изоляции превращают в живой труп. Возможно, они не знают, что коллеги «врачей за мир» — первое и главное оружие в этом преступлении. Вслух я ничего этого не сказала. В общем, я уподобилась им, моим хозяевам, и стала вежливой и безгласной — кругом такие милые люди, прекрасные закуски, цветы, высокие слова, Джон Баэз поет о свободе. А я стала несвободна и проглотила язык. Я уже потеряла, переживая свое молчание, время на слова.

Тут еще была одна накладка. Я все думала, что хозяин скажет, что гости хотят послушать меня. Но гости, видимо, этого не хотели. Пересилив себя, я вновь подошла к ректору и ему одному сказала все, что думаю об их приеме доктора Вартаняна. Сказала и поняла, что, в общем, мое поведение оказалось калькой их поведения. Я тоже воспитываю с глазу на глаз взрослого дя-

дю-академика, объясняя ему, «что такое хорошо и что такое плохо». Господи, а ведь мне до сих пор стыдно! И, может, если бы я все это тогда сказала вслух, то стал бы возможен и честный серьезный разговор. После этого нечто подобное произошло у меня с доктором Пановским — с той разницей, что я нашла в себе силы сказать все, что думаю, — наверное, именно поэтому ни у него (надеюсь), ни у меня нет чувства горечи от нашего общения, а у меня это общение даже заронило надежду, что, может, друзья Андрея со временем поймут, как они могут помочь моему мужу и другим. И что это «со временем» придет до того, как станет поздно.

Было у меня и неприятное объяснение с доктором Голдбергером — президентом Калифорнийского технологического института. Я не хотела его обидеть, но, думаю, должна была сказать, что ошибки в поведении западных коллег при их общении с советскими научными и государственными авторитетами сказываются прямо и трагически на наших судьбах. Это, во всяком случае, коллеги Сахарова должны знать. Я сожалею, что в Калтехе нашлось так мало людей, которые пришли на встречу со мной. Неужели там так мало интересуются судьбой Сахарова?

\* \* \*

Теперь три слова о хорошем. Если откинуть (на самом деле — никогда!) главное в нашей с Андреем жиз-

ни: «Ты — это я», то его, «хорошего», так мало в этой книге. 23 октября вечером, а может, это уже была ночь с 23-го на 24-е, я вышла во двор вынести мусор. Было ясно и морозно. Снег, который шел в этот день с утра, кончил валить. Эта первая белизна засыпала все вокруг и даже прекрасно прикрыла лужу — совершенно гоголевскую, которая царствует над всем нашим пейзажем этого конца проспекта Гагарина. Засыпало и стоящие у дома машины. И на ветровом стекле нашей крупно по снегу было написано: «БИС!<sup>1</sup> Поздравляем!». Еще ничего не говорилось по радио, еще, кроме нас, милиционеров и кагебешников, никто не знал, что меня вызывали в ОБИР. Никто, кроме одного из них, не мог подойти к машине и написать это. Я теперь всегда буду глядеть в их лица и думать: «Этот? Нет, этот».

25 октября меня вызывали в ОБИР к часу дня. Мы поехали вместе. Дамы-майора внизу не было. От постового у лестницы, спросив его разрешения, я стала звонить ей по внутреннему телефону. Один из сопровождающих — видимо, он последние дни был не в наряде и чего-то не знал — как дикая кошка, бросился к аппарату и нажал рычаг. Он сделал это так быстро и резко, что, видимо, нечаянно толкнул меня. У меня сразу схватило сердце. Я схватилась за нитроглицерин. А другой гебешник вежливо сказал: «Звоните, Елена Георгиевна, — он не знал», — и начал что-то тихо выговаривать тому, кто бросался на телефон. Я позвонила, дама спус-

тилась за нами, мы вместе с ней вошли. В кабинете сидел рядом с ее креслом мужчина в форме МВД с погонами полковника или подполковника (я забыла). Он сразу, не представляясь, стал говорить. Его речь приблизительно сводилась к следующему. Разрешение получено, с мужем вы повидались, сейчас вам надо заплатить 200 рублей и принести сюда квитанцию, завтра вы едете в Москву, вам будет принесен билет, и завтра вечером вы летите, билет на самолет вам заказан. В Москве вам надо иметь деньги на обмен и на билет (мне кажется, что он назвал 400 с чем-то рублей и 300 с чем-то, но, может, я путаю). Итак, завтра вечером вы едете.

И тут я взвилась: «Я никуда не поеду, пока я не поживу с мужем, и столько, сколько мне надо. Он голодал, он истощен, я должна привести его в такое состояние, чтобы мне не было страшно его одного оставить... Если вы меня выпихиваете или высылаете, так вы мне и скажите. Я никуда не поеду». Я очень сильно кричала и про многое, про больницу, про изоляцию Андрея... Андрей сидел, молчал, поглядывая на меня, и даже иногда улыбался, как будто его мой крик не касался. Вот так мы и сидим: с одной стороны — мы с Андрюшей на двух стульях, с другой — один начальник и одна начальница на двух креслах. И он стал на меня кричать, этот начальник, что он этого решить не может, что мое поведение возмутительно, что мне пошли навстречу и что я вообще рискую никуда не поехать. А я ему: «Ну и рискую, я во-

обще только и делаю, что рискую, — значит, не поеду...». И вдруг мы оба устали кричать. Я только напоследок сказала, что хочу ехать после встречи Горбачева с Рейганом и после нобелевского вручения доблестным врачам<sup>2</sup> — я не хочу, чтобы корреспонденты меня об этом спрашивали. И он сказал: «Хорошо, подождите», — и ушел.

Мы ждали очень долго, может час с лишним. Он вернулся злой. Ему явно попало от (как у них говорят) руководства, что не смог заставить меня уехать сразу. Он вошел и, не глядя ни на нас, ни на начальницу, которая нас стерегла все это время, сказал: «Пишите заявление. Сколько времени вам надо?». Я сказала: «Два месяца». И тут Андрюша улыбнулся снова и так спокойно промолвил: «Хватит с тебя и одного». Ну, не спорить же мне еще и с ним, и я написала «один месяц».

Мы вышли от начальников и поехали в фотографию. Эти фотографии от 25.10.85 я привезла с собой в Штаты. Этой или следующей ночью мы слышали по радио, что, по словам Виктора Луи, завтра я прибываю в Вену и могу далее ехать куда захочу\*. Потом было сообще-

---

\* Первое сообщение о том, что Е. Г. Боннэр дано разрешение на заграничную поездку, было передано немецкой газетой «Бильд» (так во всем мире обычно называют газету «Бильд-цайтунг») со ссылкой на «надежные источники» в Москве. Очевидно, под «надежными источниками» подразумевался Виктор Луи: на другой день он сам подтвердил это сообщение.

ние, что возможность моего приезда в Вену подтвердили послы СССР в Вене и в Бонне. Нас вызвали в ОВИР. Начальника не было, была одна дама, она сказала, что моя просьба удовлетворена, что мы должны принести ей квитанцию об уплате 200 рублей за паспорт. Что я могу купить себе билет сама как свободный гражданин (нет, это потом она сказала Андрею по телефону).

Главным же в этот день было наше требование телефонного разговора с детьми. Мы доказывали, что они никогда не поверят сообщениям Виктора Луи и что будет только лишний шум. Она сказала, что не может решить этот вопрос и что мы должны ей позвонить. Больше я с ней не общалась. Андрей еще раз ходил к ней, отвез квитанцию. Потом несколько раз звонил в связи с разрешением телефонного разговора и билетом до Москвы. Потом еще возник вопрос — с каким же документом я поеду. И Андрей вновь ей звонил, что ссылкой полагается маршрутный лист, ведь могут и задержать. «Никто не задержит», — сказала она ему таким тоном, как если б говорила: «А пошли вы...».

Овировские конфликты повторились и в Москве, но несколько под другим углом. Вначале мне было сказано явиться в городской ОВИР, там сказали, что они не знают, где мой паспорт, и сообщат. Сообщили через день, что явиться надо к Кузнецову (большой начальник) во всесоюзный ОВИР. Я явилась — меня привезли Эмиль и Неля: ходить я практически тогда не могла. Кузнецов мне сказал:

— Давайте ваш паспорт и получите заграничный.

— Паспорт? Да у меня его нет, я ссыльная. — Он растерялся. — Хотите удостоверение ссыльной? — предложила я.

Он сказал: «Подождите», — и вышел. Вернулся скоро. Брезгливо, двумя пальчиками, взял мое удостоверение — тоненькая карточка небольшого формата, какая-то стыдливая (если судить по размерам), правда с фотографией. И протянул мне паспорт, говоря:

— Вот итальянскую визу мы вам проставили, а визу в США проставите в Риме, мы дадим указание нашим товарищам.

Тут я — паспорт-то был у меня в руках — увидела, что в графе, где должно быть указано, куда я еду, написано было только «Италия».

— Я не возьму вообще у вас такой паспорт.

— Ну почему? Ведь в Риме вам все проставят, ведь мы дадим указание нашим товарищам в Риме.

— Нет, все должно быть проставлено здесь, а ваших товарищей в Риме я видеть вообще не хочу, в гробу я видела ваших товарищей в Риме.

Я стала уже кричать, бросила ему паспорт и выбежала в приемную. Эмиль и Неля стояли бледные, там был слышен мой крик. Начальник Кузнецов догнал нас у лестницы и сказал:

— Приезжайте в три часа.

— Ну, это другое дело.



Мы вышли. Нелька сказала: «Ну, уж это ты чересчур. Я боюсь, что теперь ты вообще никуда не уедешь». В три часа я получила паспорт. Там было проставлено: «В Италию — США», а на предыдущей странице во всю длину штамп: «Аннулировано». И как противовес этой истории в одном из фильмов несколько раз прямо-таки назойливо показывают кадры с моим выездным паспортом. Ну, конечно, без этой страницы.

Но это я забежала на месяц вперед. «Твои дети вытащили нас из черной дыры», — снова сказал Андрей после первого телефонного разговора с мамой и ребятами. Ну, вот и кончилась борьба. Начались сборы. И откармливание. Мы ели пять раз в день. Это санаторное питание нужно было обоим. И у меня ни на что не стало хватать времени, потому что пять кормлений — это трудоемко. А потом наши долгие-долгие разговоры, лежание по утрам, сидение по вечерам. И все время вместе, вместе. Мы были очень счастливы. Но через две недели я стала чувствовать, как убывает время, дней стало впереди меньше, чем уже прошедших. Скоро расставаться.

Мне надо было что-то срочно сделать с зубами. Без Андрея у меня сломалась коронка, и я ее острый край подпилила пилкой для ногтей прямо во рту. Это была мучительная операция. Кроме того, все зубы под коронками шатались — их, видимо, надо было срочно удалить. Я не могла без этого ни толком есть, ни говорить:

было больно, и, помимо всего, во рту была папилома — кто знает, каков был ее характер, мне она не очень нравилась. Что делать? Мы пошли к Обухову. Ведь больше некуда — нам нельзя.

А нас снимали, снимали без счета. Видимо, КГБ понравилось манипулировать камерой. Нас снимали в ОБИРе — есть сцена, где я говорю, что не хочу сразу ехать, но снято это как-то так, что большого начальника не видно. Снят мой паспорт, но я его получила не у этой дамы, а в Москве. Когда мы пришли к Обухову, мне было организовано спешное и по высшему классу лечение зубов и изготовление временного протеза. Я об этом говорю Андрею и Обухову — просто потому, что Андрей у него в кабинете. И это снято в кино, так же как я в кресле дантиста. Опять я не слышала никакого жужжания камеры. Нас снимают на рынке и в магазине. Андрея, говорящего из кабинета Обухова по телефону о билете для меня, Андрея, пьющего с Обуховым чай и говорящего о разоружении. А мы удивлялись, почему Обухов не работает, а по два-три часа держит Андрея и в частных беседах подымает такие нечастные вопросы, как разоружение. Где уж тут больничная работа, когда Обухов стал киногероем. 20 или 21 ноября, когда мы были, кажется, на последнем сеансе объединенной работы советских киношников с зубопротезистом, появилось сообщение, что Обухову присвоено звание «народный врач СССР». Мы увидели объявление об этом

в вестибюле больницы. Интересно — все мучения, которые перенес Сахаров в стенах Горьковской областной больницы имени Семашко, были в перечне заслуг этого человека, когда ему присваивали высшее для врача СССР звание?

И вот последний вечер с Андреем — и он тоже прошел. В этот вечер было очень скользко, и мне не хотелось, чтобы Андрей ехал один ночью домой на своей машине. Мы поехали на такси. Когда подъехали к вокзалу — мы не были там два года, — вся площадь вдруг оказалась перерытой: в Горьком заканчивают строительство первой очереди метро. Такси остановилось очень далеко. Вещи довольно тяжелые. Андрей тащил их, часто останавливаясь, мне он тащить не давал, но я и без вещей еле двигалась — чувствовала себя плохо. За нами шло пять или шесть гебешников. Когда мы остановились передохнуть, я сказала одному: «Хоть бы помогли». «Нет, что вы, не положено, да вы справитесь, вы люди здоровые!» — с издевкой сказал один из них. Мы дошли до вагона, Андрей внес вещи, в моем купе сидела мелкая женщина с противно знакомым лицом, в заднем тамбуре виднелось столь же противное лицо знакомого гебешника. Потом я их увидела в очередном фильме. Нас опять снимали. И Андрей один на снежном перроне — и в моей памяти, и в фильме.

Мне кажется, нам обоим страшно опять. «Кто может знать при слове расставанье — какая нам разлука

предстоит?» Опять надо выдержать — обоим разлуку, ему одиночество, мне мои болячки и их лечение. Но это все под знаком победы, в ауре победы. Два дня назад в телефонном разговоре Горький—Ньютон на мой вопрос: «Как ты?» — Андрей ответил: «Живу настроением победы». И я вспоминала осень 1984 года. Тогда я говорила: «Андрей, надо учиться проигрывать». А он мне на это: «Я не хочу этому учиться, лучше я буду учиться достойно умирать».

Утром (в ноябре семь утра — это еще ночь) я приехала в Москву. Я не была здесь почти двадцать месяцев. Много? Мало? Встретили меня Боря Альтшулер и Эмиль. Дома ждала Маша с горячими капустными пирогами. И милиция. Три человека у двери в квартиру на седьмом этаже и целая машина внизу у подъезда. Ну, ладно — они меня ждали, и это понятно, хотя зачем на одну меня так много? Но оказалось, что они были здесь, на этаже, все 20 месяцев — и днем и ночью, — у них тут даже раскладушка стояла, чтобы по очереди отдыхать.

А что было в квартире! В первую осень ветром там распахнуло окно. Квартира так и стояла открытая всем ветрам (и пыли, и грязи, и дождю, и снегу) все это время. Друзей пустили туда убраться (хоть поверхностную грязь смахнуть) за два дня до моего приезда. Сколько они вытащили оттуда сгнившего и погибшего, не описать. Там ведь даже в холодильнике оставалась еда. Он сломался, и все это сгнило.

Страшно представить. И, по описанию, очень похоже на войну, на то, что заставляли выжившие — вернувшиеся из эвакуации или из армии. Мне этот рассказ напомнил, что я застала в нашей квартире и комнате в послеблокадном Ленинграде, когда вошла туда в августе 1946 года. Интересно — друзья хотели пригласить для уборки кого-нибудь из фирмы «Заря» (там есть такой вид обслуживания), но им не разрешили, и из друзей поработать в этой «клоаке» пустили только Машу, Галю и Лену. Они очень просили, чтобы пустили хоть одного мужчину: надо было что-то двигать и, главное, много выбрасывать — выносить во двор, на помойку, но... «мужчинам нельзя». И вот я в доме.

Мама получила эту квартиру в самом начале реабилитационных выдач квартир в конце 1954 года. Она вошла туда с зонтиком. Потом Циля принесла на новоселье, хотя не было стола, скатерть, чудесно вышитую. Кто-то принес раскладушку. У мамы появился дом — его не было с 1937-го.

Прошло время, и мы потихоньку стали ее теснить в этом доме — брат, его жена и маленькая дочь. Потом они ушли в свое жилье. Приехала я со своей семьей. Потом мы много лет жили вчетвером: мама, я, Таня и Алешка. Дети оба кончили школу. Пошли учиться. Таня привела сюда моего зятя. Я привела академика Сахарова. Мы отпраздновали в этом доме три свадь-

бы — Танину, мою с Андреем, Алешину. Сюда из роддома принесли моего первого внука Мотеньку. Как много счастья видели эти стены. Наша работа, наша теснота, у всех нет места, наши друзья. Дом! Мамин дом! Улица Чкалова, 48-б, квартира 68. Таня с Ремой и маленькими детьми уехали отсюда 5 сентября 1977 года. До этого были исключение Тани из университета, приход палестинцев, угрозы Мотеньке, его странная болезнь, угрозы Ремке, следственное дело против Тани.

Почти сразу после их отъезда нашего отличника Алешку якобы за неуспеваемость выгнали из института. Хмурым утром 1 марта мы ехали на аэродром в Шереметьево. Лиза была черная, как ее волосы. У Алешки в руках были три гвоздики. Я думала, это ей. Он попросил водителя остановить машину против памятника Пушкину. Смежив веки, я и сейчас вижу алость этих гвоздик на мокром граните пьедестала.

Утром 22 января 1980 года Андрюша, как всегда, долго смотрел в окно. У нас там далеко просторно, все небо видно и еще пол-Москвы. Потом он уехал на семинар. Потом позвонил, и вечером этого дня самолет, в котором были мы и человек восемь охраны, доставил нас в Горький. В самолете нестандартно хорошо кормили и сюсюкали по поводу нашего самочувствия какие-то люди, выдававшие себя за врачей. В мае 1980 года из этого дома снова ехали в Шереметьево — мама летела в гости к внукам в США. Когда я с ней стояла около

паспортного контроля (до чего все предупредительны — ведь я вместо нее разбираюсь с вещами на таможне и смогла довести ее до этой будки), обняв и прижав ее к себе, я слышала, как по-воробьиному колотится ее сердце. Алешка оставил нам Лизу, и хоть один человек — это еще не семья, но дом как-то держался. Мы голодали за Лизу в ноябре и декабре 1981-го. 19 декабря на аэродроме, улетая в США, она мне сказала: «Елена Георгиевна, я хочу домой, я боюсь». И вот я вхожу в дом и даже пять дней живу. Странно, это не дом — это стены. В них друзья устроили мне проводы. Было много людей, но что я их увижу, что они придут и что в этот вечер стены снова станут домом — на это я не рассчитывала.

\* \* \*

Я сижу на веранде. Со всех сторон небо, а я в центре чаши (тарелка). Края ее полого поднимаются. Они курчаво-зеленые. Это заросли низких раскидистых сосен. Совсем какие-то другие сосны. Воздух как наш карельский, а вот сосны вверх не идут, живут широко. Может, это соседство океана так их воспитало. А что воспитало меня, если, глядя на это плывущее надо мной в облаках небо, я ловлю себя на том, что во мне все время свербят строчки: «Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму и не нужен им...» — подумайте, забыла и именно от этого не могу стряхнуть с себя эти

строчки... Только вот дальше помню: «им амнистия ни к чему» (А. Галич). Почему в таком месте, за тридевять земель (и географически, и по-другому) от тех мест, о которых в песне этой, свербит без конца «им амнистия ни к чему». Я жду, чтобы вернулась из лесу Таня с ребятишками и сказала мне наконец: «И не нужен им... им амнистия ни к чему». Ну, вот вернулись из лесу ребята. Таня сразу на мой вопрос: «И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему».

Сегодня утром (22 апреля 1986 года) я разговаривала по телефону с Андреем. Это только так говорится: разговаривала, а на самом деле или кричала, или ничего не слышала, нас только разъединяли. Получается, деньги мы платим за разъединения. Но все же в дополнение к рассказу о нашей машине Андрей сказал, что попытался посадить в какой-то своей поездке по городу проголосовавших по дороге цыганок. И ему было сделано официальное предупреждение, что у него будут отобраны права за использование частного автотранспорта в целях обогащения. Наконец-то официально, а не тем эзоповым языком, о котором я писала, не тараканами, сыплющимися на стол, и не проколами сразу двух, а то и четырех шин. И еще Андрей меня спрашивал, что ему делать с посадкой цветов на балконе, а я пыталась прокричать ему (видимо, эта тема разговора тоже под запретом), что пусть ждет июня и моего приезда, я в этом году буду сажать рассаду, а не сеять семена,



а для рассады июнь не поздно. Но не знаю, понял ли он меня, услышал ли. Они, видимо, почему-то не хотят, чтобы Андрей знал, когда я приезжаю. Какую еще липу они планируют?

\* \* \*

Но возвращаюсь в декабрь 1985 года. Я так боялась дороги — этого долгого пути от Горького до Ньютона и до врачей. Физически боялась. Ни на секунду не расставаясь с нитроглицерином, под светом юпитеров и под взглядами друзей и недругов я прошла таможду. Я очень жалела, что забрала с собой мало книг, — все пропустили. Прошла паспортный контроль и оказалась здесь, во всяком случае по эту сторону границы. Меня стали узнавать в зале, где накапливались те, кто полетит тем же рейсом. Были там и знакомые журналисты, и, странно, здесь меня никто не боялся — к этому надо было заново привыкать, и я привыкла очень быстро. Ничего не помню про то, как я летела, и как-то вообще не очень понимала — куда, пока самолет не приземлился. Мотор стих, подъехала маленькая машина аэродромной службы — я на все это смотрела чуть отстраненно, через иллюминатор, у которого притулилась с момента взлета. Но, может, в самолете окно зовут по-другому? Я все еще была внутренне в Горьком, по крайности — в Москве. И тут я увидела, что из машинки этой вылезает Алешка, а за ним Ремка. Похоже, это

и был момент, когда я поняла, что моя поездка действительно свершилась.

А вот Италии я не видела. Не видела, а тепло ощутила такое, как нигде: и от людей — знакомых и незнакомых, и от цветов и приветов — такая у меня взаимная любовь с Италией, я даже не могу объяснить. Но все было на этот раз в спешке, все под полицейской сиреной, так мы торопились и во Флоренцию, и в Сиену, что я их просто не разглядела. (Даже странно, что мы четверо — в Риме к нам присоединилась Ирина — выдержали эту спешку.) Кажется, только два места были, где я смогла не торопиться, отдышаться и подумать: Ватикан и гостиная премьер-министра, — и я в обоих случаях уходила успокоенная, зная, что здесь уважают и любят моего мужа и серьезно, а не на словах думают о его благополучии. (Да еще в трех дружеских домах посидела: у Нины, Маши и Лии, — вытянув ноги, которые тоже болели не меньше сердца.)

Седьмого вылетела из Европы — было 10 утра, седьмого же прилетела в шесть вечера. Ах, век XX, ни к чему нельзя приготовить свою душу. Все на таких скоростях. В самолете очень жалела, что нет тут Андрюши. Господи, всегда жалею, но тут был особый случай. Меня как почетного гостя командир пригласил к ним в кабину. Сколько же там неба — невообразимо; наверно, как в космосе. Вот это зрелище для современного человека. И так хочется лететь. Не в самолете — самому,

прямо Наташа Ростова какая-то (только что со своим нитроглицерином). Я тут вспомнила грустное и мне чем-то близкое. Однажды Виктор Борисович Шкловский сказал вполне банальное (этого он обычно не делал): «Старость мало отличается от юности — того же хочется, только не можется».

Прилетела к детям и за своим лечением. Как встречали, приветствовали, фотографировали — ничего не помню. Помню только маму да маленьких — увидела я их всех и эту новенькую, смешную, крепенькую и совсем чужую. Девятого началось лечение. Андрей наказывал про все болячки — чтобы ничего не забыла, от врачей не укрыла. Первая операция — мелочь, которую надо было удалить и поглядеть, что она такое. Удалил доктор Натансон, сделал это столь мгновенно, что я не успела не только почувствовать, но и заранее испугаться. Папилома оказалась вполне безобидной, так что зря Андрей волновался. Главное ведь — тот страх, который заранее.

Еще во Флоренции была у своего верного доктора Фреззотти. Он сказал: не горит, и, пока не справитесь с сердцем, за глаза братья не надо. Это же сказал д-р Скеппенс. И про ноги то же говорят. Ну и самый страшный доктор — зубной — сказал то же. Значит, все сходится на сердце. (А сердце болело невыносимо.) Я бы его ругнула, но, говорят, ругать сердце нельзя — дурная примета. Ведь приехала не ругать его, а лечить.

Девятого декабря пришла к кардиологу. Похоже, произвела впечатление не чересчур больной. Может, опять меня подвел характер.

В одном фильме про нас диктор говорит, что я веду подвижный образ жизни. А что прикажете мне делать? Можно лечь и умирать, можно заранее сказать: я больна, и все. Точка. Можно попытаться. Знаменитая история про двух лягушек, попавших в кувшин со сметаной. Одна сказала: «Все, тону», — и потонула. Другая разозлилась и со злости стала бить лапками по сметане. Била, била и сбила ком масла, а по нему хоть и скользко, но выбралась из кувшина.

Меня пообследовали легонько и назначили консервативное лечение. (Американская пресса поняла это так, что я не очень больна. А до моего мужа довели в таком виде, что я вообще сознательно аггравирую. Просто захотелось «в заграницу прокатиться».) Медикаменты в основном не отличались от того, что я использовала дома, не советского производства, но бывающие в советских аптеках. Правда, добавили кое-что, но я про себя с самого начала знала, что на этом далеко не уехать, а уж чуда, которого так жаждет Андрей, не произойдет точно.

Между прочим, доктор (я пишу это по-дружески и надеюсь, что он не обидится, — во всяком случае, я уж никак не хочу обидеть) обо мне и Андрее осведомлен был весьма относительно; конечно, слышал — го-

ворили; даже знает, что в Горьком климат не чересчур желателен для моего сердца; но, например, спецвыпуск «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», где собраны документы о Сахарове, не читал и фильм с Глендой Джексон не смотрел. Я его осведомленность расцениваю как среднюю, полагаю, что середина — это как раз те, кто слышал, но не знает.

Я к таким отношусь хорошо — или, во всяком случае, лучше, чем к тем, кто обо всем осведомлен, но по каким-то принципиальным соображениям понять все по-человечески не хочет. Средние, если им рассказать, способны и понять, и по возможности помочь.

Мой доктор Хаттер, хоть и не торопился отправить меня под нож, но катетеризацию сердца сделал и даже нарисовал мне все, что они увидели. Посмотрев на его рисунок, я вполне представила, где и что у меня закупорилось. Представил и Андрей, так как я ему копию этого рисунка в письме послала. Выглядело это не страшно, а вот сердце болело после катетеризации, пожалуй, даже несколько больше, чем до нее. А сама катетеризация заслуживает, чтобы о ней чуточку рассказать. Кладут в больницу ненадолго. Вечером ты туда приходишь, утром рано все происходит, и к вечеру, если все благополучно, можно ехать домой. Затраты времени — ровно сутки. Сама процедура — около двух часов. Страшно больше от предварительных разговоров, которые ведут с тобой врачи обо всех возможных осложнениях, и от

подписания бумаг, что ты, несмотря на все предупреждения, согласен. Утомительно лежать в неловкой позе на спине во время процедуры и после нее, но, в конце концов, и это терпимо. Труден только один краткий период, почти миг, когда тебе вводят краску. Уже ты привыкла к тошнотному ощущению внутри, уже это долгое лежание воспринимаешь не как нечто страшное, а как что-то плохое, но имеющее конец, думаешь: вот скоро все кончится. И вдруг... Помните сказку про Иванушку, которому надо в кипятке свариться и оттуда красивым возвратиться, тогда царевна полюбит... Так вот — считайте, что попали не в клинику, а в эту сказку. Я про себя после этой процедуры твердо знаю: в кипятке варилась, и если красивой не воротилась, то тут какая-то ошибка медицины — ладно хоть любимой осталась. Надеюсь. Незадолго до Рождества доктор мой стал сомневаться, что консервативное лечение даст положительные результаты, и сказал, что после Нового года покажет меня хирургу. А пока мы готовимся к празднику. В России спокон веку существовал жанр — святочный рассказ, рождественский. Существует он и в пору, когда литература старается пореже употреблять слово «Рождество», а главным праздником года стал Новый год. Все равно жанр остается — рождественский рассказ. У нас, воспитанных больше на литературе, чем на вещах, навсегда, наверно, остается какая-то снисходительно-нежная привязанность к этому жанру. Но ве-

щи, если мы попадаем в мир, где они доступны, становятся тоже притягательны. Мы перестаем стесняться любви к вещам и уже не становимся на цирлы перед литературой. Неравновесная наша тамошняя приверженность литературе здесь, когда проходит необходимость ее компенсаторного влияния, постепенно выравнивается — мы становимся (во всяком случае, в этом отношении) более гармоничными.

Я приехала (прилетела — кто же едет за море-океан) в Штаты в декабре, как раз в ту пору, когда начинается всеамериканская покупательная страда. Если там, откуда я, перевес имела литература, то здесь наоборот: надо всем в предпраздничные дни стояла вещь — рождественский подарок (тоже жанр). Она определяла праздник, а может, и весь грядущий год. Покупка подарков занимала всех, о них говорили в семьях, в кафе, в больнице (больница в любой стране — это мир, который дает массу новых познаний). И покупали, похоже, все: и бедные, и богатые, и всякие разные. Это была своего рода разрядка. Действительно, надо же человеку когда-то, когда-нибудь, хоть считанные разы, хоть раз испытать чувство сытости (я говорю не о пресыщении). Нельзя всегда «жаждать». Нельзя в плане личном — это со временем обязательно меняет мироощущение: цвет, вкус и запах живого мира — вся жизнь начинает горчить. У одних меньше, и они справляются с этим, у других больше, у третьих — опасно много. То

же самое происходит и в плане общественном. Это, кажется, хорошо понимают те, кто занимается проблемами Третьего мира, Латинской Америки, Азии, Африки. Хотя у некоторых из этих народов вещей, между прочим, побольше, чем у нас. И надо бы, чтобы это знали наши самые главные руководители. Никогда не знаешь, что и сколько, и как им докладывают и что они сами успели увидеть и понять на своем веку до того, как стали самими главными.

Я вполне понимаю, что эмигрант стремится больше купить: он неофит, и его вера обязательно горячее. Это я понимала и раньше. Но меня удивило, что и американцы так же живо и радостно заняты «шоппингом», как вновь приобщившиеся. Мне нравилась покупающая публика Америки в предрождественские недели и дни — живая, занимательная, активная и сосредоточенная.

Большой, большущий американский универмаг — не для богатых, а просто для людей; кстати, американцы, в общем, довольно бережливы и свою трудовую копейку предпочитают потратить не там, где дерут втридорога. Не эмигранты, немолодая пара (я больше часа следила за ними, может, даже несколько нарушая их *privacy*). Как внимательно они выбирают, смотрят, щупают и обсуждают и берут — много вещей берут, две большие каталки, — наверно, у них дети, внуки, их много, и много друзей. Это все понятно. Но внимательность



и серьезность их при этом, особенно мужчины, для меня были непривычны. В общем, у нас мало найдешь мужиков, которым покупка подарков была бы столь уж важна, даже приверженные к внешнему и престижному такое больше доверяют женам. Или, может, здесь еще и близость какая-то семейная, сказывающаяся в общей озабоченности покупками, даже тогда, когда покупай — не хочу, всего море разлитое.

Все предрождество люди сновали по магазинам. Я ездила со своими и удивлялась, как много покупателей и как много времени они отдают магазинам. И видела удивительное: 23 и 24 декабря — полупустые, почти совсем пустые магазины. Молодец, Америка! И никаких тебе торговых завалов — во всяком случае, на виду. Все накупились, все благодсны, и во всех магазинах, кафе, на улице, везде, на всю Америку: «Have a nice Holiday!».

Я не видела и не общалась здесь с теми, кто против потребления, кто кроет потребительский дух Америки — не американцы, а прибывшие и не создавшие «общества потребления». Но мне было очень любопытно посмотреть, как они проводят в жизнь свою программу и покупают ли они что-нибудь к Рождеству, дарят ли женам, детям, матерям, друзьям подарки. Или стойко «не потребляют». Я не знаю, для других ли только их лозунг «потребление — это плохо» или для себя тоже. Если так, то я боюсь их дисгармоничности (от недопо-

требления она может развиваться куда быстрее, чем от потребления). У меня иногда закрадывается мысль, что не так страшно общество потребления и его пороки, как нам объясняют. Но мы начинаем страдать бессонницей и даже можем (сомнительно, но все же) перестать потреблять. А те, кто пугает, — они и спят, и потребляют. И обманывают нас.

Прошло Рождество с его разгулом подарочной стихии. Новый год — совсем тамошний, московско-ленинградский: в доме были только те, кто не может стать президентом; исключение — Саша: она родилась здесь.

6 января я пришла к хирургу — встречу назначил мой доктор еще до праздников. Доктор Остин из тех, кто создан решать. После одного собеседования с ним я уже ощущала себя под ножом и понимала, что никакие объяснения о проценте осложнений и совсем не тех исходов ничего не изменят. Он и доктор Эйкинс уже мысленно взрезали меня, а у них где мысль, там и дело. Я почему-то вспомнила ощущения, которые мне дала катетеризация сердца, — это как я в кипятке варилась. Но там доктор был чем-то похож на своих из Первого медицинского, и фамилия звучала как-то почти близкой, вроде Блок. И я думала, что та процедура все-таки была божеской, а вот что ждет меня теперь?

12-го меня положили в больницу. А вершить доктор это будут тринадцатого. Все-таки у меня удивительное отношение к приметам. Когда вечером 12-го я под-

писывала анестезиологу, потом кардиологу, потом хирургу свое «быть или не быть», я вспоминала Севино «бросимся в плавание, мальчики» — если кто-нибудь теперь найдет и прочитает книжку Всеволода Багрицкого (я о ней третий раз вспоминаю на страницах этих записок), уже хорошо. Доктор Эйкинс сказал: считайте, что одного дня у вас в жизни не будет, — или он сказал это как-то помягче, но поняла я так. Кто переводил — Таня или Алеша? Не помню. И вот ребята ушли. Больничный вечер. Я приняла душ. Пришли две медсестры, бросили на пол голубое, как вода в том океане, который был, когда еще ничего на свете не было, полотенце. Поставили на него, сняв с меня все до самой последней ниточки. Мне вдруг стало страшно. Заныло где-то внутри, засосало, захотелось плакать и сказать: «Прощайте, любимые». «Прощай, лазурь...» (Б. Пастернак). Меня вдруг пробрала дрожь от холода и ужаса. А медсестры, тихо смеясь и что-то говоря друг другу, начали меня брить — не подмышки или грудь, я понимала, что грудь будут резать и что операционное поле надо побрить. Меня брили всю — от кромки волос на голове и дальше: шею, грудь, бока, спину, живот, ноги, верхние поверхности стоп, плечи, предплечья, кисть: я вся становилась одним сплошным операционным полем или жертвой — священной жертвой для заклинания. Моя дрожь мешала сестрам, но они справились и стали меня обильно поливать из больших бутылок (не

из аптечных пузыречков) йодом или чем-то йодистым и растирать это что-то полотенцем. Наверно, кожу очень саднило, наверно, щипало, они обмахивали меня полотенцем, как веером, но я не очень это чувствовала. Я продолжала быть в ужасе. А меня всунули в стерильно-голубое, уложили, что-то дали выпить. Я спросила, который час. «Без двадцати одиннадцать», — провалилось куда-то в моем сознании. Меня поразил мой голос, когда я задала вопрос. Я уходила в небытие, и голос был, как старая история...

\* \* \*

...Я накачивала примус под автоклавом — кто теперь знает, что так стерилизовали перевязочный материал? В узкий просвет двери я видела низкое октябрьское небо. Я услышала, как они летят. Это было странно, что в такую плохую погоду. Их было два. Они летели низко и скрылись из поля зрения. А я увидела ее, она падала, и я видела, что ее чуть сносит ко мне, она была большая. Я уже ничего не слышала — ни ее, ни самолетов, но ощутила влагу на своем лице: шел мокрый снег, его бросило в меня. Больше ничего не было. Долго? Я не знаю.

...Потом прямо надо мной появились звезды и небо. Оно было морозным, цвета синего мороза, и я не знала, жива или уже нет. Потом я почувствовала свои руки, особенно левую, в ней была боль. А вот ног не чувствовала и подумала: «Как же я буду танцевать?» — и услы-

шала голос: «Пожалуйста, не умирай». Кто это говорил? Я? Разве это был мой голос? Дальше я все знаю по рассказам. Меня услышали, нашли, раскопали. Значит, меня уже когда-то не было. Почти сутки. На полустанке Валя, недалеко от станции Ефимовская. С утра 26-го до рассвета 27 октября 1941 года.

\* \* \*

Возвращаться в жизнь было очень трудно. Мне кажется, что я слышала смутно голос Тани, потом Ремы и Лизы. Может, этого не было? Может, это их рассказы наслоились? Нет, все-таки было. Но ощущение, что я нахожусь в жизни, а не Там, — пришло позже: Алешкин голос, Алешкино — «Мама». Потом опять был провал. Потом снова: «Мама, ты слышишь меня? Мама, пожми мне руку». Я слышала, и мне кажется, что я жала, только у меня не было ощущения его руки. Потом я снова услышала его голос и даже ощутила запах, как будто он только что покурил. Потом опять пустота и чужой женский голос — английский язык. Я понимаю, что операция прошла, что шесть шунтов (почему шесть? — говорили про три, самое большее четыре). Я слышу свое дыхание — или это не мое? — машина гонит в меня воздух, дышит за меня. Другая стучит за мое сердце.

Я ощущаю тепло Алешкиной руки и разницу между его и моей температурой. А у меня страх — это он бо-

лен, он маленький и больной, и у него горячая ручка, но почему запах табака? — я тогда не курила. Путаница какая. Может, это все сон или небыль. И снова: «Мама, пожми мне руку». Я жму. Алеша говорит по-английски: «Она меня слышит».

— Слышу, слышу. — Я хочу сказать, хочу крикнуть и — не могу. Так я вернулась в жизнь. Опять ранним утром, опять на рассвете — 14 января 1986 года. Странный повтор. Как будто тот возврат в жизнь в 1941 году был только репетицией.

Потом меня отключили от машины, и я произнесла первые слова. Потом отключили от монитора, потом отвозили в палату — это все уже была медицина, хорошая, но медицина, а до этого было нечто другое. Я знаю, что оно было запредельным, это «Существование» или «Несуществование», это между «Здесь» и «Там». Я ушла из него, и пошла послеоперационная рутина, мучительные ночи, мучительные дни, когда после первого улучшения начались перикардит и плеврит, постоянные боли — Господи, ну все кости перерезаны, переломаны — ни лежать, ни сидеть, ни ходить, и нога болит, и рука левая — плечо так, что хоть криком кричи, — и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, такой больной, такой бессильной справиться со всем этим я не была никогда.

И не знаешь, надо ли было идти на все это — может, лучше бы остаться без такого крутого лечения. Я ведь

до сих пор думаю: а имеем ли мы право так вторгаться в собственную жизнь? И вообще после всего перенесенного возникает мысль-вопрос: «А может, это и не я» (А. Ахматова). Наверно, я так и не разрешила бы свои сомнения — о праве на такую операцию, на такое лечение, несмотря на то что уже смогла сесть за работу, смогла настучать на машинке эти страницы, — но меня пустили в операционный блок Масс-Дженерал.

Не видать бы мне этого как своих ушей, не будь я врач, не имей расположения главного анестезиолога да того, что доктор Хаттер сам меня туда повел. Вход совсем не свободен — прямо как в крепость или в Пентагон, — в книгу записали, спросили, откуда я (написали: Россия), расписаться заставили. Пропустили. Еще пока только в раздевалку. Там переоделась и пошла. От всех моих сомнений многодневных: «Имеет ли человек право на такую операцию?» — я стала волноваться еще раньше, с утра, а к этому времени меня стала пробирать легонькая дрожь. Я вспомнила, что несколько дней назад, когда я договаривалась об этом посещении, доктор Хаттер спросил: «А в обморок не упадете?» Я тогда даже оскорбилась: «Это я-то?» — до того, как стала врачом, столько лет медсестра, и вдруг такой вопрос. Но сейчас я сама задала себе тот же. И ответила на него тоже сама: «Ну, держись». Чего я ожидала?

Я ожидала чего-то вроде воплощенного в реальной картине своего сомнения, своего вопроса, а пришла

в нормальную работу — люди трудились. Конечно, эта работа была, что, называется, высшего класса — высший пилотаж, но работа, а не Вопрос, да еще с большой буквы. Мне было очень интересно, и не было никаких волнующих ощущений, кроме: здорово работают. Конечно, здорово! Стоит только поглядеть расписание: 60 операций в один день — четверг, 6 мая 1986 года. Работа идет в сорока комнатах. У некоторых врачей две, а то и три операции в день. Доктор Эйкинс — три операции. Сейчас он стоял над раскрытой грудной клеткой: разрез посередине, края раздвинуты и закреплены, сердце, открытое всему — глазу, рукам, ветру. Но до чего же точное название операции — «открытое сердце», — так точно, что ни прибавить, ни отнять. Оно было ровно — то сердце, на которое я смотрела и на котором вершил свою чудесную и чудовищную работу хирург. От каждого толчка уровень крови в сердечной сумке то поднимался, то падал. Потом к большим сосудам присоединили прозрачные пластиковые трубки: они заполнились кровью, даже по виду стали тяжелей, и через полкомнаты машина стала гнать по этим трубам кровь. Большой круг кровообращения и малый круг вышли из оболочки тела, но функционировали, как им и положено, а сердце посветлело и остановилось.

Я вспомнила, как страшно становилось в операционной, когда пропадал пульс у оперируемого или не выслушивалось сердцебиение плода. Здесь — ничего по-



добного. Сердце отключали, чтобы было удобней, легче на нем оперировать. И продолжалась работа, тонкая, как у кружевницы: доктор шил шунты, один, два. Тихо все, спокойно, привычно — им привычно. Один раз спросил, какая температура. «23,9°», — ответил один из тех, кто смотрел за приборами и время от времени что-то вводил в вытянутую, белую, как мрамор, руку. Два шунта — 30 минут. Потом вновь большие сосуды замкнули в те круги, которые им положены. Сердце вздрогнуло, раз, другой, порозовело, и вместе с розовостью стала возвращаться в него жизнь. Пока еще только в сердце — не к пациенту. Еще пройдут часы, еще от температуры 24° надо подняться хотя бы к 32-33°, чтобы начать возвращаться в наш мир. А у доктора сегодня еще две операции.

В другой операционной маленькое тельце под голубыми простынями — ребенок, два года. Тоже раскрытая грудка, и тоже «открытое сердце». Все, как у взрослого, но меньше, и на сердце нет еще ни жириночки. Но, чтобы жить, надо пройти через это — тоже раскрытая грудка и тоже открытое сердце. Мало того: и само сердце раскрыто. Доктор, пока кровь идет по пластиковому малому и большому кругу, а остановленное сердце ждет, просто вырезает из белого дакрона овальную заплату размером немного больше ногтя на большом пальце, примеривает ее к тому месту, которое надо закрыть, — у малыша незаращение межжелудочковой пе-

регородки — и пришивает — аккуратно, медленно, спокойно. Тоже спросил про температуру — 21,9°. Сосредоточенно продолжает свою работу — творит чудо. А в комнате для родственников мама этого мальчонки мучается, ждет, надеется, сомневается. Сомнение необходимо, оно делает нас ответственной. Но как это хорошо, что у доктора, который шьет сейчас заплатку, такие золотые руки — и сомнение, и ответственность.

После «открытого сердца» любая операция — уже не событие. Так что вторичную ангиографию и ангиопластику на правой ноге я уже воспринимала без лишних эмоций. Правда, я снова в кипятке варилась, и боли в ноге были сильные и стойкие — а я почему-то ожидала, что в этот раз обойдусь без болей. Если честно, я от них устала и все еще не отошла от большой своей операции: грудь еще болит, глубоко вздохнуть все же трудно. А не дай Бог к чему-нибудь грудью прикоснуться или кто-то из друзей обнимет — боль пронзает насквозь, хоть кричи. И за машинкой сижу, а грудь болит.

И вот я свободна от ожидания следующих оперативных вмешательств в меня. Это, оказывается, приятно — знать, что тебе не грозит или не предстоит (так мягче) нож. Мне полагается отдых, и надо спокойно посмотреть на своих детей. Но черт меня понес — я села за машинку. Добро бы я могла вместо халатов, нового костюма, кучи кофточек, маек и подарков моим и детским

друзьям сложить эти листы в чемодан и отвезти их Андрею. Ему это был бы подарок. Он сидел бы, читал. А я бы яблочный или малиновый пирог пекла. Но — пирог, надеюсь, будет, а вот листки эти ему не прочесть. Жаль мне очень, прямо нестерпимо. А ведь я из-за них ему писала реже, а в последние дни попала в цейтнот и совсем не пишу, тороплюсь закончить, завершить во времени уже не Горький, а свои американские каникулы.

Прием, обед, ланч и серьезный разговор об Андрее и его судьбе, вопросы разные, иногда такие, что ясно: ничего ты про него не знаешь. И даже, зачем сюда пришел, не знаешь, все идут — и ты пришел. Совсем как у нас дома бывает: на улице очередь — значит, дают что-то. Увидел — встал. «Дают» — у нас синоним «продают», и совсем не всегда дешево; вот теперь бывает: шапки меховые модные по цене 350 рублей за штуку, берут, между прочим, иногда и по две. Что дают, не знаю. И передние не знают. Ничего, потом разберемся.

Но есть и такие, что знают про Андрея много, и даже близкие знакомые, а все-таки вопрос: «А кто сейчас за Андреем Дмитриевичем ухаживает, ведет хозяйство, пока вы здесь?»

Никто. Он один. *Один!* Сам убирает, моет пол в кухне, сам моет посуду.

«А он сам умеет?» Да, умеет, и это умение, и эти дела не раздражают его, он не думает, что они отнимают

его время у «вечных» и «бессмертных» дел, он уважает эти дела и готов их делать, не только когда он один, но даже и тогда, когда я с ним, иногда прямо рвет у меня из рук.

Его отношение к этим делам на самом деле очень важно понять. Оно очень похоже на его отношение к людям — нет маленьких людей и маленьких судеб, нет маленьких дел.

Когда говорят: «Андрей Дмитриевич, вы такой большой человек, вы нужны миру и т. д., зачем вам рисковать здоровьем, голодая за Лизу, Люсю, Буковского, Огурцова, Мороза?» — он раздражается, замыкается, не может говорить, потому что те, кто задает подобный вопрос, не понимают самой глубинной сущности стимулов его поступков.

А ему, бывало, говорили: «Зачем вы пишете про какого-то еврея, который захотел уехать?». Эти вопросы его глубоко оскорбляли, но и озадачивали: как люди, знающие его, могут так не понимать? Его отношение к житейским делам, к повседневной жизни такое же простое и такое же уважительное, как к людям. Но ему трудно одному, ему не хватает времени на все эти дела. У нас они все несравнимо более трудоемки, чем здесь, и иногда не хватает на них физических сил.

Вопрос: «А когда вы были без него, то у вас было так же?». Да, так же. «Как же вы все это делали, если у вас такое сердце, что было необходимо сделать шесть шун-

тов?» Делала. А чего не могла, того не делала. Я не смогла вымыть окно осенью перед тем, как закрыть на зиму. Летом мыла, а вот осенью стало хуже с сердцем и не смогла. Они так и остались грязными, потому что пригласить кого-то я не могу: деньги у меня есть, но общение с людьми мне запрещено абсолютно.

Был такой случай — сломался телевизор. Я нашла номер телефона ателье в телефонной книжке и пошла звонить. Я недолго искала работающий автомат — только первые два не работали, третий был в порядке. Но не успела я набрать номер, как сопровождающий охранник (или гебешник — не знаю, как их называть, чтобы не было клеветы) рванул дверь и нажал на рычаг. Было долгое объяснение с ним, он внушал мне довольно по-хамски, что я прекрасно знаю, что мне нельзя пользоваться телефоном, потом согласился доложить начальству, что мне нужен телевизионный мастер. Прошло два дня, и вдруг милиционер, который дежурит у нашей двери, вполне вежливо сказал: «Завтра к вам придет мастер». Так прекрасно кончилась эта телеистория.

Вопрос: «А почему надо ходить к телефону-автомату, разве нельзя позвонить из дома?». Из дома нельзя, дома нет телефона, все шесть лет в Горьком академик Сахаров живет без телефона. Бывали случаи, когда нужен был не мастер для телевизора, а неотложная медицинская помощь для меня, и Андрей Дмитриевич бегал

по морозу, искал работающий автомат — зимой они имеют свойство работать еще реже и хуже, чем летом. А сейчас он один, и, если ему понадобится скорая медицинская помощь, я не знаю, что будет.

В фильмах, демонстрируемых на Западе, Андрей Дмитриевич много говорит по телефону, и это нарочитая демонстрация, будто телефон есть. Сейчас, когда я здесь, нам разрешают такую роскошь, как поговорить, и для этого его вызывают на переговорный пункт, но не на главный, где обычно идут международные разговоры, а в почтовое отделение № 107. Его специально оборудовали, чтобы вести съемку скрытой камерой, демонстрируя всему миру, как просто, совсем не думая о законе, подслушивается и записывается разговор между мужем и женой. Не знаю, кто делал эти фильмы, но кадры с записанными и демонстрируемыми всему миру нашими семейными разговорами — на мой взгляд, явно антисоветские, и в любой демократической стране, где закон и право защищают людей, а не только государство, мы с мужем выиграли бы судебный процесс против неназванных авторов этих фильмов и государственных служащих, которые устраивают эти подслушивания. Вспомните Уотергейт. Президент тогда был вынужден уйти со своего поста за прослушивание телефонных разговоров. Другие кадры с телефонными разговорами Андрея Дмитриевича — это разрешенный КГБ разговор из кабинета главного врача, когда он за-

казывал мне билет выезжать из Горького, ехать на Запад, и разговор с сотрудником МВД по поводу моего заграничного паспорта тоже в эти дни.

«Слушаете ли вы радио?» О да! Для этого мы выезжаем на самый край города, на ипподром или кладбище, и там можно услышать некоторые западные радиостанции. Эти поездки нетрудно делать весной и летом, но зимой холодно, очень ветрено, день короткий, а мы зимой, когда плохо чистят — это видно в одном из фильмов — и очень скользко, предпочитаем не ездить вечерами. Так что зимой мы почти ничего не слушаем.

«Почему вы не слушаете радио дома?» Потому что глушат. В нашем доме — во всяком случае, в нашей квартире (про весь 10-этажный дом я не знаю) — работает какая-то установка, не дающая слушать радио, создающая помехи на телевизоре, мешающая слушать даже музыку с пластинок. Эта установка работает круглые сутки — мы пробовали утром, днем, вечером, ночью.

«Не вредно ли это для здоровья?» Андрей думал об этом. Он не знает. Ну, я, тем паче, ничего не знаю про такие вещи.

«Можете ли вы читать газеты и журналы?» Советские — сколько угодно. Западные, которые у нас накопились за четыре года до обыска 8 мая 1984 года — среди них «Ньюсуик», «Тайм», «Экспресс», «Пари-матч», «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» и другие — были все за-

браны на обыске, и их не вернули, так же как и вырезки из западных газет. Даже подборку вырезок из советских газет забрали и не вернули<sup>3</sup>.

«А что вы еще читаете?» Андрей Дмитриевич вообще читает не очень много (я говорю о художественной литературе) — обычно то, что я ему подсовываю. Он больше занят научными журналами или препринтами. Я читаю много. В основном это советские толстые журналы — в них бывает много интересного: и прозы, и публицистики. Читаю книги; раньше, пока была связь с Москвой, еще развлекалась английскими детективами — моего английского не хватает на серьезное чтение, но вполне как раз, чтобы понять моих любимых героев — толстого Ниро Вульфа и его обаятельного для женщин всех возрастов помощника Арчи, Агату Кристи, Ле Карре (трудно, но читала) и других. Иногда Андрей тоже читает английские детективы.

«Где вы берете советские книги и журналы — просто покупаете?» Некоторые газеты мы просто покупаем. Большинство толстых журналов и газет мы выписываем на год. Это у нас довольно сложно, так как многие газеты и журналы у нас «лимитные». Это означает, что подписка на них ограничена, а в свободной продаже их бывает очень мало. Для западного человека такая постановка вопроса может быть удивительна: хотят купить, а им не дают, — но у нас так. Объясняется ли лимит чем-либо, кроме нехватки бумаги, я не знаю, но часто



лимит бывает как раз на самые читаемые издания. Точно так же не хватает книг, которые люди хотели бы купить. У нас с Андреем Дмитриевичем нет проблем с подпиской, и мы можем выписывать практически все, что хотим, кроме журналов «Америка» и «Англия». Это потому, что я инвалид войны, а инвалидам войны предоставлена льгота выписывать что они хотят, без лимитных ограничений. Я должна только предъявить свой документ и заплатить вперед за год. На 1986 год при выписке я заплатила что-то около 500 рублей — по советским масштабам, учитывая, что у нас эти издания относительно дешевы, это очень много. Как говорится, читай — не хочу. С книгами у нас тоже нет проблем. Пока Андрей Дмитриевич — академик, он может выписывать многие из издающихся в СССР книг из магазина «Академическая книга» в Москве. Раньше мы ездили туда каждый месяц, и это было прекрасное занятие — порыться в книгах. Прямо оба были как один Карл Маркс: «Ваше любимое занятие? — Рыться в книгах». Сейчас мы заказываем книги по издающемуся «Академ-книгой» бюллетеню и получаем заказ на почте. Это скучней. Кроме того, лучшие книги почему-то не доходят. В среднем мы делаем заказы на 25—30 рублей ежемесячно.

Книги и журналы — главная материальная «роскошь» нашей жизни, так было в моей жизни и до встречи с Сахаровым. Так было и до Горького. Других приоб-

ретений, кроме того, чем живешь постоянно, мы практически за годы совместной жизни не делали; мебели, кроме кое-чего на кухню и тахты, на которой мы спали, мы в Москве не покупали. В Горьком я купила письменный стол, книжный шкаф, стол и несколько настольных ламп. За годы нашей семейной жизни мы не купили ни одного ковра или хрустальной вещи (и то, и другое — показатели, хотя бы внешние, уровня жизни в нашем обществе), да и насчет туалетов тоже как-то не очень мы роскошествовали. Вот как далеко меня увел вопрос о книгах и журналах. Но, думаю, читатель, которому многое или все интересно про Андрея Дмитриевича, меня простит.

Однажды меня спросили, как в Горьком с продуктами. Не катастрофично и, наверно, так же, как в других нестоличных городах. Я просто перечислю все, что есть в магазинах и даже не вообще магазинах, а в том, которым мы пользуемся. Это на расстоянии двух-трех кварталов от нас, может чуть дальше, но оттуда идти в гору. Мне с продуктами после инфаркта стало это тяжело. Я стала туда ездить. Андрей обычно ходит.

Магазин продуктовый: всегда есть сахар, чай (очень плохой), соль, какое-нибудь печенье, рис, растительное масло, несколько видов конфет, манная крупа, иногда другие крупы и макароны, но гречки не было за шесть лет ни разу. Сливочного масла нет, маргарин есть, иногда бывает сыр, почти всегда яйца, остальные продукты: мя-

со, куры, колбаса, рыба — если появляются, то стоит большая очередь. Молочный магазин: почти всегда в первую половину дня есть молоко и кефир, часто бывает творог и сметана, иногда бывает сыр. Овощной магазин: картофель, капуста, морковь и свекла бывают почти всегда, кабачки, цветная капуста — очень редко; яблоки, виноград и другие фрукты вызывают очень большие очереди, особенно — бананы или апельсины. Всегда есть какие-то соки. Булочная: хлеб днем есть почти всегда — черный и белый, вечером — чаще в пятницу — иногда может не быть, так как очень много покупают едущие в деревни. Пожалуй, про магазины я сказала почти все. Да, есть еще винно-водочный магазинчик. Водка бывает не всегда, за ней большие очереди.

Все продукты как инвалид войны я могу брать без очереди, предъявив удостоверение. Иногда я этим пользуюсь, особенно когда дают (продают) творог и фрукты. Однажды я это право использовала, покупая водку. Летом 1985 года я очень сильно похудела и у меня начались нарывы под мышкой. Опасаясь, что инфекция может распространиться, я решила, что нужно хорошо дезинфицировать кожу. Салфеток с алкогольной пропиткой у нас не продают, спирта тоже. И я пошла за водкой. Очередь была большая, так как день был неудачный — пятница. Я достала свое удостоверение. Стоявшие впереди и вокруг пропустили меня. Я попросила бутылку водки, потом передумала и сказала

«две» — вдруг мои нарывы станут распространяться, так чтобы уж больше не ходить. Когда я вышла из магазина, держа в каждой руке по бутылке водки, то мой сопровождающий гебешник спросил: «Елена Георгиевна, а ведь вы вроде раньше не пили?» — «От вас запьешь».

Не знаю, поверил он, что я запила, или нет. Это было в самые беспросветные дни июня 1985 года.

В городе есть несколько рынков. Цены на продукты на рынке в среднем в три раза выше, чем в магазинах, на некоторые продукты и больше: например, мясо в магазине стоит 2 руб. кг, а на рынке — от 6 до 8. Картофель в магазине стоит 10 коп. кг, а на рынке — от 30 до 50 копеек. Творог в магазине — 1 рубль, а на рынке — 4—5 рублей. Ягоды и многие фрукты и овощи практически есть только на рынке. Зимой рынок очень бедный, и, чтобы что-то купить, надо приехать к 8 часам. Я всегда просыпаю это время. Летом рынок значительно веселее — появляется много цветов, ягод и, конечно, очень его украшают фрукты, в основном привозные из южных республик, но цены пугают всех. Один наш актер в новогодней телепрограмме перед 1985 годом сказал, что ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) должен сразу арестовывать тех, кто на рынке приценится к дыне и грушам, — и никогда не ошибется, так как на зарплату их купить невозможно. Это, конечно, преувеличение, но что-то тут есть и от реальной жизни, хотя на рынке я вижу много покупателей.

Мы тоже пользуемся рынком, особенно летом и осенью. Еще одна привилегия, которая дает нам возможность не очень думать о продуктах, — это опять-таки моя привилегия инвалида Великой Отечественной войны. Во всех городах есть специальные магазины, которые обслуживают эту категорию людей. Когда меня сделали ссыльной, то я потребовала, чтобы меня прикрепили к такому магазину. До этого я почти все продукты возила из Москвы. Меня прикрепили, и мы ездили два раза в месяц в этот магазин. Там система заказа, можно купить продукты каждому инвалиду только два раза в месяц. В заказ входит 1,5 кг мяса, одна курица, 1 кг рыбы, гречневая крупа, горох, майонез, 600 г сливочного масла, какие-нибудь консервы, полкило сыра. Этот заказ нам очень помогает жить — особенно зимой. Как я сказала, мы ездили в магазин сами, но это было какое-то общение — с другими инвалидами, с продавцами, и нам запретили туда ездить. Теперь этот заказ привозят нам домой. К сожалению, привилегии инвалидов Отечественной войны не распространяются на других инвалидов, что, учитывая повседневные трудности нашей жизни, существенно облегчило бы жизнь этой категории советских людей.

Один из самых частых вопросов: «Раньше Андрей Дмитриевич не высказывал желания эмигрировать. Что он думает об этом теперь?». Этот вопрос задают давно — мне кажется, что с тех пор, как Андрей стал

общаться с корреспондентами в 1972 году, родился и этот вопрос. Часто его задавали на Чкалова, когда мы еще не подозревали, что нас ждет Горький. Андрей обычно отвечал на него лаконично, чаще всего одной фразой: «Я не обсуждаю нереальных ситуаций». В 1973 году он впервые получил приглашение поехать на год в Принстон в качестве профессора-гостя и с благодарностью принял это приглашение, но, высказывая эту благодарность по телефону корреспонденту, сообщившему о приглашении, сказал, что, если он с благодарностью принимает приглашение, это не означает, что он готов или собирается эмигрировать. Он тогда даже уточнил ряд причин, по которым в то время не считал эмиграцию возможной для себя. Пресса сообщение об этом разговоре передала неверно — она попросту отсекла вторую часть разговора. Насколько я помню, Андрей не делал никаких официальных шагов, чтобы поехать в Принстон. Когда он получил Нобелевскую премию, он обратился в ОВИР и получил отказ. Через несколько лет Андрей получил приглашение быть гостем на съезде АФТ—КПП и принял его, но до стадии ОВИРа не дошел: ему не дали какой-то бумажки в Академии, без которой невозможно действовать дальше. И наконец — сегодняшние дни: Горький. В начале 1983 года Андрей получил приглашение от норвежского правительства переехать на постоянное жительство в Норвегию. Приглашение было

сделано по поручению стортинга (парламента) Норвегии, за решение голосовали все партии, представленные там, то есть оно было принято единогласно. Андрей ответил на это приглашение письмом, которое я привожу здесь полностью.

## ПРАВИТЕЛЬСТВУ НОРВЕГИИ

С благодарностью принимаю приглашение правительства Норвегии о переезде в Норвегию с семьей на постоянное жительство. Возможность моего выезда из СССР зависит от разрешения советских властей. Ранее мне не были разрешены поездки за рубеж (в 1975 и 1977 гг.) со ссылкой на секретный характер моей работы до июля 1968 г. Прошу запросить власти о возможности моего выезда сейчас.

В случае отказа советских властей прошу правительство Норвегии поддержать нижеследующую просьбу, имеющую для нашей семьи большое значение. В сентябре 1982 г. моя жена Елена Боннэр подала заявление о поездке в Италию для лечения и операции глаз. Ее болезнь возникла вследствие контузии на фронте во время второй мировой войны. В силу особенности нашей жизни лечение моей жены в СССР невозможно. В 1975 году мы добились разрешения на лечение в Италии, и три раза, последний раз в 1979 году, моя жена выезжала для лечения в Италию. Сейчас налицо опять

необходимость поездки. Однако вот уже полгода нет никакого ответа. Ваша поддержка в этом деле могла бы оказаться решающей.

С глубоким уважением  
*Андрей Сахаров.*

24 февраля 1983 г. г. Горький.

P.S. Прошу Вас найти возможным сообщить мне результаты Ваших переговоров как по первому, так и по второму вопросу.

«Как вы относитесь к сообщению, что скоро ваш муж будет обменен?» Я отношусь плохо — не к обмену, а к этому сообщению, я считаю его провокационным. Думаю, что сообщение об обмене появилось в прессе 18 мая для того, чтобы все забыли, что 21 мая Андрею Дмитриевичу будет 65 лет, чтобы никто гласно и торжественно, как это было в прошлые годы, не отмечал на Западе этот юбилей.

«Собираетесь ли вы возвращаться в СССР и когда?» Собираюсь и даже уже составила список того, что мне надо купить, но покупок еще не делала. Думаю вылететь туда в конце мая.



Фильмы, изготовленные в КГБ.  
Люди или нелюди? Хочу дом. Мама.  
Где же взять счастливый конец?

Сколько я уже фильмов, проданных через «Бильд», посмотрела — пять, кажется; можно разбирать каждый по отдельности, можно скопом — все равно ложь, скомпонованная в полуправду, выдаваемая за правду. Это так трудно даже самой себе объяснить и разъяснить по эпизодам, а как сделать это для других, не представляю, но надо. Ведь никто, кроме меня, ничего разъяснить не может. Вот если б Андрей... Он умеет без эмоций и как-то очень точно, без моих лишних слов и моего засоренного языка. Вообще-то было бы легче, если б я могла, кроме общей линии — дезинформация с целью создать впечатление полного благополучия, — понять поводы выпуска каждого из фильмов, почему именно в то время и зачем.

Общее представление. Нас снимают всегда и уже давно — до Горького. А с момента поселения в Горьком нас снимают просто всегда, постоянно — мне теперь кажется, что нет ни одного нашего выхода за пределы квартиры, не отснятого ими про запас. Во всяком слу-

чае, я видела кадры всех этих лет. Все фильмы озвучивает один и тот же голос — он кажется мне знакомым. Кто это? Актер? Профессиональный чтец-декламатор из КГБ?

Все фильмы начинаются с показа «парадного» Горького — зима ли, лето, весна, осень: город туристский — то Ока, то Кремль, два-три собора (больше не осталось), фонтан, всегда показывают главную улицу — Свердлова, — но никогда наш конец проспекта Гагарина, где как раз у нашего дома осенью и весной лужа по здешним меркам квартала на три. Там летом — засохшая грязь, с поверхности которой ветер (а он у нас, как в песне Новеллы Матвеевой: «Какой большой ветер напал на наш остров...») поднимает смерч пыли. Зимой там снежные завалы или ледяные надолбы. Кстати, не там ли в последнем фильме показано, как Андрей толкает машину? И снова: парк, с могилой Неизвестного солдата, пляжи, набережные, гуляют люди, играют дети, Волга, Ока, идет пароход, летит на подводных крыльях прогулочная «Ракета». Непредвзятому зрителю кажется, что все это имеет отношение и к нашей жизни. И нет нужды, что мы за шесть лет ни разу не подошли близко к пристани — я один раз попыталась летом 1984 года в день рождения мамы, но мои охранники не допустили такого самовластия, попросили к пристани не подходить. Где уж тут пароходы и прогулки на воде! А вдруг уплывем?..

Первый фильм, доставленный через газету «Бильд», появился в августе 1984 года. Сначала — тот самый парадный город, о котором я говорила. Звучит голос диктора, он говорит о городе автостроителей, соборах и церквах, Кремле, настоящих памятниках русской старины, фонтане, которому сто лет; в городе свыше 1 млн. 300 тыс. жителей; «здесь с 1980 года по решению властей проживает академик Сахаров». В дикторском тексте нет и намека на законность: «решение властей», а по существу — «что моя левая нога захотела». Потом показывается дом, где Сахаров поселен, и квартира внутри — в наше отсутствие: таким образом, снимавшие фильм всему миру показали «неприкосновенность жилища в действии». Далее идут кадры лета 1981 года; весны 1980-го — сажание деревьев. Фраза: «Живут замкнуто, но охотно принимают гостей», — что она означает? По логике надо бы: «Живут замкнуто и не принимают гостей». Или она означает «замкнули»? Зимняя прогулка с Димой — осень 1980-го. Таня и Марина — 21 мая 1981-го. Фраза: «Академик из Горького не выезжает, таким правом до последнего времени пользовалась Боннэр» — так построена, что можно подумать, будто право передвигаться по стране — это нечто исключительное, — а может, так оно и есть? И за этой фразой следует известная фотография 1975 года, когда я еду в Италию, — это не Горький, это Москва, Белорусский вокзал. А ведь фильм должен был, как ска-

зано в заявке, доказать, что летом 1984 года Андрей Дмитриевич Сахаров жив, здоров и на свободе. При чем здесь снимок 1975 года? Что это 1975 год, можно убедиться, взяв прессу за август 1975-го. Если мне не изменяет память, я выехала из Москвы 16 августа и прибыла в Париж 18 августа — именно в эти дни появилась эта фотография во многих западных газетах. Дальше кадры действительно лета 1984-го. Я иду в прокуратуру на очередной допрос. С журналом «Огонек», призванным дать читателю представление о дате, манипулирует один из наших наружных охранников. Кадры, где я свободно гуляю по Горькому в обществе якобы приятельницы, сняты 25, 26, 27 июля 1984-го. Это дни, когда я с адвокатом Резниковой читала свое дело и в перерывах мы ходили обедать. Я действительно немного показала ей город.

Дальше начинаются кадры с Сахаровым и текст: «Академик прибавил в весе на два с половиной килограмма, он следит за своим здоровьем, он пунктуален в этом отношении, предпочитает обедать в одиночестве» — все вранье и про характер, и про причины. Может, и правда, Андрей прибавил тогда в весе на два с половиной килограмма — ведь это время после голодовки, он снял ее 27 мая 1984 года. Но он никогда не предпочитал обедать в одиночестве. Из открытки в Ньютон от 4 марта: «Я успокоюсь (или не успокоюсь) только, когда увижу тебя напротив себя за кухонным столом (так же

было и в больнице)». А в фильме вообще нет слова «больница» — все действующие лица специально без халатов. И дикторский текст: «Академик отдыхает»; «Что может быть приятней прогулки на свежем воздухе?»; «Что может быть приятней хорошей беседы?» «Беседует» во всех фильмах или главный врач Обухов, или некто (из КГБ?) за кадром. Обухов при «беседе» манипулирует журналами. Это он показывает таким способом время действия. Журнал «Огонек» в руках охранника — это для советских зрителей. Для западных — «Пари-матч» в руках человека выше рангом, чем простой охранник, — главного врача областной больницы. Но, может, я и не права. Может, охранник выше рангом — все ж таки из КГБ прямо, а Обухов только косвенно, так сказать, «от имени и по поручению».

Этот фильм был призван показать миру, что Сахаров жив. Он это сделал, тут нет неправды — Сахаров был жив летом 1984 года, но монтаж и текст мне доказали другое: такой же фильм можно сделать и спокойно показывать миру, когда нас обоих или одного не будет в живых. Все у них готово для этого, и кадров набрано предостаточно. Мне остается только предупредить друзей: фильмы могут так же подделываться, как и письма, и телеграммы, и многое другое, что подделывали до сих пор.

Второй (по срокам демонстрации) фильм, проданный газетой «Бильд» 29 июня 1985 года. Это фильм,

так сказать, врачебный. Его основная часть ведется от лица врача, и больше говорит врач, чем диктор. Он начинается дикторским текстом о том, что Янкелевич, которого на Западе выдают за официального представителя Сахарова, и Лига прав человека говорят, что Сахаров пропал. Далее опять парадный Горький, город «с населением свыше миллиона человек». Интересно, почему население в городе у одного и того же диктора так варьируется: в прошлом фильме было «свыше миллиона 300 тысяч», теперь только «свыше миллиона»? Далее текст, в котором уже не «по решению властей», а просто «с 1980 года в Горьком проживает академик Сахаров вместе с женой», то есть, оказывается, я не ссыльная, а «проживаю». Далее уже все говорит врач:

«Сахаров наблюдается в областной больнице с 1981 года, дисциплинированный пациент, регулярно приезжает на осмотры, аккуратно принимает лекарства... диагноз: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга».

В этом же фильме, в его второй части, тот же врач говорит:

«Наблюдается с 1980 года... диагноз: атеросклероз головного мозга с циркулярной энцефалопатией и явлениями паркинсонизма; атеросклероз аорты, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма...».

Обе даты начала наблюдения (1980 и 1981) в одном фильме — какая верная? Я от себя могу сказать, что впервые Андрей был госпитализирован в эту больницу насильственно 4 декабря 1981 года, один раз дал согласие на госпитализацию (апрель 1984), когда был нарыв на ноге; в 1984 году — 7 мая, в 1985-м — 21 апреля и 27 июля был госпитализирован насильственно. Всего провел в этой больнице при насильственных госпитализациях: в 1981 году с 4 декабря по 25 декабря — 21 день, в 1984 году с 7 мая по 8 сентября — 124 дня, в 1985 году с 21 апреля по 11 июля и с 27 июля по 23 октября — 169 дней. Таким образом, эта больница была местом изоляции Сахарова от всего мира и даже от жены в общей сложности 293 дня. Я не учитываю дней 1981 года — часть из них мы провели вместе. Единственная добровольная госпитализация (это я пишу для сравнения) продолжалась с 12 по 21 апреля 1984 года — всего 9 дней: тоже многовато для госпитализации по поводу вскрытия карбункула, ну, можно было бы это отнести за счет большого беспокойства об «академике» — диктор в фильмах все время говорит «академик любит», «академик отдыхает», «академик предпочитает», — но, к сожалению, именно в эти дни неправильное лечение доктора Евдокимовой (кстати, она нам говорила, что она гематолог, — почему же она лечащий врач Сахарова?) привело к тяжелым расстройствам сердечного ритма. У Сахарова, видимо, всю жизнь бы-

ли экстрасистолы, одна-две в минуту. Я лично наблюда-  
ла их с осени 1971 года. Они все годы с 1971-го стойко  
появлялись на всех ЭКГ (наверно, и раньше, просто  
я не знаю более ранних ЭКГ). Андрею Дмитриевичу  
никакого беспокойства они не причиняли, он их вооб-  
ще не ощущал. Можно предположить, что они были  
у него всю жизнь и именно их наличие явилось причи-  
ной того, что в 1941 году медицинская комиссия не  
пропустила его в военную академию. Такие экстрасис-  
толы не подлежат лечению, тем более препаратами ди-  
гиталиса и препаратами, нормализующими ритм при  
различной патологии сердца. В апреле 1984 года доктор  
Евдокимова назначила Андрею дигиталис и изоптин,  
и тогда у него число экстрасистол резко увеличилось —  
в некоторые периоды до бигеминии и тригеминии. Был  
период, когда Андрея именно это из «практически здо-  
рового» (так писала о нем советская пресса) сделало  
практически больным.

Но, конечно, самым страшным результатом пребы-  
вания Сахарова в больнице были последствия спазма  
или микроинсульта, перенесенного им во время перво-  
го насильственного кормления в 1984 году. Как теперь  
ясно, разрешение на него дали Соколов и неизвестный  
врач, посетившие Сахарова в больнице вечером (при-  
близительно после 10 часов вечера) 10 мая 1984 года.  
Привел их в палату к Андрею и представил как врачей  
доктор Обухов. Они провели около постели Андрея не-



сколько минут, не осматривали его, задали несколько незначительных вопросов и ушли. По Москве циркулировали слухи, что к Андрею ездил психиатр Рожнов, — может, это был он? Я этого не знаю и этот эпизод рассказываю со слов Андрея. На следующий день после их посещения было первое насильственное кормление. Что при этом произошло, Андрей рассказывает сам в письме Александрову: его повалили, привязали, он потерял сознание, было самопроизвольное мочеиспускание; когда пришел в себя, были изменения зрения, почерка, затруднение речи. Домой Андрей пришел через четыре месяца, и я лично могла наблюдать только некоторое снижение работоспособности, небольшой тремор рук и стойкие, оставшиеся по сей день, но уменьшившиеся непроизвольные движения нижней челюстью. Косвенное указание на все это есть в фильме. В разговоре с доктором Трошиным (невропатологом) на вопрос о треморе Андрей говорит, что тремор был сильный в июне и в июле, но больше всего в мае 1984 года, после 11 мая. И видно, как Трошин сразу же переводит разговор на другое.

Почти половину фильма Сахаров ест. Эти кадры призваны показать, что голодовки не было. Но даже то, как человек ест в кадре, показывает, что это выход из голодовки. Из письма Сахарова мы знаем, что он снял голодовку 27 мая 1984 года, и с этого времени его держали в больнице не потому, что у него были явные последст-

вия тяжелого спазма сосудов головного мозга или даже инсульта, перенесенного во время первого принудительного кормления, а чтобы лишить возможности быть свидетелем на моем суде и присутствовать на нем в качестве ближайшего родственника. Кадры 1984 года выдаются за кадры 1985 года. Я знаю со слов Андрея, что в 1985 году он не принимал в больнице никаких лекарств, категорически от них отказывался, но у него было подозрение, что ему что-то подмешивают в ту еду, которую вводят насильственно. В фильме есть кадры, где Андрей принимает из рук сестры какие-то таблетки — это тоже подтверждает, что кадры эти 1984 года. Врач Евдокимова говорит о консультации горьковских кардиологов Вогралика и Сальцевой. Но со слов Андрея я знаю, что он категорически отказался от их помощи и даже в апреле 1984 года не желал с ними иметь дела и никогда после их не видел. Ничего также Андрей не говорил о консультации кардиологов из московского кардиологического института. Он таких врачей не видел.

Уже из сегодняшнего дня: в фильме марта 1986 года доктор Обухова (жена Обухова) удовлетворена и довольна улучшением ЭКГ Сахарова — она полагает, что это результат ее лечения. Но из телефонного разговора от 3 апреля известно, что за все время, как Андрей вышел из больницы 23 октября, он не принял ни одной таблетки по ее назначению. И именно отсутствие лечения привело к тому, что его экстрасистолия вернулась

к прежнему своему качеству (одна-две в минуту). Для меня это является прямым доказательством того, что все время пребывания Андрея в больнице какие-то медикаменты ему в пищу подмешивали (я в данном случае говорю не о психотропных, а о сердечных), иначе экстрасистолия нормализовалась бы гораздо раньше.

Вторая часть фильма — это почти полностью врачебный осмотр апреля или конца марта 1985 года, до того, как Андрей начнет голодовку 16 апреля. Тут, в общем, мне нечего пояснять. И поясняет, и показывает доктор Евдокимова. Она говорит, что вот-де на Западе говорят, будто Сахаров не получает нужного лечения и даже голодает, — нам (советским врачам, видимо. — Е. Б.) такое слышать обидно, и мы показываем фильм, который снимаем во время осмотра. Таким образом, эта врач все сама всему миру пояснила: и что советские врачи не знают, что снимать фильмы во время осмотра без согласия пациента врач не имеет права, и что они это делают. А пациент расстегивает штаны, стоит полуголый и подтягивает одной рукой брюки, которые сползают, так как ремень во время осмотра был расстегнут, а подтяжки спущены. Ему щупают железы под мышкой и спрашивают про сон и про стул. Он отвечает: он ведь полагает, что говорит с врачом. Он поправляет носки и ложится на кушетку, и врач становится специально боком, зрителю видно, что это сделано нарочно, чтобы лучше был виден пациент.

Не успела я отдышаться здесь в Ньютоне, как из Москвы вдогонку мне прибыл фильм, в котором говорилось вроде: «ну вот, захотела поехать?» и — «пожалуйста», «захотела увидеть детей?» — «это очень просто», «лечиться» — «а почему нет?».

И ведь вроде все правда: приехала, увидела, лечусь. Но чтобы это «вроде» стало правдой, надо добавить совсем немного: выехала я 2 декабря 1985-го, а заявление подала 25 сентября 1982-го, это было заявление о поездке на лечение — за три года можно и умереть, к болезни глаз прибавилось много другого, и, прежде чем дать ответ, меня сделали уголовной преступницей, моему мужу пришлось держать три голодовки — в общей сложности 201 день голодовки и мучений насильственного кормления, десять месяцев заключения в стенах приспособленной для этого больницы. Без этого добавления все, что сказано в фильме, даже близко не соседствовало с правдой. Так как фильм оказался жанром, полюбившимся тем, кто демонстрирует всему миру наше благополучие, я могу прибегнуть к фотодокументу. В фильме много раз показывают мой заграничный паспорт — дескать, вот, поехала, и все как у всех. Нет, не как у всех, и поэтому, даже разрешив мне поездку в США и Италию, мне хотели выдать паспорт без такого разрешения — только на Италию. Нужна была еще одна трепка нервов и настойчивость, и паспорт стал, как у всех.

В этом же фильме кадры и разговор Андрея с главным врачом больницы — важный, серьезный. Реальные обстоятельства были таковы: мне лечили зубы, протезировали. Меня держали в зубном кабинете долго — более двух часов. Андрей, когда мы уже ехали домой, сказал мне удивленно, что все это время Обухов не был занят никем, кроме него, поил его чаем и вел умные разговоры. «О чем?» — спросила я. «О разоружении и новых предложениях Горбачева». — «Ишь ты, какой заинтересованный». И мы видим в фильме: милая беседа, Андрей пьет чай, он еще сильно исхудавший. Он говорит: «Мы говорим, они окружили нас базами». Не знаю, как это место перевели для телевидения, но в газете «Бильд» это место сделано так — Сахаров говорит: «Они окружили нас базами».

Следующий фильм был в конце марта 1986 года. Там опять очень важный разговор — опять о разоружении. Тот, кто задает вопрос, не показан (по голосу — это тот же Обухов), вопрос уже о мартовских предложениях Горбачева, а отвечающий Сахаров тот же — истощенный, после голодовки конца октября 1985 года. Пусть эксперты поставят рядом два телевизора и посмотрят кадры рядом. Это не Сахаров марта 1986 года. И так как это старый разговор, а новый — только вопрос, то и нет в кадре того, кто его задает.

И вот я слышу от друзей наших, от друзей Андрея, слова о том, что Андрей, оказывается, говорит нечто

для них неожиданное, — я спрашиваю: «Где он это говорит?». И в ответ: «Как где — да в последнем фильме». Но ведь это фильм, представленный Западу и, значит, всем нашим друзьям и недругам Виктором Луём. (Я не хочу кощунствовать с такой несимпатичной фамилией — да и плагиат будет, но как ее «склонить», как положено мужской, — не знаю. То ли я грамматику забыла, то ли она не мужская?)

Неужели наши друзья способны хоть на минуту поверить этим фильмам? Даже они забыли, что уже несколько лет назад, после писаний Яковлева, Андрей просил доверять только тем его текстам и высказываниям, которые подтверждены мной, моими детьми, Ефремом Янкелевичем. Нет, это удивительно — такое доверие. Это страшно.

В этом же фильме Сахаров с цветами входит в какой-то подъезд. Впечатление: нормальная жизнь, и человек идет, наверно, в гости. А на самом деле он входит в дом, где живет один, цветы он купил себе, подъезд снят в необычном ракурсе, и непохоже, что это дом, где живет Сахаров, только потому, что снято с крыши близкого одноэтажного здания почты. Я все это сказала, сидя в Ньютоне у телевизора, и спустя некоторое время получила подтверждения. Открытка от Андрея от 15 февраля: «А я справлял твой день рождения. Еще загодя купил ларчик и традиционные духи «Елена». Сегодня купил гвоздики, шесть красных и три розо-

вые». Но это все могу понять я. А посторонний? Он скажет: «Что вы мне говорите, что Сахарова никуда не пускают? Да я сам видел, как он шел в гости — с цветами». В фильме кадры: Сахаров на улице свободно говорит с каким-то мужчиной. Я знаю, что это вовсе не приятель Сахарова, это главный инженер станции техобслуживания. В телефонном разговоре Андрей удивленно сказал, что его вдруг вызвали (через милиционера) на станцию — они якобы что-то не так сделали при ремонте машины. Сам главный инженер вышел навстречу Андрею и жал ему руку. И повторный ремонт сделали бесплатно! Но, удивленный этим, мой муж не знает, что его снимают и будут демонстрировать всему миру, — он мне рассказывает об этом по телефону.

А зритель? Он думает, что мы говорим неправду о том, что нам запрещены всякие контакты, даже случайные — в магазине, на улице. Там же кадры: Сахаров гуляет с каким-то мужчиной — я знаю, что это физик из ФИАНа Д. А. Киржниц. И тут же открытка от 28 января, цитирую: «В понед. были Киржниц и Линде (физики зачастили)». И из телефонного разговора от 3 апреля (о другом визите): «... чисто формальный, утомительно». Из открытки от 17 декабря: «Приехала женщина от Обухова, звала к зубному». В фильме кадры: выходит из машины вместе с какой-то женщиной около парадных дверей больницы, но это я знаю, а зритель — нет.

И так вся жизнь, как под микроскопом, как будто лежишь на предметном стекле. И вот в открытке от 18 марта: «Сегодня приехала медсестра от Обухова, просила вернуть газеты, которые он так любезно дал мне неделю назад, они нужны для моей истории болезни. Немного смешно». Андрей ничего не знает ни о каких съемках скрытой камерой, но удивляется, видимо, и тому, что дают какие-то газеты и просят вернуть — и при чем здесь история болезни. И в телефонном разговоре 14 апреля удалось выяснить, что газеты эти были «Обсервер» и что Обухов пытался навязать Сахарову обсуждение напечатанного там письма президенту Академии Александрову, стараясь доказать, что в письме неправда. Вы только вдумайтесь в ситуацию: главный врач — начальник тех, кто мучил Сахарова, доказывает Сахарову, что это неправда.

Я жду — что будет в очередном фильме? В открытке от 11 февраля вдруг, видимо после очередного вызова к Обухову: «Обухов неожиданно предлагал санаторий, «чтобы закрепить результаты лечения» (какого? ха-ха!)». Значит, можно ждать, что в очередном фильме появится такой разговор. Неважно, что Обухов прекрасно знает, что в его больнице Сахарова не лечили. Он будет говорить эти слова! В будущем фильме!

В последнем фильме: Андрей в телефонной будке, разговор со мной, я задаю вопрос, знает ли он об интервью Горбачева газете «Юманите», где Горбачев говорит



и о нем. Андрей мне отвечает. В фильме нет моего вопроса, есть только ответ Сахарова, и получается для зрителя, который не знает, что осталось за кадром, что Сахаров сам себя считает правильно вывезенным в Горький и изолированным от всего мира. Такие кадры можно перечислять без конца. Я не могу, у меня нет на это сил. Я только могу просить не верить будущим фильмам, могу заранее сказать: мне страшно думать, что, вернувшись в Горький, я вместе с Андреем буду подвергнута, как и он, постоянному наблюдению камерой, что это ужасно — жить под всегдашним всевидящим оком телескрин.

В целом эти фильмы для меня — все подделка: это то, что выходит в мир из здания, названного Орвеллом «Министерство Правды». Каждый из них призван показать и доказать зрителю что-то конкретное — то, что нужно властям в данный момент: то Сахаров здоров, то он болен, то он не голодает, то он отдыхает, то он свободен, как все, то нет, то он свободно лечится, то его жена свободно едет за границу, то она здорова, и так далее.

Все эти фильмы вместе — это правда кадра, призванная доказать или подкрепить зрительным образом ту неправду, которая нужна в данный момент. В этом фильмы ничем не отличаются от заявлений ТАСС, Агентства печати Новости и просто специально распускаемых слухов. Пока я нахожусь в США, ТАСС и АПН успели сообщить миру, что я здорова и поехала

совсем не лечиться, а так — мир посмотреть и себя показать — и с меня совсем никто не брал никаких обещаний молчать. Прекрасно — значит, никто мне не может ничего сказать на тему о том, почему я пишу эти заметки, — ведь тогда ТАСС и АПН (или это был фильм — забыла) окажутся клеветниками. Потом — после сообщения об операции и необходимости сделать шесть шунтов — уже не писали, что я здорова. Но написали, что эти операции в Москве делаются запросто и я вполне могла бы дома сделать, притом бесплатно. Понятно — ведь писать про человека, перенесшего такую операцию, все-таки рискованно: могут подумать, что в больнице Масс-Дженерал под нож кладут здоровых людей, — будет некрасиво. Московский комментатор сказал (это из рассказа Андрюши мне по телефону), что я могу поехать снова лечиться, когда мне понадобится, и что на самом деле никто меня не держал — захотела и поехала.

А в это время в печати здесь на Западе появилось сообщение, что 18 мая мой муж будет обменен на множество каких-то шпионов, одновременно появились слухи, что я не собираюсь возвращаться. И уже наши друзья стали говорить: «Ну, почему бы и не обменять Сахарова, обменяли же Щаранского» (могу добавить, что раньше и Буковского, и Гинзбурга, и Мороза, и Винса, и Дымшица, и Кузнецова). Действительно — «почему бы и не Сахарова?». Стали говорить и такое:

«Ну, не затем же она приехала, чтобы возвращаться?» (это уже обо мне, и шести шунтов как не было). «Не затем же Сахаров голодал, чтобы она возвращалась?» Это же говорилось и в 1977 году, и в 1979-м, теперь снова. Скучно. Но интересно: среди многого, чем меня воспитывал мой следователь Г. П. Колесников, было и такое: «Ну как вас можно пустить на Запад лечиться, ведь вы там останетесь, а Андрей Дмитриевич будет переживать — это с его-то здоровьем». Что еще будут сообщать до моего отъезда обо мне, о моем муже? А на меня посыпались вопросы, как я отношусь к тому, что говорят, что я не вернусь. Отвечаю: я никак к этому не отношусь — это ко мне отношения не имеет. Ко мне имеет отношение следующее. Я приехала, чтобы увидеть маму, детей, внуков, чтобы получить необходимое мне лечение. Сахаров голодал именно за это. Я возвращаюсь в СССР в конце мая. Сообщение об обмене я считаю провокационным. Думаю, оно сделано в связи с тем, что 21 мая Андрею исполнится 65 лет. Сорвать или как-то скомкать приготовления к этому дню, которые ведутся многими людьми, организациями и правительствами во многих странах, — вот цель этого «сообщения». Поэтому дата в нем избрана очень близкая — 18 мая: дескать, пусть подождут, а уж потом за два дня никто ничего сделать не успеет<sup>1</sup>.

Я снова возвращаюсь к разговору о фильмах. Я буду говорить о нравственной и этической стороне их. Вер-

нее, об их безнравственности и нарушении этических норм — профессиональной врачебной и общечеловеческой. И тут-то в первую очередь о фильмах «медицинских».

Мы все — я говорю о людях на Западе и на Востоке — так или иначе общаемся с медициной, может, по сути своей, самой гуманной и нравственной областью человеческой деятельности. Среди зрителей, видевших фильмы, было, наверно, много врачей, и каждый из нас когда-то бывает пациентом. И я хочу задать всем один вопрос. Кто согласится стать пациентом доктора Евдокимовой и доктора Обухова, если доктор Евдокимова говорит: «Мы снимаем этот фильм во время обследования». Что означает ее «мы»? «Мы — врачи»? «Мы — КГБ»? «Мы — я и журналист Виктор Луи»? Кто согласен, чтобы без его ведома его снимали со спадающими штанами в униженной позе, подтягивающего брюки, открывающего рот, когда ему щупают железы под мышкой или заставляют подносить палец к носу и когда с ним обсуждают: как спите, каков стул и еще что-то? Униженность этих кадров, этих съемок такова, что хочется вобрать голову в плечи, закрыть глаза ладонями и не видеть, не слышать. Кто дал в современном мире право все это проделать с пациентом?

В течение 20 минут врач показывает своего пациента (выходящего из голодовки) жующим. Он жует свой завтрак, и настойчивый голос бубнит про калории. Он

жует обед, и тот же голос опять говорит о калориях; жует ужин — и тот же голос, и снова калории. Меняются даты календаря, опять — завтрак, обед, ужин; снова завтрак, обед, ужин. И ужас: что же это сделали с человеком? Он — жующая машина. Ужас — кто это сделал? Это сделали люди.

Не могу не вспомнить: мой внук, ему четыре года. Он в галерее Уффици, в тех залах, где распятия. «Мама, а кто Ему гвоздики в руки и ноги забил?» — «Люди». — «Люди? Это люди?» А то делают люди-врачи. Удивительно — но эти люди (по-моему, нелюди) ничего сделать не смогли, кроме монтажа кадров, кроме фильма. Андрей остался собой — да, постаревший, да, измученный, но преодолевший все эти мучения, запугивания, что «умереть вам не дадим, но инвалидом сделаем», вновь начавший голодовку, и победивший, и назвавший своих врачей «Менгеле нашего времени». Как же те, кому на Западе показывали этот фильм, не увидели всего этого, не увидели поразительной безнравственности этого фильма? Как врачи могли обсуждать, какой диагноз у пациента или на какой возраст пациент выглядит (статья в «Бильд»), и не понять главного: то, что делают врачи в фильме, недопустимо с точки зрения ни общечеловеческой, ни медицинской этики.

Я обращаюсь ко всем врачам, которые видели эти фильмы, с просьбой высказать свое отношение к ним именно с профессионально-нравственной стороны, от-

ветить на один вопрос: допустимо ли для врача так демонстрировать ничего не подозревающего пациента? Я прошу задать этот вопрос советским врачам, ученым, администраторам и политикам, с которыми вам придется общаться. Кто из них готов предстать перед глазами всего мира жующей машиной или со спадающими штанами? А неврачей я прошу ответить на вопрос: «Обратились бы вы к такому врачу, выбрали бы вы себе сами свободно такого врача?». Своими вопросами, своим ответом вы защитите не только моего мужа и меня, но и наше всеобщее доверие к профессии врача. Ни один человек не хочет и не может демонстрироваться миру как подопытный кролик или инфузория, лежащая на предметном стекле микроскопа.

Может, все это и без меня ясно и понятно любому человеку, и всего-то надо — быть человеком? Но знаю, что многим непонятно, а кому-то кажется, что я говорю общие слова. Но это не так. Это все для меня очень личное, интимное — это мы, мой муж и я. Кажется, мы оба здоровые психически люди, но я боюсь жить под телескрином, я ни за что не пойду в Горьком к врачам, я знаю, что они будут подставлять меня под камеру.

Мне заранее страшно при мысли, что я под этими камерами буду выходить на улицу, идти в магазин, на рынок, поправлять чулок, разговаривать с мужем или брать его за руку. Представьте себя на нашем месте. Будет ли вам уютно? Не станет ли вам сразу тяжело

жить? Никакая, даже психически сильная натура не защищена в таких обстоятельствах от срыва, депрессии, самоубийства.

Я уверена, что американцы за мир. Тут я совсем как американский турист, который приехал в СССР на неделю, — но только в том плане, что люблю делать выводы почти так же быстро, как он. Однако оснований, думаю, у меня чуть-чуть больше. Я здесь уже не неделю. Здесь живут мои дети и мои внуки, и уже поэтому у меня заинтересованность более глубинная, что ли. Все для такого туриста у нас по цене его долларов чрезвычайно дешево, все неплохо или, во всяком случае, не так плохо, как говорят «правые»: прекрасный городской транспорт, метро прямо как музей Метрополитен (даже начинаешь думать, что название «метро» прямым ходом от музея и произошло или наоборот — музей от подземки). Кормят хорошо, люди одеты хорошо. И у кого ни спросишь, «хотят ли русские войны?», — все говорят «нет». Исходя из этого «нет» такой американец строит свою теорию, в которой какой-нибудь российский доктор Спок найдется, чтобы сказать российским парням: «Не ходите, ребятки, на войну». Может, даже доктор Чазов это скажет: он же — «врачи за мир», и парни не пойдут. И любая война обернется для Советов Вьетнамом. Так все просто, и почти каждый непредвзятый турист, которого хорошо обслужили в гостинице, показали Москву, Ле-

нинград, может даже Киев, а в крайнем случае еще Бухару и Самарканд, — вернулся и говорит: «Русские не хотят войны. Все о'кей, а ракеты и прочее нам не нужны».

Тут я не знаю, что сказать: я не специалист — в отличие от школьников младших классов, которые ездят по миру с миссией мира и все могут объяснить и про ракеты, и про «все прочее». Я, как тот турист, некомпетентна, но утверждаю, что американцы не хотят войны. Американцы хотят дом. В зависимости от места на общественной лестнице, от заработка, капитала, наследства, выигрыша в лотерею или на бирже (для меня при моей необразованности это почти одно и то же, хотя я знаю, что на бирже чаще выигрывают — и чаще проигрывают! — чем в лотерею), именно дом; квартира — это паллиатив в любом городе. И только, может, в Нью-Йорке — квартиру. Но Нью-Йорк — это почти другая страна (почти и не США уже). Дорогой мэр Коч, вы прекрасный и добрый человек — и веселый, что для меня признак хороший, — вы не обидитесь, что я ваш город вроде как исключила из состава страны, — но он, и правда, другая страна, сам по себе, и люди нью-йоркцы — это почти как другая нация, другая сообщество людей. «I love New York» — написано на шарфе, который мне подарил мэр Коч, и это именно то, что я испытываю. Я правда люблю Нью-Йорк. Но мы об американцах и о доме. Они хотят дом и кусочек земли, на котором он стоит, и чтобы земля была вокруг дома. Все!



У одних этот дом — крошечка, почти игрушечный коттедж; и земли — только та, что в цветочных ящиках, у других не знаю, сколько чего: спален, ванн, земли.

Желание иметь дом — это в целом у нации, это не амбиция классов, высших, средних, средне-высших или низких по доходам, а одно из выражений сущности нации, ее стремления всегда сохранить свое privacy. Даже нью-йоркский бездомный, сидящий на решетке, закутанный в одеяло, оскорбится, если ты нарушишь его privacy. И дом — символ независимости, не материальной даже, а объединенной какой-то, душевно-физической. В американском отношении к дому (тут надо бы «дом» писать с большой буквы) и выражаются главные черты народа — «прайвеси» и «независимость». Но есть и третья черта этого отношения, она создает общность нации, в ней отношение к стране и мироощущение населения страны в целом. Равновесность первых двух, с одной стороны, и третьей — с другой создают гармоничность человека и народа.

Пожалуйста, не смейтесь надо мной — это я так восприняла, так мне показалось, а на самом деле, может, все и не так. Я буду говорить о третьей черте так, как это увидела я. Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость». Крепость — понятие не мирное; правда, и не агрессивное. Я не знаю, что про дом говорят другие европейцы. Слышала только у французов (и даже в одной знакомой семье — правда, только в одной — видела) ре-

акцию на неожиданный звонок в дверь: «Мы никого не ждем, мы не открываем дверь». Это тоже своего рода «прайвеси», только при полном отсутствии «Can I help you?», которое тоже черта американская — черта, свойственная большому, сильному подростку. Он от своего физического здоровья лишен всяких комплексов, что отнюдь не значит, что он дурак. И он всегда готов помочь, и часто его помощь принимают, но за это его же и не любят.

Так вернемся к третьей черте отношения к дому. У американцев она: «Мой дом — моя радость». И дальше: «Мой город, мой штат, моя страна — моя радость». В таком отношении американцев к дому нет никакой агрессивности и никакой замкнутости, оно открытое, и доброе, и заботливое и к дому, и ко всему, что за этим стоит, и к той земле, что в цветочных ящиках, и к газону, который бережно стригут и поливают, хотя его размер всего три квадратных метра — тоже мне земельное владение, и вообще к Земле, ко всему миру. Только вчера сын мне сказал, что по результатам какого-то опроса 43% американцев среди всех развлечений и упражнений на свежем воздухе на первое место ставят разведение цветов.

Американцы не хотят войны. Они хотят дом. Первая леди говорит (и это знает вся страна), что, когда президент уйдет на покой, они продадут дом, в котором жили до президентства, — дети выросли, дом для двоих

стал велик — и купят дом поменьше. Прекрасный план! И прекрасно, что вся страна его знает. Президент не хочет войны — он хочет новый дом.

Я тоже хочу дом. Сегодня я уезжаю с острова, который как венец надо всей моей прошлой жизнью: никогда не была в таком климате, рядом с такими пальмами — кокосы реально падают, — чтобы ступни ощущали такой песок, чтобы в двадцати шагах от меня плескалось такое теплое и такое тихое море. Я бы сказала «рай», но ведь человеку «рай» — это не климат, и не песок, и не море, и даже не райские яблоки (или груши — этот исторический спор до сих пор так и не решен) — это все еще не рай. «Рай» — это быть с дорогими и любимыми, быть спокойной за них. Сюда бы мне Андриюшу. Чтобы здесь, где-то в тени, около тех сладко-дремотно пахнущих олеандров, в качалке сидела мама и чтобы раз в неделю, сняв трубку телефона, услышать спокойные голоса детей. Оказывается, «рай» — это так просто, и, оказывается, «рай» для меня совсем-совсем недостижим.

Ну вот он — последний закат у моря. Я провела здесь пять дней. Они были как одно мгновение. И были они длинные, вмещающие работу — каждый день шесть страниц, долгие знойные часы на светлом горячем песке, и море — голубое, синее, бирюзовое. Заливчик маленький, — я, с моими большими ногами, и то в один день добрела до его левого мыса, а в другой — до право-

го, и в памяти так и останется эта дуга, ровная кромка леса, почти нет волн, и море не шумит, а едва-едва шепчет — лепечет — не знаю что, и боюсь впасть в сентиментальность (кажется, уже впаля). Но такое море в моей жизни в первый раз... такое спокойствие в нем. Может, и я тут стану — стала — чуть спокойнее. Спасибо, что меня сюда пригласили, что это оказалось так просто — дать мне эти пять дней: роздыха, работы и покоя. Может, эти дни помогут мне прийти в себя — не срываться постоянно в общении с близкими, понять, что ничего не могу ни изменить, ни исправить, не терзать ни свое сердце (и шесть шунтов могут не выдержать), ни сердца других — любимые сердца.

Одна старая и, казалось, совсем забытая история. Мы — студенты первого курса. Группа человек десять — сидим вокруг мраморного стола. Занятия идут так, что вначале мы читаем какой-то раздел по учебнику, а потом спорим и препарируем. Преподаватель (теперь я понимаю — она была молоденькая и хорошенькая, тогда казалась очень строгой) сказала: «Откройте учебник, сегодня — сердце». «Сердце? — переспросила я. — Это орган чувств?» — «У вас, Боннэр, это, может быть, орган чувств, а у всех — это орган кровообращения». Так вот я — своим оперированным органом чувств? кровообращения? — кроме всегдашних желаний, чтобы все были вместе, чтобы здоровы, чтобы не было войны, теперь еще хочу дом. Вокруг — земли совсем немного,

ровно столько, сколько бы мне хватило сил посадить цветы. Можно ли для ностальгии вырастить обыкновенный василек и обыкновенную ромашку и одну березку? Но, по правде говоря, где бы я ни ездила, везде есть все, и ностальгия — всегда чуточку игра. Мне не надо много спален — только нам, и маме, и одну для гостей (и еще одну я хотела бы — чтобы всегда для внуков), комнату, где можно было бы наконец привольно разместить книги и чтобы было где Андрею наводить беспорядок.

Бог ты мой, какие глупости я пишу. Я хочу дом! Это я-то, которой уже пора считать не дни, а часы своей свободы во всем, даже в праве вот так вольно, как сейчас, стучать на машинке — выстукивать все те недостижимые для меня глупости, как «я хочу дом».

А знаете, у меня — мне 63 года — никогда не было дома, что дома — просто своего угла. Вначале как у всех: детство, потом странное сиротство — папа и мама арестованы, и никто не знает, живы или нет, мы живем в одной комнате — бабушка, брат, сестра, я. За стеной (все слышно) жил человек по имени Федоров, там его жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, сидя на сундуке. Этот сундук до сих пор стоит в маминной комнате на Чкалова, и кто бывал у нас (журналисты, ученые, конгрессмены и сенаторы) тоже сиживали на нем. Федоров никогда не врвался к нам в комна-

ту — боялся моей бабушки; ее все боялись, кажется, кроме меня. Вообще-то я тоже боялась, но с ареста родителей я на всю жизнь запретила себе бояться чего бы то ни было. Потом армия. Пожалуй, было время, когда был немножко «мой дом» — мое купе в вагоне санпоезда, в котором я была старшей медсестрой. Война кончилась, и в моей комнате вместе со мной жили многие — мои подруги, вернувшиеся в Ленинград из эвакуации. Потом в коммунальной квартире, в одной комнате, жили мы — я, муж, двое детей, мама; часто у нас ночевали еще друзья. А всего в квартире жили 48 человек, уборная была одна, часто в нее стояла очередь. И дети должны были ходить со своим горшком — я боялась заразы, — а они из-за этого ссорились со мной: я явно нарушала их «прайвеси». Потом в Москве, в двух комнатах маминой квартиры, жили мама, я и дети, потом к нам пришел мой зять, потом пришел Сахаров. Пожалуй, впервые я хозяйка — где бы вы думали? — в ссылке в Горьком. Я не хочу этого. Я хочу дом.

У моей дочери есть дом в Массачусетсе, в Ньютоне. Мне так радостно думать, что у нее есть дом. Ее семью закрутили наши дела, наши горьковские ужасы и наши страдания, дети, заботы. Они забыли про свой дом. Мне очень хочется, чтобы они вернулись к заботам о нем. Он так много уже поработал для нашей семьи — в нем с приезда живет дочь с мужем и двое их детей, в него приехал и жил в нем мой сын, потом его жена, по-

том родилась их дочь. Совсем не по-американски в доме жили две семьи — почти коммунальная квартира, и почти третья семья тут же: приехала моя мама, и невозможность вернуться: «Куда?» — в Горький, в ссылку, это я сама своими руками тогда должна лишить ее свободы — держит ее тут уже почти шесть лет. А сколько эмигрантам этот дом стал первым домом на этой земле! Я хочу дом. Моя мечта — дом мой, для меня, для моей семьи, то есть для нас с мужем, — неосуществима, как неосуществим рай на земле. Но я хочу дом. Пусть не мне, а сыну, его семье. И реально хотим, собираемся его купить. И вдруг я узнала много нового. Надо, чтобы были хорошие школы, ведь внучке уже три года, и впереди школа. Надо хорошую экспертизу, и надо адвоката — есть друг, уже хорошо. Хочется, чтобы было какое-то подобие загорода: отпуск короткий, и пусть ребенок растет не в городском чаду. Хочется, чтобы было не очень далеко от работы: двое работают, машина одна. Хочется, чтобы был полный фундамент и подвал (я раньше про такую заботу и не слышала). Хочется три спальни, чтобы бабушка, моя мама, могла быть или хотя бы бывать с ними. Хочется в подвале комнату и ванну — для гостей. Хочется кабинет — Алешке-то хочется не только дом, но и место дома заниматься математикой. Хочется, чтобы у дома не было цены или чтобы она была поменьше. А она... ох! Хочется, хочется, хочется.

А вам не хочется под ручку пройтись?  
Мой милый, хочется, хочется, хочется...  
(Эдуард Багрицкий)

Больше всего даже не детям, а мне. И мне пора складывать чемодан. Еще не завтра, но очень скоро. Дети живут здесь, я — там. Я хочу дом. Я не хочу войны. Но и американцы хотят дом. Американцы не хотят войны.

Я пишу в гостинице, в Нью-Йорке, который сам по себе и город, и страна, и мир. Я на восьмом этаже. Комната угловая. Окно на 61-ю улицу, другое — на парк. В двух ракурсах, сходясь под углом, — панорама, к которой ничего не надо добавлять. На фоне голубизны неба серые (под солнцем светлее, в тени темней) силуэты высоких, прорезающих небо домов, линии, линии, линии. Кто может говорить, что Нью-Йорк некрасив? Когда Нью-Йорк наконец уберет свои черные лестницы с фасадов и сделает Гарлем не мусорным мешком, а зеленым городом, то объединенная нация черных и белых ньюйоркцев будет гордиться своим городом, может, самым особенным в мире, городом — олицетворением понятия «город».

А мне он — город из городов, уже готовый в наше будущее, только не надо разговоров апокалиптического свойства, у меня от них ощущение оскомины. Будущее будет, и, конечно же, нам, людям, станет мало только автомобилей, и с этих плоских крыш будут



взлетать всякие красно-желто-голубые и зеленые вертолетики, дельтапланчики и прочее индивидуально-летательное, и с каждого будет доноситься встречному: «Have a nice day!».

Какая разница, в июне или в другое время года встретятся Горбачев или Рейган, и какая разница, кто из них капризничает. Горбачев ли похож на девицу, которую приглашают поужинать, а она, надув губки, так это протяжно: «Не знаю, может быть, надо подумать, пожалуй, что и нет, — явно давая понять: — А меня и другой может пригласить, может, даже и получше, и вообще... Сколько заплатите?». Рейган ли девица, заявляющая: «Я или она. Сейчас или никогда». А может, все-таки оба они — кавалеры-мужчины, мужи? И тогда встрече, ужину, ланчу, взаимоулыбкам не стоит придавать столько значения. На эти мысли меня навела газета — 1 апреля 1986 года, — они мне вообще-то совсем лишние все трое: и газета, и два главы государств.

Я, наверно, один из самых необеспокоенных на Земле людей. Не беспокоенных теми проблемами, которые Рейган и Горбачев грозятся обсуждать или не обсуждать, если встретятся или не встретятся. Мне мой муж всего четыре месяца назад (Господи, я его не видел уже четыре месяца, и так хочется быть вместе) сказал: «Мир сейчас так далек от войны, как давно не был». Я ему верю и в этом смысле живу спокойно. Тем паче, мне хватает своих забот, своих волнений и своей беды

под завязку. Вот лучше я запомню на все отпущенное время, что сегодня я видела невероятное из окна этой комнаты. Я встала рано — едва после шести. Над деревьями парка чуть-чуть клубился дым проклевывающейся листвы, а трава еще даже не была зеленоватой. В ней был оттенок желтизны — оттенок начала травы, ее новорожденности. А сейчас 12 часов, и зеленый дым уже всюду над деревьями, и трава стала-таки зелененькой, нежно-нежно-зелененькой. Так быстро, всего за шесть часов, пришла весна. Господи, как хочется, чтобы все в этом мире было хорошо. Говорят, Нью-Йорк лучше всего весной. Я пошла в город.

Пришла пора принять самое главное, самое трудное за пять месяцев здешней жизни решение. Маме и всем нам. Маме о себе, мне о ней и всем нам вместе — тоже о ней.

Она приехала в гости к внукам. Мы надеялись, что положение моего мужа хоть как-то улучшится и она сможет вернуться. Теперь я понимаю нереальность этого — во всяком случае, в ближайшем будущем. Взять ее с собой сейчас назад в СССР означало бы, что она должна будет жить совсем одна в Москве без нашей помощи или жить вместе с нами в нашем заключении, в нашей изоляции, в нашей бесправии. Она уже однажды прошла советский лагерь и потом ссылку. Я не могу снова сама отправить ее в ссылку. Но очень трудно уже шесть лет быть в гостях, не имея собственной кварти-

ры, собственного пенсионного обеспечения и возможности медицинской помощи. Статус постоянного жителя США дал бы ей ощущение свободы и самостоятельности.

В ее положении есть некоторая трудность. С 1924 года она была членом КПСС. Это ее членство, конечно, прерывалось, пока она была в тюрьме, лагере и ссылке, но после реабилитации в 1954 году она была вновь восстановлена в рядах партии. Если бы она отказалась от этого, то она лишилась бы возможности получать свою персональную пенсию — 80 рублей. С мая 1980 года она находится в США, и ее членство в КПСС механически прервалось, фактически же она прекратила свою связь с партией с тех пор, как приняла в свой дом академика Сахарова.

Наверно, ей дадут статус постоянного жителя. Эта страна так широко распахивает двери своего дома, и я совсем не боюсь, что маме будет плохо. Но почему так щемит сердце и так трудно далось это решение и все время как-то по-детски кажется, что, может, мы еще не решили? Решили? Решили.

Я не заметила, как моя рукопись стала толстеть и все тоньше становится стопка чистой бумаги. Но я сказала еще не все, что хотела. Мне еще это предстоит — сегодня или завтра, во всяком случае скоро — надолго откладывать я не могу, ведь все, что я хочу сказать, я должна сказать до 2 июня. Это срок моей свободы говорить. Только ли говорить? Когда я приеха-

ла — нет, когда я прилетела, — мне казалось, что «у меня в запасе вечность».

Впереди у меня были четыре месяца. Я сама с самого начала отпустила себе столько, и в этом моем решении ОВИР не имел никакого значения. Еще в Шереметьеве я сказала друзьям: «Встречайте меня первого апреля». Это оказалось почти первоапрельской шуткой. И не потому, что я стала продлевать свое пребывание в США сразу не на месяц, а на целых три — уж больно грозна была операция. Но потому, что, я думаю, друзьям просто не придется меня встречать. Меня без них встретят другие, кому это поручат по службе. Если все же встретят друзья, то я буду обрадована, удивлена, поражена и готова просить прощения у тех, кого мое предположение обидело. Я же, со своей стороны, по возвращении хочу, чтобы передо мной извинился следователь Колесников. Он предполагал, что я не вернусь. Я вполне могу просить его «к барьеру». А всем друзьям и прочим людям прощаю их предположение, что я не вернусь.

Я возвращаюсь. Зачем? Я вовсе не тоскую по березкам — по дереву, магазину, кафе. Кстати, здесь в Бостоне милые киевляне Миша и Валя открыли свою «Березку». Ничего магазин, вкусный. Вполне удовлетворяет и гастрономическим потребностям выходцев из СССР (здесь все говорят «из России»), и их совсем не безумной ностальгии.

Про эмиграцию. Видишь многих, кому трудно: и близкие друзья наши, и чуть знакомые люди, и многие пожилые эмигранты иногда говорят о своих трудностях, жалуются. Но не было ни одного, кто бы хотел туда, назад. Это не значит, что я сомневаюсь в сообщениях советской печати о многих, кому на Западе жить невыносимо трудно и кто просит советское правительство разрешить вернуться. Конечно, есть такие, но мне не попадались. Зато многие говорят, что есть эмигрантский сон из категории самых страшных, когда человек переживает кошмар возвращения и просыпается в холодном поту. Мне такие еще не снились. Но ощущение сжимающейся шагреновой кожи, стука часов, отсчитывающих мое время, я ощущаю внутри себя все резче и резче.

Вечером сын и невестка едут к себе, и моя младшая, здесь родившаяся внучка говорит: «Давай поцелуемся». А я думаю: «Сколько еще таких вечеров?». Утром старшие идут в школу, говорят, что будут делать днем — то баскетбол, то урок русского языка. «Сколько раз утром при мне они уйдут в школу?» — уже колотится вопрос у меня где-то внутри. И как всегда, когда человеку страшно, подымается там, где-то в тебе, этот неопределенный и тревожный холодок. Скоро.

Уже прошло в пять раз больше дней и ночей здесь, чем мне их осталось. Уже мы знаем, что 23 мая мы ответили на прощание со всеми, кто захочет прийти или приехать со мной проститься.

Уже я составляю список, что купить. Уже Андрияша написал мне в своей открытке от 25 марта в шутку и всерьез задание в песенно-стиховом ладе: «Смилуйся, государыня рыбка! Купи мне домашние джинсы, старые-то совсем развалились. И еще просторную куртку, я из красной хожу не вылезая. И еще что Бог на душу положит, Он тебе дурного не подкинет». Уже я думаю, когда будет в последний раз Вашингтон, когда Нью-Йорк. Уже! уже! И почти не остается никаких «еще».

На днях в Нью-Йорке — мы ехали в такси, шофер сказал по-русски: «А я из Минска». Я за него ухватилась, стала расспрашивать, да так активно, что он сначала спросил: «А вы случайно не из ГБ?». Потом поверил, что нет, не оттуда, а к концу разговора вдруг: «А вы не жена Сахарова?». Ему понадобился получасовой нью-йоркский путь, чтобы признать меня, но рассказал он о себе много. Уже около пяти лет здесь, купил лицензию, платит за нее проценты в банк, скоро кончит выплачивать долг. Приехал без языка, теперь справляется (а мужику больше пятидесяти). Всю жизнь — там и здесь — за баранкой. Говорит: «Русский народ хороший, ах, какой хороший народ» (он, между прочим, еврей). Но «Америка страна — лучше не бывает. Все неправда, что нет работы, надо только захотеть, и помогут, и работа будет. А изобилие какое, а свобода». И под конец этой речи: «Ну, как

я мог, старый еврей из Минска, думать, что побываю и в Канаде, и во Флориде, и в Испании, и в Израиле». Так вот. Свобода.

Мы распрощались. Я приехала на ланч в газету «Нью-Йорк таймс». Ланч давал издатель. Это было очень красиво. Красивая комната, красивый стол, цветы. Теперь каюсь: узрев эту красоту, я забоялась, что ею и кончится дело — красотой и едой. Но, оказалось, я ошиблась: и красота была, и еда прекрасная, но, главное, разговор был серьезный. Это такое редкое явление в моей американской жизни, что меня ничуть не раздражало, что разговор шел за едой. Тут об Андрее знали, и пустых вопросов не было — все со смыслом. Но было чуть смешно — мне внутри. Снаружи я была вполне серьезна.

За столом нас было 12 человек — все кавалеры, дама одна я. Меня все время подмывало сказать, что я как Фурцева в политбюро. В довершение этого сходства (оно, конечно, только для меня) я вспомнила, как однажды видела Фурцеву совсем близко. Она открывала выставку в Доме писателей — выставялся впервые в СССР Рокуэлл Кент. И была она в серо-голубом костюме. Мне тогда до смерти захотелось такой же, но все эти годы как-то было не до костюмчика. А тут дети, Алешка с Лизой, мне на день рождения подарили — серо-голубой, совсем как у члена политбюро на том вернисаже. Нет, даже лучше.

Только меня все грызло воспоминание о том таксисте. «Свобода». Свобода идти куда хочу. Думать что хочу, я всегда свободна, но вот идти? Или не идти. Да, совсем как «быть или не быть». Ведь я все знаю, что меня ждет там, — я не о внешнем. Не о том, что надо ходить на отметки и после восьми вечера быть дома, не о том, что, кроме Андрея, ни с кем нельзя ни слова, что меня мутит от этого чужого и чуждого мне города. И две великие русские реки не спасают его для меня. Может, если б не в ссылку и без унижений, без тараканов, убегающих из писем, то и понравился бы, но — «насильно мил не будешь», и он мне не мил, ох как не мил.

И вот я имею свободу ехать или не ехать туда — свободу выбора. У меня, между прочим, уникальный для диссидента опыт со свободой выбора: я столько раз была за границей и ни разу не осталась. Каждый раз было так трудно возвращаться. Ведь на самом деле все наоборот: за граница — это там, и оттуда, бывает, не дозовешься, не докричишься и никто не услышит. Все разы, что я возвращалась (это началось с 1960 года), уже при пересечении границы и сразу за ней на душу падает такой тяжкий туман, такой мрак, что невозможно объяснить. Раньше всегда я возвращалась к полной, большой семье: и муж, и мама, и дети, — возвращалась в свой дом, домой, а все равно было тяжело, тяжело неопишимо. Это неизъяснимое чувство, что нет свободы «идти куда захочешь», сковывает, связывает тебя и душевно,



и физически. Только невероятными усилиями воли заставляешь себя снова учиться дышать без воздуха, делать свое рутинное, повседневное дело. Постепенно будни возвращают тебя к жизни, они лечат. Но это трудное лечение. И пережить, перенести это очень трудно. Мне с каждым разом становилось все трудней там за границей, за той границей. Уменьшалась семья, здесь оказалась дочь с детьми, потом сын, его старшая дочка, мама. Росла семья тут — приехала Лиза, родилась младшенькая. Все более пусто становилось там.

Теперь там нет дома — одни стены от некогда всеми нами любимого. Осталось — чужой город, чужая квартира, наполненная чужой казенной мебелью, неисчислимая свора охранников, как собаки на одной сворке. Да камеры, направленные на нас постоянно. И за всем этим Андрей — один, без меня грустящий, со мной счастливый и спокойный. Ладно. Как-нибудь переживем еще одну депрессию, как-нибудь справимся!

Помните, я писала о рождественском рассказе? Все у меня для него подходит. Болела, умирала. Андрюшка так мучился, и так его мучили. Все обошлось. Я приехала, меня лечили, трудно было очень, но отошло. Случилось чудо: то ходила с нитроглицерином в ладошке — по 25 в сутки; теперь бывают дни — вообще забываю, что такой есть. Увидела, обняла маму. Внуки прелестные. Дети — ну, за этим стоит тысяча проблем — как у всех: «маленькие детки спать не дают, большие — сам не ус-

нешь». Но это нормально, обыкновенно — свободный выбор: или спокойная жизнь, или дети. В общем, у меня есть все для рождественского рассказа.

Теперь нужен только счастливый конец, а я его не могу придумать. До этого места все писалось легко, просто, как домашний разговор на кухне. Я смотрю, что и американцы потихоньку из своих «ливинг-рум» и гостиных перебираются на кухню. Или еще нет? Тогда зачем же им большие кухни? Книга писалась легко, без какого-либо сопротивления, так просто, что, наверно, не стоит называть эти листки книгой. Сейчас даже жалко ставить точку, и жаль очень, что нет времени прибраться, достроить как-то. Надо просить за это прощения у читателя. Да еще надо просить прощения, что эта книга никак не диссидентская. Я всегда всем говорила: «Я не диссидент, я просто я». Надеюсь, теперь убедились?

Но где же взять счастливый конец? Может, он в том, что мы с Андрюшей остаемся вместе. И что там, за границей, которая нас отделяет от мира и всех вас, дорогие близкие, наша семья и друзья, мы остаемся свободными быть каждый самим собой.

Благодаренье Богу — ты свободен —  
В России, в Болдине, в карантине...

(Д. Самойлов)

Да, наверно, это и есть счастливый конец.

Я не хочу писать это послесловие<sup>1</sup>. Теперь, когда Андрея нет, меня вообще не интересует эта книга. Когда я ее писала, урывая время от общения с семьей, обязательного отдыха после операции на сердце и даже от писем Андрею, я писала ее для него. Так же как он в мое отсутствие всегда писал дневник для меня. И название моей книги тоже связано с Андреем, с его книгой «Воспоминания», на которой он поставил дату ее окончания — 15 февраля 1983 года. Я писала свой «Постскриптум» к ней.

Я хотела, чтобы книга понравилась Андрею. Хотела заработать деньги. Но больше всего я хотела, чтобы она была в помощь всем, кто боролся за то, чтобы Сахаров был свободен. Я точно знаю, что первые две задачи книга выполнила. Про третью судить трудней. Это как у врача: главное — «Не повреди». Не повредила.

Я не думала, что когда-нибудь эту книгу будут читать в Москве. У нее был совсем другой читательский адрес. И не дай Бог, чтобы она стала в ряд книг, которые я про себя называю «просветительскими». Потому что, если начистоту, то у нас ведь никого просвещать не

надо. Все всё знают. Если не знают, то догадываются. Мы страна очень опытных людей. И этот опыт научил большинство из нас жить, выбирая незнание. Чтобы выжить. Я говорю не о физическом выживании, а о минимальной толике душевного комфорта, без которого жизнь перестает ею быть, даже если жив. А когда кто-то в нашей стране живет по-другому, то это вызывает раздражение. У лучших хорошо скрываемое, глухое. У других клокочущее, рвущееся наружу, взрывающее личность.

Я знаю многих московских и ленинградских интеллигентов, у которых те, кого называли диссидентами, вызывали раздражение. «Они, может, и хорошие люди, но объективно их дела провокаторские» — это самое частое и далеко не самое черное обвинение. Сахаров тоже не избежал его. Менее известным диссидентам в строку ставились то развод, то любовь к разговору за рюмкой водки, то книга, которую взял у знакомого и не вернул, то стремление уехать из страны. Тогда говорили: «Хочет нажить себе имя». Андрея Дмитриевича тоже однажды заподозрили в стремлении уехать. А уж меня! Каждый мой отъезд за границу сопровождался охами, что вот она там останется, а он, бедный, будет переживать. Я всегда при этом вспоминала одного сотрудника то ли ОВИРа, то ли еще какого-то органа, который высказал мне ту же мысль. И до сих пор думаю, кто первый это придумал — он или будущие читатели

моей книги? Сколько было упреков за детей, когда на них посыпались угрозы! Один математический академик однажды даже сказал: «Андрей Дмитриевич, ну что вы так переживаете, ведь это не ваши дети».

Горький. Выигранный у властей голодовкой отъезд жены моего сына подбавил жару этим обсуждениям и осуждениям. А уж голодовки Андрея за мою поездку обдали таким холодным душем, от которого не знаю, как спаслись наши немногочисленные московско-ленинградские друзья. Эти пересуды, как волны от камешка, брошенного в воду, кругами расходились по стране и вдруг неожиданно отзывались откуда-нибудь из Сыктывкара, Иркутска или Нью-Йорка. Ну почему такой великий человек страдает то за какую-то девчонку? то за жену? И многим просто не приходило в голову, что потому и великий, что — человек.

Мне много лет думалось, что нам это все трын-трава. Но до той поры, пока были МЫ. А теперь — Я. И я с болью думаю о том, как все накапливалось и в какой-то момент перешло в иное качество, когда дополнилось топотом и захлопыванием в Кремлевском Дворце съездов. Удивительно даже само словесное несочетание слов «затапывание» и «дворец», а уж о внутреннем их противоречии не говорю. Теперь, когда Андрея Дмитриевича нет, я могу сказать соотечественникам — читателям этой книги, что я была против всех этих выборов, участия в Съезде и прочем. Считала, что как он был сам

по себе, так бы ему и быть — не одним из депутатов, не одним из членов Межрегиональной группы, не одним из членов «Московской трибуны», а просто Сахаровым. Но уговорить не смогла. Он говорил мне: «Люсенька, надо спасать страну!». И считал, что в новое время его участие во всех новых для нас формах общественного бытия важно и нужно.

Меня упрекают часто, что я не удержала Андрея Дмитриевича от голодовок. А от той жизни, которую он вел три года в Москве? Президиум: «Андрей Дмитриевич, это не возьмет много сил». А потом — Волга-Чограй, Минводхоз, безопасность энергетики. Придет домой. Я спрашиваю: «Как?» — «Все голосовали “за”, один я “против”» — самый частый ответ. «Мемориал»: «Андрей Дмитриевич, только ваше имя». А потом — то не получается с конференцией, то не дают разрешения на газету (звонит Медведеву, едет в ЦК), то кто-то перессорился. «Московская трибуна» — то же самое. Задумали одно, создали другое. Полуссора. И опять — Андрей Дмитриевич. А люди со всего Союза? А письма? Московская депутатская. Потом Межрегиональная. Не пропустил ни одного заседания группы, координационного совета.

Призыв к двухчасовой политической забастовке. Выступления академиков Гинзбурга и Гольданского на Межрегиональной, что это призыв к дезорганизации всей страны. Это в наших-то условиях, где каждое

профсоюзное собрание идет в рабочее время да еще подольше, чем два часа? И, конечно, забыто, что на Верховном Совете, когда обсуждался Закон о забастовках (поименованный стыдливо Законом о трудовых конфликтах), Сахаров говорил, что у трудящихся должно быть неотчуждаемое право на политическую забастовку. (Что-то такое говорил и Ленин.)

Придя 14 декабря с собрания Межрегиональной за час с небольшим до смерти, Андрей сказал о выступлении Гольданского: «Он прекрасно знает, что не прав. Знает, но все равно... — помолчал и потом задал вопрос, на который не ждал ответа: — Ты что думаешь — люди меняются? Тем более мои коллеги?».

Не голодовки были убийственны, а непонимание. И даже не перегрузки последних трех лет, а все оно же — непонимание. Однажды во время предвыборной кампании моя сестра пришла и рассказала, что у них агитируют за отца Глеба Якунина, говорят, что он соратник Сахарова. Андрей на это ответил: «Якунин — это хорошо. Но у меня один соратник, и та соратница — моя жена». Я тогда промолчала, хотя, конечно, на душе от его слов потеплело. На самом-то деле я была шофером, уборщицей, прачкой, машинисткой, редактором, секретарем и очень неплохой кухаркой. А была ли я соратницей, покажет время. Или, как говорят в Одессе, «это еще надо посмотреть». И книгу я писала не как соратница, а просто так. Для него. Андрею она

была нужна. А нужна ли советскому читателю — не знаю.

Странное послесловие я написала. Но и сама жизнь мне нынче кажется странной — без Андрея.

*23 февраля 1990 года*



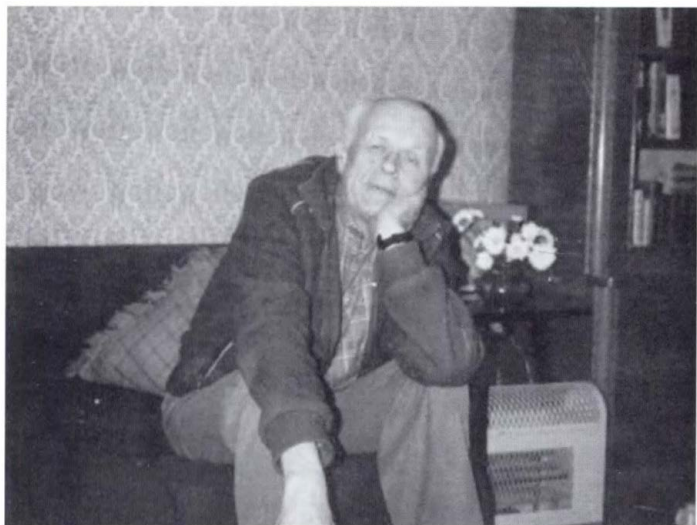




Чтоб никто не мог попасть в квартиру без разрешения КГБ



1984 год



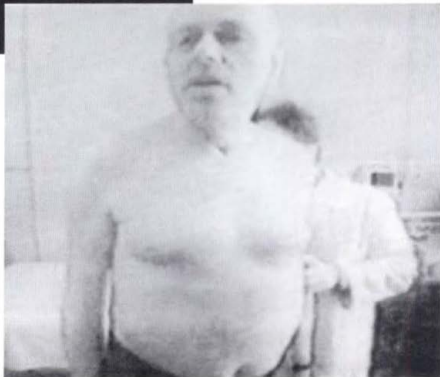
Ноябрь 1985 года



Второй слева во втором ряду — начальник военно-санитарного поезда 122 В. Е. Дорфман; в центре первого ряда — Елена Боннэр. Конец 1942 года (см. стр. 215)



1949 год (см. стр. 215)



Эти фотографии были тайно сделаны сотрудниками КГБ в 1984 году и проданы Виктором Луи западногерманской газете «Бильд»









25 октября 1985 года, через два дня после  
окончания голодовки



10 сентября 1984 года  
(см. стр. 187)



Работа над «Постскриптумом». США, 1986 год



Внучка Катя



Елена Георгиевна в кругу семьи. Слева направо: в нижнем ряду — внук Матвей, мать Руфь Григорьевна Боннэр и внучка Аня; в верхнем — зять Ефрем Янкелевич, дочь Таня, внучка Саша, сын Алеша и невестка Лиза. США, 1986 год.



Возвращение в Горький  
после поездки в США.  
3 июня 1986 года



024  
05520



Горький - Москва



В день возвращения из горьковской ссылки.  
Москва, Ярославский вокзал. 23 декабря 1986 года



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр с Алексеем Семеновым в день его приезда в Москву. Январь 1987 года



Андрей Сахаров и Елена Боннэр с Эдом Клайном и его супругой Джилл. Москва, февраль 1987 года



На пресс-конференции Форума. 15 февраля 1987 года





Встреча с Маргарет Тэтчер в посольстве Великобритании.  
31 марта 1987 года



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр с внуками Аней и Матвеем.  
Аэропорт «Шереметьево». 6 июня 1987 года



Руфь Григорьевна  
Боннэр. 20 декабря  
1987 года

И продукты покупать надо. Осень 1987 года



Сергей Ковалев, Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Лариса Богораз  
составляют список узников совести для передачи М. С. Горбачеву.  
14 января 1988 года



День рождения «Московской трибуны». Слева направо: Леонид Баткин, Лен Карпинский, Геннадий Жаворонков, Юрий Карякин, Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Юрий Афанасьев. Протвино (Московская обл.), август 1988 года



Андрей Сахаров в Нью-Йоркской Академии наук. Первый справа — ее президент Джозель Лейбовиц, второй справа — Сергей Ковалев.  
Ноябрь 1988 года



Беседа с Рональдом Рейганом в Белом доме. Ноябрь 1988 года



Андрей Сахаров и Эдвард Теллер. Вашингтон, ноябрь 1988 года



Андрей Сахаров с Татьяной Янкелевич. Ньютон, ноябрь 1988 года



Андрей Сахаров с членами комитета SOS (слева направо: Роберт Кан, Моррис Припстин, Филип Сигельман и Вильям Венцель; сидит Курт Готтфрид). Ньютон, 1 декабря 1988 года



В Армении после землетрясения 1988 года



На аэродроме в Ереване



Спитак (справа — вертолетчик)



А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр во Флоренции с мэром города  
Э. Габуджиани. 10 февраля 1989 года



Присуждение почетной степени доктора астрономии  
А. Д. Сахарову и доктора права — Е. Г. Боннэр.  
Оттавский университет. 15 февраля 1989 года



19 мая 1989 года А. Д. Сахаров посетил Сыктывкар



А. Д. Сахаров с Револьтом Пименовым



На трибуне I съезда народных депутатов СССР. Июнь 1989 года



В доме, в котором А. Д. Сахаров жил с августа 1971 года (за исключением семи горьковских лет), установлена мемориальная доска (скульптор — Даниэль Митлянский)





На Востряковском кладбище

# АНДРЕЙ САХАРОВ

ГОРЬКИЙ, МОСКВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ



## Предисловие

В конце декабря 1986 года я и моя жена получили возможность вернуться из Горького в Москву. Окончился семилетний период ссылки и изоляции. Одно из дел, которые мне предстояли, было участие в завершении работы над рукописью автобиографической книги «Воспоминания».

В начале 1984 года моя жена успела передать на Запад последнюю часть рукописи. «Воспоминания» охватывают мою жизнь начиная с детства и доведены до момента окончания работы над ними в Горьком в ноябре 1983 года.

Драматические события, произошедшие после этой даты, описаны Люсей в ее книге, опубликованной в 1986 году на многих языках (английское название «Alone Together») и на русском языке в конце 1988 года под авторским названием «Постскрипtum». Люся имела в виду, что ее книга как бы является добавлением к моим «Воспоминаниям».

В 1987 году (в Москве) и в 1989 году (в Ньютоне и Вествуде) я описал последний период пребывания в Горьком и события, произошедшие после нашего возвращения в Москву, доведя изложение до июня 1989 года, когда я в качестве депутата принял участие в Первом съезде народных депутатов СССР. Первоначально

я предполагал включить написанные главы в «Воспоминания». Затем решил издать их отдельной книгой<sup>1</sup>.

Я благодарен Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну и всем, принимавшим участие в подготовке книги к печати.

Люся была первым редактором книги.

## ГЛАВА 1

### Горький

В книге Люси описано ее задержание в Горьковском аэропорту 2 мая 1984 года; с этого дня и до конца октября 1985 года полностью прервалась та связь с внешним миром, которая осуществлялась ее поездками в Москву. В мае-июле 1984 года Люся находилась под следствием, 10 августа осуждена по статье 190<sup>1</sup> УК РСФСР. В мае 1984 года и начиная с 16 апреля 1985 года я проводил голодовки с требованием разрешить ей поездку за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения. В мае-сентябре 1984 года меня насильственно удерживали в Горьковской областной больнице им. Семашко, подвергали мучительному принудительному кормлению<sup>1</sup>. 21 апреля 1985 года я вновь с применением насилия был привезен в ту же больницу и подвергнут принудительному кормлению.

После этой краткой хроники продолжу менее концептивно.

11 июля 1985 года я, не выдержав пытки полной изоляцией от Люси, мыслей о ее одиночестве и физическом состоянии, написал главному врачу больницы им. Семашко О. А. Обухову письмо с заявлением о прекраще-

нии голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было «подарком» для ГБ, и, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Но почти сразу же я решил возобновить голодовку с тем, чтобы встретить Хельсинкскую годовщину уже в больнице и дальше продолжать борьбу, насколько хватит сил и воли. Две недели мы с Люсей вели обычную нашу жизнь: ездили по разрешенному нам маршруту, собирали грибы, ходили в кино и на рынок, смотрели по вечерам телевизор — вспоминая памятную по 50-м годам книгу Ремарка «Время жить и время умирать» — у нас было «время жить». Люся сначала возражала против моего плана, но не так решительно и энергично, как в апреле. 25 июля я начал второй (или третий — с учетом 1984 года) этап голодовки. Выпив слабительное, я вышел к Люсе на балкон, где она сидела в уголке за разросшимися цветами и пыталась «поймать» сквозь глушилку какое-то западное радио. Она сказала: «Я думаю, что ты прав». Я поцеловал ее и сказал: «Спасибо тебе. Я уже начал, выпил карлсбадскую».

Через два дня я был опять насильственно госпитализирован в больницу им. Семашко. Люся дала мне в больницу приемник, и через 2—3 дня я услышал о гебистском фильме, доказывающем, что у меня не было никакой голодовки и что с середины июля, по крайней мере, я нахожусь в своей квартире вместе с женой.

В последние дни июля я отослал из больницы два письма — на имя М. С. Горбачева и А. А. Громыко (я начал их писать за месяц до этого). В обоих письмах я просил дать возможность Люсе увидеть детей и мать после многих лет разлуки. Я писал о клевете в ее адрес, о несправедливом суде, о ее участии в Великой Отечественной войне, инвалидности и болезни. Целью поездки, как я писал в этих письмах, являются только встреча с близкими и лечение, никаких других целей она не имеет. Так как Люся осуждена к ссылке, поездка возможна только при отмене приговора, или при помиловании в соответствии с ее ходатайством от февраля 1985 года, или при приостановке действия приговора на время ее поездки. О себе в письме Горбачеву я писал, что считаю примененные ко мне меры несправедливыми и незаконными, но готов нести ответственность за свои действия; эта ответственность не должна распространяться на мою жену или на кого-либо еще.

Я в обоих письмах написал: «Я хочу прекратить свои открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев».

Я считал необходимым сделать это последнее заявление, за которое многие меня упрекали, по следующим причинам:

- 1) Оно полностью соответствовало моему желанию не выступать больше по относительно второстепенным общественным вопросам, сосредоточившись на науке



и личной жизни. Я считал, что имею право на такое самоограничение после многих лет интенсивных открытых общественных выступлений.

2) В условиях ссылки и изоляции возможности открытых выступлений у меня вообще были крайне ограничены, так что мое заявление в какой-то мере было бессодержательным.

3) Я считал своим долгом сделать все возможное для осуществления поездки Люси.

В обоих письмах я также написал, что признаю за властями компетенцию решать по их усмотрению вопрос о моем выезде и поездках за рубеж в связи с тем, что ранее я имел допуск к военным секретам и, возможно, какая-то часть имеющейся у меня информации сохранила свое значение.

Если мне не изменяет память, письма были отправлены 29 июля 1985 года.

В отличие от 1984 года, я нашел некую форму сосуществования с кормящей бригадой, дававшую мне возможность неограниченно продолжать голодовку. Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а последние несколько ложек ел добровольно (эти моменты использованы в гебистских киномонтажах). Если кормящая бригада приходила не в полном составе, я говорил: «Сегодня у вас ничего не получится». Они молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, к ней не притрагивался, а чтобы вид еды не беспоко-

ил меня, накрывал ее салфеткой. Иногда, чтобы подчеркнуть, что я хозяин положения, я сопротивлялся в полную силу, выплевывал пищу и «сдувал» ее из поднесенной ко рту ложки. В этом случае «кормящие» применяли болевые приемы (особенно в апреле и июне), кожа щек оказывалась содранной, а на внутренних сторонах щек возникали кровоподтеки, которые потом «заботливые» врачи мазали зеленкой.

В августе мой вес начал быстро падать и к 13 августа достиг минимального значения — 62 кг 800 г (при предголодовочном весе 78—81 кг). С этого дня мне стали делать подкожные (в бедра на обеих ногах) и внутривенные вливания в дополнение к принудительному питанию. Всего мне было сделано в августе и сентябре 25 вливаний. Каждое вливание длилось несколько часов, ноги болезненно раздувались; весь этот, а иногда и следующий день я не мог ходить — ноги не сгибались.

5 сентября утром неожиданно приехал представитель КГБ СССР С. И. Соколов. По-видимому, это один из начальников какого-то отдела КГБ, «курирующего» меня и Люсю. В ноябре 1973 года перед первым допросом Люси у Сыщикова Соколов «беседовал» с ней в увещательном тоне. В мае 1985 года он приезжал для бесед со мной и Люсей (по отдельности). Тогда Соколов говорил со мной очень жестко, по-видимому его цель была заставить меня прекратить голодовку, создав впечатление ее полной безнадежности. Я чуть

было не поддавался этому. На самом деле как раз в это время на Запад проникли сведения о начавшейся 16 апреля голодовке и, несмотря на интенсивную кампанию дезинформации, проводившуюся КГБ с помощью поддельных писем, открыток, телеграмм и фото-телеграмм, выступления в нашу защиту приобрели большой размах. Кажется, Соколов был одним из двух «посетителей», которых привел ко мне Обухов в ночь с 10 на 11 мая 1984 года. Якобы они интересовались моим здоровьем (я отказался с ними говорить). После этого визита утром 11 мая ко мне впервые применили принудительное кормление, у меня произошел тогда микроинсульт.

На этот раз (5 сентября 1985 года) Соколов с Люсей не захотел встретиться, а со мной был очень любезен, почти мягок. Разговор шел в присутствии Обухова. Соколов сказал: «Михаил Сергеевич (Горбачев) прочел ваше письмо (о Громыко упоминания не было. — А. С.). М. С. поручил группе товарищей (Соколов, кажется, сказал «комиссии». — А. С.) рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения вашей просьбы». На самом деле, я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси уже был решен на высоком уровне, но КГБ, преследуя свои цели, оттягивал исполнение решения. Мы неоднократно сталкивались с такой тактикой, например в июле 1975 года<sup>2</sup>; возможно, гибель Толи Марченко — тоже результат подобной «игры». «У товарищей, — продол-

жал Соколов, — возник ряд вопросов. Один из них связан с тем, что существует опасение, что ваша жена останется за рубежом и будет требовать вашего приезда в порядке «объединения семей». Вы должны подтвердить в письменной форме, что вы согласны с решением властей, запрещающих вам выезд по причине вашей секретности». Я ответил: «Эти опасения совершенно безосновательны. Моя жена никогда не станет «невозвращенкой». Она и я принципиально против таких действий! При этом моя жена абсолютно ясно понимает, что, если она останется там, мне никогда не будет дано разрешение на выезд, какие бы кампании на Западе ни развертывались. Я уже писал то, что вы просите, в письме Горбачеву, но, конечно, могу написать и отдельный документ». Соколов: «Второй вопрос относится к вашей жене. Она должна дать письменное обязательство не встречаться за рубежом с иностранными корреспондентами и не давать пресс-конференций». Я: «Вы должны это обсудить с нею. Вообще-то она уже писала в этом духе в своем прошении о помиловании, на которое нет ответа». Соколов: «Я не смогу встретиться с вашей женой. Но вы сможете сами переговорить с нею». Обращаясь к Обухову: «У вас нет медицинских возражений против того, чтобы Андрей Дмитриевич смог встретиться с Еленой Георгиевной?». Обухов поспешно: «Нет, нет! Я выделю для сопровождения медсестру и дам машину». Соколов: «Ну и прекрасно. У това-

рищей возник также такой вопрос. Вы пишете, что готовы отказаться от открытых выступлений, кроме исключительных случаев. Но ведь ваше представление о том, что такое «исключительный случай», может сильно отличаться от нашего! (Он как-то сыронизировал при этом, но очень неопределенно. —А. С.). Или ваша оговорка сделана просто для «спасения лица»? Я: «Моя оговорка носит принципиальный характер, я придаю ей большое значение. «Спасать лицо» мне нет необходимости. Но я не могу сказать вам конкретно, какие исключительные случаи могут возникнуть в жизни, в мире, когда я, по выражению Толстого, “не могу молчать”». Соколов усмехнулся, но не стал продолжать эту тему и еще раз повторил, что ждет документ от меня о секретности и документ от Люси. Около часу или двух дня на черной «Волге» Обухова я подъехал к дому и без звонка (ключ был в двери —Люся оставляла его, чтобы ГБ не надо было портить замок, открывая дверь без нас, и чтобы самой не потерять ключ) вошел в квартиру. Люся, сжавшись в комочек, сидела в кресле напротив телевизора и смотрела какую-то передачу (потом я разглядел, как она похудела). Люся обернулась в мою сторону и тихо сказала: «Андрей! Я ждала тебя!». Через минуту мы сидели обнявшись на диване, и я поспешно рассказывал ей, что не прекращал голодовки и отпущен на три часа, так как приехал Соколов, о его требованиях. Люся сразу сказала: «Ну, такие письма я быстро тебе напеча-

таю, это не проблема, но что все это значит?». Я ответил: «Я боюсь в это верить, не даю себе верить — но, может, вопрос решен». Люся: «Я тоже не даю себе верить». Она рассказала мне, что около недели перед этим Алеша начал голодовку в поддержку моих требований о Люсиной поездке на площади перед советским посольством в Вашингтоне. Насколько я помню, шел уже девятый день голодовки — мы с Люсей хорошо знали, как это тяжело (молодому человеку, вероятно, еще тяжелей, чем пожилым). Люся сказала: «Я все время думаю — если бы я послала Леше телеграмму с просьбой о прекращении голодовки, эта телеграмма, без сомнения, дошла бы, но на этом я потеряла бы сына». Я согласился с нею. Голодовка Алеши была очень важна в общей цепи усилий в нашу поддержку. Она прервала полосу общественной успокоенности на Западе по поводу нашего положения, возникшую после лживых гебистских фильмов. Алеша прекратил голодовку в середине сентября по просьбе представителей американского правительства после того, как Конгресс США принял очень серьезную резолюцию в нашу поддержку. Может, голодовка Алеши имела критическое значение. Никто этого не знает...

Я вернулся в больницу и переслал через Обухова Соколову конверт с нашими заявлениями. Опять начался длительный, мучительный период ожидания — может, самый трудный для нас обоих за этот год. 6 октября Люся отправила мне открытку, в которой была

условная фраза (стихотворная строчка из Пушкина), означавшая просьбу о прекращении голодовки и выходе из больницы. Как потом сказала Люся, она интуитивно считала, что мы сделали все от нас зависящее. Эта открытка была доставлена лишь через 12 дней, напротив условной фразы был сделан аккуратный надрыв. Почему ГБ задержало открытку, а потом все же доставило ее? Я могу только гадать. Возможно, они хотели, чтобы я вышел из больницы одновременно с получением разрешения на поездку (или даже после), рассчитывая, что Люся уедет, не побыв со мной. Если это так, то они еще раз ошиблись в Люсе. Получив с таким запозданием открытку, я запросил телеграммой подтверждение (оно было опять в виде цитаты из Пушкина). Наконец, 23 октября я вышел из больницы. Люся встретила меня фразой: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» — из «Фауста» Гёте, памятный для нас эпиграф к «Размышлениям».

За два дня до этого Люсю вызвали в ОВИР для заполнения документов, а 25-го нам сообщили, что Люсе разрешена поездка!

Оставалось еще одно «сражение». Начальник Горьковского ОВИРа Гусева и присутствовавший в кабинете представитель МВД заявили, что Люся должна уехать через 2 дня. Люся отказалась — она не могла уехать, не побыв со мной хотя бы месяц после 6 месяцев разлуки, не убедившись, что я оправился после голодов-

ки. Никто из нас не мог знать, «какая нам разлука предстоит»; Люсе предстояла, быть может, опасная операция. Возникла резкая перепалка. Представитель МВД — не помню его фамилии — угрожал, что Люся вообще не уедет. Люся написала заявление. А на следующий день Гусева сообщила, что разрешена отсрочка выезда на 1 месяц. Она явно была потрясена — видимо, ей никогда не приходилось иметь дело ни с такой уверенной твердостью, ни с такой «уступчивостью» начальства.

Итак, трехлетняя наша борьба за Люсину поездку завершилась победой (сейчас я думаю, что эта победа предопределила в какой-то мере и многое дальнейшее — в том числе наше возвращение в Москву через год). Впервые за долгое время у меня возникло ощущение психологического комфорта — я считал, что сделал все, что от меня зависело.

Правда, полного удовлетворения собой не было и тогда — меня мучила мысль, что в последние дни перед выходом из больницы я передал одному из больных записку на волю с просьбой отнести ее в Москве по указанному мною адресу и тем безответственно и без всякой пользы подвел его. Больной как раз выписывался и должен был на несколько дней поехать в Москву; он согласился взять мою записку и беспрепятственно вынес ее из больницы, но я почти уверен, что наши контакты были «засечены» бдительно наблюдавшими за



мной гебистами (фактически передача записки осуществлялась следующим образом: мы, разговаривая, на секунду вышли из поля наблюдения гебиста, и я незаметно сунул больному записку, но наше поведение вызвало, как мне кажется, подозрение гебиста, так как он — в отличие от некоторых других аналогичных моих попыток, иногда успешных, с другими расположенными ко мне больными — понял, что мы сознательно ускользнули от его взгляда).

Я не знаю, какие неприятности были потом у этого пытавшегося помочь мне человека — может, большие и длительные, вплоть до увольнения с работы. Я глубоко благодарен ему и чувствую себя перед ним очень виноватым. На всякий случай не называю его фамилии. Единственное мое оправдание: «На войне как на войне».

Что же касается ощущения, что я сделал все от меня зависящее, то его хватило ненадолго. Жизнь продолжалась!

Люся уехала в Москву 25 ноября. 2 декабря в Италии она увидела Алешу и Рему — они ее там встречали, а еще через 5 дней, 7 декабря, встретилась с остальными в США. 13 января 1986 года Люсе была произведена операция на открытом сердце с установкой 6 шунтов (байпассов). 2 июня Люся вернулась в СССР, 4 июня — в Горький. В этих нескольких строчках — потрясающие события нашей жизни.

В декабре 1985 года, вскоре после приезда, Люсе сделали в бостонском госпитале Масс-Дженерал трудное и относительно опасное исследование — зондирование сердечных сосудов, и, хотя результаты были далеко не хорошими, ее лечащий врач доктор Хаттер еще несколько недель пробовал, как это принято сейчас в США, применить консервативные методы лечения и лишь в январе, совместно с руководителем кардиологического отделения доктором Остином и кардиохирургом доктором Эйкинсом, назначил ей операцию шунтирования. За эти недели, однако, в прессе были напечатаны поспешные сообщения, что Елене Боннэр не требуется операция и даже что, «видимо, она умышленно завышала тяжесть своих заболеваний, чтобы добиться поездки за рубеж!» Как тут не вспомнить о «руке Москвы» (я пишу это вполне серьезно).

Операция была произведена в Масс-Дженерал доктором Эйкинсом. По данным зондирования врачи предполагали, что Люсе потребуется три-четыре байпасса, фактически потребовалось шесть, что означало большое усложнение и без того крайне тяжелой операции (в США немного людей с таким числом байпассов; есть ли они в СССР, где вообще очень редко делают шунтирование, я не знаю).

О том, что Люсе проведено шунтирование, мне сообщила по телефону Таня 14 января. Лишь постепенно, задним числом — из Люсиных писем, из ее рассказов по

приезде — я понял, какая это безумно тяжелая, хочется сказать, нечеловеческая и опасная операция — и тем не менее необходимая, спасительная.

Операция производится с глубокой гипотермией, с отключением сердца (у Люси длительность этой фазы была близка к предельной). Более полутора суток Люся находилась в бессознательном состоянии. Очень труден также — и физически, и психологически — послеоперационный период; у Люси он был осложнен перикардитом и плевритом.

Люсины тяжелые проблемы с болезнью ног (сужение бедренных артерий, возможно, инициированное ее контузией) остались неразрешенными, хотя ей делали операцию ангиопластики. Более кардинальная операция пересадки вен не могла быть осуществлена, так как одна вена бедра была использована для шунтирования, а другая может еще понадобиться для повторного шунтирования (страшно об этом даже подумать). До глаз дело вообще не дошло.

Почти каждого такая медицинская «программа», как у Люси в эти 6 месяцев, могла бы поглотить полностью. Люся же сделала многое другое.

Она написала целую книгу (на русском языке «Постскриптум», английские редакторы придумали название «Alone Together», русский перевод, по-видимому, «Одни вдвоем»; мы с Люсей сначала очень огорчались, но, говорят, для английского уха оно звучит хо-

рошо). Я уже писал, что Люся — не новичок в литературной работе. Она пишет быстро, по наитию, в «импровизаторском» стиле. Характерно, что обычно у нее лучшим является именно первый вариант фразы или даже целого рассказа (у меня так никогда не получается). По-видимому, то эмоциональное состояние, в котором находилась Люся, способствовало ее работе. По большинству известных мне отзывов — и зарубежных, и здешних — книга удалась.

Люся объехала почти все главные американские университеты, много выступала, встречалась со многими политическими деятелями. В особенности оказались важны ее выступления в Национальной Академии наук США и в Конгрессе США (последнее выступление кажется мне не только удачным по форме, но и концептуально существенным). Вся эта ее деятельность, возможно, была одним из факторов, способствовавших нашему освобождению в декабре 1986 года. В числе мыслей, которые она пыталась распространить, — следует сосредоточить усилия в мою защиту на прекращении депортации, а не на борьбе за выезд.

Годы, проведенные мной в Горьком, ознаменовались важными событиями в физике высоких энергий: возникла надежда, что теория так называемых «струн», разрабатывавшаяся ряд лет небольшой группой энтузиастов, может стать адекватным описанием всех

известных взаимодействий и полей, а может даже вообще описанием «всего на свете» — всех основных физических закономерностей (по-английски ТОЕ — Theory of Everything).

Следует отметить, что теория струн (так же как входящая в нее в качестве составной части концепция суперсимметрии) не имеет (пока?) экспериментального подтверждения, поэтому отношение к этой теории не вполне однозначно: некоторые вообще считают ее заблуждением, некоторые разрабатывают «на всякий случай» параллельные идейно близкие варианты («мембраны», теории типа Калуцы—Клейна, теории с высшими спинами и др. — не буду пояснять, что это такое). Я считаю, что теория струн является прообразом более хитроумной теории, а в самом лучшем (вполне вероятном) случае — правильной, адекватной теорией для большого (очень большого!) круга фактов. Что же касается ТОЕ, то я думаю (вероятно, тут лучше говорить о вере), что путь познания основных физических законов природы никогда не будет иметь конца, всегда каждая физическая теория будет иметь ограниченную область применимости, и выход за пределы этой области потребует обобщения основных понятий и основных идей. Так было до сих пор — впрочем, это само по себе еще ничего не доказывает.

Не буду рассказывать историю теории струн (хотя она удивительно интересна и драматична) и называть имена ее создателей, постараюсь лишь дать приблизи-

тельное представление об основной идее. В отличие от известной уже более 50 лет квантовой теории поля, в которой частицы считаются точечными, струна — *протяженный, а именно линейный объект*, хотя и очень малых размеров. Струны могут быть «открытыми» (нечто вроде маленького червячка) или замкнутыми (в виде колечка), эти формы превращаются друг в друга, струны также отпочковываются или сливаются друг с другом. Струны обладают свойством натяжения. Пространство же считается лишенным первичных динамических свойств и приобретает их лишь в результате взаимодействия со струнами. Т. е. теория струн является, на новом уровне, реализацией моей старой идеи об индуцированной гравитации! Не могу этим не гордиться. Непротиворечивая квантовая теория струн может быть сформулирована лишь в пространстве с большим числом измерений, чем известно из повседневной жизни и существующих экспериментов. Дополнительные измерения считаются замкнутыми сами на себя («компактифицированными»), образуя в каждой точке известного нам трехмерного пространства нечто вроде многомерной сферы или другой замкнутой поверхности. Чтобы представить себе это наглядно, используем «игрушечную», как говорят в США, модель — пространство с одним основным и одним компактифицированным в виде колечка измерением. Такое пространство будет представлять собой длинную тонкую

трубочку. Масштаб компактифицированного пространства в теории струн считается очень маленьким (порядка  $10^{-33}$  см —  $10^{-32}$  см). Для всех процессов с большим характерным масштабом компактифицированные измерения никак не будут проявляться (размеры атома порядка  $10^{-8}$  см, атомного ядра  $10^{-12}$  см, протона  $10^{-13}$  см; в опытах на самых больших современных ускорителях «прощупываются» масштабы порядка  $10^{-15}$ —  $10^{-18}$  см).

Я поставил своей задачей изучить теорию струн и примыкающие теории, а также изучить теоретические работы на стыке космологии и физики высоких энергий. Я не очень надеюсь на личный творческий успех, но понимать сущность того, что, возможно, является очередной революцией в физике — должен стремиться!!!

В декабре 1985-го — мае 1986 года я усиленно занимался этим; к сожалению, наличие серьезных пробелов в моих знаниях помешало мне достичь желаемой цели. Я старался в этот период не отвлекаться ни на что постороннее, в частности, совсем не слушал западного радио. Это привело меня к крупным промахам, о чем я пишу ниже.

Продолжу хронику моей жизни. Приезды физиков из Теоротдела ФИАНа, прервавшиеся в 1984—1985 годах, в декабре 1985-го — мае 1986 года вновь возобновились. В середине декабря приехали Е. Л. Фейнберг

и Е. С. Фрадкин — я узнал некоторые подробности о том, что происходило в Москве во время голодовки, и понял (но не принял) причину исчезновения одного из моих документов. Фрадкин оставил мне важные препринты работ по струне, его и Цейтлина. Второй приезд состоялся неожиданно для меня в конце января 1986 года. Были интересные научные беседы с Д. А. Киржницем и А. Д. Линде. В 21 час они собрались уезжать, я вышел проводить их к автобусу. На улице Линде отвел меня в сторону и сказал: «Во время инструктажа перед этой поездкой к вам меня спросили о ваших планах в случае, если вам будет разрешено вернуться в Москву. При этом они подчеркнули, что не решают подобных вопросов — это делается где-то наверху. Их интересовали два вопроса. Собираетесь ли вы заниматься в Москве МТР? И второе: вы писали, что предполагаете отказаться от открытых общественных выступлений. (Я: «Кроме исключительных случаев!».) Они спрашивают, останется ли это обязательство в силе при вашем возвращении в Москву». Мне было ясно, что с Линде говорили представители КГБ, поэтому я считал, что чем меньше я буду обещать, тем будет лучше. Я сказал: «Я не собираюсь заниматься МТР, хочу целиком сосредоточиться на теории поля и ранней космологии. Я не могу разбрасываться. МТР я не занимаюсь более 30 лет, там имеются прекрасные специалисты, создавшие целую новую область науки. Об открытых общественных



выступлениях. Мои обязательства были даны применительно к жизни в Горьком, в связи с проблемой поездки жены. При возвращении в Москву возникнет совершенно новая ситуация, на меня ляжет совсем другая общественная ответственность. Поэтому необходимо заново обсудить весь этот комплекс вопросов». Линде: «Могу я все это сказать, если меня спросят?». Я: «Да, но я подчеркиваю, что такие вопросы следует обсуждать без посредников, непосредственно. Обязательно передайте это».

Я не знаю, как повлияла эта откровенность с Линде (фактически с ГБ) на сроки нашего возвращения в Москву. Люся по приезде рассказала мне, что многие западные ученые, работающие в области термоядерного синтеза, отказываются сотрудничать с СССР, пока я нахожусь в Горьком и не могу принять участия в обсуждениях (в своих контактах на Западе она пропагандировала такую позицию). В какой-то мере моя беседа с Линде противоречила и мешала этой линии. В дальнейшем я счел необходимым уточнить свою позицию, выражая желание принять участие в обсуждениях по проблеме управляемого синтеза (но при этом не имелось в виду участие в конкретной работе, на что у меня нет ни времени, ни сил, ни знания всей совокупности проведенных за 30 лет исследований). В долгосрочном плане я не считаю свою позицию в разговоре с Линде ошибкой.

В феврале 1986 года я написал один из самых важных своих документов — письмо на имя М. С. Горбачева с призывом об освобождении узников совести<sup>3</sup>. Толчком явилось интервью Горбачева французской коммунистической газете «Юманите», опубликованное 8 февраля. В этом интервью Горбачев говорил о положении евреев в Советском Союзе, о деле Сахарова и — что в особенности привлекло мое внимание — о политзаключенных (то, что касалось меня и моей жены, конечно, тоже привлекло внимание, но тут я не считал необходимым отвечать). Горбачев заявлял, что в СССР нет политических заключенных и нет преследований за убеждения. В своем письме я, отправляясь от этого тезиса, детально показал, что арест и осуждение людей по статьям 70 и 190<sup>1</sup> Уголовного кодекса РСФСР фактически всегда являются преследованиями за убеждения, так же как, нередко, осуждение по «религиозным» статьям 142 и 227, заключение в психбольницу по политическим мотивам и использование с теми же целями фальсифицированных обвинений в уголовных преступлениях. Я кратко рассказал в качестве примера о деле и судьбе некоторых лично известных мне узников совести — всего я перечислил 14 человек (или 13 — имя одного из узников было в некоторых экземплярах по ошибке пропущено) — и призвал к безусловному освобождению всех узников совести. Первым среди названных мною был Толя Марченко. 19 февраля я отпра-

вил письмо адресату. 3 сентября по моей просьбе оно было опубликовано за рубежом (через 6 месяцев после даты извещения о доставке). Я предполагаю, что, возможно, начавшееся в первые месяцы 1987 года освобождение узников совести в какой-то мере было инициировано этим письмом — в условиях провозглашенной гласности и моего и Люсиного возвращения в Москву. Мне хотелось бы так думать.

26 апреля произошла ужасная катастрофа в Чернобыле. Я узнал об этом с большим запозданием из клочка газеты двухдневной давности с кратким (и неточным) сообщением ТАСС (вероятно, это было 6 мая).

В те дни я не только не слушал западного радио (таков был мой «режим» все 6 месяцев Люсиного отсутствия — я уже об этом писал), но и не читал регулярно газет. Я также не видел по телевидению первой пресс-конференции, на которой выступал Велихов и из которой можно было составить себе впечатление, отличное от того, какое складывалось из первых газетных сообщений.

К моему стыду, я усиленно поддерживал в себе ощущение, что ничего особенно ужасного не произошло. Я принял в качестве основной, определяющей количественной информации приводившиеся в начале мая в советской печати цифры радиационной зараженности (якобы 10—15 миллирентген в час) вблизи реактора в первые дни после аварии (!?). Других ко-

личественных данных не сообщалось. На основании этих цифр действительно складывалась относительно благоприятная картина. Правда, оставалось непонятным, отчего же погибли пожарные — об этом к середине месяца уже было известно. Я считал совершенно исключенной по приведенным цифрам возможность распространения существенных радиоактивных осадков на большой территории, подобно тому, как это имеет место при ядерных испытаниях, исключал сколько-нибудь серьезные экологические последствия и последствия для людей, вызванные непороговыми биологическими эффектами (дополнительные случаи рака и генетические повреждения). Все это было позорной ошибкой! Одной из причин ее явилось то, что опубликованные в советской прессе данные были (умышленно?) занижены в сто или более раз! Другой причиной было отсутствие у меня правильной информации. К сожалению, была и третья причина — известная предубежденность, инертность мышления, нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам.

21 мая на мой день рождения приехали физики из Москвы (В. Я. Файнберг и А. А. Цейтлин) и рассказали кое-что об аварии. Но в двухнедельный период до этого ГБ сумело полностью использовать мое заблуждение. Ко мне с 7 по 19 мая подходили на улице люди, якобы случайные прохожие, и расспрашивали о Чернобыле, и я (хотя и с оговорками о недостатке информации)

говорил им успокоительные вещи. Все это тайно записывалось, снималось на пленку и передавалось на Запад (уже без оговорок). ГБ записало и опубликовало на Западе сказанные мной 15 мая в телефонном разговоре с Люсей неумные слова: «Это — не катастрофа, это — авария!..». 20 мая, за день до приезда физиков, ко мне подошел человек, назвавшийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Разговор, первоначально не выглядевший как интервью, происходил около балкона — я поливал цветы на клумбе. Поводом для прихода корреспондента явилась моя (не подписанная) открытка, посланная в газету за несколько месяцев до этого, в которой я обращал внимание на какие-то неточности. Я опять говорил слишком успокоительно о Чернобыле и не очень удачно о проблемах разоружения — хотя в чем-то правильно и хорошо. Через несколько дней, схватившись за голову, я послал в редакцию «Горьковского рабочего» (т. е. в КГБ) письмо, в котором требовал либо опубликовать мое интервью с исправлениями, либо не публиковать вообще; в противном случае я угрожал непосредственным обращением к Западу; конечно, это было гласом в пустыне. Через неделю Виктор Луи (через немецкую газету «Бильд») передал на Запад препарированную и перемонтированную видеопленку с моим «интервью» и сообщил прессе свои (?) комментарии. Смысл их примерно такой: Сахаров находится на нашей стороне баррикады (!?); он не может

быть, однако, возвращен в Москву, так как у него плохая жена (плохо вела себя на Западе) — сразу по приезде в Москву она соберет пресс-конференцию!

2 июня Люся вернулась в СССР. Последнюю неделю своего пребывания на Западе она побывала в Англии и Франции, встречалась с премьер-министром Маргарет Тэтчер, с президентом Миттераном и премьером Жаком Шираком, продолжая ту же линию за мое возвращение в Москву, как в США (т. е. что следует добиваться моего возвращения в Москву, а не эмиграции).

В Москве прибытие Люсиного багажа задерживалось, и она решила поехать на 10 дней в Горький, повидать меня после полугодовой разлуки. Однако, как только она ступила на горьковскую землю, мышеловка захлопнулась, и больше она уже не смогла поехать в Москву до самого нашего освобождения в декабре. Уже на вокзале КГБ продемонстрировал свои неограниченные возможности, запретив носильщикам вынести Люсины вещи из вагона. Через несколько дней ее вызвали в ОВИР и потребовали сдать заграничный паспорт (который остался в Москве) и встать на учет ссыльной.

Люся многое рассказала мне в первые же часы нашей встречи: о детях, внуках и Руфи Григорьевне, об операции и других медицинских делах, о написанной ею книге, о выступлении в Конгрессе США, о многочисленных действиях с целью способствовать изменению моего положения. Она рассказала также о появившихся

ся на Западе гебистских фильмах (снимавшихся скрытой камерой на протяжении многих лет до голодовки, во время и после голодовки, в том числе на улице и в кабинетах д-ра О. А. Обухова и его жены, кардиолога д-ра А. А. Обуховой, на вокзале в Горьком, на почте и в других местах — дополнение 13). Во время наших телефонных разговоров в декабре—мае Люся неоднократно пыталась рассказать о фильмах, но каждый раз, как она затрагивала эту тему, связь прерывалась.

В высшей степени потрясли меня те новые для меня факты, которые Люся сообщила о Чернобыльской катастрофе. Она рассказала, что узнала о катастрофе, когда была на ежегодном собрании Национальной Академии наук США, т. е. гораздо раньше, чем появились первые сообщения в советской прессе. В США по телевизору показывались сделанные со спутника снимки, на которых был виден горящий реактор. Подъем уровня радиации был зарегистрирован во всех европейских странах. В первые дни после аварии Чехословакия, Швеция, Польша и Венгрия требовали от советских властей объяснения, что произошло в СССР, но долго не получали никакого ответа. В Польше населению выдавали содержащие йод таблетки, чтобы ускорить вывод радиоактивного изотопа йода (вставал вопрос: а что делали в СССР, где, конечно, радиоактивность была больше?). На Украине и в Белоруссии беременным женщинам советовали делать аборт! Все это было ужасно, в корне

меняло ту относительно благополучную картину, которую я составил себе и которая частично сохранялась в моем воображении даже после визита физиков.

Мне хотелось бы верить, что я сумел извлечь уроки из своей ошибки. Во всяком случае, последующие месяцы я много думал о том, как же я мог так ошибаться. Но еще важнее было решить, сначала для себя, что же вообще надо делать с ядерной энергетикой...

В июне доктор А. А. Обухова назначила мне прийти к ней на медосмотр. До этого я был у нее три раза, и, как я узнал от Люси и писал выше, все эти осмотры снимались скрытой камерой. Я послал такую телеграмму: «Я отказываюсь осмотров у вас мне отвратительны незаконные съемки скрытой камерой в вашем кабинете кабинете вашего мужа передачей фильмов всему миру такая кавычки медицина кавычки мне не нужна. Сахаров» и получил бесподобный ответ: «Мне искренне жаль Вас, академик. На Вашу благодарность, конечно, не рассчитываю. Профессор Обухова». Ни я, ни Люся не собирались больше обращаться к услугам горьковской медицины ни при каких обстоятельствах.

Жизнь наша после Люсиного приезда потекла своим чередом.

Люсин багаж привезли в Горький с полным нарушением всех формальных правил. Из пришедших вещей Люся собрала 15-20 посылок с подарками для родных и друзей, и мы разослали их по адресам. Ни-



какого общения с кем-либо у нас не было, почти как во время голодовки. Нашего друга Эмиля Шинберга, направлявшегося к нам (мы договорились встретиться в ресторане в определенный день и час), сняли с поезда на полпути. Ресторан же был полон гебистов. Единственным радостным исключением явилась встреча 15 августа с моим однокурсником Мишей Левиным и его женой Наташей. Они были в Горьком проездом и прошли перед нашими окнами. Я случайно вышел на балкон и, увидев их, выбежал на улицу. Потом мы провели с ними полдня, и ГБ нам не препятствовало. Но пытаться провести их в квартиру я не решился — их могли бы сразу схватить. Я глубоко благодарен Мише за эту и предыдущие встречи<sup>4</sup>.

Мы с Люсей часто ездили на машине в разрешенных узких пределах (как мы говорили — по «малому» или по «большому» кольцу; последнее включало небольшой участок Казанского шоссе и выезд к Волге), читали книги, смотрели по вечерам телевизор, а по утрам подолгу сидели за утренним чаем-кофе и болтали, выясняя спорные вопросы истории и литературы с помощью энциклопедического словаря. В общем оказалось, что мы хорошо выдерживаем испытание на психологическую совместимость в условиях изоляции от внешнего мира. Можно сказать, что мы были счастливы. Конечно, если бы еще у Люси было лучше с ногами, с сердцем, вообще со здоровьем!..

В отличие от прошлых лет мы могли регулярно разговаривать с детьми и Р. Г. по телефону. Еще для характеристики нашего парадоксального быта следует упомянуть, что раз в месяц Люся должна была являться в районное управление внутренних дел для отметки ссыльной. Мы отдали в МВД предписание доктора Хаттера, которое Люся привезла с собой из США, запрещающее ей выходить из дома — и тем самым являться на отметку — в холодную и ветреную погоду, но не успели узнать, принято ли по этому поводу какое-либо решение.

В начале октября я получил повестку с просьбой явиться в областную прокуратуру к зам. Генерального прокурора СССР Андрееву, как там было написано, «в связи с Вашим заявлением». Мы поняли, что речь идет о моем февральском письме Горбачеву об освобождении узников совести. Обсуждая предстоящую встречу, мы решили, что я должен попытаться передать с Андреевым (т. е. помимо Горьковского УКГБ) письмо Горбачеву с целью добиться моего освобождения из Горького. Я долго колебался, следует ли мне писать такое письмо или ждать, пока решение об освобождении «созреет» без моего участия. Меня также останавливало, что за год до этого я писал Горбачеву, что не имею других личных просьб, кроме поездки Люси (правда, за это время ситуация во многом изменилась). Я надеялся в ближайшие месяцы наконец спокойно заняться физикой и по-

нимал, что в Москве я долго не буду иметь такой возможности, что на нас лягут новые заботы, новая ответственность. Но я также чувствовал, что мое пребывание в Горьком или, наоборот, возвращение в Москву — это не только мое личное дело или наше с Люсей, а нечто, определяющее «стандарт» во всей проблеме прав человека в СССР. Одним из факторов, влиявших на меня, было чувство ответственности за неосторожный, как мне казалось, разговор с Линде, и я хотел кое-что уточнить. В конце концов я решил, что должен сделать все возможное для своего освобождения, прибавив свои усилия к усилиям столь многих людей, в расчете, что мое обращение, быть может, как-то повлияет на неизвестный нам баланс сил «там, наверху». Когда наше освобождение стало фактом, взаимосвязь моего освобождения с судьбами других людей, с правами человека и гласностью и трудности для меня и ответственность московской жизни проявились даже с большей силой, чем я мог то предполагать.

3 октября Люся отвезла меня на встречу с Андреевым. Она осталась ждать у кафе «Дружба» (в 1984 году, когда Люся ездила на допросы, она тоже оставляла там машину), а я пошел в прокуратуру.

Андреев действительно приехал по моему письму Горбачеву об узниках совести. «Ответом на письмо», однако, его сообщение назвать было трудно. Он сказал, что прокуратуре было поручено разобраться и что все

упомянутые мною лица осуждены совершенно законно (он упомянул также о проверке медицинских экспертиз, видимо в связи с психиатрическими делами). На все мои вопросы, которые я задавал с целью что-то конкретизировать или уточнить, он отвечал крайне расплывчато и неоднозначно. В частности, он так и не сказал, видел ли мое письмо Горбачев. Лишь в телефонном разговоре с М. С. Горбачевым я узнал, что на самом деле видел. Я упоминал в своих вопросах Марченко, но Андреев ушел от обсуждения. В конце часовой беседы я выразил неудовлетворенность его ответом, сказал, что по моему письму было необходимо общее *политическое* решение об освобождении всех узников совести, исправляющее несправедливость (я повторил заключительную формулировку письма). Андреев категорически отказался взять мое новое письмо, сказав, что он — не курьер.

В последующие недели я несколько переработал письмо и 23 октября отправил на имя Генерального секретаря<sup>5</sup>. Люся считала, что не следует торопиться отправлять письмо, что-то ей в нем не нравилось. Однако я, приняв решение, не видел необходимости откладывать его исполнение. Возможно, это мое письмо Горбачеву и не сыграло какой-либо роли в нашем освобождении<sup>6</sup>. Существуют слухи, что вопрос дебатировался уже с лета 1986 года, а может и раньше. Но нельзя исключить и обратное — что письмо явилось тем малень-

ким толчком, который вызывает лавину. Впрочем, я больше склоняюсь к первому предположению.

В своем письме я писал, что семь лет назад был без решения суда, т. е. незаконно, депортирован. Я не допускал нарушений закона и государственной тайны. Нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции, так же как моя жена. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия. Далее я писал о состоянии нашего здоровья. Я счел также необходимым написать: «Я повторяю свое обязательство прекратить открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Л. Толстого, не могу молчать».

Я повторил тем самым устную формулировку, содержащуюся в разговоре с Соколовым 5 сентября 1985 года. (Сейчас, оказавшись в Москве, я могу только мечтать о меньшем объеме общественной деятельности.) В конце письма я упомянул свои заслуги в прошлом, в том числе в заключении Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Я напомнил о своем письме об освобождении узников совести (что представлялось мне особенно важным!) и о работах вместе с И. Е. Таммом по МТР, выразив готовность принять участие в обсуждениях программ международного сотрудничества в этой области (исправляя тем свою оплошность с Линде). Письмо я окончил словами: «Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить

мою изоляцию и ссылку жены». Отправив письмо, я больше о нем не вспоминал в течение ближайших полутора месяцев.

Меня не переставали волновать вопросы ядерной энергетики, ее безопасности. Несомненно, человечество не может отказаться от использования ядерной энергии. Поэтому необходимо найти такие технические решения, которые обеспечивали бы полную ее безопасность, полностью исключали бы возможность катастрофы, подобной Чернобыльской. Таким решением, по моему убеждению, является размещение ядерных реакторов глубоко под землей. (Глубина должна быть выбрана так, чтобы при максимально возможной аварии не могло произойти выброса радиоактивных продуктов.) Конечно, размещение реакторов под землей увеличит стоимость строительства, но при современной землеройной технике это увеличение будет, как я думаю, приемлемым (как мне сейчас известно, конкретные проекты с подземным размещением реакторов существуют и дебатировались как вполне экономически конкурентоспособные в США, во Франции, кажется в Швейцарии, возможно и в других странах). Я считаю (эту мысль мне подсказала Люся в период подготовки к Форуму в феврале 1987 года), что *необходимо в законодательном порядке разрешить строительство новых реакторов только под землей — причем не толь-*

ко в рамках одной страны, но и в международном масштабе — ведь радиоактивные осадки не знают границ! Что касается старых реакторов, то их следует покрыть надежными защитными колпаками. Особенно важно в первую очередь обеспечить безопасность реакторов теплофикационных атомных станций, располагаемых обычно вблизи от больших городов (одна из таких станций строится на окраине Горького), реакторов с графитовым замедлителем, подобных по этому признаку чернобыльскому, реакторов-бридеров на быстрых нейтронах.

Другая проблема, которая меня в эти месяцы заинтересовала, — предполагаемая возможность существенно уменьшить катастрофические последствия землетрясений с помощью специально осуществляемых в сейсмически опасных районах подземных термоядерных взрывов. В настоящее время не существует способов точно предсказать момент землетрясения, что является одной из причин гибели людей. Можно, однако, предполагать, что достаточно мощный подземный термоядерный взрыв, произведенный вблизи предполагаемого эпицентра землетрясения в момент, когда напряжения в земной коре приближаются к критическому значению, может спровоцировать мгновенный или скорый (через несколько дней или недель) разлом блоков земной коры. Если это так (и если необходимые заряды не слишком велики), то человечество получит возмож-

ность управлять моментом землетрясения. Людей можно будет заранее эвакуировать, спасая их тем от гибели. Можно также вывезти некоторые материальные и культурные ценности. Конечно, взрыв должен быть произведен так, чтобы исключить выход радиоактивных продуктов (глубина порядка нескольких километров).

Возможно, что эта идея уже обсуждалась сейсмологами, но я не знаю, известны ли им технические и экономические возможности создания сверхмощных термоядерных зарядов (в 1961 году в СССР, как было опубликовано тогда, было произведено испытание 100-мегатонного заряда, и это, конечно, не предел). Кроме того, с течением времени прогресс в области сейсмологии может изменить оценки реальности предлагаемого метода управления моментом землетрясения и требуемой мощности взрыва.

В начале декабря я послал на имя президента АН СССР академика Г. И. Марчука письмо с изложением обеих идей и просьбой способствовать их обсуждению.

Вечером 9 декабря Люся, как всегда, крутила ручку приемника. Помехи (глушение) в этот день были очень сильными, и поймать что-либо было трудно. Как всегда в доме, мы пользовались наушниками, чтобы не привлекать внимания наших индивидуальных «глушителей». Один из сдвоенных наушников она протянула мне. Через треск в какой-то момент Люся и одновременно я услышали фамилию «Марченко». На мгнове-



ние нам показалось, что речь идет о том, что Толя Марченко освобожден. Дней за 10 до этого мы слышали, что Ларисе Богораз предложили заполнить анкеты на выезд в Израиль. Она ответила, что должна сначала поговорить с мужем (и стала добиваться свидания). Мы рассматривали предложение властей как признак того, что дело Марченко «сдвинулось», — Люся послала Ларе радостную открытку. С 4 августа Марченко держал голодовку в Чистопольской тюрьме, требуя облегчения участи политзаключенных и внимания к их судьбе, прекращения репрессий. Сам Толя был лишен свиданий 2 года 8 месяцев, много раз долгу находился в карцерах и ПКТ. Я хочу напомнить, что в перерыве между его предпоследним и последним заключениями ГБ неоднократно предлагало Марченко эмигрировать «в Израиль в порядке воссоединения семьи». Но он отказывался, не желая уезжать из страны, где он жил и сумел стать человеком (в высоком смысле этого слова), и не желая принимать участия в гебистских «играх» и обмане. После его отказа последовал арест<sup>7</sup>. Теперь, на грани гибели Толи, Ларисе предлагали то же самое.

Через несколько минут, однако, мы поняли, что речь идет не об освобождении. Ларисе Богораз сообщили, что ее муж умер. Она с сыновьями и невесткой в тот же вечер выехала в Чистополь. Ей не разрешили увезти тело мужа для похорон дома. Толю похоронили в Чисто-

поле. Почти никаких подробностей обстоятельств Толиной смерти и его последних дней ей не сообщили. Известно лишь, что он до вечера 8-го находился в камере. Подошел к двери и попросил врача. Его перевезли в больницу в безнадежном состоянии. На теле Толи во время похорон были видны следы побоев, возможно полученных при принудительном кормлении. Продолжал ли он голодовку до момента смерти или прекратил ее за несколько дней до этого, неизвестно. Непосредственная причина смерти — якобы инсульт. Толе было 48 лет.

Смерть Толи потрясла нас, так же как очень многих во всем мире. Это был героический финал удивительной жизни, трагической и счастливой. Сейчас мы понимаем, что это также финал целой эпохи правозащитного движения — у истоков которого стоял Марченко с его «Показаниями»!

В воскресенье мы с Люсей случайно включили телевизор днем — чего мы обычно не делаем. Показывали пьесу Радзинского «Лунин, или Смерть Жака» — о декабристе Лунине. Нас поразило совпадение основных линий в пьесе и в судьбе и трагедии Марченко. Лунин в камере перед смертью — он знает, что скоро придут убийцы, — вспоминает всю свою жизнь, сопоставляя ее с жизнью другого бунтаря из прочитанной им когда-то книжки. Он вспоминает, как Константин (брат царя) предлагал ему бежать, чтобы избежать ареста, а он не воспользовался предложением, и думает словами из

книги: «Хозяин думает, что раб всегда убегает» (если у него есть такая возможность). И далее: «Но всегда в Империи находится человек, который говорит: Нет! Это Лунин! И это — Марченко!»

Из моего дневника тех дней: «Все время мысли возвращаются к этой трагедии, ко всей его (Толи) жизни, к судьбе Лары и Павлика. Все время чувство вины (и у меня, и у Люси)».

По случаю Дня прав человека 10 декабря Люся (по призыву Эмнести) установила на окнах свечи — символ призыва к освобождению узников совести. На одном из окон свечей было три — в знак скорби по Толе (три свечи ставят на похоронах).

15 декабря исполнилось 25 лет со дня смерти папы. Вечером мы с Люсей, как обычно, смотрели телевизор, сидя рядом в креслах, Люся что-то штопала. В 10 или в 10.30 неожиданный звонок в дверь. Для почты слишком поздно, а больше никто к нам не ходит. Может, обыск? Это были два монтера-электрика, с ними гебист. «Приказано поставить вам телефон». (У нас возникла мысль, что это какая-то провокация; может, надо отказаться? Но мы промолчали.) Монтеры сделали «перекидку». Перед уходом гебист сказал: «Завтра около 10 вам позвонят».

Мы с Люсей строили всякие предположения, что бы это могло быть. Может, попытка взять интервью для газеты? До этого было две попытки: в сентябре письмо

из «Нового времени» и в начале ноября из «Литературной газеты» — предложение, переданное Гинзбургом в его письме. Я отказался, так как не хотел давать интервью в условиях, когда я никак не могу проконтролировать точность передачи моих слов, вообще не могу давать «интервью с петлей на шее» — это перифраз названия книги Фучика. В этот раз я также собирался отказать.

До 3 часов дня 16 декабря мы сидели, ждали звонка. Я уже собирался уйти из дома за хлебом. Далее — на основе записи из моего дневника, с некоторыми комментариями.

В три часа позвонили. Я взял трубку. Женский голос: «С вами будет говорить Михаил Сергеевич». — «Я слушаю». (Люсе: «Это Горбачев». Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный «клуб» около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». В коридоре замолчали.) «Здравствуйте, это говорит Горбачев». — «Здравствуйте, я вас слушаю». — «Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались». Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно, и без указаний, в какой инстанции. «Вы получите возможность вернуться в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет отменен. (Или он сказал — действие Указа будет прекращено. — А. С.). Принято также решение относительно Елены Боннэр. Я — резко: «Это моя жена!».

Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннэр (с ударением на последнем слоге), сколько, главным образом, на почувствованный мной оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! Горбачев: «Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам придет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам!». Я сказал: «Я благодарен вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении узников совести — людей, репрессированных за убеждения». Горбачев: «Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди». Я: «Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены!». Горбачев: «Я не могу с вами согласиться». Я: «Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это — осуществление справедливости. Это — необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний». Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно — не помню. Я: «Я еще раз вас благодарю! До свидания!». (Получилось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал

разговор. Видимо, я не выдержал напряжения разговора и боялся внутренне, что будет сказано что-то лишнее. Горбачеву не оставалось ничего другого, как тоже закончить разговор.) Горбачев: «До свидания»<sup>8</sup>.

Через три дня состоялась встреча с президентом АН Марчуком, о которой говорил Горбачев (не в квартире, а в Институте физики, куда меня привезли на директорской машине). Разговор происходил с глаза на глаз. Я впервые видел недавно избранного президента. Это был плотный мужчина среднего возраста, деловой, хваткий, типичный организатор науки новейшей формации. Марчук сказал: «Ваше письмо Михаилу Сергеевичу произвело на него большое впечатление. Я получил из Президиума Верховного Совета тексты указов по вашему делу». С этими словами он достал из нагрудного кармана пиджака помятую бумажку с рваными краями и прочитал (я на слух записал буквально, не исправляя синтаксиса: «1. Прекратить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о высылке Сахарова в административном порядке из Москвы. 2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании Боннэр Е. Г., освободив ее от дальнейшего отбывания наказания»). Марчук добавил, что тексты указов ему сообщили по телефону — он просит не ссылаться на него. Я заметил, что за неимением другой информации я буду вынужден ссылаться. Отвечая на мои вопросы, Марчук сказал, что он не знает даты указов

и что ему ничего не известно о возвращении мне наград (возвращение наград означало бы косвенное признание неправильности действий властей в отношении меня в 1980 году, но, видимо, до такого дело пока не дошло). В целом у меня осталось много неясностей, и среди них главная — да был ли вообще указ о моем выселении или решение было принято на уровне КГБ. Единственный указ, о существовании которого известно точно, — это о лишении меня наград.

Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвращение к активной научной работе, мою общественную позицию. «Я хотел бы понять ваше кредо в общественных делах. Вы обладаете большим авторитетом, к вашему мнению многие прислушиваются». Я ответил ему довольно развернуто — Марчук внимательно слушал. В некоторых пунктах он подчеркнул свое несогласие, в частности это касалось линии действий СССР в так называемых горячих точках (я сказал, что политика СССР иногда объективно является провоцирующей), проблемы Афганистана и принципа «пакета», связывающего соглашения по вопросам межконтинентальных и евrorакет с соглашением по СОИ. Я особо выразил свою заинтересованность в судьбе узников совести. Марчук сказал: «Учитывая, что вы поднимали этот вопрос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета следующее. Многие из интересовавших вас осужденных освобождены, или условно освобождены, или переведе-

ны на ссылку, некоторые получили разрешение на выезд за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел некоторых других лиц. Необходимым условием освобождения является, как мне сообщили, заявление об отказе от продолжения антиобщественной деятельности». Я резко возразил: «Это посягательство на свободу убеждений, ломка человека, это неправомерно и несправедливо». Марчук сказал: «Излишняя концентрация на негативных явлениях, которые сейчас изживаются, может привести к вашей изоляции в академической среде — это мнение многих академиков, с которыми я говорил». Он упомянул о предстоящем в Москве Форуме по проблемам разоружения — я обещал подумать о своем участии. Я также высказал мысль о целесообразности моей встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т. п. Заключительная часть беседы касалась моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал о желательности привлечения к работе в ФИАНе Б. Л. Альтшулера.

Вечером того же дня (19 декабря) на телевизионной пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию на ядерные испытания, замминистра Петровский, отвечая на (инспирированный, конечно) вопрос, сказал: «Некоторое время тому назад академик Сахаров обра-



тился с просьбой разрешить ему перебраться (!?) в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности в АН СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время находился вне Москвы. Одновременно принято решение о помиловании гражданки Боннэр Е. Г. Таким образом, Сахаров получает возможность вернуться к научной работе — теперь на московском направлении» (почти точная, на слух, запись телепередачи). Стиль бесподобен, так же как «фигуры умолчания»! Обращают на себя внимание ссылки на Академию и на длительность «нахождения вне Москвы» как на причину возвращения. Об указе в отношении меня — ни слова.

У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения счастья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кроме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, вызванное моим письмом М. С. Горбачеву от 23 октября, — хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не унижил и не взял на себя никаких юридических обязательств, ограничивающих свободу моих выступлений в важных вопросах, когда я «не могу молчать». Более того, я и по существу не обманывал Горбачева в отношении своих действий — я действительно хотел ограничиться только важными общественными делами. Тем не менее я очень хорошо понимаю узников совести, для которых нелегко написать в качестве условия освобождения, что они не будут заниматься «антиобщественной деятельностью» (многие не написали требуемого

и остались в заключении<sup>9</sup>). Но вскоре все мои «рефлексии» отошли на задний план — неумолимый поток «свободной» жизни захлестнул нас, требуя ежедневных усилий и готовности принять на себя новую ответственность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, чем 7 лет назад.

22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и оставив в квартире большую часть вещей, выехали из Горького. Впервые за семь лет мы с Люсей вдвоем сели в поезд — до этого я только провожал ее, пока и она не «застряла» вместе со мной.

## ГЛАВА 2

### Вновь Москва. Форум и принцип «пакета»

23-го утром мы вышли на перрон Ярославского вокзала, запруженного толпой корреспондентов всех стран мира (как потом оказалось, там были и советские). Около 40 минут я медленно продвигался к машине в этой толпе (Люся оказалась отрезанной от меня) — ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непрерывные беглые вопросы в подставляемые к моему рту микрофоны. Это неформальное интервью было прообразом многих последующих, а вся обстановка — как бы «моделью» или предвестником ожидающей нас беспокойной жизни. Я говорил об узниках совести, призывая к их освобождению и называя много имен, о необходимости вывода советских войск из Афганистана, о своем отношении к СОИ и к принципу «пакета» (ниже, в связи с Форумом, я объясню все это подробнее), о перестройке и гласности и о противоречивости и сложности этих процессов.

В конце декабря и в январе (с меньшей интенсивностью и в последующие месяцы) я давал интервью газетам, журналам и телекомпаниям Англии, Бельгии, Греции, Индии, Италии, Испании, Канады, Нидерландов,

Норвегии, Швеции, Финляндии, ФРГ, Югославии, Японии и других стран — по несколько раз в день. Особенно запомнилось телеинтервью с прямой трансляцией через спутник из студии «Останкино» — вся эта космическая супертехника, множество экранов с твоим странно-чужим лицом на фоне голубого неба и самое страшное — «черная дыра» телекамеры. В первой такой передаче переводчиком был Алик Гольдфарб — когда-то переводивший пресс-конференции на Чкалова. Сама возможность таких передач поражала — как примета нового времени «гласности».

На меня и на Люсю легла в эти первые месяцы почти непереносимая нагрузка — но делать нечего, приходилось тянуть... Наша жизнь в Москве. Подготовка в письменной форме ответов почти к каждому большому интервью, иначе я не умею, печатанье их Люсей. В доме непрерывно люди — а мы так хотим остаться вдвоем, у Люси заботы по кухне — и не на двоих, как в Горьком, а на целую ораву. В 2 часа ночи Люся с ее инфарктами и байпассами моет полы на лестничной клетке — в доме самообслуживание! — а я опять что-то спешно пишу на завтра. Кроме интервью, еще масса всяких дел: письмо Горбачеву, о котором я пишу ниже, предисловие к книге Марченко, напряженная работа подготовки к Форуму и люди, люди, люди — друзья, знакомые, просто желающие познакомиться, желающие уехать из страны, иностранцы, приехавшие в Мо-

скую и считающие своим долгом посетить Сахарова, послы всех европейских стран, посещающие Сахарова по поручению своих правительств, каждый день сумасшедшие, во время и после Форума — очень многие западные участники. Когда началось массовое освобождение политзаключенных, о чем я пишу ниже, Люся стала вести списки освобожденных, сообщая о новых освобожденных в агентства (естественно, сразу в два три), а также сообщая о запинках на этом пути. Инкоры же — или радиокомментаторы — многое перевирают, и вот уже вместо сообщения Люси о голодовке Микола Руденко с требованием ответить о судьбе забранного у него на обыске писательского архива мы слышим по западному радио, что академик Сахаров сообщил о голодовке Руденко с требованием эмиграции, а супруга лауреата заявила, что это дело якобы показывает обратную сторону политики кремлевских руководителей — слова, которых она не говорила и не могла сказать, это не ее стиль, мягко говоря. Подобная путаница почти каждый день, очень искажались мои высказывания по СОИ.

Таковы будни нашей жизни. Может, у меня мания величия, но мне хочется надеяться, что все же это не вовсе бесполезная суета и не игра в свои ворота, а оказывает — пусть с очень малым КПД — реальное воздействие на два ключевых дела: освобождение узников совести и сохранение мира и разоружение.

Итак, интервью первых месяцев... Во всех бесчисленных интервью декабря и января я постоянно повторял, что критерием глубины, подлинности и необратимости демократических преобразований в стране является полное освобождение узников совести, что противоречивость существующей ситуации разительно отражается в том, что люди, выступавшие за гласность, продолжают оставаться в заключении в эпоху гласности. Обычно я называл в своих интервью несколько (5-12) фамилий людей, дела которых были мне хорошо известны.

В середине января появились первые признаки того, что многие узники совести будут освобождены (интервью советского представителя в Вене и др.). Одновременно возникло опасение, что этот процесс будет далеко не таким, как мы все мечтали, — не полным и не безусловным освобождением. Я помнил также о своих беседах с прокурором Андреевым и Марчуком, они говорили о необходимости «отказа от антиобщественной деятельности».

Я решил написать М. С. Горбачеву еще одно письмо, в котором высказал свои мысли и опасения. В этом письме я, в частности, писал: «Без амнистии невозможен решающий нравственный поворот в нашей стране, который преодолет «инерцию страха» (я использовал название известной книги В. Турчина), инерцию равнодушия и двоемыслия. Конечно, только амнистии для

этого недостаточно. ... Я буду с Вами откровенен. Нельзя полностью передоверять это дело тем ведомствам, которые до сих пор осуществляли или санкционировали беззакония и несправедливость (КГБ, прокуратура, суд, органы МВД). ...Будет очень плохо, если все сведется к вымоганию покаяний и отказов от так называемой «антиобщественной деятельности», защите чести мундира упомянутых мною ведомств. ...Мне кажется целесообразным созыв специального совещания при ЦК КПСС по вопросам амнистии, возможно, с приглашением на него представителей движения за права человека в СССР, представителей творческой и научной интеллигенции» (я назвал несколько имен: Каллистратова С. В., Богораз Л. И., Гефтер М. Я., Ковалев С. А.).

Ответа на это письмо я не получил.

Между тем долгожданный процесс массового освобождения узников совести начался. Сейчас, когда я пишу эти строки (апрель 1987 года), освобождено около 160 человек. Много это или мало? По сравнению с тем, что происходило до сих пор (освобожденных и обмененных можно пересчитать по пальцам), по сравнению с самыми пылкими нашими мечтами — очень много, невероятно много. Но это только 20—35% общего числа узников. *(Добавление, ноябрь 1988 г.* Сейчас освобождено большинство известных узников совести. Лиц, известных мне по фамилиям, в заключении осталось лишь несколько человек. Но все еще многие не известные мне

узники совести находятся в психиатрических больницах и в заключении по неправомерным обвинениям — таким, как отказ верующих от службы в армии, незаконный переход границы, фальсифицированные уголовные обвинения и др.) Принципиально важно: это — НЕ безусловное освобождение узников совести, не амнистия. Тем более это — не реабилитация, которая подразумевает признание несправедливости осуждения<sup>1</sup>. Мои опасения оправдались. Судьба каждого из заключенных рассматривается индивидуально, причем от каждого власти требуют письменного заявления с отказом от якобы противозаконной деятельности. Т. е. люди должны «покупать» себе свободу, как бы (косвенно) признавая себя виновными (а ведь многие могли это сделать много раньше — на следствии и на суде — но отказались). То, что фактически часто можно было написать ничего не содержащую бумажку, существенно для данного лица, но не меняет дела в принципе. А совершившие несправедливое, противоправное действие власти полностью сохраняют «честь мундира». Официально все это называется помилованием. Никаких гарантий от повторения беззакония при таком освобождении не возникает, моральное и политическое значение смелого, на самом деле, шага властей в значительной степени теряется как внутри страны, так и в международном плане. Возможно, такая процедура есть результат компромисса в высших сферах



(скажем, Горбачева и КГБ, от поддержки которого многое зависит; а может, Горбачева просто обманули? или он сам не понимает чего-то?). Компромисс проявляется и на местах: как я писал, заключенные часто имеют некоторую свободу в выборе «условных» формулировок. Много лучше и легче от этого не становится. Но на большее в ближайшее время, видимо, рассчитывать не приходится.

В эти недели я, Люся, Софья Васильевна Каллистратова, разделяющая нашу оценку реальной ситуации, предприняли ряд усилий, чтобы разъяснить ее стоящим перед выбором заключенным, облегчить им этот выбор. Мы всей душой хотим свободы и счастья всем узникам совести. Широкое освобождение даже в таком урезанном виде имеет огромное значение. Наши инициативы, однако, далеко не всеми одобряться. Однажды, в первых числах февраля, к нам приехали Лариса Богораз и Боря Альтшулер. Произошел трудный, мучительный разговор. Нам пришлось выслушать обвинения в соглашательстве, толкании людей на капитуляцию, которая будет трагедией всей их дальнейшей жизни. В еще более острой форме те же обвинения были предъявлены Софье Васильевне. Очень тяжело слышать такое от глубоко уважаемых нами с Люсей людей, близких нам по взглядам и нравственной позиции. Но в той объективно непростой ситуации, в которой мы все оказались, возникновение подобных расхождений

неизбежно. Все же, мне кажется, эти расхождения носят временный характер, уже сейчас они несколько смягчились.

О некоторых событиях и встречах первых месяцев в Москве.

В первых числах января я дал интервью советской прессе, а именно «Литературной газете». Интервью, однако, не было напечатано. Произошло все это так. 30 декабря после семинара в ФИАНе ко мне подошли два корреспондента «Литературной газеты» — Олег Мороз (тот самый, которого мне «сватал» Виталий Лазаревич Гинзбург за два месяца до этого) и Юрий Рост, известный фотокорреспондент. Они попросили разрешения прийти домой и взять интервью. Подумав несколько минут, я согласился с условием, что мне будет предоставлен на подпись окончательный, согласованный со всеми инстанциями текст, возможно с некоторыми сокращениями и исправлениями. Если я найду их приемлемыми, я подпишу интервью и после этого оно уже без всяких изменений пойдет в печать, в противном же случае вообще ничего не должно публиковаться. Только такая форма ограждала меня от возможных искажений моей позиции. Мороз и Рост согласились и тут же дали мне бумажку с предварительными вопросами. В первый день нового года, когда все нормальные люди отдыхают после новогодней попойки, я усиленно работал над этими непростыми для меня вопросами, а Лю-

ся печатала и редактировала (как мы это обычно делаем). Вопросы были, в основном, те же, что и у инкоров, и мои ответы тоже были такие же (Афганистан, узники совести, принцип «пакета», ядерные испытания), но хотелось для дебюта в советской прессе быть особенно ясным и логичным.

Вечером 30 декабря мне предстоял телемомент, я спешил и согласился с предложением Роста и Мороза, что они подвезут меня в своей машине. Разговаривая между собой, они упомянули с уважением какого-то Яковлева и, обращаясь ко мне, заметили: «Не беспокойтесь, это не тот, которого вы, кажется, побили». Я подтвердил, что действительно побил. Эти молодые люди были в неслужебном общении, по-видимому, похожи на многих других известных мне московских интеллигентов — западное радио, во всяком случае, они регулярно слушали. Первый вариант интервью Мороз и Рост записали 3 января (задав несколько дополнительных вопросов), затем в течение января приходили еще два или три раза. Они сделали кое-какие приемлемые для меня изменения и сокращения и добавили еще три-четыре вопроса, в тексте которых содержалась полемика с моими наиболее острыми ответами. Мороз и Рост рассказали, что интервью одобрили редакторы отделов, но не одобрил главный редактор Чаковский, и теперь оно проходит все более и более высокие инстанции, дойдя до «предпоследней» ступени (намекалось, что это —

Лигачев, последняя — верхняя — ступень была бы Горбачев). При последней встрече они сказали, что публикация интервью откладывается на неопределенное время, во всяком случае до январского пленума, «на котором многое должно решиться». На самом деле интервью просто не было напечатано<sup>2</sup>. До такого уровня гласность не распространилась. А жаль. Появление моего интервью в советской прессе было бы крупным событием «перестройки» — с учетом того, что я в своих ответах не пошел ради «проходимости» по пути самоцензуры.

Хотя интервью и не пошло, но некоторый профит мы от него все же имели. Люся написала от моего имени, а я подписал, письмо корреспонденту «Литературной газеты» Аркадию Ваксбергу (пишущему на моральные и юридические темы) о деле арестованного незадолго до того в Киеве человека и попросила Роста и Мороза передать письмо адресату. Библиотекарь Проценко был арестован по обвинению в составлении и хранении рукописи религиозно-исторического содержания, суд вернул дело на дорасследование, но оставил Проценко в следственной тюрьме. Ваксберг (не ссылаясь на меня) обратил внимание прокурора на это нарушение<sup>3</sup>, Проценко был освобожден, а затем дело в отношении него было прекращено.

Одним из главных вопросов всех интервью с иностранными корреспондентами и с «Литгазетой» было

мое отношение к Горбачеву и к политике «перестройки». На самом деле, очень важно было выяснить все это прежде всего для самого себя, для нас с Люсей.

Еще в Горьком мы видели поразительные изменения в прессе, кино и телевидении. В той же «Литературной газете» в репортаже А. Ваксберга о пленуме Верховного суда можно было прочитать такие вещи, за «распространение» которых совсем недавно давались статьи 190<sup>1</sup> или 70, — в том числе документальная справка, согласно которой на семидесяти процентах поступивших в Прокуратуру ходатайств о пересмотре судебного дела, получивших стандартную резолюцию «Оснований для пересмотра нет», отсутствует пометка о том, что дело затребовано — т. е. ответы Прокуратуры просто штамповались, или дело о 14 людях, сознавшихся в убийстве, осужденных и казненных, которые потом оказались полностью непричастными к преступлению, — т. е. их показания явно были даны в результате избиений или других пыток. Гласность действительно захватывает все новые области, и это производит сильнейшее впечатление, обнадеживает! Наибольшее развитие гласность получила в журналистике. Но опубликование какого-либо материала, информации или идеи не означает, что последуют реальные действия (сейчас еще в большей степени, чем в прежний период). Следует также сказать, что наиболее продвинутая область перестройки — гласность — тоже все еще имеет неко-

торые темы, остающиеся под запретом, такие как изложение неофициозных точек зрения в международной политике, критика крупных партийных руководителей — а министров уже можно! — большая часть статистических данных, судьба узников совести и др. (Добавление, декабрь 1988 г. Сейчас в ряде отношений гласность еще больше расширилась. Но одновременно появились новые принципиально важные ее ограничения. Большое беспокойство вызывает неполное и одностороннее освещение драматических событий в Азербайджане и Армении и некоторых других особо острых вопросов. Тут гласность, к сожалению, «буксует» — как раз в тех случаях, когда ее общественное значение могло бы быть особенно велико. В 1988 году повсеместно имели место ограничения в подписке на «перестроечные» издания, по-видимому в результате какого-то компромисса с антиперестроечными силами; сейчас острота этой проблемы несколько снизилась.) Наряду с гласностью чрезвычайно важны другие аспекты новой политики: в социальной области, в экономике — повышение самостоятельности предприятий, в децентрализации управления, в укреплении роли местных советских органов (которые сейчас оттеснены на задний план партийными органами). (Добавление, июль 1988 г. В июне состоялся пленум ЦК КПСС, специально посвященный реформе экономики — переходу на полный хозрасчет с отменой цент-

рального планирования и лимитного — т. е. по определенным из центра лимитам — снабжения.)

Решения по этим вопросам, исполнение которых должно, конечно, проводиться постепенно, имеют огромное, принципиальное значение. Особенную роль играют намечающиеся изменения системы выдвижения кадров и выборов на партийные, советские и хозяйственные руководящие должности (доклад Горбачева на январском пленуме, его идеи пока не отражены в каких-либо решениях). На январском пленуме говорилось о планах реформы Уголовного кодекса и другого законодательства. Новое также есть в международной политике — я потом буду говорить об этом подробнее. В целом следует сказать, что реальных, а не словесных проявлений новой политики все еще мало. В них еще сильнее, чем в области гласности, проявилась известная незавершенность, половинчатость, даже определенная противоречивость политики. Например, важный закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД) сформулирован очень робко, неопределенно, в нем совершенно не предусмотрены меры активного стимулирования, очень ограничен круг лиц, которые могут заниматься ИТД, много других ограничений. Почти одновременно с законом о ИТД принят другой закон — о так называемых нетрудовых доходах, фактически, вопреки названию, дающий возможность преследовать именно за ИТД. В первые месяцы после принятия зако-

на о нетрудовых доходах было множество случаев абсолютно нелепого его применения. О противоречивости и неполноте процесса освобождения узников совести я уже писал — это меня особенно беспокоит. Одновременно с принятием закона о кооперации Министерство финансов установило столь высокий уровень налогов (до 90% дохода), что фактически это сделало развитие кооперации невозможным. Важнейший закон о государственном предприятии не содержит четких гарантий самостоятельности предприятий в планировании и в финансовой области (в особенности, в использовании дохода). Что я безоговорочно поддерживаю — это борьбу с пьянством, этим жестоким бедствием нашего народа. Жизнь, однако, выявила, что и здесь было много непродуманного.

Какова же моя общая оценка? В 1985 году, слушая в больнице им. Семашко одно из первых выступлений Горбачева по телевизору, я сказал моим соседям по палате (гебистам — больше я ни с кем не мог тогда общаться): «Похоже, что нашей стране повезло — у нее появился умный руководитель». Я рассказал об этой своей оценке в декабрьском интервью-телемосте из студии в Останкино — она отражает мою первую реакцию, в основном сохранившуюся с тех пор. Мне кажется, что Горбачев (как и Хрущев) — действительно незаурядный человек в том смысле, что он смог перейти невидимую грань «запретов», существующих в той



среде, в которой протекала большая часть его карьеры. Чем же объяснить непоследовательность, половинчатость «новой политики»? Главная причина, как я думаю, в общей инерционности гигантской системы, в пассивном и активном сопротивлении бесчисленной армии бюрократических и идеологических болтунов — ведь при реальной «перестройке» большинство из них окажется не у дел. Горбачев в некоторых своих выступлениях говорил об этом бюрократическом сопротивлении — это звучало почти как крик о помощи. Но дело даже глубже. Старая система, при всех своих недостатках, работала. При переходе к новой системе неизбежны «переходные трудности» (из-за недостатка опыта работы по-новому, отсутствия кадров руководителей нового типа). И вообще: старая система создавала психологический комфорт, гарантированный, хотя и низкий, уровень жизни, а новая — кто знает! И последнее — не могу исключить, что и Горбачев, и его ближайшие сторонники сами еще не полностью свободны от предрассудков и догм той системы, которую они хотят перестроить.

(Добавление 1988 г. Перестройка сложившейся в нашей стране административно-командной структуры экономики крайне сложна. Без развития рыночных отношений и элементов конкуренции неизбежно возникновение опасных диспропорций, инфляция и другие негативные явления. Фактически наша страна уже ис-

пытывает экономические трудности. Повсеместно ухудшилось снабжение населения продовольствием и промышленными товарами первой необходимости. У меня особое беспокойство вызывают «зигзаги» на пути демократизации. Создается впечатление, что Горбачев пытается овладеть контролем над политической ситуацией путем компромиссов с антиперестроечными силами, а также укрепляя свою личную власть недемократическими реформами политической системы. И то, и другое чрезвычайно опасно! Демократизация невозможна без широкой общенародной инициативы. Но «верха» оказались к этому не готовы. Отражением этого явились, в частности, антиконституционные законы, направленные против свободы митингов и демонстраций. Все это вызывает у меня большую насто-роженность!).

Таким образом, ситуация необычайно запутана и противоречива. Главная надежда — на постепенную смену всех кадров, на объективную необходимость «перестройки» для страны — ради преодоления застоя, на то, что «новое всегда побеждает старое» — знаменитые слова Сталина, их хорошо нам вдолбили в годы молодости.

В руках Горбачева четыре основных рычага: гласность (тут дело запущено и начинает уже раскручиваться самоходом), новая кадровая политика, новая международная политика с целью ослабления пресса

гонки вооружений, общая демократизация. Во всех своих интервью на Запад в 1987 году и для «Литературы» я говорил, с разной степенью подробности и детализации, в духе этих мыслей. Кроме уже упомянутых телемостов (два с США, с Канадой и с ФРГ) мне особенно памятни хорошо получившееся интервью по телефону корреспонденту «Голоса Америки» Зоре Сафир, подробное интервью для итальянского телевидения по поводу выступления Горбачева на январском пленуме ЦК КПСС и интервью журналу «Шпигель». К последнему я также написал небольшое добавление в связи с неточностями в интервью Роя Медведева тому же журналу. В этом добавлении я сам, однако, допустил неточность. Дискутируя с Медведевым, я написал, что академик П. Л. Капица никогда не выступал в мою защиту во время ссылки в Горький. Мне передали со слов жены Петра Леонидовича, что им были написаны большое письмо на имя Андропова и телеграмма на имя Брежнева. Я ничего не знал до последнего времени об этих попытках П. Л. Капицы. Подробнее я пишу об этом в «Воспоминаниях», глава 21.

Моя позиция в отношении «перестройки» не всеми принимается, в том числе в диссидентских кругах здесь и в эмигрантских на Западе. В одной из издающихся в США на русском языке газет появилась статья под примечательным заголовком: «Прощенный раб помога-

ет своему хозяину» (этот образ, видимо, возник в результате моего рассказа о пьесе Радзинского, о которой я писал выше, правда автор статьи ухитрился перепутать Лунина с Лениным). Больше огорчила меня переданная на Запад статья Мальвы Ланда — об этом мужественном и честном человеке я не раз писал в книге «Воспоминания». Грустно, но что поделаешь! Надеюсь, что и это недоразумение разрешится, как и описанное выше с Ларой и Борей.

Как я уже писал, в первые месяцы после возвращения из Горького нас посетили послы большинства западных стран. Принимали мы их, так же как других гостей, в комнате Руфи Григорьевны (самой просторной в квартире, но сильно нуждавшейся в ремонте после семи лет безнадзорности). Люся устраивала вполне приличный, на мой взгляд, чай-кофе с печеньем.

Очень интересной и содержательной была встреча с группой государственных деятелей США — с Киссинджером, Киркпатрик, Вэнсом, Брауном и другими. Мои собеседники произвели на меня сильное впечатление — это несомненно острые, умные, четкие во взглядах и позициях люди, далеко не «беззубые». Сам факт их визита ко мне был нетривиальным проявлением уважения ко мне и к моему международному авторитету. Они, в основном, спрашивали и слушали меня — а я пытался наиболее четко выразить свою позицию в вопросах о горбачевской «перестройке» и о том, как

к этому следует подходить Западу, о разоружении, о СОИ, о правах человека и гласности (большая часть всего этого потом вошла в мои выступления на Форуме). Одна из основных мыслей, которую я защищал в беседе, следующая: Запад жизненно заинтересован в том, чтобы СССР стал открытым и демократическим обществом, с нормально развивающейся экономикой, социальной и культурной жизнью. Именно с этим были связаны многие вопросы гостей. Киссинджер, в частности, очень четко и откровенно сформулировал свой вопрос: «Не существует ли такой опасности, что СССР осуществит демократические преобразования, возникнут условия для ускорения его научно-технического развития, экономика окрепнет, а затем он вновь усилит экспансионистскую направленность своей внешней политики и на новом уровне развития будет представлять еще большую опасность для мира во всем мире?» Я использовал кавычки, но на самом деле это вольный пересказ по памяти. Аналогичные, близкие по смыслу вопросы поставили Вэнс, Браун и другие гости. Я ответил, что вопрос, конечно, очень серьезный, но, по моему убеждению, следует опасаться не нормального развития в СССР открытого и стабильного общества с мощной, в основном мирной, экономикой, а потери мировой стабильности и одностороннего военно-промышленного развития закрытого, экспансионистского общества.

(Добавление 1988 г. Отвечая на аналогичные вопросы сейчас, я считаю необходимым подчеркивать, что Запад должен активно поддерживать процессы перестройки, широко сотрудничая с СССР в вопросах разоружения, экономики, науки и культуры. Но эта поддержка должна осуществляться «с открытыми глазами», *не безусловно*. Антиперестроечные силы должны понимать, что любой их успех, любое отступление перестройки одновременно будет означать срыв поддержки Запада. Это уточнение позиции отражает мою озабоченность «зигзагами» перестройки).

Браун и Вэнс также сформулировали вопросы, относящиеся к проблеме СОИ. На мой контрвопрос, санкционирует ли Конгресс боевое развертывание системы СОИ, если СССР откажется от принципа «пакета» (подробней я разъясню суть проблемы ниже), мои гости с некоторой долей уверенности высказали мнение, что в изменившейся после отказа СССР от принципа «пакета» политической ситуации Конгресс не утвердит развертывания СОИ в космосе. Я говорил также об освобождении узников совести и свободе эмиграции. Особенно внимательно слушала и записывала эту часть беседы г-жа Джин Киркпатрик — она произвела на меня впечатление очень умной и твердой женщины.

Мы не пустили фототелекорреспондентов в дом, но разрешили им снимать на улице. Это было уменьшен-

ное подобие встречи на вокзале, ламп-вспышек было почти столько же.

Люся к приезду американцев, кроме традиционного кофе, сделала свое «фирменное» блюдо — творожную ватрушку, она получилась удачно, гости, в том числе Джин Киркпатрик, вполне ее оценили. Генри Киссинджер сказал, что такую вкусную ватрушку делала когда-то в детстве его еврейская мама.

Другая встреча в конце января — начале февраля была с президентами американских университетов. Их приезд в Москву намечался давно, когда мы были еще в Горьком, и теперь состоялся в более нормальных обстоятельствах. Все они приехали в Москву по туристской визе на три дня и от нас направились в Вену на конференцию по правам человека. Вместе с ними в Москву приехал, тоже по туристской визе, Алеша — в качестве переводчика и, конечно, чтобы повидать нас. Это было большое событие для всех нас. Алеша уехал 9 лет назад, и все это время казалось, что он никогда уже не сможет приехать в СССР.

Его разрешение на поездку было получено в самый последний момент, после моих телеграмм в советское посольство в Вашингтоне и послу СССР в США Добрынину. На Восточном побережье США в эти дни был сильный снегопад, самолеты не летали по погодным условиям, и Алеше пришлось срочно добираться из Бостона в Нью-Йорк на арендованной машине. 8 часов он

пробивался по шоссе, покрытому тридцатисантиметровым слоем снега!

Состоялись две большие беседы с президентами и, кроме того, еще очень содержательный разговор с Германом Фешбахом, в основном посвященный проблеме СОИ. Герман давно был другом наших детей, много помогал им. Люся встречалась с ним в США в 1979 году и в 1985—1986 годах, а я был знаком с ним лишь заочно. Я давно хорошо знал его книгу «Математические методы теоретической физики» и совместную книгу с Вейскопфом по ядерной физике.

После отъезда президентов Алеша задержался еще на шесть дней. Он много и интересно рассказывал об американской жизни — она представляла перед нами уже не в перспективе постороннего наблюдателя, а изнутри. Один из его рассказов — о том, как он, будучи аспирантом, во время каникул подрабатывал через бюро найма (не знаю точно, как это у них там называется). Он приходил каждый день к 6 утра, и уже через три — три с половиной часа кто-нибудь брал его на временную (однодневную) работу — подборщиком мусора, продавцом в магазине вместо заболевшего, грузчиком, маляром, штукатуром и т. п. Скоро его заметили (Алеша всегда любую работу делает быстро и на совесть, «выкладываясь», как работнику ему цены нет) и брали одним из первых, почти сразу, как он приходил. Средний дневной заработок при этом составлял вначале



29 долларов, а потом возрос до 35 долларов. Неплохо по советским нормам. Рассказывал также Алеша и о других сторонах американской жизни — о референдумах по разным спорным вопросам городского и штатного характера, об организации здравоохранения и образования и т. п.

Очень огорчил нас Алеша в последние дни симптомами нервного переутомления: сказались систематические перегрузки и почти непрерывный стресс той жизни, которой он — и вообще наши дети — жил последние годы начиная с момента нашей ссылки в Горький, голодовки за выезд Лизы, Люсиного инфаркта, моих голодовок с известием о смерти в 1984 году, с фальшивками КГБ и непрерывной борьбой за нас, с поездками по всему миру и кончая страшным волнением за Люсю во время операции на открытом сердце (на расстоянии мне было легче — я обо всем узнавал задним числом, а кое-что — вообще по ее приезду), и при этом Алеша всегда напряженно работал — над диссертацией, в офисе и по дому...

Приближался Люсин день рождения и Форум. По случаю первого приехал Эд Клайн с женой Джилл и дочкой Кэрол (также приехали приятельница Кэрол и ее друг). Я уже писал в «Воспоминаниях» об Эде, о его участии в издании «Хроники» и других правозащитных делах, о той неоценимой и постоянной помощи, которую он оказывал нашим детям. Люся много раз говори-

ла мне, что наши дети просто погибли бы без этой помощи. С Эдом у наших детей и Люси давно крепкая дружба. Я тоже всегда считал его своим другом, заочным, так как не надеялся, что он и я когда-либо окажемся в Москве. Теперь это произошло. Мне кажется, что мы оба не разочаровались друг в друге. Что я еще дополнительно понял (или утвердился в мнении) — что Эд очень умный, тонкий и предельно деликатный человек. В первый же день его приезда я дал ему прочитать подготовленные к Форуму тексты моих выступлений. Одобрение Эда было очень важным для меня.

Так называемый «Форум за безъядерный мир, за международную безопасность» проходил в Москве 14–16 февраля 1987 года. Это было широко организованное, пропагандистское, в основном, мероприятие. Одним из «дирижеров» Форума был вице-президент АН СССР Евгений Павлович Велихов, он же пригласил участвовать меня.

Первый контакт с Велиховым был у меня в начале января. В Москву приехал итальянский физик Зикики с идеей организации «Мировой лаборатории» — некоего международного многопрофильного научно-исследовательского центра, занимающегося десятью—тридцатью особо важными научными проблемами из разных областей науки, имеющими большое практическое или теоретическое значение. Не мне судить, хорош ли этот проект с точки зрения организации науки, нет ли во

всем этом элемента рекламы или политиканства. Аналогия, которая мне приходит на ум, — это Сибирское отделение АН, организованное М. А. Лаврентьевым. Элемент рекламы там несомненно был, но в целом затея, кажется, себя оправдала (впрочем, тоже не мне судить). Среди проектов Зикики была работа по МТР — именно поэтому меня пригласили. В кабинете Велихова сидели Зикики, академик Кадомцев (один из руководителей работ по МТР, физик-теоретик) и переводчик. Кадомцев кратко, но содержательно рассказал о достижениях последних лет по управляемой термоядерной реакции и о существующих проектах; это было мне крайне интересно — ведь я с конца 60-х годов совершенно не следил за этими делами. Оказывается, имеется возможность создавать в «бублике» постоянный циркулярный ток с помощью соответствующим образом организованного высокочастотного поля, правда пока только при относительно низкой плотности плазмы (удачные эксперименты проведены в Японии). Существуют также способы непрерывной смены термоядерного горючего. Таким образом, «Токамак», по-видимому, избавляется от основного своего принципиального недостатка — импульсного режима работы.

Потом Зикики рассказал о своих проектах и обсуждал их с Велиховым. Я задавал вопросы, в основном воздерживаясь от высказывания своего мнения. В конце разговора я предложил Зикики посетить нас дома.

Велихов после встречи (которая происходила в Президиуме АН) подвез меня на своей машине, при этом впервые с ним возник разговор о предстоящем Форуме. Я в двух словах сказал о своем отрицательном отношении к принципу «пакета». Велихов заметил, что у него другая точка зрения, и предложил мне присутствовать на обсуждениях по вопросам разоружения, которые проводятся в узком составе с участием Сагдеева, Гольданского и Раушенбаха.

Вечером к нам домой приехал Зикики с женой, неожиданно для нас с ним в качестве сопровождающего был Велихов (очевидно, он не мог пустить Зикики к нам одного). Все прошли на кухню, за столом возник оживленный общий разговор. Велихов как «настоящий мужчина» откупорил бутылку вина, вообще вел себя непринужденно и почти по-свойски и в то же время тактично и даже, как мне показалось, с некоторым пиететом. Все это было довольно занятно, особенно если вспомнить, что еще не так давно Велихов, так же как другие академические начальники, не лез за словом в карман, рассказывая всякие небылицы о моем полном благополучии, в том числе во время голодовок. В разговоре с одним из наших иностранных друзей (очевидно, Велихов не знал о наших отношениях) он установил некий рекорд в этом жанре, сославшись на сведения, якобы полученные им от моей первой жены, живущей с ним в одном доме. (Клава умерла в 1969 году. Велихов живет в коттедже на одну семью.)

Через неделю секретарша оргкомитета Форума пригласила меня на совещание. Оно происходило в Институте космических исследований под руководством Велихова и Сагдеева (директора ИКИ). В небольшой комнате собралось человек 20—25. Велихов рассказал о программе Форума, большую часть остального времени я задавал вопросы, на которые отвечали присутствующие. У меня создалось впечатление, что все совещание было создано ради меня. Информация, которую я получил, была очень полезной для подготовки выступлений на Форуме, для большей уверенности.

По окончании Сагдеев пригласил меня посмотреть научно-документальный фильм о комете Галлея и эксперименте Ве-Га, очень эффектный.

Через 10—12 дней состоялось второе совещание, на этот раз в Президиуме Академии, носившее, в основном, организационный характер. После совещания Велихов попросил меня остаться, так как со мной «хочет поговорить Гурий Иванович» (Марчук). Минут сорок мы ждали его приезда в кабинете Велихова. На стенах висели шуточные рисунки, видимо подаренные хозяину к какому-то юбилею, а на полках шкафов стояли всевозможные справочники и сувениры. Велихов рассказывал о своей работе в энергетической комиссии, о трудностях и бессмыслице, которые возникают из-за отсутствия разумных экономических регуляторов хозяйственной жизни. Наконец секретарша позвонила

о приезде президента, и мы поднялись к нему. Велихов кратко рассказал о предстоящем Форуме. Марчук спросил, собираюсь ли я выступить на Форуме, и если да, то он просит меня очертить контуры моей позиции. Гурий Иванович, так же как во время нашего декабрьского разговора, добавил, что я имею большой авторитет во всем мире и поэтому моя поддержка мирных усилий СССР очень важна. В какой-то форме Марчук дал понять, что речь идет о внешней и внутренней политике «Михаила Сергеевича, которому очень трудно». Я сказал, что собираюсь выступить, и очень кратко описал свою позицию, особенно подчеркнув необходимость не обуславливать соглашение о сокращении стратегических ядерных ракет соглашением по СОИ (отказ от принципа «пакета»). Этот тезис вызвал резкие возражения Велихова, с которым солидаризировался Марчук. Я сказал, что убежден в своей правоте и мое участие в Форуме имеет смысл только потому, что мое представление о том, что надо делать ради мира и разоружения, отличается от официозного. Это обсуждение также было полезно для меня, помогло ясней понять аргументы сторонников «пакета» и четче сформулировать свои.

За неделю до Форума у нас возникла идея (к сожалению, с опозданием), что полезным был бы приезд Ремы в качестве помощника и переводчика в беседах с иностранными учеными — подобно тому, как Алеша помогал

в общении с президентами университетов. Но осуществить это мы не смогли, не успели — Рему не пустили.

Перед Форумом я встретился с делегацией Федерации американских ученых, возглавляемой докторами Джереми Стоуном и фон Хиппелем (они приехали к нам домой сразу же по приезде). Хиппель и Стоун рассказали о позиции ФАС, Хиппель показал тезисы своего доклада.

Первые заседания Форума происходили по секциям (ученые, бизнесмены, религиозные деятели, деятели культуры, политологи и политики, может еще кто-то), затем было общее заседание в Кремле с участием и речью Горбачева и заключительный банкет. Секцию ученых возглавлял председатель ФАС фон Хиппель, а фактически — тот же Велихов. Заседания «ученой» секции происходили в гостинице «Космос».

Я оказался «главной приманкой» для многих западных участников — меня непрерывно «атаковали» и в кулуарах, и дома, во время и после Форума. После Форума я сочинил стишок, начинавшийся так: «Хоть и кончился Форум, в дверь все так же бум-бум-бум».

Но и для меня самого участие в Форуме было важным, так как оно представляло собой первое публичное появление после многих лет изоляции, давало возможность изложить позицию перед широкой аудиторией.

В секции ученых было четыре заседания по темам: сокращение стратегических ядерных арсеналов, евро-

пейская безопасность, проблемы ПРО, запрещение подземных ядерных испытаний.

Я выступал на первом, третьем и четвертом заседаниях<sup>4</sup>.

Первое выступление я начал с общих вопросов. Приведу большую цитату:

«Как гражданин СССР я в особенности обращаюсь со своими призывами к руководству нашей страны, наряду с другими великими державами несущей особую ответственность за положение в мире.

Международная безопасность и реальное разоружение невозможны без большего доверия между странами Запада и СССР, другими социалистическими странами.

Необходимы разрешение региональных конфликтов на основе компромисса, восстановление стабильности всюду в мире, где она нарушена, прекращение поддержки дестабилизирующих и экстремистских сил, всех террористических группировок; не должно быть попыток расширения зоны влияния одной стороны за счет другой; необходима совместная работа всех стран для решения экономических, социальных и экологических проблем. Необходимы большая открытость и демократизация нашего общества — свобода распространения и получения информации, безусловное и полное освобождение узников совести, реальная свобода выбора стра-



ны проживания и поездок, свобода выбора места проживания внутри страны, реальный контроль граждан над формированием внутренней и внешней политики. Несмотря на происходящие в стране прогрессивные процессы демократизации и расширения гласности, положение остается противоречивым и неопределенным, а в чем-то наблюдается попятное движение (например, в законодательстве о свободе эмиграции и поездок). Без решения политических и гуманитарных проблем прогресс в области разоружения и международной безопасности будет крайне затруднен или вовсе невозможен. Но есть и обратная зависимость — демократизация и либерализация в СССР и тесно связанный с ними экономический и социальный прогресс будут затруднены без ослабления прессы гонки вооружений. Горбачев и его сторонники, ведущие трудную борьбу против косных, догматических и своекорыстных сил, заинтересованы в разоружении, в том, чтобы гигантские материальные и интеллектуальные ресурсы не отвлекались на вооружение и перевооружение на новом технологическом уровне. Но в успехе преобразований в СССР заинтересован и Запад, весь мир. Экономически сильный, демократизированный и открытый Советский Союз явится важнейшим гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером для других стран в совместном решении глобальных проблем. И наоборот. Если на Западе возобладает политика изматывания СССР при по-

мощи гонки вооружений — ход мировых событий будет крайне мрачным. Загнанный в угол противник всегда опасен. Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные ресурсы и СССР политически и экономически развалится, — весь исторический опыт свидетельствует об обратном. Но процесс демократизации и либерализации прекратится, научно-техническая революция будет иметь одностороннюю военно-промышленную направленность, во внешней политике, как можно опасаться, получат преобладание экспансионистские тенденции, блокирование с деструктивными силами».

Я, таким образом, не только повторил обычные свои общие тезисы, но и выступил с активной поддержкой начинаний Горбачева и его сторонников, за дальнейшее углубление его реформ, обращаясь не только к СССР, но и к Западу. Вторая часть выступления касалась конкретных вопросов сокращения стратегических вооружений. Поддерживая в принципе схему одновременного пятидесятипроцентного сокращения всех видов стратегического оружия СССР и США, я далее сказал:

«“Пропорциональная” схема наиболее проста, и вполне оправданно, что продвижение началось именно с нее. Но она не оптимальна, так как не решает проблемы стратегической стабильности.

Большая часть ракетно-термоядерного потенциала СССР — мощные шахтные ракеты с разделяющимися боеголовками. Такие ракеты уязвимы по отношению к предупредительному удару современных высокоточных ракет потенциального противника. Принципиально важно, что одна ракета противника с разделяющимися боеголовками уничтожает несколько шахтных ракет. То есть уничтожение всех шахтных ракет при примерном равенстве сторон (СССР и США) возможно с использованием противником лишь части его ракет. Стратегическое значение «первого удара» колоссально возрастает. Страна, опирающаяся, в основном, на шахтные ракеты, может оказаться *вынужденной* в критической ситуации к нанесению «первого удара». Это объективная военно-стратегическая реальность, которую не может не учитывать противоположная сторона. Я хочу подчеркнуть, что такое положение никем не планировалось при развертывании шахтных ракет в 60-х и 70-х годах. Оно возникло в результате разработки и принятия на вооружение разделяющихся боеголовок и повышения точности стрельбы. Но сегодня шахтные ракеты, вообще любые ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, являются важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности. Поэтому я считаю чрезвычайно важным при сокращении ракетно-стратегических вооружений принять принцип преимущественного сокращения ракет с уязвимыми стартовыми позициями, то есть тех ракет, которые прин-

ципиально являются оружием первого удара. Особенно важно преимущественное сокращение советских шахтных ракет, так как они составляют основу советских ракетно-термоядерных сил, а также американских ракет МХ. Возможно, целесообразно часть советских шахтных ракет одновременно с общим сокращением заменить на менее уязвимые ракеты эквивалентной ударной силы (ракеты с подвижным замаскированным стартом, крылатые ракеты различного базирования, ракеты на подводных лодках и т. д.). Для американских ракет МХ проблема замены, как я думаю, не стоит, так как они составляют менее существенную часть в общем балансе и их можно безболезненно уничтожить в процессе двустороннего сокращения».

Последний конкретный вопрос в этом первом выступлении — об определении порога сокращения стратегических сил из условия сохранения стратегической стабильности. Я указал на трудности получения ответа. В частности, я подчеркнул, что этот вопрос (о предельно допустимом ущербе) нельзя решать исходя из психологии мирного времени. Ситуация, о которой идет речь, вообще не имеет прецедента. Уровень может быть близок или равен уровню гарантированного взаимного уничтожения!

«Вернуться к этому вопросу целесообразно после осуществления пятидесятипроцентного сокращения.

Безъядерный мир — желанная цель. Он возможен только в будущем, в результате многих радикальных изменений в мире. Условиями мирного развития сейчас и в будущем являются разрешение региональных конфликтов, равновесие обычных вооружений, либерализация и демократизация, большая открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека, компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в «пакете» с другими вопросами стратегического оружия».

Я кончил формулой:

«Кардинальным, окончательным решением проблемы международной безопасности является конвергенция, сближение мировых систем социализма и капитализма».

Зал долго аплодировал мне, как и некоторым другим выступавшим. Говорят, в этот (или следующий) день в зале находился Добрынин (бывший посол СССР в США, замминистра иностранных дел), он ушел сразу после моего выступления.

На другой день я говорил о СОИ. Я сказал, что в вопросе разоружения возникла тупиковая ситуация.

«Соглашения о разоружении, в частности о значительном сокращении баллистических межконтинентальных ракет,

и о ракетах средней дальности и поля боя должны быть заключены как можно скорей независимо от СОИ в соответствии с линиями договоренности, наметившимися в Рейкьявике.

Компромиссное соглашение по СОИ может быть, по моему мнению, заключено во вторую очередь. Таким образом опасный тупик в переговорах был бы преодолен.

Я постараюсь проанализировать соображения, приведшие к принципу «пакета», и показать их несостоятельность. Я также попытаюсь показать несостоятельность доводов сторонников СОИ. Начну с последнего.

Я убежден, что система СОИ неэффективна для той цели, для которой она, по утверждению ее сторонников, предназначена.

Объекты ПРО, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя еще на неядерной стадии войны и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств. Так же будут разрушены многие ключевые объекты ПРО наземного базирования. Использование ракет, имеющих уменьшенное время прохождения активного участка, потребует непомерного увеличения числа космических станций СОИ. Системы ПРО обладают особенно малой эффективностью в отношении крылатых ракет и ракет, запускаемых с близкого расстояния. Результативным способом преодоления любой системы ПРО, в том числе СОИ, является простое увеличение числа ложных

и боевых головок, использование помех и различных способов маскировки. Все это и многое другое заставляет считать СОИ своего рода «космической линией Мажино» — дорогой и неэффективной. Противники СОИ утверждают, что СОИ, будучи неэффективной в качестве оборонительного оружия, является щитом, под прикрытием которого наносится «первый удар», т. к. может быть эффективной для отражения ослабленного удара возмездия. Мне это кажется неправильным. Во-первых, удар возмездия не обязательно будет сильно ослаблен. Во-вторых, почти все приведенные выше соображения о неэффективности СОИ относятся и к удару возмездия. Тем не менее в настоящее время ни одна из сторон, по-видимому, не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов и — что существенней и реальней — поскольку концентрация сил на новейшей технологии может принести важные побочные результаты в мирной и военной областях, например в области компьютерной науки. Я все же считаю все эти соображения и возможности второстепенными в масштабе огромной, непомерной стоимости работ по СОИ и при сопоставлении с негативным влиянием СОИ на военно-стратегическую стабильность и на переговоры о разоружении. Сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР. Я уже говорил вчера, что по-

добная политика неэффективна и крайне опасна для международной стабильности. В случае СОИ «асимметричный» ответ (т. е. преимущественное развитие сил нападения и средств уничтожения СОИ) делает такие расчеты особенно беспочвенными. Неправильно также утверждение, что наличие программы СОИ побудило СССР к переговорам о разоружении. Программа СОИ, наоборот, затрудняет эти переговоры».

В дополнение к сказанному на Форуме особо следует подчеркнуть, что взаимное уничтожение системы ПРО с элементами космического базирования на ядерной стадии «большой» войны может спровоцировать переход войны в «глобальную термоядерную войну», уничтожение человечества.

Все то, что я говорил против СОИ как на Форуме, так и до него, усиленно цитировалось. В частности, в советской прессе, в прессе некоторых социалистических стран и в западной коммунистической и левой печати отмечалась только эта сторона моей позиции (конечно, само по себе необычно, что я вообще был упомянут в советской прессе, причем уважительно). Но гораздо более важной с политической точки зрения, и нетривиальной, является другая сторона моей позиции — о принципе «пакета»! Тут освещение в прессе было гораздо более бледным, неточным. Мне даже пришлось несколько раз выступать со специальными «уточнениями-опроверже-



ниями». Выступая против «пакета», я опираюсь на предполагаемую мною малую эффективность СОИ, причем не только против «первого удара», но и против «удара возмездия», на огромные возможности так называемого «асимметричного ответа». Я исхожу также из того, что ни одна из сторон не может полностью отказаться от поисковых работ в области, которая, возможно (не наверное, конечно), сулит определенные достижения. Я предполагаю, что отказ СССР от принципа «пакета» создаст новую политическую и стратегическую обстановку, в которой США не будут осуществлять развертывание систем противоракетной обороны в космосе (насколько мне известно, в Рейкьявике Рейган уже соглашался на мораторий развертывания СОИ). В противном же случае, если после отказа СССР от принципа «пакета» в США возобладают противоположные тенденции и начнется развертывание СОИ, мир просто возвращается к существующему сейчас положению, но с политическим выигрышем СССР. Демонтаж стратегических ракет прекращается, в СССР развертываются большие силы ракет с неуязвимым стартом и создаются системы уничтожения и преодоления СОИ. Вряд ли США заинтересованы в таком ходе событий.

Таковы те аргументы в пользу разрыва «пакета», с которыми я выступил на Форуме, до и после него.

Через две недели после Форума СССР отказался от принципа «пакета» в отношении ракет средней дальности.

сти, затем выступил с предложением относительно ракет малой дальности и оперативно-тактических ракет. Я считаю эти шаги чрезвычайно важными и продолжаю надеяться на разрыв «пакета» также в отношении стратегического межконтинентального оружия. Такое действие СССР вместе с положительной реакцией США изменили бы лицо мира.

Сразу после моего выступления утром 15-го выступил Стоун от имени ФАС. Он поддержал идею отказа от принципа «пакета». Затем выступил Кокошин (заместитель директора Института Америки и Канады Арбатова). Он возражал против моего тезиса об особой опасности шахтных ракет, говорил, что и с ракетами на подлодках далеко не все в порядке — они тоже не вполне неуязвимы (что, вероятно, само по себе правильно, но не меняет оценки шахтных ракет как оружия первого удара). Затем, уже по поводу принципа «пакета», с возражениями мне выступил Велихов. Он говорил, что ученые должны опасаться вторгаться в область политики. А зачем же тогда Форум? — мог бы я сказать. Я давно слышал «советы» не входить в политику — от Неделина, от Хрущева, от Славского — как раз тогда, когда я делал важный и правильный шаг. Я думаю, что и мои выступления на Форуме были правильным вторжением в политику.

Вечером 15-го я выступал еще раз — по вопросу о подземных ядерных испытаниях. Прекращение под-

земных ядерных испытаний я считаю относительно второстепенным делом, не имеющим решающего значения для прекращения гонки вооружений.

В этом же выступлении я сказал:

«Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, которое должно способствовать объединению человечества. Разрешите мне сказать несколько слов по этой теме, связанной с основной целью Форума.

В эти дни в выступлениях участников много раз упоминалась катастрофа в Чернобыле, явившаяся примером трагического взаимодействия несовершенства техники и человеческих ошибок.

Нельзя, тем не менее, переносить на мирное использование ядерной энергии то неприятие, которое люди вправе иметь к ее военным применениям. Человечество не может обойтись без ядерной энергетики. Мы обязаны поэтому найти такое решение проблемы безопасности, которое полностью исключило бы возможность повторения чего-либо подобного Чернобыльской катастрофе в результате ошибок, нарушения инструкций, конструктивных дефектов и технических неполадок.»

Далее я изложил идею подземного размещения ядерных реакторов, закончив словами:

«Я считаю, что мировая общественность, обеспокоенная возможными последствиями мирного использования ядерной энергии, должна сосредоточить свои усилия не на попытках вовсе запретить ядерную энергетику, а на требовании обеспечить ее полную безопасность».

Готовясь к Форуму, я сомневался в целесообразности включения этой темы. Меня убедила в этом Люся и, конечно, она была права! Она также настаивала на включении тезиса о необходимости мирового закона, обязывающего все государства строить новые ядерные реакторы с обеспечением их полной безопасности, т. е. под землей, и предусматривающего поэтапное закрытие всех размещенных на поверхности земли ядерных реакторов. Я тогда не решился — зря! — и, конечно, теперь (не только в этой книге) всегда пишу и говорю о международном законе.

Сразу после окончания Форума состоялась специально для меня организованная пресс-конференция. Первоначально речь шла о пресс-конференции в МИДе, в пресс-центре. Я поставил условием, чтобы могли присутствовать моя жена и мой гость из США (Эд Клайн). Референт сказал, что это не составит проблемы. Но потом он подошел с несколько смущенным видом и сообщил, что присутствие кого-либо в МИДе, кроме делегатов Форума, исключается. На этот раз референт подошел за полчаса до пресс-конференции. Я несколько секунд подумал и согласился (в противном случае надо

было устраивать пресс-конференцию в доме, что очень обременительно). Меня провели в большую комнату, где уже сидели другие участники — Хиппель, Визнер и Кокошин, ведущий — советский комментатор Познер и несколько десятков — до ста — западных корреспондентов, многие с фотоаппаратами и видеотелекамерами, со множеством микрофонов. Все сидячие места были заняты, многие стояли и сидели на полу. Хиппель и Визнер кратко рассказали о совещаниях секции ученых, я пересказал содержание своих выступлений, Кокошин выступил с теми же возражениями, что утром. Было несколько вопросов.

Через час все было кончено, и я поспешил домой, где уже собрались за праздничным столом гости: 15 февраля — день Люсиного рождения, впервые за 8 лет мы с Люсей встречали его в Москве.

16 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось заключительное заседание Форума. Выступали председатели всех секций, затем Горбачев. Хиппель в своем выступлении упомянул о моем участии. В опубликованном в «Известиях» тексте это место не было опущено, за исключением того, что я являюсь лауреатом Нобелевской премии Мира.

Я аплодировал некоторым местам из речи Горбачева, каждый раз в мою сторону устремлялось множество телекамер, в том числе советских. Люся, сидя дома, видела меня по телевизору.

После речи Горбачева состоялся большой банкет. У меня, как и у всех гостей, были билеты на определенный стол; у меня — в самом конце зала вместе с врачами. На столе стояли закуски и напитки (в том числе, несмотря на антиалкогольную политику, грузинское вино), участники Форума протискивались к столам и брали все, что им хочется. Меня сразу обступила большая толпа иностранных и советских участников, не отпуская ни на минуту. Я разговаривал то с одним, то с другим. Я не понял (не имел времени сообразить), что в зале, в другом его конце (возможно, чем-то отделенном) были Горбачев и другие члены правительства. Я потом узнал это от Стоуна и его жены и Хиппеля — они сидели рядом с Горбачевым, жена Стоуна — с женой Горбачева. Если бы я знал все это вовремя, я бы попытался туда пробиться, быть может смог бы что-то сказать по волнующим меня вопросам (об узниках совести, о принципе «пакета»). Еще более существенно — мой личный контакт с Горбачевым имел бы политическое значение, а его отсутствие явилось некоей победой «антигорбачевских сил». К сожалению, я тут оказался не на высоте, не сумел сориентироваться. Два эпизода могли бы открыть мне глаза, но я понял их смысл только задним числом. Еще до заседания я говорил со многими людьми, в их числе с писателем Даниилом Граниным и другими. Некто — по-видимому, представитель Интуриста (или МИДа, или КГБ) — подвел ко мне пожилого иностранца, представил меня и ска-

зал: «Андрей Дмитриевич, с вами хочет поговорить мистер Хаммер». Я знал, конечно, имя этого американского промышленника, одного из самых богатых и удачливых бизнесменов, более 60 лет имеющего большие и выгодные экономические связи с нашей страной в сочетании с разнообразными гуманитарными, филантропическими и культурными делами. Хаммер за эти годы встречался со всеми руководителями СССР — от Ленина до Горбачева. Это был человек среднего роста, подтянутый. В начале разговора лицо его показалось мне устало-безразличным. Хаммер говорил со мной по-русски, четко и правильно произнося короткие фразы. Он сказал: «Я считаю, что очень важно, чтобы еще в этом году состоялась встреча Горбачева с Рейганом. Я буду говорить об этом с Горбачевым. У меня есть некоторые идеи, в частности относящиеся к прекращению войны в Афганистане. Я буду также говорить об этом с моим другом Зией (президентом Пакистана)». Я сказал: «У меня также есть идея по вопросу о встрече Горбачева и Рейгана. Хорошей основой для встречи мог бы явиться отказ СССР от так называемого принципа «пакета»» (я далее коротко пересказал свое выступление на Форуме). Хаммер явно заинтересовался, лицо его оживилось, в глазах появился острый, сосредоточенный блеск. Наш разговор, однако, быстро прервался, так как подошла известная балерина Майя Плисецкая и увлекла д-ра Хаммера с собой. У меня возникла мысль, что, так как Хаммер будет

видеть Горбачева, он мог бы передать ему список 19 заключенных, судьба которых в особенности нас волновала. Перед самым банкетом я увидел того человека, который знакомил меня с Хаммером (на этот раз он привел кинорежиссера и актера Питера Устинова), и попросил еще раз свести меня с Хаммером. «Хорошо, я попрошу его к вам подойти». — «Это неудобно, я сам к нему подойду. Вы только найдите мне его». Он ответил что-то неопределенное, а потом Хаммер действительно подошел ко мне, и я передал ему список узников для Горбачева (тут Хаммер, как мне показалось, не проявил особой заинтересованности). Я мог бы догадаться, что Хаммер сидит рядом с Горбачевым, а мне туда путь заказан (но не догадался). Перед уходом я хотел пройти в уборную, которая, как я знал, была за дверью в конце зала. Но, когда я туда направился, мне преградили путь двое плотно сложенных людей в хорошо сшитых костюмах: «Туда нельзя. Пройдите в уборную в другом конце». Это были, несомненно, сотрудники охраны Горбачева и членов правительства, но я опять этого не понял, во всяком случае я не понял, что Горбачев рядом. Конечно, неизвестно, мог ли я добиться, чтобы меня к нему пропустили (охранники — люди серьезные).

После Форума продолжалась та же напряженная жизнь. Среди многочисленных встреч я запомнил одного из участников Форума — американского «левого» Дэниела Элсберга, в прошлом эксперта Пентагона по



планированию операций, получившего известность тем, что он в свое время передал прессе документы о подготовке американскими службами так называемого Тонкинского инцидента (якобы имевшего место нападения вьетнамских катеров на американский флот). Разговор с Элсбергом был вполне содержательным — он рассказал много конкретно важного. Сам Элсберг произвел на меня впечатление человека искреннего, умного и эрудированного, страстного и эмоционального, быть может даже не всегда уравновешенного. Конечно, наши позиции сильно отличаются, но все же не настолько, как это можно было предполагать. Другая встреча с западными «левыми» — с «зелеными» из ФРГ Петрой Келли и Бастианом, генералом в отставке.

В марте и мае состоялись встречи с премьерами Великобритании и Франции, Тэтчер и Шираком, посетившими СССР с официальными визитами.

Люся уже встречалась с г-жой Тэтчер и с г-ми Миттераном и Шираком в мае 1986 года. Возможно, эти встречи сыграли, наряду с другими факторами, какую-то роль в нашем освобождении.

К Маргарет Тэтчер Люся и я были приглашены на ленч в посольство Великобритании. За столом, кроме нее и нас, были посол с женой — формально именно они устраивали ленч, министр иностранных дел Д. Хау и переводчица. Я говорил на свои обычные темы — об узниках совести (тут особую заинтересованность и ос-

ведомленность проявил сэр Джеффри Хау) и о разоружении, подчеркнув необходимость использовать возможности, возникшие в связи с отказом СССР от «пакета» в отношении ракет средней дальности. Я, так же как до этого на Форуме, говорил о важности для всего мира, в том числе для Запада, поддержки политики перестройки в СССР, с сохранением позиции по вопросу прав человека. В ходе беседы за столом Джеффри Хау вспомнил, как он несколько лет назад (может, два года назад) говорил с Громыко о «проблеме Сахарова», и тот «пошутил»: «Вы знаете, я не люблю сахар, никогда его не употребляю». Видно было, что эта шутка потрясла Хау настолько, что он даже через несколько лет вспоминал о ней с недоумением.

С господином Шираком я виделся на приеме в Академии наук. Ширак беседовал минут двадцать с президентом АН Марчуком с глазу на глаз в его кабинете. Затем Ширак произнес речь перед собравшимися в зале приглашенными академиками. Это была хорошая речь, но я боюсь, что многие присутствующие ничего не поняли, т. к. не было перевода (мне дали русский текст). До своего выступления, выйдя от Марчука, Ширак около десяти минут разговаривал со мной. Вокруг толпились корреспонденты с микрофонами и кинокамерами, так что каждое слово попало в прессу. Ширак вспомнил, присовокупив комплименты, о встрече с Люсей в Париже, я передал наилучшие пожелания от

нее, говорил об узниках лагеря особого режима и 190-й статье<sup>5</sup>, особо о деле Евсюковых. В последующем интервью французским корреспондентам я много говорил об Афганистане, впервые говорил о бомбардировках советской авиацией госпиталей, развернутых французскими и немецкими врачами-добровольцами.

В начале апреля я послал письмо на имя Э. Шеварднадзе с просьбой способствовать освобождению Мераба Коставы. Через несколько недель Мераб был освобожден. В мае мне позвонил секретарь канцелярии МИДа Иванов. Он сказал: «Вы посылали письмо на имя министра иностранных дел по вопросу об осужденном Коставе. Я могу информировать вас, что Костава помилован и в настоящее время находится на свободе». Я спросил: «Сыграло ли в этом роль мое письмо?». Иванов: «Я ничего об этом не могу вам сказать». На самом деле я уверен, что сам факт этого звонка является косвенным подтверждением того, что освобождение Мераба в какой-то степени связано с моим письмом.

В мае важным событием для меня был международный семинар в Москве по проблемам квантовой гравитации. Я вновь (впервые после памятной встречи в Тбилиси в 1968 году) увидел Джона Уилера, познакомился с Дезером. Оба они были у нас дома. Люся в прошлом году встречалась с Дезером в Бостоне, с Уилером же она до сих пор не была знакома. Мне кажется, что наша встреча была не пустой, запоминающейся и теп-

лой — благодаря Люсе и, конечно, благодаря нашим замечательным гостям. Мы говорили и об общественных, и о научных проблемах. Среди первых, как обычно, о СОО. Уилера глубоко волнуют принципиальные проблемы интерпретации квантовой механики и вообще философские, эпистемологические проблемы, приобретшие такую остроту благодаря революционному развитию физики и космологии в двадцатом веке. Я, вероятно, не всегда его понимал и не во всем был с ним согласен. Но общее вдохновляющее впечатление от его необыкновенно яркой научной индивидуальности, от его личности вообще — очень сильное. Уилер сказал, что собирает книги и статьи об интерпретации квантовой механики. Оказалось, что он не знает лекций Л. И. Мандельштама о косвенных измерениях. По моей просьбе Е. Л. Фейнберг выслал ему их.

Я также встретился со Стивеном Хоукингом. Я знал его работы, в том числе о квантовом излучении черных дыр (знаменитое хоукинговское излучение), о его болезни, о действиях в мою защиту. Сейчас, мне кажется, между нами возникла какая-то внутренняя связь, что-то более глубокое, чем просто беглое знакомство и обмен научными сентенциями...

Я не знаю медицинской квалификации болезни Хоукинга, но вижу ее ужасные проявления — сильнейшую миопатию, приковавшую его к креслу-каталке, лишившую речи. Общение Стивена с другими людьми

осуществляется с помощью компьютерного устройства. Перед его глазами на дисплее бегут строчки словарика, и он еле заметным нажатием бессильных пальцев переводит нужные ему слова на экран, набирая фразу. Затем механический голос произносит эту фразу вслух (как «говорит» Стивен, с «американским акцентом», т. к. машину делали в США). Только несколько слов, в том числе «Да» («Йес»), Стивен может сказать сразу, без набора. Так он участвует в научных дискуссиях, общается с друзьями и близкими, пишет одну за другой свои статьи, содержащие глубокие и оригинальные идеи. Стивен женат, у него есть дети. Сила духа этого человека поразительна, он сохранил дружелюбие к людям, чувство юмора и неистощимую любознательность, огромную научную активность. Хоукинг ездит по всему миру, участвуя в многочисленных научных семинарах. Я несколько раз разговаривал с Хоукингом, когда он с помощью своего механического кресла выезжал из зала заседаний, и один раз присутствовал при общей беседе его с 10—15 участниками семинара — это было нечто вроде пресс-конференции по основным вопросам интерпретации квантовой механики и в особенности — введенной Хоукингом (вместе с Хартли) «волновой функции Вселенной». Во время первого разговора Хоукинг дал мне оттиски своих последних работ — о потере когерентности в сложных топологических структурах, о направлении стрелы времени и др. Первую работу он докладывал

на семинаре и сказал, перефразируя Эйнштейна: «Бог не только играет в кости, но и забрасывает их так далеко, что они становятся недоступными». На другой день я сказал Стивену, что прочитал его лекцию о стреле времени и очень рад, что он теперь признал справедливость критики Пейджа (его сотрудника) по поводу ошибочного предположения о повороте стрелы времени в момент максимального расширения Вселенной и *максимальной* энтропии. Поворот стрелы времени возможен лишь в состоянии *минимальной* энтропии. Я не привел по робости самого простого и ясного примера — замкнутой Вселенной в состоянии ложного вакуума с положительной энергией и равной нулю энтропией. В этот момент Хоукинг сделал движение пальцами, и компьютер произнес бесстрастно: «Йес!». Я, к сожалению, не сказал, что впервые высказал идею о повороте стрелы времени (в состоянии минимальной энтропии) еще в 1966 году и несколько раз возвращался к этой теме.

Во время разговора рядом стоял неизвестный мне человек. Потом он подошел ко мне и сказал: «Я — Пейдж». Он открыл на заложенном месте Библию на английском языке. Это было Евангелие от Матфея. Пейдж, видимо, предлагал мне Библию в подарок. Я постеснялся, не решился взять — тем более что я все же плохо читаю по-английски, а на русском Библия у нас есть, и мы знаем ее... Я все время вспоминаю лицо Хоукинга, его глаза.

В конце июня во французском посольстве состоялась церемония вручения мне дипломов Академии наук Франции и Академии моральных и политических наук и медали Института Франции. Французские ученые много лет добивались проведения этой церемонии, но она могла состояться лишь после нашего возвращения в Москву. Однако и на этот раз их несколько обвели вокруг пальца. Ширак, беседуя с Марчуком во время своего визита в СССР, просил его содействовать проведению церемонии либо во Франции, либо, если это затруднительно, в Москве. Марчук, естественно, «выбрал» второе. Управление внешних сношений Академии (УВС) санкционировало проведение во французском посольстве церемонии вручения медали и дипломов мне и замечательному математику В. И. Арнольду, тоже избранному в Академию наук Франции (Владимир Арнольд — сын моего университетского профессора математики Игоря Владимировича Арнольда).

На церемонию были приглашены Марчук и советские ученые, ранее избранные в Академию наук Франции. Одновременно представители УВС устно санкционировали проведение в ФИАНе научного семинара в честь Арнольда и меня, в соответствии с договоренностью Марчука и Ширака, с приглашением советских и иностранных докладчиков. Но в последний момент Марчук известил французское посольство, что проведение научного семинара невозможно, так как это соз-

даст «нежелательный прецедент» (?!). Два члена французской делегации, физики доктор Мишель и доктор Мартэн в знак протеста против этого некорректного действия советской Академии и тех, кто стоял за ее спиной, решили отказаться от приезда в СССР и участия в церемонии. Остальные французские ученые решили все же провести долго откладывавшуюся церемонию без семинара. Среди приехавших членов делегации были известные математики А. Картан (с женой) и Л. Шварц.

Церемония состоялась 29 июня. После вручения дипломов и медалей Арнольд и я выступили с ответными словами.

Я, в частности, повторил тезис об ответственности ученых в современном мире — в проблемах мира, обеспечения необходимого человечеству прогресса и безопасности использования его достижений, в создании атмосферы доверия и открытости общества, в защите людей, ставших жертвой несправедливости.

Говоря о безопасности прогресса, я упомянул идеи подземного размещения ядерных реакторов и необходимость соответствующего международного закона.

Я поблагодарил всех тех, кто принимал участие в нашей судьбе во время горьковской депортации и изоляции и способствовал освобождению. Подчеркнул большое значение приезда в Москву докторов Мишеля и Пекера во время нашей голодовки 1981 года.



В моем выступлении содержались серьезные упреки в адрес Академии наук СССР и ее членов. В отличие от большинства зарубежных академий АН СССР не выступила против моей депортации в 1980 году. Четыре ее члена, в том числе ученый секретарь (т. е. Скрябин), опубликовали направленную против меня провокационную и клеветническую статью. Я высказал надежду, что когда-нибудь они дезавуируют ее. Я также осудил отказ Академии способствовать проведению научного семинара.

Я думаю, что отказ в проведении семинара произошел по требованию КГБ (слишком было бы много чести для меня!). Перед церемонией мы видели около машины гебиста — через несколько минут одна из щеток оказалась украденной. Вечером, после церемонии и моего выступления, затронувшего, в числе прочего, Академию, «неизвестные лица» (безусловно КГБ) разбили на машине заднее стекло. ГБ явно давало мне понять, что я должен держаться в определенных рамках, и «защищало» Академию, персонально Скрябина.

Более неприятное, зловещее напоминание о неоднозначности нашего положения имело место за несколько дней до этого. Позвонил некто Мухамедьяров (неизвестный нам лично человек, сидевший, кажется, в 70-е годы в тюрьме и психушке и, по слухам, ведущий какие-то малопонятные игры с КГБ<sup>6</sup>). Я взял трубку. Мухамедьяров сказал: «Я говорил вчера с вашей женой. Она

сказала, что обо всем можно говорить по телефону. Я бы предпочел встретиться лично, но раз вы не хотите, скажу по телефону, не называя фамилий. Мне пришлось в последнее время иметь контакты со многими работниками КГБ, в том числе с весьма ответственными. Они рассказали, что в конце 1981 — начале 1982 года было принято решение о ликвидации Елены Георгиевны (т. е. об убийстве), это решение не было утверждено на самом высоком уровне (видимо, в Политбюро. — А. С.)». Даты Мухамедьяров назвал после моего вопроса, несколько неуверенно. Я сказал, что в случае убийства Елены Георгиевны я также убью себя. Я спросил: «Кто сказал вам все это?» — «Один работник КГБ, генерал, занимается вопросами...» (я забыл, какими именно, но не имеющими отношения к нам, кажется Мухамедьяров сказал, вопросами культуры).

Звонок Мухамедьярова несомненно был инспирирован КГБ как напоминание и угроза. Что за этим последует — не знаю, скорей всего — ничего. По существу сообщения Мухамедьярова я думаю, что, возможно, на каком-то уровне КГБ на каких-то этапах действительно рассматривал план физического устранения (убийства) Люси. Как это часто бывает, те, кто распространяет клевету, начинают сами в нее верить. Поэтому в КГБ мог внедриться «яковлевский» стереотип Люсиного образа и наших отношений — властной, честолюбивой и корыстной женщины, манипулирующей без-

вольным, далеким от жизни «тихим старичком», в прошлом гениальным ученым, ныне склеротиком. Мы имели множество доказательств ненависти КГБ к Люсе. Вот один из эпизодов, постоянно стоящий у меня перед глазами. Однажды, когда я находился в больнице, Люся поехала за хлебом и еще чем-то в магазин (известный под названием «Стекляшка»). Выходя из машины, она поскользнулась на глинистых буграх и, упав, больно ушиблась (потом оказалось, что она сломала себе копчик). Люся несколько минут не могла подняться и лежала на земле. Ее обступили гебисты из двух сопровождающих машин, они злорадствовали и деланно хохотали. Никто из них не сделал даже малейшей попытки помочь упавшей женщине.

Убийство Люси кому-то могло показаться способом решения «проблемы Сахарова». Очевидно, этот план, если он существовал, не был принят в простейшем варианте. Но многое из того, что я рассказывал в «Воспоминаниях», слишком сильно к нему приближается. После инфаркта могли возникнуть надежды, что все разрешится само собой, конечно при этом надо было не допускать к Люсе врачей и, тем более, не разрешать поездки за рубеж. Именно такова была принятая по отношению к ней тактика. Вероятно, не случайно милицейский пост у дверей московской квартиры, отпугивавший врачей, был установлен сразу после того, как в поликлинике Академии у нее диагностировали инфаркт. Более

мелкая, но характерная деталь. В 1983 году, когда Люся ехала в Москву и ей было особенно плохо, я заказал для нее через медпункт кресло-каталку. Ее должны были встретить с ней в Москве на вокзале. Но «кто-то» отменил этот заказ.

Попыткой морального убийства Люси были «желтые пакеты», писания Яковлева, опубликованные в 1983 году в 11 млн. экземпляров, другие клеветнические публикации. Они, к сожалению, часто попадали на благоприятную психологическую почву. Людям свойственно искать слабые стороны у тех, кто находится слишком на виду («тысячи биноклей на оси!»). Многие считали Люсю инициатором голодовок, многие не верили, что из зарубежной поездки она вернется к мужу и в ссылку. И сейчас те, кто не одобряет ту или иную сторону моих выступлений (позицию по отношению к узникам совести, участие в Форуме, отношение к «перестройке» и Горбачеву, осуждение СОИ или, наоборот, принципа «пакета»), — склонны видеть в этом пагубное влияние Люси. Только вчера (*написано в июле 1987 г.*) один из рефьюзников говорил Люсе, что она обладает неограниченным влиянием на меня, советуя при этом мне более «политично» высказываться по проблеме СОИ, чтобы не растерять поддержку (как он сказал, бывшие мои друзья говорят: Сахаров — уже не Сахаров). На самом деле Люсино влияние огромно, но не безгранично, и лежит оно совсем в другой плоско-

сти, чем СОИ, разоружение и т. п. — касается человеческих отношений в первую очередь. И основано оно не на ее давлении на меня, а на взаимной любви в нашей счастливой, несмотря на все испытания, жизни.

Еще одна линия событий последнего времени. В конце мая 1987 года ко мне пришли крымские татары. Около месяца держал голодовку их соотечественник Умеров. Требование — прием Горбачевым делегации крымских татар для решения их национального вопроса. Я послал телеграмму Горбачеву, в которой обращал его внимание на сложившееся трагическое положение, и другую телеграмму — Умерову — с просьбой о прекращении голодовки. Получив мою телеграмму, Умеров снял голодовку. 7 июля ко мне пришел инструктор Ждановского (по месту жительства) райкома партии Резников и сообщил, что ему поручено передать мне следующее: «Несколько дней назад делегация крымских татар была принята товарищем Демичевым, который заверил их, что Советское правительство рассмотрит вопрос о восстановлении автономии крымских татар». Хотел бы надеяться, что это сообщение действительно знаменует поворот в судьбе крымских татар.

В феврале — мае 1987 года Люся и, в меньшей степени, я были вынуждены уделять много сил и внимания переезду из Горького: разбору тысяч — без преувеличения — препринтов, книг, журналов, писем, упаковке вещей, ремонту двух квартир. Мне через Академию, яв-

но по указанию высоких инстанций, дали квартиру! Вместе с квартирой Руфи Григорьевны, в которой также прописана Люся (а я до сих пор — с 1971 года — был «захребетником»), у нас две двухкомнатные квартиры на одной лестнице. Если бы у нас была такая благодать 10—12 лет назад! Как писал Межиров, «все приходит слишком поздно»...

6 июня из США приехала Руфь Григорьевна, ее сопровождала Таня с Мотей и Аней. У Тани с детьми была виза на месяц, фактически они уехали 2 июля. Это были дни, полные волнующих, сильных впечатлений для нее и детей. А для нас — дни большой радости общения с ними, детских голосов в нашей «двойной» квартире.

Полгода мы жили втроем. У нас за эти месяцы успел установиться некий уклад жизни, одним из центров которого была Руфь Григорьевна. Мы с Люсей надеялись, что она проживет с нами еще какое-то время, по крайней мере несколько лет. Судьба распорядилась иначе.

Вечером 24 декабря Руфь Григорьевна ужинала вместе со всеми на кухне, принимала живое участие в общем разговоре о перипетиях академических выборов. Казалось, что она спокойно провела ночь. Но утром Люсе не удалось ее разбудить... Поздно вечером Руфь Григорьевна умерла на руках Люси и Зори (ее племянницы). В течение дня на ее лице несколько раз мелькнуло что-то вроде улыбки, в последний момент она приоткрыла глаза и вновь их закрыла... Мне кажется, что

жизнь Руфи Григорьевны, несмотря на всю ее трагичность, можно назвать счастливой. Она прожила ее с огромным достоинством, неизменно находя способы быть полезной близким и дальним, умея видеть хорошее в окружающих и красоту в мире. Ей повезло с дочерью и другими близкими ей людьми. Суждения ее были ясными и меткими. Ее уважали все, кто с ней встречался, и очень многие любили. Что касается меня, то я чувствовал в Руфи Григорьевне очень близкого человека еще с момента наших первых встреч осенью 1971 года.

Люся всегда была очень близка со своими детьми, вынужденная разлука с ними — огромная беда ее и их жизни. Та непереносимая нагрузка, которая легла на детей во время «горьковского семилетия», не прошла для них даром. Об Алеше я уже писал. У Ремы возник большой перерыв в профессиональной работе, это, конечно, создает большие трудности.

Еще трудней, трагичней с моими детьми от первого брака, особенно — с младшим сыном Дмитрием. Из-за противодействия сестер я не мог жить с ним в годы его отрочества и юности. Сестры тоже не уделяли ему достаточно внимания. Получилось так, что он не «удержался» ни на физфаке, где он дошел до середины второго курса, ни в медвузе — там он числился только один семестр. Он не удерживался долго также ни на одной работе. Как сложится его жизнь, жизнь его сына (Дима в эти годы женился, потом развелся)? Эти вопро-

сы — самые трудные, самые мучительные для меня, для нас с Люсей.

Что еще я думаю, на что надеюсь в нашей жизни в будущем?

Конечно, есть мечта о науке. Может, она не осуществится — слишком многое упущено за годы работы над оружием, потом — общественных дел, горьковской изоляции. Ведь наука требует безраздельности, а это все было отвлечением от нее. И все же присутствие при великих свершениях в физике высоких энергий и космологии — это уже само по себе глубочайшее переживание, ради которого стоило родиться на свет (тем более что в жизни есть и многое другое, общее для всех людей).

Возможно, я буду также принимать участие (пусть даже, в каком-то смысле, формальное) в тех делах, где играет роль мое имя, — в проблемах управляемого термоядерного синтеза, подземного размещения ядерных реакторов, управления моментом землетрясений.

Похоже, что мы — я и Люся — не сможем полностью отойти от общественных дел, даже если получат разрешение проблемы узников совести и свободы выбора страны проживания — а пока им не видно скорого конца. Жизнь всегда что-то преподносит и требует внутренней гибкости (и одновременно — принципиальности).

Мои главные мысли по вопросам разоружения и мира отражены в выступлениях на Форуме и в других вы-



ступлениях первой половины 1987 года. Я продолжал их развивать и в дальнейшем. В 1987—1988 годах я дополнил свою позицию принципиально важным тезисом. В настоящее время численность армии СССР значительно превосходит численность армий всех других государств. Исключительно важным было бы одностороннее сокращение срока службы в армии (ориентировочно — в два раза) с одновременным сокращением всех вооружений (но с сохранением в основном офицерского корпуса). Сокращение срока службы является эффективным и реальным сейчас способом уменьшения численности армий. Я убежден, что такой шаг будет иметь очень большое значение для улучшения всей политической обстановки в мире, для создания атмосферы доверия. Он создаст предпосылки для полной ликвидации ядерного оружия. Очень велико также будет социальное и экономическое значение этого шага.

В предисловии к выступлениям на Форуме, опубликованным в «Тайм», я писал:

«Мои взгляды сформировались в годы участия в работе над ядерным оружием, в активных действиях против испытаний этого оружия в атмосфере, воде и космосе, в общественной и публицистической деятельности, в участии в правозащитном движении и в горьковской изоляции. Основы позиции отражены в статье 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном

сосуществованию и интеллектуальной свободе», но изменяющаяся жизнь требовала ответных изменений, конкретного ее воплощения. В особенности это относится к последним переменам во внутренней жизни и внешней политике СССР. Главными и постоянными составляющими моей позиции являются — мысль о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека так, как они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека ООН, и убеждение, что только конвергенция социалистической и капиталистической систем — кардинальное, окончательное решение проблемы мира и сохранения человечества»<sup>7</sup>.

## ГЛАВА 3

### Новые обстоятельства, новые люди, новые обязательства

Продолжаю после двухлетнего перерыва. Постараюсь описать некоторые недавние события, не вошедшие в предыдущие главы, в том числе мое участие в значительнейшем событии последних лет — Съезде народных депутатов СССР.

Это было время больших изменений в общественном сознании во всей стране, во всех ее слоях. Я тоже на многое смотрю несколько иначе, чем два года назад, даже чем полгода назад.

В июле — августе 1987 года мы (Люся, Руфь Григорьевна и я) провели месяц в Эстонии, в местечке Отепя. Галя Евтушенко имеет там дом и живет каждое лето, часть весны и осень. Она подыскала нам очень удобное жилье — две небольшие комнаты с кухней (в которой был баллонный газ). Вторая половина дома сдавалась другой семье, и еще одна дачница жила в сарайчике. Сами хозяева имели другой дом в нескольких кварталах от нас и еще ферму за городом, где жили родственники хозяйки. Я пишу обо всех этих подробностях, так как уже в них — образ жизни, который силь-

но отличается от того, с чем обычно встречаешься, скажем, в Подмосковье.

Я впервые был в Прибалтике, если не считать двух кратковременных приездов в Таллин на конференцию и в Вильнюс на суд Ковалева.

Южная часть Эстонии с ее многочисленными озерами и покрытыми лесом холмами очень красива. Мы собирали грибы и ягоды, Люся купалась в озерах и каждый день возила Руфь Григорьевну по окрестным местам. Это лето оказалось последним в жизни Руфи Григорьевны.

Но есть какое-то удовлетворение в том, что нам удалось провести его именно так — на природе, свободно и счастливо. И главное — вместе. Еще год назад это было бы невозможно.

В Эстонии нас поразила высокая — в особенности в сравнении с Европейской Россией — уровень жизни, организованности и хозяйственной активности. Мы приехали из Москвы на нашей новой машине. Уже само состояние дорог после разбитых, годами не отремонтированных дорог в соседней Псковщине производило потрясающее впечатление. Мы видели аккуратные домики-фермы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга, крестьян, заготавливающих с помощью своей косилки корм для своих коров (их несколько на каждой ферме) и обрабатывающих поле с помощью своего трактора. На обочине дорог под небольшим навесом

выставлены фляги со свежим молоком, специальные машины забирают их и доставляют на молокозавод.

В Эстонии нам часто приходилось слышать: мы больше и лучше работаем — поэтому лучше живем. Это, конечно, только малая часть правды, лежащая на поверхности. Более глубокая и истинная причина — та, что социализм прошелся по этой земле своим катком поздней и с гораздо меньшей силой и последовательностью, имея для своей разрушительной работы меньше времени. В республиках, входивших в состав СССР с самого начала, гораздо глубже осуществился трагический процесс уничтожения, в том числе чисто физического, активных слоев крестьянства. Одновременно сильней произошло размежевание общества с выделением партийно-государственных бюрократических, паразитических по их сути, структур. Не случайно в этих «старых» республиках так медленно развиваются арендные, кооперативные и тем более частные формы хозяйства при почти не скрываемом противодействии местных партийных и государственных органов.

Сейчас именно Прибалтика дает всей стране пример общенародного движения за истинную, а не показную перестройку, за радикальное решение национальных проблем (идеи республиканского хозрасчета и Союзного договора).

Летом 87-го года в советской прессе впервые после 60-х годов в журнале «Театр» было опубликовано ин-

тервью со мной о постановке пьесы по повести Булгакова «Собачье сердце». Эта более или менее случайная для меня публикация привлекла большое внимание. К сожалению, я, хотя и видел корректуру, не настоял на устранении некоторых неудачных мест. Получилось, что я выражаю опасения, что в космос полетят люди с собачьими (погаными) сердцами. Такой банальной красоты я не говорил. На самом деле, можно было опасаться, что у власти встанут люди с нечеловеческими сердцами; реально же я сказал, что в театральной постановке чувствуется приближение 37-го года — чего Булгаков не мог предвидеть. Из произведений Булгакова я особенно люблю «Белую гвардию» («Дни Турбиных»), не мыслю советской литературы без «Мастера и Маргариты». Многие другие произведения, в том числе «Собачье сердце», нравятся мне гораздо меньше.

Осенью 87-го года в «Московских новостях» было опубликовано второе мое интервью — о телевизионном фильме «Риск». Кажется, мне удалось там сказать что-то важное. Затем последовало интервью для тех же «Московских новостей», но уже общественно-политического характера. В нем я впервые упомянул о необходимости и возможности сокращения в 2 раза срока службы в армии. Эта идея была поддержана в многочисленных письмах в редакцию МН. Но в декабре 1987 года моя статья для газеты «Аргументы и факты» (тоже

в форме интервью), где я более развернуто пишу о проблемах разоружения, не была напечатана<sup>1</sup>.

В октябре 1987 года мы с Люсей опять оказались в Прибалтике, а именно в Вильнюсе, на узкой встрече ученых США (во главе с Пановским) и ученых из советской группы по проблемам разоружения во главе с Сагдеевым, которая была организована при Институте космических исследований. На этой встрече Пановский отстаивал идею о необходимости открытого проведения всех работ в области новейшей техники, которые по своим параметрам могут быть использованы для создания новых типов оружия (например, разработка лазеров с высокими характеристиками). При этом Пановский подчеркивал необходимость научного анализа для определения этих параметров.

В конце 1987 года я сделал два шага, противоречащих моему обычному принципу действовать индивидуально и не принимать на себя каких-либо административных обязанностей. Я потом сожалел об этих шагах.

Речь идет, во-первых, о моем согласии принять на себя обязанности председателя комиссии при Президиуме АН СССР по космомикрорифике. Реальные организаторы этой комиссии М. Ю. Хлопов и А. Д. Линде уверяли меня, что мои обязанности будут почетными, чисто формальными и не потребуют каких-либо усилий. Все, конечно, оказалось совсем не так. Все же что-то интересное, возможно, в этой деятельности будет —

в частности, поддержка важных проектов, таких, например, как создание международной космической обсерватории и создание радиоинтерферометра с космической базой. Какое-то приближение к научной работе (что давно стало для меня недосягаемой мечтой) при этом, быть может, произойдет. Космомикрофизика — новая наука, возникшая на стыке ранней космологии и физики элементарных частиц; я писал в предыдущей книге об этом направлении, в возникновении которого я сыграл некоторую роль своей работой о барионной асимметрии Вселенной.

Более печальная история произошла с так называемым Международным фондом за выживание и развитие человечества. Организация Фонда — изобретение Велихова и, возможно, его сотрудника Рустема Хаирова. Велихов еще в дни Московского Форума (о котором я писал в главе 2) привлек к этому проекту Джерома Визнера, еще кого-то из иностранцев; состоялось несколько организационных совещаний в США и в Москве. Я узнал о проекте лишь в конце 1987 года от Визнера, приехавшего к нам домой уговаривать меня вступить в Фонд, затем эти уговоры продолжил Хаиров. Не вполне понимая, в основном, чисто административно-финансовые, функции Фонда (так же как многих других фондов), я предполагал, что, войдя в Совет директоров, я наконец смогу реально способствовать проведению исследований и мероприятий в целях выжива-



ния человечества и устранения глобальных опасностей в духе развивавшихся мной на протяжении многих лет идей. Я рассматривал поэтому вступление в Фонд как логическое продолжение своей предыдущей деятельности. Это была большая ошибка. Частично она произошла из-за того, что Визнер и особенно Хаиров нарисовали передо мной вполне утопическую картину будущей работы Фонда и тех возможностей, которые возникнут при моем в нем участии.

13 и 14 января 1988 года прошли первые организационные заседания Совета директоров, а 15 января состоялась встреча с М. С. Горбачевым (заранее назначенная, что заставляло нас торопиться и скомкало весь организационный этап). На первом заседании Фонда выяснилось, что Визнер и Велихов набрали в состав Совета директоров 30 членов из разных стран — гораздо больше, чем первоначально предполагалось (вероятно, 4—5 членов было бы более чем достаточно). Такой Совет директоров с самого начала оказался крайне громоздким и неэффективным.

Хуже же всего, что у Фонда, по существу, не было задач, не дублирующих уже ведущиеся во всем мире работы по проблемам разоружения и экологии и другим глобальным проблемам. Сейчас, когда уже прошло более полутора лет с момента объявления Фонда, он все еще не нашел себе областей деятельности, которые оправдывали бы его громкое название и широковещатель-

ные заявления организаторов, сложную и дорогостоящую структуру. Провозглашенный международный характер деятельности Фонда и его организационной структуры не только не увеличил возможностей работы, но, наоборот, — крайне затруднил выбор и формулировку проектов, сделал работу более сложной, очень громоздкой и дорогостоящей.

Заседания Совета директоров должны происходить поочередно в СССР, США и в других странах, с привлечением экспертов, сотрудников аппарата Фонда и других лиц. Каждое такое заседание оказывается непомерно дорогим. В СССР, в США, в Швеции были организованы штаб-квартиры Фонда, с раздутым аппаратом, с огромными затратами на ремонт и оборудование штаб-квартир и на жилые квартиры сотрудников (я пишу о том, что мне известно по Москве). Исполнительный директор Фонда и часть сотрудников московской штаб-квартиры — иностранцы, им выплачивается большая зарплата в рублях и в конвертируемой валюте. Большая по советским масштабам зарплата выплачивается также советским сотрудникам. При выполнении проектов Фонда потребуются зарубежные командировки исполнителей. В целом, если попытаться дать оценку Фонда, отвлекаясь от частностей и некоторых немногих полезных, но недостаточно масштабных начинаний, он выглядит как типичная бюрократическая организация, работающая *сама на себя* (и на своих сотрудников).

Накануне первого заседания Фонда я написал шесть заявок на проекты и передал их исполнительному директору.

Вот темы этих проектов:

1. Исследование возможностей и последствий сокращения срока службы в армии СССР.

2. Подземное расположение ядерных реакторов атомных электро- и теплостанций.

3. Разработка условий договора об открытом проведении научных и конструкторских исследований, которые потенциально могут способствовать созданию особо опасных систем оружия (в соответствии с предложением Пановского).

4. Законодательное обеспечение свободы убеждений.

5. Законодательное обеспечение свободы выбора страны проживания.

6. Гуманизация пенитенциарной системы.

К сожалению, только три последние темы были приняты Советом директоров (далеко не сразу, причем и они до сих пор еще не оформлены в качестве проектов). В январе 1988 года я надеялся, что Фонд сможет повлиять на разработку новых законов о свободе убеждений, о свободе передвижения и о гуманизации пенитенциарной системы — как я думал, в результате сотрудничества исполнителей проектов с Институтом государства и права и другими учреждениями, занимающимися разработкой проектов законов. Эти надежды

оказались несбыточными. Институт государства и права оказался на практике не имеющим прямого отношения к разработке окончательных вариантов законов, проникнуть в более высокие сферы, конечно, было нереально. Но колесо по пользующейся на Западе популярностью теме «прав человека» начало крутиться, вовлекая все новых и новых людей. Из-за догмы международного характера Фонда все три темы стали международными, и вместо участия в разработке законодательства работа по этим темам была переориентирована на сравнительное изучение законодательства и практики. Меня сделали председателем Комитета Фонда по правам человека, была организована Группа проекта (подразумевается проект Фонда по правам человека). Группа проекта содержит три подгруппы:

1. СССР и США по теме «свобода убеждений»;
2. СССР и США по теме «свобода выбора страны проживания»;
3. СССР, США, Швеция по пенитенциарной системе.

С советской стороны в Группу проекта вошли некоторые диссиденты, в том числе Сергей Ковалев и Борис Чернобыльский. То, что именно эти темы получили наибольшее развитие (хотя, в основном, пока формальное), связано с огромной заинтересованностью на Западе темой прав человека и желанием Велихова и Визнера сыграть на этом, используя мою личную популярность, и подправить таким образом дела Фонда,

в особенности финансовые. Все это поставило меня в очень ложное положение, тем более что сейчас темы прав человека в их «классическом» варианте кажутся мне далеко не столь определяющими, как несколько лет назад. Появились новые возможности изменений в стране во многих областях, большинство узников совести освобождены, проблема эмиграции, оставаясь актуальной, стала менее острой и в какой-то степени двигается, в то же время многие проблемы, о которых мы ранее не смели и думать, вышли на первый план: национально-конституционное переустройство страны (в том числе многопартийная система) и весь комплекс национальных проблем, кардинальная экономическая реформа, реальное решение экологических проблем, социальные проблемы, судьба малообеспеченных людей, здравоохранение, образование. В качестве члена Совета директоров я не обязан следить за конкретной работой по проектам, в том числе за работой Группы проекта по правам человека. Но так как меня сделали также председателем Комитета по правам человека (я не уследил, как это произошло), определенные обязанности на мне лежат. Выполняю я их очень поверхностно, формально, на большее нет ни сил, ни желания. Я, быть может, виноват перед теми, кого вовлек в это дело, но что поделаешь.

15 января состоялась встреча Фонда с М. С. Горбачевым. Со стороны Фонда присутствовали директора,

некоторые приглашенные Велиховым, Визнером и исполнительным директором Рольфом Бьернерстедом лица, в их числе Арманд Хаммер и Стоун, и некоторые работники аппарата Бьернерстеда.

Нас попросили подождать в комнате, соседней с той, где должно было проходить заседание. За пять минут до начала вышли Горбачев и сопровождающие его лица; он за руку поздоровался с собравшимися, обменявшись с некоторыми несколькими словами. Я сказал, что благодарен ему за вмешательство в судьбу мою и моей жены: «Я получил свободу, одновременно я чувствую возросшую ответственность. Свобода и ответственность — неразделимы». Горбачев ответил: «Я очень рад, что вы связали эти два слова». Мы прошли в зал. После выступления Горбачева с краткими речами выступили Велихов, Визнер, некоторые «рядовые» директора (в их числе Лихачев и я) и некоторые приглашенные лица. Я в своем выступлении сказал, что значение Фонда связано с его независимостью от государственного аппарата какой-либо страны, от организаций и структур, преследующих частные цели. Я рассказал о предложенных мною темах (кроме подземного расположения ядерных реакторов — я не успел об этом упомянуть в выступлении, но после собрания подошел к Горбачеву и сказал отдельно). Центральным в моем выступлении был вопрос о сокращении срока службы в армии. Я передал Горбачеву составленный в декабре-январе по моей просьбе спи-

сок еще оставшихся к тому времени в заключении, ссылке и психбольницах узников совести<sup>2</sup>. К сожалению, этот список был составлен несколько небрежно и неудачно — отчасти по причине очень больших трудностей в получении достоверной информации, отчасти же в силу недостаточной серьезности тех бывших узников совести, кто этим занимался. По моему мнению, эта небольшая печальная история тоже является одним из проявлений внутренней дезориентированности их в новых условиях. В списке не было конкретных данных по делам указанных там лиц. Я в своем выступлении сказал, что у меня есть список, и послал его Горбачеву по кругу (нас рассадили вокруг большого мраморного стола в форме овала, в центре которого на уровне пола находилась великолепная цветочная ваза или клумба). Список оставил у себя сидевший недалеко от меня человек. Заметив мой изумленный взгляд, Горбачев сказал, что это его советник (я потом узнал, что его фамилия Фролов). Этот список был передан в Прокуратуру СССР. Нам несколько раз звонил по поводу списка заместитель Генерального прокурора Васильев. Возможно, список сыграл какую-то роль в судьбе некоторых освобожденных в 1988 году узников совести.

В конце собрания с речью выступил М. С. Горбачев. Кратко сказав о том значении, которое он придает Фонду как международной организации, созданной в духе принципов нового политического мышления, большую

часть своего выступления он посвятил скрытой, иногда явной, дискуссии со мной (и с другими сторонниками более радикальной политики). Горбачев подчеркивал опасность спешки и перескакивания через необходимые промежуточные этапы. В связи с проектом сокращения срока службы в армии он сказал об опасности и бесполезности односторонних актов СССР в области разоружения, сославшись на недавний опыт моратория на проведение испытаний (по-моему, пример не убедителен; для анализа последствий такого гигантского, беспрецедентного шага, как двукратное сокращение срока службы в армии с последующим переходом к профессиональной армии, — аналогии вообще малопригодны).

Это была моя первая личная встреча с М. С. Горбачевым. До этого я только говорил с ним по телефону в декабре 1986 года. Потом, в 1989 году, было еще несколько встреч, о которых я буду писать. Мое первое личное впечатление о Горбачеве было, в основном, благоприятным. Он показался мне умным и сдержанным человеком, находчивым в дискуссии. Линия Горбачева представлялась мне тогда последовательно либеральной, с постепенным качественным наращиванием реформ и демократии.

Конечно, я был не удовлетворен половинчатостью, иногда противоречивостью некоторых действий руководства и порочностью некоторых законов, например закона о нетрудовых доходах. Но я, в основном, отно-



сил это за счет ограничений, которые неизбежны для любого руководителя, в особенности реформатора, за счет «правил игры», присущих той среде, в которой делал свою карьеру и находился Горбачев. В целом я видел в Горбачеве инициатора и достойного лидера перестройки. Отношение Горбачева ко мне показалось мне уважительным и даже со скрытым оттенком личной симпатии. Ниже я буду писать о дальнейшей эволюции моих оценок политики и личности М. С. Горбачева.

Начало деятельности Фонда ознаменовалось неприятной историей — конфликтом между Хаировым и Бьернерстедом, начавшимся с необоснованного увольнения Бьернерстедом одной сотрудницы. Велихов принял сторону исполнительного директора, и Хаиров вынужден был уволиться.

Я был не удовлетворен Уставом Фонда и написал набросок альтернативного проекта, вероятно нереальный. Одним из пунктов там было предложение обязать директоров принять на себя пятьдесят процентов стоимости зарубежных поездок. Хотя все директора — люди с положением, имеющие определенный доход, на меня посмотрели как на сумасшедшего. (Я ранее всегда ездил в командировки, разумеется в пределах СССР, только за свой счет.) Я до сих пор думаю, что принятие моего предложения многое поставило бы на свои места. Кажется, у Фонда до сих пор нет Устава, принятого Советом директоров.

В феврале-марте 1988 года вспыхнули события, связанные с проблемой Нагорного Карабаха. Они показали всю лживость утверждений официальной пропаганды о якобы «нерушимой дружбе народов нашей страны», выявили трагическую глубину национальных противоречий, загнанных вглубь террором и отсутствием гласности. Эти противоречия носят, как мы теперь знаем, всеобщий характер, охватывают всю страну. Более 60 лет армянское большинство населения Нагорного Карабаха подвергалось национальному угнетению со стороны азербайджанских властей. В новых условиях перестройки у армян возникла надежда на изменение нетерпимого положения. В феврале состоялось решение Областного Совета народных депутатов с призывом к Верховным Советам Азербайджана и Армении о переходе Нагорного Карабаха из Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Азербайджан ответил отказом, затем (очень скоро) произошел Сумгаит. Позиция центрального руководства страны представляется мне недопустимо нерешительной, постоянно запаздывающей, непринципиальной. Больше скажу. Она кажется мне несправедливой, односторонней и провоцирующей. Столь же односторонними и тенденциозными оказались, за малыми исключениями, центральная пресса и телевидение. Гласность в этих критических условиях забуксовала (потом это много раз повторялось).

В связи с Нагорно-Карабахской проблемой, преступлениями в Сумгаите я впервые задумался о негативных сторонах политики нового руководства страны, об их возможных явных и скрытых причинах.

Примерно 20 марта я написал открытое письмо Горбачеву, в котором сформулировал свою позицию по проблеме Нагорного Карабаха (поддержать требования армянского населения Нагорного Карабаха о переходе Нагорно-Карабахской автономной области в Армянскую ССР и, в качестве первого шага, — о выводе области из административного подчинения Азербайджанской ССР), подчеркнул необходимость полной, свободной гласности, а также изложил позицию по проблеме свободного возвращения крымских татар в Крым<sup>3</sup>. Я отвез один экземпляр в редакцию «Московских новостей», где после публикации интервью о фильме «Риск» у нас появился хороший знакомый Геннадий Николаевич Жаворонков. Тот сейчас же отнес письмо главному редактору Егору Яковлеву, которого мы тоже к этому времени лично знали. Другой экземпляр я отдал в отдел писем ЦК КПСС, что имело скорее формальное значение, т. к. Егор Яковлев, со своей стороны, сообщил в ЦК о моем письме и послал туда копию. На другой день утром мне позвонил начальник АПН<sup>4</sup> Фалин и пригласил для беседы в связи с моим письмом к 12 часам. Он назвал номер высылаемой за мной машины. Вскоре после того, как я выехал,

позвонил секретарь члена Политбюро А. Н. Яковлева. Подошла Люся. Яковлев пригласил меня приехать к нему к 5 часам. Так как Люся рассчитывала, что я успею хотя бы частично на семинар в ФИАН, она попросила заехать за мной туда. Фалин встретил меня еще в комнате секретаря. Это был человек довольно высокий, с удлинённым лицом, хорошо известным телезрителям «Девятой студии» и других программ и пресс-конференций. Он повел разговор в тоне большого дружелюбия и даже некоторой «доверительности». Он сказал, что по воле судьбы был советником многих генсеков начиная с Хрущева. То ли в последние годы Брежнева, то ли при Черненко у него возникли принципиальные разногласия с «хозяином», и ему пришлось уйти. Он получил при этом возможность целиком посвятить себя научной работе, что отвечало его склонностям. Именно в этот период он чувствовал себя, по его словам, наиболее свободным и был вполне счастлив, в остальные же годы его работа была для него трудной, нередко неприятной. В апреле 1985 года Горбачев, только что избранный на пост генсека, предложил Фалину вернуться к роли советника. Фалин сказал, что он, прежде чем согласиться, изучил программные заявления Горбачева и другие сведения о его намерениях и решил, что от него не потребуется действий и публичных высказываний, противоречащих убеждениям. Фалин сказал далее, что он начиная с 1968 года очень

внимательно следит за моей деятельностью и выступлениями, читает все написанное мною. Он относится ко мне с глубоким уважением и неоднократно защищал меня от несправедливых обвинений, в том числе перед Хрущевым и Брежневым (он привел какие-то примеры). Пожалуй, наиболее интересными (хотя не обязательно точными) были его характеристики роли Горбачева и ситуации в высших эшелонах партии. Он сказал, что только Горбачев является инициатором всех без исключения принципиальных изменений во внутренней и внешней политике и фактическим автором всех программных документов начиная с апреля 1985 года. Фалин добавил к сожалению, давая этим понять, что исключительная роль одного лица делает ситуацию неустойчивой и не исключает возможности ошибок (моя интерпретация). Сейчас я знаю, что очень велика роль Лукьянова, с которым Горбачева многое связывает. Но Фалин не назвал этой фамилии. Фалин сказал, что партия по существу расколота на две противостоящие друг другу фракции, имеющие противоположные взгляды по основным, принципиальным вопросам. Но, к несчастью, Михаил Сергеевич, по словам Фалина, не хочет этого признать. Он не пояснил — то ли по наивности и доверчивости (чего от человека на таком посту ожидать трудно), то ли, наоборот, по тактическим соображениям скрытного и расчетливого политика.

По основной теме встречи — о моем письме — Фалин пытался удержать меня от публикации, ссылаясь на крайнюю остроту ситуации. Он сказал, что письмо было немедленно, в первые же часы, доставлено М. С. Горбачеву и он его прочитал.

Фалин просил меня воздержаться от публикации хотя бы до 26 марта. Якобы на этот день в Ереване намечены забастовки, демонстрации и митинги, и крайне опасно разжигать страсти. В связи с событиями в Сумгаите Фалин сказал, что «мы приняли принципиальное решение иногда задерживать опасную информацию, давать ее в неполном виде, но никогда не публиковать ложной информации» (это было, по-видимому, косвенным признанием, что ранее публиковалась и заведомо ложная информация — я вспомнил в этой связи о цифрах радиоактивного заражения после Чернобыльской аварии). Фалин (как и несколькими часами позднее Яковлев) защищал точность официальных сообщений о событиях в Сумгаите. В дальнейшем, однако, выяснилось, что эти сообщения не были точными. Я пишу эту главу не на основании дневника — на него у меня не было времени и сил. Я, в частности, не помню, что именно я обсуждал с Фалиным, что — с Яковлевым, так что возможны некоторые ошибки.

Я, конечно, не успел в ФИАН на семинар. Люся, в одном халате, на машине срочно подвезла меня к проходной ФИАНа, где я пересел на присланную туда чер-

ную «Волгу» ЦК. С сиреной, иногда по полосе встречного движения, мы очень быстро добрались до здания ЦК на Старой площади.

Яковлев оказался невысоким, слегка полноватым человеком с округлым лицом, живой мимикой и неожиданно быстрыми движениями. Потом я узнал, что некоторые коллеги по Политбюро называли его по-дружески Полундра, очевидно в связи с тем, что во время войны он служил на флоте<sup>5</sup>. Лигачева называли Полкан, что тоже довольно метко и забавно. Разговор сразу пошел об армяно-азербайджанских проблемах. Я спросил: «Почему нельзя было “с ходу” объявить о том, что требование Совета народных депутатов НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) является обоснованным и будет удовлетворено? Ведь это внесло бы ясность в ситуацию. Не произошло бы Сумгаита. Такие вещи происходят, только когда можно повлиять на решение, но и сейчас не поздно вывести Нагорный Карабах из подчинения Азербайджану». Яковлев ответил: «Ничего нельзя менять в административно-национальной структуре. Это вообще необычайно опасно как прецедент — ведь у нас множество «горячих точек», где в любой момент может произойти взрыв национальных страстей. А в данном случае все еще несравненно сложнее. 400 тысяч армян в Азербайджане оказываются в положении заложников. Закавказье наводнено оружием — оно в огромных количествах

вах поступает через границу. Спички достаточно, чтобы вызвать пожар». Я сказал, что армяне в Азербайджане, как мне сообщили, готовы пойти на риск при условии ясной и твердой позиции центрального руководства. Конституционные трудности не очень принципиальны — на очередном заседании Верховного Совета их можно разрешить.

Яковлев, как показало время, был не прав во многих пунктах. Вскоре — в июле и, еще раз, в январе — пришлось пойти на серьезные шаги. Но они были сделаны слишком поздно и ничего поэтому не решили. Взрыва насилия эти шаги не вызвали. Зато начисто придуманная провокация о поругании священной рощи в населенной азербайджанцами части НКАО действительно вызвала бурю, массовые акты насилия, 500-тысячную демонстрацию в Баку под националистическими и исламско-экстремистскими лозунгами, вынужденное бегство из Азербайджана более 130 тысяч армян. Как известно, в ответ в Армении начались акции по изгнанию азербайджанцев, сопровождавшиеся избиениями и убийствами. До этого армяне вели себя сдержанно (более 8 месяцев), однако в эти дни было убито более 20 азербайджанцев. Это огромная трагедия. Число азербайджанских беженцев, согласно выступлению Везирова на Съезде, составляет 160 тысяч. Вероятно, полная цифра армянских беженцев в целом по всем «потокам» не меньше этой цифры. То есть очевидно, что



предлог всегда может быть найден или сфабрикован, если есть достаточно мощные силы, заинтересованные в кровавой анархии, при условии бездействия центральных властей и косвенной поддержке местных (будем исходить из такой модели событий в Сумгаите, Фергане и других местах, хотя существуют некоторые непроверенные факты, заставляющие предполагать несколько другую расстановку причин). Часть разговора была посвящена проблеме крымских татар. Яковлев сказал: «Почти все, что вы требуете, уже решено в результате работы правительственной комиссии». Я сказал, что это не так. Решения комиссии несовершенно и плохо выполняются. На местах в Крыму власти продолжают проводить откровенно дискриминационную политику. Я требую *свободного и организованного* возвращения крымских татар на родину, т. е. возвращения *всех* желающих с *государственной* помощью. Только так может быть восстановлена историческая справедливость. Организованное возвращение не должно означать, например, составления властями списков «хороших» татар. Я действительно не поставил в своем письме вопрос о восстановлении национальной Крымско-Татарской АССР, что вызвало возмущение наших друзей крымских татар и даже разрыв некоторыми из них отношений со мной. Но я убежден, что сейчас восстановление АССР невозможно хотя бы по чисто демографическим причинам, даже если все крымские тата-

ры вернуться в Крым. Может, более реально создание гораздо меньшей национально-территориальной единицы с компактным поселением там крымских татар, конечно на полностью добровольной основе.

В разговоре с Яковлевым я поднял тему судьбы Рауля Валленберга. К сожалению, я располагал в это время ошибочной информацией — это свело на нет мои усилия и, возможно, ухудшило на какое-то время психологический климат поисков.

Вернусь на год назад. В марте или феврале 1987 года мне позвонил из Женевы брат Рауля по матери Ги Дарделл и сообщил, что у него есть крайне важная информация о том, что Рауль, по-видимому, жив, несмотря на неоднократные заверения советских властей о его смерти, и находится где-то в лагере в 300 км от Москвы. Я просил срочно прислать мне более полные сведения. В конце мая мне действительно принесли из ФИАНа распечатанное письмо Дарделла, присланное туда из шведского посольства (неизвестно, почему не принесенное мне прямо домой). В письме Дарделла содержались какие-то рассуждения об опытах с мю-мезонами (я понимал, что это только фон, маскировка) и была приписка от руки — всего несколько строк. В приписке говорилось, что Рауль Валленберг находится в лагере в поселке Мирный в 18 километрах к югу от Торжка. Он содержится там вместе с пленными поляками времен второй мировой войны. В конце 1986 — ян-

варе 1987 года в лагере вспыхнула тяжелая эпидемия гриппа, многие поляки умерли, Валленберг тоже болел, но остался жив. Неизвестно, находится ли он там под своим именем или под каким-то вымышленным. Текст письма Дарделла на машинке на немецком языке, приписка — от руки, на ломаном русском. Мне передали, что человек (до сих пор мне неизвестно его имя) написал приписку уже будучи в СССР, так как опасался перевозить ее через рубеж. В июне в СССР была Таня. Она приехала вместе с Руфью Григорьевной и детьми, как я писал в главе 2, и, оставив с нами бабушку, уехала с Мотей и Аней обратно в США в начале июля. Я передал через нее устное сообщение Дарделлу, в котором просил о дальнейших подробностях. Я также настаивал на максимально быстрой проверке правильности сообщения с тем, чтобы в случае, если первичные источники информации надежны, обязать шведское правительство предпринять решительные шаги по спасению Рауля Валленберга. Мне казалась совершенно недопустимой любая проволочка. Если Валленберг жив, то страшно даже подумать, что после стольких лет страданий по вине советских властей он останется еще какое-то время в заключении по причине нерасторопности своих друзей! Даже если это только месяц. Если же он умер, то надо в конце концов узнать все подробности его судьбы — потребовав от советских властей его дело. Только получив исчерпывающие документы и достовер-

ные свидетельские показания, можно поставить на этом деле точку.

Мы, однако, весь остаток 1987 года и начало 1988 года не имели от Дарделла никакой информации — он вообще исчез из нашего поля зрения. Приезжал, правда, один из юристов Комитета Валленберга, но от него тоже ничего нового мы не узнали. Я тогда впервые столкнулся с тем, как неорганизованно и плохо ведутся поиски Валленберга. Потом у меня создалось очень печальное впечатление, что вся эта сложная и дорогостоящая система комитетов и комиссий крутится, в основном, вхолостую. Конечно, они получают много свидетельств, что кто-то видел Валленберга даже много после его официальной смерти. Но среди этих свидетельств несомненно очень много ложных, данных ради вознаграждения или само-рекламы, и в их массе просто теряются истинные сообщения, если такие есть.

Возвращаясь осенью 1987 года из Эстонии, мы с Люсей сделали крюк и разыскали Мирный. Это само по себе было некоторой эпопеей. Но, хотя в Мирном и были какие-то подозрительные здания, они были мало похожи на лагерь. Потом Люся еще 2 раза ездила в Мирный: один раз — с Юрой Шихановичем и Бэлой Коваль, другой раз — со мной.

В разговоре с Яковлевым я просил проверить нахождение Валленберга в Мирном. Произошел также более общий разговор о деле Валленберга. Яковлев убеж-

ден, что все слухи о том, что Валленберг жив, — ложные; он при этом сказал, что они подогреваются спецслужбами Запада для обострения советско-шведских отношений — это, конечно, вызывает у меня настороженное отношение к его мнению в целом. Яковлев также утверждал, что Валленберг был арестован потому, что осуществлял обмен евреев на шведские военные грузовики. Это, по существу, было действием на стороне врага. Яковлев заметил: «Сколько лишних советских солдат погибло в результате этого обмена, никто не считал». Он также утверждал, что шведы помогли немцам восстановить разбомбленные англичанами и американцами шарикоподшипниковые заводы, без которых Германия не могла продолжать войну (за деньги, не за жизни евреев). Я далеко не уверен, был ли реально произведен обмен евреев на грузовики, и если был, то участвовал ли в этом Валленберг. Скорей, уверен в обратном. История слишком смахивает на рассказ Мешика, что Тимофеев-Ресовский якобы был замешан в нацистских опытах над людьми. Во всей литературе о Валленберге нет никаких упоминаний об обменах шведских грузовиков на евреев. Хорошо известно также, что немцы еще до приезда Валленберга в Будапешт отказались осуществить обмен евреев на грузовики. Я хочу также сказать, что, в отличие от Яковлева, я не согласен, что спасение от смерти многих реальных живых людей в обмен на предоставление немцам транс-

портной техники (не снарядов!) было несомненным преступлением или даже ошибкой. Тем более что война уже шла к концу. Тут надо смотреть на цифры, как ни кощунственно это звучит (впрочем, военные все время это делают). Хуже другое. Англичане и, кажется, американцы в эти же месяцы отказались бомбить подъездные пути Освенцима, сберегая бомбы для военно-промышленных объектов.

В конце беседы Яковлев спросил меня, кем была Люся на войне, и, прощаясь, сказал: «Передавайте, пожалуйста, мой привет санинструктору и старшей медсестре». Так закончилась моя вторая беседа с членом Политбюро (первая беседа была с Сусловым за 30 лет до этого!). Я вынес из этой и следующих бесед с Яковлевым впечатление о нем как об умном, очень хорошо осведомленном во внутри- и внешнеполитических вопросах человеке, несомненно ориентированном на перестройку «чуть левее Горбачева». Я думаю, что это человек, который не будет претендовать на первое место, но на второе — может и должен. Вместе с тем, именно на фоне общей левой позиции я почувствовал, что у Яковлева (а значит, вероятно, и у всех остальных перестроечных деятелей) остался некоторый «неприкосновенный запас» догматических истин. Мне несколько трудно сформулировать, в чем он заключается, но он есть.

Через неделю Фалин вновь позвал меня в АПН и вручил ответ по Мирному. Это была прекрасно сня-

тая панорама поселка и документ, в котором сообщалось число жителей поселка, а также число голов рогатого и нерогатого скота. В заключение сообщалось, что старожилам района неизвестна фамилия Валленберг — человек с такой фамилией никогда в районе не проживал. Через несколько месяцев летом к нам наконец приехал Ги Дарделл. И тут выяснилась потрясающая вещь. Поселок Мирный никакого отношения к Валленбергу безусловно никогда не имел. Ги сообщили адрес лагеря по телефону, при этом он перепутал север и юг и, отмерив от Торжка на карте 18 км в сторону Калинина, увидел там кружок с названием Мирный. Эта его ошибка привела к тому, что полтора года все поиски шли по ложному следу. Совершенно нелепая ситуация и, если Валленберг жив, невероятно трагическая. Но нелепость на этом не кончается. Оказывается, Ги и членам Валленберговского комитета был известен номер лагеря, о котором шла речь в сообщении: ОН-55. Они не сообщили этого номера нам — не сочли нужным.

Вскоре мы с Люсей на нашей машине поехали (уже в четвертый раз) в район Торжка. Люся, как всегда, за рулем. Адрес и в этот раз оказался неправильным, но мы все-таки нашли лагерь, зная его номер. Мы ехали по указанному нам направлению, но уже понимали, что едем куда-то не туда. Кончился асфальт, проселок перешел в колею от телеги. Вдруг Люся увидела четырех молодых людей, у которых, как ей показалось, мы сможем

что-то узнать. Действительно, среди этих людей была женщина, работник суда, которая знала, где лагерь ОН-55. Им надо было добраться в Торжок — мы их подвезли и вместе с ними доехали до лагеря, находящегося на окраине Торжка (точней, в нескольких километрах от города по направлению к Старице, но на машине это несущественно). Я подошел к проходной и увидел на ней табличку с номером ОН-55. Группа офицеров, очевидно сменившись, садилась в машину. Я сказал, что ищу одного поляка, старого человека. Я слышал, что здесь в лагере содержатся поляки. Капитан вступил в разговор и резко сказал: «Здесь нет никаких поляков. Вы ошиблись. Вам надо куда-то еще». Дальше разговаривать было бесполезно. Я вернулся в машину, где сидели Люся и наши спутники. Мы вскоре простились с ними и поехали в Москву. Спросить у работника суда о поляках не удалось — это надо было делать наедине. Итак, мы нашли лагерь по номеру, и, хотя бы в этом отношении, информация не была чистым враньем. Внутрь лагеря мы проникнуть, конечно, не могли. Очевидно, надо вернуться к тому, что я просил Таню передать Ги два года назад — проверить надежность источника информации и требовать от шведского правительства обратиться к Горбачеву. Потеряно два года — это горько<sup>6</sup>.

В марте-апреле ко мне обратились от издательства «Прогресс» с просьбой написать статью для сборника



под названием «Иного не дано» — о проблемах перестройки. В сборнике участвовали многие известные авторы, главным редактором был Юрий Николаевич Афанасьев — ректор Историко-архивного института. Вскоре мы узнали его как человека четких прогрессивных убеждений, политически инициативного и смело-го. Я написал статью под заглавием «Неизбежность перестройки»<sup>7</sup>. Люся, читая ее, говорила, что она ни в коем случае не будет напечатана как слишком острая (я, как всегда, поставил условие, что либо статья печатается целиком, либо я ее снимаю — такое обещание было дано не только мне, но и всем авторам). Люся ошиблась; книга вышла в июне, накануне партконференции, причем моя статья была далеко не самой интересной и острой. Я ясно чувствую, что, если бы я писал статью даже несколькими месяцами позднее и тем более сегодня, она выглядела бы совсем иначе. Мы все сейчас проходим путь «политпросвещения» с поистине невероятной быстротой. При этом мы как раз за эти месяцы марта-июня 1988 года почувствовали с большой остротой не только поступательный ход перестройки, в первую очередь гласности, но и противоречивый, внутренне опасный характер происходящих в стране процессов. Появилась знаменитая сталинистская статья Нины Андреевой, в конце февраля произошла Сумгаитская трагедия. Выборы на XIX партконференцию проходили недемократическим спо-

собом, дав подавляющее преимущество антиперестроечным кандидатам. Ю. Н. Афанасьев явился инициатором коллективного письма по этому поводу. В письме, в частности, высказывалась мысль о возможном переносе партконференции на полгода с целью обеспечить более демократические выборы (на самом деле авторы письма понимали нереальность этого предложения). Я тоже подписал это письмо.

В конце апреля-мае мы с Люсей по впервые полученным (купленным, конечно, но так у нас говорят) в хозотделе Академии путевкам провели три недели в Пицунде. Это были замечательные дни, свободные, плодотворные и счастливые. Нам почти никто не мешал — мы были вдвоем. Комнатка у нас была очень маленькая, но с великолепным видом на море с высоты 12-го этажа дома-башни. Я работал за обеденным столиком, Люся выставляла на балкон ноги и тумбочку с пишущей машинкой. Так мы размещались. Люся начала там писать свою вторую книгу — о детстве, до рубежа 1937-го (несколько страниц были написаны еще в Москве)<sup>8</sup>. Я работал над выступлением, которое мне предстояло через месяц (чуть более) на конференции, посвященной столетию со дня рождения Фридмана. Я согласился еще давно сделать обзорный доклад о барионной асимметрии Вселенной, но, так как я сильно отстал от текущей, довольно объемной литературы, мне пришлось как следует поработать в Москве и Пицунде

над статьями, которыми меня щедро снабдили друзья. В ходе этой работы я многое понял. Выступление, как мне кажется, получилось интересным и даже, в каких-то деталях, содержало новые идеи. Но в основном вопросе — за счет какого именно конкретного процесса образовалась барионная асимметрия Вселенной — все еще нет ясности.

Большую часть дня мы работали, по вечерам обычно гуляли вдоль моря. Купаться было еще холодно не только мне. На завтрак, обед и ужин надо было ходить в столовую в двух-трех сотнях метров от нашей башни. Часто я, хотя бы раз в день, ходил туда один и приносил Люсе еду в номер. Возвращаясь из столовой с тарелками, я обычно видел Люсю на балконе — она приветствовала меня с этой высоты.

В Пицунде нам пришлось вмешаться в судьбу одной молодой пары. В столовой Люся обратила внимание на расстроенный вид обслуживающей нас официантки-абхазки. Оказывается, она познакомилась с молодым человеком, отбывавшим ранее срок заключения, они собираются вступить в брак, но председатель райисполкома под разными предлогами откладывает регистрацию брака. Сейчас он вызвал к себе молодого человека на беседу. Причина, по-видимому, заключается в том, что он не является постоянным жителем Пицунды, работает в геологической партии и имеет только временную прописку, но, став мужем местной житель-

ницы, он получит уже постоянную прописку. В Пицунде, как во всяком курортном районе, прописочные ограничения особенно сильны. Вероятно, в соответствующих инструкциях не рекомендуется прописывать бывших заключенных. Я послал председателю райисполкома очень вежливую телеграмму, в которой напомнил, что право вступления в брак не может иметь незаконных ограничений. Телеграмма возымела свое действие. Вскоре счастливые новобрачные пришли к нам в номер с цветами и поблагодарили нас за вмешательство.

Из Пицунды мы поездом по очень красивой дороге поехали в Тбилиси. Там проходила интересная конференция по физике элементарных частиц. В Тбилиси мы были не впервые, но в этот раз он показался нам особенно спокойным, нарядным, каким-то западным по духу. Мы смотрели на нависший над Курой балкон старинного дома и обсуждали между собой, кто же там живет. Мы, конечно, не могли представить себе, что менее чем через год окажемся в Тбилиси при совсем других, трагических обстоятельствах и жить будем именно в этом доме.

Часть июня мы провели в Ленинграде, жили и работали в огромной квартире Ленинградского дома приезжающих ученых. Там не было столовой, и мы пытались купить полуфабрикаты в кулинарии при одном из самых фешенебельных ресторанов Ленинграда. К Люси-

ному потрясению, ей удалось купить только полусъедобную кашу — «шрапнель»: мы оба ни разу не видели ее со времен войны. В целом в Ленинграде, как и во всей стране, уже тогда было плохо с продуктами, за год положение не стало лучше. Конференция проходила одновременно с заседаниями Фонда — мне пришлось метаться из одного конца города в другой. Я все больше разочаровывался в Фонде. После конференции я принял участие в «круглом столе» по проблемам космологии для научно-популярной телевизионной передачи и в ленинградской телевизионной программе «Пятое колесо». Участие в «Пятом колесе» было моим первым выступлением по советскому телевидению. Его смотрели не только в Ленинграде, но и в Москве и прилегающих к Ленинграду областях. К сожалению, из передачи выбросили все, что относилось к проблеме Нагорного Карабаха.

18 июля состоялось долгожданное заседание Президиума Верховного Совета по проблеме НКАО. Оно транслировалось по телевидению, что само по себе было событием. Накануне мы, с некоторым запозданием, организовали массовую отсылку телеграмм в поддержку вывода НКАО из административного подчинения Азербайджану и введения там подчиненной лишь Москве администрации. Идея отсылки телеграмм принадлежала Люсе (как и множество других организационных идей за годы нашей совместной жизни). Мы

позвонили нескольким известным нам предполагаемым единомышленникам в Москве и Ленинграде и попросили их отсылать телеграммы и, в свою очередь, позвонить другим известным им людям, с тем чтобы те тоже продолжили распространение потока телеграмм. Мы предполагаем, что в целом было несколько десятков телеграмм.

Мы с Люсей также посетили накануне Президиума только что приехавшего в Москву Расула Гамзатова в его по-восточному богатом доме с просьбой поддержать эту идею. Разговор был трудный, несколько уклончивый, и Люся считала, что бесплодный. Однако на заседании Президиума Гамзатов выступил прекрасно. Кстати, нам показалось, что в доме Гамзатова большую позитивную роль играет следующее поколение — дочь и зять.

Наше предложение не было принято — оно вошло в состав принципов так называемой особой формы правления, принятой через полгода. Но тогда, в январе 1989 года, уже и это предложение было недостаточным. В июле же 1988 года было принято постановление, ограничивающееся только поддержкой экономического и культурного развития НКАО и экономическими и культурными связями НКАО с Арменией. Это было бы очень важно в феврале и, быть может, помогло бы снять напряжение, но сейчас постановление Президиума отстало от произошедших в сознании людей измене-

ний и поэтому было почти бесполезно. Все же, я думаю, наши телеграммы-обращения не были излишними.

Трансляция заседания Президиума по телевидению (ее смотрела вся страна, как в следующем году трансляцию со съезда) произвела на нас и, я думаю, на многих удручающее впечатление. Позиция Горбачева была откровенно предвзятой — было ясно, что решение им (именно им) уже принято — и откровенно проазербайджанской. Он вел заседание диктаторски, антидемократично, с пренебрежением к мнению других членов Президиума, особенно армян, зачастую просто невежливо. Он то и дело перебивал выступавших, комментировал их выступления. Одного из членов Президиума, ректора Ереванского университета С. Амбарцумяна (однофамильца президента Академии), он перебил и спросил: «Кто дал вам право говорить от имени народа?». Амбарцумян побледнел, но сумел ответить с достоинством: «Мои избиратели» — и продолжил выступление.

Мы не знаем, чем объясняется такая антиармянская и проазербайджанская позиция Горбачева, проявившаяся даже после трагедии землетрясения. Горбачев мог бы иметь в Армении передовой отряд перестройки, самых верных и работающих друзей. Лозунги первых месяцев национального движения в Армении доказывают это со всей ясностью. Армяне быстро отработали бы все, что было упущено за время забастовок. Но он из-

брал другой путь. Почему? Некоторые говорят: это — большая политика, отражение огромной роли в мире (и в стране) ислама, с которым нельзя ссориться. Другие приводят тот же аргумент, что и Яковлев, — боязнь новых Сумгаитов. Наконец, говорят, что нельзя создавать прецедент территориальных изменений в стране, где столько горячих точек. Мне все эти аргументы кажутся недостаточными. Они не должны были перевесить принципиальных соображений национальной справедливости. Есть и такие, которые связывают позицию Горбачева с его предполагаемыми связями с азербайджанской (или иной) мафией или с какими-то родственными связями. В условиях, когда о подлинных биографиях высших руководителей страны ничего не известно и все, относящееся к высшему кругу нашего общества, недоступно гласности, подобные предположения возникают с равной легкостью на пустом или не на пустом месте, и их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Перед заседанием 18 июля и сразу после него я пытался позвонить М. С. Горбачеву, чтобы изложить ему от своего имени и имени моих единомышленников идею «особой формы правления» (тогда еще не было этого слова, но говорили — президентское правление). Я не мог дозвониться. Секретарь просил меня ожидать звонка у телефона. В состоянии непрерывного нервного напряжения мы провели в этом ожидании неделю.



В это время в Москве была совершенно непереносимая жара и духота. Наконец, я решил, что Горбачев просто не хочет со мной разговаривать, заранее зная, о чем будет речь. Я прекратил попытки, и мы уехали из города, что было намечено неделю назад.

В июле в нашем доме начался капитальный ремонт без выселения жильцов — замена отопительных батарей и труб, штукатурные работы, окраска и побелка и т. д. Обои мы меняли год назад. Это только усугубило дело трудностями их защиты. Люся воспользовалась ремонтом для смены сантехники, ванны, отваливающихся после горьковского периода кафельных плиток. В наших условиях это была очень тяжелая эпопея — количество грязи, которое пришлось, главным образом Люсе, выгребать ежедневно, и всяческих перестановок и защитных устройств для мебели и обоев было неопишваемым. В июле и августе, после попытки позвонить Горбачеву, нам удалось все же вырваться дней на двадцать из Москвы в Протвино, находящийся недалеко от Серпухова небольшой городок, где расположены самые большие в СССР ускорители элементарных частиц — уже существующий, строящиеся и проектируемые. Меня давно уже приглашали туда посетить центр экспериментальных исследований физики высоких энергий и, когда я наконец согласился, организовали показ грандиозных залов, центров обработки информации, рассказали о проекте и возможностях будущего ускорите-

ля и планах и перспективах работ на нем. В 1988 году предполагалось, что это будет установка для накопления двух протонных пучков с энергией 3 ТэВ ( $3 \times 10^{12}$  эВ) в двух ускорительно-накопительных кольцах, расположенных в подземном кольцевом туннеле общей протяженностью 21 километр. Его строят метростроевцы и уже выполнили в 1988 году больше половины работы. Протоны двигаются в противоположных направлениях и отклоняются к центру колец магнитным полем специальных магнитов с обмотками из сверхпроводящего сплава. Обмотки охлаждаются жидким гелием (температура жидкого водорода недостаточно низка для существующих промышленных сверхпроводников). Накопительные кольца имеют общие прямолинейные участки, на которых происходит столкновение встречных пучков с общей энергией сталкивающихся частиц 6 ТэВ. Во время нашего визита в ЦЕРН в июне 1989 года его директор Карло Рубиа рассказал, что существует проект, согласно которому ЦЕРН поставит в Протвино разработанный в ЦЕРНе источник антипротонов и установка будет работать на столкновении пучков протонов и антипротонов; при этом исчезнет необходимость в двух ускорительно-накопительных кольцах, весь проект будет дешевле, и главное — его можно будет осуществить значительно раньше. Большую часть времени мы были свободны и работали — Люся продолжала работу над сво-

ей книгой, я тоже что-то делал. По вечерам мы выезжали в окрестности Протвина, очень живописные, и собирали грибы, потом Люся их жарила. На два дня нам пришлось прервать нашу спокойную жизнь и съездить в душную Москву в связи с ремонтом. Однажды к нам в Протвино неожиданно приехали Ю. Н. Афанасьев, Л. М. Баткин, Л. В. Карпинский, Ю. Ф. Карякин, еще два или три человека — я сейчас не помню, кто именно. Они приехали в связи с проектом организации дискуссионного клуба с задачей обсуждения основных проблем перестройки — экономических, социальных, юридически-правовых, экологических, международных. Мы придумали название клуба — «Московская трибуна». Главным аргументом необходимости организации такого клуба как одного из зачатков легальной оппозиции была оценка существовавшего в то время политического положения в стране как очень противоречивого, с опасными симптомами сдвига «вправо», в том числе назывались прекращение свободной подписки на газеты и журналы, издание постановлений, ограничивающих свободу кооперативов и узаконивающих налоговый пресс на них, практическое замораживание экономической реформы, ограничения гласности, недемократический характер XIX партконференции, отсутствие решения проблемы НКАО, в дальнейшем (уже после первой встречи) принятие антидемократических указов о митингах и демонстрациях и полномочиях

специальных войск МВД. Был принят первый вариант обращения инициативной группы «Московской трибуны», на основании которого через несколько месяцев она была организована. Я согласился войти в инициативную группу. Но фактически Баткин и другие играют в деятельности «Трибуны» гораздо большую роль, я же в значительной степени пассивен. В начальный период организации «Трибуны» не все шло гладко, но в целом она представляется интересным и важным начинанием.

В те же месяцы я оказался вовлеченным в другую общественную организацию, гораздо более массовую, с драматической историей становления и с неясными, но, возможно, большими перспективами влияния на общественную жизнь и сознание. Речь идет о «Мемориале». Еще задолго до XIX партконференции группа молодых людей, в их числе Пономарев, Самодуров, Игрунов, Леонов и Рогинский, выступила с инициативой создания мемориального комплекса жертвам незаконных репрессий — сначала, кажется, речь шла только о памятнике, потом о целом комплексе, включающем также музей, архив, библиотеку и т. п. С большой быстротой идея распространилась по всей стране. В Москве и во многих других местах сформировалось общественное движение, ставящее своей целью поддержку создания мемориального комплекса, причем не только в Москве, а и в других местах, в том числе и там, где были

расположены основные сталинские лагеря рабского труда и уничтожения. Движение стало ставить перед собой не только историко-просветительские цели, но и помощь оставшимся в живых жертвам репрессий — юридическую и моральную. На XIX партконференции Афанасьевым было передано обращение движения с несколькими тысячами подписей. Конференция приняла постановление о создании памятника жертвам репрессий (только памятника, т. е. фактически это было просто подтверждение не выполненного за 27 лет решения XXII партийного съезда). Движение стало принимать организационные формы, к нему примкнули так называемые творческие союзы — Союз кинематографистов, Союз архитекторов, Союз дизайнеров и другие, а также «Литературная газета». Они стали именоваться «члены-учредители», что, конечно, не совсем правильно, лучше бы — коллективные члены. Был открыт счет «Мемориала», на него стали поступать взносы от граждан и перечисления от концертов, лекций, демонстраций фильмов. Наконец, с помощью письменного опроса на площадях Москвы был создан Общественный совет «Мемориала». Прохожих просили назвать тех, кого они хотят видеть в Общественном совете — любое число кандидатур. Набравшим наибольшее число голосов было предложено войти в Общественный совет. В их числе оказался я и согласился, так же как большинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от

вхождения в Общественный совет А. И. Солженицын. В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, тем, что советские власти ответили на создание им «Архипелага ГУЛАГ» высылкой его с родины. Этот аргумент представляется мне неправильным. Общество «Мемориал» не несет ответственности за действия властей. Второй аргумент — опасение, что идеологическая линия «Мемориала» не соответствует его представлениям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он сказал, что принципиально недопустимо ограничиваться осуждением только сталинских репрессий и, тем более, осуждением репрессий только против тех, кто на самом деле были соучастниками преступлений. Преступления режима начались в 1917 году и продолжают до сих пор, это одна цепь физического уничтожения народа и его лучших представителей, развращения народа, обмана, жестокости, лицемерия и демагогии ради власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступлений начал Ленин, поэтому его личная вина перед народом и историей огромна, но тема преступлений Ленина — все еще табу в СССР, и, пока это так, Солженицыну нечего делать в «Мемориале». Кончил Солженицын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду в СССР в соответствии с обстановкой и возможностями. Конечно, я воспроизвел тут слова Солженицына по

памяти, дополняя фрагментами других его выступлений, а также используя собственную их интерпретацию. Что можно сказать по существу? В многочисленных дискуссиях на собраниях «Мемориала», в различных проектах Устава, в личных беседах все время звучит тема необходимости расширения временных рамок зоны интересов «Мемориала» за пределы эпохи сталинской власти, необходимости более четкой и исторически верной идеологической платформы. Вместе с тем, необходимо учитывать, что «Мемориал» — массовая организация, формирующаяся на основании некоторого массива основных идей, целей и представлений, общих для всех ее членов, при условии взаимной терпимости в других вопросах. При этом «Мемориал» действует в условиях советской действительности, при крайне настороженном, а быть может — просто враждебном к нему отношении. Поэтому мне представляется правильной осторожная формулировка Устава, в которой речь идет о жертвах сталинских репрессий и других жертвах террористических и незаконных методов управления государством. Что авторы Устава и «Мемориал» в целом не впали в конформизм — ясно из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализации «Мемориала».

Чтобы больше не возвращаться к моему разговору с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его моментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла

Аля, жена Александра Исаевича. Мы поговорили несколько минут, потом она позвала Александра Исаевича, заметив, что он сам никогда не подходит к телефону. Произошел тот разговор, о котором я уже написал. В конце я сказал, в ответ на его пожелания успехов, о важности его писательской работы и добавил: «Александр Исаевич, между нами не должно быть недоговоренностей. Вы в своем «Теленке» глубоко меня обидели, оскорбили. Речь идет о ваших высказываниях о моей жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест без указания имени, но совершенно ясно, о ком идет речь. Моя жена — совершенно не тот человек, как вы ее изображаете, и ее роль в моей жизни совсем иная. Она бесконечно верный, самоотверженный и героический человек, никогда никого не предававший, далекий от всяких салонов, диссидентских и недиссидентских, никогда не навязывавший мне никаких “наклонов”». Александр Исаевич несколько секунд молчал — очевидно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими прямыми обвинениями. Затем он сказал: «Хотел бы верить, что это так». Эта фраза по обычным меркам не была, конечно, извинением, но для А. И., видимо, и это было большой уступкой.

Осенью 1988 года я впервые выступал на митинге. Он был созван «Мемориалом» около Дворца спорта Автодорожного института<sup>9</sup>. Люся отвезла меня туда на машине, но сама не могла присутствовать, так как ма-



шину пришлось поставить на довольно большом расстоянии от места митинга и ей с ее ногами было бы трудно пройти. Собравшиеся — несколько сот человек, может больше тысячи — узнали меня, и мне пришлось, после нескольких других ораторов, выступить. Я, конечно, заранее не готовился, но, кажется, получилось удачно, в отличие от моего следующего выступления, на конференции «Мемориала» в октябре, где я должен был говорить первым и читал по бумажке заранее подготовленный текст, — вышло позорно скучно.

Эта конференция готовилась как учредительная; она должна была принять Устав и объявить о создании всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». Но примерно за неделю в ЦК под разными малопонятными предложениями начали возражать против проведения учредительной конференции; в частности, это произошло при встрече Юдина (какого-то начальника из ЦК) с секретарями творческих союзов-учредителей. Те испугались и потребовали от исполнительного комитета (рабочего органа «Мемориала») отложить проведение учредительной конференции. На самом деле в ЦК, конечно, просто боялись создания массовой независимой (трудно управляемой) общественной организации, в которой к тому же участвуют многие пользующиеся известностью люди. Исполнительный комитет, опасаясь разрыва с членами-учредителями, от которых мы зависели материально, и с санк-

ции Общественного совета изменил характер конференции — вовсе отменить ее или перенести на более поздний срок было невозможно: люди с мест уже съезжались. Учредительную конференцию назначили на 17 декабря, но ее проведение опять было сорвано, и она состоялась лишь в конце января. Одновременно возникла атака на «Мемориал» по еще одному направлению — представители «Мемориала» в середине декабря были лишены доступа к банковскому счету «Мемориала» (кажется, по устному указанию того же Юдина директору банка). Формальный предлог — что «Мемориал» официально не зарегистрирован. За неделю перед назначенной в январе учредительной конференцией члены Общественного совета «Мемориала», в их числе Афанасьев, Бакланов, Евтушенко, были вызваны в ЦК. Меня первоначально не позвали, но вызванные заявили, что без меня они не поедут, и в последний момент за мной заехал на машине Пономарев. По дороге он рассказал мне ситуацию со счетом, а также предупредил, что будет оказываться большое давление с целью добиться отсрочки учредительной конференции. Но дальше откладывать мы не можем, не имеем права. На местах члены «Мемориала» подвергаются большому давлению, ситуация становится опасной. Мы должны заявить, что, если нам не будет предоставлено помещение, мы проведем конференцию на квартирах. Я сказал, что полностью с ним согласен. У подъезда ЦК

я распрощался с Пономаревым и прошел наверх. Заседание проходило под председательством Дегтярева — заместителя нового заведующего идеологическим отделом ЦК Вадима Медведева, который недавно сменил на этом посту А. Н. Яковлева. Дегтярева Медведев пригласил из Ленинграда, где он, как мне сказали, активно поддерживал «Память»<sup>10</sup>. Дегтярев начал свое выступление очень агрессивно. По поводу счета он заявил, что «Мемориал» не имеет права распоряжаться этим счетом, поскольку Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятое вскоре после XIX партконференции, поручает создание памятника жертвам сталинских репрессий Министерству культуры СССР, значит ему принадлежат все собранные средства. Члены Общественного совета энергично возражали, ссылаясь на то, что средства собирались целевым образом для «Мемориала» и все, кто давал деньги, знали это, что подтверждается объявлениями в прессе; передача денег Министерству культуры явилась бы совершенно незаконной и вызовет бурю протестов. Тогда Дегтярев слегка сменил тон и сказал, что «Мемориал» не может владеть счетом, поскольку он не зарегистрирован. Затем Дегтярев пустился в рассуждения о том, что вскоре будет принято постановление о создании при райисполкомах (?!) комиссий по расследованию сталинских преступлений, местные группы «Мемориала» вольются в эти комиссии, таким образом исчезнет необходимость

в создании общества «Мемориал» и не надо проводить учредительную конференцию. Помощник Дегтярева добавил, что проект Устава совершенно недоработан юридически и его как коммуниста поразило, что там нет слова «социализм». Мы отвечали резко, почувствовав опасность. Я, в частности, сказал, что официальная комиссия и общественная организация — это разные вещи. Значение общественной организации — именно в ее независимости, и потерять эту независимость мы не согласимся ни за что. Если нам будет отказано в поддержке и помещении, мы проведем учредительную конференцию на квартирах (я выполнил совет Пономарева). Что касается слова «социализм», то Устав — не программа партии, там нет места таким теоретическим рассуждениям. Выходя с совещания, я спросил Афанасьева: «Ну как?» (Я имел в виду общую ситуацию и, в особенности, позицию ЦК; Афанасьев, конечно, именно так и понял мой вопрос.) Он ответил: «Очень плохо». Но, по-видимому, это была психологическая атака перед принятием решения, и мы ее выдержали. Такие арьергардные атаки в практике властей — обычная вещь, мы много раз с ними встречались. Накануне конференции меня вызвал в ЦК В. А. Медведев. Обсуждались те же темы, но в гораздо более дружеском тоне. Вернувшись домой, я узнал, что по указанию ЦК остановлено печатание «Вестника «Мемориала»» — издания, предназначенного для раздачи участникам конфе-

ренции. Причина — наличие там двух «крамольных» материалов: сообщения с требованием вернуть советское гражданство А. И. Солженицыну и опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ», а также моей предвыборной программы. Я позвонил по телефону сначала Дегтяреву, затем Медведеву, говорил необычайно для меня резко (Люся утверждает, что она впервые такое от меня слышала). Я спрашивал: «Это запрет или рекомендация? Если запрет, то вы принимаете на себя большую ответственность. Если рекомендация — то мы вправе с нею не считаться». Медведев отвечал, что «мы не запрещаем вам печатать, что вы хотите, это не наша функция, но от того, как вы поступите, будет зависеть наше отношение к «Мемориалу»». Я говорю: «Мы все это уже учили, решили печатать все, как подготовлено, дайте указание отменить запрет на печатание!». Медведев: «Мы не давали такого запрета». Я: «Вы прекрасно знаете, что это не так! Отмените запрет!». Медведев ничего не ответил. Но через 20 минут печатание было возобновлено. Однако оказалось, что Афанасьев еще накануне согласился снять материал о Солженицыне, и на этом месте в газете появилось белое пятно. Учредительная конференция подтвердила ранее принятое решение.

Еще один телефонный разговор с Медведевым у меня произошел в апреле. Четыре женщины в Иванове объявили голодовку, требуя возвращения верующим храма, отнятого в 30-е годы и занятого под склад.

Я позвонил Медведеву и просил его вмешаться. Он ответил, что ему ничего не известно об этом деле. Однако какой-то работник ЦК (я не знаю, до моего разговора или после) позвонил в горисполком Иванова и потребовал ни в коем случае не уступать «экстремистам» (этот термин фигурировал в местной прессе). При помощи обмана и угроз удалось заставить женщин прекратить голодовку. Председатель Комитета по делам церкви<sup>11</sup>, склонный уступить верующим, был вскоре вынужден уйти в отставку (возможно, что тут были и другие причины).

Положение «Мемориала» продолжает оставаться крайне сложным и неопределенным и после учредительной конференции. «Мемориалу» до сих пор отказывают в регистрации на том основании, что единственный закон о правилах регистрации общественных организаций, принятый в 1932 году, относится не к общесоюзным организациям, а не более чем к республиканским. Все существующие общесоюзные организации созданы по постановлениям правительства и в регистрации якобы не нуждаются. «Мемориал» по-прежнему не имеет доступа к своему счету в банке. Местные организации и их члены подвергаются преследованиям. Некоторые мемориальцы хотели пикетировать Президиум Верховного Совета — с трудом удалось их отговорить. Я говорил во время Съезда с Медведевым и Лукьяновым, они ссылаются на то, что вскоре новый

Верховный Совет примет закон о регистрации<sup>12</sup>. Но когда это будет и не возникнет ли какого-либо противоречия с уставом «Мемориала»? Такое противоречие могут устроить нарочно...<sup>13</sup>

В октябре я впервые присутствовал на Пагуошской конференции по приглашению Виталия Гольданского (руководителя советской секции). В качестве гостя была также приглашена Люся. Конференция проходила в местечке Дагомыс, недалеко от Сочи. Участники и многочисленные гости были размещены в фешенебельной интуристской гостинице. Там же проходили заседания. Все это, включая питание, конечно, за счет хозяев конференции. Так же был оплачен проезд участников (но Люся свой билет оплатила). Шел конец курортного сезона — море и бассейн были к услугам приехавших. По вечерам — виски-водка парти с обильной бесплатной выпивкой, некоторые не вполне соблюдали меру.

Для меня и Люси главное было понять, что происходит на секциях (по вопросам экологии, сокращений стратегических вооружений, равновесия обычных вооружений в Европе, запрещения химического оружия, контроля над сокращением вооружений, проблем развития Третьего мира, контроля над ядерными испытаниями) и на пленарных заседаниях. Моя позиция тут такова — если коэффициент полезного действия работы пагуошцев очень мал, но отличен от нуля, то

в силу огромного значения глобальных проблем существование Пагуошского движения в конечном итоге оправданно. Мы были свидетелями довольно низкого уровня обсуждения проблем (в особенности это относилось к экологии); по-моему, это следствие того, что многие стали профессионалами борьбы за... (мир, среду обитания, разоружение, все равно за что) — это не способствует объективности и научному подходу. Еще более меня огорчило, что Движение как бы работает само на себя, не имея прямых выходов в правительственные круги и в массмедиа. Все же я думаю, что есть косвенный положительный эффект — через личные контакты участников Движения в научных и правительственных кругах. Так что — пусть работают. Но без меня! На конференции я выступил по докладу секретаря Движения, особенно уделив внимание экологическим проблемам, в том числе опасности для генофонда, вызванной накоплением вредных мутаций в результате химизации жизни на Земле. С очень интересным предложением, касающимся сохранения тропических лесов, выступила Люся. Она предложила, чтобы все страны отчисляли определенный процент своего национального дохода в пользу стран — хозяев тропических лесов, которые прекратят вырубку лесов (и начнут их восстановление). Это была бы справедливая плата за кислород, в конечном счете за жизнь. Сумма отчислений должна быть такова, чтобы сделать



вырубку лесов экономически невыгодной не только для государства — хозяина лесов, но и для всех его граждан. Пока идея Люси не получила должной поддержки и распространения.

Еще в июле я был приглашен принять участие в «круглом столе» в редакции журнала «Век XX и мир» на тему «Мировая революция, конвергенция и другие глобальные концепции» (название темы было сформулировано как-то иначе — я не помню). Я заранее подготовился к своему выступлению — мне кажется, что получилось удачно. Я говорил о взаимосвязи основных глобальных проблем и о том, что единственным кардинальным решением, обеспечивающим выживание человечества, является конвергенция — совокупность встречных плюралистических изменений в капиталистической и социалистической системах. Я утверждал, что сейчас беспредметно спорить, возможна ли конвергенция, — она уже идет, в социалистическом мире это — перестройка. В январе или феврале материалы «круглого стола» были опубликованы в журнале «Век XX и мир»<sup>14</sup>.

Другой «круглый стол», в котором я принял участие, состоялся в ноябре по инициативе «Огонька»<sup>15</sup>. Тема — «Политические, культурные и экономические аспекты перестройки». Были американские и советские участники — последние явно выступали на более высоком уровне.

Осенью 1988 года ко мне дважды обращалась редакция «Нового мира» (редактор С. П. Залыгин) с просьбой о поддержке.

В первый раз это был вопрос о публикации «Чернобыльской тетради» Григория Медведева. Я написал предисловие к этой волнующей документальной повести, написанной специалистом-атомщиком, ранее работавшим в Чернобыле и находившимся там сразу после аварии<sup>16</sup>. Публикация встречала очень большое сопротивление со стороны ведомств, причастных к аварии. Я подписал составленное С. П. Залыгиным письмо к М. С. Горбачеву с просьбой о разрешении публиковать повесть. Я обычно редко подписываю документы, составленные не мной, но тут отступил от этого правила, хотя стиль письма был мне совершенно чужд<sup>17</sup>.

Другой раз это было еще более громкое дело — о публикации в «Новом мире» «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицына. Залыгин добился разрешения публиковать это главное произведение Солженицына в журнале начиная с январского номера 1989 года. На обложке одного из осенних номеров при этом предполагалось напечатать соответствующее объявление. Но политическая конъюнктура «в верхах» в который раз изменилась, и от ЦК поступила команда отменить публикацию. Залыгин отказался. Тогда команда была передана непосредственно в типографию, где уже печатали обложки. Большая часть тиража обложек была

уничтожена. Таковы нравы «телефонного права». Я тогда подписал совместное письмо от имени Залыгина и моего, адресованное, конечно, опять Горбачеву.

В обоих случаях был, правда далеко не сразу, положительный результат. Произошло ли новое изменение конъюнктуры или сработало наше письмо, вряд ли мы когда-нибудь узнаем<sup>18</sup>.

В середине октября 1988 года ко мне подошел Е. Л. Фейнберг и сказал, что по просьбе Сагдеева он хочет обсудить со мной, согласен ли я стать членом Президиума Академии. Он добавил, что Сагдеев почему-то стесняется говорить на эту тему сам. По мнению Е. Л., было бы очень важно, чтобы в Президиум вошел человек, способный удерживать теперешних членов от всяческих их безобразий. Я сказал, что подумаю, но в душе склонялся к тому, что, это во всяком случае, гораздо важнее, чем Фонд, и менее обременительно. Я, конечно, обсудил этот вопрос с Люсей. Она как-то пассивно (но скорей отрицательно) отнеслась к этому и не дала мне определенного совета. На другой день я сказал Е. Л., что был бы согласен. Вскоре после этого позвонил сам Сагдеев, я повторил ему то же самое, он поблагодарил меня за это решение и добавил, что он сам выдвинут в члены Президиума, но в силу ряда причин не может войти в Президиум и хочет предложить мою кандидатуру. Сагдеев не упомянул о Е. Л. Фейнберге, не сослался на него. Через несколько дней, 20

октября, состоялись довыборы членов Президиума, взамен ушедших по возрасту, по списку, составленному Президиумом. Сагдеев отказался от баллотировки и предложил мою кандидатуру, вызвав аплодисменты зала. При этом он поставил в трудное положение другого кандидата в члены Президиума, академика Гапонова-Грехова, который за несколько дней до этого уступил свое место Сагдееву, но совсем не был готов уступить его мне. В результате он до перерыва не отказался (не решился), а после перерыва, когда уже было поздно отказываться, так как были составлены списки и отпечатаны бюллетени, призвал всех вычеркивать его фамилию и голосовать за меня. Свыше 80 человек его не послушались и голосовали против меня. Но все же я получил большинство голосов — числа не помню.

На первом же заседании Президиума, на котором я присутствовал, я «уцепился» за выборы нового директора Института водных проблем АН СССР. Этот институт и его бывший директор ответственны за многие экологические преступления, и было неясно, какова будет позиция нового директора. По моему предложению Президиум рассмотрел на одном из своих заседаний (к сожалению, без меня) этот вопрос. В дальнейшем я несколько раз пытался добиваться более правильной позиции Президиума в ряде ключевых вопросов — как эколого-экономических, так и организационных. Это были, в частности, два обсуждения вопроса о целесооб-

разности строительства канала Волга—Чограй, о строительстве Крымской АЭС и других особо опасных станций, ряд вопросов выборов директоров институтов АН и, наконец, — выборы от Академии наук народных депутатов. К сожалению, мне не хватает умения организовать поддержку и, в еще большей степени, — информации. Я все же надеюсь, что что-то полезное сумею сделать.

## ГЛАВА 4

### За рубеж

20 октября также, по совпадению, получил разрешение еще один относящийся ко мне вопрос — Политбюро ЦК КПСС отменило запрет на мои поездки за рубеж. В таком решении были крайне заинтересованы Велихов и другие руководители Фонда. Велихов дважды обращался к Горбачеву с письмами по этому поводу и наконец решился напомнить ему об этом лично во время приема президента Бразилии. Горбачев сказал, что вопрос будет поставлен на Политбюро. Но, вероятно, самое главное, что к этому времени по просьбе Велихова Юлий Борисович Харитон дал письменное поручительство за меня (кажется, он потом повторил его устно на заседании Политбюро 20 октября). Я не знаю, что именно написал Ю. Б. в своем поручительстве — то ли что я не могу знать ничего, что представляет интерес после 20 лет моего отстранения от секретных работ, то ли что я человек, которому безусловно можно доверять и который никогда ни при каких условиях не разгласит известных ему тайн. Во всяком случае, поручительство возымело свое действие. Это необычное действие Харитона безусловно было актом гражданской смелости и большого личного доверия ко мне.

6 ноября я впервые в своей жизни выехал за рубеж для участия в заседании Совета директоров Фонда. Меня также использовали для многочисленных выступлений на собраниях потенциальных или реальных донаторов<sup>1</sup> Фонда. Визнер придавал особое значение такого рода деятельности. Фонд крайне нуждался в материальной поддержке (ведь он со своими дорогостоящими поездками через океан постоянно находится на грани банкротства) и не менее — в моральной поддержке. Мне многие говорили, что весь авторитет Фонда основывается на моем личном участии в нем. Было также много встреч по ранее полученным мною приглашениям, по моей инициативе и встреч с государственными деятелями. В эту первую поездку я поехал без Люси. Мы многократно ранее заявляли, что не претендуем на совместную поездку — чтобы не затруднять принятия решения обо мне. Сейчас мы не могли отступать от своих слов. Кроме того, Люсе было необходимо поработать над ее второй книгой. После моего отъезда несколько дней ей пришлось пробивать поездку правозащитной группы (Ковалева, Чернобыльского и др.). Сотрудники Московской конторы Фонда оказались совершенно неспособными к подобного рода несложной организационной деятельности.

Сразу по прибытии в Нью-Йорк, а затем в Бостон меня встретили толпы корреспондентов с лампами-вспышками и микрофонами. На пресс-конференции

в Бостоне я говорил о противоречивом характере происходящих в нашей стране процессов, об августовских указах<sup>2</sup>, о дефектах реформы Конституции и выборной системы. Я также говорил о крымских татарах, о Нагорном Карабахе, об оставшихся в заключении узниках совести — Мейланове, Кукобаке (теперь они на свободе). Все эти темы потом вошли в большинство моих публичных выступлений в эту и следующую зарубежные поездки. На фондовых встречах я говорил о своих сомнениях относительно Фонда (выступая в Метрополитен-Музеум, я сравнил Фонд с многоножкой из известной притчи, у которой так много ног — я имел в виду директоров и аппарат — что она не знает, с какой ноги начать, и поэтому не может сдвинуться с места; к слову сказать, в Метрополитен в это время как раз проходила замечательная выставка Дега, и нам с Таней показали ее). Визнер был очень разочарован тем, что я недостаточно рекламирую Фонд. Но я не мог говорить не то, что думаю. Велихов и Визнер рассчитывали собрать несколько миллионов долларов, до 10. Собрали очень мало, менее миллиона, и я был, видимо, плохой приманкой для донаторов. Заседание Совета директоров тоже разочаровало меня. Там не было никаких ярких тем или обсуждений. Единственная новая тема — о создании устройства для уничтожения ракет с ядерными зарядами, если обнаружится, что они запущены по ошибке. Но это тема не для фи-



нансиремых Фондом исследовательских групп, а для дипломатов и научно-конструкторских бюро, занимающихся ракетами, их управлением и средствами связи с ними. На заседании был решен вопрос о создании Группы проекта для рассмотрения проблем свободы передвижения и свободы убеждений в СССР и США и пенитенциарной системы в СССР, США и Швеции. Как я уже писал, меня удручает сугубо академический характер этих работ в сочетании с торжественным преувеличением их значения. Может быть, я чего-то не понимаю? В моих встречах с государственными деятелями — Рейганом, Бушем (тогда вновь избранным президентом), Шульцем, Маргарет Тэтчер — тоже было много вопросов о правах человека. Похоже, что я пожинаю плоды собственной активности в семидесятые—восемидесятые годы. Вполне законным был вопрос об условиях проведения в СССР международной конференции по правам человека. Этому, в основном, были посвящены встречи с Шульцем и Маргарет Тэтчер. Но эти встречи проходили до новых событий в СССР, в особенности до ареста членов комитета «Карабах». Правда, еще через полгода их освободили (до суда) из-под стражи. Эти изменения наглядно показывают противоречивость и малую предсказуемость происходящих в нашей стране процессов, необходимость осмотрительности, в особенности при принятии долгосрочных решений.

Рейган произвел на меня впечатление обаятельного человека. Я пытался говорить с ним о проблеме СОИ в широком аспекте проблем международной стратегической стабильности и общих перспектив разоружения. Мне кажется, что Рейган как-то отключался от моих аргументов и повторял то же самое, что он всегда говорит, — что СОИ сделает мир более безопасным. К сожалению, то же самое я услышал от Теллера. Я встречался с ним в день его юбилея. Минут тридцать мы поговорили с ним до начала торжественного заседания в огромном зале, где множество людей в парадных туалетах уже собрались за столиками, готовые слушать ораторов. Теллер сидел в глубоком мягком кресле в полумраке. Я сказал несколько слов о параллелях в нашей судьбе, о том уважении, которое я чувствую к нему за занимаемую им принципиальную позицию, вне зависимости от того, согласен я с ним или нет. Потом я это повторил в публичном выступлении другими словами. Теллер заговорил о ядерной энергетике — тут у нас не было разногласий, и мы быстро нашли общий язык. Я навел разговор на СОИ, поскольку именно ради выяснения глубинных основ его позиции в этом вопросе я приехал. Как я понял, основное, что им движет, — принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР. Технические задачи всегда могут быть решены, если возникает настоятельная необходимость. Сейчас стала в повестку дня задача создания

системы защиты от советских ракет, и она может и будет решена. Щит лучше, чем меч. За всем этим стоит подтекст: мы должны сделать такую защиту первыми — вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, сбить с правильного пути и сами втихомолку делаете то же самое уже много лет. У меня уже не было времени отвечать — нас позвали в зал. Теллеру было трудно идти, кто-то его поддерживал. В зале меня ждала Таня, она сказала: «У вас на выступление только 15 минут, иначе мы опоздаем на последний шаттл<sup>3</sup>». Я действительно уложился в 15 минут: 5 минут о судьбе и принципиальности, вспомнил, что Теллер поддерживал Сциларда в вопросе о Хиросиме; 5 минут о роли идеи гарантированного взаимного уничтожения; 5 минут о военно-экономической и технической бесполезности СОИ, о том, что она только поднимает порог стратегической стабильности в сторону больших масс оружия.

Я также сказал, что СОИ провоцирует переход ядерной войны в ядерную, что она увеличивает неопределенность стратегической и научно-технической ситуации и тем способствует возможности трагически опасных действий — от авантюризма или от отчаяния, что она затрудняет переговоры о разоружении. По окончании выступления Таня и Рема схватили меня под руки и буквально выволокли из зала. Я только успел попроситься с Теллером и помахать рукой залу. Потом

какая-то газета писала, что Сахарова уволокли приставленные к нему агенты КГБ. При выходе из зала меня приветствовал военный в парадной форме, весь в орденах и аксельбантах, пожелал успеха. Я чуть было не ответил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руководитель программы СОИ.

При встрече с Бушем я говорил о том, как важно, если США примут доктрину отказа от применения ядерного оружия первыми. СССР при этом тоже должен будет подтвердить в законодательном, конституционном порядке свой прежний отказ. При этом возникнет гораздо большее доверие и создадутся предпосылки для достижения стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сейчас наличие ядерного оружия, которое якобы может быть в случае необходимости применено первым, создает только иллюзию безопасности. Ядерная война — самоубийство человечества, и никто не решится ее начать, ведь ясно, что при вступлении на этот путь неизбежна эскалация, остановить ее будет невозможно. Нельзя угрожать тем, что никогда не будет применено. Но иллюзия ядерной безопасности от гарантированного уничтожения имеет и другую сторону. У Запада нет достаточного внимания к обычным вооружениям. Буш достал из кармана групповую семейную фотографию — люди разных поколений на каких-то скалах на берегу моря. Он сказал: «Вот гарантия того, что мы никогда не применим ядерное

оружие первыми. Это — моя семья: жена, дети, внуки. Я не хочу, чтобы они погибли. Такого не хочет ни один человек на Земле». Я: «Но, если вы исходите из того, что не будете первыми применять ядерное оружие, об этом необходимо официально заявить, закрепить в законе». Буш промолчал.

Я не перечисляю всех других встреч и бесед в Вашингтоне и Нью-Йорке — их было много. Упомяну лишь беседу в Институте Кеннана, которую вел П. Ред-давей.

Вторую часть своего срока пребывания в США я пытался избегать официальных встреч, поочередно жил в домах Тани—Ремы и Лизы—Алеши в Ньютоне и Вествуде (около Бостона), общался с детьми и внуками. Я впервые увидел дочь Лизы и Алеши Сашу. Она мне очень понравилась — живая, умная, смелая и в то же время ласковая. Появление Саши, напомним читателю, стало возможным в результате борьбы за приезд к мужу ее будущей мамы (можно ли так сказать? будущей ведь была Саша).

Я за эту вторую («тихую») часть своего пребывания в США много работал над книгой — я надеюсь, что в какой-то мере приблизил ее затянувшийся выход в свет<sup>4</sup>. Встречался с людьми из Эмнести, дал им телеинтервью о смертной казни.

В это время вновь обострились азербайджанско-армянские проблемы. Начались погромы и насилия в Ки-

ровабаде<sup>5</sup>. Ситуация там была ужасающей — сотни женщин и детей скрывались в церкви, которую с трудом обороняли солдаты, вооруженные лишь (так писалось в сообщениях) саперными лопатками. Солдатам действительно было трудно, и вели они себя героически. Среди них были погибшие. Вскоре поступили сообщения о большом числе убитых армян. Как потом выяснилось, сообщения поступали от одного человека, не вполне точного и ответственного, скажем так. Но в Москву они поступали уже по разным каналам и выглядели как независимые и достоверные. Люся, поверив этим сообщениям (да и трудно было не поверить), передала по телефону их мне в США, и я использовал сообщенные цифры в телефонограмме Миттерану (он как раз приехал в Москву с официальным визитом, и я звонил ночью во французское посольство) и в публичном заявлении. Это была одна из нескольких допущенных мною в последние годы досадных ошибок. Конечно, не надо было, по крайней мере, использовать конкретные цифры.

В первые дни декабря в США приехал М. С. Горбачев. Он выступил на Генеральной Ассамблее с большой речью, в которой сообщил о решении советского правительства сократить свои вооруженные силы на 10% и вывести часть войск из Восточной Европы. Это, конечно, было необычайно важное заявление, акт большой государственной смелости. Вместе с тем я продолжаю думать и настаивать, что вполне возможно гораздо

большее сокращение армии (с несравненно большими внешне- и внутривойсковыми последствиями) — на 50%, причем реальное сокращение такого масштаба возможно лишь в результате уменьшения срока службы в армии.

Сегодня, когда я пишу эти строчки, поступило сообщение о том, что Верховный Совет принял решение отозвать из армии студентов, призванных со второго курса в прошлом году (в этом году уже не призывали)<sup>6</sup>. Это очень радостное известие. Среди демобилизованных будет мой племянник Ваня Рекубратский, сын Маши.

7 декабря, в дни пребывания Горбачева в США, произошло ужасное несчастье — катастрофическое землетрясение в Армении, сопровождавшееся огромными человеческими жертвами и разрушениями. Горбачев прервал свою поездку и вскоре из Москвы вылетел в район бедствия.

В те же дни, а именно 8 декабря, я должен был по приглашению Миттерана лететь в Париж, на торжественную встречу, посвященную 40-летию Всеобщей Декларации прав человека. Я заранее, еще 7-го числа, узнав от Люси по телефону о землетрясении, написал обращение с призывом о международной помощи Армении, раздавал его корреспондентам в аэропортах и зачитывал на пресс-конференциях. Я прилетел в Париж утром 9 декабря (вместе с Эдом Клайном и его же-

ной Джилл). Вечером туда же прилетела Люся из Москвы по приглашению жены президента Даниэль Миттеран. До ее приезда я успел дать краткое интервью в аэропорту, потом состоялась пресс-конференция в советском посольстве (я согласился на ее проведение еще в США, по телефону) и вечером телеинтервью по популярной французской телепрограмме «Антенн-2». Еще в аэропорту меня встретила Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти, редактор «Русской мысли». Люся ее знала еще с 1975 года и была с ней в очень хороших отношениях. Я познакомился с Ириной Алексеевной в США, куда она специально приезжала. Впоследствии, когда я узнал ее ближе, я тоже вполне оценил ее. Я пригласил Ирину Алексеевну присутствовать на пресс-конференции — она пошла туда, заметив, что впервые идет в советское посольство. На пресс-конференции я был в центре внимания, но кроме меня там был Бурлацкий и кто-то из его группы<sup>7</sup> — они тоже приехали на 40-летие Всеобщей Декларации. Я говорил то же самое, что всегда, быть может даже чуть-чуть резче, чем обычно. Я говорил, что сотрудничество Запада с СССР должно вестись с *открытыми глазами*, с тем чтобы оно способствовало перестройке и поддерживало новые силы. Тут произошел такой эпизод. Бурлацкий, как бы резюмируя мое выступление, сказал, что Запад должен поддерживать перестройку всеми средствами *безусловно*. Мне пришлось перебить его и сказать, что смысл моего вы-



ступления прямо противоположный — никакой (долгосрочной) безусловной поддержки, только такая политика, при которой ясно, что поворот от перестройки будет означать конец сотрудничества Запада и нашей страны. Из группы Бурлацкого выступал какой-то медик и говорил страшные вещи про нашу педиатрию — большая детская смертность, отсутствие лекарств, хороших больниц, одноразовых шприцев и т. п. На пресс-конференции мне был задан вопрос об использовании в СССР психиатрии в политических целях. Отвечая на этот вопрос, я, в частности, обращаясь к редактору «Русской мысли» (в этой газете были по этому поводу напечатаны два письма Подрабиника), сказал, что в моей статье в сборнике «Иного не дано» есть неудачная формулировка: не имея точной и представительной статистики, я не должен был *утверждать* (основываясь лишь на личном впечатлении и личном опыте), что большинство людей, преследуемых по политическим причинам, не являются здоровыми. Эта моя фраза — ошибка.

На следующий день была большая официальная программа. Мы с Люсей имели содержательные, неформальные беседы с премьером Франции и президентом. Нас принимали как гостей Республики — так нам объяснили — с исполнением «Марсельезы» и великолепием церемониала. Трудно было сохранить достаточно важный вид, когда нас вели между двумя рядами гвар-

дейцев в парадной форме, с обнаженными палашами, опущенными к нашим ногам. Основными темами бесед были — трагедия Армении и важность международной помощи, проблема Нагорного Карабаха, вопрос о судьбе иракских курдов. Последний вопрос мы считали необходимым обсуждать, так как знали, что Ирак направил часть своих военных сил, освободившихся после прекращения военных действий ирано-иракской войны, против курдов. В особенности нас волновали сообщения о применении против курдских деревень отравляющих веществ. Мы говорили о курдской проблеме во Франции, учитывая ее тесные связи с Ираком. Премьер-министр Рокар и президент Миттеран подтвердили, что правительство Франции озабочено событиями в иракском Курдистане. Правда, Рокар выражал сомнения в точности сообщений о применении отравляющих веществ (Миттеран — нет). Рокар сказал, что проблема является очень деликатной, затрагивает сложные международные отношения и интересы. Лидер иракских курдов Барзани-младший (сын известного в прошлом лидера) во время войны якобы сотрудничал с Ираном. Рокар и Миттеран заверили нас, что вопрос находится в центре внимания, уже принято (или готовится — не помню) решение о приостановке военной помощи Ираку. Что касается других санкций, то это дело очень сложное, неоднозначное по своим последствиям. Разговоры продолжались во время обеда

у Миттерана и во время ужина после торжественной церемонии во дворце Шайо. На ужине я сидел с госпожой Даниэль Миттеран — она говорила о своих планах помощи жертвам землетрясения и беженцам армяно-азербайджанского конфликта. Люся сидела между Миттераном и Генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльярром. Она пыталась использовать предоставившуюся ей возможность контакта с Генеральным секретарем ООН для разъяснения ему армяно-азербайджанских проблем. Переводчица находилась около меня, так что Люсе пришлось изъясняться по-английски самой, и она после мне сказала, что безумно устала за эти полтора часа. В конце ужина Перес де Куэльяр и Люся подошли к нашему столу, и Куэльяр сказал, что, если бы он знал об армянских проблемах то, что рассказала ему моя жена, он мог бы поставить эти вопросы перед Горбачевым во время их встреч в Нью-Йорке. Но он ничего не знал. Позже Алеша высказал некоторые сомнения относительно его незнания, так как незадолго до этого Генеральному секретарю были посланы армянскими организациями в США материалы о Нагорном Карабахе.

Еще до приезда Люси я вместе с Эдом и Джилл и приставленными ко мне сотрудниками французских сил безопасности совершил небольшую поездку по Парижу. Мы видели Собор Парижской богородицы, зашли внутрь. Это действительно удивительное создание че-

ловческого труда и духа. Можно представить себе, что чувствовал человек XII или XIII века, входящий под эти великолепные, вознесенные ввысь своды, так отличающиеся от того, что окружает его в повседневной жизни. Конечно, мы все в детстве читали Гюго, и образы его книги тоже присутствуют в нашем воображении.

11 декабря мы с Люсей продолжили осмотр Парижа. Люся в 1968 году провела в Париже около месяца, она была одна и свободно ходила, где хотела. Сейчас у нас не было и малой доли тех возможностей, больше же всего сковывало наличие «секьюрити». Все же мы поднялись на Монмартр, посмотрели церковь Сакре-Кэр и видели знаменитых уличных художников. Хотели спуститься на Пляс Пигаль и купить там чулки с люрексом (я говорю в шутку — с люэсом) для наших московских девиц-модниц, но «секьюрити» не разрешили, опасаясь большой толпы и уголовников. Действительно, когда мы проходили по соседней улице в подворотне мы видели весьма специфическую группу молодых людей со злыми, наглыми лицами, с руками в карманах, где вполне можно было предполагать все что угодно — кастет, свинчатку, складной нож с пружиной. Чулки мы купили в безумно дорогом магазине и не совсем такие, как хотели. Проезжая по улице, где расположены секс-магазины и кинотеатры, демонстрирующие картины соответствующего содержания, мы вдруг увидели в окно машины мирно идущую по тротуару знакомую пару.

Это были Булат Окуджава с женой. Потребовалось приехать в Париж, чтобы их увидеть... Мы пообедали в итальянском ресторанчике с Ирой Альберти и Корнелией Герстенмайер, которая специально приехала из ФРГ, чтобы нас повидать (я видел ее впервые). К слову сказать, мы выяснили, что цены во Франции, вообще говоря, выше, чем в США, и это не компенсируется уровнем зарплаты. В дни нашего пребывания в Париже на всех улицах города были страшные пробки. Причина — забастовка работников метро; все, кто обычно им пользовался, ехали на собственных машинах. Нас выручала полиция сопровождения — brave мотоциклисты с жезлами, которые на большой скорости лавировали между машинами, наклоняясь иногда больше чем на 45 градусов.

Вечером мы встретились с нашими друзьями — французскими учеными (в основном, математиками и физиками) в доме одного из них, не помню кого именно. Приехал также Юра Орлов. Вероятно, французы больше других помогали нам в наши трудные годы — я глубоко им благодарен. Квартира, в которую нас привезли, находилась на пятом или шестом этаже старого парижского дома. Было приятно оказаться там среди друзей. Мы очень интересно поговорили «за жизнь», т. е. о положении в Советском Союзе и «куда мы идем». Когда расходились уже поздно ночью, Юра сказал: «Мне приятно, что мои представления оказа-

лись не совсем оторванными от действительности». В этот же (или следующий) вечер мы встречались с Володей Максимовым. Он, как всегда, в пылу борьбы с «носорогами» и их пособниками и пособниками пособников. Зашла речь о Горбачеве. Володя сказал: «Его «вычислило» КГБ, учитывая его положительные и отрицательные качества. Сейчас Горбачеву нет альтернативы, и мы обязаны с этим считаться». Состоялись у нас также встречи с Лехом Валенсой, с министром Франции по правам человека и с Гарри Каспаровым.

## ГЛАВА 5

### Азербайджан, Армения, Карабах

13 декабря мы вылетели в СССР. В Москве к нам пришла группа ученых, имея на руках проект разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Это, конечно, сильно сказано, но, действительно, у них были интересные, хотя и далеко не бесспорные идеи. Они — это три сотрудника Института востоковедения (Андрей Зубов и еще двое, фамилии которых я не помню). Вместе с ними пришла уже знакомая нам Галина Васильевна Старовойтова, сотрудница Института этнографии, давно интересующаяся межнациональными проблемами. Зубов, развернув карту, изложил суть плана. Первый этап: проведение референдума в районах Азербайджана с высоким процентом армянского населения и в районах Армении с высоким процентом азербайджанского населения. Предмет референдума: должен ли ваш район (в отдельных случаях сельсовет) перейти к другой республике или остаться в пределах данной республики. Авторы проекта предполагали, что примерно равные территории с примерно равным населением должны будут перейти в подчинение Армении из Азербайджана и в подчинение Азербайджану из Арме-

нии. Они предполагали также, что уже само объявление этого проекта и обсуждение его деталей повернет умы людей от конфронтации к диалогу и что в дальнейшем создадутся условия для более спокойных международных отношений. При этом они считали необходимым на промежуточных этапах присутствие в беспокойных районах специальных войск для предупреждения вспышек насилия. От Азербайджана к Армении, по их прикидкам, должны бы, в частности, отойти область Нагорного Карабаха, за исключением Шушинского района, населенного азербайджанцами, и населенный преимущественно армянами Шаумяновский район. Мне проект показался интересным, заслуживающим обсуждения. На другой день я позвонил А. Н. Яковлеву, сказал о том, что мне принесли проект, и попросил о встрече для его обсуждения. Встреча состоялась через несколько часов в тот же день в кабинете Яковлева. Я за вечер накануне подготовил краткое резюме достаточно пухлого и наукообразного текста проекта трех авторов. Именно мое резюме я первым делом дал прочитать Яковлеву. Он сказал, что как материал для обсуждения документ интересен, но безусловно при нынешних крайне напряженных национальных отношениях совершенно неосуществим. «Вам было бы полезно съездить в Баку и Ереван, посмотреть на обстановку на месте...» В это время зазвонил телефон. Яковлев взял трубку и попросил меня выйти к секретарю.



рю. Через 10—15 минут он попросил меня вернуться в кабинет и сказал, что говорил с Михаилом Сергеевичем — тот так же, как и он, считает, что сейчас невозможны какие-либо территориальные изменения. Михаил Сергеевич независимо от него высказал мысль, что будет полезно, если я съезжу в Баку и Ереван. «Практически вы могли бы взять кого-либо из вашей «Народной трибуны» (Яковлев нарочно перепутал название) и кого-то из авторов проекта». Я сказал, что я хотел бы в качестве члена делегации иметь мою жену, остальные фамилии я согласую. Если нам будут оформлены командировки, мы могли бы выехать очень быстро. «Конечно, конечно. Резюме, я понял по приписке о комитете «Карабах», писали вы?» — «Да». Речь в приписке шла о членах комитета «Карабах», арестованных в Армении. Как известно, этот Комитет был создан в Ереване для организации поддержки требований армян Нагорного Карабаха и приобрел огромное влияние в республике; фактически именно он проводил грандиозные митинги и, когда выявилась односторонняя, проазербайджанская позиция центрального руководства, участвовал в организации забастовок. В ноябре, когда в ответ на действия Азербайджана началось изгнание азербайджанцев из Армении, члены комитета «Карабах» удерживали людей от эксцессов; там, где они на местах были вовремя, не было ни избиений, ни убийств. В первые часы и дни после землетрясения, в обстановке

всеобщей растерянности Комитет сделал очень много для организации спасательных работ, для помощи пострадавшим. Только Комитет не забыл о деревнях и стал посылать туда помощь. Характерен рассказ одного из моих сослуживцев. Его сын, студент, вместе со многими товарищами с первых часов трагедии добивался возможности выехать в Армению для участия в спасательных работах, но им отвечали, что там и так слишком много народу (то же самое происходило в Харькове, Киеве и других городах). Они связались с членами Комитета в Москве и все же выехали с их помощью. Получилось так, что сын моего сослуживца лично участвовал в спасении трех засыпанных в Спитаке; участники спасательных работ все с горечью говорили, что, если бы помощь была организована раньше и правильно, тысячи людей были бы спасены. Поездка Горбачева в район бедствия не прошла гладко. Ему пришлось выслушать много упреков от несчастных, доведенных до последней степени горя и отчаяния людей, которым уже больше нечего было терять. Он, возможно, считал, что трагедия землетрясения снимет карабахский вопрос, но этого, конечно, не произошло. К сожалению, реакция Горбачева была слишком раздраженной (я бы даже сказал — инфантильно-обидчивой) и недостаточно тактичной в этих трагических обстоятельствах. Он раздраженно говорил о каких-то бородачах, но борода в Армении — знак горя. Сразу по-

сле его отъезда члены комитета «Карабах» были арестованы. Арест был произведен 10 декабря в Доме писателей Армении, где в это время шла подготовка к отправке посылок для деревень в районе бедствия. Арест членов комитета «Карабах» вызвал огромное волнение и возмущение во всей Армении (даже у тех, кто не согласен с их программой). В дальнейшем очень активна была «Московская трибуна». Первоначально в газетах сообщалось, что причина ареста в том, что их деятельность вносила дезорганизацию в спасательные работы. Потом этот аргумент исчез, стали приводиться другие.

В разговоре с Яковлевым я пытался доказать ему, что освобождение членов Комитета совершенно необходимо для успокоения, насколько это возможно, людей в Армении. Он отвечал, что дело в руках органов правопорядка и что никто не вправе вмешиваться. Я спрашивал об августовских указах о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск — он пытался их оправдать. Особенно интересной была реакция Яковлева на мой вопрос по поводу поправок к Конституции и нового избирательного закона — почему такая спешка? «Московская трибуна» сформулировала 4 вопроса и предложила провести по ним референдум. Яковлев воскликнул: «Мы не можем тратить время на референдум. Если мы не будем спешить, нас сомнут!». Он не объяснил, кто, но подразумевалось, что правые противники перестройки и Горбачева. Яко-

влев добавил, что сначала он возражал против некоторых деталей проекта изменений Конституции и выборных правил, но потом согласился с Горбачевым, что на данном этапе, в данной конкретной обстановке наличия правой опасности и недостаточного политического опыта выборов в условиях демократии предложенный Горбачевым путь — единственно возможный. Но, добавил Яковлев, в будущем, несомненно, необходимо многое изменить — это никем не запрещено. В частности, он упомянул двухпалатную систему, прямые выборы президента, правило «один человек — один голос». В заключение беседы Яковлев дал мне отпечаток своей речи в Перми, произнесенной несколько дней назад и не напечатанной в центральных газетах. Он, очевидно, хотел, чтобы я понял, что его позиция является наиболее «перестроечной» во всем высшем руководстве.

В состав группы, которой предстояла поездка в Азербайджан и Армению, вошли Андрей Зубов, Галина Старовойтова и Леонид Баткин от «Трибуны», Люся и я. Встреча с Яковлевым состоялась в понедельник. Во вторник мы оформили командировки и получили билеты в кассе ЦК и уже вечером в тот же день (или, может, все же на следующий?) вылетели в Баку.

В Бакинском аэропорту нас встретил президент Академии наук Азербайджана и кто-то из его вице-президентов, кажется директор Института физики. Меня и в Азербайджане, и в Армении по звонку из ЦК фор-

мально принимали как гостя Академии, быть может даже с повышенным почетом. Был также представитель военной комендатуры, который оформил нам пропуска для проезда в ночное время в условиях комендантского часа, объявленного во время митингов и волнений в ноябре. Было уже поздно — комендантский час начался. На двух машинах мы поехали по направлению к городу. Наш спутник (директор Института физики) сказал: «Девять месяцев у нас было спокойно, но мы в конце концов не выдержали — в ноябре обстановка обострилась и пришлось ввести особое положение и комендантский час. Особенно тщательно охраняются районы с армянским населением». По дороге до гостиницы более 12 раз нас останавливали патрули. Это были стоящие напротив друг друга, один на 5—10 метров дальше другого, танки или боевые машины пехоты, около каждой — группы солдат с автоматами и офицеров, все в касках и в бронежилетах. Офицеры подходили к нам, тщательно проверяли пропуска, потом махали рукой, давая проезд. Солдаты молча стояли рядом. У всех — усталые русские лица, странно много белобрсых парней средней полосы России.

Нас поселили почти единственными постояльцами в большой, явно привилегированной гостинице. Ужинали мы в заново отделанном, сверкающем золотом зале (там же происходили и последующие трапезы, все бесплатно — за счет Академии). На другой день — встреча

с представителями Академии, научной общественностью и интеллигенцией. Она произвела на нас гнетущее впечатление. Один за другим выступали академики и писатели, многословно говорили то сентиментально, то агрессивно — о дружбе народов и ее ценности, о том, что никакой проблемы Нагорного Карабаха не существует, а есть исконная азербайджанская территория, проблему выдумали Аганбегян и Балаян и подхватили экстремисты, теперь, после июльского заседания Президиума Верховного Совета, все прошлые ошибки исправлены и для полного спокойствия нужно только посадить Погосяна (нового первого секретаря областного комитета КПСС Нагорного Карабаха). Собравшиеся не хотели слушать Баткина и Зубова, рассказывавшего о проекте референдума, перебивали. Особенно агрессивно вел себя академик Буниятов как в своем собственном выступлении, так и во время выступлений Баткина и Зубова. (Буниятов — историк, участник войны, Герой Советского Союза, известен антиармянскими националистическими выступлениями; уже после встречи он опубликовал статью с резкими нападками на Люсю и меня.) Буниятов, говоря о Сумгаитских событиях, пытался изобразить их как провокацию армянских экстремистов и дельцов теневой экономики с целью обострить ситуацию. Он при этом демагогически обыгрывал участие в Сумгаитских бесчинствах какого-то человека с армянской фамилией. Во время вы-

ступления Баткина Буниятов перебивал его в резко оскорбительной, пренебрежительной манере. Я возразил ему, указав, что мы все — равноправные члены делегации, посланные ЦК для дискуссии и изучения ситуации. Меня энергично поддержала Люся. Буниятов набросился на нее и Старовойтову, крича, что «вас привезли сюда, чтобы записывать, так сидите и пишите, не вступая в разговор». Люся не выдержала и ответила ему еще более резко, что-то вроде «Заткнись — я таких, как ты, сотни вытащила из-под огня». Буниятов побледнел. Его публично оскорбила женщина. Я не знаю, какие возможности и обязанности действовать в этом случае есть у восточного мужчины. Буниятов резко повернулся и, не произнеся ни слова, вышел из зала. Потом, в курилке, он уже с некоторым уважением говорил Люсе: «Хоть ты и армянка, но должна понять, что все-таки ты не права». Конечно, никакого сочувственного отношения к проекту Зубова и других в этой аудитории не могло быть, вообще никакого отношения, просто отрицалось существование проблемы.

В тот же день была не менее напряженная встреча с беженцами-азербайджанцами из Армении. Нас привели в большой зал, где сидело несколько сот азербайджанцев — мужчин и женщин крестьянского вида. Выступавшие, безусловно, были специально отобранные люди. Они рассказывали, один за другим, об ужасах и жестокостях, которым они подвергались при изгна-

нии, об избиениях взрослых и детей, поджогах домов, о пропаже имущества. Некоторые выступали совершенно истерически, нагнетая опасную истерию в зале. Запомнилась молодая женщина, которая кричала, как армяне резали на куски детей, и кончила торжествующим воплем: «Аллах их покарал» (о землетрясении! мы знали, что известие о землетрясении вызвало прилив радости у многих в Азербайджане, на Апшероне даже якобы состоялось народное гулянье с фейерверком). Мы просили выступавших говорить только о том, чему они сами лично были свидетелями, но бесполезно — атмосфера накалялась все больше. Мы пытались вести диалог с залом, спрашивали — есть ли среди вас желающие вернуться? Дружное *нет, не хотим* было ответом. Мы спрашивали всех выступающих в этом и в меньшем зале, куда мы вскоре были вынуждены перейти: «Что вы сейчас хотите? Какие у вас трудности?». Типичные ответы — помогите получить компенсацию за пропавшее имущество, за дом, помогите получить документы, которые не смогли взять или пропали при изгнании, помогите с жильем и устройством на работу, помогите найти родственников. Пожилой милиционер просил помощи в оформлении пенсии с учетом тех 35 лет, которые он проработал в Армении (его тоже избивали, по его словам). Очень многие говорили об участии местных армянских властей — милиции, партийных работников — в акциях изгнания, в жестокостях и угрозах.



В целом, несмотря на явно подстроенный характер многих рассказов, у нас было несомненное впечатление большой, массовой беды множества людей.

В тот же день у нас состоялась встреча с военным комендантом Баку генерал-лейтенантом Тягуновым. Сам Тягунов имел возможность говорить с нами недолго — менее получаса, из которых он часть потратил на любезности в адрес Гали, после него мы еще столько же говорили с замполитом. До введения особого положения было много эксцессов как в самом Баку, так и в других местах республики. Нам приводили как примеры насилий и жестокости в отношении армян, так и примеры жестокости противоположной стороны по рассказам беженцев. Сейчас в Баку, в основном, спокойно, но работы много, офицеры и солдаты устали спать на броне. Очень напряженно было во время митингов, в которых участвовало до 500 тысяч человек. Митинги шли под антиармянскими и националистическими лозунгами, но были также зеленые мусульманские знамена и панисламские лозунги, портреты Хомейни, правда их было немного. Нам показали красный пионерский галстук, превращенный в косынку с вышитым на ней портретом Хомейни.

Вечером к нам в гостиницу пришли два азербайджанца, которых нам охарактеризовали как представителей прогрессивного крыла азербайджанской интеллигенции, не имевшего возможности выступить

на утреннем собрании, и будущих крупных партийных руководителей республики. Наши гости с восторгом говорили о ноябрьских митингах (фактически они продолжались до 5 декабря), об их высокой организованности и народности, о национальном подъеме. Вокруг митингующих стояли две цепи: внутренняя — афганцы (вернувшиеся из Афганистана солдаты) в полной парадной форме, с орденами на груди, и внешняя — милиция. Было несколько проходов, по которым люди уходили и приходили. Кое-где на площади по шиитскому обычаю резали баранов, горели костры и варился плов. Лозунги, по утверждению наших гостей, в основном были прогрессивные — против коррупции и мафии, за социальную справедливость. Личная позиция наших гостей по острым национальным проблемам несколько отличалась от позиции Буниятова, но не столь кардинально, как хотелось бы. Во всяком случае, Нагорный Карабах они считали исконно азербайджанской землей и с восхищением говорили о девушках, бросавшихся под танки с криком: «Умрем, но не отдадим Карабах!».

На другой день нам устроили встречу с первым секретарем республиканского комитета КПСС Везириным. Большую часть встречи говорил Везиринов. Это был некий спектакль в восточном стиле. Везиринов актерствовал, играл голосом и мимикой, жестикулировал. Суть его речи сводилась к тому, какие усилия он прилагает

для укрепления межнациональных отношений и какие успехи достигнуты за то недолгое время, которое он находится на своем посту. Беженцы — армяне и азербайджанцы — уже в своем большинстве хотят вернуться назад. (Это полностью противоречило тому, что мы слышали от азербайджанцев и, вскоре, — от армян. На самом деле, проблемы недопустимого насильственного возвращения беженцев, их трудоустройства и обеспечения жильем продолжают оставаться очень острыми до сих пор — написано в июле 1989 г.)

Мы спросили его, каково его отношение к нашему проекту. Он сначала высказался отрицательно — никаких проблем нет, все уже решено, ошибки исправляются; потом как бы перестроился и воскликнул: пусть будет один проект, тысяча проектов — мы все их рассмотрим. В конце встречи Люся сказала: «Сейчас у армян, о дружбе с которыми вы говорите, огромная национальная трагедия. Тысячи людей лишились близких, всего необходимого. Само существование нации находится под угрозой. Восточные люди славятся своей широтой, благородством. Так сделайте широкий шаг — отдайте им Нагорный Карабах — как дар другу в беде. Весь мир будет восхищен, на протяжении поколений этот поступок не забудется!». Лицо Везирова сразу изменилось, стало холодным и отчужденным. Он процедил: «Землю не дарят. Ее завоевывают». (Может быть, он добавил: «кровью» — я не утверждаю, что так было сказано.) Мы про-

силы Везирова организовать нам встречу с Панаховым — одним из лидеров на митингах, рабочим. Панахов был арестован, находился под стражей. Везиров сказал, что организация подобной встречи — вне его компетенции. Мы просили его также дать нам возможность после Азербайджана посетить Нагорный Карабах, с тем чтобы уже потом полететь в Армению. Везиров ответил, что наш полет в Нагорный Карабах из Баку — нежелателен; мы должны прибыть туда из Еревана.

Везиров распорядился обеспечить нам билеты на самолет, и вскоре мы уже прибыли в Ереван. Формально у нас там была программа, аналогичная азербайджанской, — Академия, беженцы, первый секретарь. Но в действительности вся жизнь в Ереване проходила под знаком случившейся страшной беды. Уже в гостинице все командированные были прямо или косвенно связаны с землетрясением. Только накануне уехал Рыжков — он руководил правительственной комиссией и оставил по себе добрую память. Все же, как мы вскоре поняли, в начальный период после землетрясения было допущено много организационных и иных ошибок, которые очень дорого обошлись. Конечно, не один Рыжков в том повинен. Одна из проблем, в которую мне нужно было в какой-то степени войти: что делать с Армянской АЭС? Проблема эта была техническая, сейсмологическая, экономическая — поскольку АЭС играла, к сожа-

лению, важную роль в энергетическом балансе республики и ее энергоподаче в соседнюю Грузию. Это также было острой психологической проблемой. Армянский народ находился в состоянии шока, стресса, почти что массового психоза — в результате страшной трагедии землетрясения, на фоне предыдущих драматических событий. Страх аварии АЭС в огромной степени усиливал этот стресс, и его совершенно необходимо было устранить. В холле гостиницы мы встретили Кейлис-Борока, которого я уже знал по дискуссиям о возможности вызвать в нужный момент землетрясение с помощью подземного ядерного взрыва (за 2 месяца до этого я ездил на конференцию в Ленинград, где обсуждался этот вопрос), а также потому, что он был связан по работе с родителями первой Алешиной жены. Кейлис-Борок спешил по каким-то делам, но все же коротко объяснил мне сейсмологическую обстановку как на севере Армении, где проходит один широтный разлом, на пересечении которого с другим долготным разрывом расположен Спитак, так и на юге, где другой широтный разрыв проходит недалеко от АЭС и Еревана. Честное слово, надо быть безумцем, чтобы в таком месте строить АЭС! Но это далеко не единственное безумство ведомства, ответственного за Чернобыль. Все еще не решен вопрос о строительстве Крымской АЭС. В кабинете президента Армянской Академии наук Амбарцумяна я продолжил разговор об АЭС с участием Велико-

ва и академика Лаверова. При беседе присутствовала Люся. Велихов сказал: «При остановке АЭС решающая роль перейдет к электростанции в Раздане. Но там тоже сейсмический район и возможно землетрясение с выходом станции из строя». Люся спросила: «Сколько времени потребуется, чтобы вновь запустить в этом случае остановленные реакторы АЭС?». Велихов и Лаверов посмотрели на нее как на сумасшедшую. Между тем ее вопрос был не бессмысленным. В острых ситуациях пересматриваются границы дозволенного — Люся знала это из своего военного опыта.

На заседании в Академии проект, доложенный Зубовым, не имел сколько-нибудь заметной поддержки. Уже передача Азербайджану района Шуши (населенной азербайджанцами части НКАО, на самом деле оставление ее в пределах Азербайджана) вызвала серьезные возражения присутствующих. Армяне говорили, что в трагической ситуации, в которой оказался народ, все так же критически важен вопрос об Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха), но нельзя даже ставить вопрос о передаче Азербайджану каких-то других территорий. Лишь Амбарцумян говорил о необходимости искать компромиссы. Все говорили о недопустимости ареста членов комитета «Карабах», о том, что их немедленное освобождение во многом будет способствовать снятию напряжения в стране. Очень хорошо и эмоционально выступила Сильва Капутикян, армянская поэ-

тесса, давняя знакомая Люси. Говорили о необходимости закрытия АЭС, о сейсмической опасности в Ереване. В конце собрания меня провели в заднюю комнату, где я имел возможность встретиться с одним из активных членов комитета «Карабах» Р. Казаряном. Он физик, член-корреспондент Академии, уже немолодой человек. Был арестован вместе со всеми 10 декабря, но затем отпущен с подпиской о невыезде. Через несколько дней после нашего разговора вновь арестован. Он рассказал о позиции и работе Комитета, особенно после землетрясения. Казарян особенно убедительно высказался по поводу обвинений в адрес комитета «Карабах», который якобы стремится к захвату власти и отстранению существующих органов власти: «Неужели можно поверить, что мне или другим, имеющим интересную работу и отложившим ее временно в сторону ради интересов нации, может даже прийти в голову мысль добиваться власти?». Баткин и Старовойтова вечером того же дня сумели тайно встретиться с лидерами «Карабаха», находившимися в подполье. Это был целый детектив с паролями, явками, переходами по тайным проходам. Их впечатления не отличались от моих, вынесенных из беседы с Казаряном, но были более детальными.

В это время мы — Зубов, Люся и я — встречались с беженцами. Их рассказы были ужасными. Особенно запомнился рассказ русской женщины, муж которой —

армянин, о событиях в Сумгаите. Проблемы беженцев были аналогичны проблемам азербайджанцев: жилье, работа, которая оказалась невозможна без прописки, брошенные квартиры, утерянные документы, пропавшее имущество. Пожалуй, проблемы были еще более болезненными из-за одновременного потока беженцев из района бедствия, а также потому, что большинство среди беженцев составляли городские жители. Никто из них не хотел возвращения в Азербайджан — сама мысль оказаться вновь в атмосфере ненависти и насилия, угроз и реальной опасности для жизни взрослых и детей была непереносимой. На другой день я встретился с первым секретарем ЦК Армении<sup>1</sup> Арутюняном. Он не стал обсуждать проект. Разговор шел о беженцах, о том, что якобы некоторые готовы вернуться (я отрицал это), о трудностях устройства их жизни в республике после землетрясения. Арутюнян также говорил об актах бесчинств и убийствах в районах, где проживают азербайджанцы, называл цифру 20 или 22 убитых азербайджанца, не считая 8 человек (целая семья с детьми), которые замерзли на перевале, так как шли без теплой одежды. Все эти эксцессы произошли в конце ноября, когда хлынул поток беженцев из Азербайджана. При разговоре присутствовал Баталин (член правительственной комиссии). Я поднял вопрос об АЭС. Я также (или вернувшись в Москву, или, наоборот, до поездки — не помню) позвонил академику А. П. Александрову



ву и просил при решении вопроса об Армянской АЭС учесть мое мнение о необходимости ее остановки. На беседе с Арутюняном был только я, без Люси и других. Около 12 дня мы все пятеро вылетели в Степанакерт (Нагорный Карабах), к нам также присоединились Юрий Рост (фотокорреспондент «Литературной газеты», с которым у нас установились хорошие отношения) и Зорий Балаян (журналист, один из инициаторов постановки проблемы Нагорного Карабаха).

В Степанакерте нас у трапа самолета встретил Генрих Погосян, первый секретарь областного комитета КПСС (это его хотели арестовать азербайджанские академики), человек среднего роста, с очень живым смуглым лицом. На машине он отвез нас в здание обкома, где мы встретились с Аркадием Ивановичем Вольским, в то время уполномоченным ЦК КПСС по НКАО<sup>2</sup> (после января — председатель Комитета особого управления). Вольский кратко рассказал о положении в НКАО. Он сказал: «В 20-х годах были сделаны две большие ошибки — создание Нахичеванской и Нагорно-Карабахской автономных национальных областей<sup>3</sup> и их подчинение Азербайджану. Из Нахичевани вышла вся алиевщина, которая овладела рычагами власти в Азербайджане. Нагорный Карабах стал неразрешимой проблемой для живущего здесь населения». Он рассказал о столкновениях азербайджанцев и армян,

о фактической блокаде армянских районов, о продовольственных трудностях (перекрывалась даже вода, источники которой находятся в азербайджанском районе Шуши), о том запустении, которое возникло в Шуше после того, как оттуда летом 1988 года были изгнаны армяне — строители, мастера. (В начале века Шуша была третьим по значению городом Закавказья, теперь это захолустная деревня.) Мы встречались с представителями армян и азербайджанцев в Степанакерте и в Шуше — эти встречи были во многом похожи на аналогичные встречи в Ереване и Баку. Перед выездом в Шушу Вольский спросил меня и Люсю, не откажемся ли мы от этой поездки: «Там неспокойно». Мы, конечно, не отказались. Вольский сел с нами в одну машину, мы сидели втроем на заднем сиденье, а рядом с водителем — вооруженный охранник. Баткин и Зубов поехали в другой машине, тоже с охраной; Старовойтову и Балаяна Вольский не взял как слишком «одиозных». У здания райкома, когда мы уезжали, толпилась группа возбужденных азербайджанцев. Вольский вышел из машины, сказал несколько слов и, видимо, сумел успокоить людей. Во время самой встречи Вольский умело направлял беседу и сдерживал страсти, иногда напоминая азербайджанцам, что они не без греха (например, напомнил о том, как женщины забили палками одну армянку, но этому делу не было дано хода; была еще страшная история, как мальчики 10–12 лет пытали

электрическим током в больнице своего сверстника другой национальности и как он выпрыгнул в окно). Люся в начале встречи сказала: «Я хочу, чтобы не было неясностей, сказать, кто я. Я жена академика Сахарова. Моя мать — еврейка, отец — армянин» (шум в зале; потом одна азербайджанка сказала Люсе: «Ты смелая женщина»). Люся также сказала, говоря об истории мальчиков: «Я не знаю, кто больше жертва в этой истории — тот, которого пытали, или те, которые пытали. Ужасно, что межнациональная ненависть переходит детям и уродует их души».

Мы совершили поездку в район Топханы, где якобы армяне стали уничтожать священную заповедную рощу и строить экологически опасный завод. Эта провокационная выдумка была напечатана в азербайджанских газетах и вызвала в октябре-ноябре новое обострение азербайджанско-армянских отношений. Мы увидели красивые холмы, справа — дачи азербайджанского начальства. Все эти годы большие начальники (и академики в их числе) проводили тут свои отпуска. Это и была их заповедная роща, ради которой они готовы стоять насмерть (не свою, разумеется). Прямо перед нами был большой холм, без всякой рощи, на котором предполагалось построить лагерь для детей работников небольшого штамповочного заводика, расположенного далеко внизу в долине. Ни в настоящем, ни в будущем не было и речи ни о чем-то экологически

вредном, ни о порубке отсутствующей рощи. Горный воздух, огромный кругозор были, однако, великолепны. Люся высказала мысль, что тут разумнее всего устроить всесоюзный или международный центр для детей-астматиков, реабилитационный центр для детей, пострадавших при землетрясении, а также, возможно, сеть санаториев для взрослых. Все это могло бы быть создано с международной помощью, так щедро поступающей в Армению, дало бы работу и армянам, и азербайджанцам, подняло бы экономику района, сняло бы остроту национальных проблем.

Когда мы прощались с Вольским, он еще раз сказал, что единственным приемлемым выходом из положения является введение особой формы управления, а также совершенно необходима борьба с мафией. Он сказал: «Мафия интернациональна. Они легко находят друг с другом общий язык» (он имел в виду азербайджанцев и армян). Он добавил, что в Азербайджане капитал подпольной экономики составляет 10 млрд. рублей, в Армении — 14 млрд. Его помощник, уже без Вольского, заметил, что, по его мнению, освобожденные члены комитета «Карабах» могли бы способствовать устранению мафии из партийно-государственной структуры Армении.

Вечером того же дня в общежитии шелкоткацкой фабрики, где нас поселили, мы встретились с местными руководителями, входящими в «Крунк» (по-армянски «журавль» — символ стремления на родину; комитет

«Карабах» в Армении — организация, параллельная «Крунку» в Нагорном Карабахе). За ужином они говорили, какие большие опасения вызывает у них план создания особой формы управления. Комитет отстранит все ныне существующие партийные и государственные структуры, но неясно, сможет ли он при этом противостоять давлению Азербайджана. Нельзя также допустить отделения от Нагорного Карабаха Шуши.

Утром мы вылетели в район бедствия. Первоначально предполагалось, что мы на самолете вылетим в Ленинанкан, а оттуда поедем на машинах в Спитак. Но в Ленинанкане по погодным условиям посадка самолета была невозможна, и план пришлось изменить. Мы долетели до Еревана и там прямо на аэродроме пересели на вертолет для полета в район бедствия. Люся и я первый раз в жизни летели на этой удивительной машине, как бы пришедшей со страниц научно-фантастических повестей. Но сейчас это была реальность, и к тому же трагическая. Мы подождали 15—20 минут, пока студенты-добровольцы, работавшие на аэродроме, загрузили вертолет ящиками с продовольствием и теплыми вещами. Мы взяли курс на Спитак. Незаметно влетели в зону землетрясения. По снегу кое-где прошли полосы, под которыми скрыты трещины. Вдруг я увидел разрушенную деревню. Сверху это выглядело обыденно и не страшно. Нет, очень страшно. Полуразрушенные дома

и хозяйственные постройки, все покрыто свежавыпавшим снегом, из-под которого торчат разбросанные, как спички, бревна. Совсем не видно людей.

Мы подлетаем к Спитаку и делаем над ним круг. Внизу видны остовы многоэтажных домов, обрушившихся при землетрясении. На обширных площадях не осталось вообще ни одного целого дома, видны только очертания кварталов, сплошь заполненных обломками. Между кварталами — улицы, большей частью целые. В некоторых местах копошатся группы людей, разбирающих развалины. Их очень мало, на большей части пространства под нами никого нет. В двух-трех местах работают краны. В целом — впечатление смерти и запустения. Вертолет резко разворачивается и летит в сторону деревни, куда мы должны доставить наш груз. Недалеко от города мы пролетели большую деревню, где все разрушено полностью. Балаян говорит: «Это эпицентр землетрясения. 11 баллов. Здесь погибло две с половиной тысячи человек».

Наконец мы у цели. Вертолет опускается на большое заснеженное поле — метрах в 100—150 от разрушенной деревни. Мы видим, как по полю бегут, размахивая руками, какие-то люди. Очевидно, они заметили вертолет еще в воздухе. Впереди бежит несколько вполне крепких на вид мужчин. Вертолетчики разгружают ящики прямо на снег. В это время люди, их уже человек сорок, стоят плотной группой. Прибежавшие первыми мужчины — впереди. Мы заговариваем с некоторыми жен-

щинами. В их деревне, как и повсюду, погибли почти все дети школьного возраста (землетрясение произошло за пять минут до звонка на перемену), в том числе внуки и внучки наших собеседниц. В домах жить нельзя — люди по ночам спят в стогах сена.

В это время вертолетчики, закончив разгрузку, отходят в сторону, и люди с криками, расталкивая друг друга, бросаются к вещам и продуктам. Происходят безобразные сцены, кто-то нахватывает слишком много, кому-то не достается ничего. Наши собеседницы хватают охапки теплых одеял и с хохотом (это слушать ужасно) бегут с ними к деревне. Подъезжает грузовая машина. Двое здоровых парней забрасывают туда ящики с продуктами. Мы пытаемся их устыдить, и они нехотя отдают ящики, но потом кто-то подает им ящики с противоположного борта. Какой-то мужчина открывает банку с детским питанием (дефицит даже в Москве), пробует пальцем на язык. Ему все это ни к чему, и он отбрасывает банку в снег. Поодаль стоит мужчина с красными от слез глазами. Кто-то из нас говорит ему: «Вы плохо одеты, почему вы не возьмете себе чего-нибудь?» — «Я два дня как похоронил жену, я не могу лезть в драку». И отошел в сторону. Женщина с маленькими детьми, которой ничего не досталось, стала громко матерно ругать начальников и советскую власть. Как сказали вертолетчики, подобные сцены повторяются в каждой деревне ежедневно. «Вас они еще стесняются.

Бывают настоящие драки. Нигде нет списков, кто остался в живых, кто в чем нуждается. Начальство растерялось или разбежалось, и само ворует больше всех». Когда вертолет поднялся в воздух, Балаян, потрясенный увиденным, заплакал.

В Спитаке мы опустились на окраине города. У разрушенного дома работали на разборке студенты-добровольцы из Москвы. Они жили тут же в вагончике. Метрах в ста от них работали солдаты. Они доставали трупы из-под развалин, делая глубокие подкопы. Шел 17-й день после катастрофы. Большая часть засыпанных оставалась еще под развалинами; вероятно, большинство из них погибли сразу, другие еще несколько дней подавали голос, потом голоса затихли. Ужасная смерть. В воздухе чувствовался трупный запах. Солдаты и некоторые студенты работали в защитных масках-фильтрах. Все же несколько дней назад одному из солдат удалось найти живую женщину.

Еще с вертолета мы увидели яркие пятна — разбросанные детские вещи, разноцветные пальтишки, рукавички, портфели и ранцы, школьные тетрадки. Ветер шевелил листки тетрадей, мы прочли в одной из них отметку 5 под домашней или классной работой и дату — 5 декабря 1988 года. Смотреть на это без слез было невозможно. А в нескольких шагах дальше лежали куклы и другие игрушки и опять детские разноцветные вещи. Нам сказали, что в школе и в детском саду, которые тут



находились, погибли почти все дети. Люся потом говорила в Ереване, что необходимо собрать эти детские вещи и тетради и, может, устроить что-то вроде музея, а не оставлять их гнить под снегом. Люся зашла в палатку, в которой жили муж и жена. Жену и сына спасли в первые дни грузины из части гражданской обороны, прибывшие под командованием инициативного полковника в первые часы катастрофы. Этого полковника поминают многие добрым словом. Дочь у них погибла. Сына отправили в Грузию для лечения. Все — и жители, и спасатели — жалуется на плохое снабжение, даже воду подвозят с большими перебоями. Денег (обещанные 50 или 100 рублей компенсации — не помню) еще никому не выплатили.

На аэродроме, куда мы вернулись из Спитака, удручающее впечатление произвела на нас плохая организация распределения и хранения предметов помощи пострадавшим, которые поступают со всего мира. В этом было что-то барское и безнравственное...

На другой день перед отлетом в Москву мы с Люсей были у зам. председателя Совета Министров Армении. Мы рассказали ему о том, что мы видели в деревне и Спитаке, предлагали ряд мер по исправлению положения. В частности, мы настаивали на том, чтобы в деревни были посланы толковые люди из институтов и с предприятий, лучше всего студенты старших курсов, которые могли бы на местах организовать состав-

ление списков нуждающихся и распределять помощь. Это нормализовало бы весь конвейер помощи, которая сейчас в значительной степени или попадает не в те руки, или вовсе пропадает. Зампред слушал нас внимательно. Но боюсь, что из наших советов мало что было реализовано. В частности, как рассказал нам Рост, остававшийся в Армении дольше нас, при распределении прибывших палаток повторилось то же безобразие. А часть палаток вообще попала на черный рынок, так же как медикаменты и др.

По прибытии в Москву я немедленно позвонил Яковлеву, рассказал ему о том, что мы видели в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе. Потом я и другие члены экспедиции представили наши впечатления в письменной форме. Кажется, они не очень заинтересовали руководство. Я высказал желание еще раз поехать в Армению вместе с Люсей, исключительно для того, чтобы участвовать в организации помощи. Я сказал об этом Рыжкову по телефону, и он вроде бы склонился нас взять, но потом, возможно под давлением Горбачева, передумал.

## ГЛАВА 6

### Перед Съездом

В конце декабря я выступал на общем собрании Академии наук СССР, посвященном вопросам экологии. Я говорил о всевластии ведомств как основной причине неблагоприятного экологического положения в нашей стране. Я назвал такие ведомства, как Минводхоз, Минэнерго, Министерство лесной и бумажной промышленности<sup>1</sup>. Я сказал об ответственности Академии наук, которая не занимает принципиальной, научно обоснованной позиции по защите среды обитания и по существу является послушной частью административно-командной ведомственной системы, о необходимости независимой от ведомств научно обоснованной экологически-экономической экспертизы крупных проектов и государственных планов в целом как одной из главных задач Академии. Я говорил о двух конкретных проблемах: о необходимости закрытия Армянской АЭС и о прекращении строительства и финансирования канала Волга—Чограй. О первой проблеме и своем участии в ней я уже писал. Как раз в эти дни на заседании специальной комиссии вопрос о закрытии Армянской АЭС был решен — я хотел бы думать, что и мое

вмешательство сыграло тут роль. Во всяком случае, в перерыве общего собрания ко мне подошел Александров и сказал, что он полностью передал мое мнение, хотя он сам и придерживается другой точки зрения. Что касается строительства канала Волга — Чограй, то этот проект бессмыслен с экономической точки зрения (стоимость строительства 4 млрд. рублей — за эти деньги можно построить элеваторы и дороги и сделать многое другое, что в совокупности гораздо важнее возможной выгоды, к тому же в Ставропольском крае нет большого недостатка воды) и крайне вреден и опасен экологически (в Калмыкии велика опасность засоления, отвод воды из Волги окончательно губит осетровое стадо и в перспективе может сделать необходимым уже ранее отвергнутый экологически опасный поворот стока северных рек, которого все еще добивается из своих ведомственных интересов Минводхоз). Проект обсуждался на Президиуме АН. Не доверяя академической бюрократии, четыре академика (Яблоков<sup>2</sup>, Голицын, Яншин и я) послали телеграмму Горбачеву и Рыжкову с изложением нашей точки зрения.

В начале января 1989 года (кажется, 6-го) состоялась встреча М. С. Горбачева с приглашенными представителями интеллигенции — известными писателями, учеными, артистами. Такие встречи уже проводились до этого — в этот раз впервые был приглашен и я. Кроме Горбачева, на встрече присутствовал Рыж-

ков, но не выступал. Встреча началась с довольно длинного выступления Горбачева. Он говорил, что перестройка вступает в самый ответственный период, когда нужно последовательное решение ее задач и в то же время недопустима излишняя поспешность, перескакивание через необходимые промежуточные этапы. Опасность справа и опасность слева одинаково серьезны. В этих условиях важна консолидация всех здоровых сил в стране, объединение вокруг основных целей, при этом вполне допустимо и даже полезно различие в понимании более частных вопросов, если оно не перерастает в склоку, личную вражду. Горбачев, по-видимому, пытался как-то помирить различные группировки в писательской среде, в других областях культуры. Но уже из первых выступлений писателей русофильско-антиинтеллигентского крыла и их идейных противников было видно, что противоречия зашли слишком далеко, чтобы их можно было так просто устранить. Выступавшие далеко не ограничивались вопросами культуры, затрагивая экономические, социальные, межнациональные, правовые вопросы. Краткое содержание выступлений было потом опубликовано в газетах, но более острые места, как общеполитического, так и личного характера, были опущены. Я собирался выступить, но колебался, не вполне понимая, что и как говорить. Когда же я наконец решился, в списке было слишком много ораторов и я не получил слова. В речи

академика Абалкина давалась впечатляющая картина экономического кризиса и делался вывод: «Кавалерийская атака на административно-командную систему не удалась, и мы должны перейти к планомерной осаде». Эта фраза не вошла в опубликованный отчет. Примерно то же говорил Абалкин на XIX партконференции. Мне казалось, что позиция Абалкина неприемлема для Горбачева как слишком радикальная и критическая. Через несколько месяцев я понял, что ошибался.

Ульянов в своей речи затронул вопросы «Мемориала» — в частности, судьбу счета. Виктор Астафьев говорил о том, что указы о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск антидемократичны, содержат возможность расширенного толкования, расправ над мирными демонстрациями и митингами — как это произошло в Минске, в Куропатах, в Красноярске и других местах. Это было одно из наиболее важных выступлений на встрече. Оно «задело за живое» Горбачева. Он стал возражать Астафьеву, приводя в пример события в Сумгаите как доказывающие необходимость быстрого и решительного реагирования. «Мы опоздали в Сумгаите на 3 часа, и произошла трагедия. Рабочие требуют от нас, чтобы мы не допускали анархии». Как мне было ясно, Горбачев смешивал две совершенно различные вещи — преступные акты убийств, насилий, зверств в Сумгаите и конституционные мирные демонстрации и митинги, в которых находит свое выражение

мнение народа. Без демократического движения снизу перестройка невозможна, и бояться этого нельзя. Ссылка на рабочих явно была придумана. Я стал пробираться к трибуне со своего места, расположенного в самом заднем ряду, надеясь получить слово. Но, когда я услышал, что «в Сумгаите мы опоздали на 3 часа», я не выдержал и громко крикнул: «Не на 3 часа, а на 3 дня. На автовокзале стоял батальон, но не имел приказа вмешиваться. До Баку полчаса езды...». Горбачев явно был недоволен моей репликой и воскликнул: «Вы, видимо, наслушались этих демагогов» (он как-то так сказал, что было сначала ясно, что речь идет об армянах-демагогах, потом немного изменил формулировку). Я тут же отдал заранее составленную заявку на выступление, надеясь сказать и об указах, и о «Мемориале», но, как уже писал, не получил слова. Армянский писатель хорошо говорил о Нагорном Карабахе, литовский — о республиканском хозрасчете.

Я подошел во время перерыва к Горбачеву и Рыжкову и говорил об армяно-азербайджанских проблемах — о том, что никак нельзя толкать беженцев на возвращение назад — сейчас нет для этого условий, возможны новые трагедии, о необходимости освобождения членов комитета «Карабах». Горбачев слушал с явным раздражением, Рыжков, как мне показалось, — с интересом. Но возражал мне именно Рыжков, ссылаясь, как и Яковлев, на невозможность вмешиваться в работу

следствия. Рыжков также сказал, что он не может взять меня с собой в Армению — это вызовет нежелательную реакцию в Азербайджане (речь шла об организации помощи). Рыжков сказал, что он получил телеграмму четырех академиков о канале Волга—Чограй. Он не знал, что стоимость строительства канала составляет 4 млрд. рублей, — он думал, что около 2 млрд. Я заметил, что если реально обеспечивать отсутствие фильтрации воды по ходу канала, что абсолютно необходимо с экологической точки зрения, то стоимость возрастет еще больше, чем до 4 млрд. Весь разговор с Рыжковым был очень доброжелательным.

Теперь я, кажется, выхожу на финишную прямую этой главы и воспоминаний в целом — к выборам на Съезд народных депутатов и к самому Съезду. Сначала — летом и осенью 1988 года — я отказался от предложений стать кандидатом на выборы в Верховный Совет (это было еще до принятия поправок к Конституции). Потом, в январе, когда в очень многих институтах моя кандидатура была выдвинута на Съезд, причем часто с наибольшим числом голосов, я решил, что не могу отказываться. Возможно — я этого не помню, — я согласился даже несколько раньше. Не помню же я потому, что в то время был уверен, что выдвижением моей кандидатуры все и ограничится, и я не буду допущен не только на Съезд, но и к выборам. В последнем



я как в воду глядел, но всего хода событий предугадать не мог. В моем согласии стать кандидатом присутствовала также мысль, что участие в Съезде может оказаться реально важным для поддержки прогрессивных начинаний.

Принятый в декабре 1988 года закон о выборах очень сложен. Все же мне придется кое-что разъяснить, иначе многое в дальнейшем будет непонятно. Из 2250 делегатов на Съезд треть (750 человек) выбирается по территориальным округам, треть — по национально-территориальным округам и треть — от так называемых общественных организаций, к которым в числе прочих причислены КПСС (100 мест) и Академия наук СССР (30 мест). Формально выдвижение кандидатов происходит на собраниях трудовых коллективов, но на самом деле закон составлен так, что кандидатом человек становится только после утверждения его окружным собранием в случае территориальных и национально-территориальных округов и так называемым Пленумом центрального органа в случае общественных организаций. Этот пункт закона весьма реакционен, дает возможность аппарату, местным партийным и советским органам осуществлять во многих случаях «селекцию» (отбор) нежелательных кандидатов. К счастью, им это удавалось не всегда. Все же очень важно добиться отмены этого пункта<sup>3</sup>. Что такое «Пленум» — из закона о выборах неясно. В декабре и январе Президиум Ака-

демии наук принял постановление, согласно которому состав Пленума — это члены Президиума Академии наук и члены бюро (руководства) всех Отделений Академии. Сформированный так Пленум должен был 18 января утвердить кандидатуры на 25 мест для выборов на Съезд. Сами выборы были назначены на 21 марта; в них должны были, по решению Президиума, принимать участие все академики и члены-корреспонденты (около 900 голосов), а также около 550 «выборщиков» — по одному от каждых 60 сотрудников институтов Академии. Число мест было 25, а не 30, т. к. 5 мест было выделено научным обществам. Результат был ошеломляющий: только 23 человека получили требуемое большинство голосов. Не получили большинства голосов, в частности, все пользующиеся общественной известностью кандидаты, в их числе я, Сагдеев, Лихачев, Попов и другие, выдвинутые наибольшим числом институтов (я был выдвинут почти 60 институтами). Для того, чтобы число мест не превышало числа кандидатов, Пленум решил передать еще 5 мест научным обществам, т. е. мест в Академии стало 20. Сообщение о результатах Пленума вызвало во всех институтах Академии бурю негодования. Сотрудники Академии справедливо считали, что Пленум проявил неуважение к мнению институтов (по закону Пленум обязан «учитывать» мнение трудовых коллективов, в данном случае институтов, но он проигнорировал это мнение). На собраниях в институ-

тах высказывалось мнение, что результаты Пленума — проявление общего бюрократического отрыва руководства Академии, ее Президиума, от «рядовых» работников научных учреждений, от тех, кто реально делает науку. В общем, возникло общественное движение, переросшее породившую его проблему (как это часто бывает). В московских институтах возникла Инициативная группа, которая взяла на себя координацию всех усилий, связанных с выборами от Академии. От Физического института туда вошли, в частности, Анатолий Шабад и Александр Собынин.

Такие же драматические события, как в Академии, происходили в других общественных организациях и почти во всех территориальных и национально-территориальных округах. Кроме работников аппарата и выбранных им «послушных» кандидатов почти всюду были выдвинуты альтернативные кандидаты, обладающие собственной программой, яркой и независимой позицией. Завязалась, впервые за долгие годы в нашей стране, острая политическая предвыборная борьба. И тут выявилось то, на что даже мы, ведшие в предшествующую эпоху одинокую и внешне безнадежную борьбу с очень ограниченными целями, не решались, не смели надеяться. Многократно обманутый, живущий в условиях всеобщего лицемерия и развращающей коррупции, беззакония, блата и прозябания народ оказался живым. Свет возможных перемен только забрезжил,

но в душах людей появилась надежда, появилась воля к политической активности. Именно эта активность народа сделала возможным избрание тех новых, смелых и независимых людей, которых мы увидели на Съезде. Не дай Бог обмануть эти надежды. Исторически никогда не бывает последнего шанса. Но психологически для нашего поколения обман надежд, вспыхнувших так ярко, может оказаться непоправимой катастрофой.

На Съезд прошла, конечно, лишь малая часть прогрессивных кандидатов. Аппарат, опомнившись от неожиданности первых недель, стал применять все находившиеся в его распоряжении средства — вплоть до подлогов, подмены бюллетеней, не говоря уж о регулировании допуска к средствам массовой информации. Зато те, кто прошел, были уже закаленные борцы.

После 18 января меня (и некоторых других не прошедших в Академии кандидатов) стали выдвигать по территориальным и национально-территориальным округам. У меня нет полного списка этих округов — назову лишь некоторые. Физический институт АН СССР выдвинул меня «по месту работы» в Октябрьском территориальном округе г. Москвы, мое выдвижение поддержали другие расположенные в этом районе институты. Я выступал на предвыборном собрании в ФИАНе, потом на собрании в Октябрьском райкоме КПСС, где встретился с другими кандидатами, выдвинутыми по этому району, в том числе с Ильей Заслав-

ским, молодым инвалидом, предвыборная программа которого включала защиту прав инвалидов СССР. Парадоксально, но Общество инвалидов не вошло в число общественных организаций, имеющих право выдвижения кандидатов. Перед собранием в ФИАНе я, как и все кандидаты, написал предвыборную программу, потом ее несколько раз уточнял<sup>4</sup>.

Другое очень важное выдвижение моей кандидатуры имело место в Московском национально-территориальном округе № 1, границы которого совпадают с границами Москвы. Выдвинул меня сначала «Мемориал», а затем множество учреждений и организаций Москвы. Я присутствовал и выступал на собрании, организованном «Мемориалом». Оно проходило в Доме кино. Уже подъезжая, я увидел протянувшуюся на несколько сотен метров очередь людей, желающих пройти внутрь здания. Это были, в значительной части, знакомые по типу лица — те, что так же простаивают очереди на выставку Шагала или на кинофестиваль, честные и умные, все понимающие, в большинстве своем стесненные материально пролетарии умственного труда. Но были там, без сомнения, и новые действующие лица исторической сцены. Это они через несколько месяцев заполнят гигантскую площадь стадиона в Лужниках. Это люди, выведенные из сна пассивности надеждами перестройки, рабочие и служащие, самая широкая масса интеллигенции. Меня узнали и бурно приветствовали.

Я прошел в зал, был представлен Пономаревым собранию, зачитал свою программу и отвечал на многочисленные, иногда трудные вопросы. Затем состоялось голосование по моему выдвижению в кандидаты — свыше 600 человек в зале и несколько тысяч в других помещениях и на улице, где были установлены динамики и можно было подписывать листы поддержки моего выдвижения. В этот день, как я это ощутил, я получил нравственный мандат на деятельность депутата.

Второй раз я его получил на митинге институтов Академии 2 февраля. Но до этого произошло еще несколько событий. Одно из них — собрание в Московском университете, где я выступал и был выдвинут от МГУ по тому же Московскому национально-территориальному округу № 1. Одновременно со мной был выдвинут от МГУ по этому же округу ректор МГУ Логунов. Всего же по округу № 1 было выдвинуто около 10 человек, среди них — Б. Н. Ельцин. Ельцин в эти дни позвонил мне и сказал, что мы не должны переходить друг другу дорогу. Я согласился с ним, но добавил, что окончательное решение, где баллотироваться, я приму только после того, как пройдут окружные собрания по всем округам, где я выдвинут. Несколько днями позже я сам, по совету Пономарева, позвонил Ельцину и сказал, что готов выступить в его поддержку по тому округу, где он будет баллотироваться, с тем чтобы он тоже выступил в мою поддержку. Это

был, конечно, излишне политиканский шаг, и я скоро стал о нем сожалеть. К счастью, как видно из дальнейшего, этот шаг не имел практического продолжения. Меня выдвинули еще по двум московским территориальным округам и по двум областным, по одному из ленинградских территориальных округов, на Камчатке, на Кольском полуострове и еще в ряде мест — у меня нет полного списка. В частности, меня выдвинули в коллективе объекта. Адамский и другие активисты приезжали, чтобы взять у меня программу и автобиографию. Они заверяли меня, что утверждение моей кандидатуры на окружном собрании практически гарантировано. Но мне казалось неправильным, если я буду избран фактически за мою работу на объекте, во всяком случае с использованием моей известности в этом мире.

2 февраля состоялся беспрецедентный митинг сотрудников научных учреждений Академии наук. Митинг был организован Инициативной группой по выборам в Академии. Группа добилась в Моссовете разрешения на проведение митинга перед зданием Президиума, в большом сквере, где собралось более 3000 человек (по некоторым оценкам более 5000). На ступеньках старого дворцового здания Президиума были установлены микрофоны, перед которыми выступали ораторы и организаторы митинга. Президент Марчук, председатель избирательной комиссии акаде-

мик Котельников и некоторые другие находились на втором этаже здания и изредка выглядывали из окна, отодвинув занавеску. Мы с Люсей приехали на академической машине, я прошел вперед и встал вблизи трибуны, но не выступал. Люся стояла вдалеке от меня. Цель митинга, как она была сформулирована Инициативной группой, — выразить отношение научной общественности к решениям Пленума Академии<sup>5</sup> от 18 января, к позиции Президиума АН и руководства Академии в целом, довести до людей возможность и необходимость исправления создавшегося нетерпимого положения. Сотрудники институтов приходили целыми колоннами, неся транспаранты с лозунгами. Чувствовалась удивительная раскованность, радостное возбуждение тысяч людей, которые вдруг осознали себя некой мощной силой. Это была атмосфера освобождения! В начале митинга Толя Шабад стал читать лозунги на транспарантах, а собравшиеся — громко повторять последние ключевые слова. «На съезд — достойных депутатов!» — Депутатов! «Бюрократам из Президиума — позор!» — Позор! «Сахарова, Сагдеева, Попова, Шмелева — на съезд!» — На съезд! «Президиум — в отставку!» — В отставку! «Президент — в отставку!» — В отставку! «Академии — достойного президента!» — Президента! На митинге было принято несколько обращений, было решено добиваться срыва выборов 21 марта, с тем чтобы



были назначены новые выборы (первоначально предлагалось бойкотировать выборы, затем была принята тактика призвать голосовать против всех кандидатов). После митинга, еще в машине, Люся сказала: «Я была уверена, что ты выступишь и объявишь, что будешь добиваться выдвижения своей кандидатуры в Академии и откажешься от всех выборов по территориальным и национальным округам, чтобы поддержать митинг». Я ответил: «Я понимаю, что очень важно поддержать борьбу в Академии, поддержать резолюцию митинга (мы оба знали, что и в прессе, и на собраниях говорят: зачем беспокоиться о том, что Сахарова и Сагдеева нет в списках кандидатов от Академии? — их уже выдвинули по территориальным округам). Но я чувствую ответственность также и перед теми, кто меня выдвигает и поддерживает по территориальным округам. Поэтому мне трудно принять то решение, о котором ты говоришь». Еще несколько дней я колебался в ту или иную сторону, даже устроил панику в Канаде, куда мы должны были вскоре ехать, отказавшись от поездки, чтобы принять участие в предвыборной кампании. Все фиановцы — Шабад, Файнберг, Фрадкин, Пономарев, а также и некоторые другие просили меня не отказываться от территориальных округов. Лишь за сутки до отъезда на Запад я принял окончательное решение, согласившись с Люсей, и написал письмо в «Московские новости», где сообщал об

отказе избираться по территориальным и национально-территориальным округам<sup>6</sup>.

Одновременно я должен был развязать еще один «узелок». В начале января я согласился встретиться с французским писателем Бару, который в прошлые годы выступал в нашу защиту; я долго откладывал эту встречу, но в конце концов дальше откладывать показалось мне неудобным. Мы довольно долго проговорили на кухне, большей частью говорил я, но несколько раз принимала участие в разговоре Люся. Разъясняя нашу общую точку зрения о необходимости прямых выборов главы государства, она употребила какое-то образное выражение, из которого следовало, что положение не выбранного прямым способом главы государства очень неустойчиво. Все это было не более чем попытка популярно изложить концепцию<sup>4</sup>. Но дальше произошло следующее. Бару опубликовал в ряде газет фрагменты нашей беседы как интервью. Из этого текста многочисленные комментаторы сделали вывод, что мы предсказываем скорое падение Горбачева. Сейчас, спустя полгода, этот эпизод кажется пустяковым. Но тогда нам было неприятно. Редакция «Известий», возможно по просьбе самого Горбачева, попросила меня написать разъяснение. Я это сделал и через Жаворонкова передал его редакции «Известий» и одновременно для «Московских новостей»<sup>7</sup>.

В тот же день мы, на этот раз вместе с Люсей, выехали во вторую в моей жизни зарубежную поездку. Вече-

ром мы прилетели в Рим, где нас встретила Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти. В Италии мы пробыли шесть дней; за это время я встречался в Риме со многими политическими деятелями (с бывшим президентом республики Пертини, который много раз выступал в нашу поддержку, с бывшим премьером — лидером Социалистической партии Беттино Кракси и с нынешним премьером), посетил знаменитую Академию деи Линчей, где меня давно дожидался диплом иностранного члена. Это одна из старейших академий в мире, с именем которой связано начало отхода от умозрительной схоластики средневековой науки, переход к экспериментальному изучению природы. «Линчей» означает «рысь»; как писали основатели академии, это животное обладает остротой взгляда, жадной поиском и исследованием. Чучело рыси стояло в том зале, где мне вручали диплом, и я не преминул использовать этот образ в моем ответном слове.

Центральным моментом в нашем кратком пребывании в Риме было посещение Папы. Люся уже была у Папы в декабре 1985 года — тогда она просила способствовать моему освобождению из горьковской ссылки. Она была глубоко тронута человечностью и отзывчивостью этого человека. Сейчас наши личные обстоятельства были гораздо более благополучными. Мы говорили с Папой о сложных и противоречивых проблемах нашей жизни, я пытался сформулировать

основные принципы политики в отношении перестройки и страны. Я говорю о том же самом при всех встречах с государственными деятелями и в публичных выступлениях. Но в беседе с Папой я почувствовал самую большую, неподдельную заинтересованность и интуитивное глубокое понимание.

Сильным впечатлением было само посещение Ватикана, этого удивительного города-государства, его дворца, в котором сосредоточены большие художественные ценности. Привез нас в Ватикан на своей машине и провез по его прекрасным садам священник, отец Серж. При беседе с Папой присутствовала и переводила Ира Альберти. Во всех наших встречах в Италии роль Иры была огромной. Она прекрасно и умно, с полным пониманием переводила мои не всегда простые и гладкие выступления и ответы на вопросы. Мне кажется, что иногда ее перевод был даже улучшением подлинника. Натерпевшись от многочисленных полужнающих язык переводчиков, мы особенно оценили Ирину помощь. И, конечно, главное, что это была помощь друга, со взаимной симпатией.

После Папы мы встретились с кардиналом украинской католической церкви, затем выехали во Флоренцию. По дороге мне удалось посмотреть собор Франциска Ассизского в Ассизи и фрески Джотто. Было уже поздно, но меня узнал монах-привратник, позвал начальство, и двери собора открылись. Зато во Флоренции не удалось

в этот первый приезд посмотреть ни Уффици, ни Питти. Жили мы во Флоренции, конечно, у Нины Харкевич. Из Флоренции выезжали на машине в Болонью и в Сиену, где мне вручили дипломы почетных докторов университетов; я также провел там пресс-конференции и встречи со студентами и преподавателями, было много интересных вопросов<sup>4</sup>. Сами церемонии вручения дипломов в этих старых университетах (Болонский — вообще старейший в мире) с процессиями докторов в средневековых мантиях, с герольдами и жезлами, старинной музыкой и торжественными речами — были незабываемыми.

В Италии на каждом шагу — ощущение истории, прикосновения к истокам нашей (европейской все-таки) цивилизации. Не всем, конечно, можно гордиться, но это — было и как-то преломилось в настоящем. Даже милая история о том, что члены городского самоуправления Сиены постоянно работали и жили в квестуре, верша дела города, но рядом на площади каждый день казнили преступников и их предсмертные крики мешали работать и спать отцам города — пришлось перенести место казни в другое место. Никому не пришло в голову, что следовало бы отменить такие казни, как колесование, и вообще поменьше казнить. В Риме мы видели Форум, Колизей («Ликует буйный Рим... торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена...»).

Из Италии мы вылетели в Канаду, в совсем другой мир — благополучного, с высоким уровнем жизни, но

никак не самодовольного, не замкнутого в себе настоящего и не очень богатого событиями, трудового, иногда сурового и даже жестокого (индейцам в прошлом веке якобы давали отравленные одеяла) прошлого. Я там сказал в одном выступлении, что Канада в ее сегодняшнем виде могла бы быть образцом для других стран — но как трудно следовать каким-либо образцам.

В Оттаве Люсе и мне вручили дипломы докторов наук; Люся произнесла от нашего имени прекрасное ответное слово, упомянув двуязычие Оттавского университета как пример решения таких трудных для всех проблем. Там равноправны французский и английский языки. Есть фотография — мы оба в мантиях, ей вручают квадратную докторскую шляпу с кисточкой.

В Оттаве на пресс-конференции меня спросил приехавший из Москвы корреспондент АПН: «Завтра вы встречаетесь с премьером и министром иностранных дел Канады. Собираетесь ли вы просить их способствовать освобождению наших парней, находящихся в плену в Афганистане и Пакистане?». Я ответил: «Освобождение военнопленных — не дело Канады. Только признание моджахедов воевавшей стороной, прямые переговоры с ними об обмене военнопленными — ведь в Кабуле и Ташкенте есть пленные моджахеды — могут привести к освобождению советских военнопленных! Наша страна вела в Афганистане жестокую, страшную войну. Мы называем наших

противников бандитами, не признавая их воюющей стороной. А у бандитов не военнопленные, а заложники. Были сообщения, что наши вертолеты расстреливали окруженных советских солдат, чтобы избежать их попадания в плен». Моя последняя фраза была процитирована в советской прессе (сначала, кажется, в «Красной звезде»), вызвала очень резкие отклики крупных советских военачальников, многих читателей, бывших участников войны в Афганистане. Читатели сообщали о фактах героизма советских вертолетчиков, идущих на смертельный риск, иногда гибель, ради спасения попавших в окружение товарищей (что само по себе не противоречит возможности событий обратного рода). Я якобы оскорбил советскую армию, память советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга. Потом эти же обвинения были мне предъявлены на выборах в Академии и на Съезде.

Западная пресса почти не заметила этого эпизода на пресс-конференции. Гораздо большее внимание привлекла другая история, произошедшая тогда же. Люся отвечала на вопрос о еврейской эмиграции из Советского Союза, об отказниках. Она сказала, уже в самом конце: «Есть тенденция, требование всех евреев-эмигрантов из СССР считать политическими беженцами. Это неправильно, несправедливо. Мы всегда боролись за право каждого на свободу эмиграции

и свободу возвращения в свою страну. Но далеко не каждый эмигрант-еврей из СССР, тем более избравший США или Канаду, а не Израиль, — политический беженец. У людей могут быть другие, вполне законные мотивы — желание жить лучше, лучше реализовать свои способности (как они надеются). Но почему эти люди имеют больше прав называться политическими беженцами (и получать связанные с этим преимущества), чем многие беженцы из Вьетнама, Камбоджи и разрушенной Армении?». Это Люсино заявление, которое я излагаю своими словами, обошло западные газеты и вызвало бурю. Люсю обвиняли в антисемитизме и в других смертных грехах. Нас предупреждали, что в Виннипеге, куда мы направлялись, так как я был приглашен участвовать в семинаре по ядерно-резонансному сканированию, нас встретит демонстрация возмущенных евреев. Но обошлось без демонстрации. Что касается семинара, то он действительно был интересным. В Виннипеге мы были также на двух данных в нашу честь обедах. На одном из них в очень богатом частном доме во время обеда на скрипке играл уже немолодой человек. Разговорились. Он еврей из Одессы, там преподавал в знаменитой школе Столярского, играл в большом оркестре. После эмиграции оказался в Канаде. Долгое время был вообще без работы. «Тут нет ни нашей музыкальной культуры, ни традиций. Мне еще повезло, в конце концов меня взяли давать



уроки музыки в одной из городских школ», — сказал он с горечью. Мы с Люсей чувствовали себя неловко, сидя за парадным столом, в то время как артисты — скрипач и его компаньон баянист — играли, стоя в нескольких шагах от нас (в ресторане — другое дело, не знаю почему).

Вторую часть нашей зарубежной поездки мы провели частным образом у наших детей и внуков в США. Пять дней мы с Люсей провели со всеми четверьмя внуками во Флориде, точнее, на курорте Амелия-Айленд у северной оконечности полуострова. Это были прекрасные дни свободного общения с этими маленькими гражданами США, среди природы, на берегу Атлантического океана. Кстати, мы видели там аллигатора в природных условиях.

В США я увидел английский перевод этой лежащей сейчас перед вами книги<sup>8</sup> — многое на беглый взгляд показалось мне не вполне точным. 18 марта я вернулся в СССР, чтобы участвовать в выборах в Академии, и взял с собой часть переведенных глав. В Москве я просмотрел их и отметил не удовлетворяющие меня места (на всю книгу у меня не было ни времени, ни сил). Люся осталась еще на месяц — чуть больше — в США с детьми и внуками. Она работала там (интенсивно и, я думаю, плодотворно) над своей книгой о детстве. В Москве, особенно при мне, у нее нет ни минуты и для более простых и «механических» дел.

В первый день выборного собрания были дискуссии по процедуре и обсуждению кандидатур. Во второй день — собственно выборы и подсчет голосов. При подсчете голосов произошел инцидент — у одного из счетчиков в его пачке бюллетеней было гораздо больше голосов «за», чем у остальных счетчиков. Члены Инициативной группы, присутствовавшие при подсчете голосов в качестве наблюдателей, обратили на это внимание. Они заметили также, что рядом с этим счетчиком на столе, где были разложены бюллетени, стоял его портфель (что, конечно, противоречит всем правилам). Спешно вызванный председатель комиссии акад. Котельников сказал, что подобные отклонения от средних величин бывают и не следует этому удивляться.

К вечеру стали «по знакомству» известны результаты голосования — восемь кандидатов набрали необходимую норму 50% голосов и стали депутатами, 15 получили менее половины и не прошли. (Возможно, один или два из восьми обязаны своей победой счетчику с портфелем.) Таким образом, остались незаполненными 12 мест. На другой день результаты голосования были объявлены на собрании. Было принято решение о проведении новых выборов 13 апреля, с новым выдвижением кандидатов по институтам. В составе Пленума решено было иметь только членов Президиума, без членов бюро отделений (что уменьшало возможность каких-либо неожиданностей). Президиум должен был

назначить новую избирательную комиссию. Институты начали новый цикл выдвижения кандидатур — Инициативная группа наблюдала за этим процессом. Она составила список кандидатов, получивших поддержку нескольких институтов (по группам: более одного, более 10, более 20 и т. п.), и передала этот список в Президиум. В этот раз я получил поддержку почти всех научных учреждений Академии — от более чем 200 учреждений. Президиум пытался еще раз взять контроль над ситуацией в свои руки, разослав новые правила выдвижения «выборщиков» от институтов — число их стало меньше на 140 человек. Но это уже не имело большого значения. Пленум (Президиум) показал, что он работает как послушная машина голосования в руках президента, утвердив все предложенные им кандидатуры и отвергнув все кандидатуры, предложенные мной и другими участниками собрания. Но Марчук в своем списке, не желая опять попадать в конфликтную ситуацию, в значительной мере учел рекомендации Инициативной группы (хотя и с некоторыми далеко не случайными исключениями).

12 или 13 апреля состоялось Общее собрание членов Академии, на котором обсуждались утвержденные Пленумом кандидатуры. Кандидаты говорили о своих программах, отвечали на вопросы, были довольно острые выступления. У входа в здание Университета стояла группа молодых людей, призывавших голосовать про-

тив академика Арбатова. В поддержку Арбатова выступил Ю. Карякин, который сказал, что Арбатов в прошлые годы, когда он пользовался доверием руководства, помогал невинно осужденным. Это ему лично известно. Он также добавил, что те, кто сейчас на улице призывает голосовать против Арбатова, принадлежат к «Памяти». Выступил также Сагдеев; он изобразил прошлую кулуарную деятельность Арбатова в высших сферах как очень прогрессивную и полезную, при этом Арбатову, в качестве цены, приходилось публично выступать с поддержкой официальных заявлений, иногда принимая на себя тяжелый груз позора (то же самое ответил мне Сагдеев, когда я спросил его за несколько дней до этого, почему он поддерживает Арбатова). Арбатова спросили из зала, правда ли, что он уволил недавно нескольких научных сотрудников Института США и Канады, как его в этом обвиняют. В числе уволенных Яковлев. Тот ли это Яковлев, которому когда-то нанес известный урон Сахаров? Арбатов ответил: «Да, тот самый». К сожалению, я никак не вмешался в эту дискуссию, не успев сообразить, как мне надо реагировать. На самом деле, как я думаю, этот эпизод был хорошо разыгранным спектаклем. Меня больше всего смущала позиция Сагдеева. Выступить против Арбатова означало бы, что я не доверяю Сагдееву.

Другой эпизод произошел в связи с моей кандидатурой. После многих хвалебных в мою честь выступлений

к трибуне вышел академик Коптюг, член Президиума Академии. Он сказал: «Меня часто спрашивают избиратели, голосовал ли я на Пленуме 18 января против Сахарова. Я не скрываю этого. Я голосовал *против* и объясню, почему. Я уважаю академика Сахарова за его научные заслуги. Но некоторые пункты в его предвыборной программе являлись, по моему мнению, неправильными и опасными. Он писал о свободном рынке рабочей силы. По существу этот пункт означает призыв к созданию резервной армии безработных, что повлекло бы за собой тяжелейшие социальные потрясения. Сахаров писал также о необходимости передать в аренду землю убыточных колхозов немедленно, еще до начала посевной кампании. Совершенно ясна нереальность этого требования (посевная кампания уже идет). Это опасный экстремизм. В дальнейшем Сахаров изменил эти пункты, тем самым признав их ошибочность. Но первоначально эти пункты были именно такими»\*. Один из выступавших после Коптюга сказал: «Мы должны быть благодарны академику Коптюгу за его выступление. Несомненно, на выборах будут голоса, поданные против Сахарова. Если бы вслух все только хвалили его, наличие голосов против выглядело бы недостойно». Я только

---

\* Кавычки здесь, как и во многих других местах этой книги, не означают буквального цитирования. Я, конечно, писал по памяти.

вечером сообразил, что ссылки Коптюга на то, что ему не понравилась моя программа, не могут быть правильными. 18 января у меня еще не было никакой написанной программы — я ее составил только через несколько дней перед собранием в ФИАНе.

На другой день состоялись выборы. Избранными оказались 12 депутатов, получивших более половины голосов и больше остальных кандидатов. Я был избран, но далеко не с наибольшим числом голосов — я оказался где-то в середине списка избранных. Почти в конце списка был Арбатов. В целом же было избрано много достойных, энергичных людей.

После выборов Инициативная группа не распустилась. Она взяла на себя некоторые функции организационной помощи депутатам-академикам, пыталась, в частности, организовать связь академических депутатов с прогрессивными депутатами из других регионов страны, составила и разослала письмо с изложением тезисов как базы для объединения. В Доме ученых во время Съезда постоянно дежурили представители группы, проходили совещания.

Еще до академических выборов, с конца марта, в Доме политпросвещения на Трубной площади стала собираться группа депутатов Москвы и Московской области. Первоначально их было человек 20—30. После выборов в Академии я тоже (с некоторым запозданием) примкнул к этой группе. В группу вошли многие радикальные

экономисты (Попов, Шмелев, Емельянов, Тихонов, Петраков и другие). Они пытались подготовить для предложения делегатам Съезда документы, содержащие концепцию экономических и социальных реформ и предложения по неотложным экономическим и социальным шагам с целью предотвратить надвигающуюся экономическую катастрофу. Другие депутаты занимались разработкой проекта повестки дня Съезда, предложений по конституционным правилам Съезда и Верховного Совета, порядку выборов депутатов Верховного Совета и по другим процедурным и концептуальным вопросам, которые необходимо будет обсудить на Съезде. Я принял участие в этих дискуссиях и написал документ, фактически содержащий основные мои идеи о необходимости сосредоточения в руках Съезда всей законодательной власти и по национальному вопросу.

Однако я должен вернуться назад и рассказать о событиях в Грузии, которые также вошли в нашу судьбу. В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требования абхазцев об отделении Абхазии от Грузии (и, по-видимому, переходе в состав РСФСР). Абхазцы составляют в Абхазии меньшинство — как они утверждают, в значительной мере в результате политики «грузинизации». Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многотысячном митинге в древнем центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин (мы

имели возможность в этом убедиться) считают недопустимым изменение существующего положения — как по экономическим причинам, так и из-за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорее считаю оправданной позицию абхазцев. Мне кажется, что с особым вниманием надо относиться к проблемам малых наций — свобода и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым. Но в данном случае наиболее существенно, что проходившие в Тбилиси митинги носили мирный и конституционный характер. Тем не менее они стали объектом необычайной по своей жестокости акции. Хочу также отметить, что, по утверждениям многих, лозунги митингов далеко не сводились к абхазской проблеме и отошли от нее в сторону. Главный тезис свелся к слову «суверенитет» (как нас уверяли, не в смысле выхода Грузии из СССР, а в смысле культурной и экономической независимости). Но даже призыв к выходу из СССР не противоречит Конституции... И вот в ночь на 9 апреля произошли потрясшие весь мир события... Как известно, утром 8 апреля по улицам Тбилиси прошли прибывшие в город накануне ночью воинские части, с танками, в устрашающей боевой форме. Этот парад привел к результату, быть может, противоположному замыслу его организаторов — на площадь вечером вышло более 10 тысяч человек, ранее было менее тысячи. В 4 часа утра войска напали на митингующих, разделили толпу на ча-



сти и начали экзекуцию. Людей били саперными лопатками по голове и спине, нанося тяжелые рваные раны, были также применены отравляющие вещества. Особенно сильно пострадали девушки, голодавшие «за суверенитет». При этой акции был убит или получил смертельные повреждения или отравление 21 человек, из них 16 девушек. Среди погибших большинство имели поражение дыхательных путей отравляющими веществами; у двоих, по крайней мере, не было никаких внешних повреждений — таким образом, отравление было единственной причиной их смерти. На предвыборном собрании Академии приехавший в Москву академик Гамкредидзе спросил меня, согласен ли я принять участие в организованной в Грузии Общественной комиссии по расследованию событий 9 апреля. Я согласился. Вскоре я получил сообщения, что находящиеся в больнице люди объявили голодовку, требуя, чтобы военные назвали, какое отравляющее вещество было против них применено, а также требуя приезда делегации Красного Креста. Я позвонил А. Н. Яковлеву и, рассказав ему об этих требованиях, естественно, спросил, кто распорядился вызвать войска. Яковлев ответил, что войска вызвал Патиашвили, бывший первый секретарь ЦК Грузии, так как он паникер, и что наряду со слезоточивым газом «Черемуха» был применен газ Си-Эс, «неизвестно каким образом попавший из Афганистана». Я передал сообщение о Си-Эс через брата Гамкре-

лидзе, но, видимо, никто в те дни не придавал моему сообщению значения.

3 мая я был приглашен в Моссовет для участия во встрече народных депутатов от Москвы с руководителями партии и правительства. На встрече присутствовали Горбачев, Лукьянов, Зайков, кто еще — не помню. Я кратко выступил в защиту предложенной группой депутатов, заседавших в Доме политпросвещения, повестки дня, подразумевавшей сначала широкое обсуждение основных, принципиальных проблем, а затем уж выборы в Верховный Совет и его председателя. Как сказал В. И. Кириллов (депутат от Воронежа) — правда, не на этом заседании, где были только москвичи: «Американский ковбой сначала стреляет, затем думает. Нам бы надо наоборот — сначала подумать, потом стрелять, настрелялись за 70 лет». Я также говорил о необходимости отмены указов о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск и о несовершенной формулировке указов от 8 апреля, которые были призваны заменить статьи 70 и 190<sup>1</sup> УК<sup>9</sup>. Я повторил свой главный тезис, что недопустимо уголовное преследование за убеждения и связанные с убеждениями действия, если это ненасильственные действия и нет призыва к насилию. «Антиконституционные действия» — недостаточно однозначная формулировка. (Потом на Съезде я вновь выступил по этому вопросу.) Отвечая мне, Горбачев сказал: «Демократия

должна себя защищать». Я с места заметил: «Даже нарушая демократию?». Горбачев очень неодобрительно на все это прореагировал. Прекрасно, содержательно выступали экономисты — Попов и Шмелев. Шмелев, в частности, едко возразил одному из выступавших, предлагавшему создать новые ЧК для борьбы с нетрудовыми доходами и злоупотреблениями кооператоров: разрушителями экономики являются те, кто контролирует 95 ее процентов; ЧК начала с борьбы с мешочниками, а кончила 37-м годом. Горбачев, выступая с ответом, сказал, что КГБ будет поручена борьба с рэкетом.

Драматичным завершением собрания было выступление Гдяна. Я должен дать некоторые пояснения. Внедрение в Узбекистане монокультуры хлопка создало в республике очень тяжелую обстановку. Одним из следствий этих трудностей было возникновение так называемой узбекистанской мафии — группы взяточников, казнокрадов и коррумпированных партийно-государственных функционеров во главе с первым секретарем ЦК Узбекистана Рашидовым и садистом-палачом министром внутренних дел республики Яхъяевым. Основой доходов преступников были приписки к количеству произведенного в республике хлопка (сами по себе приписки представляли собой некую форму компенсации за низкие, установленные государством, закупочные цены, и только таким образом производители имели возможность кое-

как сводить концы с концами; но приписки были незаконными и создавали поэтому условия для существования целой мафиозной иерархии взяточников, присваивавших себе часть «незаконных» денег). Конечно, преступники имели очень большую поддержку в Москве, иначе они не могли бы быть безнаказанными многие годы. Расследование этого дела было поручено старшему следователю Прокуратуры СССР Тельману Гдяну, который возглавлял целую группу подчиненных ему следователей. Как писали в наших газетах, работа этих следователей, во всяком случае в начале их деятельности, была достаточно опасной.

Следствие в СССР проходит фактически бесконтрольно. Одна из причин та, что следствие проводится прокуратурой, которой также поручен весь контроль за соблюдением законов в СССР. Результат — систематические нарушения законности и элементарной гуманности в работе следственных органов. Следователи часто добиваются нужных им показаний, применяя варварские методы. В делах политических случаи такого рода более редки (все-таки к ним приковано общественное внимание), но тоже иногда имеют место. Можно предполагать, что у Гдяна были особо большие полномочия и, соответственно, нарушения законности и гуманности тоже были велики.

Широкий общественный интерес к расследованиям Гдяна возник в связи со сведениями, что в ходе следст-

вия его группой собраны материалы, изобличающие высокопоставленных московских покровителей «местных» преступников. Впервые об этом было сообщено в журнале «Огонек» незадолго до XIX партконференции, затем были и другие публикации, создавшие Гдяну и его помощнику Иванову огромную популярность, особенно в среде рабочих, как смелым борцам с коррупцией. Я присутствовал в ФИАНе в начале апреля на выступлении О. Г. Чайковской, постоянного автора «Литературной газеты». Она рассказывала, основываясь на предоставленных в ее распоряжение документах, что Гдяну разрешалось многолетнее содержание подследственного под стражей в необычайно тяжелых условиях подземной тюрьмы. Шестеро подследственных умерли за время следствия, шестеро покончили жизнь самоубийством. Несомненно, публикации были санкционированы на высоком уровне, так же как нарушения сроков содержания подследственных в тюрьме. В то же время Чайковской не разрешали ничего публиковать. Положение резко изменилось в конце апреля. Некоторые высказывают предположение, что это связано с прошедшим в эти дни пленумом ЦК, на котором многие высокопоставленные противники перестройки были вынуждены уйти в отставку.

Если именно среди них были взяточники, то необходимость держать их под угрозой разоблачения отпала; не исключено даже, что с ними было заключено не-

что вроде «джентльменского» соглашения (слово «джентльмен» не случайно тут поставлено в кавычки). Так или иначе, над Гдяном начали сгущаться тучи.

В этих условиях состоялось его выступление в Моссовете 3 мая. Он начал с того, что отверг обвинения в нарушениях закона и в клевете. «Меня обвиняют в государственных преступлениях. Смотрите — перед вами стоит государственный преступник!» — патетически воскликнул Гдян. «Очень может быть!» — крикнул с места Пуго, председатель комиссии партийного контроля, сменивший на этом посту Соломенцева, которого в числе других Иванов упомянул как «проходящего по делу» (не очень однозначная формула). Гдян далее рассказал, что несколько дней назад (уже после апрельского пленума) в камеру подследственного (не помню фамилию) бывшего председателя Совета Министров Узбекистана ночью тайно пришли Генеральный прокурор СССР Сухарев, его заместитель Васильев и полковник КГБ Духанин. Они долго беседовали с подследственным. Утром подследственный написал заявление, в котором отказался от части данных им ранее показаний, а именно — от показаний о даче им крупных взяток высокопоставленным лицам в Москве. Гдян далее сказал: «У меня имеются документы, доказывающие факты преступлений многих высших работников партийного и государственного аппарата. Я прошу вас, Михаил Сергеевич, принять меня, чтобы я мог ознако-

мить вас с этими документами. Я прошу назначить комиссию, состоящую из депутатов Съезда, которая рассмотрела бы материалы дела и выдвинутые против меня обвинения. Никакой другой комиссии я не доверяю и показаний давать не буду». Горбачев слушал молча, не перебивая, с мрачным видом. Потом он сказал: «Это чрезвычайно серьезное дело. Я приму вас. Но, если у вас нет доказательств ваших утверждений, я вам не завижду».

На другой день мы с Люсей вылетели в Тбилиси. Там нас, как я уже писал, поместили в апартаменты над Курой. Справа нам был виден Метехский замок и нависший над водой головокружительный обрыв. Перед революцией в этом замке, превращенном в тюрьму, сидел отец Люси Геворк Алиханов. Ему удалось бежать из заключения, спустившись по канату в ожидавшую внизу лодку. Большевики действительно были отчаянные люди. Но сейчас вся страна стоит перед гораздо более страшным обрывом...

Мы посетили заседание Общественной комиссии и комиссии Президиума Верховного Совета Грузии. Слышали много ужасных рассказов очевидцев событий 9 апреля. Врач «скорой помощи» показал, что беременную женщину, медсестру, дежурившую в санитарной машине (с красным крестом, конечно), солдаты вытащили из машины и избили до смерти. Она даже не была участницей митинга, просто присутствовала на слу-

чай, если кому-либо станет плохо. Мать этой женщины, узнав о гибели дочери, умерла в тот же день от инфаркта. После заседания мы беседовали с бывшим участником афганской войны, который присутствовал при расправе на площади. Он рассказал, что один из солдат, пытаясь оказать помощь двум избитым девушкам, донес их до ограды и перебросил. Офицер крикнул ему: «Андреевский, назад!». Солдат вернулся — его тут же сбили с ног и начали избивать.

Министр внутренних дел Грузии рассказал, что он возражал против вызова войск, обещал справиться с ситуацией собственными силами. Но Патиашвили и его замы, в том числе Никольский (второй секретарь ЦК Грузии; во всех союзных республиках эту должность занимает «человек Москвы»), не согласились.

Мы посетили одну из больниц, где содержались пострадавшие от отравления и избиений. Состояние многих было тяжелое. У многих, конечно, если не у всех, большую роль играл при этом психогенный фактор. Но в основе лежало реальное отравление, реальные травмы. Мы вошли в палату девушки, лежащей с капельницей. Это была одна из наиболее тяжелых больных. Доктор рассказала ее историю. Ее сильно ударили солдаты, но она частично пришла в себя и полубессознательно поползла в их сторону. Тогда они закричали «Ты еще жива, стерва» и стали бить ее ногами, особенно в живот. Один из солдат приложил баллончик с га-



зом прямо к ее лицу и опрыскал в упор. В больнице мы встретились также со студентами, которые в качестве «заместителей» больных продолжали их голодовку. Была угроза распространения голодовки на другие города Грузии. Мы сумели уговорить больных и студентов прекратить голодовку, обещав приложить все усилия для удовлетворения их просьб — в особенности, присылки врачей с Запада. Еще в первую половину дня по Люсиной инициативе мы дозвонились в посольство США и попросили посла США Мэтлока навести справки о газе Си-Эс. Через 2 дня от посла поступила информация. Люся хорошо знала французских врачей из организации «Медицина без границ», которые выезжают во все районы мира, где происходит какое-нибудь бедствие. Через Иру Альберти она связалась с ними. Я позвонил в МИД СССР помощнику Шеварднадзе, и он обещал помочь с оформлением поездки. Конечно, все в нашем бюрократическом мире происходит совсем не гладко, и нам (главным образом, Люсе) пришлось еще много раз звонить Ире, в МИД, в грузинское представство. Не менее сложно было организовать приезд американских врачей аналогичного профиля (среди них были крупные специалисты-токсикологи), тоже по Люсиной инициативе. Приезд этих двух групп врачей (а кроме них, независимо от нас, приехали врачи из Красного Креста) был очень полезным, успокоил людей и тем значительно разрядил атмосферу. Американские

врачи подтвердили применение отравляющих веществ. Наряду с ранее идентифицированными они предполагают применение хлорпикрина.

Перед отъездом из Тбилиси мы имели встречу с патриархом Илией и новым первым секретарем ЦК Грузии Гумбаридзе, сменившим Патиашвили.

Патриарха я спросил, правильны ли сведения — их также повторил Горбачев 3 мая, — что, когда он пришел на площадь уговаривать митингующих разойтись, они оскорбляли его. Патриарх категорически это отрицал.

Я задал Гумбаридзе вопрос, кто ответствен за то, что события 9 апреля приняли такой трагический оборот. Он ответил: «Читайте материалы пленума». Он говорил об апрельском пленуме ЦК и тем самым давал понять, что ответственны консервативные члены ЦК, ушедшие в отставку. Мне тогда этот ответ казался искренним, теперь все для меня не так однозначно.

В Москве продолжались предсъездовские совещания. Меня выбрали так называемым представителем, т. е. я вошел в число 1/5 всех депутатов, которые должны были обсуждать повестку Съезда, — до самого последнего дня не было ясно, когда это произойдет, и эта неясность заставила меня отказаться от давно намеченной поездки во Францию на конференцию по нарушению СР-инвариантности. Поездка хотя бы на один день была бы хоть каким-то знаком вежливости по отношению к пригласившим меня французским ученым

(они больше многих заступались за нас в горьковские дни). Что нельзя поехать на всю конференцию, стало ясно, как только была назначена дата начала Съезда. Потом, конечно, оказалось, что аппарат Президиума Верховного Совета СССР «обошел» нас в вопросе о повестке и сумел навязать без обсуждения разработанную им еще давно повестку дня Съезда, начинавшуюся с выборов Председателя Верховного Совета. Заранее этого предугадать было нельзя.

После одного из заседаний Президиума Академии ко мне подошел академик Кудрявцев, директор Института государства и права, и сказал, что он сейчас работает в комиссии Верховного Совета, которая разбирает заявления, поступившие по делу Гдяна. В этих заявлениях — их очень много — сообщается о серьезнейших нарушениях Гдяном законности. Я спросил: «Избиения подсудимых?» — «Нет, об этом данных нет. Но есть большие нарушения сроков содержания под стражей и другие тяжелые нарушения, бездоказательность многих обвинений. Я хотел бы, чтобы вы были в курсе дела. Вероятно, наша комиссия будет распущена и будет назначена депутатская». Кудрявцев не делал мне никаких предложений, но явно этот разговор был не случайным.

19 мая я слетал на день в Сыктывкар (главный город Коми АССР), где я хотел поддержать кандидатуру Револьта Пименова, того самого человека, с дела которого

(вместе с Б. Вайлем) началось 19 лет назад мое знакомство с диссидентскими судами. В связи с этим делом я встретился впервые с Люсей. Отбыв срок ссылки, Пименов остался в Сыктывкаре, работая по специальности (он математик). Он был выдвинут кандидатом в депутаты; после первого тура выборов осталось два кандидата. Я выступил в Сыктывкаре на нескольких многолюдных собраниях, в том числе и на самом большом заводе города. На собраниях мне задавали много вопросов, не только о Пименове. Постоянными были вопросы о Гдяне, всех волновало, не будет ли в связи с кампанией против него (в эти дни было опубликовано сообщение об отстранении его от следствия) свернуто расследование дел о взяточничестве. Конечно, были также вопросы о том, как я отношусь к Ельцину и Горбачеву. Я был в телецентре, мое выступление о Пименове было записано, но не транслировалось, как можно предполагать — по указанию секретаря обкома Мельникова, одного из самых консервативных ораторов на апрельском Пленуме ЦК. На втором туре выборов, состоявшемся через 2 дня, Пименов не был избран. В городе он получил значительное большинство, но сельские районы поддержали его конкурента (тут бы телевидение могло сыграть большую роль).

Я скажу кратко о моем отношении к Горбачеву и Ельцину. Я считал (и продолжаю считать), что нет альтернативы Горбачеву на посту руководителя страны в этот

ответственный период ее истории. Именно Горбачев был инициатором многих решений, которые за 4 года совершенно изменили всю обстановку в стране и в психологии людей. Конечно, к этим решениям нашу страну неумолимо подтолкнула история, но все же нельзя не учитывать роль Горбачева. При этом я совершенно не идеализирую личность М. С. Горбачева, не считаю, что он делает все необходимое. Я считаю очень опасным сосредоточение в руках одного человека ничем не ограниченной власти. Но все это не отменяет того факта, что Горбачеву нет альтернативы. Я говорил об этом неоднократно на многих собраниях. Лицо М. С. Горбачева осветилось радостью и торжеством победы, когда я повторил эти слова в его присутствии на собрании представителей (я стоял при этом лицом к Горбачеву).

Теперь о Ельцине. Я отношусь к нему с уважением. Но это фигура, с моей точки зрения, совсем другого масштаба, чем Горбачев. Популярность Ельцина — это, в некотором смысле, «антипопулярность Горбачева», результат того, что он рассматривался как оппозиция существующему режиму и его «жертва». Именно этим объясняется, главным образом, феноменальный успех Ельцина (5 или 6 млн. человек — 87% голосов) на выборах в Московском национально-территориальном округе.

Ельцин принимал участие в работе группы, собиравшейся в Доме политпросвещения. Правда, он большей частью молчал. Но иногда его замечания были

вполне разумными. Ельцин, возможно, сыграл определенную роль в том, что заседания Съезда транслировались по телевидению (причем непосредственно, без записи, прямо в эфир). Такая трансляция была обещана Горбачевым 3 мая на встрече с депутатами Москвы. Однако Ельцин во время одной из последних предсъездовских встреч в присутствии Лукьянова и Зайкова встал и сказал: «Здесь передо мной газета с программой телевизионных и радиопередач на ближайшую неделю. В ней не предусмотрена прямая трансляция из зала Съезда — только информация о работе Съезда и беседы с депутатами. Нас, всю страну, пытаются обмануть. Если это произошло по вине К-о (он назвал фамилию — я ее забыл), то он должен быть наказан. Необходимо обязать Комитет по телевидению и радио немедленно принять меры по исправлению ошибки». Лукьянов стал тут же звонить по разным телефонам. На другой день он заверил нас, что недоразумение исправлено.

21 мая в Лужниках происходил большой митинг. Инициатива проведения митинга принадлежала «Трибуне» (кажется, Баткину). Задача, по мысли организаторов, была дать ответ на события в Тбилиси, которые рассматривались как попытка реакции навязать свои «правила игры». Фактически, к моменту проведения митинга акценты сместились, и идея митинга оказалась размытой. Я согласился участвовать в митинге (хотя

Люся считала это решение неправильным). На митинге присутствовали Ельцин и Гдлян. Перед началом выступлений Гдлян подошел ко мне, сказал, что очень рад лично познакомиться. Я поздоровался. Сказал, что я настороженно отношусь к обвинениям против него, но с не меньшей настороженностью отношусь и к его утверждениям. Гдлян сразу как-то помрачнел и отошел в сторону.

У Баткина был заготовлен список ораторов. По моей просьбе я был записан третьим. Первым должен был выступать рабочий одного из московских заводов, затем кто-то из Инициативной группы. Но рабочий не пришел. В это время на трибуну поднялся Ельцин. Баткин и другие организаторы митинга, посоветовавшись тут же у микрофона, предоставили ему первое слово. Ельцин говорил о повестке дня Съезда, разработанной Московской группой, — при этом получалось, что он как бы представляет Московскую группу. (Потом многие говорили, что это был митинг в поддержку Ельцина.) Я тоже хотел говорить о повестке, но многие тезисы моего выступления уже были высказаны Ельциным. Я не сумел перестроиться, и мое выступление оказалось «смазанным».

21 мая — мой день рождения («моё деньрождение», как говорят дети). Но настроение было испорчено. Люся говорила: «Лучше бы ты послушался меня, и мы бы слетали на один день в Париж, где физики заготовили

уникальный торт. А так ты их обидел». Гораздо более удачными и необходимыми были два других митинга в Лужниках, на которых я присутствовал и выступал. На митинге 28 мая было более 200 тысяч человек; я говорил там в ключе своего первого выступления на Съезде.

За неделю до митинга 21-го в Москве мы летали на один день за рубеж — в Милан, на ежегодный съезд Социалистической партии Италии. Ира позвонила нам и просила, если есть возможность, приехать, чтобы поддержать Кракси. Достаточно самого факта присутствия на Съезде, нескольких слов. Кракси и Социалистическая партия больше других поддерживали нас в трудные годы. Мы вылетели в 7 часов вечера, переночевали в Милане в гостинице. Утром, после неизбежного телеинтервью, поехали на съезд. Он проходил в огромном прямоугольном помещении производственного вида. Раньше это был цех какого-то завода. В отгороженной части стоял домик-автоприцеп, где помещался штаб Кракси и его помощники. За легкой стенкой были слышны речи ораторов, аплодисменты, пение песен, напоминавших нам по своему звучанию революционные песни и первомайские демонстрации нашей молодости. Участники собрания то и дело выходили и входили через боковые двери, чувствовали себя свободно. Около получаса мы ждали Кракси, потом он приехал, мы вместе с ним прошли в зал на трибуну, встреченные апло-



дисментами. Кракси представил меня. Я сказал, что мы — моя жена и я — приехали из чувства дружбы и благодарности к Социалистической партии и Беттино Кракси, которые так помогали нам в трудные годы. «Велика была роль и других партий и лидеров, но все же ваша — самая большая». Потом я говорил о положении в СССР, о задачах Съезда, о роли мировой общественности в поддержке перестройки. Упомянул армянскую проблему, необходимость защиты членов комитета «Карабах». Мне подарили букет гвоздик. Я поднял его над головой и воскликнул: «Гвоздики — это символ единства трудящихся. За мир! За вашу и нашу свободу!».

Ира, как всегда, блистательно переводила. Она сказала, что Кракси во время моего выступления сиял.

Сразу после окончания выступления мы поехали на аэродром. До Франкфурта мы летели на маленьком частном самолете, принадлежащем бизнесмену, поддерживающему Социалистическую партию. В кабине очень удобные кресла, в них разместились Ира, Люся и я, перед нашими глазами — цветной экран, на котором видна маленькая фигурка самолета, ползущая по карте Италии, Швейцарии, ФРГ, и данные о полете. Во Франкфурте мы простились с Ирой и на самолете Аэрофлота вечером прилетели в Москву. На такси огромная очередь, пришлось взять «левака» за доллары — за рубли никто не хотел, тоже знамение времени.

## ГЛАВА 7

### Съезд

Итак, Съезд! Он открылся 25 мая в 10 утра в Кремлевском Дворце съездов. Нам выдали талончики с точным указанием места. Делегаты были размещены по территориальному принципу, в пределах делегации — по алфавиту. Рядом со мной сидела Семенова — редактор журнала «Крестьянка». Она то и дело комментировала выступления: «Ну, миленький, что же ты такое говоришь!». Меня она тоже иногда называла «миленьким». С 6 часов утра я не спал, думал, следует ли мне выступать и о чем я должен сказать. Я не подготовил никакого текста выступления — все тезисы держал в голове. Это была, вероятно, ошибка — я переоценил свои психологические возможности. Моя задача оказалась гораздо трудней, чем в Милане. Потом я увидел, что все ораторы читают написанный текст, и последнее свое выступление написал, за исключением вводных и заключительных фраз.

В начале Съезда выступил депутат Толпежников от Латвии. Он предложил почтить память погибших в Тбилиси (все встали) и внес депутатский запрос: «Требую сообщить, кто отдал приказ об избиении мир-

ных демонстрантов в городе Тбилиси и применении против них отравляющих средств...». На этот запрос ответа так и не было дано. С самой первой минуты Съезд принял предельно драматический характер и сохранил его до конца.

После того как было зачитано предложение по повестке дня, основанное на проекте аппарата Президиума, я попросил слова. Горбачев тут же дал мне его. После моего выступления ко мне подошел сотрудник секретариата и попросил внести исправления в стенограмму и подписать ее. Я внес в текст два мелких стилистических исправления. Одна фраза в стенограмме была записана совершенно неправильно; я не мог вспомнить точно, что я сказал, и просто ее вычеркнул. Сейчас я попытался восстановить эту фразу. Ниже я также опустил одну неудачную фразу (кажется, я ее вычеркнул и в стенограмме или как-то исправил). В тексте, опубликованном в «Известиях», и в бюллетене Съезда все мои исправления не учтены. Почти с первых секунд моего выступления в зале начался шум, хлопанье и выкрики, в конце все это перешло в открытую обструкцию.

Исправленная стенограмма текста моего выступления:

**«Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух принципиальных положений, которые стали основой**

проекта повестки дня, составленного группой московских депутатов в результате длительной работы. Этот проект был поддержан также рядом депутатов страны. Мы исходим из того, что данный Съезд является историческим событием в биографии нашей страны. Избиратели, народ избрали нас и послали на этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш Съезд не может начинать с выборов. Это превратит его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава. То, что предусмотрена ротация, это ничего не меняет, тем более что в спешке, очевидно, ротация составлена так, что только 36 процентов — я основываюсь на Конституции — только 36 процентов депутатов имеют шанс оказаться в составе Верховного Совета.

На этом основан первый принципиальный тезис, содержащийся в проекте, представленном московской группой.

Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки дня Съезда Декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, перестройка — это революция, и слово «декрет» является самым подходящим в данном случае. Исключительным правом Съезда народных депутатов СССР является принятие законов СССР, назначение высших должно-

стных лиц СССР, в том числе Председателя Совета Министров СССР, Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР. В соответствии с этим должны быть внесены изменения в те статьи Конституции СССР, которые касаются прав Верховного Совета СССР. Это, в частности, статьи 108 и 111.

Второй принципиальный вопрос, который стоит перед нами, — это вопрос о том, имеем ли мы право избирать главу государства — Председателя Верховного Совета СССР — до обсуждения, до дискуссии по всему тому кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей страны, которые мы обязаны рассматривать. Всегда существует порядок: сначала обсуждение, сначала представление кандидатами их платформ, а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед всем нашим народом — это мое глубокое убеждение, если мы поступим иначе. Этого мы сделать не можем. (Аплодисменты.)

Я неоднократно в своих выступлениях выражал поддержку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. (Аплодисменты.) Этой позиции я придерживаюсь и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной. Но такие люди могут появиться. Моя поддержка носит условный характер. Я считаю, что необходимо обсуждение, не-

обходимы доклады кандидатов, потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех выборов, в том числе и выборов Председателя Верховного Совета СССР. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим именем связано начало процесса перестройки и руководство страной на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях, и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть наша позиция. Самое главное, о чем он и другие кандидаты должны сказать, — что они собираются делать в ближайшем будущем, чтобы преодолеть то чрезвычайно трудное положение, которое сложилось в нашей стране, что они будут делать в перспективе». (Обструкция в зале достигла предела.)

Горбачев М. С.:

«Давайте договоримся, что если кто хочет в порядке обсуждения высказаться, то — до 5 минут максимум. Заканчивайте, Андрей Дмитриевич».

«Сейчас я закончу. Я не буду перечислять все вопросы, которые считаю нужным обсудить. Они содержатся

в нашем проекте. С этим проектом, я надеюсь, депутаты ознакомлены».

Громко, пытаюсь перекрыть шум в зале:

«Я надеюсь, что Съезд окажется достойным той великой миссии, которая перед ним стоит, что он демократически подойдет к стоящим перед ним задачам».

Я не перечислил всех основных, принципиальных вопросов, стоявших, по моему мнению, перед Съездом, кроме вопроса о власти, отраженного частично в Декрете (более развернуто в моем выступлении в последний день Съезда). Это — национально-конституционная реформа, проблема собственности на землю, выработка единого закона о предприятии. Я предполагал, что эти вопросы будут подняты другими депутатами. Кроме того, на меня психологически давил лимит времени.

После меня выступал Г. Х. Попов. Он пытался найти компромиссную формулировку повестки дня (исходя из тезиса, повторенного им: «Политика — искусство возможного»). Большинство Съезда не было готово к какому-либо компромиссу — это стало ясно и участникам Съезда, и телезрителям.

В дальнейшем сама логика драматических дискуссий и событий в этот и в последующие дни Съезда привела к радикализации позиции многих депутатов. В течение

Съезда непрерывно увеличивалось число депутатов, голосовавших «как наши» по острым, принципиальным вопросам, разделявшим Съезд на две противостоящие группировки. Конечно, была большая группа консервативных депутатов, на которых никакие аргументы и факты не могли подействовать. Но очень многие оказались способны к пересмотру своей позиции. Если бы Съезд продлился еще неделю, то не исключено, что «левое» меньшинство превратилось бы в большинство. Еще гораздо важнее, что подобная же эволюция происходила по всей стране, прильнувшей в эти дни к экранам телевизоров. Интерес к передачам со Съезда был огромным. Люди смотрели дома и на рабочих местах, некоторые брали отпуска, чтобы иметь возможность смотреть передачи. Всюду, где собирались люди, — на работе, в транспорте, в магазинах — происходило оживленное обсуждение событий Съезда.

Каков же главный политический итог Съезда? Он не решил задачи о власти, оказался по своему составу и по позиции Горбачева неспособен к этому. Поэтому он не мог также заложить основ кардинального решения политико-экономических, социальных и экологических проблем. Все это — дело ближайшего будущего, жизнь нас торопит. Но Съезд полностью разрушил для всех людей в нашей стране все иллюзии, которыми нас и весь мир убаюкивали и усыпляли. Выступления ораторов со всех уголков страны, не только «левых», но



и «правых», за 12 дней сложились в сознании миллионов людей в ясную и беспощадную картину реальной жизни в нашем обществе — такой картины не могли создать ни личный опыт каждого из нас, каким бы трагическим он ни был, ни усилия газет, телевидения и других средств массовой информации, литературы и кино за все годы гласности. Психологические и политические последствия этого огромны и будут сказываться длительное время. Съезд отрезал все дороги назад. Теперь всем ясно, что есть только путь вперед или гибель.

В дни Съезда у нас с Люсей сложился особый быт. Утром меня отвозил к Кремлю, к Спасской башне, академический водитель, я его отпускал и шел к Дворцу съездов (минут пять по внутренней территории). Люся же включала телевизор и, не отрываясь, смотрела и слушала. (Время от времени ей звонила Зоря — двоюродная сестра — или еще кто-либо из Москвы или Ленинграда и возбужденно спрашивал: «Ты слышала, что они сказали? Что это значит?».) Как только объявлялся перерыв, Люся бежала к машине, подъезжала к Спасской башне и ждала меня у цепи, которой была отгорожена центральная часть Красной площади, закрытая в дни Съезда для всех, кроме его участников. Я выходил, и мы вместе ехали обедать в ресторан гостиницы «Россия», потом она подвозила меня к Кремлю и возвращалась к телевизору. Вечером она вновь встречала меня. В эти напряженные дни мы были духовно вместе.

Я не могу и не должен пересказывать события Съезда — все это есть в бюллетенях Съезда и в «Известиях». Несомненно, каждый день, каждое выступление на Съезде заслуживает самого тщательного изучения и анализа. Ограничусь тем, в чем участвовал лично я, и то с отбором, а главное — расскажу о некоторых закулисных событиях.

В первый день Съезда все было сосредоточено вокруг выборов Председателя Верховного Совета. В перерыве, когда я получал какие-то документы, ко мне подошел А. Н. Яковлев. Он сказал: «Вы хорошо выступали. Но сейчас главное — помочь Михаилу Сергеевичу. Он принял на себя огромную ответственность и ему по-человечески очень трудно. Практически он один поворачивает всю страну. Выбрать его — значит обезопасить перестройку». Я сказал: «Я знаю, что нет альтернативы Горбачеву, всегда об этом говорю. Но мое отношение к нему в последнее время перестало быть таким однозначным». Яковлев: «Очень жаль! Вы глубоко ошибаетесь, и...». Вокруг нас стали собираться люди — Яковлев оборвал фразу и отошел в сторону.

Выступая в дискуссии, я сказал:

«...Хочу вернуться к тому, что я сказал сегодня утром. Моя поддержка лично Горбачева на сегодняшних выборах носит условный характер. Я ее поставил в зависимость от того, как будет проходить дискуссия по основ-

ным политическим вопросам... Мы не можем допустить того, чтобы выборы шли формально — в этих условиях я не считаю возможным принимать участие в выборах».

Потом были вопросы к Горбачеву — их было явно недостаточно (главным политическим был вопрос о совмещении должностей генсека и председателя ВС). Отпали альтернативные кандидатуры (Оболенского не включили в список с помощью «машины голосования»; Ельцин сам снял свою кандидатуру — в своем выступлении он сказал, что поступает так в соответствии с резолюцией XIX партконференции и майского Пленума ЦК).

Когда началось обсуждение вопроса о счетной комиссии, я встал со своего места и вышел из зала; я чувствовал при этом на себе взгляды тысяч людей. На другой день Горбачев спросил меня, почему я ушел с голосования. Я сказал, что по тем принципиальным соображениям, о которых я говорил. «Но ведь была дискуссия». — «Это было не совсем то».

Как писал Питер Реддавей в одной из своих статей (цитирую по памяти, приблизительно), дело Гдляна и дело о событиях в Тбилиси — это две бомбы замедленного действия. Получилось так, что я оказался в стороне от этих двух бомб.

В один из первых дней Съезда ко мне подошел президент Академии наук Узбекистана. Он сказал: «Так называемое узбекское дело обросло ложными вымыслами,

которые оскорбляют и глубоко ранят узбекский народ. Мы все знаем вашу честность, ваш авторитет. Было бы очень важно, чтобы вы вошли в комиссию по расследованию дела Гдляна». Я ответил: «Я не могу этого сделать. Чтобы разобраться в этом деле, человеку со стороны нужны многие месяцы. А без этого он сам рискует потерять авторитет».

26 или 27 мая ко мне подошел Гдлян. Он сказал: «Когда вы выходили из зала, чтобы не голосовать за Горбачева, мы с Ивановым хотели присоединиться к вам. Но мы под следствием, поэтому мы воздержались». Я сказал: «Мне бы хотелось, если вы не против, задать вам несколько вопросов. Утверждают, что многие показания о взятках были даны в результате угроз, психологического давления, непомерно длительного содержания под стражей в нечеловеческих условиях. И что люди сейчас отказывается от этих показаний». Гдлян: «Те, кто сейчас отказываются, находились в Ташкенте в условиях литерного содержания. Именно сейчас, в Москве, они находятся в худших условиях. Длительное содержание под стражей было необходимо. Но разрешения давал не я — эти разрешения всегда давала Москва». (Выступая 3 мая, Гдлян сказал: «Говорят, что я держал в тюрьме детей. Но этим детям по 40 лет, и только так можно было вернуть награбленные ими миллионы народных денег».) — «Ваше мнение о Галкине?» (Галкин — новый старший следователь по «узбек-

скому делу» после отстранения Гдяна; он спустил на тормозах расследование по Сумгаиту; по-видимому — если там не было однофамильца — он же ранее вел многие диссидентские дела, включая дело Шихановича<sup>1</sup>). — «Галкин — мой старый друг. Его вина (или беда) — он не умеет противостоять давлению начальства. Я никогда не поддаюсь на давление». Через несколько часов после разговора с Гдяном мне передали по рядам письмо. На конверте надпись: Сахарову А. Д., Гдяну Т. Х. Я разорвал заклеенный конверт. Письмо было без подписи. Сообщалась фамилия человека, который якобы может подтвердить факт получения М. С. Горбачевым взятки в 160 тысяч рублей во время работы в Ставрополе. Этот человек — якобы водитель (или учитель), сообщались два его телефона. Также утверждалось, что Горбачев получал взятки от работавших в городе армян-строителей, якобы это общеизвестно. Письмо без подписи, в котором указываются фамилии и телефоны других лиц, всегда смахивает на провокацию. Я все же решил отдать письмо второму адресату. Гдян взял конверт с безразличным видом.

Вскоре после этого (30 мая) на Съезде обсуждался вопрос о комиссии «по Гдяну». Президиум составил большой список членов, председателем был назван Рой Медведев. Меня в списке не было. Тут выступил кто-то из узбеков (кажется, Мухтаров), воскликнув: «Медведев — из этих, из пишущих, такой председатель не мо-

жет быть объективным». Мухтаров не был, видимо, в курсе того, что кандидатура Медведева, несомненно, подверглась предварительному «изучению», подобно тому, что происходило со мной. Председательствующий на собрании нашел выход из ситуации, предложив перенести обсуждение списка на более позднее время. «А председателя пусть назовут сами члены комиссии». Через два дня список, составленный Президиумом с некоторыми коррективами, был представлен Съезду — Р. Медведев вновь был председателем комиссии, Мухтаров уже не возражал. Одновременно со списком Президиума группа депутатов из Свердловска предложила альтернативный список для комиссии по делу Гдяна. В числе других в качестве члена там был назван Леонид Кудрин. Он — бывший судья, отказался от этой должности и от партийного билета, так как не мог смириться с давлением, оказываемым на суд, теперь работает грузчиком и прошел на Съезд после ожесточенной борьбы. Я еще накануне хотел предложить его кандидатуру на пост председателя комиссии. Теперь я сказал:

«Дело Гдяна имеет две стороны. Это не только расследование деятельности этой следственной группы, в которой, возможно, были серьезные нарушения. Но это также расследование тех обвинений, которые брошены высшим слоям нашего аппарата, нашего общества. В нашей стране возник серьезный кризис доверия

к партии, к руководству (этой фразы нет в стенограмме, но я ее произнес!). Обе стороны этого конфликтного дела должны быть объективно рассмотрены... Председателю комиссии должен поверить народ, рабочий класс (этой фразы также нет в стенограмме). Человек с биографией Кудрина кажется мне поэтому подходящим на пост председателя комиссии».

Я рассказываю этот эпизод по памяти. В опубликованной в бюллетене версии он выглядит несколько иначе. Получается, что Мухтаров возражал не против Медведева, а против двух журналистов из альтернативного списка (один из них с Сахалина). При этом он якобы сначала просит отвергнуть весь список в целом, а потом тут же — исключить из него журналистов, «так как Гдян и Иванов находятся в теплых объятиях моих дорогих коллег из Москвы». Все это выглядит нелогично. Если правильна моя версия, то попытка как-то смазать дискуссию относительно Медведева весьма симптоматична.

30 мая на Съезде происходили и другие в высшей степени драматические события. Депутат от Каракалпакской АССР Каипбергенов говорил о трагедии Приаралья. Она по своим масштабам и затяжным последствиям сопоставима с последними мировыми катастрофами. На один гектар земли Каракалпакии, Хорезмии и Ташаузской области ежегодно выпадает 540 килограммов песка с солью, выносимых с высохшей бывшей акватории

Аральского моря. Наука еще не сумела ни одного клочка земли в Каракалпакии очистить от гербицидов, пестицидов и ядохимикатов, которые вываливались тоннами на каждый гектар. В Приаралье люди умирают неестественной смертью — они обречены на вымирание. Резко возрос процент уродов среди новорожденных. Из каждых трех обследованных в АССР двое больны брюшным тифом, раком пищевода, гепатитом. Среди больных — большинство дети. Врачи не рекомендуют кормить детей материнским молоком... Оратор сказал: «Первое — я требую создать депутатскую группу Съезда народных депутатов с чрезвычайными полномочиями (пока этот трагический призыв повис в воздухе, как и многое другое на Съезде!). Второе — быстро и резко сократить посеы хлопчатника. Торговать хлопком — это в прямом смысле торговать здоровьем своих сограждан. Надо официально объявить Приаралье зоной экологического бедствия и призвать на помощь мировое сообщество. Но пока берега Арала — засекреченная территория».

Это выступление было одним из самых страшных на Съезде, наравне с выступлениями, рассказывающими о бедствиях Узбекистана и вымирающих северных народов, о бедствиях зон радиационного поражения от Чернобыльской аварии, об отравлении воздуха и воды в центрах большой химии и металлургии. В области экологии положение в нашей стране трагично. Эта беда в значительной мере связана с эгоизмом и безнаказан-



ностью гигантских сверхмонополий — ведомств, так же как и другие трудности нашей жизни.

Съезд перешел к грузинскому вопросу. Первый оратор, Гамкрелидзе, сказал: «Безнаказанность виновных будет воспринята общественностью как всевластие высшего партийного аппарата и военного командования. Планируемая акция такого масштаба, с такими политическими последствиями должна быть заранее известна высшему руководству страны». Потом выступал Родионов, командующий войсками Закавказского военного округа. Он утверждал, что события в Тбилиси были вовсе не мирными — они создавали огромную угрозу стабильности в стране. Родионов отрицал применение химических веществ, кроме «Черемухи», обосновывая это тем, что в толпе были «переодетые работники милиции и КГБ» и они не пострадали, Родионов утверждал, что все действия солдат были сугубо оборонительными, вызванными неожиданно сильным вооруженным сопротивлением экстремистов. «Мы киваем на 37-й год, а сейчас тяжелее, чем в 37-м году. Сейчас могут о тебе говорить, что вздумается, и оправдаться нельзя». Выступление Родионова было встречено частью депутатов и «гостей» продолжительной овацией, многие аплодировали стоя. Другие кричали: «Позор!», «Долой со Съезда!». В бюллетене стыдливо: «Продолжительные аплодисменты».

Одним из самых драматичных моментов Съезда было выступление Патиашвили, бывшего первого секретаря ЦК Грузии. Он сказал: «Я лично не уходил и не уходил от ответственности. Большой ошибкой посчитали (он не сказал, кто «посчитали»), что мы поручили командование операцией генералу Родионову. Но это было сделано после того, как 8 апреля утром лично генерал-полковник Родионов вместе с первым заместителем министра обороны СССР генералом Кочетовым пришли ко мне и сказали, что руководство (операцией) возложено на генерала Родионова» (я помню, что Патиашвили также упомянул в своем выступлении, что до этого был звонок из Москвы Чебрикова — в бюллетене этой фразы нет). Патиашвили сказал в другом месте, что он (первый секретарь ЦК!) не знал (утром 7 апреля) о прибытии в Тбилиси Родионова и Кочетова, хотя последний находился в Тбилиси уже более суток. Цитирую далее по памяти: «Я (т. е. Патиашвили), к сожалению, не спросил тогда, кем возложено...» В бюллетене же написано очень странно. После слов «возложено на генерала Родионова» в тексте многоточие... и далее: «Я знал, что вы этот вопрос зададите (непонятно, какой вопрос). К сожалению, я этот вопрос не задал, а этот вопрос я задаю сегодня... Когда в 5 часов утра сообщили, что два человека погибли, я собрал бюро и подал в отставку, так как считал себя не вправе возглавлять партийную организацию. В этот момент я не

подозревал об использовании лопат и химических веществ, иначе, я прямо, искренне заявляю, ни в коем случае не подал бы в отставку. Может, и наверняка, после этого больше был бы наказан, но ни в коем случае не ушел бы (сам) в отставку... Товарищ Родионов категорически отрицал использование лопат. Даже после пребывания в республике членов Политбюро товарищи не признавались. Только на третий день они признались (до этого центральная пресса и телевидение сообщали, что люди погибли в давке. — А. С.). А насчет газов — это позднее было, в конце апреля... Это было неправильно, что по программе «Время» прошло, что командующий отказывался» (в бюллетене многоточие; на самом деле, речь шла о том, что якобы Родионов отказывался возглавить операцию; об этом говорил сам Родионов и — кажется, но я не уверен — Шеварднадзе, выступая по грузинскому телевидению). Далее в бюллетене совсем непонятно. В действительности произошла предельно драматическая сцена. Патиашвили явно решился в конце выступления, в состоянии эмоционального стресса, перед лицом всей страны сказать что-то очень важное. Но в это же время на него крайне усилился психологический нажим зала, в особенности его правого крыла. Патиашвили не давали говорить, выкрикивали оскорбительные вопросы (это выглядело как попытка заткнуть рот). Он был вынужден сойти с трибуны, прошел несколько шагов, остановился в му-

чительной растерянности и повернул обратно к трибуне. Шум в зале многократно возрос, перерастая в рев. Патиашвили дошел до трибуны, опять остановился. Потом весь как-то сжался, повернулся и почти бегом спустился в зал.

30 мая обсуждалась также комиссия по Тбилиси. Там была и моя фамилия. Я написал записку в Президиум с просьбой не вводить меня в комиссию, так как у меня были в прошлом длительные и сложные отношения с некоторыми из грузинских «неформалов». Я имел в виду в особенности Гамсахурдиа и Коставу (я неоднократно выступал в защиту Мераба Коставы, последний раз — в 1987 году). На заседаниях комиссии неизбежно должен встать вопрос об их роли, и я буду в ложном положении. Но у меня была и другая причина (я сказал о ней в интервью грузинскому телевидению — ко мне они подошли на улице перед Дворцом съездов; о том же самом говорил на Съезде президент грузинской Академии наук Тавхелидзе): никакой необходимости в комиссии нет — есть один требующий ответа вопрос, сформулированный в депутатском запросе, — кто отдал приказ об избивании мирных демонстрантов и применении отравляющих веществ, о проведении по существу карательной акции? Создание новой комиссии вместо ответа на вопрос не приблизит нас к его решению.

В первые дни после 9 апреля в Тбилиси получил распространение слух, что Горбачев якобы звонил в Моск-

ву из Англии и настаивал на мирном разрешении конфликтной ситуации в Тбилиси. Мне неизвестны какие-либо подтверждения справедливости этого слуха. Сам Горбачев, отвечая на вопросы накануне выборов на пост председателя Верховного Совета, ничего об этом не сказал.

В течение Съезда я дважды выступал по правовым вопросам. Первый раз — при обсуждении кандидатуры А. И. Лукьянова на пост заместителя председателя Верховного Совета. Я сказал:

«В течение последнего года в нашей стране был принят ряд законов и указов, которые вызывают большую озабоченность общественности. Мы не вполне знаем механизм выработки этих законов и вообще того, как шла законотворческая деятельность в нашей стране. Многие юристы даже писали, что они не знают, на каком этапе, в каких местах формулируется окончательный вид законов. Но законодательные акты, о которых идет речь, действительно вызвали очень большую озабоченность общественности. Это указы о митингах и демонстрациях, об обязанностях и правах внутренних войск при охране общественного порядка, которые были приняты в октябре прошлого года<sup>2</sup>.

По моему мнению, эти указы представляют собой шаг назад в демократизации нашей страны и шаг назад по сравнению с теми международными обязательствами,

которые приняло наше государство. Они отражают страх перед волей народа, страх перед свободной демократической активностью народа, и в них был заложен тот взрывчатый материал, который проявился в Минске, в поселке Ленино в Крыму, в Красноярске, Куропатах и многих других местах, и апогеем всего были трагические события в Тбилиси, о которых мы говорим. Я хотел бы знать, какова роль товарища Лукьянова в разработке этих указов, санкционировал ли он их, каково его личное отношение к этим указам. Это первый вопрос.

Второй вопрос. Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 8 апреля<sup>3</sup>. На мой взгляд, он тоже противоречит принципам демократии. Есть важнейший принцип, который сформулирован и во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, и такой международной организацией, как Международная амнистия. Принцип заключается в том, что никакие действия, связанные с убеждениями, если они не сопряжены с насилием и с призывом к насилию, не могут служить предметом уголовного преследования. Это ключевой принцип, лежащий в основе демократической правовой системы. И этого ключевого слова «насилие» в формулировке указа от 8 апреля нет. Поэтому он представляется мне неудовлетворительным. Но, кроме того, там возникла дополнительная статья 11<sup>1</sup> УК<sup>4</sup>, которая всем нам хорошо известна; к сожалению

нию — так как указ начал применяться, — уже начали людей осуждать, и потребовалось разъяснение Пленума Верховного Суда СССР, но оно тоже представляется мне неполным и неудовлетворительным, а самое главное — очень плохо, когда к закону, к указу требуется разъяснение. Закон не должен допускать неоднозначного толкования — это чревато огромными опасностями. Я говорю об этом сейчас — это требование многих избирателей, многих групп избирателей — поэтому я имею право об этом говорить. Но я опять же хотел спросить — это мой вопрос товарищу Лукьянову: как он относится к этим указам и участвовал ли он в их разработке?»

Второй раз я выступал при обсуждении кандидатуры Сухарева на пост Генерального прокурора СССР. Я задал следующие вопросы (пишу по памяти):

«1. Сейчас в печати активно обсуждается вопрос о допуске адвоката к следствию с момента предъявления обвинения. 2. Обсуждается вопрос о том, что следует освободить Прокуратуру от ведения следствия, т. к. это приводит к серьезным нарушениям законности и гуманности, и сосредоточить функции Прокуратуры только на надзоре за выполнением закона. Ваша позиция?» Сухарев: «В обоих случаях поддерживаю». «3. Я получал множество писем от людей, по их мнению

незаконно осужденных, и от родственников осужденных. Эти люди сообщали, что они обращались в Прокуратуру, посылая документы, доказывающие несправедливость приговора. В ряде случаев аргументы были очень серьезными. Во всех случаях Прокуратура давала формальный ответ: «Оснований для пересмотра приговора не имеется» — без конкретного анализа аргументов жалобщика. В печати сообщалось, что в большинстве случаев Прокуратура даже не затребовала дело. Формальный ответ получил и я на надзорную жалобу, посланную мною по делу моей жены Боннэр Е. Г. (*шум в зале*). Как вы относитесь к подобной практике?». Сухарев: «Прокуратура должна добиваться исключения подобных явлений. Моя позиция тут очень определенная и решительная». «4. Каково ваше мнение о ваших сотрудниках Катусеве и Галкине?» Сухарев: «Положительное». Я: «Но Катусев своим заявлением, содержащим ложную информацию, фактически спровоцировал события в Сумгаите, во всяком случае обострил их. А Галкин сорвал расследование событий в Сумгаите, выявление организаторов и их покровителей». Сухарев: «Вы не правы».

В один из дней Съезда решался вопрос о создании Комиссии для выработки новой Конституции СССР. Съезду был представлен список членов Комиссии с М. С. Горбачевым в качестве председателя. Завязалась



дискуссия. Один из ораторов сказал: «Все члены Комиссии в этом списке — члены КПСС. Что они будут вырабатывать — проект Конституции или новый устав партии?». Выступил Сагдеев. Он предложил мою кандидатуру, добавив, что это будет по крайней мере один не член партии. Горбачев обратился к залу с вопросом, кто поддерживает это предложение. Многие зааплодировали. Горбачев, не ставя вопрос на голосование, сказал: «Я вижу, вы поддерживаете. Принимаем это предложение». Несомненно, Горбачев хотел, чтобы я вошел в Комиссию, и опасался, что я не получу 50% голосов, необходимых для включения в список. Я подошел к трибуне и сказал: «Как видно из состава Комиссии, несомненно, что по любому принципиальному вопросу я буду в меньшинстве. Поэтому я могу войти в Комиссию, только оговорив, что я считаю себя вправе выдвигать альтернативные формулировки и принципы и не поддерживать то, с чем я не согласен». Когда я сел на свое место, ко мне подошел сотрудник аппарата Горбачева и спросил: «Значит ли ваше заявление, что вы отказываетесь работать в Комиссии?» — «Нет, я согласен войти в Комиссию на тех условиях, о которых я сказал». — «Очень хорошо, Михаил Сергеевич был очень озабочен».

31 мая во время перерыва ко мне подошли несколько военных. Они сказали, что многие обеспокоены моим канадским интервью, в котором я утверждал, что советские вертолеты расстреливали оказавшихся в окру-

жении советских солдат, чтобы те не попали в плен. Если бы такие факты имели место, о них знала бы вся армия. Но они служили в Афганистане и никогда ничего подобного не слышали. Они убеждены, что я был введен в заблуждение. «Мы хотим предупредить вас, что вскоре хотят потребовать публичного обсуждения и осуждения на Съезде вашего заявления». Я сказал, что моя позиция вполне ясная — я готов ее обсуждать с кем угодно и в любой форме. Я кратко повторил то, что было опубликовано в интервью «Комсомольской правде»<sup>5</sup>.

В течение последнего года у меня усиливалось чувство беспокойства в отношении общей линии внутренней политики Горбачева. Меня волновал и волнует огромный разрыв между словами и делами в экономических, социальных и политических делах.

По существу, экономическая реформа, основу которой должны составлять изменение структуры собственности в сельском хозяйстве и промышленности, ликвидация партийно-государственного диктата, всевластия и грабежа ведомств, еще не началась.

В идеологической области меня волнует отдача ее в антиперестроечные руки Медведева и Дегтярева, многочисленные отступления в области свободы информации.

В политической области меня волнует явное стремление Горбачева получить бесконтрольную личную власть. Меня волнует постоянная ориентация Горбаче-

ва не на прогрессивные, перестроечные силы, а на «поплушные» и управляемые, пусть даже и реакционные. Это проявляется и в отношении к «Мемориалу», и на Съезде. Такая же ориентация проявляется в национальных проблемах — негативное, предвзятое отношение к армянам и прибалтам.

В социальной области меня волнует отсутствие реальных изменений к лучшему в положении почти всех слоев населения.

Я решил, что откровенный разговор с Горбачевым без свидетелей был бы очень важен. В начале утреннего заседания 1 июня, подойдя к Президиуму, я сказал Горбачеву о своем желании поговорить с ним один на один. Весь день я был как на иголках. После вечернего заседания я напомнил о своем желании одному из секретарей Горбачева — он через несколько минут вернулся и сказал, что Михаил Сергеевич сейчас говорит с членами грузинской делегации, это надолго, и, вероятно, лучше всего перенести нашу встречу на завтра. Но я просил передать, что буду ждать. Я взял стул и сел недалеко от двери, за которой находился Горбачев. Мне был виден с этого места весь огромный зал Дворца съездов, в это время погруженный в полумрак и пустой (лишь охранники стояли у далеких дверей). Наконец, примерно через полчаса, появился Горбачев вместе с Лукьяновым — последнее не входило в мои планы, но делать было нечего. Горбачев выглядел уставшим (так же, как я). Мы сдвинули три стула

в угол сцены за столом Президиума. На всем протяжении разговора Горбачев был очень серьезен. На его лице ни разу не появилась обычная у него по отношению ко мне улыбка — наполовину доброжелательная, наполовину снисходительная. Я сказал: «Михаил Сергеевич! Не мне говорить вам, какое трудное положение в стране, как недовольны люди и все ждут еще худших времен. В стране кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный авторитет упал почти до нуля. Люди не могут больше ждать, имея только обещания. В таких условиях средняя линия оказывается практически невозможной. Страна и вы лично стоите на перепутье перед выбором — или максимально ускорить процесс изменений, или пытаться сохранить административно-командную систему со всеми ее качествами. В первом случае вы должны опираться на «левые силы» — можете быть уверены, что в стране найдется много смелых и энергичных людей, которые вас поддержат. Во втором случае вы сами знаете, о чьей поддержке идет речь, но вам никогда не простят попыток перестройки». Горбачев: «Я твердо стою на позициях перестройки. Это то, с чем я связал себя навсегда. Но я против перескакивания, паники, спешки. Мы много видели «больших скачков», результаты всегда — трагедия, откатывание назад. Я знаю все, что обо мне говорят. Но, уверен, народ поймет мою линию». Сахаров: «На Съезде не решается основная политическая задача — вся власть Советам, т. е. ликвидация неравноправного партийно-со-

ветского двоевластия. Нужен Декрет о власти, закрепляющий в руках Съезда всю полноту законодательной власти и право выдвижения основных должностных лиц. Только так будет обеспечено народовластие, свобода от хитростей аппарата, который реально сейчас делает политику — и законодательную, и кадровую. Избранный Верховный Совет не является в своей массе достаточно компетентным и работоспособным органом. Страну возглавляют все те же люди, та же система ведомств и министерств, а Верховный Совет почти бессилён». Горбачев: «Съезд не может заниматься всеми законами — их слишком много. Поэтому нужен постоянно работающий Верховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиграть в демократию, и в результате в Верховный Совет не попали многие нужные люди — мы уже рассчитывали дать им посты в комиссиях и комитетах. Вы много испортили. Но мы постараемся все же что-то исправить, например сделать Попова заместителем председателя Комитета. Новые люди есть всюду — например, Абалкин будет зам. Рыжкова». Сахаров: «Дело Гдяна — не только вопрос о нарушениях законности, это очень важно, но для народа это вопрос о доверии, о кризисе доверия к руководству. Плохо, что отвергнута кандидатура Кудрина, — он рабочий, бывший судья, бывший член партии — ему бы народ поверил». Лукьянов: «Кудрин построил свою предвыборную кампанию на деле Гдяна. Он не может быть беспристрастным» (на самом деле, дело Гдяна

не было главным в кампании Кудрина). Сахаров: «Очень беспокоит, что единственным политическим результатом Съезда является достижение вами неограниченной личной власти — Восемнадцатое брюмера в современном варианте. Вы пришли к этой вершине без выборов, вы даже не прошли через выборы в Верховный Совет и стали председателем, не будучи членом». Горбачев: «А вы что — хотели, чтобы меня не выбрали?». Сахаров: «Нет, вы знаете мое мнение, что вам нет альтернативы. Но речь не о личности, о принципе. И, кроме того, вы можете стать объектом давления, шантажа со стороны тех, в чьих руках информация. Уже сейчас говорят, что вы брали взятки, называют цифру в 160 тысяч, в Ставрополе. Провокация? Но найдут что-то иное. Если вы не выбраны народом — никто вас не сможет оградить». Горбачев: «Я совершенно чист. И я никогда не поддамся на попытки шантажировать меня — ни справа, ни слева!». Горбачев сказал эти слова без видимого раздражения, твердо.

Так окончилась эта встреча. Я не записал ее сразу — сейчас пишу по памяти. Очень возможно, что порядок эпизодов был несколько иной и мои слова не очень точно переданы. Но ключевые формулировки Горбачева, мне кажется, я передал точно.

Никаких конкретных последствий этот разговор не имел. Их и не могло быть. Но мне кажется, что иногда разговор с такой высокой степенью откровенности необходим — конечно, при условии взаимного уважения.

На другой день, 2 июня, произошло то, о чем предупреждали меня военные. В выступлении участника афганской войны секретаря ЛКСМ г. Черкассы Червонопиского против меня было выдвинуто обвинение в клевете в связи с публикацией в канадской газете. Червонопиский — инвалид афганской войны (он лишился обеих ног). Значительная часть его выступления была посвящена материальным и моральным проблемам ветеранов афганской войны, действительно очень серьезным. Но далее он упомянул «политиканов из Грузии и Прибалтики, которые сами уже давно занимаются тем, что готовят свои штурмовые отряды», вспомнил «злобные издевательства лихих ребят из передачи «Взгляд» и безответственные заявления депутата Сахарова». Он зачитал обращение воинов-десантников по поводу моего интервью и присоединился к нему. Кончил он словами: «Три слова, за которые, я считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назову: это — «Держава, Родина, Коммунизм»». (В бюллетене написано: «Аплодисменты. Все встают». Что касается меня, то я не стал бы соединять эти три слова. «Люблю отчизну я, но странною любовью», — писал Лермонтов. Мне кажется, что соединение слов «Держава» и «Коммунизм» неприемлемо также и для убежденного коммуниста.) В момент, когда Червонопиский кончал свое выступление, я уже пробрался к трибуне, чтобы ему возразить. Уже первые мои слова вызвали, как деликатно написано в бюллетене, шум в зале.

Сказал же я:

«Я меньше всего желал оскорбить Советскую армию <...> Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой <...> и неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление <...> Я выступал против введения советских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький <...> И второе... Тема интервью была вовсе не та <...> речь шла о возвращении советских военнопленных, находящихся в Пакистане. И я сказал, что единственным способом <...> являются прямые переговоры <...> с афганскими партизанами, которых необходимо признать воевавшей стороной <...> Я упомянул о тех сообщениях, которые были мне известны по передачам иностранного радио, — о фактах расстрелов «с целью, — как написано в том письме, которое я получил, — с целью избежать пленения». (Я, к сожалению, не объяснил, что речь идет о переданном мне из Секретариата запросе в Президиум, подписанном многими офицерами — делегатами Съезда, в том числе бывшим командующим советскими частями в Афганистане генералом Грозовым. В запросе содержится требование осудить на Съезде мое канадское интервью и использовано словосочетание «с целью избежать пленения».) <...> это проговор (в бюллетене ошибочно — приговор) чисто стилистический, переписанный из секретных прика-



зов. <...> Я не Советскую армию оскорблял, не советского солдата, я обвинял (в бюллетене — оскорблял) тех, кто дал этот преступный приказ — послать советские войска в Афганистан». (В бюллетене: Аплодисменты, шум в зале.)

На самом деле — пять минут перед лицом миллионов телезрителей бушевала буря, большинство депутатов и «гостей» вскочили с мест, кричали: «Позор! Долой!», топали, другая, меньшая, часть аплодировала. Потом были другие выступления с осуждением — очевидно, это была запланированная кампания. Казакова Т. Д., учительница средней школы, г. Газалкент: «Товарищ академик! Вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим <...> И я приношу всеобщее презрение Вам <...>» (Аплодисменты.)

В конце заседания я подошел к Горбачеву. Он с досадой сказал: «Зря вы так много говорили». Я сказал: «Я настаиваю на предоставлении мне слова в порядке обсуждения вашего доклада». Горбачев посмотрел на меня с удивлением. Он только спросил: «Вы записаны?» — «Да, очень давно».

Я вышел на улицу. Люся уже ждала меня, как всегда, у Спасской башни. Она сказала: «Ты, конечно, плохо выступил, но ты молодец. Я сильно волновалась только одну минуту, пока ты шел к трибуне и я видела твою

спину. А когда ты повернулся и я увидела твое лицо, я сразу успокоилась». Что касается меня, то я вообще волновался много меньше, чем в первый день. Я чувствовал свою моральную правоту, хотя меня при этом в дискомфортное состояние ставило отсутствие документальных подтверждений (их нет и сейчас). От шума, беснования зала я поэтому психологически был отключен. Но на всех тех, кто смотрел передачу по телевидению или был в зале, эта сцена произвела сильное впечатление. В один час я приобрел огромную поддержку миллионов людей, такую популярность, которой я никогда не имел в нашей стране. Президиум Съезда, редакции всех газет, радио и телевидение, ФИАН и Президиум Академии получили в последующие дни десятки тысяч телеграмм и писем в поддержку Сахарова. В нашем же доме телефон не умолкал ни на минуту почти круглые сутки, почтальон и доставщик телеграмм (с которым у нас прекрасные отношения) буквально сбились с ног и завалили нас целыми кипами.

До окончания Съезда оставалась одна неделя. Я и многие считали крайне желательным продолжение Съезда. Но этого, по-видимому, не хотели Горбачев и другие члены Президиума. Более того, Съезд даже оказался сокращен на один день в связи с объявленным после катастрофы в Башкирии днем траура. Это действительно была ужасная трагедия — два поезда были сожжены в результате воспламенения нефтепродуктов,

проникших наружу из неисправного трубопровода. Сотни пассажиров, среди них много детей, погибли. В эти же дни произошли и другие трагические события, о которых мы вскоре узнали.

В Китае власти применили военную силу против участников митингов — студентов и рабочих; эти митинги шли в Китае, в особенности в Пекине, уже несколько недель. Они начались еще до визита Горбачева в Китай под лозунгами демократизации, свободы слова, борьбы с коррупцией в партийно-государственных высших слоях. Инициаторами митингов были студенты, затем к ним примкнули рабочие, положение которых в последние годы стало ухудшаться. В митингах на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия) принимало участие свыше 1 млн. человек — называли и большие цифры. Попытки использовать против митингующих военные части сначала были безуспешными — происходило братание солдат с рабочими и студентами. Но власти сумели ввести в Пекин какие-то другие части, срочно переброшенные из провинции, и в ночь на 4 июня (это, как и 9 апреля, было воскресенье) на митингующих двинулись танки. Число жертв непосредственно на площади и в других городах неизвестно — несомненно, речь идет о многих тысячах погибших. Несколько дней в Пекине и в провинции шли бои. Затем властям удалось сломить сопротивление студентов и рабочих. Начались аресты, суды и казни. Вчера (3 августа

1989 года) я встретился в доме Ефрема и Тани с китайцами. Среди них были Чень Дун, возглавлявший переговоры студентов с правительством, и Лю Янь (участница голодовки на площади), а также сотрудники бостонской организации «Китайский информационный центр». Чень рассказал, что требования студентов при переговорах сводились к двум пунктам — легализация студенческой независимой организации и разрешение печататься в одной из издающихся в Пекине газет. Эти требования были отвергнуты, так как власти увидели в них попытку создания в будущем новой партии. Говоря о положении в Китае, Чень утверждал, что существуют три класса: партийная верхушка, элита, пронизанная семейственностью и коррупцией, основная масса народа — крестьяне и рабочие — и возникший после реформы зажиточный класс. Движение началось в апреле после смерти Ху Яобана, митинг начался 13 мая, а 20 мая было введено военное положение (сразу после отъезда Горбачева). В голодовке приняло участие 3 600 человек, в основном девушки. Арестовано 120 тыс. человек, аресты продолжаются, часть направлена на перевоспитание в отдаленные районы, часть в лагерях и тюрьмах, где очень тяжелые условия. Друг Лю 9 месяцев находился в карцере, где можно было только сидеть на корточках. Чень считает, что международные санкции совершенно необходимы. Они должны проходить в два этапа. Первый этап: осуждение кровавой расправы 4 июня, цель — прекращение арестов

и казней. Второй этап: цель — способствовать демократизации в Китае. Санкции должны быть направлены против государственного сектора экономики и против центрального региона, но не против частного сектора экономики и периферийных регионов. Действенность санкций крайне снижается из-за прагматической позиции СССР, не принимающего участия в санкциях. Студентов очень интересовало положение в СССР, роль Горбачева, забастовки шахтеров, перспективы демократизации и экономической реформы. И мне, и Люсе очень понравились наши гости — серьезностью, цельностью, наконец, они были просто лично, физиономически нам симпатичны. Лю — 19 лет, Ченю — 21 год.

В первые дни после 4 июня Съезд принял Обращение к китайскому народу, в котором не содержалось ничего, кроме призыва к мирному разрешению конфликта, причем не было конкретизировано, кто призывается к миру — те, кто применяет танки и пулеметы против мирных митингов, или те, кто пытается им сопротивляться. Лишь несколько человек из депутатов голосовали против этого обращения, среди них — Галля Старовойтова. Я, к сожалению, не вполне понял на слух позорный характер этого Обращения, потом старался, как мог, исправить свою ошибку. Потом я слышал, что Обращение было принято по просьбе китайского правительства! Оно было, очевидно, нужно, чтобы как-то сгладить политический эффект протес-

тов во всем мире против жестокости китайских властей.

В эти же дни произошла чудовищная резня в Узбекистане. Сначала поступили отрывочные сведения, из которых было очевидно, что происходит что-то страшное. В один из дней Съезда после 6 часов нас оставили на закрытое заседание, где Чебриков и, кажется, Бакатин (министр внутренних дел) рассказали многое — но далеко не все — об этих ужасных событиях. Главными жертвами были турки-месхетинцы (но также русские, татары, евреи, армяне, украинцы). Я напомним, что до 1944 года турки-месхи жили в Грузии, на границе с Турцией. Одновременно с крымскими татарами они насильно и с большими жертвами переселены в Узбекистан, давно и упорно добиваются возвращения на родину. В шестидесятые-семидесятые годы многие активисты борьбы за возвращение были осуждены. Во время погрома в Фергане более ста человек было убито и несколько сот человек ранено. Убийства носили особо зверский, садистский характер (сожжение заживо, распятие, дети, поднятые на вилах, и другие не поддающиеся уму зверства), было много изнасилований, в том числе малолетних. Чебриков рассказал, что для спасения турок-месхов их вывезли на территорию военного лагеря. Лагерь охраняется расположенными по периметру войсками. Условия там очень трудные: воды не хватает, нет палаток, дети и старики — под палящим

солнцем. В числе подстрекателей событий Чебриков назвал «экстремистское крыло Берлик» (Берлик — националистическая неформальная группа узбекской интеллигенции). Потом это обвинение не фигурировало. Пока? Кто знает! Совершенно непонятно, что вызвало такой приступ межнациональной ненависти и жестокости (хотя мы уже видели нечто аналогичное в Сумгаите). А по части жестокости в нашем веке тоже есть что вспомнить — доктора Менгеле и Освенцим, Колыму, Кампучию, Сабру и Шатилу... Во всяком случае, мотивы религиозной розни совершенно исключены: и узбеки, и турки-месхи — мусульмане-сунниты. Говорят о проблеме земли. Действительно, монокультура хлопка лишила узбеков земли, обрекла их тем на голод. Быть может, у каких-то турок были маленькие клочки земли, а взаимная помощь, всегда возникающая в гонимом меньшинстве, сделала их жизнь на один волос лучше, чем у коренного населения (вспомним евреев в Европе, России и на Украине или китайцев в Индонезии). Но если дело в земле, то все-таки в этом случае основная ненависть должна была быть направлена не на невольного соседа, а на тех, кто дальше и выше. Мы приходим к неизбежному выводу, что кто-то направлял толпу, канализировал ее ненависть. Говорят, что был распущен слух, что турки-месхи вырезали детей в детском саду. Что ж, это тоже могло быть составной частью провокации. Но кто ее осуществлял?

На другой день после закрытого заседания мы с Люсей, как всегда, подъехали на обед к «России». Перед дверями стояла группа турок-месхов, ходоков, приехавших из Ферганы. Они обступили нас, умоляя помочь. Мужчины плакали, одна из женщин встала на колени. Им с трудом удалось приехать — на вокзале и в аэропорту их задерживали, избивали в милиции. Ходоки утверждали, что погромщики пользуются полной поддержкой местных властей — им дают автобусы и горючее, снабжают адресами турок-месхов (как в Сумгаите — адресами армян. — А. С.). На следующий день к нам на улицу Чкалова пришла группа турок-месхов. Накануне они встречались с Чебриковым. Ходоки просили помочь им встретиться с Горбачевым — без этого они не могут уехать, это наказ народа. Я стал звонить в секретариат Горбачева. Его самого не было на месте; я просил секретаря связаться с Горбачевым, передать, что, ввиду крайней серьезности положения (я приводил ряд новых фактов), я прошу его встретиться с делегацией турок-месхов, — я передал секретарю список фамилий. Через полчаса секретарь позвонил и сказал, что Михаил Сергеевич не может принять делегацию, так как он готовится к поездке в ФРГ. Я взорвался, может сильнее чем когда-либо, и закричал: «Передайте Михаилу Сергеевичу, что он никуда не поедет. Я обращаюсь к Колю, с тем чтобы визит Горбачева в ФРГ был отменен. Немыслимо принимать главу го-



сударства, которое допускает геноцид!». На другом конце провода возникла какая-то заминка. Потом секретарь сказал: «Ждите. Вам позвонят». Еще через 20 минут секретарь позвонил и сказал, что делегацию турок-месхов примет Рыжков. Вечером ходоки пришли опять. Они с возмущением рассказали, что Рыжков сообщил им о решении эвакуировать турок-месхов из Узбекистана в Смоленскую область и другие области России, где им уже готовят дома. «Но ведь это вторая ссылка! Мы десятилетиями добиваемся возвращения на родину, готовы за это право отдать жизнь. Если мы сейчас согласимся переехать в Россию, то в Грузию мы уже никогда не вернемся — мы это ясно понимаем!» Мы с Люсей пытались их уговаривать, что сейчас надо спасти жизнь людей — это самое главное. Поэтому отказываться от эвакуации из Узбекистана нельзя — такой отказ приведет к новым жертвам. Добиваться возвращения на родину они не перестанут и в России и когда-нибудь своей цели добьются. Турки не согласились с нами и ушли очень обиженные.

Я говорил со многими грузинами о возможности возвращения турок-месхов в Грузию. Но их позиция была совершенно не поддающейся моим доводам (так же, как в отношении Абхазии и Осетии). Потом, уже после Съезда, я говорил на ту же тему с Лукьяновым (в беседе, о которой я рассказываю в конце книги). Лукьянов говорил, что они пытались уговорить Гумба-

ридзе принять турок. Но тот заявил, что в нынешней ситуации, при нехватке в Грузии земли (после оползней и т. п.), в обстановке обострения всех национальных проблем это вызвало бы в Грузии гражданскую войну.

Еще маленький штрих к картине событий в Фергане, возможно ложный. Нам сообщили, что в видеопленках, на которых запечатлены кровавые события в Узбекистане, среди беснующейся толпы удалось опознать группу работников КГБ Армении, за несколько дней до событий срочно вызванных в Москву. Если это сообщение верно, то можно было бы предполагать участие КГБ в провокации в Фергане. Но, конечно, к сообщениям такого рода надо относиться сугубо осторожно.

Одним из драматических событий последних дней Съезда было обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора. Президиум Съезда предложил состав этого Комитета и пытался добиться тем самым его создания. Ряд депутатов, в особенности из Прибалтики, возражали против самого обсуждения этого вопроса, ссылаясь на то, что нет регламента, определяющего функции и полномочия Комитета. В частности, не была исключена возможность, что такой Комитет может вмешиваться в законодательную деятельность в республиках. Обсуждение носило очень острый характер. Группа депутатов Прибалтики покинула Съезд (кажется, это была делегация Литвы, а может, и других республик). Президиум вынужден был уступить и отме-

нить обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора.

На Съезде все же удалось выступить некоторым «левым» депутатам с концептуальными тезисами. 8 июня выступили Шмелев, Емельянов и Яблоков. До этого 31 мая выступили Бунич и Власов, 1 июня — Черниченко. В последний день Съезда выступил я. Не удалось выступить с программной речью Афанасьеву, а также Тихонову.

Бунич сказал: Наши изменения в области экономики носят косметический характер. Мы забыли, что торговля возникает тогда, когда предложение больше спроса. Наблюдается откатная волна запретительных мер (примеры: нормативное соотношение между ростом производительности труда и средней зарплатой, «отстреливание» кооперативов). Самые чрезвычайные меры — это просто радикальные. Сегодня, если предприятие убыточное, оно получает такую же зарплату, как рентабельное. Мы объедаем наших детей — живем лучше, чем работаем, хотя живем скверно. Социализм — не собес. *Хозрасчет — это когда каждый будет знать, что все, что он сделал, его, за минусом налога.* Если к другому уходит невеста, то, наверно, виноваты скрытые пороки первого жениха (это о госсекторе и кооперации). Нужен единый закон о предприятии и кооперации.

Черниченко начал с остроумного освещения происхождения послушного негодования против «москалей»,

вспомнил «очаровательную депутатку из Казахстана, которая лишила их своего женского расположения» (эта делегатка сказала, что она боится садиться рядом с этими москвичами). «Не сама машина ходит, тракторист машину водит». Но — «Разделяй и властвуй!» больше не проходит. Хочешь продуктивно властвовать — соединяй и достигай цели! Все жданки мы проели! Никогда не накормит народ принудительная система земледелия. Причины нищеты людей и умирания пашни — только и исключительно политические причины. Сталинизм в сельском хозяйстве — это экономическая Вандея. Руды мы производим в 6 раз больше, чем Штаты, а пластмасс — в 6 раз меньше. Комбайнов — в 10 раз больше на душу населения, а хлеба — почти в два раза меньше. Осипьян считал на счетах. Система, представленная арестованным в 1926 году рублем и командующим, но не отвечающим аппаратом, — *ведет к национальному унижению*. До восьми замов и министров сидят в кабинете — приемной зам. зав. отделом ЦК. Это все знают, но это не нужно говорить. В воспитанном обществе это считается невоспитанным. Унижает наш постыдный экспорт — 200 млн. тонн нефти в год, по преимуществу сырой. Я не знаю, что передам внуку. Унижает импорт. Импорт того, что вырастает на своих землях, вещей и материалов, вполне возобновимых. Почему в прошлом году закуплен 21 млн. тонн пшеницы, когда страна производит пшеницы в 2 раза

больше, чем ей самой нужно? Если бы эти чудовищные миллиарды Мураховский платил своим, за 25 лет все выросло бы дома, у себя<sup>6</sup>. Я соглашатель. Я хочу увести людей с митингов, отвлечь от забастовок. Повторить вслух ленинские, самые революционные после «Вся власть Советам!» слова — «От продрозверстки к продналогу!». Без Закона о земле грош нам цена. Доверия нам с вами больше не будет.

Н. П. Шмелев сказал: Меня беспокоят ближайшие два-три года — инфляция, распад потребительского рынка, бюджетный дефицит. В случае экономического краха нас ждет всеобщая карточная система, обесценивание рубля, разгул черного рынка и теневой экономики и вынужденный возврат к жесткой административно-командной дисциплине на какое-то время. (Похоже, что Абалкин и другие считают, что это время уже наступило или наступает? — А. С.) Несправедливо, что во всем виноват быстрый рост заработной платы. Степень эксплуатации рабочей силы в нашей стране из всех индустриальных стран самая высокая. Доля зарплаты в валовом национальном продукте составляет у нас 37–38%, в индустриальном мире этот показатель 70% и выше. Наш рабочий класс имеет моральное право повысить свою долю в ВВП, и всеми возможными мерами он к решению этой задачи приступает. Этот процесс остановить невозможно. Совсем безграмотное объяснение — кооператоры, которые без-

наличные деньги превращают в наличные. Доходы населения — 430 млрд. рублей. В том, что работает печатный станок, кооператоры виноваты менее чем на четверть процента (1 млрд. рублей). Кроме тяжелого наследия — четыре ошибки: 1) абсолютно неквалифицированная акция с продажей алкогольных напитков; 2) кампания 1986 года по борьбе с нетрудовыми доходами; 3) при падении цен на нефть мы сократили не импорт оборудования и зерна, а импорт товаров народного потребления; 4) при резком росте бюджетного дефицита увеличение капиталовложений. *Шмелев предлагает систему санационных мер:*

1. Вернуться к нормальной торговле спиртным (сейчас половина спиртного в стране производится самогонщиками — это только из сахара). Люди пьют от тоски, от лжи и от безделья. Нам нужно 15 млрд. долларов разового импорта потребительских товаров плюс искусственный импорт порядка 5-6 млрд. долларов в год для поддержания товарного равновесия на протяжении 2—3 лет. Итого, 30—35 млрд. долларов; где взять эти деньги?

2. Разрешить колхозам часть продукции сдавать за валюту с правом тратить эту валюту где хотят. Причем наши люди скромные. Не надо им по 200 долларов платить за тонну зерна, они и за 75 продадут.

3. Остановим на 5—10 лет импорт оборудования для наших гигантских проектов.

4. Позволительно спросить, сколько нам стоят наши интересы в Латинской Америке. По американским оценкам, 6—8 млрд. долларов ежегодно.

5. Международные займы. Проценты мы выплатить сумеем, остальное не обязательно.

6. Надо решиться на продажу земли или на отдачу ее в вечную аренду.

7. Нам надо решиться не только говорить, но и продавать квартиры по-настоящему, продавать грузовики, трактора, продавать все, что есть в запасах.

8. Акционерная собственность, акции, государственный нормальный заем на 30 лет под высокий процент. Те деньги, которые мы получим от возросшего импорта товаров широкого потребления, списать, уничтожить.

9. Надо понять, что государство разорено, что мы можем строить только то, что дает быстрый потребительский эффект.

10. Мы придумали самую нелепую, самую неэффективную систему государственной помощи сельскому хозяйству. Когда хорошо работающему мы за килограмм продукции платим рубль, а тому, кто работает плохо, — 2 рубля. Это нужно ликвидировать!

Емельянов говорил о проблемах власти и роли партии. Сейчас часто подчеркивают, что сама партия является гарантом перестройки. Но не сам народ пришел к нынешней кризисной ситуации. Он пришел, ведомый

партией. Однопартийная система — это уже монополизация власти. Совмещение постов — монополизация в квадрате. Емельянов говорит, что, видимо, совмещение необходимо временно на уровне генсек—президент, но это нельзя возводить в принцип и надо запретить на всех нижних уровнях. Необходимо принять решение о ликвидации всех привилегий как принцип. У нас не было и нет политического защитного механизма демократической жизни в стране. Мы не имеем поэтому гарантий необратимости перестройки. В перестройке надо идти снизу вверх. На каждом уровне управления должны быть только такие органы управления, с такими функциями и с такой численностью аппарата, как это нужно низам.

А. В. Яблоков говорил об экологических проблемах. 20% населения страны живет в зонах экологического бедствия. Еще 35—40% — в экологически неблагоприятных условиях. Каждый третий мужчина в таких районах заболевает раком. Детская смертность в отдельных районах выше, чем в ряде стран Африки. Средняя продолжительность жизни на 4—8 лет ниже, чем в развитых странах мира. Причины: Советы утратили реальную власть на местах, на уровне ведомств отсутствуют экономические стимулы ресурсосбережения. Поэтому — экстенсивный характер эксплуатации природных ресурсов. В условиях монополии ведомств развитие каждой отрасли идет без учета давления на среду



соседних ведомств. В 1987 году в пятой части всех проверенных по Советскому Союзу колбасных изделий сохранились ядохимикаты в опасном для здоровья количестве, то же самое относится к 42% продукции детских молочных кухонь.

Нет нужной экологической информации вообще.

Нет независимой экологической (предпроектной) экспертизы крупных строителей. В лучшем случае через некоторое время, когда крупные средства уже затрачены, возникает достаточно мощное общественное движение, которому удается остановить строительство. Но то, что затрачено, — безвозвратно пропало, омертвлено. Пока экспертиза бесправна и ведется на полуофициальных началах. Пример — строительство Южно-Украинской АЭС, второй очереди Астраханского газоконденсатного комплекса, Тюменского нефтехимического комплекса. В последнем случае нет проекта, нет технико-экономического и экологического обоснования, а Совет Министров принимает решение открыть финансирование (сумма в несколько раз больше затрат на БАМ). Что надо:

Вернуть власть на местах Советам.

Загрязнитель должен платить.

Переход на экологически безопасную технологию.

Обязательная независимая экспертиза.

Я привел (по необходимости конспективное) изложение некоторых выступлений, чтобы показать несо-

стоятельность мнения об отсутствии у «левых» депутатов конструктивной программы. Очень много ценных мыслей содержалось также в выступлениях депутатов, в целом стоящих на более консервативных позициях.

Высказанные на Съезде идеи лишь частично вошли в итоговое постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР» — многие тезисы сформулированы в слишком общей, неконкретной форме. Тем не менее, это Постановление — несомненно важнейший программный документ, суммирующий принципы перестройки и содержащий много новых и ценных положений. Наиболее конкретизированы социальные пункты Постановления: повысить минимальные пенсии по старости всем гражданам до уровня минимальной заработной платы, повысить минимальные пенсии инвалидам первой и второй группы, вдовам и родителям погибших военнослужащих, приравняв их по льготам к участникам Великой Отечественной войны; рассмотреть вопрос о возможности увеличения минимальной продолжительности отпуска до 24 дней и отпуска по уходу за детьми до 3-летнего возраста. Обещано ввести механизм корректирования пенсий в конце каждого года с учетом стоимости жизни. Рыжков в своем докладе, как я понял, упомянул о решении снять ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам вне зависимости от оплаты труда. Либо я неправильно его понял, либо сказанное Рыжковым

было пересмотрено — но в проекте итогового документа было написано: «...пенсионеров, работающих в качестве рабочих и мастеров». Я подал записку в Президиум и редакционную комиссию, в которой обосновывал необходимость в интересах социальной справедливости и государства расширить Постановление с включением в него сельских жителей и служащих. Я писал, что очень многие — например, врачи и медсестры или учителя пенсионного возраста — при таком ограничении Постановления предпочтут не работать. Пенсионный фонд не будет сэкономлен, а общество лишится многих опытных, ценных работников. К сожалению, в опубликованном окончательном тексте Постановления эти мои (и многих, конечно) замечания не были учтены. Упомянуты инвалиды первой и второй групп, что, конечно, тоже очень важно.

Экономические тезисы Постановления сформулированы в очень общей форме. Основные идеи перестройки в перспективе отражены, но без указания сроков и обеспечивающих их политических гарантий. Почти все санационные меры, предложенные, например, в выступлении Шмелева, в Постановление в явной форме не включены, но косвенно некоторые из них как-то фигурируют. Предложено резко сократить общий объем капитальных вложений на производственные нужды, комиссиям Верховного Совета проанализировать состояние и определить целесообразность строящихся

и планируемых крупномасштабных проектов. Совету Министров провести эксперимент по стимулированию дополнительной поставки хозяйствами высококачественной продукции валютой, сэкономленной в результате сокращения импорта зерна и продовольствия. (Это не полностью то, что предлагал Шмелев, но шаг в правильном направлении.) Полностью отсутствуют санкционные меры, относящиеся к ограничению внешнеполитических валютных затрат, к свободной продаже квартир, орудий и средств производства, к получению международных займов и выпуску внутренних займов, к прекращению помощи нерентабельным предприятиям и хозяйствам за счет рентабельных, в частности с помощью поощрительных цен на продукцию.

В итоговом документе подтверждены многие требования правового характера, с которыми выступали депутаты. В опубликованном тексте сказано: «Съезд отменяет ст. 11<sup>1</sup> и считает необходимым уточнить редакцию статьи 7, содержащихся в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 года, а также поручить Верховному Совету СССР рассмотреть вопрос о соответствии Конституции СССР Указов Президиума Верховного Совета СССР о порядке организации и проведения митингов и демонстраций и об обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР». (Я расскажу дальше о том, как было объявлено это решение в последний день Съезда.) В Постановле-

нии упомянуты такие важнейшие идеи, как переход к суду присяжных и допуск к делу адвоката с момента начала следствия (но не упомянут вопрос о выведении следствия из органов Прокуратуры — правда, сказано о выведении его из сферы ведомственного влияния).

В области национально-конституционного устройства подтверждены в общей форме (на мой взгляд, в слишком общей) «ленинские федеративные принципы» и принципы «экономической самостоятельности республик и регионов в сочетании с активным участием в общесоюзном разделении труда». Это можно было бы понимать как республиканский и региональный хозрасчет при расшифровке второй части формулы в духе добровольности и самостоятельности, исходящих из интересов республики и региона. В документе формально подтверждено, что в СССР вся государственная власть принадлежит народу и осуществляется им через Советы народных депутатов. Однако в вопросе о разделении функций Верховного Совета и Съезда в Постановлении отвергаются принципы исключительного права Съезда на принятие законов, кроме законов одноразового и кратковременного действия, и на выдвижение высших должностных лиц. Совершенно не отражено требование многих депутатов о выведении Советов из подчинения партийным органам, об отмене статьи 6 в Конституции и о запрещении совмещений должностей председателя органа Советской власти

и секретаря партийного комитета (даже с временным исключением для Председателя Верховного Совета СССР и Генерального Секретаря ЦК КПСС). Я убежден, что на следующей сессии Съезда необходимо будет добиваться принятия гораздо более конкретных и радикальных решений.

В последние дни Съезда «левые» депутаты провели несколько совещаний с целью оформить организацию Межрегиональной группы народных депутатов. Эти совещания проходили, в основном, вечерами, по окончании работы Съезда, в одном из залов гостиницы «Москва», где жило большинство приезжих депутатов. Обсуждения Декларации группы были бурными, но в конце концов нашли приемлемые для всех формулировки. Эту декларацию подписало около 150 депутатов. Задачей Межрегиональной группы является выработка предложений и принципов по основным проблемам, стоящим перед страной и Съездом, и способствование свободной дискуссии по этим проблемам на Съезде и вне его, а также консолидация усилий депутатов в достижении этих целей. Было принято решение, что у Группы не должно быть ни председателя, ни устава. Во время последнего совещания Галя Старовойтова составила текст обращения по поводу событий в Китае. Это «альтернативное» обращение, в отличие от принятого на Съезде бессодержательного и по существу играющего на руку китайским властям, содержало недвусмысленное осуждение кровавой расправы

над студентами и рабочими и требовало прекращения кровопролития. Его подписали члены Межрегиональной группы — таким образом, это было их первым совместным действием. Люся и я присутствовали на всех совещаниях, подписали, конечно, Обращение, и я как депутат подписал Декларацию.

Наступил последний день Съезда. После нескольких выступлений было принято решение о прекращении прений по докладу Рыжкова и решение, одобряющее как основу для доработки редакционной комиссией проект постановления «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР». В этот момент Лукьянов сказал с облегчением, обращаясь к Горбачеву: «Ну, Михаил, все!». Эти слова не были слышны в зале, но их слышали телезрители, так как лежавшие на столе Президиума микрофоны были подключены к системе телевидения. Слышала их и Люся (до этого был еще один аналогичный случай, когда Лукьянов подсказал Горбачеву изменение какой-то формулировки). Очевидно, Лукьянов считал, что все трудности и волнения, связанные со Съездом, уже позади. Но он ошибся. За оставшиеся несколько часов произошли драматические события, во многом изменившие психологические и политические итоги Съезда.

Депутаты настояли на продолжении прений по итоговому документу с регламентом 5 минут на выступление. В проходе выстроилась длинная очередь депута-

тов — многие из них еще ни разу не выступали. В коротких, энергичных выступлениях они сообщали о бедах своих регионов, остро и обоснованно критиковали отдельные тезисы документа, вносили очень важные дополнения и конкретные предложения по экономическим и, особенно, по социальным проблемам. Одним из последних к трибуне подошел Шаповаленко, депутат от Оренбурга. Совершенно неожиданно для Горбачева и Президиума он зачитал Декларацию об образовании Межрегиональной независимой группы. Возможно, если бы Горбачев заранее знал о намерении Шаповаленко, он бы как-то воспрепятствовал ему. Но Шаповаленко не был даже москвичом, и такого подвоха от него Горбачев не ждал. Горбачев явно испугался. Он сказал: «У нас тут остались чисто внутренние дела. Мы можем прекратить трансляцию Съезда. Кто поддерживает это предложение?». Поднялось несколько рук, кто-то крикнул: «Да!», большинство ошеломленно смотрели на Горбачева, ничего не понимая в происходящем. Я бросился к столу Президиума, стал возбужденно говорить, что это нарушение... (я не мог вспомнить — нарушение чего; на самом деле, сам Горбачев обещал непрерывность трансляции Съезда). Телевидение было отключено в тот момент, когда я подходил к столу. На экранах перед глазами миллионов телезрителей появилась совершенно растерянная дикторша и объявила, что трансляция из Кремлевского Дворца съездов окончена (не объяснив,



почему, не сказав даже обычного в аналогичных случаях «по техническим причинам»). Началась передача какого-то футбольного матча с середины игры.

Видимо, трансляция была просто выключена без каких-либо объяснений и указаний телецентра. Телезрители понимали еще меньше. Часть из них, крепко выругавшись, выключили телевизор и перешли к домашним (или служебным) делам. Другие все же ждали чего-то. Зоря позвонила Люсе, но та тоже ничего не могла ей объяснить.

Чего же так испугался Горбачев? Он, по-видимому, опасался, что вслед за Шаповаленко начнутся какие-то другие непредсказуемые события, что его выступление — это, возможно, сигнал к чему-то очень серьезному, такому, что потребует от него, Горбачева, таких действий, которые лучше не демонстрировать всему миру. Даже если последнее предположение неверно и Горбачев ни о чем подобном не думал, он все же продемонстрировал, что гласность приемлема для него лишь в определенных пределах. В своей растерянности Горбачев забыл, что ему еще предстоит закрывать Съезд и что он подготовил, со своей стороны, приятный сюрприз депутатам и всему миру. Немного успокоившись и видя, что никакого «бунта на корабле» не происходит, Горбачев вновь включил телевидение и предоставил слово Лукьянову. Лукьянов сказал, что Президиум с учетом пожеланий мно-

гих депутатов считает необходимым исключить статью 11<sup>1</sup> указа от 8 апреля как допускающую неоднозначное толкование. Я выскочил к столу Президиума и почти закричал: «А как со статьей 7, с принципом, что только насилие и призыв к насилию могут считаться уголовно наказуемыми?». Лукьянов улыбнулся и сказал: «Подождите, все будет...». Он продолжал: «Президиум также считает необходимым пересмотреть формулировку статьи 7, заменив слова «антиконституционные действия» на слова «насильственные действия». По-видимому, измененная таким образом формулировка (окончательный текст готовят юристы) удовлетворит всех, хотя мы считаем, что первоначальная формулировка означала то же самое». Депутаты, я в том числе, стали аплодировать, многие встали. Конечно, такое нельзя было не показать по телевидению. Съезд подходил к концу. Я продолжил свои попытки добиться выступления, и наконец, уже под занавес, Горбачев дал мне слово (в этот момент выскочила депутатка от Союза театральных деятелей и стала возбужденно говорить, почему дают слово Сахарову, он уже много раз выступал, а руководитель их общественной организации Кирилл Лавров еще ни разу, но Горбачев уже ее не слушал). Он пытался ограничить мое выступление 5 минутами — я возражал, требуя 15 минут, т. к. мое выступление носит принципиальный характер. Я ссылаясь на то,

что был записан в прениях по его докладу и на свое положение в обществе. Горбачев не соглашался. Я начал говорить, не имея подтверждения права на пятнадцатиминутное выступление и рассчитывая добиться этого просто упорством. Фактически я говорил 13—14 минут. Ниже приводится полный текст выступления, в нем восстановлены несколько небольших купюр, которые я сделал, опасаясь, что мне не дадут окончить. В конце выступления я обратился к Горбачеву с просьбой дать Старовойтовой возможность зачитать текст Обращения по поводу событий в Китае, подписанный более чем 120 депутатами (дополнение 18). Однако я чувствовал, что это не получится, и сказал несколько фраз от себя. В это время Горбачев распорядился выключить все микрофоны, включенные на зал. Большая часть депутатов (кроме сидящих в первых рядах, до которых доходил мой довольно громкий голос) ничего не слышала, так же как стенографистки. Но телевизионные операторы не выключили свои микрофоны, а вторично в тот же день выключить трансляцию Горбачев или не решился, или забыл. И все телезрители и радиослушатели слышали полностью все, что я сказал!

Текст Декрета о власти я обсуждал с некоторыми друзьями, в том числе с Толей Шабаром из группы поддержки. Но окончательный текст я написал накануне Съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе пер-

вый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза...») <sup>7</sup>. Вероятно, в число должностных лиц, которые избираются Съездом (с альтернативными кандидатами), следовало включить министра иностранных дел и министра обороны. Пункт о функциях КГБ следовало бы дополнить «запрещается поддержка в любой форме терроризма, торговли наркотиками и других несовместимых с принципами нового мышления действий». Люся настояла на включении в текст упоминания о необходимости демобилизации призванных в прошлом году студентов. Сейчас эта группа демобилизуется.

Сразу после окончания последнего заседания съезда один из сотрудников (кажется — редакции «Известий») попросил меня подняться на третий этаж в секретариат и исправить ошибки в стенограмме. Я вписал от руки конец выступления, который не слышали и не записали стенографистки. Начальник секретариата сказал, что включить можно только то, что было реально произнесено. Я ответил, что все, что я вписал, было произнесено. Но в опубликованном в бюллетене и в «Известиях» тексте конец выступления все же отсутствует, в том числе все относящееся к Китаю. Ниже это место восстановлено <sup>8</sup>.

## «Уважаемые народные депутаты!

Я должен объяснить, почему я голосовал против утверждения итогового документа Съезда. В этом документе содержится много правильных и очень важных положений, много принципиально новых и прогрессивных идей. Но я считаю, что Съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи, воплощенной в лозунге: «Вся власть Советам!». Съезд отказался даже от обсуждения «Декрета о власти».

До того, как будет решена эта политическая задача, фактически невозможно реальное решение всего комплекса неотложных экономических, социальных, национальных и экологических проблем.

Съезд народных депутатов СССР избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и, хотя бы символической, альтернативности. По моему мнению, Съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному Председателю.

По действующей конституции Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек — инициатор перестройки.

В частности, возможно закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой?

Постройка государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение Съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу «как правило» — нарочито расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются «свадебные генералы». Такой Верховный Совет будет — как можно опасаться — просто ширмой для реальной власти Председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата.

В стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения международных отношений происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми трагическими последствиями.

Товарищи депутаты, на вас сейчас — именно сейчас! — ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно

укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, областях, районах, селах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. [Без сильного Съезда и сильных, независимых Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым — необратимость перестройки и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять «Декрет о власти».]

### **Декрет о власти**

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет:

1. Статья 6 Конституции СССР отменяется.
2. Принятие Законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной республики Законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом Союзной республики.
3. Верховный Совет является рабочим органом Съезда.

[4. Комиссии и Комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов, над экономическим, социальным и экологическим положением в стране — создаются Съездом и Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны Съезду.]

5. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно:

1. Председателя Верховного Совета СССР,
2. Заместителя Председателя Верховного Совета СССР,
3. Председателя Совета Министров СССР,
4. Председателя и членов комитета Конституционного надзора,
5. Председателя Верховного Суда СССР,
6. Генерального прокурора СССР,
7. Верховного арбитра СССР,
8. Председателя Центрального банка, а также:

1. Председателя КГБ СССР,
2. Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию,
3. Главного редактора газеты «Известия» — исключительное право Съезда.

Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду и независимы от решений КПСС.

[6. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя Верховного Совета и Председателя Совета Министров



СССР предлагаются Председателем Верховного Совета СССР и, альтернативно, народными депутатами. Право предложения кандидатур на остальные поименованные посты принадлежит народным депутатам.]

7. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР.

[Примечание. В будущем необходимо предусмотреть прямые общенародные выборы Председателя Верховного Совета СССР и его Заместителя на альтернативной основе.]

[Я прошу депутатов внимательно изучить текст Декрета и поставить его на голосование на чрезвычайном заседании Съезда.] Я прошу создать редакционную комиссию из лиц, разделяющих основную идею Декрета. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддерживать Декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну.

[Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможностью обсуждать законы двумя тысячами человек. Комиссии и Комитеты подготовят формулировки, на заседаниях Верховного Совета обсудят их в первом и втором чтении, и все стенограммы будут доступны Съезду. В случае необходимости дискуссия продолжится на Съезде. Но что действительно неприемлемо — если мы, депутаты, имея мандат от народа на

власть, передадим наши права и ответственность своей одной пятой, а фактически — партийно-государственному аппарату и Председателю Верховного Совета.] Продолжаю. Уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии (ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса), с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. [Частное замечание: надо демобилизовать к началу этого учебного года всех студентов, взятых в армию год назад.]

Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти пробле-

мы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которого лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. [В нынешней острой межнациональной ситуации] необходимы срочные меры. Я предлагаю переход к федеративной (горизонтальной) системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав, с сохранением теперешних границ (со временем возможны и, вероятно, будут необходимы уточнения границ<sup>9</sup> [образований и состава федерации, что и должно стать важнейшим содержанием работы Совета Национальностей]). Это будет Союз равноправных республик, объединенных Союзным Договором, с добровольным ограничением суверенитета каждой республики в минимально необходимых пределах (в вопросах обороны, внешней политики и некоторых других). Различия в размерах и численности населения республик и отсутствие внешних границ не должны смущать. Проживающие в пределах одной республики люди разных национальностей должны юридически и практически иметь равные политические, культурные и социаль-

ные права. Надзор за этим должен быть возложен на Совет Национальностей. Важной проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить возможность вернуться к родным местам. Работа комиссии Президиума Верховного Совета по проблеме крымских татар была явно неудовлетворительной.

К национальным проблемам примыкают религиозные. Недопустимы любые ущемления свободы совести. Совершенно недопустимо, что до сих пор не получила официального статуса Украинская Католическая Церковь. Важнейшим политическим вопросом является утверждение роли советских органов и их независимости. Необходимо осуществить выборы советских органов всех уровней истинно демократическим путем. В избирательный закон должны быть внесены уточнения, учитывающие опыт выборов народных депутатов СССР. Институт окружных собраний должен быть уничтожен и всем кандидатам должны быть предоставлены равные возможности доступа к средствам массовой информации.

Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся: свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений

всех органов власти и должностных лиц в ходе независимого разбирательства, демократизация судебной и следственной процедур (допуск адвоката с начала следствия, суд присяжных, следствие должно быть выведено из ведения прокуратуры: ее единственная задача — следить за исполнением закона). Я призываю пересмотреть законы о митингах и демонстрациях, о применении внутренних войск и не утверждать Указ от 8 апреля.

Съезд не может сразу накормить страну. Не может сразу разрешить национальные проблемы. Не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем — это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна! Вся власть Советам!

Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой Съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депутатов составила и подписала Обращение, призывающее правительство Китая прекратить кровопролитие. Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рассматриваться как неявная поддержка действий правительства Китая правительством и народом СССР.

В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Китая! Я требую отзыва посла СССР из Китая! ]»

Я считаю, что мое выступление имело значение не только в силу его фактического содержания и включенных в него предложений, — но и оказалось очень важным в психологическом и политическом смысле. Вместе с заявлением Межрегиональной группы, победой в вопросе о Комитете Конституционного надзора и дискуссией двух последних дней оно завершило Съезд более радикально, более конструктивно и в более вселяющем надежду духе, чем это рисовалось еще незадолго до этого. Поэтому в этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом, с пониманием всех трудностей и опасностей ближайшего и более отдаленного будущего. Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это — трагический оптимизм.

На другой день я опять поехал в Кремль, чтобы заплатить взнос в помощь пострадавшим в Башкирии, попытаться получить недостающие бюллетени (это не удалось) и узнать сроки заседания Комиссии по выработке новой Конституции. По последнему вопросу я зашел в секретариат Лукьянова. Секретарь прошел в кабинет, вскоре вернулся и передал, что Анатолий Иванович освободится через несколько минут и хочет сам со мной побеседовать. Лукьянов вышел мне навстречу и провел

в кабинет. Там, кроме большого письменного стола с телефонами, стоял книжный шкаф со справочной, по-видимому, литературой. На стене висела картина с каким-то высокогорным пейзажем. (В конце беседы Лукьянов рассказал, что раньше там был портрет Брежнева — и, вероятно, других генсеков, Лукьянов в это не вдавался. Затем повесили портрет Горбачева, но Михаил Сергеевич просил его снять. Лукьянов в прошлом увлекался альпинизмом, поэтому он выбрал эту «горную» картину.)

В начале беседы Лукьянов сказал, что относится ко мне с большим уважением. Они с А. Н. Яковлевым были инициаторами моего возвращения из Горького<sup>10</sup>. На мой вопрос о предполагаемом времени начала работы Конституционной комиссии Лукьянов сказал, что до ее первого заседания предполагается провести Пленум ЦК по национальному вопросу, так что Комиссия по выработке Конституции соберется не ранее сентября. Я сказал, что я еду (после Европы) в США — там у детей мы с женой хотим отдохнуть и поработать. Я, в частности, хочу подумать о формулировках идей Союзного договора, о которых я говорил в своем выступлении на Съезде. Лукьянов ответил: «Совершенно спокойно можете ехать до конца августа и работать. Мы думаем над тем, как построить наше государство в национальном плане. Безусловно, необходима какая-то форма федеративного устройства. Но в то же время мы не имеем права допустить распад СССР. Сейчас во всем мире нарастают процессы

интеграции, охватывающей экономические, политические, культурные и военные аспекты. Интеграция, например в Европе, дает большие преимущества во всех этих областях. И было бы нелепостью, если бы мы, наоборот, пошли на распад, на конфедерацию. Конфедерации сейчас нет нигде в мире — это нежизненная форма». Лукьянов, кажется, не объяснил, что он понимает под федерацией и конфедерацией и в чем разница, а я не спросил. Но он упомянул о неприемлемости отдельной денежной системы в республиках, раздельной армии, различного законодательства. Лукьянов далее сказал: «Мы высоко ценим поддержку Михаила Сергеевича и перестройки в ваших выступлениях и статьях все эти годы после вашего возвращения в Москву. Мы следим за вашими выступлениями и благодарны вам. Ситуация очень сложная. В апреле 1985 года, после Пленума, мы ходили с Михаилом Сергеевичем всю ночь по лесу и обсуждали основные проблемы развития страны. Мы ясно понимали необходимость глубоких реформ, необходимость демократизации. Но всей глубины кризиса, в котором находится страна, и всей меры трудностей предстоящего пути мы не знали».

Я спросил Лукьянова о судьбе переданной ему записки с просьбой о вмешательстве в судьбу человека, приговоренного к смертной казни. (Это было хозяйственное дело — подпольная фабрика — в Алма-Ате. Главный обвиняемый, инженер Розенштейн, если мне не изменя-



ет память, находился под следствием в тюрьме в очень тяжелых условиях 8 лет (!), стал инвалидом. Он приговорен к смертной казни и сейчас находится в камере смертников. Его брат — инвалид детства второй группы — тоже 8 лет в тюрьме под следствием. Я упомянул это дело в разговоре с Горбачевым и Лукьяновым 1 июня и на другой день отдал Лукьянову записку, в которой просил вмешаться в судьбу братьев. Я подчеркивал, что проект нового законодательства не предусматривает смертной казни за хозяйственные преступления. В этой связи я писал о необходимости приостановки исполнения всех смертных приговоров в стране вплоть до принятия нового законодательства.) Лукьянов ответил, что моя записка передана в Юридический отдел ЦК (секретарь дал мне телефон) и дело, конечно, будет внимательно рассмотрено. Говоря о проблеме смертной казни вообще, Лукьянов сказал, что Президиум Верховного Совета не утверждает сейчас никаких смертных приговоров, кроме связанных с убийством при отягчающих обстоятельствах, особо жестокими и кратными убийствами, изнасилованиями малолетних с убийством и другими столь же нечеловеческими преступлениями. Ни один смертный приговор за хозяйственные и имущественные преступления не утверждается. Общее число смертных казней в стране сейчас уменьшилось в 8 раз. Я, к сожалению, не спросил, каковы абсолютные цифры. Говоря о приостановке исполнения приговоров за те

преступления, которые заведомо и по новому законодательству повлекут за собой смертную казнь, Лукьянов сказал, что еще не ясно, будет ли такая отсрочка актом гуманности. Ожидание смертной казни — самое ужасное. Он предложил мне присутствовать на некоторых заседаниях Президиума Верховного Совета по вопросам помилования. Я согласился, напомнив при этом, что я принципиальный противник смертной казни.

Через несколько дней после разговора с Лукьяновым Люся и я вылетели в Европу и затем в США<sup>11</sup>. Эта глава написана в Ньютоне и Вествуде, Массачусетс, США, в домах наших детей. Рядом Люся — она завершает работу над своей второй книгой.

Конечно, окончание работы над книгой создает ощущение рубежа, итога. «Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?» (А. С. Пушкин). И в то же время — ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет продолжаться после нас.

*Это чудо науки.* Хотя я не верю в возможность скорого создания (или создания вообще?) всеобъемлющей теории, я вижу гигантские, фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что этот поток не иссякнет, а, наоборот, будет шириться и ветвиться.

*Судьба страны.* Съезд переключил мотор перемен на более высокую скорость. Забастовка шахтеров — это уже нечто новое, и ясно, что это только первая реакция на «ножницы» между стремительно растущим общест-

венным сознанием и топчущейся на месте политической, экономической, социальной и национальной реальностью. Только радикализация перестройки может преодолеть кризис без катастрофического откатывания назад. Съезд наметил в выступлениях «левых» контуры этой радикализации, но главное все же еще нам предстоит коллективно создать.

*Глобальные проблемы.* Я убежден, что их решение требует конвергенции — уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества (у нас это — перестройка). Непосредственная цель — создать систему эффективную (что означает рынок и конкуренцию) и социально справедливую, экологически ответственную.

*Семья, дети, внуки.* Многое я упустил — по лености характера, по невозможности чисто физической, из-за сопротивления дочерей и сына, которое я не мог преодолеть. Но я не перестаю об этом думать.

*Люся, моя жена.* На самом деле, это — единственный человек, с которым я внутренне общаюсь. Люся подсказывает мне многое, чего я иначе по своей человеческой холодности не понял бы и не сделал. Она также большой организатор, тут она мой мозговой центр. Мы вместе. Это дает жизни смысл.

*Ньютон — Вествуд  
Июль — август 1989 г.*

# ДОПОЛНЕНИЯ



## Коллегам-ученым

Дорогие друзья!

Два года назад ваша поддержка сыграла большую роль в решении важной для меня проблемы выезда к мужу моей невестки Лизы Алексеевой. Сейчас я вновь обращаюсь к вам за помощью в исключительно важном для меня и трагическом деле. Я прошу вас помочь добиться разрешения на поездку за рубеж моей жены для лечения (в первую очередь, для лечения болезни сердца, непосредственно угрожающей ее жизни, а также для лечения и оперирования глаз) и для того, чтобы увидеть и, возможно, привезти в СССР мать.

Лечение моей жены в СССР представляется нам опасным. Поверьте мне, это не мнительность, не аггравация. На протяжении многих лет моя жена подвергается беспрецедентной клевете и самому жестокому давлению — непосредственно и через детей и внуков. Шесть лет назад мы вынуждены были решиться на выезд за рубеж детей и внуков. Это — трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется почти полным отсутствием связи. После отъезда детей и — два года назад — Лизы Алексеевой единственным заложником моей общественной деятельности стала моя жена Елена Боннэр. На нее перекладывается ответственность за мои выступления в защиту мира и прав человека. Но это только часть правды,

как она мне, к сожалению, рисуется... КГБ очень высоко, по моему мнению, оценивает роль Елены в моей жизни и общественной деятельности и стремится к ее устранению — безусловно моральному и, я имею основания опасаться, физическому. Создалась беспрецедентная и невыносимо тяжелая ситуация. Очень важно, чтобы, думая и говоря о положении Сахарова, вы понимали эту ее узловую особенность.

Дискредитации моей жены служит кампания клеветы. Советская пропаганда именно ее выставляет подстрекательницей всех моих выступлений и сионистским агентом ЦРУ. Только в этом году это утверждение, сдобренное самой подлой и изощренной клеветой о моральном облике и мифических прошлых преступлениях жены, повторено в трех публикациях общим тиражом более 10 миллионов экземпляров, так что прочли сенсационную ложь многие миллионы людей, — это книга Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», 200 тысяч экземпляров, его же статьи в популярных журналах «Смена», 1 миллион 170 тысяч экземпляров, и «Человек и закон», 8 миллионов 700 тысяч экземпляров. Выход статей Яковлева совпал по времени с публикацией в газете «Известия» письма от имени академиков А. А. Дородницына, А. М. Прохорова, Г. К. Скрябина, А. Н. Тихонова, в котором умышленно-провокационно искажена моя позиция по вопросам термоядерной войны, мира и разоружения; это тоже, вопреки здравому смыслу, оказалось грузом, «повешенным» на мою жену, используется для провоцирования всеобщей ненависти и травли. В тысячах писем, при встречах на улице, в поезде — соседи по купе и ваго-

ну — яростно обвиняют мою жену в том, что она сионистка, подстрекательница, предатель Родины, убийца.

Все это ей приходится выносить вскоре после инфаркта, происшедшего 25 апреля. Инфаркт был обширным, тяжелым, в дальнейшем имели место новые приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны. Состояние жены не нормализовалось до сих пор, является угрожающим. Последний, самый тяжелый приступ произошел в октябре.

Наши попытки в мае-июне добиться совместной (ее и моей) госпитализации в больницу Академии наук СССР, что частично уменьшило бы вышеизложенные опасения, оказались безрезультатными — несмотря на то что прибывшая в Горький комиссия консультантов-медиков подтвердила, что я тоже по состоянию здоровья нуждаюсь в госпитализации. Моя жена осталась фактически вообще без медицинской помощи. У дверей квартиры в Москве (так же, как в Горьком) дежурят милиционеры; врачи, опасаясь за свое положение, боятся ее посещать; квартирный телефон отключен с 1980 года, а телефон-автомат вблизи дома отключен сразу после инфаркта; несомненно, это не случайное совпадение; при внезапном приступе она даже не может вызвать «скорую помощь».

Я опасуюсь — и, мне кажется, имею на то основания, — что при госпитализации, в особенности без меня, но и при мне тоже, она может быть тем или иным способом доведена до смерти (конечно, эта опасность существует и дома). Но даже если эти опасения преувеличены, все равно ни о каком



эффективном лечении в условиях массовой травли и непрерывного вмешательства КГБ не может быть и речи. В 1974 году, когда моя жена лежала в Московской глазной больнице, ей тайно передали совет немедленно выписаться ради сохранения жизни и здоровья. С тех пор ситуация обострилась многократно! Сейчас единственным приемлемым для нас решением является поездка жены за рубеж, только это может ее спасти. В сентябре 1982 года Елена Боннэр подала заявление о поездке. В 1982-м настоятельно необходимой стала поездка для лечения и оперирования глаз. Эта необходимость полностью сохраняется до сих пор. Но после инфаркта на первое место вышло и стало совершенно неотложным лечение болезни сердца. Ответа на заявление нет до сих пор вопреки существующим правилам. 10 ноября 1983 года я послал письмо главе советского государства Ю. В. Андропову с просьбой о разрешении поездки моей жены.

Я обращаюсь ко всем моим коллегам за рубежом и в СССР, к общественным и государственным деятелям всех стран, к нашим друзьям во всем мире — спасите мою жену Елену Боннэр!

*Андрей Сахаров*

*Ноябрь 1983 года.  
Горький*

## Участникам конференции в Стокгольме

Несомненно, участники этой представительной конференции уделяют значительное внимание проблеме прав человека, глубоко связанной с международной безопасностью, в особенности судьбе узников совести.

Я вынужден сегодня обратиться к участникам конференции с просьбой по личной причине, имеющей для меня решающее значение. В сентябре 82-го года моя жена Елена Боннэр подала заявление на поездку за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми, внуками. Она тяжело больна. К болезни глаз добавилась болезнь сердца, инфаркт в апреле 83-го года с последующим расширением пораженной зоны в мае, июне и октябре. Положение ее угрожающее. Лечение моей жены в СССР в условиях тотальной травли, клеветы и непрерывного вмешательства КГБ не может быть эффективным и представляется нам опасным, фактически она оказалась лишенной какой-либо медицинской помощи. Только поездка для лечения за рубеж может спасти ее, а тем самым и меня, так как ее гибель была бы и моей.

10 ноября я послал письмо главе Советского государства Ю. В. Андропову с просьбой способствовать разрешению этого вопроса. Ни на заявление жены, ни на мое письмо нет никакого ответа. Два года назад международная поддержка

помогла нашей борьбе за выезд к сыну невестки, ставшей заложником моей общественной деятельности. Сейчас я прошу вас поддержать еще более трудную, еще более трагическую, жизненно важную в личном и общественном плане борьбу за поездку жены. Тех, кто принимает участие в моей судьбе, кто желает мне помочь, я убедительно прошу сосредоточить все усилия именно на этом. Я прошу главы иностранных делегаций, прошу всех участников конференции поддержать мое обращение к Андропову в официальном, в том числе дипломатическом, порядке и в кулуарах конференции.

*С глубоким уважением  
Андрей Сахаров,  
лауреат Нобелевской премии Мира*

*12 января 1984 года  
Горький*

## Американскому послу Артуру Хартману

Госдепартаменту США.  
Послу США в СССР

Я прошу Вас о предоставлении моей жене Е. Г. Боннэр временного убежища в посольстве США во время моей голодовки с требованием о разрешении ей поездки за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Я при этом не прошу о предоставлении моей жене политического убежища и не возлагаю на Вас ответственность за получение ею разрешения, хотя буду благодарен, если Вы сочтете возможным предпринять шаги в поддержку наших требований.

Два года назад, во время нашей совместной с женой голодовки за выезд невестки к мужу, мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы и ничего не знали друг о друге до последнего дня голодовки. Сейчас же положение гораздо более трудное и опасное. Во время моей голодовки Е. Г. Боннэр, если она не будет находиться в недоступном для КГБ месте, может стать жертвой ненависти КГБ, так сильно проявившейся в последние годы. Я опасюсь, что она подвергнется насильственной изоляции и бесследно исчезнет, возможно — погибнет. Именно поэтому

я обращаюсь к Вам с просьбой о предоставлении ей временного убежища. Выбор именно посольства США не связан с какими-либо политическими расчетами; одна из причин — наличие в посольстве врача.

Я прошу Госдепартамент США и посла США в СССР, если Вы сочтете это возможным, сделать в первые дни нахождения моей жены в посольстве попытку разрешения вопроса о поездке через МИД СССР. Не имея других возможностей, я обращаюсь в Вашем лице также к МИД и послам в СССР других западных государств. Быть может, власти СССР заинтересованы в том, чтобы не предавать это дело излишней огласке, и пойдут навстречу вашим ходатайствам. Если же благоприятного ответа не будет или не будет никакого ответа в течение 5 дней с начала голодовки, я прошу предоставить моей жене возможность через иностранных корреспондентов в Москве обратиться за поддержкой к мировой общественности. Находясь в Горьком в строжайшей изоляции, я не могу сделать этого сам.

Я пишу это письмо в трагический момент нашей жизни. Я надеюсь на Ваше содействие.

*С глубоким уважением Андрей Сахаров*

*6 апреля 1984 года*

*г. Горький*

## В прокуратуру и суд

Старшему помощнику  
прокурора Горьковской области  
Колесникову Г. П.  
Председателю суда  
по делу Е. Г. Боннэр

### Заявление

Общественная деятельность моей жены Е. Г. Боннэр, отношение к ней властей, ее положение в обществе начиная с 1971-1972 годов в значительной степени определяются тем, что она стала моей женой. В частности, я имею основания полагать, что инкриминируемые ей действия она совершала прямо или косвенно по моему полномочию в качестве лица, представляющего меня. Поэтому я считаю следствие и обвинение моей жены независимо от меня неправомерными. Я прошу включить меня в это дело, чтобы я мог принять на себя долю ответственности.

Дополнительно прошу, если дело уже передано в суд, вызвать меня в суд в качестве свидетеля и в качестве ближайшего родственника. Мое нахождение в данный момент

в больнице в силу удовлетворительного состояния моего здоровья не может явиться препятствием к вызову меня в суд.

*А. Сахаров*

*1 августа 1984 года, г. Горький  
Областная клиническая больница им. Семашко  
Кардиологическое отделение, палата 310*

Президенту АН СССР А. П. Александрову  
Членам Президиума АН СССР

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке моей жены Елены Георгиевны Боннэр за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обстановка изоляции, лжи и клеветы вынуждают писать подробно; письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это.

Мои общественные выступления — защита узников совести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, открытости общества и прав человека (основные из них: «Размышления о прогрессе» — 1968 год, «О стране и мире» — 1975 год, «Опасность термоядерной войны» — 1983 год) вызывают большое раздражение властей. Я не собираюсь защищать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что должен нести единоличную ответственность за все свои действия, продиктованные сложившимися на протяжении всей жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году Елена Боннэр стала моей женой, КГБ осуществляет коварное



и жестокое решение «проблемы Сахарова» — переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены (агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т. д.). Если раньше можно было еще сомневаться в сказанном, то масштабная кампания клеветы против жены в 1983 году (в 11 млн. экз.) и в 1984 году (две статьи в «Известиях») и особенно действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения.

Моя жена Елена Георгиевна Боннэр родилась в 1923 году. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец (первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Коминтерна) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке как ЧСИР (член семьи изменника родины). С первых дней Великой Отечественной войны и до августа 1945 года жена в армии — сначала санинструктор, после ранения и контузии — старшая медсестра санпоезда. Результат контузии — тяжелая болезнь глаз. Жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы (по зрению). Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна — но это напряженная трудовая жизнь — учеба, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается, — близким и далеким людям, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 1977—78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей

(я считаю их и своими детьми) и наши внуки, после пяти лет притеснений, многократных угроз убийства ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телеграфной и телефонной связи. С 1980 года в США находится мать жены — сейчас ей 84 года. Увидеть своих близких — неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены!

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того — *опасно*, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также — всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже.

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз (как я предполагаю — по указанию Л. И. Брежнева). Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у проф. Фрезотти. Естественно, она должна продолжать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возникла настоятельная необходимость новой поездки. В сентябре 1982 года жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений —

несколько недель, не более пяти месяцев. Жена не получила ответа до сих пор, прошло уже два года.

В апреле 1983 года у моей жены Е. Г. Боннэр произошел обширный крупноочаговый инфаркт (подтвержден справкой лечебного отделения Академии по запросу следственных органов). Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные повторные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны (некоторые из них подтверждены обследованиями врача Академии, в том числе в марте 1984 года). Последний очень тяжелый приступ имел место в августе 1984 года.

В ноябре 1983 года я подал заявление на имя тов. Ю. В. Андропова, а в феврале 1984 — аналогичное заявление на имя тов. К. У. Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка... для встречи с матерью, детьми и внуками и... лечения стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом».

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ранее решение о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой). Жена понимала, что бездействие для меня тяжелее всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей.

30 марта 1984 года меня вызвали в ОВИР Горьковской области. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР

СССР сообщаю Вам, что Ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен Вам после Первого мая».

2 мая жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через час приехала жена, одновременно с ней начальник обл. КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорту был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190<sup>1</sup> УК РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке! В течение последующих месяцев жену регулярно (3—4 раза в неделю) вызывали на допросы. 9—10 августа состоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки, 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд — спецгруппа — специально приехал в Горький) на кассационном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания ссылки назначен г. Горький, т. е. вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийство!

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное в обвинительном заключении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190<sup>1</sup> УК

РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (по смыслу статьи — утверждений, *ложность* которых ясна обвиняемому; однако в известной мне судебной практике, в том числе в деле жены, речь идет об утверждениях, *истинность* которых несомненна для обвиняемых, т. е. об их *убеждениях*). В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование моих высказываний (даваемых в обвинительном заключении и приговоре в отрыве от контекста). Все эти высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная идея обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения в книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что в СССР существуют два рода денег (или более). Это (вполне бесспорное) высказывание было упомянуто женой на одной из пресс-конференций в Италии в 1975 году и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле все принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать во всяком случае не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со своими убеждениями, выступала моим представителем.

Один из пунктов обвинения использует эмоциональное высказывание жены во время неожиданного для жены прихода к ней французского корреспондента 18 мая 1983 года — *через три дня после того, как у жены был диагностирован крупноочаговый инфаркт миокарда*. Как Вам известно, в 1983 году мы безуспешно добивались совместной госпитализации

в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что будет с вами?». Жена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убивают». Ясно, что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом. А оснований для слов об убийстве косвенном (жены, во всяком случае) было более чем достаточно.

Другой (важный в системе обвинения) пункт — о якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов Московской Хельсинкской группы — основан на явном лжесвидетельстве и полностью опровергнут адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заявил на суде, что один из членов Хельсинкской группы сказал ему о вывозе женой в 1977 году документа Группы. Но сам свидетель был арестован 16 августа этого года до отъезда жены в Италию 5 сентября и поэтому никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо «с воли». В ходе допроса свидетель ответил, что он «узнал» о вывозе документа в июле или начале августа, т. е. заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинительное заключение не привели доказательств того, что документ был составлен до отъезда жены (на документе не проставлена дата, что само по себе лишает его юридического значения), и вообще не привели каких-либо подтверждений истинности голословного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека, в том же, 1977-м, году уехавшего из СССР. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись же от этого пункта обвинения, кассационный суд был бы вынужден отме-

нить весь приговор, в частности потому, что отпадает единственное свидетельское показание во всем деле, и, в частности, отменить, за давностью и отсутствием непрерывности, эпизоды обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важнее всего, что все пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190<sup>1</sup> (предполагающей, как я сказал, заведомую клевету).

Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом, — к прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к еще большему уменьшению возможностей эффективного лечения, к фактической конфискации нашего имущества в московской квартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу, что эта квартира была предоставлена матери моей жены в 1954 году, после ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа).

В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, которые выставляются против нее в прессе, — ее мнимые преступления в прошлом, ее «моральный облик», ее «связи» с иностранными спецслужбами — эти обвинения не упоминались на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для презируемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья этого рода — в «Известиях» от 21 мая. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР — «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей «отсоветовали» (по контексту — спецслужбы США). Вся трагическая и героическая жизнь жены со

мной, принеся ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной жена много раз бывала за рубежом — в Ираке (год работы по оспопрививанию), в Польше, во Франции — и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотело бы, чтобы жена бросила меня — это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они надеются на это, они «психологи». Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали — я думаю, чтобы не укрепить в мысли о необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку.

Четыре месяца — с 7 мая по 8 сентября — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у входной двери круглосуточно действовало несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого «невинного» контакта с кем-либо на улице. Ее не допускали к зданию областной больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучили четыре месяца. Попытки бежать из больницы неиз-



менно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега.

С 11 мая по 27 мая я подвергался мучительному и унижительному принудительному кормлению. *Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены!*

Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11—15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зрительная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок к жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно неинформативных, не были переданы жене, так же как и ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления), так же как еще в одном черновике того же времени, бросаются в глаза дрожащее, изломан-

ное написание букв, а также двукратное повторение букв во многих словах (в основном гласных — «руука» и т. п.). Это тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов или инсульта, носящий объективный и документальный характер. В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) — совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 9—10 мая). В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт?) 11 мая не был случайным — это прямой результат примененных ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16—24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая якобы из-за образований язвочек и пролежней по пути введения зонда; на самом же деле, как я думаю, из-за того, что способ был бы для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях этот способ применяют месяцами, даже годами.

25—27 мая применялся наиболее мучительный и унижительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугий зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между дес-

нами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось плохим положением тела и головы). Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом, через некоторое время (в июле или в августе), возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную — бессрочную — пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседями по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи менялись, но все они всячески пытались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница — от перевозбуждения после разговоров и еще больше от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически — по меркам обычной жизни — полупостельной и зачастую просто постельной больной), оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущен-

ные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это — болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал «для ознакомления» главный врач; это тоже был способ психологического давления на меня). В беседе со мной главный врач О. А. Обухов сказал: «Умереть вам мы не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом, у нас есть и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом» (кто-то из врачей пояснил: не сможете даже сами надеть брюки). Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить (болезнь Паркинсона привить нельзя).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им «1984 год». В книге и в жизни мучители добились предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8 сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор — прекратить голодовку чтобы увидеть жену после четырех месяцев разлуки и изоляции, или продолжать голодовку, насколько хватит сил, — при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжается неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся и его подробности, она же — что я подвергался мучительному принудительному кормлению.

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены — скорая поездка за рубеж. Ее гибель была бы и моей гибелью.

Сегодня моя надежда — на Вашу помощь, на Ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены.

Я прошу о помощи Президиум Академии наук СССР и лично Вас как Президента Академии и как человека, лично знавшего меня многие годы.

Так как жена осуждена на ссылку, ее поездка, вероятно, возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим указом приостановит на время поездки действие приговора (подобный прецедент имел место в Польше и в самое последнее время — в СССР) или Президиум Верховного Совета или другая инстанция вообще отменит

приговор, с учетом того, что жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета, для Вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и незаконно, даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она — моя жена и ее не хотят пустить за рубеж.

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующие обязательства. Она может также дать обязательства не разглашать подробности моего пребывания в больнице (если это условие будет нам поставлено).

Я — единственный академик в истории АН СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной и подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный академик, ответственность за действия которого перелagается на жену. Это мое положение — ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь.

Если же Вы и Президиум АН СССР не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта

1985 года — я прошу рассмотреть это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР.

Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений.

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.

Повторяю, я надеюсь на Вашу помощь.

С уважением  
А. Сахаров

15 октября 1984 г

Р. С. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я, тем не менее, выйду из Академии наук СССР. Ответственность за это ляжет на КГБ.

Замечу, что ранее (во время голодовки) я послал Вам 4 телеграммы и письмо.

Р. Р. С. Письмо написано от руки, т. к. пишущие машинки (так же, как многое другое — книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) отобраны при обыске.

Р. Р. С. Прошу подтвердить получение Вами этого письма.

## Жалоба в порядке надзора

Прокурору РСФСР  
от Сахарова Андрея Дмитриевича, академика;  
Горький-137, просп. Гагарина, 214, кв. 3.

по делу Боннэр Елены Георгиевны, моей жены, осужденной по ст. 190<sup>1</sup> УК РСФСР с применением ст. 43 УК РСФСР на 5 лет ссылки приговором Горьковского областного суда от 10 августа 1984 года, оставленным без изменения Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР 7 сент.

1 августа 1984 года я направил заявление на имя следователя и председателя суда по делу моей жены Боннэр Е. Г., копия заявления прилагается. Я настаиваю на утверждениях и просьбах, содержащихся в этом заявлении. От следователя, старшего помощника прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова, я получил ответ, согласно которому мое заявление передано в Судебную коллегию по уголовным делам Горьковского областного суда. Однако мое заявление не приобщено к судебному делу Е. Г. Боннэр, содержащиеся в нем просьбы судом не рассматривались. Все это является серьезным процессуальным нарушением. Я не был вызван в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не был



предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из родственников (а также друзей и знакомых) жены не имел возможности присутствовать на суде, что представляет собой нарушение принципа гласности. Процессуальным нарушением является также проведение суда и (по моему мнению) следствия в г. Горьком, поскольку моя жена до предъявления ей обвинения и взятия подписки о невыезде из Горького проживала в г. Москве по адресу: ул. Чкалова, д. 48б, кв. 68 и поскольку ни один из инкриминируемых ей эпизодов не имел отношения к г. Горькому.

Обвинительное заключение, приговор и определение кассационного суда по делу моей жены не являются, по моему мнению, обоснованными, содержат фактические и концептуально неправильные утверждения и оценки, пристрастны и необъективны. По одному из центральных эпизодов обвинение, как я утверждаю, основано на лжесвидетельстве.

Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обвинительное заключение и суд первой и второй инстанций не доказали самого факта инкриминируемых действий и уклонились от обсуждения неопровержимых, по моему мнению, доводов защитника и подсудимого.

Моей жене инкриминировано участие в составлении и распространении документа Московской Хельсинкской группы, озаглавленного «Итоговый документ к Совещанию в Белграде». Как написано в обвинительном заключении, приговоре и определении кассационного суда, участие в составлении подтверждается также наличием подписи моей

жены в опубликованном в печати (в издательстве «Хроника-пресс» в Нью-Йорке) тексте документа. Кроме этой публикации, никаких других доказательств участия моей жены в составлении и распространении не имеется. Суду не был представлен подлинник документа, под которым была бы собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ был составлен до отъезда Е. Г. Боннэр в Италию (в опубликованном тексте не указана дата составления документа, что само по себе лишает его юридического значения). На суде Е. Г. Боннэр заявила, что она узнала о существовании документа уже находясь в Италии, по телефону, и по телефону же дала согласие поставить свою подпись под документом. Приговор и определение не приводят контраргументов этому показанию моей жены и даже не упоминают о нем, используя из него только то, что Боннэр подтвердила свою подпись.

Особенно существенна полная несостоятельность ссылки на показания Ф. Сереброва, поскольку это единственный аргумент, якобы доказывающий участие Е. Г. Боннэр в распространении документа, и вообще единственные свидетельские показания, на которые ссылается приговор и определение кассационного суда во всем деле моей жены. Свидетель Ф. Серебров в суде утверждал, что П. Г. Григоренко (один из членов Московской Хельсинкской группы) сказал ему, что Е. Г. Боннэр вывезла в Италию «Итоговый документ к Совещанию в Белграде», в составлении которого она принимала участие. Но это явное лжесвидетельство, во всяком случае в вопросе распространения. Моя жена Е. Г. Боннэр выехала для лече-

ния в Италию 5 сентября 1977 года. Ф. Серебров был арестован 16 августа 1977 года, за 20 дней до отъезда жены, что подтверждается имеющимися в деле документами. Ф. Серебров после своего ареста никогда не видел П. Г. Григоренко, выехавшего из СССР в ноябре того же года. Это хронологическое несоответствие подробно обсуждалось в судебном заседании суда 1-й инстанции. На прямой вопрос адвоката Резниковой свидетелю Сереброву, как объяснить указанное несоответствие, Серебров не мог ничего ответить и просто промолчал. В кассационном выступлении адвоката и в кассационной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко никак не мог до 16 августа говорить о вывозе моей женой какого-либо документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия (устная и письменная) полностью проигнорирована в приговоре и в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат Резникова оспаривала показания Ф. Сереброва в части, касающейся распространения «Итогового документа к Совещанию в Белграде». Я рассматриваю вышесказанное как проявление необъективности и предвзятости судов первой и второй инстанций и как основание для опротестования приговора.

Статья 190<sup>1</sup> УК РСФСР инкриминирует «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Законодатель не уточняет, должны ли эти утверждения («измышления») быть заведомо ложными для обвиняемого в момент акта распространения или же их ложность должна быть ясна

только для членов суда. Поскольку взгляды и оценки членов суда могут существенно отличаться от взглядов обвиняемого в силу различной доступной им информации и по идеологическим причинам, этот вопрос очень важен для практического применения статьи 190<sup>1</sup>. Если исходить из того, что статья 190<sup>1</sup> не предусматривает уголовного преследования за убеждения, то несомненно, что правильна первая трактовка и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый (подсудимый) сознательно распространял ложь, т. е. не просто ложные утверждения, а такие, ложность которых была ему очевидна. Такая точка зрения, в частности, отражена в Комментариях к Уголовному кодексу РСФСР (издательство «Юридическая литература», 1971, ред. проф. Анашкин, проф. Карпец, проф. Никифоров, стр. 403—404, пп. 2 и 9а). Но в определении суда 2-й инстанции по делу моей жены мы, напротив, читаем: «Ознакомление с содержанием (выделено мной. — А. С.) интервью, данных осужденной, и подписанных ею документов свидетельствует о том, что они содержат заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Т. е. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР (так же, как суд 1-й инстанции) вообще не считает необходимым доказывать, что моя жена распространяла ложь, таким образом фактически эти суды стоят на позиции преследования за убеждения.

Я прошу прокурора РСФСР обратить особое внимание на это обстоятельство. Я считаю, что столь неправильная

трактовка статьи 190<sup>1</sup> является безусловным основанием для отмены приговора.

В определении по делу моей жены утверждается, что «нарушение прав человека в отношении конкретных лиц, на которые указывала Боннэр, не имело места, указанные лица осуждены за совершенные преступления в установленном законом порядке». Но, по убеждению моей жены (и по моему убеждению), на основании известных нам сведений о процессах многих лиц, они были осуждены незаконно, а именно — за их убеждения, и являются узниками совести (не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему). Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора не может являться доказательством правильности осуждения, необходимо конкретное рассмотрение, в частности с учетом того, что суды систематически применяют вышеуказанную неправильную трактовку понятия заведомой ложности при обвинении по ст. 190<sup>1</sup> УК РСФСР и систематически нарушают принцип гласности в отношении обвиняемых по политическим статьям.

Как я указывал в своем заявлении от 1 августа 1984 года, большая часть инкриминируемых жене высказываний на самом деле является изложением моего мнения или буквальным цитированием (на пресс-конференции в Италии в 1975 году и на Нобелевской церемонии и Нобелевской пресс-конференции в Норвегии в том же году, а также на пресс-конференции в январе 1980 года, после моей незаконной депортации в Горький). Жена в соответствии со своими убеждениями выступала

ла в этих случаях моим полномочным представителем. Она всегда отмечала, что это именно моя точка зрения.

Совершенно очевидно, что судить ее за эти высказывания, не предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня в качестве свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов отвечать за эти высказывания, соответствующие моим убеждениям. Жена же должна быть освобождена от ответственности за них!

Для обвинительного заключения, приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции характерно неточное и пристрастное, вырванное из контекста цитирование или изложение высказываний жены. Типичный пример. Жене инкриминируется утверждение, что «в советских газетах печатается сплошная ложь». Но при этом в качестве единственного доказательства предъявляется цитата из статьи в газете «Русская мысль», представляющей собой вольное изложение одного из интервью жены в двойном переводе. При этом все содержание пространной статьи о моем пребывании в Горьком в обвинительном заключении и судом не обсуждается. На самом деле, жена никогда не употребляет таких обобщенных выражений, как «сплошная ложь». Я обращаю внимание прокурора на неправомерность использования в качестве доказательства вины неавторизованного текста.

Особенно возмутительно с нравственной точки зрения использование в обвинительном заключении и приговоре эмоционального ответа жены во время неожиданной для нее встречи

с французским корреспондентом через три дня после того, как у нее был диагностирован инфаркт. В обвинительном заключении, определении суда второй инстанции и (по-видимому) в приговоре утверждается, что якобы жена говорила, что «советское правительство создало условия, чтобы убить академика и ее». Однако, ознакомившись с текстом телеинтервью, можно убедиться, что таких слов там нет. В действительности — на вопрос «Что же с вами будет?» жена ответила: «Не знаю, по-моему, нас просто убивают». Речь не шла об убийстве из пистолета. Косвенно же нас, особенно жену, действительно убивают — мы убеждены в этом, — убивают травлей и клеветой в печати (только за один 1983 год тиражом 11 млн. экземпляров), фактическим лишением эффективной медицинской помощи, обысками, изнурительными допросами и судом тяжелообольного человека, лишением нормальной связи с матерью, детьми и внуками. А меня убивают тем, что медленно убивают ее!

Важным основанием опротестования приговора является неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. В приговоре не упомянуто, что *моя жена является инвалидом Великой Отечественной войны II группы* и что *она перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда* (о чем имеются справки в деле), не упомянуто, что она больна хроническим увеитом и некомпенсированной глаукомой, перенесла три глазные операции и кардинальную операцию по поводу тиреотоксикоза, а также не упомянуто, что жена имеет стаж 32 года безупречной трудовой деятельности. Указаны только возраст жены и то, что она ранее не была судима. Согласно кодексу (статья

43 УК РСФСР), перечисление в приговоре способствующих смягчению приговора обстоятельств является обязательным. Применяя статью 43, суд был обязан назначить наказание ниже наиболее мягкого наказания, предусмотренного статьей 190<sup>1</sup> УК РСФСР, т. е. назначить наказание ниже, чем штраф. Ссылка таким наказанием не является.

Резюмирую. Основанием для отмены приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции является отсутствие состава преступления в действиях моей жены Е. Г. Боннэр, в частности отсутствие *заведомой* ложности в инкриминируемых высказываниях Е. Г. Боннэр, соответствующих ее убеждениям. Важными основаниями для отмены приговора являются также использование в обвинительном заключении, приговоре и определении *явно лжесвидетельских* показаний Ф. Сереброва — единственного упомянутого в приговоре свидетеля по делу, допущенное фактическое нарушение принципа гласности и неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР.

Исходя из вышеизложенного, я прошу прокурора РСФСР истребовать настоящее дело в порядке надзора для отмены приговора Горьковского областного суда и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

А. Сахаров

29 ноября 1984 года,  
г. Горький



## Приложения

1. Копия определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Копия приговора Горьковского областного суда не может быть приложена, т. к. выданная моей жене копия утрачена. Председатель суда по делу зам. председателя Горьковского облсуда Воробьев В. Н. отказал в выдаче копии взамен утраченной, сославшись на то, что к жалобе в порядке надзора нет необходимости прилагать копию приговора.

2. Копия заявления А. Д. Сахарова на имя помощника прокурора Горьковской области Г. П. Колесникова и председателя суда по делу Е. Г. Боннэр (фамилия председателя суда Воробьев).

\* \* \*

Жалоба отослана ценным письмом 11. 12. 84, уведомление о вручении датировано 17. 12. 84.

Копия приговора, выданная моей жене, была похищена из квартиры в августе 1984 года.

6.2.85 я получил ответ из Прокуратуры РСФСР от 31.1.85 за № 13-108-84, подпис. прокурором отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности В. М. Яковлевым. В ответе нет обсуждения ни одного из моих аргументов. Жалоба оставлена без удовлетворения.

\* \* \*

Президенту АН СССР А. П. Александрову

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я посылаю Вам копию своей надзорной жалобы по делу жены, в которой более подробно, чем это было сделано в моем письме Вам (переданном в ноябре 1984 г.), показана незаконность ее осуждения, и копию ответа прокуратуры РСФСР. Также посылаю копию прошения о помиловании, которое подает моя жена. Быть может, эти документы (особенно прошение о помиловании) будут Вам полезны, если Вы сочли возможным поддержать меня в деле о поездке жены. У меня есть серьезные сомнения, дойдет ли прошение жены до Президиума Верховного Совета СССР. Если Вы сочтете это целесообразным, я прошу Вас способствовать передаче прошения Председателю Президиума Верховного Совета СССР.

Я прошу Вас сообщить мне о Вашем решении по моей просьбе и о ходе дела то, что представляется Вам необходимым. Я прошу Вас прислать ко мне в Горький Вашего представителя для выяснения на месте всех неясных вопросов. Быть может, также целесообразна присылка врачей Академии (кардиолога и окулиста) для обследования состояния здоровья моей жены, ухудшившегося после последнего обследования ее в марте 1984 г. (тогда ее осмотрел проф. Сыркин). Но основные данные о ее здоровье уже имеются в Медотделе Академии (крупноочаговый инфаркт миокарда, частые тяжелые и длительные приступы стенокардии, увеит — последст-

вие контузии — и вторичная глаукома с прогрессирующим сужением поля зрения, облитерирующий эндоартериит, хронический дискогенный радикулит, три глазных и кардинальная тиреотоксикозная операции, необходимость использования глазных лекарств, губительных для сердца, и сердечных, вредных для глаз). Летом 1984 г. по запросу следственных органов Медотдел выслал справку о состоянии здоровья жены, приобретенную к ее делу.

Я надеюсь, что сообщенное мною в предыдущем письме решение выйти из Академии 1 марта 1985 года, если до этого не будет получено разрешение о поездке жены для лечения и встречи с близкими, помогает в Ваших ходатайствах. Это мое решение о выходе из АН остается в силе. Однако я предполагаю, что в связи с болезнью К. У. Черненко у Вас могли возникнуть задержки с выполнением моей просьбы. Поэтому, а также с учетом трудностей связи, я откладываю на 1,5 месяца свой выход из АН при отсутствии разрешения поездки, т. е. заменяю дату 1 марта на *15 апреля*.

Я готов также к другим шагам, кроме упомянутых в письме, если они помогут в вопросе о поездке жены, в том числе и к такой острой мере, как возобновление голодовки. Я пойду на этот шаг в условиях крайней необходимости, ясно сознавая всю меру его опасности для меня и — в особенности — для моей жены.

Убивая мою жену — провокационной клеветой в печати, лишая ее возможности увидеть мать, детей и внуков, фактически лишив тяжелобольного человека эффективной меди-

цинской помощи, подвергнув изнурительным допросам, суду и незаконному осуждению, подвергнув режиму ссылки с обязательными явками на регистрацию под угрозой насильственного привода в любую погоду при любых приступах — власти убивают и меня.

Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешат поездку) будет и моей гибелью.

*С уважением А. Сахаров*

*12 февраля 1985 года  
г. Горький*

## Служебная характеристика

на Боннэр Елену Георгиевну 1922 года рождения,  
лейтенанта мед. службы, члена ВЛКСМ с 1939 г.

т. Боннэр Е. Г. находилась на службе в ВСП № 122 с декабря 1941 г. по октябрь 1942 г. в качестве младшей мед. сестры и с октября 1942 г. по 18 июня 1945 в качестве старшей мед. сестры. Квалифицированная мед. сестра, выросшая на практической работе, себя проявила как толковый, энергичный работник, заслуженно пользуясь большим авторитетом как среди раненых, так и руководимого ею персонала. Кроме выполнения прямых обязанностей как старшая медицинская сестра по обслуживанию 6 вагонов для легкораненых она привлекалась к погрузочно-разгрузочным операциям. Хорошо наладила плацкартную систему.

Принимала активное участие в организации политико-воспитательной работы с личным составом поезда в качестве агитатора и групповода полит. занятий.

С февраля 1942 г. до 1945 г. работала секретарем комсомольской организации на ВСП. За образцовое выполнение своих служебных обязанностей имеет ряд благодарностей и занесена на Доску Почета ВСП 122.

Нач. ВСП 122 майор м/сл.

(подпись)

## ТАСС и «Известия» о Сахаровых

В мае—июне 1984 года ТАСС уделил беспрецедентное внимание Сахарову и Боннэр, выпустив о них четыре заявления в течение одного месяца.

Ниже следуют отрывки из первого заявления ТАСС, опубликованного 4 мая в газете «Известия».

**Подоплека провокации**

*<..> Особое место в этих грязных махинациях наши противники отводят известному антисоветчику Сахарову, антигражданское поведение которого давно заклеено советскими людьми.*

*Следует сказать и о жене Сахарова Боннэр Е. Г., которая не только постоянно подталкивает своего мужа на враждебные Советскому государству поступки, но и сама совершает такие действия, о чем неоднократно сообщалось в печати. Она же выступает и в роли посредника между реакционными кругами на Западе и Сахаровым. В течение ряда лет, причем отнюдь не бескорыстно, Боннэр промышляет тем, что снабжает западные антисоветские центры беспардонной клеветой и злобными пасквиля-*

---

\* Написано Ефремом Янкелевичем в августе 1986 г. специально для парижского издания «Постскриптума»

ми, чернящими нашу страну, наш строй и советских людей. <...>

Как стало недавно известно компетентным советским органам, по тщательно разработанному сценарию и при участии американских дипломатов была подготовлена далеко идущая операция, в соответствии с которой имелось в виду, что Сахаров объявит очередную голодовку, а тем временем Боннэр получит «убежище» в посольстве США в Москве. По этому плану пребывание Боннэр в посольстве должно было быть использовано для встреч с иностранными корреспондентами и передачи за границу клеветнических измышлений о Советском Союзе и всякого рода фальшивых материалов о положении ее мужа Сахарова.

Эти скоординированные действия должны были послужить сигналом для развертывания на Западе, прежде всего в США, антисоветской кампании.

Одновременно намечалось попытаться под надуманным предлогом — состояние здоровья — организовать выезд Боннэр за границу, где она должна была стать одним из лидеров антисоветского отребья, находящегося на содержании западных спецслужб.

В результате своевременных принятых советскими правоохранительными органами мер эта операция была сорвана. Американской стороне было сделано официальное представление с изложением фактов прямой причастности сотрудников посольства США в Москве к этой провокации и требованием прекратить такие недопустимые действия.

*Организаторы этой провокации затем оказались застигнутыми врасплох. Тем не менее, они пытаются изворачиваться, уйти от ответственности, лицемерно разглагольствуют о том, что ими движут якобы какие-то гуманные соображения и ничто другое <...>*

(18 мая американское посольство в Москве и государственный департамент США подтвердили, что получили письмо Сахарова с просьбой предоставить Боннэр временное убежище в посольстве. Они отрицали, что обсуждали эту просьбу с Боннэр, оставившей письмо в посольской машине (см. стр. 116). В последующих заявлениях ТАСС, тем не менее, утверждал, что сотрудники посольства «вынуждены были признать, что дирижировали всей этой антисоветской кампанией», а также признались в том, что эта кампания провалилась.)

*<...> Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу «тяжелой участи» Сахарова, предпочитают умалчивать, что они пытаются поднять на щит человека, который втаптывает в грязь свой народ, открыто призывает к войне, к приращению ядерного оружия против собственной страны, проповедует чужденоневистнические идеи. Предпочитают умалчивать они и о том, что Советское государство проявляет великодушие и терпение по отношению к этому человеку, дает ему возможность сойти с опасного пути, восстановить себя в глазах своих сограждан. <...>*

В заявлении не упоминалось ни о голодовке Сахарова, ни об обвинениях, выдвинутых против Боннэр. Скорее, из заявления можно было понять, что Сахаров отказался от планов голодовки.



Однако после того как Боннэр не вернулась в Москву, как ожидалось, 2 мая, заявление в «Известиях» заставляло предположить, что она задержана в Горьком. 6 мая математик Ирина Кристи, друг Сахаровых, поехала в Горький. Проведя ночь в горьковском отделении милиции, она вернулась в Москву 8 мая и рассказала западным корреспондентам о своем кратком разговоре с Сахаровыми (см. стр. 131). Почти одновременно с пресс-конференцией Кристи и независимо от нее Татьяна и Ефрем Янкевич в Нью-Йорке передали журналистам заявление Сахарова о голодовке, написанное им заранее в январе 1984 года.

Более полугода сообщение Кристи оставалось единственным достоверным свидетельством о положении Сахаровых, известным на Западе. После возвращения в Москву Ирина Кристи провела четыре месяца под домашним арестом.

Последующие заявления ТАСС были, несомненно, вызваны сильной реакцией Запада на сообщение о голодовке Сахарова. Советская позиция, повторяемая в этих заявлениях, сводилась вкратце к следующему:

1. Боннэр здорова и не нуждается в лечении за границей.
2. Если бы она нуждалась в специальном лечении, она могла бы получить его в Советском Союзе, лучшее в мире и бесплатно.
3. Хотя в прошлом ей разрешалось ездить за границу под предлогом лечения, она использовала заграничные поездки для проведения антисоветской деятельности. Этим она намеревалась заниматься и теперь.
4. Так называемая «голодовка», объявленная Сахаровым, является частью антисоветской кампании, задуманной и ко-

ординируемой «специальными службами США»; Сахаровы принимают в этой кампании добровольное участие.

Голодовка Сахарова совпала с периодом крайнего ужесточения советской внешней политики и обострения советско-американских отношений. Май 1984 года начался решением советских властей бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и закончился заявлением маршала Устинова об увеличении числа советских атомных подводных лодок у побережья США (якобы в ответ на размещение американских ракет в Европе). По-видимому, этим и объясняются настоячивые попытки ТАСС объяснить голодовку Сахарова интригами Белого дома и представить ее как проблему советско-американских отношений.

Искренность антиамериканских чувств советского правительства не вызывает сомнений. Сомнительна искренность обвинений. Советские власти вряд ли могли всерьез подозревать американскую администрацию в причастности к голодовке Сахарова или к попытке Боннэр искать убежища в американском посольстве. По сообщению известных американских журналистов Эванса и Новака, 23 апреля представители государственного департамента предупредили советское посольство о готовящейся Сахаровым голодовке и о том, что его смерть приведет к еще большему ухудшению советско-американских отношений («Вашингтон пост», 21 мая 1984 года).

Первые два пункта советской позиции излагались в заявлении ТАСС от 18 мая (приводится в переводе с английского):

## Больное воображение провокаторов

Состояние здоровья Елены Боннэр, жены академика Сахарова, в последнее время подробно обсуждается на Западе. Западная пропаганда подняла крик о «трагическом» положении Боннэр, которая якобы находится в «безнадежном» состоянии и поэтому должна немедленно уехать для лечения за границей.

В то же время в печати и в высоких официальных кругах, особенно в Соединенных Штатах, утверждается, что Боннэр якобы арестована и лишена необходимой медицинской помощи.

Все это — не более чем плод больного воображения организаторов этой новой антисоветской кампании. Начать с того, что до недавнего времени «тяжелобольная» Боннэр регулярно путешествовала между Горьким и Москвой и вела очень активный образ жизни, выразившийся, в основном, в упражнениях в профессиональном антисоветизме <...>

Боннэр так же, как и ее муж, получает (внимание, господа пропагандисты!) бесплатное лечение в лучших больницах Горького и в Центральной клинической больнице Академии наук СССР, когда это является необходимым. Эти больницы пользуются услугами крупнейших медицинских консультантов. Так, врачи, лечащие Боннэр в Горьковской областной больнице имени Н. А. Семашко, сообщили, что она прошла медицинский осмотр на третьей неделе апреля.

Точности ради, цитируя врачебное заключение, мы сохраним медицинскую терминологию: «Кардиограмма, по сравне-

нию с предыдущей, не показывает динамических изменений. Эхокардиоскопия аорты и митрального клапана не обнаружила отклонений от нормы. Пациент находится в удовлетворительном состоянии». Боннэр, которая, кстати, сама была врачом, проверила диагноз в поликлинике № 7 Управления хозяйственными медицинскими учреждениями Московского горсовета. Диагноз был полностью подтвержден.

По просьбе Боннэр ее осмотрел доктор медицинских наук Г. Г. Гельштейн, заведующий отделом функциональной диагностики Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук СССР. Наш корреспондент взял интервью у профессора Гельштейна. Вот что он сказал: «В результате возрастных факторов пациент страдает некоторой коронарной недостаточностью. Более года назад у нее был местный инфаркт. С тех пор ее состояние стабилизировалось, и я не заметил никакого ухудшения. Ей рекомендовано профилактическое лечение, обычное в нашей стране, с учетом всех последних достижений кардиологии».

Таким образом, Боннэр получает необходимую медицинскую помощь. Но Боннэр утверждает, что ее глазное заболевание может быть вылечено только в Италии. Действительно, Боннэр в прошлом оперировалась в частной итальянской глазной клинике. Вот что показал недавний медосмотр Боннэр. По мнению советских специалистов, операция была сделана на очень низком уровне и оставила грубый шрам на глазном яблоке пациента. Наш корреспондент узнал об этом у кандидата медицинских наук Е. Ф. Приставка, крупного

специалиста в области глазных заболеваний, который консультировал Боннэр по ее просьбе. Кстати, доктор Приставко сказал нам, что операции, подобные той, сделанной в Италии, делаются здесь у нас в обычных глазных больницах и притом на более высоком уровне. Вряд ли необходимо объяснять компетентным людям на Западе, что многие советские специалисты по глазной хирургии пользуются всемирной известностью и в соответствии с советскими законами бесплатно лечат наших граждан в больницах.<...>

Не так давно советская пресса сообщила о фактах, свидетельствующих о том, что в соответствии со сценарием, подготовленным специальными службами США, Боннэр должна была укрыться в посольстве США в Москве и оставаться там до тех пор, пока советские власти не разрешат ей выехать за границу. Тем временем, действуя через американских журналистов, она подливала бы масло в огонь, который враги Советского Союза любят раздувать вокруг этой обожающей скандалы дамы, Елены Боннэр, утверждающей, что она действует от имени Сахарова. Эта часть операции провалилась. Теперь специальные службы США и их пропагандистский аппарат приступили к новой фазе этой операции.<...>

Статья в «Известиях», опубликованная 21 мая, впервые намекала на следствие, ведущееся против Боннэр.

В отличие от заявлений ТАСС, чьим отрицательным героем были «специальные службы США», «Известия» отвели эту роль Е. Г. Боннэр.

По-видимому, статья должна была объяснить советскому читателю, почему «правоохранительные органы» приняли в отношении Боннэр «меры, вытекающие из закона», как и подобные статьи 1980 года, объяснявшие причину высылки Сахарова. В то же время и тон статьи в «Известиях», и время ее появления заставляют предположить, что власти, опасаясь за жизнь Сахарова, готовились возложить на Боннэр ответственность за смерть мужа. «Известия», в частности, обвиняли Боннэр в том, что она толкала мужа на голодовки.

### Отщепенцы и их радетели

*<...> Нельзя не заметить тот факт, что в последнее время в организуемых на Западе провокациях с использованием имени Сахарова все одиознее становится роль его супруги Боннэр Е. Г. Она явно хочет выдвинуться на передний план, стать чем-то вроде главного исполнителя антисоветских выходов, клеветнических заявлений по адресу советского народа.*

*Боннэр давно приняла на себя функции связного с западными реакционными кругами, не гнушаясь при этом темными делишками. Делает она все это вовсе не бескорыстно. Несколько раз Боннэр выезжала в Италию, ссылаясь на необходимость проведения лечения. На это ей давались разрешения. Находясь там в 1975 году, она запрдала за солидный куш одному из издательств провокационную книгу Сахарова «О стране и мифе».*

*Приехав снова в Италию в сентябре 1977 года, Боннэр во время своего почти что трехмесячного пребывания, забыв*

о «лечении», с головой погрузилась в грязное болото так называемых «сахаровских слушаний», от которых так и несло смрадом махровой антисоветчины. В 1979 году, находясь опять же в Италии, она тайком вылетела в США. Даже ее близкие итальянские приятели не знали, что «кто-то» посадил «больную» в самолет и переправил в Соединенные Штаты. Там Боннэр свели с группками антисоветчиков с поручением попытаться объединить грызущихся между собой разномастных отщепенцев. Тогда уже она подбрасывала американцам мысль — а не остаться ли ей на этот раз совсем в Америке? Ей, однако, отсоветовали, предложив снова вернуться в СССР и постараться выжать из Сахарова все, на что он еще способен в прислужничестве антикоммунистам.

И она продолжила это дело, действуя с напарниками из посольства США в Москве. По предварительной договоренности в определенные часы ее встречали американские дипломаты, чтобы получить очередную порцию антисоветских материалов и дать заказы на новые. <...>

Боннэр как поднаторевший провокатор следила за перепадами за рубежом антисоветской шумихи вокруг Сахарова. Когда эта набившая оскомину шумиха шла на убыль, она подталкивала супруга на очередную выходку. Именно Боннэр осенила идея объявления Сахаровым «голодовок», чтобы подкормить пропагандистские органы в США. О здоровье супруга она думала меньше всего, действуя по принципу: чем хуже, тем лучше. Чем хуже академику, тем лучше ей.

На май спланировали провокацию помасштабнее. Сахарову определили роль «голодающего», а Боннэр — «политической квартирантки» в американском посольстве, откуда она добивалась бы разрешения на выезд в США. Чтобы помочь ей в этом, академик состряпал «обращение к послу США в СССР с просьбой о предоставлении Елене Боннэр убежища в посольстве». <..>

Вернемся к планам Боннэр. Основное для нее по-прежнему — ускользнуть на Запад, как говорится, хоть через труп мужа. Под ее диктовку он инструктирует американцев: «не следует отвлекать силы и внимание» на что-то другое. «... Главное, трагически важное и фактически единственное дело, в котором мне нужно помочь, — добиваться разрешения на поездку моей жены за рубеж». <..>

В своих антисоветских действиях Боннэр зашла слишком далеко. Преступная рамка, которые по советским законам преступать никому не дозволено, она должна была знать, к каким последствиям это может привести. Как известно, Сахаров понес наказание за свою антиобщественную деятельность. В настоящее время правоохранительными органами приняты меры, вытекающие из закона, и в отношении Боннэр.

А. Баскин, С. Кондратьев

Хотя Сахарову «Известия» отводили сравнительно пассивную роль, он был обвинен в ненависти «к своей стране и своему народу», якобы выраженной им в статье «Опасность



термоядерной войны» («Форин афферс», июнь 1983 года). По словам «Известий», Сахаров писал:

*...капиталистические страны должны найти в себе «готовность идти на экономические жертвы», для того чтобы добиться превосходства и «рассчитаться с социализмом»<sup>1</sup>.*

30 мая, через три дня после окончания голодовки, ТАСС впервые счел возможным дать заверения о состоянии здоровья Сахарова. Под заголовком «“Врачеватели” из ЦРУ» ТАСС повторил прежние обвинения по адресу «американских спецслужб», Боннэр и Сахарова. Сахаров обвинялся также в том, что он, «известив Запад о т. н. “голодовке”, преследовал лишь цель дать повод для очередной кампании, чтобы привлечь внимание к своим провокационным писаниям».

*Ну а как же с «голодовкой»? — говорится в этом заявлении ТАСС. — Приведем точные медицинские факты: Сахаров чувствует себя хорошо, регулярно питается, ведет активный образ жизни.*

Эти заверения были повторены ТАСС 4 июня в заявлении, озаглавленном «Провокация. Еще раз о здоровье Сахарова и Боннэр». «Здоровы они и не голодают! — писал ТАСС. — “Заботу” же американских спецслужб об их здоровье можно расценить однозначно. Им нужно лишь очернить Советский Союз...»

ТАСС высмеивал слухи о смерти Сахарова и вновь нападал на «спецслужбы США и стоящие за ними американские официальные круги». Однако это заявление было адресовано не «американским официальным кругам», а, судя по всему, президенту Миттерану и/или французскому общественному мнению.

Во Франции положение Сахаровых вызывало особый интерес в связи с предполагаемой поездкой в Москву президента Миттерана. Французская пресса, а также лидеры правящей социалистической партии и часть политической оппозиции склонялись к тому, что Миттерану следует отменить или отложить свой визит в Москву. Советские власти, напротив, по многим причинам могли быть и, видимо, были заинтересованы в визите президента Франции — и особенно в период ухудшения советско-американских отношений. Возможно, они также надеялись убедить его выступить против размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия. (По сообщению «Нувель обсерватер», в середине мая советские представители предложили освободить Сахарова в обмен на призыв Миттерана остановить размещение американских ракет.)

Миттеран тем временем избегал публичных заявлений о своих планах, возможно ожидая перемен в положении Сахаровых или советских заверений об их положении. Первое из таких заверений было передано через генерального секретаря французской компартии Жоржа Марше. 20 мая Марше заявил, ссылаясь на высокие московские инстанции, что здоровье Сахарова удовлетворительно, его жизнь не находится в опасности и он «регулярно обследуется в больнице имени

Семашко». Москва также заверила Марше в благополучном состоянии здоровья Елены Боннэр, которая живет дома в Горьком и «не нуждается в госпитализации».

22 мая советский посол во Франции Юлий Воронцов сказал первому секретарю социалистической партии Лионелю Жоспену, что ему ничего не известно о голодовке Сахарова и что, насколько ему известно, вопреки сообщениям в западной прессе, Сахаров не был госпитализирован и находится дома. У Жоспена, тем не менее, сложилось впечатление, что Воронцов подтвердил сообщения о голодовке.

24 мая национальный секретарь социалистической партии Жан Попрен сказал, что «трудное решение» о поездке Миттерана не принято. На вопрос о гарантиях, которые Миттеран мог бы получить о положении Сахарова, Попрен ответил: «Последние события в этом деле не позволяют по-настоящему надеяться на такие гарантии».

Только 27 мая, в день окончания голодовки, министр иностранных дел Франции Клод Шейсон подтвердил намерение президента посетить Москву. По сообщению «Матэн», Шейсон сказал: «Французское правительство знает очень мало о положении Сахарова — только то, что он в Горьком и что его здоровье, должно быть, удовлетворительно, если советские власти рискуют утверждать, что оно хорошее».

3 июня, вслед за слухами о смерти Сахарова, возникшими в Италии и подтвержденными московским корреспондентом «Санди таймс» Эдмундом Стивенсом, Жорж Марше подтвердил, что французская компартия «разорвет отношения с Мо-

ской», если, вопреки полученным им заверениям, с Сахаровым «что-то случилось».

Обстоятельства появления четвертого, и последнего, заявления ТАСС изложены в статье Жака Амальрика «Поездка в Москву по-прежнему должна состояться» («Монд», 6 июня). Согласно советско-французской договоренности, сообщал Амальрик, 4 июня в семь часов вечера по парижскому времени стороны должны были одновременно объявить о предстоящем визите Миттерана. Однако уже в 16.45 по парижскому времени ТАСС заявил, что Миттеран принял приглашение Президиума Верховного Совета посетить Москву. В течение следующих двух часов Елисейский дворец отказывался подтвердить сообщение ТАСС. Именно в этот промежуток времени ТАСС выпустил заявление о «здоровье Сахарова и Боннэр».

Как можно понять, Амальрик считал заявление ТАСС о Сахаровых плодом переговоров между президентом Миттераном и послом Воронцовым, начавшихся, по его словам, 1 июня и успешно заверенных в понедельник 4 июня. Амальрик сообщает, что возможность такого заявления обсуждалась на этих переговорах. Тем не менее, заявление ТАСС от 4 июня не содержало ни новых, ни более подробных заверений по сравнению с предыдущим заявлением от 30 мая.

По утверждению Елисейского дворца, советская сторона не предложила никаких иных заверений или гарантий. Возможно, однако, что французское правительство продолжало настаивать на новых заверениях или что они уже были ему

обещаны. Объявляя о поездке Миттерана, Елисейский дворец намекнул на то, что она будет отложена, если не появятся новых известий о положении Сахарова (Рейтер, 4 июня 1984 года). Только 19 июня, накануне отъезда Миттерана в Москву, советские власти дали новые заверения, опубликовав фотографии Сахарова и Боннэр. Можно предложить много объяснений этой загадочной истории, различных по степени цинизма и полету воображения. Кажется несомненным, однако, что последнее или последние заявления ТАСС о Сахаровых были вызваны желанием советских властей видеть Миттерана в Москве.

*Заметим попутно, — писал ТАСС, — что к этой раздуваемой из Белого дома антисоветской кампании на Западе подключились некоторые легковверные люди. К сожалению, они верят лжи, а не фактам. Факты же, повторяем, таковы: Сахаров и Боннэр здоровы. Может быть, в центрах психологической войны Запада хотели бы услышать иные вести, но ничего другого мы им сообщить не можем.*

Рабочая запись заседания политбюро ЦК КПСС  
29 августа 1985 года

Председательствовал тов. Горбачев М. С.

Присутствовали т. т. Алиев Г. А., Воротников В. И., Рыжков Н. И., Чебриков В. М., Шеварднадзе Э. А., Демичев П. Н., Долгих В. И., Кузнецов В. В., Соколов С. Л., Ельцин Б. Н., Зайков Л. Н., Зимянин М. В., Капитонов И. В., Никонов В. П.

Горбачев. Теперь несколько слов на другую тему. В конце июля с. г. ко мне с письмом обратился неизвестный Сахаров. Он просит дать разрешение на поездку за границу его жены Боннер [так в записи] для лечения и встречи с родственниками.

Чебриков. Это старая история. Она тянется вот уже 20 лет. В течение этого времени возникали разные ситуации.

Применялись соответствующие меры как в отношении самого Сахарова, так и Боннер. Но за все эти годы не было допущено таких действий, которые нарушали бы законность. Это очень важный момент, который следует подчеркнуть.

Сейчас Сахарову 65 лет, Боннер — 63 года. Здоровьем Сахаров не блещет. Сейчас он проходит онкологическое обследование, так как стал худеть.

Что касается Сахарова, то он как политическая фигура фактически потерял свое лицо и ничего нового в последнее время не говорит. Возможно, следовало бы отпустить Боннер на 3 месяца за границу. По существующему у нас закону можно на определенный срок прервать пребывание в ссылке (а Боннер, как известно, находится в ссылке). Конечно, попав на Запад, она может сделать там заявление, получить какую-нибудь премию и т. д. Не исключено также, что из Италии, куда она собирается поехать на лечение, она может поехать и в США. Разрешение Боннер на поездку за границу выглядело бы гуманным шагом.

Возможны два варианта дальнейшего ее поведения. Первый — она возвращается в Горький. Второй — она остается за границей и начинает ставить вопрос о воссоединении семьи, то есть о том, чтобы Сахарову было дано разрешение на выезд. В этом случае могут последовать обращения государственных деятелей западных стран, да и некоторых представителей коммунистических партий. Но мы Сахарова не можем выпустить за границу. Минсредмаш против этого возражает, поскольку Сахаров в деталях знает весь путь развития наших атомных вооружений.

По мнению специалистов, если Сахарову дать лабораторию, то он может продолжить работу в области военных исследований. Поведение Сахарова складывается под влиянием Боннер.

Горбачев. Вот что такое сионизм.

Чебриков. Боннер влияет на него на все 100 процентов. Мы рассчитываем на то, что без нее его поведение может измениться. У него две дочери и один сын от первого брака.

Они ведут себя хорошо и могут оказать определенное влияние на отца.

Горбачев. Нельзя ли сделать так, чтобы Сахаров в своем письме заявил, что он понимает, что не может выехать за границу? Нельзя ли у него взять такое заявление?

Чебриков. Представляется, что решать этот вопрос нужно сейчас. Если мы примем решение накануне или после Ваших встреч с Миттераном и Рейганом, то это будет истолковано как уступка с нашей стороны, что нежелательно.

Горбачев. Да, решение нужно принимать.

Зимянин. Можно не сомневаться, что на Западе Боннер будет использована против нас. Но отпор ее попыткам со слаться на воссоединение с семьей может быть дан силами наших ученых, которые могли бы выступить с соответствующими заявлениями. Тов. Славский прав — выпускать Сахарова за границу мы не можем. А от Боннер никакой порядочности ожидать нельзя. Это — зверюга в юбке, ставленница империализма.

Горбачев. Где мы получим большие издержки — разрешив выезд Боннер за границу или не допустив этого?

Шевардинадзе. Конечно, есть серьезные сомнения по поводу разрешения Боннер на выезд за границу. Но все же мы получим от этого политический выигрыш. Решение нужно принимать сейчас.

Долгих. Нельзя ли на Сахарова повлиять?

Рыжков. Я за то, чтобы отпустить Боннер за границу. Это — гуманный шаг. Если она там останется, то, конечно,



будет шум. Но и у нас появится возможность влияния на Сахарова. Ведь сейчас он даже убегает в больницу для того, чтобы почувствовать себя свободнее.

**Соколов** (министр обороны СССР). Мне кажется, что эту акцию нужно сделать, хуже для нас не будет.

**Кузнецов**. Случай сложный. Если мы не разрешим поехать Боннер на лечение, то это может быть использовано в пропаганде против нас.

**Алиев**. Однозначный ответ на рассматриваемый вопрос дать трудно. Сейчас Боннер находится под контролем. Злобы у нее за последние годы прибавилось. Всю ее она выльет, очутившись на Западе. Буржуазная пропаганда будет иметь конкретное лицо для проведения разного рода пресс-конференций и других антисоветских акций. Положение осложнится, если Сахаров поставит вопрос о выезде к жене. Так что элемент риска тут есть. Но давайте рисковать.

**Демичев**. Прежде всего я думаю о встречах т. Горбачева М. С. с Миттераном и Рейганом. Если отпустить Боннер за границу до этого, то на Западе будет поднята шумная антисоветская кампания. Так что сделать это, наверное, лучше будет после визитов.

**Капитонов**. Если выпустим Боннер, то история затянется надолго. У нее появится ссылка на воссоединение с семьей.

**Горбачев**. Может быть, поступим так: подтвердим факт получения письма, скажем, что на него было обращено внимание и даны соответствующие поручения. Надо дать по-

нять, что мы, мол, можем пойти навстречу просьбе о выезде Боннер, но все будет зависеть от того, как будет вести себя сам Сахаров, а также от того, что будет делать за рубежом Боннер. Пока целесообразно ограничиться этим.

## Надежды 1975 года

Я была очень тронута вашим приглашением приехать в Осло, поскольку этот город стал частью истории нашей семьи и появляется на ее наиболее ярких и драматических страницах.

Однако не стану отрицать, что мне грустно при мысли, что я выступаю в том самом зале, где почти десять лет тому назад выступала моя мать, — теперь, когда я даже не знаю, где она.

Я помню, как она вернулась отсюда в Москву в последние дни 1975 года. Как мы встречали ее в аэропорту вместе с Андреем Сахаровым и ватагой иностранных журналистов. Помню атмосферу свободы, оживления и праздника, которую она привезла с собой из Осло.

Я также помню 1975 год как год надежд. И об этих надеждах, надеждах 1975 года, я и хочу говорить.

1975 год был годом «доктрины Сахарова». «Сахаров, — говорилось в дипломе Нобелевской премии Мира за 1975 год, — убедительно показал, что только соблюдение индивидуальных прав человека может стать надежной основой подлинной и долговечной системы международного сотрудничества».

---

Речь Татьяны Янкелевич на собрании, посвященном 10-й годовщине присуждения А. Д. Сахарову Нобелевской премии Мира, 9 октября 1985 г. в Нобелевском институте (Осло).

«Доктрина Сахарова», суть которой состоит в неотделимости мирного сосуществования от прав человека, была признана не только Нобелевским комитетом, но и главами 35 государств, подписавших в Хельсинки летом 1975 года Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Хельсинкские соглашения были кульминацией разрядки. Однако, как мы знаем сегодня, в основе разрядки лежало отнюдь не стремление содействовать защите прав человека и борьбе за открытое общество в СССР.

Например, как отмечали многие наблюдатели, в том числе Генри Киссинджер, американской стороной двигало представление о невозможности продолжать политику «сдерживания» в ее традиционной форме. По мнению того же д-ра Киссинджера, среди прочих причин, вызвавших к жизни советско-американскую разрядку (таких, как опасение, что Европа станет нейтральной, если США отстанут от своих союзников по НАТО в борьбе за советскую благосклонность), главной побудительной причиной было «роковое сочетание ядерного паритета с неравенством в обычных видах вооружения». У многих европейских правительств были, возможно, еще менее благородные причины для продолжения политики разрядки.

Это была совсем не та разрядка, сторонником которой был Андрей Сахаров. В 1973 году на вопрос, не изменилось ли его мнение о конвергенции Востока и Запада, он ответил:

*«...мое основное предположение остается в силе, а именно: перед миром стоят две альтернативы — или постепенное*

*сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны. Но действительность оказалась еще сложнее, в том смысле, что перед нами теперь стоит следующий вопрос: будет сближение сопровождаться демократизацией советского общества или же нет? Эта новая возможность, которая может на первый взгляд показаться полумерой — лучше, чем ничего, — на самом деле таит в себе огромную внутреннюю опасность».*

*Опасностью, по мнению Сахарова, было «сближение без демократизации, сближение, при котором Запад, по существу, принимает советские правила игры. Подобное сближение было бы опасно в том смысле, что оно не решило бы на самом деле ни одной из мировых проблем и означало бы просто капитуляцию перед лицом реальной или преувеличенной советской угрозы. Это означало бы попытку торговать с Советским Союзом, покупая газ и нефть и игнорируя все остальные аспекты проблемы. Я думаю, что подобное развитие событий было бы опасно, поскольку имело бы серьезные последствия внутри самого Советского Союза. Оно заразило бы весь мир антидемократическими особенностями советского общества. Это позволило бы Советскому Союзу обоить проблемы, которые он сам не в состоянии решить, и сконцентрировать усилия на усилении собственной мощи. В результате мир оказался бы беззащитен и беспомощен перед лицом неконтролируемой бюрократической машины. Я думаю, что, если сближение происходило бы полностью*

*и безоговорочно на советских условиях, это было бы серьезной угрозой всему миру».*

Хельсинкские соглашения во многом соответствовали сахаровскому представлению о разрядке: по его мнению, разрядка должна иметь позитивную и созидательную цель, и эта цель — постепенное преодоление закрытости тоталитарных систем и их либерализация. Сегодня кажется удивительным, как много гарантий прав человека и условий, способствующих свободному обмену идеями и информацией, представителям Запада удалось внести в Хельсинкские соглашения.

Полагаю, никто не рассчитывал, что Советский Союз немедленно возьмется за выполнение всех этих условий. Тем не менее, безусловно, существовала надежда, которую разделял и Андрей Сахаров, на то, что соглашения и сам процесс разрядки станут, по меньшей мере, фактором, сдерживающим репрессивную политику советского правительства. Эта надежда еще теплилась в конце 1975 года, несмотря на отказ советских властей разрешить Андрею Сахарову лично принять Нобелевскую премию, несмотря на судебный процесс над другом Сахарова, биологом Сергеем Ковалевым, проходивший одновременно с церемонией вручения Нобелевской премии.

Эта надежда начала угасать в последующие годы, когда мы стали свидетелями непрекращающегося ухудшения положения в области прав человека, усиления антидиссидентской и антисемитской пропаганды, разгрома инакомыслия в целом

и уничтожения правозащитного движения в частности. Для Сахарова эти годы были временем отчаянных усилий остановить нарастающие репрессии, защитить их новые жертвы.

В январе 1980 года и сам Андрей Сахаров — «совесть человечества», по выражению Нобелевского комитета, — был сослан в Горький под круглосуточный милицейский надзор. Моя мать стала единственной его связью с миром. Его голос доходил до нас, пока и она не была арестована в мае 1984 года. В числе предъявленных ей обвинений было участие в пресс-конференции здесь, в Норвегии, проходившей, возможно, в этом самом зале.

Какой смысл сегодня вспоминать надежду десятилетней давности, надежду, безжалостно уничтоженную? Какой смысл рассуждать, что не вышло и что могло или должно было быть сделано, чтобы не допустить крушения этой надежды, чтобы спасти сотни достойных и мужественных людей от лагерей, тюрем, психиатрических больниц?

На эти вопросы, думаю, есть ответы, простые и не очень простые. Я думаю, что важно говорить об этой надежде, искать эти ответы — хотя бы по следующим причинам.

Во-первых, есть люди, и среди них лишённые свободы члены Хельсинкских групп, которым можно и должно помочь.

Во-вторых, Горбачев предлагает нам новую разрядку, Сейчас самое время подумать о том, хотим ли мы разрядки, и если да, то какой. Разрядки, основанной на страхе, или разрядки, имеющей конструктивную цель? Разрядки с Сахаровыми — или без них?

И в-третьих — и в-главных, — сегодня, как и вчера, и в обозримом будущем мы стоим перед той же альтернативой, о которой Андрей Сахаров говорил 12 лет назад: «...или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны».

Это означает, что у нас нет другого выбора, что мы должны бороться за надежду 1975 года до тех пор, пока она не станет реальностью.

И еще одно, раз уж мы говорим о надеждах. Три года тому назад Андрей Сахаров принял приглашение норвежского правительства поселиться в Норвегии. Я надеюсь, что когда-нибудь это послужит мне причиной снова побывать в Осло.



## Из письма семье в Соединенные Штаты

Дорогие Руфь Григорьевна, Таня, Алеша, Лиза, Рема! Целую вас. Позади почти два года жестоких испытаний и волнений для нас с Люсей и для вас. И все это время мы не имели «материальной» связи. Но вы сумели лучше, чем все остальные, понять, что происходит, и эта ваша интуиция, ваши умные действия спасли нас. Краткий рассказ о том, что вам не вполне известно или вовсе неизвестно. В 1984 году мы с Люсей боялись, что во время моей голодовки она окажется во власти КГБ. Я придумал план, согласно которому на время голодовки она просит о временном убежище в посольстве США. Люся очень колебалась и оттягивала начало действий, даже когда мы назначили срок в марте. Наконец, мы окончательно решились начать 13 апреля. 7 апр. она уехала. Но еще в марте я ушиб себе ногу банкой от мусора, и у меня развился гнойник на колене. Уже без Люси мне его вскрыли в поликлинике, но, видимо, недостаточно. 12 апр. ко мне приехали врачи и 13 апр. госпитализировали для нового вскрытия<sup>1</sup>. Люся прилетела 13 апр. (без вещей, без теплой одежды) по моей телеграмме от 12 апр., которую она получила за два часа до того, как за ней приехали из посольства. <...> На время, пока меня возили в больнице по врачам, я неосторожно отдал <...> сумку с документами, которую я всегда носил с собой <...> Я упустил из виду, что не унич-

тожил черновик моего письма послу США. <...> Так КГБ стал известен мой план. Мы с Люсей понимали это. Но уже не смогли отступить. 2 мая Люся пыталась вылететь в Москву, была задержана на аэродроме и обыскана. В руки КГБ опять попали документы, в том числе ее письмо вам. Люсе предъяв. обвинение по ст. 190<sup>1</sup>, вы хорошо знаете ее дело, хотя до вас и не дошел окончательный текст моей надзорной жалобы. Еще до того, как она приехала домой, я начал голодовку, приняв слабительное. Вместе с Люсей в дом вошел начальник Обл КГБ, произнесший «устрашающий» монолог, в котором назвал Люсю «агент ЦРУ Елена Боннэр». Дальнейшее вам в основном известно. 7 мая меня принуд. госпитализировали. 11 мая меня начали принудительно кормить (внутривенными вливаниями). В этот день у меня произошел микроинсульт (или сильный спазм сосудов головного мозга). 15 мая Люся получила телеграмму: «Елена Георгиевна, мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем вас сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от безумной затеи, которая может привести его к смерти. Мы знаем, что только один человек может спасти его от смерти — это вы. Вы мать своих детей и должны понять нас. В противном случае будем вынуждены обратиться в прокуратуру о том, что вы толкаете нашего отца на самоубийство. Другого выхода не видим, поймите нас правильно. Таня, Люба, Дима». Эта жестокая, несправедливая по отношению к Люсе телеграмма доставила ей дополнительные страдания и волнения в ее и без того ужасном, почти непереносимом положении. Телеграмма давала «зеленый свет» любым действиям КГБ в отношении нас... Она явилась

причиной того, что я не писал своим детям последующие полтора года, до ноября 1985 года.

О последующих событиях, о нашей неслыханной, беспрецедентной изоляции все эти полтора года расскажет вам Люся.

В ноябре 1984 года я переслал (не буду рассказывать как) письмо к Александрову в Президиум АН, в котором просил о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во время насильственного кормления. В заключение я писал, что являюсь единственным академиком, жена которого подвергается массивированной бессовестной клевете в печати, незаконно осуждена как уголовная преступница за действия, которые она совершала в качестве моей жены по моему полномочию, и за действия, которых она вообще не совершала, лишена возможности увидеть близких, лишена медицинской помощи. Я писал, что я не хочу принимать участие во всемирном обмане и прошу считать мое письмо заявлением о выходе из АН, если моя просьба не будет удовлетворена (первонач. срок 1 марта, затем изменил на 10 мая). 16 апр. 1985 я начал новую голодовку. 21 меня насильственно госпитализировали — вновь в б-цу им. Семашко. Люся расскажет, как проходила эта (и другие) госпитализация. С этого дня и до 11 июля я подвергался принуд. кормлению. Часто (не всегда) в этот и последующий «заходы» мое сопротивление носило символический характер. Иногда кормление было крайне мучительным. Меня связывали, мучительно — до силяков — надавливали на мышцы лица, раскрывали рот лож-

кой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если «кормящая бригада» приходила не в полном составе (или если я находился вне палаты — но дважды меня затаскивали в палату насильно с помощью гебистов).

Я не знал, что о голодовке известно за рубежом.

11 июля я не выдержал разлуку с Люсей и незнание, что с ней, и написал заявление о прекращении голодовки. В тот же день меня выписали, выписка явно была очень нужна ГБ перед Хельсинки. Две недели мы с Люсей вместе, это было «время жить», которое дало нам силы для нового «захода». 25 июля я вновь начал голодовку, 27 июля госпитализирован. За краткий период пребывания на воле был снят скрытой камерой известный вам фильм. Прекратил голодовку и выписан 23 октября. 25 октября получено разрешение на поездку Люси.

Во время принуд. кормления мой вес постоянно падал. Норма моего веса 77-80 кг. Нач. вес в апреле — 64 кг 300 г. При выписке 11 июля 65 кг 800 г. Миним. вес при втором заходе — 62 кг 800 г (13 авг. ). Начиная с этого дня мне стали делать подкожные — в бедра обеих ног — и внутривенные вливания р-ра глюкозы и белковых препаратов (аминокровина, гидролизина, альбумина). Подкожных влив. было 15, а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, ноги вздувались, как подушки, и болели.

Самая жестокая мера по отношению к нам — 10-месячная разлука, изоляция друг от друга. Особенно тяжело, непереносимо было Люсе в ее одиночке! Она (говорю о 1985 годе) не

держала голодовки, но похудела больше, чем я. Эти 10 месяцев — вычеркнутое из нашей жизни время, его как бы не было.

В марте 1985 г. Люся подала в Президиум Верх. Совета СССР прошение о помиловании с просьбой разрешить ей поездку. В 1984 и особенно в 1985 году я писал много писем руководителям страны и в КГБ, в том числе 21 мая 1985 г. Чебрикову и 29 июля 1984 г. Горбачеву. Я указывал причины, по которым поездка Люси жизненно необходима, на ее право увидеть мать, детей, внуков. Подчеркивая, что она является инвалидом 2-й гр. и участником ВОВ все 4 года, тяжело больным человеком, объяснял незаконность ее осуждения. Далее я писал: «Влияние жены в моей общ. деятельности сказалось в большем внимании к конкретным человеческим судьбам, в усилении гуманистической направленности, но никак не на концепциях по общим вопросам... Я готов нести ответственность за мои действия — хотя и считаю примененные ко мне меры несправедливыми и незаконными. Но для меня совершенно нетерпимо положение, когда ответственность за мои действия переносится на мою жену». Я писал, что «хочу полностью прекратить общественные выступления (конечно, кроме совершенно исключительных ситуаций), сосредоточившись на научной работе. В случае положительного решения о поездке жены я готов обратиться к западным ученым, ко всем тем, кто выступал в мою защиту, с просьбой прекратить все действия, направленные на изменение моего положения».

Дважды (31 мая 1985 г. и 5 сент. 1985 г.) в больницу ко мне приезжал представитель КГБ СССР С. И. Соколов (ви-

димо, большой начальник). В мае он также беседовал с Люсей. Беседа со мной имела жесткий характер, он подчеркивал причины, по которым моя просьба о поездке Люси (а также о поездке детей в СССР) не может быть удовлетворена. Он также давал понять, что я должен дезавуировать свои прежние выступления — в частности, письмо Дреллу, о взрыве в моск. метро, о конвергенции. Два дня перед этим визитом у меня была полная голодовка, кормления не было — так меня «готовили» к беседе. В сентябре Соколов сообщил, что с моим письмом ознакомился Горбачев и дал поручение группе лиц подготовить ответ. Соколов просил меня написать заявление по вопросу о моей секретности и передать жене просьбу написать заявление, согласно которому она обязуется не встречаться за рубежом с представителями массмедиа и не принимать участия в пресс-конференциях. Меня отпустили на 3 часа к Люсе, и мы выполнили эти просьбы. Я написал, что признаю обоснованность отказа мне в разрешении выезда или поездки за пределы СССР, т. к. в прошлом я имел доступ к особо важным секретным сведениям военного характера, некоторые из которых сохранили, возможно, свое значение до сих пор (обращаю внимание, что эта формулировка, так же как соответствующая формулировка в письме Горбачеву, не имеет отношения к моей депортации в Горький и изоляции, которые я считаю несправедливыми и незаконными). После второго визита Соколова было еще 48 томительных дней и ночей ожидания. Остальное вы знаете.

<...> У меня такое чувство, как бы я тоже вместе с Люсей иду к вам, погружаюсь в пеструю, насыщенную событиями вашу жизнь. Надеюсь, что теперь она войдет в более спокойное, более «семейное» русло. Я надеюсь, что Люсе сделают все необходимое, включая сердце, глаза, зубы, папиллomu, и что она вернется более здоровой и более спокойной за вас. Целую вас, будьте здоровы и счастливы. Целуйте детей.<...>

*Андрей*

*[24 ноября 1985 г.]*

Р. С. Алеша, в препринте моей статьи «Косм. переходы с изменением сигнатуры метрики» опущено посвящение Люсе. Как это произошло? Можно ли в некоторых рассылаемых адресатам препринтах восстановить посвящение? Для меня это было бы очень важно.

## Мы все – современники Андрея Сахарова

Глубокоуважаемые члены Конгресса, дамы и господа!

От имени моего мужа я благодарю всех присутствующих в этом зале, а также тех, кто отмечает его шестидесятипятое, где бы они ни находились.

Я благодарю Президента за его теплое письмо, я воспринимаю его как выражение заботы о моем муже и надеюсь, что эта забота не будет напрасной. Отмечая этот день, мы все чествуем юбиляра и думаем о стране, в которой он родился, живет и работает. Это большая честь для истории страны – иметь такого гражданина, как академик Сахаров. У меня сегодня трудное положение. Я выступаю перед вами в двух качествах – как жена и как современник академика Андрея Сахарова.

Как жена я полна тревоги за его жизнь и судьбу. Последние годы жизни в Горьком доказали мне, что с нами может произойти все что угодно и мир никогда не узнает правды. Вы знаете, что за последние годы были подделки телеграмм и писем, были фальшивые фильмы. Я опасаясь, что, как только я вернусь в Горький, всякая связь с внешним миром у нас

---

Выступление Е. Г. Боннэр на чествовании А. Д. Сахарова в Комиссии по иностранным делам Конгресса США в день его 65-летия 21 мая 1986 г.



прекратится — на Запад будет поступать только дезинформация. Сахаров находится в Горьком в нарушение всех законов страны, гражданином которой он является, и, пока ему не будут предоставлены те права, которыми пользуются все граждане СССР, его жизнь в опасности.

Как жена я могу говорить о его здоровье, его одиночестве, о том, что он лишен нормальных научных и дружеских контактов, что он уже шесть лет ни разу не имел возможности выехать за пределы города Горького, что жить под постоянным наблюдением объектива камеры трудно и психологически просто опасно.

Могла бы я говорить и о том, как мне страшно туда возвратиться, как я боюсь всей той лжи, которая нас там окружает, как ужасно, когда все лгут — пресса, официальные лица, ученые. Мне кажется, если бы не Андрей Дмитриевич, я никогда не только не вернулась бы туда, я не посмотрела бы в ту сторону. Но я не хочу ни о чем этом говорить. В мире достаточно людей, способных понять мои чувства. Я сегодня хочу говорить как современник академика Сахарова.

Каждое время имеет своих героев. В сказках они просто рождаются, но в жизни нужно много обстоятельств и сочетание многих качеств, чтобы подняться вровень с судьбой, начиная с того, при каком социальном строе живет человек, и до того, как ведут себя те, кто рядом.

Андрей Дмитриевич Сахаров стал духовным лидером нашего с вами времени в силу целого ряда внешних обстоятельств, счастливо сочетавшихся с его индивидуальными особенностями.

ми, характером воспитания и среды, в которой он сформировался. Важнейшая особенность нашего времени, которую нельзя преуменьшать, — то, что мы живем после второй мировой войны. Это время после Катастрофы и ГУЛАГа, Катыни и Хатыни, Освенцима и Хиросимы. После второй мировой войны люди постоянно вырабатывают общественные институты, способные предохранить нас от повторения трагедии. Были приняты Всеобщая декларация прав человека, Пакты о правах человека и Заключительный акт совещания в Хельсинки. Сахаров защищает эти институты, и его мировоззрение тесно связано с ними. Прежде всего, именно время определило появиться Сахарову. Сахаров — плоть от плоти именно этого времени.

Мы все — современники колоссального скачка в прогрессе нашей цивилизации. Наука второй половины XX века определяет характер нашей жизни. Научный талант Сахарова и вместе с тем его способность глубоко понять, что полезного и что страшного несет прогресс, поставили его на передний край этой особенности нашего времени. Его личные качества: абсолютная честность в сочетании с естественной смелостью, столь естественной, что в повседневной жизни ее никто не замечает; интуитивное, врожденное понятие добра и зла; совершенная естественность его моральных принципов — все это сделало его тем академиком Сахаровым, которого знают и уважают во всем мире.

На этом основании выработалось его мировоззрение — неразделимость мира, прогресса и прав человека, идеология защиты прав человека как защиты жизни на Земле.

Эта идеология способна объединить людей Запада и Востока, различных религий, различных рас. Но она требует от нас ответственности и личной честности в отношении к событиям и людям, принадлежащим к различным системам. Надо иметь абсолютную ответственность перед временем и ни на чем не спекулировать. Время требует от всех серьезности. Несколько примеров.

Прекрасно, что делегации Красного Креста смогли добиться допуска своих представителей в тюрьмы Чили, но надо добиваться, чтобы они были допущены в тюрьмы СССР, Кубы или Китая. Западные корреспонденты при поддержке мировой общественности добились, чтобы их пускали к Нельсону Манделе. Надо добиваться, чтобы их пускали и к узникам совести в СССР. Катастрофа в Чернобыле не должна стать поводом, чтобы противники ядерных испытаний доказывали, что Западу не нужна ядерная энергетика. Пора понять, что не попытки остановить прогресс, а открытое общество и ненарушаемое право граждан контролировать действия правительства есть гарантия сохранения среды. Чернобыль доказал всем, что Земля — планета маленькая, что все успехи и ошибки у человечества общие, как и общая судьба в будущем. Это краеугольный камень мировоззрения Сахарова.

Наконец, совсем близко к теме нашего сегодняшнего праздника — один вопрос: серьезно ли вести неправительственные переговоры о разоружении и прекращении испытаний между учеными Запада и Востока, пренебрегая единственным

— одновременно компетентным и независимым — голосом с той, восточной стороны — голосом академика Сахарова?

Я благодарю Конгресс США и в его лице американский народ за возможность сказать с этой трибуны, что, чувствуя в день шестидесятипятилетия академика Андрея Сахарова, мы все сегодня вновь подтверждаем нашу решимость защищать жизнь на Земле и нашу свободу.

## Горьковские ленты

Сотрудничество советского журналиста Виктора Луи с популярной немецкой газетой «Бильд» началось, видимо, в июне 1984 года, когда «Бильд» опубликовала две фотографии Сахаровых как доказательство того, что они живы.

Фотографии Боннэр (на улице) и Сахарова (в парке?), сделанные, как утверждалось, 12 и 15 мая и опубликованные 19 июня, были, по словам «Бильд», предоставлены газете Виктором Луи, известным в течение многих лет в качестве неофициального посредника между советскими властями и западной прессой.

Задержав Елену Боннэр в Горьком, советские власти столкнулись с проблемой, хорошо известной многим террористам, — с необходимостью доказывать вновь и вновь, что заложники живы и находятся в их руках. До весны 1984 года Елена Боннэр была практически единственным доступным западной прессе свидетелем положения Сахарова в Горьком. В течение следующих полутора лет «информационный вакуум», возникший после ареста Е. Г. Боннэр, заполнялся Виктором Луи. За фотографиями последовали видеопленки, сня-

---

Написано Ефремом Янкелевичем для парижского издания «Постскриптума».

тые в Горьком скрытой камерой. (Видеопленки продолжали поступать и после приезда Боннэр в Америку, но уже для того, чтобы скомпрометировать ее как свидетеля голодовок Сахарова.) По-видимому, Луи также принадлежали сообщения о положении Сахаровых, появлявшиеся в «Бильд» со ссылкой на «московские источники». Однако «Бильд», видимо, не получила исключительного права на материалы о Сахаровых. Некоторые сообщения Луи передавал непосредственно иностранным журналистам в Москве. В своем последнем заявлении, сделанном 29 мая 1986 года, накануне встречи Елены Боннэр с Маргарет Тэтчер, Луи впервые похвалил Сахарова, который, по его словам, находится «на нашей стороне баррикад» и «пользуется уважением подавляющего большинства советских людей». Однако, как заявил Луи, возвращение Сахаровых в Москву поставлено под удар плохим поведением Боннэр на Западе.

Первая видеопленка, показывающая Сахарова в больнице и Боннэр на улицах Горького в июне-июле 1984 года, а также содержащая и более ранние кадры, была распространена «Бильд» 24 августа 1984 года, вскоре после суда над Е. Г. Боннэр. Не называя источника пленки, «Бильд» намекнула на то, что она была получена от Виктора Луи — «из того же источника», что и фотографии, опубликованные в июне.

К лету 1986 года «Бильд» распространила еще семь подобных видеопленок продолжительностью от 10 до 40 минут. Большинство из них были куплены и показаны, полностью или в отрывках, телевизионными компаниями многих запад-

ноевропейских стран и компанией Эй-Би-Си в Соединенных Штатах.

Ниже следует краткая хронология их появления.

*15 декабря 1984 года.* Фотографии Сахаровых в парке и у входа в кинотеатр, снятые, предположительно, в октябре. Опубликованы в день прибытия М. С. Горбачева в Лондон.

*28 июня 1985 года.* Сахаров на медицинском осмотре, предположительно весной 1985 года. Вторая пленка, озаглавленная «Куда исчез Сахаров»: Сахаров в больничной палате; ест в постели завтраки, обеды и ужины, как утверждает, в начале июня. Врач Наталья Евдокимова, называющая себя лечащим врачом Сахарова, комментирует видеозаписи. Она отрицает, что Сахаров голодал или голодает или что ему даются психотропные препараты. Евдокимова перечисляет ряд заболеваний, которыми якобы страдает Сахаров, и утверждает, что он проходит в больнице курс лечения.

По словам диктора, фильм предназначен быть ответом на заявление Ефрема Янкевича, «которого на Западе выдают за официального представителя лауреата Нобелевской премии академика Сахарова», и на обращение Международной лиги прав человека в подкомиссию ООН по делам пропавших без вести.

*29 июля 1985 года.* 11 июля (судя по афишам) Сахаров покидает больницу. Е. Г. Боннэр встречает его перед домом. Сахаровы гуляют по улицам Горького, собирают грибы и т.д. Видеоленка распространена «Бильд» накануне встречи в Хельсинки министров иностранных дел, посвященной деся-

тилетию подписания Хельсинкских соглашений. К тому времени Сахаров был вновь помещен в больницу им. Семашко, где продолжал свою голодовку.

*9 декабря 1985 года.* Боннэр показана на приеме в местном ОВИРе, где она обсуждает свою заграничную поездку, а затем на приеме у зубного врача. Сахаров, отвечая на вопросы главврача больницы им. Семашко Олега Обухова, объясняет советскую позицию по вопросам контроля над вооружениями, а также свои собственные взгляды на этот предмет и на американскую программу стратегической оборонной инициативы. Сахаров провожает жену на горьковском вокзале. Боннэр в Шереметьевском аэропорту в окружении друзей и иностранных корреспондентов.

*24 марта 1986 года.* Сахаров, после отъезда жены, говорит с ней по телефону из местного отделения связи. Кадры, иллюстрирующие жизнь Сахарова в Горьком, перемежаются с отрывками из его телефонных разговоров с Е. Г. Боннэр. В одном из них он пересказывает заявление М. С. Горбачева (интервью газете «Юманите», 8 февраля 1986 года), сказавшего, что в отношении Сахарова «были приняты меры в соответствии с нашим законодательством» и что он не может выехать за границу по причине «секретов особой государственной важности». Сахаров встречается с врачом Ариадной Обуховой, а затем, судя по голосу, с ее мужем Олегом. (Обухов остается за кадром.) Он говорит им, что здоров и ни в чем не нуждается. Вновь отвечая на вопросы Обухова, Сахаров положительно отзываясь о предложениях Горбачева о разо-



ружении (по-видимому, предложения, выдвинутые 15 января 1986 года). Смонтированная из небольших кусочков, беседа с Обуховым носит отрывочный характер, как и подобная беседа в видеозаписи, опубликованной 9 декабря (предполагая, что обе не являются частью одной и той же).

*30 мая 1986 года.* Пленка, озаглавленная «Боннэр и Сахаров о Чернобыльской катастрофе и обсуждает ее по телефону с женой. Один из прохожих — молодой человек, представившийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Ответы Сахарова сопоставляются со словами Е. Г. Боннэр, как они приведены в статье «Говорит Сахаров» в итальянском еженедельнике «Иль Сабатто». Очевидная цель фильма — доказать, что Боннэр искажает взгляды своего мужа. Собеседники Сахарова также пытаются заставить его высказаться в поддержку советского моратория на проведение ядерных испытаний.

*18 июня 1986 года.* Видеозапись, опубликованная «Бильд» лишь две недели спустя после возвращения Боннэр в Горький. Запись разговора между Е. Г. Боннэр и А. Д. Сахаровым наложена на кадры, показывающие Сахаровых на улицах Горького. Согласно «Бильд», запись сделана через подслушивающее устройство в квартире Сахаровых. Замысел создателей фильма ясен из приведенных в «Бильд» отрывков разговора: Боннэр якобы упрекает мужа в том, что он, отвечая на вопросы (Обухова?), выразил поддержку предложениям Горбачева о разоружении (см. описание видеозаписи от 24 марта 1986 года).

Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

Почти семь лет назад я был насильственно депортирован в г. Горький. Эта депортация была произведена без решения суда, т. е. является незаконной. Никаких нарушений закона и государственной тайны я никогда не допускал. Я нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции под непрерывным гласным надзором. Моя переписка просматривается и часто задерживается, а иногда фальсифицируется. С 1984 г. в такой же противоправной изоляции находится моя жена, осужденная к ссылке, режимом которой подобная степень изоляции не предусматривается. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия.

Я лишен возможности нормальных контактов с учеными, посещения научных семинаров, что в наше время является необходимым условием плодотворной научной работы. Редкие визиты моих коллег из Физического института АН СССР не исправляют этого нетерпимого положения, по существу — это фикция научного общения.

За время пребывания в Горьком мое здоровье ухудшилось. Моя жена — инвалид Великой Отечественной войны второй

---

«Свободная мысль», 1992, № 14.

группы, с 1983 года перенесла многократные инфаркты. В США ей была сделана тяжелейшая операция на открытом сердце с установкой шести шунтов, и операция ангиопластики на бедре. Она сейчас фактически является глубоким инвалидом, нуждающимся для сохранения жизни в непрерывном медицинском контроле, в уходе и климатолечении. В этом же нуждаюсь и я. Всего этого мы лишены в условиях моей депортации и ее ссылки.

Я повторяю свое обязательство не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Л. Толстого, «не могу молчать».

Позволю себе напомнить о некоторых своих заслугах в прошлом.

Я был одним из тех, кто сыграл решающую роль в разработке советского термоядерного оружия (1948—1968 гг.). По моей инициативе в 1963 г. Советское правительство предложило заключить договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, получивший название «Московский договор». Вы неоднократно отмечали его значение. Прекращение испытаний в атмосфере спасло жизнь сотен тысяч людей.

В силу своей судьбы я много думал о проблемах войны и мира. В своей общественной деятельности я отстаивал принцип открытости общества и соблюдение права на свободу убеждений, информации и передвижения — как важнейшей основы международной безопасности и доверия, социальной справедливости и прогресса. В феврале 1986 г. я обратился к Вам с призывом об освобождении узников со-

вести — людей, репрессированных за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия.

Вместе с покойным академиком И. Е. Таммом я был инициатором и пионером работ по управляемой термоядерной реакции (системы типа «Токамак», лазерное обжатие, мю-мезонный катализ). Предложенное мною использование термоядерных нейтронов для производства ядерного горючего позволит исключить самое опасное и сложное звено в атомной энергетике будущего — бридеры на быстрых нейтронах, и упростить, т. е. сделать более безопасными, энергетические атомные реакторы.

Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять участие в обсуждении этих проектов, в частности, в осуществлении программ международного сотрудничества с целью создания мирной термоядерной энергетики.

Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить мою депортацию и ссылку жены.

*С уважением*

*Сахаров Андрей Дмитриевич, академик*

*22 октября 1986.*

*603137, Горький, Гагарина, 214, кв. 3*

Рабочая запись заседания политбюро ЦК КПСС  
1 декабря 1986 г.

Горбачев. Теперь о Сахарове и Боннэр. У меня есть такой документ (зачитывает<sup>1</sup>). Видно, голова у него соображает и вроде бы в интересах страны. Этот момент меня больше всего заинтересовал. Давайте попробуем. (Зачитывает дальше.)

Он хочет вернуться в Москву. Надо воспользоваться этим и поговорить с ним. Обеспечить квартирой здесь.

Лигачев. Может быть, для начала пусть к нему поедет Марчук?

Горбачев. Да, надо послать т. Марчука к нему и сказать, что академики поговорили с советским руководством и оно поручило переговорить с ним, чтобы он включился в нормальную жизнь. Сказать, что все старое надо закрыть, страна включилась в огромную созидательную работу. Спросите, как он смотрит на то, чтобы свои знания, энергию отдать служению Родине, народу.

Громыко. Это хорошо, принципиально.

Горбачев. Если есть движение души, надо использовать. Как, Виктор Михайлович, не возникает осложнений?

Чебриков. Будем работать. Насчет квартиры. По улице Чкалова у него имеется хорошая двухкомнатная квартира. Они жили там вдвоем. Она полностью оборудована. Вторая

квартира есть, где он жил с первой супругой. Это — четырехкомнатная квартира. Там первое время жили дети, потом они съехали. Но Боннэр там не хочет жить.

Горбачев. Ну, это их дело.

Чебриков. В Жуковке есть дача, где живут академики — Александров, Зельдович и другие атомщики. Там есть дача, которая построена государством. Она также свободная. Так что квартирный вопрос решен.

Горбачев. Так и сказать ему: квартира за вами сохранена, дача тоже. Если у вас есть какие-то другие вопросы, — пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и вы тоже должны включиться.

Чебриков. Но он сказал в одном из писем: я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать.

Горбачев. Пусть и говорит. Если же будет выступать против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим?

Члены политбюро. Это даст нам выигрыш.

Горбачев. Тогда поручим т. т. Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал.

Чебриков. Но надо и указ Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу принять.

Горбачев. Да. Может быть, мы сейчас импровизируем, но вы вместе с т. Лигачевым проработайте этот вопрос, а потом пригласите т. Марчука и скажите ему все, что нужно сделать. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может

быть, и не было бы такой ситуации. В общем, надо его приглашать.

Члены политбюро. Правильно.

Горбачев. Пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают.

Чебриков. У нас есть некоторый опыт работы с ними.

Громыко. Только не допускать такую тематику, которая нежелательна.

Чебриков. Должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это понимает.

Горбачев. Виктор Михайлович, надо сказать т. Марчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует собрать Президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть т. Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказались за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе к этому вопросу.

Громыко. Я думаю, что ученые поступят правильно.

Горбачев. Тогда на этом закончим?

Члены политбюро. Да.

Постановление принимается.

## Указы Президиума Верховного Совета СССР

О прекращении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о высылении Сахарова А. Д.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Прекратить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года «О высылении Сахарова А. Д. в административном порядке из города Москвы» и меры, примененной к нему в целях предупреждения его враждебной деятельности и преступных контактов с гражданами капиталистических государств, возможного в этой связи нанесения ущерба интересам Советского государства.

*Председатель Президиума Верховного Совета СССР*

*А. Громыко*

*Секретарь Президиума Верховного Совета СССР*

*Т. Ментешашвили*

*Москва, Кремль. 17 декабря 1986 г.*

*№ 6168-XI*

---

Впервые в России опубликовано в 1996 г. (Андрей Сахаров «Воспоминания», т. 2).



\* \* \*

О помиловании Боннэр Е. Г.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Помиловать Боннэр Елену Георгиевну, 1922 года рождения, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания, назначенного судом за совершение преступления, предусмотренного статьей 190<sup>1</sup> Уголовного кодекса РСФСР.

*Председатель Президиума Верховного Совета СССР*

*А. Громыко*

*Секретарь Президиума Верховного Совета СССР*

*Т. Ментешашвили*

*Москва, Кремль. 17 декабря 1986 г.*

*№ 6169-ХІ*

## Справка о реабилитации Е. Г. Боннэр

Прокуратура Союза ССР  
Прокуратура Горьковской области  
18.03.92 № 13Р-92  
г. Горький

**СПРАВКА**  
о реабилитации

Боннэр Елена Георгиевна, 1922 года рождения, уроженка г. Мары, Туркменской ССР, до осуждения проживала: г. Москва, ул. Чкалова, д. 48-б, кв.68, пенсионерка.

Осуждена 10 августа 1984 года судебной коллегией по уголовным делам Горьковского областного суда по ст.190<sup>1</sup> УК РСФСР к ссылке сроком на пять (5) лет.

На основании ст. 3 и ст. 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года Боннэр Елена Георгиевна реабилитирована.

*Прокурор Нижегородской области  
старший советник юстиции А. И. Федотов*

---

В России публикуется впервые.

\* \* \*

Прокуратура Союза ССР  
Прокуратура  
Горьковской области  
603600, ГСП-10, г. Горький  
ул. Свердлова, 17

18.03.92 № 13Р-92

г. Москва, ул. Чкалова, д. 48-б, кв. 68  
Боннэр Е. Г.

Уважаемая Елена Георгиевна!

Прокуратурой Нижегородской области пересмотрено дело по обвинению Вас по бывшей ст.190<sup>1</sup> УК РСФСР, в настоящее время исключенной из Уголовного кодекса России.

Высылаю Вам справку о Вашей реабилитации.

Приношу Вам извинения за действия работников прокуратуры, вынужденных в прошедший период выполнять требования законов тоталитарного государства.

С уважением к Вам

Приложение: справка.

*Старший помощник прокурора Нижегородской области  
советник юстиции В. А. Колчин*

## Обращение Межрегиональной группы народных депутатов СССР

Глубокий интерес и живое сочувствие к судьбам демократических движений в зарубежных странах всегда были присущи духу съездов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов нашей страны.

В дни работы нашего съезда пришли тревожные известия из Китая. Съезд большинством голосов принял обращение к китайскому народу. Однако его текст не был обсужден депутатами и не отражает всей серьезности политической ситуации в соседней социалистической стране и глубины нашей тревоги, связанной с этим.

Мирные народные выступления в Пекине, Шанхае, Харбине, Нанкине, Чэнду и других городах страны проходили под лозунгами укрепления реформ, борьбы с коррупцией, развития демократизации, свободы слова и собраний.

Нам, гражданам страны, начавшей перестройку, хорошо понятны эти лозунги. Однако власти в КНР не пошли на диалог с народными массами. Для подавления демонстраций были призваны регулярные войска. Согласно предварительным

---

Впервые в России опубликовано в 1996 г. (Андрей Сахаров «Воспоминания», т. 2).

данным (см. «Известия» от 7 июня) насчитываются тысячи убитых и раненых. Уличные бои между войсками и населением продолжаются.

Почерк напуганных сил реакции везде одинаков — будь то в Минске или Вильнюсе, Ереване, Тбилиси или городах Китая.

Мы, народные депутаты СССР, соболезнуем пострадавшим и родственникам погибших китайских товарищей. Мы осуждаем применение карательных мер, использование армии против собственного народа. Мы призываем власти в Китайской Народной Республике вступить в диалог с народом, воздержаться от наклеивания ярлыков в духе времен культурной революции. Мы призываем правительство Китая остановить кровопролитие.

*Июнь 1989 г.*

## Обращение группы народных депутатов СССР

Дорогие соотечественники!

Перестройка в нашей стране встречает организованное сопротивление.

Откладывается принятие основных экономических законов о собственности, о предприятиях и важнейшего Закона о земле, который дал бы наконец крестьянину возможность быть хозяином. Верховный Совет не включил в повестку дня Съезда обсуждение статьи 6 Конституции СССР.

Если не будет принят Закон о земле, пропадет еще один сельскохозяйственный год. Если не будут приняты законы о собственности и предприятии, по-прежнему министерства и ведомства будут командовать и разорять страну. Если статья 6 не будет изъята из Конституции, кризис доверия к руководству государства и партии будет нарастать.

Мы призываем всех трудящихся страны — рабочих, крестьян, интеллигенцию, учащихся — выразить свою волю и провести 11 декабря 1989 года с 10 до 12 часов по московскому времени **ВСЕОБЩУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ ЗАБАСТОВКУ** с требованием включить в повестку дня II Съезда народных депутатов

---

«Октябрь», 1991, № 2.

СССР обсуждение законов о земле, собственности, предприятии и 6-й статьи Конституции.

Создавайте на предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозах, учебных заведениях комитеты по проведению этой забастовки!

**СОБСТВЕННОСТЬ – НАРОДУ!**

**ЗЕМЛЯ – КРЕСТЬЯНАМ!**

**ЗАВОДЫ – РАБОЧИМ!**

**ВСЯ ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ!**

*Сахаров А. Д.*

*Тихонов В. А.*

*Попов Г. Х.*

*Мурашев А. Н.*

*Афанасьев Ю. Н.*

*Москва. 1 декабря 1989 г.*

## ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

I съезд народных депутатов СССР закончился 9 июня 1989 г. 10 июня Андрей Дмитриевич поговорил с А. И. Лукьяновым. «Через несколько дней после разговора с Лукьяновым Люся и я вылетели в Европу и затем в США» — на этом хронологически заканчивается «Горький, Москва...».

Четвертая зарубежная поездка Андрея Дмитриевича началась 15 июня.

Меньше чем за месяц — Голландия (присуждение звания иностранного члена и почетной медали Голландской Академии наук и почетной докторской степени в Гронингском университете), Великобритания (прямо из аэропорта телеграмма главам государств — членов Совета Безопасности ООН с требованием прекратить казни в Китае, присуждение почетной докторской степени в Сассекском и Оксфордском университетах), Норвегия (вручение диплома Академии науки и литературы, членом которой Андрей Дмитриевич был избран 13 марта 1986 г., присуждение почетной докторской степени в университете Осло), Швейцария (участие в работе физического семинара в Женеве, ос-

---

Написано Е. Холмогоровой и Ю. Шихановичем для двухтомника «Воспоминания» Андрея Сахарова (1996).



мотор ускорителя) и Италия (избрание в Венецианскую академию).

С 7 июля по 21 августа — США.

26 июля Андрей Дмитриевич выступил на 39-й Пагуошской конференции (Кембридж) с призывом осудить репрессии в Китае (в ответ китайская делегация покинула конференцию).

В июле Андрея Дмитриевича заочно избрали одним из сопредседателей Межрегиональной группы депутатов — МГД.

12 августа Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна выступили на Международном конгрессе по правам человека, перестройке и гласности (Сан-Франциско).

Затем Андрей Дмитриевич участвовал в работе физического семинара и во встрече «Ученые за разоружение» (Стенфорд).

В США он закончил «Горький, Москва...» и начал писать Конституцию.

Перед возвращением в Москву — неделя во Франции. Там Андрей Дмитриевич закончил — вчерне — Конституцию (см. «Тревога и надежда», дополнение 5 к тому 2).

28 августа — возвращение в Москву.

12 сентября по докладу Андрея Дмитриевича Президиум АН СССР утвердил структуру и состав Научного совета по комплексной проблеме «Космология и микрофизика»; председателем Совета был назначен он.

В середине сентября (15–17) Андрей Дмитриевич посетил Свердловск (участие в Сибирско-Уральском совещании

депутатов, встреча с коллективом Уралмаша — «Тревога и надежда», т. 2) и Челябинск (встреча с «Мемориалом», участие в церемонии перезахоронения жертв массовых репрессий).

В конце сентября (24 — 30) — поездка во Францию. 27 сентября в университете Клода Бернара (Лион) состоялась церемония присуждения Андрею Дмитриевичу звания доктора «*honoris causa*». В тот же день на ежегодном конгрессе Французского физического общества он прочитал лекцию «Наука и свобода» (см. «Лионская лекция» — «Тревога и надежда», т. 2).

В сентябре—декабре Андрей Дмитриевич участвует в работе МГД и общественного объединения «Московская трибуна».

В октябре—ноябре Андрей Дмитриевич как народный депутат СССР активно участвовал в работе 2-й сессии Верховного Совета (выступал 2, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24 октября и 13, 14, 15, 23, 28 ноября), хотя и не был его членом.

19 октября Андрей Дмитриевич обратился в ООН с письмом о положении курдов.

С 25 октября по 8 ноября — поездка в Японию на Форум нобелевских лауреатов. Присуждение почетной степени доктора в университете Кэйю-Гидзюку.

17 ноября — встреча в МГУ со студентами во время Всесоюзного студенческого форума; эта встреча официальной

программой не предусматривалась и состоялась по просьбе студентов («Тревога и надежда», т. 2).

27 ноября — первое заседание Конституционной комиссии; Андрей Дмитриевич передал свой проект («Тревога и надежда», т. 2) председателю Комиссии М.С.Горбачеву (его проект был единственным).

29 ноября — первое заседание Научного совета по космо-микрофизике.

30 ноября на заседании Координационного совета МГД Андрей Дмитриевич выдвинул идею проведения 11 декабря, в день открытия II Съезда народных депутатов СССР, двух-часовой всеобщей политической предупредительной забастовки с требованием включить в повестку дня Съезда обсуждение законов о земле, собственности, предприятии и обсуждение 6-й статьи Конституции СССР.

1 декабря Андрей Дмитриевич, В. А. Тихонов, Г. Х. Попов, А. Н. Мурашев и Ю. Н. Черниченко подписали соответствующее Обращение (дополнение 19; очень скоро Ю. Н. Черниченко свою подпись снял, а отсутствовавший 1 декабря Ю. Н. Афанасьев ее добавил).

8 декабря Андрей Дмитриевич выступил на похоронах С. В. Каллистратовой.

11 декабря во время проведения двухчасовой забастовки Андрей Дмитриевич выступил на митинге в ФИАНе. Затем — собрание депутатов от Академии наук, собрание депутатов-старейшин от Москвы и выступление в «Мемориале».

12 декабря Андрей Дмитриевич выступил на Съезде.

13 декабря Андрей Дмитриевич закончил эпилог к книге «Воспоминания» и предисловие к книге «Горький, Москва, далее везде».

14 декабря Андрей Дмитриевич дал интервью студии «Казахфильм», впоследствии вошедшее в фильм «Полигон» (см. «Последнее интервью» — «Тревога и надежда», т. 2), выступил на собрании Межрегиональной группы депутатов (см. «Последнее выступление» — «Тревога и надежда», т. 2), составил набросок речи, с которой он собирался выступить на Съезде 15 декабря (см. «Непроизнесенная речь» — «Тревога и надежда», т. 2). *Вечером умер.*

Разумеется, это — всего лишь сухая и краткая хроника. Из письма Елены Георгиевны нам (когда она прочитала первоначальный проект этого дополнения): «Дополнение угнетает меня своей скудостью. Жизнь была загружена беспросветно, по 18 часов в сутки. Чего только стоило самому редактировать английский текст научной части «Воспоминаний», кончать, а где и заново писать книгу! Он кончил ее в ночь с 13 на 14 декабря! Участие в заседании Совета по космомикрофизике? Да он же после смерти Зельдовича руководил этой микрофизикой в масштабе Академии и фактически все организовал по новой! А президиум и Координационный совет Межрегиональной? А устав «Мемориала» и его нерегистрация? А амнистия афганцам? Поиск адвокатов воркутинцам?».

## Четыре даты

### Воспоминания о его «Воспоминаниях»

Это как наваждение. Никак не могу привыкнуть, что книга живет сама по себе<sup>1</sup>. Стоит на полке. Лежит на столе. У нее немного загнулся верхний угол обложки, и я, проходя мимо, машинально прижимаю его ладонью, чтобы выровнять. Вздрагиваю, увидев, как кто-то деловито укладывает книгу в «дипломат».

Почти каждый день кто-нибудь мне звонит или пишет. Желая внести коррективы — не так сказал, не так было, кого-то обидел, о ком-то забыл. Ладно, когда это касается дат, неправильно написанных фамилий или каких-то названий. Чаше всего — дотошные указания, когда какое ведомство у нас в стране как называлось, все эти бесконечные ОГПУ, НКВД, МВД и КГБ, наркоматы, министерства, главки, как будто от переименований менялась их суть. И я сама неоднократно просила и прошу сообщать мне обо всех неточностях, чтобы в будущем книгу от них очистить. Но предлагают свое толкование, свое видение людей, событий, отношений. Нечто вроде «закрывать, слегка почистить, а потом опять открыть». Как будто для этого

---

Статья написана Е. Г. Боннэр к первой годовщине со дня смерти А. Д. Сахарова («Литературная газета», 12 декабря 1990 г.).

недостаточно уже появившихся воспоминаний и тех, которые готовятся к печати, — там Андрей то с юности больной, то укрывающийся со мной от допросов в больнице, то серенький, то беленький, да еще часто похожий на авторов воспоминаний. У кого-то Андрей в сороковые или пятидесятые годы читает (вслух, наизусть, при людях) Ахматову и Пастернака. Да не было этого! Это автор воспоминаний любил и читал, а не Андрей. И ничего худого нет в его рассказе про Андрея, только не про него реального это, а очередная легенда. Ахматову (кроме «Реквиема», который ему давал Зельдович) Андрей впервые читал в начале 1971 года. Я (неисправимая «ахматовка») дала ему «Бег времени». Побоялась дать американский двухтомник, потому что книги у него в доме пропадали. Дала, потому что в случайном разговоре поняла, что для него Ахматова — терра инкогнита. Он долго держал книгу, а возвращая, сказал, что кому-то из его дочерей Ахматова не понравилась. И я тогда не поняла — был ли это упрек мне или сожаление о них. Пастернака Андрей узнал тоже много позже, чем пишут о нем.

В 1983-м или начале 1984 года я привезла в Горький пластинку — Пастернак читает свои стихи. Андрей без конца ее слушал, особенно «Август». Однажды я услышала, как он (я что-то делаю в одной комнате, он — в другой) читает: «Я вспомнил, по какому поводу Слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы...». Горьковский пронзительный ветер, завывающий за темным стеклом окна. Голос Андрея за стеной. И острое чувство страха за него. Страх

потери... «Отчего, почему на глазах слезинки...» — спросил Андрей за вечерним чаем. Ответила, что от счастья. Такое же было в ясный майский день — 25-е, весна 1978 года — время, когда я уговаривала Андрея начать писать «Воспоминания». Мы шли на день рождения к моей тете. Из большинства нашей родни она ни в какие годы — ни в тридцать седьмые, ни в Андреевы — не прерывала дружбы с нами, и Андрей пользовался ее особой симпатией. Мы подымались по лестнице. Андрей шел впереди. В какой-то момент свет, падающий из окна и через лестничный пролет, отделил его от меня. Он стал уходить на свет. Туда... Высокий. Еще совсем не сутулый. В зеленоватом костюме... Теперь я вижу это во сне.

Первое время меня удивляло, когда в некоторых замечаниях сквозило желание подправить книгу. Как будто новорожденному хотят вставить чужие зубы или перекрасить волосы, когда он еще не дорос до возрастного камуфляжа. А сейчас думаю, что ворчала зря. Естественно, что у каждого свое прочтение книги. Один на картине видит неправильно положенный мазок и слегка прикрывает ладонью нос, чтобы не чувствовать запах краски. Другой — бескрайнее небо, а ветер, колышущий поле ржи под ним, ощущает своей кожей. Да что — один, другой. Когда-то на выставке я радовалась буйству красок, а однажды в том же зале меня мутило от запаха олифы, на которой их размешивают. Краски те же, картины не хуже, я — другая. В свободный день в Париже не пошла в Лувр (самоотговорки нашлись — ноги болят, серд-

це... ). Боялась себя другой — вдруг там тоже начнет подташ-  
нивать. И, сидя в кафе около Тюильри, внезапно поняла, что  
меня впервые в жизни раздражают голоса людей. Когда Анд-  
рей книгу вынашивал, писал, восстанавливал, я тоже была  
другая, не сегодняшняя. Что-то казалось преходящим, засло-  
нялось его и моей неуверенностью (у него апатия, у меня  
злость), что книга когда-нибудь будет. Но она есть, — и сама  
вызывает из памяти многое, что стало для меня важным те-  
перь какие-то ассоциации, взаимосвязи, понятные, возмож-  
но, только мне. А стороннему читателю все это может пока-  
заться случайным, лишним.

Говорят: напиши о книге. О книге Андрея Дмитриевича  
Сахарова «Воспоминания». Но я так даже произношу с тру-  
дом. А писать... У меня нет дистанции, нет желания, чтобы  
отстраниться и попытаться взглянуть со стороны. Себя  
я ощущаю внутри этой книги, а ее — как ребенка, моими уси-  
лиями появившегося на свет, мною пестованного, выхажива-  
емого во время болезни, спасаемого от темных сил и чудом  
уцелевшего. Может показаться, что я что-то преувеличиваю.  
Но я говорю не о реальной работе, которую делала в те годы,  
когда Сахаров писал книгу, а о своем отношении к ней. Ко-  
нечно, я вижу, что книга написана неровно, иногда чуть кон-  
спективно и сухо. Те главы, которые я про себя называю фи-  
зическими, могут кому-то показаться необязательными, хотя  
в жизни Андрея Дмитриевича не было дня, чтобы он не ду-  
мал о науке, и бывало, что физика отодвигала на задний план  
все остальное. Часто мне не хватает более четких характери-



стик — может, потому, что я их слышала от него. Временами меня настораживает некая сглаженность, почти нарочитая бесконфликтность и излишняя серьезность там, где ее, на мой взгляд, могло и не быть. А в двух-трех случаях, когда речь идет о людях, к которым он питал теплые чувства, позже сменившиеся отчужденностью и разочарованием, прорывается обида.

Но все это для меня перекрывается тем, что в книге на всем протяжении ее, от первой до последней строки, присутствует абсолютная авторская честность. «Про» и «контра» в оценке своих мыслей, решений, поступков. Не рефлексия, не закомплексованность, так свойственные людям двадцатого века, а какая-то необычайная способность трезво и даже спокойно судить самого себя, вроде как видеть изнутри и снаружи. И еще — голос! Я говорю «голос», хотя, конечно же знаю, что книга — не фонограмма. Верьте не верьте — в книге звучит голос Андрея. И меня бесконечно радует, что уже несколько друзей, прочтя, говорили именно о голосе.

В авторском предисловии написано, что книга начата летом 1978 года. В конце книги стоит дата — 15 февраля 1983 года. Формально это так, а глубинно и по существу — нет. Но, чтобы объяснить эту двойственность, мне надо начать издалека. В сентябре 1983 года мы летели в Ленинград. Когда-то Андрей был там один день, а для меня Ленинград был вторым домом. Впервые летели вместе. И в самолете договорились, что никогда не будем летать или ездить поодиночке.

Но жизнь постоянно разрушала этот договор. Сколько их у нас было — вынужденных и трагических разлук!

В августе 1975 года я уезжала в Сиену для глазной операции. Мы предполагали, что на два месяца. Так надолго мы еще не расставались. Но мы ошиблись в сроках. Андрею дали Нобелевскую премию Мира — «тридцать сребреников», как тогда писали советские газеты. Власти не разрешили ему поехать в Норвегию. И я, толком не закончив лечения, из Италии полетела в Осло для участия в церемонии как его представитель. Вернулась я только в декабре.

Сбивчивые, фрагментарные, но эмоциональные рассказы Андрея о жизни без меня вызвали сожаление, что он в эти трудные месяцы не вел дневника. И началось время уговоров. Помню, что Андрюша в ночной электричке доказывал, что если дневники всю жизнь ведут Лев Толстой или Достоевский, то это кому-то нужно, а все остальные — от чувства неполноценности. И то ли шутя, то ли всерьез сказал и повторял не раз потом, что он от комплексов избавился в августе 1971 года.

Споры о необходимости дневника растянулись на весь 1976 год. В ночь на 31 декабря я вместе с другими новогодними подарками вручила ему толстенький среднекнижного формата ежегодник. Моей рукой на титульной странице написано «Дневник. Тетрадь № 1». А записи Андрея появились в нем в конце января. Первый в жизни дневник в пятьдесят пять лет — как-то даже странно! Вначале он писал очень скупое, писал как отбывал повинность. Однако со временем

что-то в этой работе ему понравилось, потому что он не только вел дневник во все наши разлуки, но иногда брался за него, когда мы были вместе. Записки делал обычно уже ночью и сразу приносил мне в постель тетрадь, чтобы я прочла. А иногда просил вписать что-то, им пропущенное. Однажды, когда мне очень хотелось спать, я сказала, что это непорядок — ему давать мне свой дневник, а мне его читать. Дневник пишется для самого себя. Андрей ответил: «Ты — это я». Эти слова Юрий Олеша когда-то сказал своей жене.

В 1977 году у нас была вторая длительная разлука. Я опять была в Италии, где мне снова делали глазную операцию. По возвращении меня ждали сто страниц текста. Прочтя их, я поняла, что бессмысленно огорчаться отсутствием дневников за ту жизнь, которую Андрей прожил без меня, а надо, чтобы он написал о ней. Кому надо? Этот вопрос у меня не возникал. Я до странности эгоцентрически полагала тогда, что это надо только мне. И почти в такой форме высказала эту мысль Андрею. Он возражал, ссылаясь на постоянный цейтнот, на то, что я и в обычной нашей жизни сижу за машинкой за полночь, а если он свяжется с книгой, буду сидеть всю ночь. Но главным его контраргументом было, что я и так все знаю. Я доказывала, что, как любой человек, могу забыть. Он говорил, что у меня хорошая память. Я отвечала, что могу умереть раньше его, а он к тому времени все забудет, потому что станет безнадежным склеротиком. Он уверял, что умрет раньше — в семьдесят два года. Он это часто повторял в разные годы, что умрет в том же возрасте, в каком

умер его отец. И мне странно, что он оказался неправ: ведь было бы у него еще три года — целая вечность.

О книге мы спорили то серьезно, то шутя, много раз, но я уже замечала, что Андрей сам возвращается к этой теме, правда совсем с другой стороны, уверяя, что книгу должна писать я. Или предлагает писать вдвоем; например, год 35-й — что было в его жизни, пишет он, потом о том же времени — я. И в конце главы рассмотреть проблему, относящуюся к теории вероятности — почему мы не встретились на Тверском бульваре в тот год. Тогда я назвала эту идею слоеным пирогом и двуспальным собранием сочинений. Первое определение было мое. Второе я украла у Виктора Шкловского, который однажды при мне так назвал какое-то совместное сочинение Эльзы Триоле и Луи Арагона. Я припомнила слова мамы одной из моих школьных подружек. Это было во времена, когда готовили на примусе, который (может, теперь это не все знают) заправлялся керосином. Однажды она обедала в гостях и на вопрос хозяйки, каков суп (в который, видимо, случайно попал керосин), ответила, что любит, чтобы было «суп отдельно — керосин отдельно».

Я спорила с ним, что моя жизнь никому не интересна, а у него судьба уникальная. В одном из споров я впервые поняла, что если он напишет книгу, то уж никак не для меня одной. И, может, это будет одно из самых нужных дел его жизни. Но к этому времени было видно, что Андрей уже ведет арьергардные бои. Споры и уговоры за эту книгу длились не-

сравнимо дольше, чем уговоры написать открытое письмо сенатору Бакли, из которого родилась книга «О стране и мире», и чем совсем недолгий спор о том, чтобы написать открытое письмо доктору Сиднею Дреллу. Все дебаты велись на бумаге, с закрытым ртом — это было в Горьком, где нас «обслуживала», наверно, целая рота самых лучших «слушачей» Советского Союза.

Лето 1978 года было чуть менее загруженным, чем всегда, и Андрей начал писать. К сентябрю написал первые главы. В конце ноября 1978 года в доме на улице Чкалова были украдены рукопись и мои перепечатки. Вместе с ними исчезли еще какие-то бумаги и несколько вещей — старая куртка Андрея, мамин халат, еще что-то — наивный маскировочный маневр службы безопасности. С этого момента параллельно с работой над книгой начал разворачиваться детективный сюжет. Когда-то я смотрела итальянский фильм, который назывался «Полицейские и воры». В нашем детективе полицейские были одновременно и ворами. И если кому-то придет в голову идея сделать фильм, то его надо назвать «Полицейские-воры и автор со своей женой». Началась война КГБ с книгой и наша битва за книгу. Часто, когда удавалось переправить очередной кусок рукописи на Запад, я сообщала об этом Андрею не на бумаге, а вслух лозунгом времен второй мировой войны: «Наше дело правое — враг будет разбит». А когда не получалось, то словами песни того же времени: «Идет война

народная, священная война...» — так мы шутили, но порой было не до шуток.

Когда у Андрея украли в зубо­вра­чеб­ной по­ли­кли­ни­ке сумку с рукописью, дневниками и другими доку­мен­та­ми, я была в Москве. Вечером 13 марта 1981 года он встречал меня на вокзале в Горьком. Какой-то растерянный, с запавшими глазами, осунувшийся. Первые его слова были: «Люсенька, ее украли». Я не поняла и спросила: «Кого?» — «Сумку». Говорил он так взволнованно, что я подумала: украли только что — здесь, на вокзале. Он казался мне больным и физически от этой утраты, и в первый день я не решилась ему возражать, когда он сказал, что больше писать не будет, что нам КГБ не перебороть. Но через день я на бумаге написала, что он должен восстано­вить утраченное. Андрей ничего не написал в ответ, а только покачал головой. Я взорвалась и, забыв всякую конспирацию, стала кричать на него, что *опять* он идет на поводу у КГБ и что, пока я жива, этого не будет.

Слово «опять» не случайное. В самом начале жизни в Горьком к нам пустили нашего друга Наташу Гессе. Я оставила ее с Андреем и уехала в Москву. Во время моего отсутствия пришел некто по фамилии Глюссен и попросил посмотреть паспорт Андрея. Андрей поискал в бумагах, нашел и отдал. На следующий день его вызвали в прокуратуру и дали подписать предупреждение за мою пресс-конференцию в Москве, он подписал. У него так бывало: когда внутренне он сосредоточен на какой-то мысли, идее, то совсем не сопро-

тивляется внешним воздействиям. А кроме того, в начале горьковского периода он вообще считал, что всякое сопротивление КГБ бессмысленно, как бессмысленно сопротивление стихии. Когда я вернулась из Москвы, то ужаснулась. Объяснение было бурным. Андрей был согласен со мной, а в свое оправдание сказал, что в тот же день послал прокурору письмо — отказ от своей подписи. А паспорт ему вернули с пропиской в Горьком, таким образом как бы узаконив его пребывание там.

Такие объяснения были у нас всего несколько раз. Три — уже после возвращения в Москву. Одно — в связи с митингом в Академии после первого выдвижения, на котором он не был утвержден кандидатом в народные депутаты. На митинге я отошла от него, заметив, что телевизионщики готовятся его снимать. В числе требований и лозунгов митинга звучало: «Если не Сахаров, то кто?». Я была уверена, что Андрей поднимется на трибуну и скажет, что снимает свою кандидатуру во всех территориальных округах, где к тому времени был выдвинут, чтобы поддержать резолюции митинга. И поразились, что он этого не сделал. На обратном пути я ему сказала, что он ведет себя почти как предатель той молодой научной общественности, которая борется не только за него, но и за других достойных. Андрей не соглашался, но спустя несколько дней пришел к такому же выводу и сделал заявление для печати. Конечно, на митинге было бы красивее. В данном случае я употребила это слово почти в том же смысле, что он, когда называл красивыми некоторые физические или матема-

тические решения. Тогда он произносил его медленно, смакуя и как бы любуясь им.

Однажды спор был в присутствии нескольких наших корреспондентов. Мы торопились на самолет — лететь в Канаду, а они пришли уговаривать Андрея написать опровержение в связи с опубликованием в газете «Фигаро» нашей беседы с Ж. Бару. Они утверждали, что текст обижает Горбачева. Я была против, тем более что наиболее резкой в беседе была моя реплика. Но присутствие нескольких журналистов меня сдерживало, и Андрей сдался на их уговоры. А недавно один из них сказал мне, что теперь думает: зря они вынудили Андрея написать то опровержение.

Еще один спор был, когда позвонил Б. Ельцин и попросил Андрея снять его кандидатуру в Московском национально-территориальном округе, а он снимет свою в каком-то другом, и Андрей дал согласие. В так называемой «реальной политике» это принято, и я не нахожу в этом ничего плохого. Но общественная деятельность Сахарова должна была быть и была действительно несравнимо выше любой «реальной». Так же как не было политическим все правозащитное движение с его чисто нравственным императивом. Поэтому я считала участие Сахарова в соглашении такого рода ошибкой. Была она совершенно по совету нескольких хороших людей из общества «Мемориал». Во второй книге-биографии «Горький, Москва, далее везде» Андрей Дмитриевич вспоминает эти эпизоды.

Не столь серьезный спор был в 1977 году. К статье «Тревога и надежда» Андрей поставил эпитафию «Несправедли-



вость в одном месте земного шара — угроза справедливости во всем мире». Он считал, что это слова Мартина Лютера Кинга, а мне казалось, что они принадлежат одному из президентов США, но я забыла кому. Мы так и не кончили этот спор — не нашли, где проверить. (Недавно моя дочь сказала, что Андрей Дмитриевич был прав. Но я все еще сомневаюсь.) Другой случай серьезней. И он показывает, что переубедить Андрея, если он уверен, что его действия необходимы, было невозможно. После взрыва в московском метро, когда погибли люди, в основном дети, на Западе появилась статья журналиста Виктора Луи. Он писал, что взрыв, возможно, произвели диссиденты. Мне показалось, что это может быть подготовкой общественного мнения к будущим репрессиям. Андрей считал эту заметку просто провокацией КГБ. И решил сразу против нее выступить. Я испугалась. Такой открытый замах на КГБ при отсутствии каких-либо доказательств казался мне очень рискованным. Я ему тогда сказала, что эта организация все «заносит на скрижали». И спросила, понимает ли он, что ему это припомнят. «Да, конечно», — был его ответ. В это время позвонила Софья Васильевна Каллистратова, обеспокоенная той же заметкой В. Луи. Я сказала ей, что Андрей отвечает. Софья Васильевна стала говорить, что этого не надо. Это очень опасно. И стала меня уговаривать, хотя я была с ней согласна, остановить его. Андрей покачал головой, сказал, что мы обе умные, но «Люсенька, это необходимо». Эта история, кстати, показывает, что вопреки расхожему мнению далеко

не всегда я придерживалась более радикального мнения, чем Андрей.

Дня через два-три после кражи сумки 13 марта Андрей начал восстанавливать утраченное. И очень страдал, что невозможно восстановить дневники, которые он вел, когда я уезжала в Москву. Через неделю он вошел в свой обычный, очень активный темп. Я молча радовалась этому, потому что считала работу над книгой главной для его внутреннего самосохранения в горьковской изоляции. И вообще более важной, чем множество правозащитных документов, бывших вроде как текущей работой. Но было горько, так как вновь написанное иногда теряло эмоциональность первого рассказа. Мы завели новую сумку. Андрей с ней не расставался. Я часто ездила в Москву и тоже не расставалась с бумагами. Что-то удавалось там перепечатать. Что-то отправляла в авторской рукописи и, пока не получала подтверждение, что дошло, волновалась.

В его дневниках 1982 года такие записи: «Сегодня купил цветы и 3 кг сахара, 1 кг хлеба, 0,3 кг клубники. Вместе с постоянным грузом тащил домой 12 кг, возможно несколько больше. Солнце сияло! <...> Заново переписал (сделал) гибрид из двух вариантов 1978 и 1981-82 гг. двух первых глав <...> но большую часть текста написал заново, и все переписал целиком. Готова 71 страница текста (две первые главы, всего глав около 36). Люся тоже много правила».

До кражи рукописей я перепечатывала черновики Андрея, но потом тоже стала писать от руки, чтобы стук пишу-

щей машинки не наводил КГБ на мысль, что работа над книгой продолжается. Однажды, находясь в соседней комнате, я услышала звук вырываемых один за другим листов. Это Андрей вырывал из блокнота написанное под копирку. Я испугалась, что КГБ тоже слышит этот звук, и попросила Андрея пользоваться ножницами, чего он не любил. Первые экземпляры рукописи пополняли его сумку, вторые, выходя из дома, я прибинтовывала на себе, что было неприятно, постоянно раздражало кожу, особенно в летнюю жару, когда это ощущалось как согревающий компресс.

В конце лета я привезла из Москвы на несколько дней книгу Амальрика «Записки диссидента». Андрей увлеченно читал эту удивительную, блестяще написанную автобиографию. И так как книгу надо было быстро возвратить, сделал несколько пространственных выписок из нее. Сегодня эти дневниковые страницы выглядят как сравнительный анализ отношения двух авторов к истории страны, диссидентам, в частности к братьям Медведевым и Александру Солженицыну. Во многом их оценки совпадали. Но в дневнике это проявилось больше, чем в книге.

Мне всегда казалось, что у Андрея в текстах иногда появляется какая-то расплывчатость. Я как-то сказала слово «размазанность», и Андрюша на меня ненадолго надулся. Но, прочтя Амальрика, записал в дневнике: «Я усиленно читаю книгу Андрея Амальрика. Невольно сравниваешь его книгу и мою, и сравнение не в мою пользу — в точках пересечения <...> В отличие от Амальрика я не могу назвать себя

диссидентом <...> Но и ученый я не в настоящем смысле <...> Мои литературные трудности начинаются уже с названия, и это отражает существенные проблемы — многоплановость моей книги и непрямолнейность моей жизни». Книга Амальрика имела первоначальное авторское название «Записки незаговорщика». Я не знала, почему и на каком этапе произошло переименование, но мне больше нравилось первое название. А Андрей считал, что «Записки диссидента» лучше, потому что Амальрик — именно диссидент в точном смысле этого слова.

В связи с книгой Амальрика мы вновь вернулись к обсуждению названия книги Андрея, которое впервые начали в марте—апреле 1982 года, когда, казалось, работа над ней была близка к завершению.

Тогда Андрей записал в дневнике: «Предварительные названия: 1. “Листы воспоминаний” (Люся). 2. Вариант — еще иметь в скобках (“Время жить, время работать, время задуматься”). 3. А может, просто “Воспоминания”? 4. Или “Три мира и просто жизнь” (в тексте объяснить, что это мир военного завода, объекта, диссидентства). Еще был десяток названий, но ни одно не нравится». Позже Андрей придумал и несколько дней обсуждал со мной название «Красное, желтое, зеленое, синее». Его он тоже записал в дневник, но я этой записи не нашла. Возможно, она в тех тетрадях, которые были украдены. И я не уверена, что точно помню — может, у него было только три цвета: «Красное, зеленое, синее». Тогда он объяснил, что это цвета жизни.

Я считала, что названия, которые требуют объяснения в тексте, принципиально нехороши. А «Листы воспоминаний» объяснения не требуют и дают возможность о чем-то и не писать, если не хочется или почему-то трудно. Андрей колебался, а потом вроде как согласился со мной, и это название сохранилось на магнитофонных пленках, которые начитаны Андреем после завершения работы над первыми главами. Он тогда прочел их вслух — конечно, не дома, а в лесу. Вообще-то мы понимали, что и в лесу нас слушают, но мне очень хотелось сделать такую запись! После книги Амальрика Андрей передумал и окончательно остановился на самом простом: «Воспоминания». Зато придуманное мной название второй книги — «Горький, Москва, далее везде» — он принял буквально в ту минуту, как я его предложила — как говорят, «с ходу»! Третья кража была совершена 11 октября 1982 года. Днем на улице, когда я, оставив Андрея в машине, пошла в кассу покупать билет на поезд в Москву. Кто-то разбил стекло машины и сунул ему в лицо спрей. Он потерял сознание. Этот эпизод есть в книге, но Андрей почти не пишет о своем состоянии. Когда я увидела его, то решила, что нашу машину сбила какая-то другая. И только одна мысль — он жив, жив, на своих ногах, остальное неважно. Он шел от машины ко мне навстречу, вытянув вперед руки, как бы неся их перед собой, и с них капала кровь. Лицо его было совершенно белым. Я подбежала и схватила его руки. Несколько мгновений он ничего не мог ответить на мои вопросы, будто он не совсем в сознании и не

все понимает. Потом он заговорил, но не мог точно вспомнить, как все произошло. Мы пошли в милицию, сделали заявление. Андрей пишет, что пошел он, а не мы.

Мне кажется, что он так и не мог точно вспомнить тот день. Нас допрашивали в разных комнатах, потом обоих привели в кабинет начальника отделения, его фамилия Кладницкий. Мне показалось, что он был смущен ситуацией и, может, даже испытывал стыд, когда уверял нас, что они примут меры к отысканию воров. Мы сидели у него долго, пока не принесли протоколы наших допросов. Кто-то, видимо, их изучал. Может, они со временем попадут в архив Сахарова? Андрей иногда как бы отключался. Сказал, что его подташнивает. Похоже, продолжалось действие вещества, которое ему дали понюхать. Провели мы в милиции более двух часов. Дома вечером Андрей ничего не ел, только выпил чаю. Потом его вырвало. Позже у него начался приступ параксизмальской тахикардии. Параксизмальская тахикардия (экстрасистолии у него были всегда) возникла тогда впервые и больше никогда не повторялась, во всяком случае, при мне. Но я не знаю, что с ним бывало во время насильственных госпитализаций. Я дала ему большую дозу валокардина. Приступ довольно быстро прошел. Он уснул. Два последующих дня у него была головная боль, но давление не подымалось. Он опять говорил о том, что с книгой ничего не выйдет, а на третий так плотно засел за работу, что исписывал иногда до 30—35 страниц в день. Во время наших вечерних чаепитий шутил, что

злость — болезнь инфекционная, что я его заразила и он становится графоманом.

А в декабре того же 1982 года воры перешли на полицейские методы. В поезде Горький—Москва мне предъявили ордер и произвели официальный обыск. Опять пропала рукопись — почти треть книги. Обыск означал, что впереди может быть арест, суд... Да еще сердце стало меня подводить. Андрей снова впал в отчаяние. Целыми днями не подходил к столу. Я ругалась с ним и принимала нитроглицерин. Он снова начал работу, но говорил, что продолжает ее только потому, что не хочет меня расстраивать. Потом это настроение сменилось ничем не обоснованной надеждой, что книгу все же удастся кончить. Мы оба очень торопились.

Черновой вариант книги с восстановлением части украденного Андрей закончил в начале 1983 года. В мой день рождения рано утром (я еще спала) он съездил на рынок за цветами, а вернувшись, разбудил меня песней. В горьковские годы у него были две «дежурные». Когда мыл посуду, пел Галича: «Снова даль предо мной неоглядная...». А когда проходил мимо милиционера, вынося поздно вечером, почти ночью, во двор мусор (мы жили в доме, где был мусоропровод, но он все семь лет не работал), громко пел «Варшавянку».

И в это утро он тоже пел: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы подыдем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую

свободу». С «Варшавянки» перешел на Пушкина (Блока и Пушкина Андрей знал поразительно, но никто этого почему-то не пишет): «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, проснись...» — и продолжал, смеясь: «Муж голодный, хи-хи-хи. Вставай, подымайся... Пеки пироги». На табуретке рядом с кроватью стоял букет красных гвоздик в зеленой стеклянной вазе. Андрей любил яркие цветы — красные, желтые, синие — белых, кроме ромашек, не любил. К вазе был привязан листок бумаги со стихами. «Дарю тебе, красотка, вазу, за качество не обессуди, дарил уже четыре раза. Но к вазе книга — в этом суть». И в этот день на рукописи появилась дата окончания книги — 15 февраля 1983 года.

Нам еще долго предстояло гадать, будет ли книга когда-нибудь жить. А вазы, действительно, Андрей дарил по поводу и без повода, обычно с шутивными виршами, и еще духи «Елена» — он их покупал, кажется, только за имя, потому что вообще-то я духов почти не употребляю.

Работа над рукописью продолжалась всю зиму. Я старалась не накапливать, возила по частям в Москву и пользовалась любой возможностью, чтобы какие-то куски переправить детям в США, а до них доходило не все. Чем ближе виделся конец, тем напряженней и беспокойней.

И тут у меня случился инфаркт. Я приехала в Москву с ним и с рукописью — на мой взгляд, законченной. Но Андрей так не думал. Инфаркт, который я сама себе диагности-



ровала в Горьком, подтвердился на ЭКГ в поликлинике Академии. Они хотели меня сразу госпитализировать. Я отказалась, если со мной не госпитализируют Андрея. Ссылным по закону разрешают приехать к родственникам в случае их тяжелой болезни, так что просьба была законной; только Андрей вот был вне закона. Меня привезли домой на «скорой» в сопровождении медсестры, предварительно взяв расписку, что они за меня не отвечают. А потом я из уличных автоматов — дома телефон давно был отключен — продолжала переговоры с Академией о госпитализации Андрея. И однажды от ее ныне покойного ученого секретаря Г. Скрыбина получила бесподобный ответ, что они не дадут мне шантажировать их моим инфарктом.

Вообще-то, конечно, это был шантаж — ведь я чуть-чуть надеялась, что, если мне удастся госпитализировать Андрея в Москве, то потом его положение как-то улучшится. И повсюду таскала сумку с рукописью — столько бумаги на себе я расположить уже не могла. И кипела от негодования на Академию и на них — полицейских-воров, которые ходили за мной по пятам. Болело сердце, но инфаркт тогда меня не волновал. Адреналин, который поступал в кровь от злости, помогал сердцу. В ночь на 20-е мне удалось «оторваться» (жаргон не только сыщиков и воров), и я передала рукопись. А утром 20-го (видно, что-то чувствовали мои преследователи, но проморгали) у моей двери появился круглосуточный милицейский пост. Я вышла на улицу и провела пресс-конференцию с толпой собравшихся у парадного журналистов.

Вернулась домой и легла в постель. 21 мая я узнала, что рукопись улетела в Америку. Вечером пришел наш друг Юра Шиханович. Я лежала, а он хозяйничал. Потом читали друг другу стихи — праздновали день рождения Андрея. И рождение книги. Господи, как счастлива я была тогда, хотя я была с инфарктом, а он в ссылке.

По моему тогдашнему летосчислению этот день — день рождения Андрея — стал днем рождения книги. Но на самом деле и это неверно. 8 сентября 1983 года Андрей написал в новой тетради. «Начинаю вновь дневник с годовым перерывом после кражи <...> Этот год я был занят восстановлением “Воспоминаний” <...> Совсем не занимался наукой. Это очень плохо. Но я не робот <...> Я предполагаю, после того как макет посмотрит Люся и внесет исправления, переписать от руки в двух экземплярах <...> Если Рема получит этот материал, у него будет все украденное год назад <...> И через несколько дней: «Вчера не выполнил плана писания, хотя сидел допоздна и не ложился после обеда».

Лето и осень Андрей занимался монтажом книги (он говорил «макет»), не имея всей рукописи перед глазами. Он придумывал какие-то сложные обозначения для различных частей — буквенные и фигурные: кружки, квадраты, ромбики и треугольники. Я с трудом в них разбиралась, иногда приходила в отчаяние, не представляла, как Ефрем, Таня, Алеша и Лиза в них разберутся, если страницы попадут в Америку. Но и это становилось все более проблематичным.

Я снова часто ездила в Москву. Нитроглицерин в одной руке, другой прижимаю сумку. Однажды на вокзале, сидя на чемодане (стоять не могла), я сказала: «Другой муж пожалел бы...». Сказала не в упрек, хотела пошутить, а у Андрея задрожали губы. Тогда я показала рукой на трех молодых, здоровенных наших сопровождающих из КГБ (они стояли в двух шагах) и громко, чтобы они слышали, прочла: «И все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах...». Вроде как нас успокоить, что тошнит меня не от слабости, и им сказать, что мальчики кровавые — это они. А потом в поезде, всю ночь не сомкнув глаз, твердила себе: «Дура ты дура, и шутки твои дурацкие». Андрей ведь уже предчувствовал, что ему предстоит, письма иностранным коллегам писал с просьбой помочь, чтобы меня пустили в США для операции на сердце. И мы оба понимали, что «за так» меня не отпустят — значит, голодовка. И разлука Бог знает на какой срок! («Разлука ты, разлука, чужая сторона...» Чужая всегда там, где не вдвоем!)

Так вот и было в жизни. И книга — все-таки осуществленная, вопреки всему выжившая, «всем чертям назло». И эти письма — я передала их вместе с рукописью в конце февраля 1984 года. И страх за меня. И «Люсенька, надо», когда я в третий раз ехала в Москву, чтобы переправить на Запад статью «Опасность термоядерной войны». Дважды она по дороге пропадала. Жаль, не знают об этом прагматики и миротворцы из американских фондов. И по сей день живучи упреки, что я его не жалела — не удержала от голодовок,

а однажды ему: «Андрей, пожалей Люсю». И наш ответ на их тогда, и мой — сегодня: это не ваше дело. Не ваше — навсегда!

Из дневника Андрея Сахарова. 1984 год, февраль. «Я хочу, чтобы в книжке был наш с Люсей семейный портрет — глядя на него, думаешь о том времени, когда он будет экспонироваться: “Б. Биргер. Портрет неизвестных. Эпоха ранней атомно-электрической цивилизации. Восточная Европа. Планета Земля”».

А ответить на вопрос «Когда закончена книга?» я так и не смогла. *Все три даты — 15 февраля 1983 года, 21 мая 1983 года и февраль 1984-го — правильны. Но будет еще четвертая, о которой мы не знали...*

Однажды, уже когда у меня был второй (а может, это был третий?) инфаркт, Андрей сказал, что он не сможет жить без меня и покончит жизнь самоубийством. В его тоне была какая-то не свойственная ему истовость, как будто он заклинает судьбу или молится. Я испугалась. И просила его ничего не делать сгоряча. Взяла слово, что, если это случится, перетерпеть, переждать полгода. Он обещал.

Но вот счет веду я: уже прошло полгода, как Андрея нет. У меня никогда не было мысли о самоубийстве. Значит ли это, что я люблю его меньше, чем он меня? Что я слабей или сильней его? Мы ведь не знаем, сила или слабость — самовольный уход из жизни. Я живу. Говорю по телефону. От-

крываю дверь на звонок. Ем. Смеюсь. До 4—5 часов утра сижу за компьютером. Пишу о том, что болит — во мне, в страхе, в мире. Радуюсь рождению внука. Мучаюсь бедами детей. Сплю, хотя со сном плохо. Разлюбила мыться и одеваться — каждый раз надо себя заставлять. Но ведь и это жизнь. И все время ощущаю, что жизни во мне нет. Или она какая-то другая — моя теперешняя жизнь, в которой был Новый год без Андрея. Потом мой день рождения в далеком заокеанском аэропорту — без Андрея. Весна, его день рождения без него. Другая жизнь.

...Самолет летел над океаном. За иллюминатором было розовеющее рассветное небо. Подумалось, что я прожила три жизни. В первой тоже было розовое небо, детство, светлая любовь девочки-подростка, стихи, сиротство, танцы, война, смерть. Но эта первая жизнь вся была — розовое небо. Вторая жизнь — роды, женское счастье, радость профессионального труда. Ее главным содержанием были дети.

Третья жизнь — Андрей! Как в старой сказке, сошлись две половинки души, полное слияние, единение, отдача — во всем, от самого интимного до общемирового, всегда хотелось самой себе сказать — «так не бывает!». «Ты — это я» — формула этой жизни. Она стала высшим смыслом всей жизни. Всех — первой, второй, третьей. И объединила их в одну.

Теперь я в четвертой жизни. Шесть месяцев. Сто восемьдесят дней. Десять месяцев — триста дней. Скоро год...

Каждое утро возвращает к реальности, в которой Андрея нет, его несмятая подушка. Утром всего трудней заставить

себя жить. Днем приходит обыденность. Звонки, люди, дела. Вечер и ночь до 3—4 теперь у меня самое светлое время суток — его бумаги, статьи, книги.

И «Воспоминания» — мы семь лет ждали выхода книги в свет. Почему так долго? Это уже другой детектив, на другой сцене — в США. Дети и Эд Клайн боялись, что выход книги может ухудшить наше положение, что мы станем жертвой какой-нибудь очередной провокации КГБ или других советских властей. Вместо того чтобы заключить с издательством договор с солидным авансом, который является реальным залогом быстрого издания книги, они заключили договор на основе секретности. В договоре нет фамилии автора, нет названия, но указано, что о рукописи в издательстве может знать только редактор и переводчик, что она должна секретно храниться, не выноситься из издательства, что ее публикация может быть остановлена на любом этапе, и еще много таких пунктов, которые тормозили работу. Затрудняла невозможность посоветоваться с автором, если перевод вызывал сомнения, особенно там, где речь шла о науке.

Но главной причиной, почему книга не вышла еще тогда, когда мы были в Горьком, — был страх детей. Ругать их за это, когда мы вернулись? Они же волновались за нас. А у Андрея появилась возможность увидеть книгу целиком, разложить на столе. Он не мог отказаться от этого. Начал что-то править в русском тексте и в переводе. Окончательный перевод научных глав — авторизованный, он работал над ним в Нью-

Йорке в феврале 1989 года. А предисловие к книге «Горький, Москва, далее везде» и эпилог к «Воспоминаниям» положил мне на стол утром 14 декабря 1989 года. Вот она — *четвертая дата*. Я прочла эти страницы, когда Андрея не стало. Последние слова обращены ко мне: «Жизнь продолжается. Мы вместе». Это голос Андрея.

Жизнь продолжается. Мы вместе. Каждый раз, когда я беру книгу в руки, только прикасаюсь к ее обложке, меня пронизывает острая боль при мысли, что Андрей не увидел ее. Теперь я понимаю, какой это был невероятный труд. Столько раз писать книгу почти заново, годами балансируя между надеждой и неверием, что удастся закончить. И подвиг! Со всеми его человеческими терзаниями, отчаянием, усталостью, о которых я попыталась рассказать, и возвращением к работе. Еще один подвиг человека, который всегда и во всем был достоин своей судьбы.

*Москва — Бостон*

*июнь—декабрь 1990*

## КОММЕНТАРИИ





Елена Боннэр  
Постскриптум. Книга о горьковской ссылке

«Мы снова в Горьком...»

<sup>1</sup> 13 января 1986 г. Елене Георгиевне Боннэр сделали в США операцию на открытом сердце, 20 января ее выписали из больницы и она тотчас же приступила к работе над «Постскриптумом». В мае «Книга о горьковской ссылке» была сдана в издательство и в том же году вышла на многих иностранных языках.

На русском «Постскриптум» впервые был напечатан в Париже в конце 1988 г. (изд-во «La Presse Libre»). В России он был опубликован только в 1990 г. (журнальный вариант — «Нева», №№ 5—7; полностью — изд-во «Интербук»).

Данное вступление написано в апреле 1987 г. специально для парижского издания.

<sup>2</sup> 4 августа 1986 г. Анатолий Марченко в Чистопольской тюрьме объявил голодовку, потребовав освобождения политзаключенных; 8 декабря он умер. Через 2 месяца после его смерти власти начали — правда, в фальшивой форме «помилований» — освобождать политзаключенных.

<sup>3</sup> См. стр. 336.

<sup>4</sup> В январе 1987 г. Алексею Семенову впервые за годы эмиграции (с марта 1978 г.) разрешили — в качестве переводчика при американской делегации — приехать в СССР.

<sup>5</sup> Ксения (Ася) Великанова (1936—1987) — сестра Татьяны Великановой.

1

<sup>1</sup> См. «Тревога и надежда», т. 1.

<sup>2</sup> В мае 1983 г. суд за «непроживание» лишил Веру Лашкову «права на жилплощадь» и ей пришлось уехать из Москвы. В феврале 1990 г. решение суда было отменено.

<sup>3</sup> См. «Тревога и надежда» (том 1, дополнение 4).

<sup>4</sup> Правильно: Георгий Степанович.

<sup>5</sup> После публикации в «Огоньке» (1990, № 21) отрывка из «Постскриптума» Г. С. Жженов (1915-2005) в письме в «Огонек» пробовал оспорить рассказ Елены Георгиевны об их ночном разговоре (№ 28). Ему возразил Ю. Шиханович (№ 33).

<sup>6</sup> РОКК — Российское Общество Красного Креста.

<sup>7</sup> РЭП — распределительный эвакуационный пункт.

<sup>8</sup> Со слов друзей Всеволода известно, что настоящее имя Филатовой Маргарита — Мариной она называла себя сама — и что она умерла в Москве в конце 1943 г.

2

<sup>1</sup> См. стр. 334.

<sup>2</sup> В июне 1978 г. две семьи пятидесятников, требуя разрешения на выезд, укрылись в американском посольстве в Москве. Посольство, а затем Советский Союз они покинули в 1983 г.

<sup>3</sup> Г. П. Колесников — ст. помощник прокурора Горьковской обл. по надзору за следствием в органах КГБ.

<sup>4</sup> Олег Александрович Обухов — главный врач Горьковской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко.

<sup>5</sup> В феврале-марте 1990 г. сотрудники КГБ вернули Елене Георгиевне практически все, изъятое на этой выемке и на обысках 7 декабря 1982 г., 2 мая 1984 г. и 8 мая 1984 г. (не вернули книгу Б. Л. Пастернака «Переписка с Ольгой Фрейденберг» — сказали, что она куда-то пропала). В ответ на требование Елены Георгиевны вернуть изъятое на неофициальном обыске в Москве и содержимое сумок, украденных из поликлиники и из машины, сначала сказали,

что, может быть, это сделали какие-нибудь уголовники (секретное письмо председателя КГБ СССР В. Федорчука № 2139-ф от 1 ноября 1982 г. в ЦК КПСС начинается словами «Комитетом государственной безопасности СССР в ходе проведения оперативных мероприятий негласно добыты собственноручно написанные Сахаровым «Листы воспоминаний» (автобиография) и дневник.»), потом обещали поискать. 27 июня 1995 г. Елене Георгиевне сообщили, что созданная для этих поисков комиссия «пришла к однозначному выводу, что каких-либо документов и материалов, исполненных А. Д. Сахаровым, в архивах органов ФСБ России не имеется».

<sup>6</sup> Мария Павловна Семенова (1923 г. р.) в очередной раз освободилась в октябре 1971 г., летом 1972 г. была вновь арестована и по ст. 70 УК РСФСР получила 10 лет лишения свободы и 3 года ссылки.

<sup>7</sup> Василий Емельянович Романюк в 1972 г. по ст. 62 УК УССР (соотв. ст. 70 УК РСФСР) получил 7 лет лишения свободы и 5 лет ссылки.

<sup>8</sup> Всеволод Кувакин в апреле 1981 г. был арестован и по ст. 70 УК РСФСР получил 1 год лишения свободы и 5 лет ссылки. В ссылке по обвинению в краже личного имущества получил дополнительно полтора года лишения свободы.

<sup>9</sup> См. комм. <sup>3</sup> к гл. 36 «Воспоминаний».

<sup>10</sup> См. комм. <sup>4</sup> к гл. 36 «Воспоминаний».

<sup>11</sup> См. «Тревога и надежда», т. 1.

<sup>12</sup> См. «Тревога и надежда» (том 1, дополнение 4).

<sup>13</sup> Владимир Гершуни (1930—1994) — многолетний узник лагерей (начиная со сталинских) и психбольниц.

3

<sup>1</sup> В те годы пенсионерам, как правило, разрешалось получать одновременно и зарплату, и пенсию только 2 месяца в году.

<sup>2</sup> SLAC — Stanford Linear Accelerator Center (Стенфордский линейный ускоритель).

<sup>3</sup> См. «Воспоминания» (том 2, стр. 388).

<sup>4</sup> Во исполнение закона, принятого Конгрессом США, президент Рейган провозгласил 21 мая 1981 г., день 60-летия А. Д. Сахарова, Национальным днем Андрея Сахарова.

<sup>5</sup> 26 апреля 1986 г. произошла Чернобыльская катастрофа.

## 4

<sup>1</sup> Родители Елены Георгиевны были реабилитированы в 1954 г. — за 2 года до XX съезда.

<sup>2</sup> Перевод с эстонского романа Яана Кросса «Императорский безумец» был издан, например, в 1991 г. (М.: Дружба народов).

<sup>3</sup> В этом месте Елена Георгиевна, когда она писала свою книгу в США, смешала два эпизода: 11 июля Андрей Дмитриевич обратился к главврачу О. А. Обухову с заявлением о прекращении голодовки (стр. 389), а 29 июля (стр. 391 и дополнение 11) отослал из больницы письма М. С. Горбачеву и А. А. Громыко с просьбой выпустить Елену Георгиевну за границу для лечения и встречи с родными (см. также дополнение 9).

<sup>4</sup> А в это время в Москве на заседании политбюро ЦК КПСС обсуждался вопрос, можно ли Е. Г. Боннэр отпустить за границу (дополнение 9).

## 5

<sup>1</sup> Вероятно, это означает «Боннэр и Сахаров».

<sup>2</sup> Двухдневная встреча Рейгана и Горбачева в Женеве закончилась 21 ноября. Нобелевская премия Мира за 1985 год

была вручена организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 10 декабря.

<sup>3</sup> См. комм. <sup>5</sup> к разделу 2 «Постскриптума».

6

<sup>1</sup> 21 мая 1986 г. Елена Георгиевна выступила на чествовании Андрея Дмитриевича в Комиссии по иностранным делам Конгресса США (дополнение 12).

«Я не хочу писать это послесловие...»

<sup>1</sup> Это послесловие написано Еленой Георгиевной в феврале 1990 г. специально для первого издания книги в России.

Андрей Сахаров  
Горький, Москва, далее везде

## Предисловие

<sup>1</sup> Главы 1, 2 этой книги, за исключением конца гл. 2 и обозначенных добавлений 1988 года, написаны в 1987 г.; остальные главы — в 1989 г. (в Ньютоне, городке из «большого Бостона», жила тогда Татьяна Янкелевич, в Вествуде — Алексей Семенов).



## Глава 1

<sup>1</sup> В 1984 г. голодовка Андрея Дмитриевича происходила со 2 мая до 27 мая, насильственно госпитализировали его 7 мая, принудительно кормили с 11 мая по 27 мая, из больницы выпустили 8 сентября.

<sup>2</sup> См. «Воспоминания», т. 2, стр. 209—210.

<sup>3</sup> См «Тревога и надежда», т. 1.

<sup>4</sup> См. комм. <sup>16</sup> к гл. 47 «Воспоминаний».

<sup>5</sup> См. дополнение 14.

<sup>6</sup> Обсуждение вопроса о возвращении Андрея Дмитриевича в Москву на заседании политбюро ЦК КПСС 1 декабря 1986 г. (дополнение 15) началось с того, что М. С. Горбачев зачитал это письмо.

<sup>7</sup> В феврале 1975 г. Анатолия Марченко арестовали в пятый раз (см комм. <sup>5</sup> к гл. 25 «Воспоминаний»). Когда он отбыл очередное наказание (на этот раз это была ссылка), ему снова предложили уехать, пригрозив, в случае отказа, новым арестом, — он отказался. В 1981 г. А. Марченко был арестован в шестой раз; его приговорили к 10 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. 4 августа 1986 г., находясь

в Чистопольской тюрьме, А. Марченко объявил голодовку, потребовав освобождения политзаключенных; 8 декабря он умер.

<sup>8</sup> 8 января 1980 г. Президиум Верховного Совета СССР, кроме открытого — опубликованного в «Ведомостях» — указа «О лишении Сахарова А. Д. государственных наград СССР» (см. «Воспоминания», т. 2, стр. 463), принял также секретный указ «О выселении Сахарова А. Д. в административном порядке из города Москвы» (дополнение 5 к тому 2).

17 декабря 1986 г., на следующий день после звонка М. С. Горбачева, Президиум принял 2 указа (дополнение 16): «О прекращении действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова А. Д.» (с грифом «Секретно») и «О помиловании Боннэр Е. Г.» (с грифом «Не подлежит опубликованию»). (В этой связи см. также дополнение 17.)

<sup>9</sup> Освободив сначала политзаключенных, написавших требуемое заявление, власти затем, в течение 1987—1988 гг., освободили и тех, кто отказался его писать.

## Глава 2

<sup>1</sup> 18 октября 1991 г. Верховный совет РСФСР принял «Закон о реабилитации жертв политических репрессий», согласно которому «все жертвы политических репрессий, под-

вергнутые таковым на территории РСФСР с 25 октября (7 ноября) 1917 г.», были реабилитированы.

<sup>2</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2, дополнение 1.

<sup>3</sup> Здесь неточность: закон не требует освобождения обвиняемого из-под стражи при направлении дела на следствие.

<sup>4</sup> Полностью выступления А. Д. Сахарова на Форуме напечатаны в «Тревоге и надежде», т. 2.

<sup>5</sup> То есть об осужденных по ст. 190<sup>1</sup> Уголовного кодекса РСФСР (и соответствующим статьям УК других республик).

<sup>6</sup> Роальд Мухамедьяров был арестован в сентябре 1972 г. по ст. 70 УК РСФСР и направлен Московским городским судом на принудительное лечение в психиатрическую больницу общего типа; из больницы был выпущен в мае 1975 г. В самиздательском очерке Виктора Некипелова (1928—1989) «Кому отворяем дверь (к одной не совсем обычной информации)» опубликован протокол допроса Р. Мухамедьярова от 30 ноября 1972 г., на котором он дал много ложных показаний о других («Хроника текущих событий», вып. 61, 16 марта 1981 г.).

<sup>7</sup> В 1990 г., уже после смерти Андрея Дмитриевича, его выступления на Форуме вместе с этим предисловием были напечатаны и в России — см. «Тревога и надежда», т. 2.

## Глава 3

<sup>1</sup> После смерти Андрея Дмитриевича (декабрь 1989 г.) «Аргументы и факты» в № 51 эту статью напечатали (см. «Тревога и надежда», т. 2, «Новое политическое мышление необходимо»).

<sup>2</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2, письмо М. С. Горбачеву от 15 января 1988 г.

<sup>3</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2, «Открытое письмо о крымских татарах и Нагорном Карабахе» .

<sup>4</sup> Правильно: председатель правления АПН.

<sup>5</sup> А. Н. Яковлев (1923—2005) служил в морской пехоте.

<sup>6</sup> Напоминаем, что все это писалось в 1989 г.: «передать два года назад» и «потеряно два года» — это о 1987 годе.

<sup>7</sup> Кроме сборника «Иного не дано» (М.: Прогресс, 1988), ее можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 2.

<sup>8</sup> Имеется в виду книга «Дочки-матери». Впервые она была напечатана за рубежом (Нью-Йорк: издательство имени Чехова, 1991), в России — в 1994 г. (М.: Прогресс-Литера).

<sup>9</sup> Указанный митинг проходил в мае 1988 г. около Дворца спорта «Динамо».

<sup>10</sup> С 1987 г. «Память» — самоназвание нескольких организаций русской националистической ориентации.

<sup>11</sup> Правильное название: Совет по делам религий.

<sup>12</sup> Андрей Дмитриевич имеет здесь в виду I съезд народных депутатов СССР, проходивший с 25 мая по 9 июня 1989 г.

<sup>13</sup> Во время прощания руководителей страны с А. Д. Сахаровым во дворе Президиума АН СССР М. С. Горбачев сказал Елене Георгиевне: «После похорон мы подумаем, как увековечить память Андрея Дмитриевича». Елена Георгиевна ответила: «Не надо думать! Зарегистрируйте «Мемориал» — вот и будет увековечение». Через месяц, 16 января 1990 г., был зарегистрирован Московский «Мемориал». Всесоюзный «Мемориал» был зарегистрирован фактически только 12 апреля 1991 г. в форме «межреспубликанской организации».

<sup>14</sup> В январе, в № 1 (в частности, А. Сахаров «Плюрализм — это конвергенция»).

<sup>15</sup> Материалы этого «круглого стола» — см. в № 50 журнала «Огонек» за 1988 г.

<sup>16</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2.

<sup>17</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2, дополнение 2.

<sup>18</sup> «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые напечатан в нашей стране в журнальном варианте («главы из книги») в номерах 8—11 за 1989 г. журнала «Новый мир».

## Глава 4

<sup>1</sup> От латинского *donator* («даритель»).

<sup>2</sup> Имеются в виду указы Президиума Верховного Совета СССР «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» и «Об обязанностях и правах внутренних войск Министерства внутренних дел СССР при охране общественного порядка» (эти указы датированы 28 июля 1988 г.).

<sup>3</sup> В данном случае имеется в виду самолет, совершающий регулярные челночные рейсы между Нью-Йорком и Бостоном (по-английски *shuttle* — «челнок»).

<sup>4</sup> Имеется в виду работа над «Воспоминаниями».

<sup>5</sup> Ныне — Гянджа.

<sup>6</sup> Упомянутое Постановление Верховного Совета СССР датировано 11 июля 1989 г.

<sup>7</sup> Имеется в виду «Общественная комиссия международного сотрудничества по гуманитарным вопросам и правам человека», созданная при Советском комитете за европейскую безопасность и сотрудничество в ноябре 1987 г.

## Глава 5

<sup>1</sup> Правильно: ЦК КП Армении. Далее аналогичные неточности не оговариваются и не исправляются.

<sup>2</sup> Правильно: представитель ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (до 12 января 1989 г.).

<sup>3</sup> Неточность: Нахичеванская АССР, а не АО.

## Глава 6

<sup>1</sup> В декабре 1988 г. такого министерства СССР не было (до 16 марта 1988 г. существовало Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, после 16 марта — Министерство лесной промышленности).

<sup>2</sup> В 1988—1989 гг. А. В. Яблоков был членом-корреспондентом АН СССР.

<sup>3</sup> В принятом через год (в октябре 1989 г.) российском Законе о выборах были отменены как выборы от общественных организаций, так и окружные собрания.

<sup>4</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2.

<sup>5</sup> Правильно: Пленума Президиума Академии.

<sup>6</sup> См. «Заявление для печати в связи с выборами» («Тревога и надежда», т. 2).

<sup>7</sup> См. «Тревога и надежда», т. 2, дополнение 3.

<sup>8</sup> Андрей Дмитриевич имеет здесь в виду «Воспоминания» (напомним, что, когда он писал книгу «Горький, Москва, далее везде», он сначала намеревался сделать ее частью «Воспоминаний» без отдельного названия).

<sup>9</sup> Имеются в виду указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и некоторые другие законодательные акты СССР» и указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессу-



альный кодексы РСФСР» (оба указа датированы 8 апреля 1989 г.).

## Глава 7

<sup>1</sup> Дело Шихановича в 1972—1973 гг. вел Виталий Константинович Галкин, сменил Гдяна Владимир Семенович Галкин.

<sup>2</sup> Эти указы (см. комм. <sup>2</sup> к гл. 4) были утверждены Верховным Советом СССР в октябре 1988 г.

<sup>3</sup> Имеется в виду указ, названный в комм. <sup>9</sup> к гл. 6.

<sup>4</sup> Название этой статьи: «Оскорбление или дискредитация государственных органов и общественных организаций».

<sup>5</sup> См. «Комсомольская правда», 2 марта 1989 г.

<sup>6</sup> Ю. Черниченко имеет здесь в виду, что в 1989 г. пшеницу у Запада мы закупали уже 25 лет (В. С. Мураховский в 1985—1989 гг. — председатель Госагропрома).

<sup>7</sup> «Руководящая и направляющая» роль КПСС была отменена новой редакцией статьи 6, принятой в марте 1990 г. на III съезде народных депутатов СССР.

<sup>8</sup> Отсутствующие в официальной стенограмме (например, в московском выпуске газеты «Известия» за 11 июня 1989 г.) места заключены в квадратные скобки. Существуют также иные, как правило незначительные, расхождения со стенограммой.

<sup>9</sup> Здесь официальная стенограмма обрывается — по-видимому, в этот момент были выключены микрофоны.

<sup>10</sup> Снова обращаем внимание читателя на дополнение 15.

<sup>11</sup> См. дополнение 20.

## Дополнения 1–8, 10–13

Впервые в России опубликованы в 1990 г. (Елена Боннэр. «Постскриптум. Книга о горьковской ссылке»).

## Дополнение 8

<sup>1</sup> Что на самом деле писал А. Д. Сахаров в этой статье, можно прочитать в «Тревоге и надежде», т. 1.

## Дополнение 9

Опубликовано в газете «Российские вести», 3 октября 1992 г.

## Дополнение 11

<sup>1</sup> Нужно, соответственно, 11 и 12 апреля, а в следующей фразе, соответственно, 12 и 11 апреля.

## Дополнение 15

Опубликовано в газете «Сегодня», 8 февраля 1994 г.

<sup>1</sup> М. С. Горбачев имеет здесь в виду письмо А. Д. Сахарова от 22 октября 1986 г. (дополнение 14).

## Дополнение 21

<sup>1</sup> Елена Георгиевна имеет здесь в виду американское издание «Воспоминаний» (вышедшее в 1990 г.).

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

## От составителей

Имена в данном Указателе помещены, как правило, в той форме (имя или имя-отчество, только фамилия или фамилия с инициалами и т. п.), в которой они встречаются в книге. Если человек встречается не по имени-фамилии, а по родственной принадлежности (дядя, бабушка и т. п.), соответствующая страница не указана. Исключение сделано только для родителей Андрея Дмитриевича — Дмитрия Ивановича («папа») и Екатерины Алексеевны («мама») Сахаровых.

*Елена Холмогорова  
Юрий Шиханович*

**А**

- А. И. – см. Солженицын Александр  
Исаевич
- Абалкин III – 605, 676, 692
- Абель – см. Фишер
- Абрамкин В. II – 639, 707
- Абрахамсон III – 563
- Абушахмин I – 688
- Авакянц I – 165
- Аверинцев С. С. II – 750
- Авитель (жена Анатолия  
Щаранского) III – 36
- Авторханов I – 360
- Аганбегян III – 581
- Агрест Маттес Менделевич I – 254,  
267, 293
- Агриппина Григорьевна –  
см. Лукашева Агриппина  
Григорьевна
- Агурский I – 740, 849
- Адамская Иза I – 511
- Адамская Леночка I – 511
- Адамский Виктор Борисович  
I – 484, 485, 510, 512, 875;  
III – 614
- Адашников I – 442
- Адлер Стивен I – 574
- Азбель II – 228, 692, 693
- Айрикян Паруйр II – 407, 411
- Айтматов Чингиз II – 512
- Аксельбанк Джей II – 85, 103
- Алварез I – 200
- Александр Второй I – 801
- Александр Первый II – 750
- Александр Третий I – 811
- Александров А. Д. I – 682
- Александров А. М. I – 714
- Александров А. С. I – 411
- Александров Анатолий Петрович I  
– 397, 496, 639, 656, 677, 708,  
875;  
II – 116, 480, 497, 507, 508, 560,  
577, 586, 587, 618, 620, 626, 650,  
651, 681, 682–684, 718, 720;  
III – 52, 54, 56, 57, 94, 112, 164,  
183, 185, 189, 227, 230, 344, 351,  
591, 603, 735, 761, 794, 814
- Александров П. С. II – 93
- Александрович В. А. I – 261
- Алексеев Константин  
Александрович II – 582
- Алексеева Лиза I – 11, 308, 529,  
660, 661;

- II – 47, 367, 370, 380, 390, 391,  
 406, 467, 468–471, 478–480,  
 484, 495, 497, 503, 565–573,  
 575–586, 588, 589, 592, 593,  
 595, 596, 598–603, 606–609,  
 613, 615, 620–628, 643, 648,  
 663, 708, 773;  
 III – 17, 37, 93, 104, 125, 132,  
 153, 160, 172, 180, 181, 191, 192,  
 203, 220, 221, 301, 302, 316, 323,  
 374, 376, 456, 564, 725, 738, 793,  
 850
- Алексеева Людмила II – 646;  
 III – 153, 160
- Алексей – см. Семенов Алеша
- Алексей Иванович – см. Вихирев  
 Алексей Иванович
- Алексей Семенович – см.  
 Софиано Алексей Семенович
- Алеша – см. Семенов Алеша,  
 Смирнов Алексей
- Алиев Г. А. III – 782, 785
- Алиханов А. И. I – 213;  
 II – 806
- Алиханов Геворк II – 13–16, 80,  
 206, 364, 801;  
 III – 73, 638
- Алиханов Игорь II – 13, 17, 18, 57,  
 262, 273, 274; III – 124
- Алиханова Вера II – 273, 274
- Алиханян II – 120
- Алмаши Жужа I – 647
- Алпатов С. И. III – 28
- Алтаузен Джек III – 40
- Алтунян Г. I – 693; II – 638
- Алферов В. И. I – 341, 342
- Алферов Жорес II – 763
- Альберти Ира – см. Иловайская-  
 Альберти Ирина Алексеевна
- Альбинони II – 11
- Альбрехт II – 692, 693
- Альперт Я. Л. I – 178; II – 583
- Альтман II – 567
- Альтшулер Борис Львович  
 I – 643;  
 II – 393, 751, 820, 826;  
 III – 299, 431, 440, 451
- Альтшулер Лев Владимирович  
 I – 291, 302, 304, 305, 308, 408,  
 643; II – 692, 693
- Альфвен I – 548
- Альферьева Л. I – 778
- Аля (жена Юрия Шихановича)  
 III – 105

- Аля – см. Светлова Наталья
- Амальрик Андрей I – 612, 622,  
698–700, 733, 887;  
II – 62, 281, 299;  
III – 842–844
- Амальрик Жак III – 780
- Амати Д. I – 574
- Аматуни Андрей II – 57
- Амбарцумян (президент  
Армянской АН) III – 588, 589
- Амбарцумян С. (ректор  
Ереванского университета)  
III – 534
- Амдурские I – 38
- Амин Х. II – 450, 451, 460
- Ампер I – 70
- Анатолий Петрович – см.  
Александров Анатолий  
Петрович
- Анашкин III – 755
- Анвельт II – 16
- Андерсен I – 66
- Анджеевский II – 701
- Андреев III – 417–419, 437
- Андреева Нина III – 528
- Андреевский III – 639
- Андроников Ираклий I – 93
- Андропов Ю. В. I – 527, 601, 602,  
621, 639, 640, 658–660, 694, 695,  
883;  
II – 197, 476, 507, 535, 683, 684,  
820;  
III – 62, 106, 450, 728–730, 738
- Анна – см. Гольденвейзер Анна  
Алексеевна
- Антокольский II – 735
- Антонов I – 604
- Аня – см. Янкелевич Аня
- Апухтин I – 690
- Арагон Луи III – 836
- Арбатов III – 473, 627, 629
- Арбузов Алексей Николаевич  
III – 86
- Аркадьев В. К. I – 340
- Арнольд В. И. III – 486, 487
- Арнольд Игорь Владимирович  
I – 87; III – 486
- Арсенал Боб III – 13
- Арутюнян III – 591, 592
- Архангельский II – 39
- Арцимович Лев Андреевич I –  
317, 318, 320, 323, 324, 328,  
329, 397, 510, 518, 522, 653,  
806



- д'Аршиак II – 739  
 Астауров I – 677  
 Астафьев Виктор III – 17, 605  
 Ауэрбах Феликс II – 823  
 Афанасьев Юрий Николаевич  
 III – 528, 529, 538, 540, 545,  
 547, 548, 690, 823, 827  
 Аффлек Я. I – 568  
 Ахматова I – 84, 306;  
 III – 68, 318, 830
- Б**
- Бабенышев Алик II – 764, 766  
 Бабенышева Марина I – 12  
 Бабенышева С. II – 693  
 Бабицкий Константин  
 I – 633, 880; II – 692, 693  
 Бабич Павел I – 723  
 Бавли I – 88  
 Багдасарян II – 394, 399, 402, 408,  
 410, 412, 413, 421, 818  
 Багрицкая Лидия Густавовна  
 II – 18, 203, 629;  
 III – 82–84  
 Багрицкий Всеволод II – 18, 19, 30,  
 33, 203, 204, 303, 304, 560, 574,  
 661, 662, 667, 752, 753;  
 III – 72, 76, 78, 82–86, 101, 124,  
 183, 314, 859  
 Багрицкий Эдуард II – 18, 203;  
 III – 82, 367  
 Бадзьо Юрий II – 432, 433  
 Байрон II – 753, 785  
 Бакатин В. В. II – 726, 727;  
 III – 685,  
 Бакланов III – 545  
 Бакли Джеймс II – 211, 212, 229;  
 III – 836  
 Балашов Ф. П. I – 153, 154  
 Балаян Зорий III – 581, 592, 593,  
 597, 599  
 Бандровская Софья Антоновна  
 I – 28  
 Барабанов Евгений II – 112, 128,  
 129  
 Баранов А. В. II – 728  
 Бардин I – 293  
 Баренблат Григорий Исаакович  
 I – 451;  
 II – 94, 780  
 Баренблат Исаак Григорьевич  
 I – 451–453, 455, 597;  
 II – 668

- Барзани Мустафа II – 23, 183  
 Барзани-младший III – 569  
 Барков I – 274  
 Бартини Роберт Орос ди  
     I – 872  
 Бару Ж. III – 617, 839  
 Баскин А. III – 776  
 Бастиан III – 480  
 Баталин III – 591  
 Баткин Л. М. II – 792;  
     III – 538, 539, 579, 581, 582,  
     590, 593, 645, 646  
 Бах I – 23  
 Бахмин Вячеслав I – 692, 725,  
     887;  
     II – 459, 638; III – 156  
 Башун Толя I – 81  
 Баэз Джоан III – 289  
 Бегин II – 673  
 Бегун Иосиф I – 742  
 Бек III – 17  
 Бекбоев II – 446, 447  
 Беккариа I – 19  
 Беккер Анна Павловна I – 69  
 Беленко II – 306, 307  
 Беленький Семен Захарович I –  
     214, 215, 232, 267  
 Белинский II – 783  
 Белка – см. Коваль Бэла  
 Бёлль Аннемария II – 183, 360  
 Бёлль Генрих II – 179, 183–186,  
     360, 828; III – 27  
 Белгородская Ирина I – 734  
 Белокопский Е. П. I – 814  
 Белоцерковский II – 692, 693  
 Бельгардт I – 57  
 Бельмондо II – 513  
 Бенкендорф II – 783  
 Берг II – 692, 693  
 Бергман Петр I – 745, 748  
 Бердяев I – 80  
 Березин Феликс Александрович  
     II – 145  
 Берия Лаврентий Павлович  
     I – 142, 182, 226, 237, 239, 240,  
     279, 305, 310, 324–327,  
     351–357, 367–374, 390, 392,  
     471, 528, 655, 656, 728, 871,  
     872;  
     II – 13, 14, 773  
 Бернштейн Боб I – 12; II – 238  
 Бессель II – 733  
 Бестужев-Рюмин II – 743  
 Бете Ганс I – 172, 191, 192, 510

- Бетелл Николас II – 228  
Бетховен I – 23, 32, 42, 43;  
II – 596  
Библенко II – 697  
Бирбауэр Ч. Е. II – 458  
Биргер Борис II – 183, 199, 200;  
III – 851  
Битов А. I – 858  
Биттер Ф. I – 343  
Бичер-Стоу I – 31, 66  
Блок I – 24; III – 847  
Блохин I – 648; II – 475  
Блохинцев Дмитрий Иванович  
I – 168  
Блудов Михаил Иванович I – 37,  
515, 875  
Б-о II – 158, 159; III – 59  
Боборыкин Петр Дмитриевич I –  
18, 798  
Бобылев Александр Акимович  
II – 589, 590; III – 90  
Богатырев Константин  
II – 90, 143, 183, 262, 269–273,  
322, 828  
Богатырев Костя (сын  
К. Богатырева) II – 269  
Богданов II – 65–66  
Боголюбов Николай Николаевич  
I – 211, 212, 267, 268, 271,  
292–295, 316, 397  
Богораз Л. И. I – 601, 631–633,  
720, 880; II – 535;  
III – 18, 424, 426, 438, 440, 451  
Бойцова Люся II – 244  
Болдырев II – 787  
Боннор I – 540  
Боннэр Елена Георгиевна I – 9,  
11, 15, 46, 100, 118, 176, 204,  
296, 306, 349, 529, 615, 616,  
637, 643, 660, 661, 673, 678,  
681, 684, 686, 687, 690, 691,  
697, 700, 703–711, 722, 723,  
734, 760–762, 765, 826;  
II–III – повсеместно  
Боннэр Матвей Григорьевич  
II – 17  
Боннэр Наташа II – 17  
Боннэр Руфь Григорьевна I – 32;  
II – 9, 11–18, 25, 35, 48, 57,  
104, 131, 134, 191, 206, 209,  
216, 223, 226, 235, 256, 274,  
305, 306, 311, 334, 353, 358,  
361, 370, 380, 390, 391, 458,  
467, 470, 471, 478, 479–482,

- 496, 503, 504, 553, 557, 558,  
564, 576, 585, 595, 599, 613,  
621, 686, 688, 708;  
III – 74, 206, 413, 417, 451,  
493, 494, 498, 499, 522, 793
- Боннэр Татьяна Матвеевна  
II – 12, 17
- Бор Нильс I – 173, 273, 611, 643;  
II – 640, 734
- Борисов Владимир I – 693, 712,  
715, 716, 721–724, 889
- Бормотова III – 50, 51
- Борн Макс I – 629, 630
- Боровик-Романов II – 763
- Бородин I – 23
- Боря – см. Альшулер Борис  
Львович
- Бошьян I – 281
- Боярский II – 794
- Брагина Маша III – 84–85
- Брагинский I – 557
- Бразинскасы I – 702, 703, 888;  
II – 486
- Браилловский Виктор I – 742;  
II – 692, 693
- Брайль II – 21
- Брандт Вилли II – 208
- Браун III – 451–453
- Брежнев Леонид Ильич  
I – 463, 465, 467, 471, 472, 481,  
495, 496, 514, 515, 527, 597, 607,  
608, 619, 622, 658, 660, 667–669,  
707–710, 712–714, 749, 750,  
828;  
II – 102, 208, 221, 316, 359, 390,  
391, 393, 394, 399, 401, 402, 413,  
421–423, 463, 464, 477, 568, 576,  
579, 582, 584, 586, 587, 592,  
597–599, 704, 716, 806, 819;  
III – 450, 515, 516, 718, 737
- Бреховских Л. I – 169
- Бродский И. I – 613, 699, 888;  
II – 749
- Брокгауз I – 70
- Бронштейн Матвей I – 275
- Брунов Е. В.  
II – 632, 255–258, 261, 322, 828
- Брут II – 794, 795
- Бубнов I – 34
- Бугаева – 171
- Будкер I – 327
- Будри II – 763
- Бужинников Евгений II – 435
- Буковская Н. И. II – 692, 693

**Буковский Владимир**

I – 597, 672, 725, 733, 734, 736,  
738;

II – 29, 30, 38, 40, 43–46, 70, 84,  
96, 128, 173, 186, 254, 275, 281,  
313–315, 592, 593;

III – 45, 323, 353

**Булгаков III – 501**

Булганин I – 329, 406, 407, 468

Бунин Иван I – 806

Бунич III – 690

Бунятов III – 581, 582, 585

Бурлацкий III – 567, 568

Бурназян Аветик Игнатьевич

I – 424

Бутаева I – 171

Бутман I – 701, 705;

II – 567, 822

Бухарин Н. И. I – 38, 55;

II – 15

Буш III – 225, 560, 563, 564

Быков I – 281

Бьеркен I – 291

Бьернерстед Рольф

III – 509, 512

Бэла – см. Коваль Бэла

Бэне Н. П. I – 35

**В**

В. Ю. – см. Гаврилов Виктор  
Юлианович

Ваал Анна II – 216

Вавилов Николай Иванович

I – 177, 353;

II – 791

Вавилов Сергей Иванович

I – 171, 177–179, 186, 200, 215,  
216, 438, 863

Вагнер (композитор) I – 23

Вагнер Иоганн I – 749, 750;

II – 423

Вайда II – 371; III – 168

Вайль Борис I – 678, 680–684,  
686–690, 698, 703, 886, 887;

II – 29, 71, 73, 433;

III – 643

Вайль Люся I – 687

Вайнштейн Лия – см. Лия

Ваксберг Аркадий III – 443, 444

Валенса Лех III – 573

Валерий – см. Чалидзе Валерий

Валленберг Рауль II – 513, 514;

III – 521–524, 526

Вальдхайм Курт II – 398

- Валье Макс I – 84  
Вальтер-Тито – см. Тито Иосип Броз  
Валя (киевлянка) III – 371  
Валя (медсестра) III – 181, 182,  
259, 282  
Ваник (Вэник) Чарльз  
II – 153, 183, 192, 211, 213, 807,  
808  
Ванников Борис Львович  
I – 239–242, 244, 245, 251, 268,  
275, 303, 324, 385, 569, 759, 865  
Ваня – см. Ковалев Иван, Сахаров  
Иван Иванович  
Варвара Павловна (жена  
Зельдовича) I – 301  
Вартанян Марат III – 288, 289  
Василевский I – 380, 381, 395, 428  
Василий (прапрапрадед А. Д.  
Сахарова) I – 824  
Васильев III – 510, 637  
Вахтеров I – 799  
Везиров III – 519, 585–587  
Вей Циньшен II – 702  
Вейнберг Стивен I – 299, 544, 557,  
558, 563, 574  
Вейскопф Виктор I – 192,  
678–680;  
II – 100, 175, 297, 298;  
III – 455  
Вейцзеккер I – 576  
Векслер Владимир Иосифович  
I – 164  
Великанова Ксения (Ася)  
III – 29, 857  
Великанова Татьяна Михайловна  
I – 676, 693, 725, 738;  
II – 49, 52, 186, 197, 239, 245,  
267, 426, 428, 433, 434, 638, 656,  
669, 692, 693, 707, 810, 810;  
III – 27, 45, 156, 857  
Велихов Евгений Павлович II –  
560, 577, 583, 584;  
III – 106, 457–462, 473, 503,  
504, 507, 509, 512, 557, 559, 589  
Венециано Г. I – 574  
Венцель I – 264  
Вера Федоровна – см. Ливчак Вера  
Федоровна  
Вербицкая А. А. I – 805  
Вересаев Викентий Викентьевич  
I – 19, 805;  
II – 734  
Веригин II – 595  
Верлен II – 753

- Верн Жюль I – 65, 71
- Вернадская Н. Е. I – 805
- Вернадский В. И. I – 800, 805, 811
- Вернадский Георгий I – 811
- Вертинский II – 764
- Визнер Джером II – 100;  
III – 476, 503, 504, 507, 509,  
558, 559
- Вик I – 192
- Вилчек I – 167, 563
- Вильсон I – 544
- Винер I – 294
- Виноградов Иван Матвеевич II –  
783, 784
- Винс Георгий II – 179, 180, 569,  
697;  
III – 353
- Винс Петр II – 180, 569, 571
- Виталий Лазаревич – см. Гинзбург  
Виталий Лазаревич
- Витт I – 112, 275
- Вихирев Алексей Иванович  
I – 17, 135, 136, 139–143, 155,  
157, 266, 648
- Вихирева Зина I – 138, 648
- Вихирева Клавдия Алексеевна I –  
72, 133–138, 142, 143, 149, 157,  
163, 165, 174–177, 187, 216, 217,  
253, 264–266, 269, 287, 348, 362,  
415, 594, 613, 634, 641, 642,  
644–648, 651, 589;  
II – 43, 391, 745, 747;  
III – 90, 459
- Вихирева Матрена Андреевна  
(урожденная Снежкина)  
I – 142, 143, 648
- Вишневский Б. I – 129, 130, 148, 150
- Владимир – см. Софиано Владимир
- Владимирский К. I – 164
- Владимов Георгий Николаевич  
II – 278, 459, 460, 620, 692, 693;  
III – 66
- Владимова Наташа II – 459
- Владимовы II – 385
- Власов (депутат) III – 690
- Власов Анатолий Александрович I  
– 87, 109, 110, 112, 113, 116, 117
- Вогралик II – 615–617, 625; III –  
181, 345
- Волков I – 604
- Вольпин – см. Есенин-Вольпин А. С.
- Вольский Аркадий Иванович III –  
592, 593, 595
- Вор I – 330

- Воробьев III – 161, 164, 760  
 Воробьев Петр Сергеевич I – 807  
 Воронель Александр I – 721  
 Воронин II – 609  
 Воронцов I – 744  
 Воронцов Юлий III – 779  
 Воротников В. И. III – 782  
 Ворошилов I – 77, 142, 365, 401  
 Врублевский I – 129  
 Всеволод – см. Багрицкий  
     Всеволод  
 Вучетич I 634–636  
 Вышинский А. Я. I – 46, 178, 715  
 Вэнс II – 319, 343, 829;  
     III – 451–453  
 Вяземский Павел II – 736  
 Вяземский П. А. II – 736, 746, 773,  
     786
- Г
- Гааз I – 720; II – 330  
 Габуджани Э. II – 599  
 Гаврилов Ваня I – 253  
 Гаврилов Виктор Юлианович  
     I – 246, 250–253, 256, 377, 416,  
     425
- Гагарин Юрий I – 400  
 Гайтлер I – 107, 181, 264  
 Галанин Д. Д. I – 822  
 Галансков I – 596, 597, 612, 720,  
     721, 733, 736;  
     II – 128, 191, 330  
 Галецкий Ростислав II – 416, 638  
 Галилей I – 557;  
 Галич Александр Аркадьевич  
     I – 306, 697;  
     II – 32–37, 112, 125, 144, 161,  
     225, 235, 238, 252, 253, 692, 693,  
     827; III – 39, 303, 846  
 Галич Ангелина Николаевна  
     II – 33, 37  
 Галка – см. Евтушенко Галя  
 Галкин Виталий Константинович  
     II – 74, 75;  
     III – 660, 872  
 Галкин Владимир Семенович  
     III – 659, 671, 872  
 Галлей III – 460  
 Гальперин Лесик III – 46, 48, 136,  
     148, 243, 244, 250, 251, 264,  
 Гальперина Ира III – 46, 48, 136  
 Галя – см. Евтушенко Галя,  
     Старовойтова Галина Васильевна



- Гамзатов Расул III – 533  
Гамкредидзе III – 632, 633, 664  
Гамов I – 434, 544  
Гамсахурдиа З. II – 382, 383, 446;  
III – 667  
Ганзелка I – 657, 663  
Гапонов-Грехов II – 692;  
III – 555  
Гарбус II – 696  
Гаусс I – 70  
Гдлян Т. X. III – 634–637, 642, 643,  
646, 658–662, 676  
Геворк – см. Алиханов Геворк  
Гейзенберг I – 188, 656  
Гейликман Б. I – 581, 585  
Гелл-Ман I – 167, 291, 299, 574  
Гельфанд Израиль Моисеевич  
I – 409, 410, 482  
Гельфонд II – 785  
Гельштейн Г. Г. III – 772  
Геннадий Богданович – см.  
Саркисов Геннадий (Гаек)  
Богданович  
Генри Эрнст I – 581–585, 597, 600,  
601, 619  
Георгадзе М. I – 430, 431;  
II – 463, 464, 704  
Герзон I – 703  
Гернет М. Н. I – 803, 804, 854  
Герстенмайер Корнелия III – 572  
Герцен I – 801; II – 123; III – 256  
Герценштейн М. I – 651  
Гершович Володя II – 52  
Герштейн С.С. I – 201, 298, 299,  
569, 865; II – 806  
Гершуни Владимир III – 169, 862  
Гесс Рудольф II – 216  
Гессе Наталья Викторовна I – 686,  
687, 706;  
II – 27, 28, 45, 158, 159, 295,  
478, 479, 481, 482, 487–489, 493,  
502, 560, 562, 576, 620, 621, 802;  
III – 59, 60, 102, 103, 105, 107,  
148, 838  
Гессен Лена I – 12  
Гёте I – 67, 616, 617;  
II – 597; III – 398  
Гефтер М. Я. III – 438  
Ги – см. Дарделл Ги  
Гиббс Д. I – 561  
Гильберт Д. I – 451, 572  
Гиммлер I – 656  
Гинзбург Александр I – 596, 597,  
612, 720, 733, 736, 886, 890;

- II – 128, 200, 301, 305, 311, 319,  
 329, 330, 333, 380, 385, 569, 700;  
 III – 353
- Гинзбург Виталий Лазаревич  
 I – 218, 233, 264, 402, 581, 599;  
 II – 144, 146, 573, 762, 823; III  
 – 20, 107, 112, 381, 427, 441
- Гинзбург Григорий I – 774
- Гинзбург Евгения I – 593, 619
- Гинзбург Яков I – 774
- Гиппократ II – 616
- Гитлер I — 38, 95, 96, 584, 585;  
 II – 347, 405, 455
- Глешоу Шелдон I – 299, 558–560,  
 564;  
 II – 175, 296
- Глинер I – 542
- Глоба Андрей II – 734
- Глоссен II – 473, 485, 488;  
 III – 838
- Глузман Семен I – 672, 726;  
 II – 46, 47, 53, 94, 223, 571, 697
- Глюк II – 734
- Гнедин Евгений Александрович  
 I – 372, 619, 871;  
 II – 348, 692, 693
- Гнесины I – 811
- Гоголь I – 66, 67
- Голдбергер III – 290
- Голицын III – 603
- Гольданский В. И. II – 653;  
 III – 381, 382, 459, 550,
- Гольденвейзер Александр  
 Борисович I – 18, 40–41, 73,  
 516, 772, 773, 779, 782, 810
- Гольденвейзер Анна Алексеевна  
 (урожд. Софиано) I – 13, 18,  
 40–41, 516, 771–774, 782
- Гольденвейзер Моисей  
 Соломонович I – 809
- Гольденвейзер Татьяна Борисовна  
 I – 516, 779
- Гольдовский О. Б. I – 803, 804, 854
- Гольдфарб Алик II – 337;  
 III – 435
- Гольдхабер М. I – 680
- Гольдштейн I – 742
- Гольфанд Юрий Абрамович  
 II – 144–146, 361
- Гончаров I – 141
- Горбаневская Наталья  
 I – 633, 693, 880; II – 51, 440
- Горбачев Михаил Сергеевич  
 II – 332, 727, 778; III – 12, 158,

- 230, 248, 249, 260, 265, 270, 274,  
293, 348, 351, 368, 391, 394, 395,  
409, 417–419, 427–429, 432, 435,  
437, 440, 443, 444, 446–450, 461,  
462, 464, 465, 476–479, 491, 492,  
508–512, 514–517, 525, 527,  
534–536, 553, 554, 557, 565, 566,  
570, 573, 576–579, 601, 603–606,  
617, 633, 634, 637, 638, 641,  
643–645, 650, 652, 653, 655,  
657–660, 667, 668, 671–677,  
680–684, 687, 702–706, 718, 719,  
782–785, 797, 798, 808–810,  
813–815, 827, 839, 860, 864, 865,  
867, 868, 873
- Горкин I – 413  
Горский III – 28  
Горчаков II – 757  
Горький Максим II – 756, 773; III –  
161, 243  
Гранин Даниил III – 477  
Грасс Гюнтер II – 124  
Греве Тим II – 253; III – 152  
Грибов I – 290  
Грибоедов Александр II – 35  
Гривнина Ирина I – 726  
Григ I – 23
- Григоренко Андрей II – 365  
Григоренко Зинаида Михайловна II  
– 269, 365, 692, 693  
Григоренко Петр Григорьевич I –  
629, 665, 667, 670–673, 716, 724,  
733, 886;  
II – 46, 57, 266, 269, 307, 315,  
365, 366, 440, 590–592, 619, 645,  
III – 153, 753, 754  
Григорьев III – 51  
Гримм II – 707  
Грин (физик) I – 166  
Грин Ашбель I – 11, 12  
Гринвуд I – 65  
Гриша – см. Подъяпольский  
Григорий Сергеевич  
Гриша (внук А. Д. Сахарова) II –  
381  
Гришунов II – 676  
Громов III – 679  
Громько А. А. II – 319, 343, 682,  
820;  
III – 391, 394, 481, 813, 815, 816,  
817, 862  
Гросс I – 167  
Грэхем Стивен I – 856  
Губинский II – 137, 138

- Гумбаридзе III – 641, 688  
Гурьянов Павлик I – 285, 286  
Гусев II – 319, 326, 329, 333, 462,  
829  
Гусева Евгения Павловна  
III – 275, 278, 279, 282, 398, 399  
Гут Алан I – 542; II – 547, 551  
фон Гуттен Ульрих II – 749  
Гюго I – 19, 65;  
II – 793;  
III – 571
- Д**
- Давиденко Виктор Александрович  
I – 349, 350, 375, 462  
Давидович Ефим II – 179, 180,  
262–265, 301  
Давыдов II – 764  
Давыдова Екатерина Дмитриевна  
I – 807  
Давыдова Прасковья Дмитриевна  
I – 807  
Дайн М. I – 568  
Дайсон Фримен I – 192, 225, 264,  
475, 865  
Дандарон Б. II – 191, 639  
Данзас II – 738, 739  
Даниэль Юлий I – 597, 598, 601,  
602, 613, 631, 632, 720, 879;  
II – 104, 447  
Данков I – 190  
Данте II – 794  
Дантес II – 738  
Дарделл Ги III – 521–523, 526, 527  
Дауд II – 451  
Дворянский Владимир  
II – 281, 283, 285, 814  
Дега III – 559  
Дегтярев III – 546–548, 673  
Дезер III – 482  
Деканозов I – 368, 371  
Декарт I – 70  
Делоне Вадим I – 633, 743, 880  
Демидова Алла II – 750  
Демин В. Ф. II – 780  
Демичев III – 492, 782  
Де-Перрега I – 750, 751, 753, 754  
Дехтяр Михаил Вольфович  
I – 101, 116, 860  
Джексон Генри I – 758;  
II – 130, 136, 137, 153, 154, 183,  
192, 211, 213, 309, 807, 808  
Джексон Гленда III – 308  
Джелепов В.П. I – 202

- Джемилев Асан II – 283, 414, 415  
 Джемилев Мустафа I – 693;  
     II – 275, 279–283, 285, 286, 394,  
     414, 639, 697, 813, 814, 818  
 Джемилев Решат II – 639, 707  
 Джемилева Васфие II – 283  
 Джилас I – 440, 688  
 Джилл – см. Клайн Джилл  
 Джинс Джеймс I – 84, 540  
 Джорджи I – 558–560, 564  
 Джотто III – 619  
 Дзержинский I – 274; II – 421  
 Дзюба II – 53  
 Дике I – 557  
 Диккенс I – 66  
 Дима – см. Сахаров Дмитрий  
     Андреевич  
 Димитров Георгий II – 14  
 Димопулос I – 563  
 Дирак I – 284, 564  
 Дитрих Марлен III – 215  
 Дитрих Эмиль Эрнстович  
     I – 773  
 Дмитренко Иван I – 794, 795  
 Дмитриев Николай Александрович  
     I – 246–250, 396, 409  
 Дмитриева Тамара I – 248  
 Дмитрий – см. Сахаров Дмитрий  
     Андреевич, Сахаров Дмитрий  
     Иванович  
 Дмитрий Иванович (царь) – 737  
 Добровольский I – 597; II – 330  
 Доброхотов Василий Петрович  
     I – 785  
 Доброхотова Александра  
     Васильевна I – 785  
 Доброхотова Елизавета Ивановна  
     I – 810, 820  
 Добрынин III – 454, 468  
 Додж Мэри I – 856  
 Долгих В. И.  
     III – 782, 784  
 Долгорукие I – 801  
 Доленко Елена II – 302, 662;  
     III – 79, 80  
 Доливо Анатолий II – 770  
 Долинина Н. II – 692, 693  
 Дометти Аглаида Александровна  
     I – 76  
 Домуховская Мария Петровна – см.  
     Сахарова Мария Петровна  
 Домуховская Софья Михайловна  
     I – 792  
 Домуховский Петр I – 792

Дородницын А. А. II – 652;  
III – 61, 164, 726  
Дорошкевич Орест Васильевич  
I – 775  
Достоевский Федор III – 243, 834  
Драбкина Елизавета II – 21, 60  
Дрейфус II – 385  
Дрелл Сидней I – 580;  
II – 175, 297, 298, 474, 533, 606,  
632, 633, 636, 652, 672, 686;  
III – 163, 164, 173, 261, 798, 836  
Дремлюга Владимир I – 633, 879  
Дубинин Н. П. I – 437, 438, 527,  
674  
Дубчек I – 634  
Дудинцев I – 676  
Дудко II – 707  
Духанин III – 637  
Дымшиц Марк I – 701, 703,  
705–708, 710; II – 568;  
III – 353  
Дэвис Анджела I – 707, 708  
Дюма I – 65; II – 574, 738  
дядя Ваня – см. Сахаров Иван  
Иванович  
дядя Веня II – 389, 817;  
III – 138–140

**Е**  
Е. Л. – см. Фейнберг Евгений  
Львович  
Е. П. – см. Славский Ефим  
Павлович  
Евгений Львович – см. Фейнберг  
Евгений Львович  
Евдокимова Наталья Михайловна  
III – 176, 177, 181, 188, 342, 343,  
346, 355, 807  
Евклид I – 583; II – 544  
Евсюковы II – 442, 443; III – 482  
Евтушенко III – 545  
Евтушенко Галя III – 104, 109, 110,  
115, 116, 121, 240, 300, 498  
Ежов I – 352, 656, 819; II – 15  
Екатерина Алексеевна – см.  
Сахарова Екатерина Алексеевна  
Екатерина Вторая I – 825;  
II – 785  
Екатерина Фердинандовна  
II – 162  
Елисавета Алексеевна II – 737  
Елисавет-императрица II – 772  
Ельцин Борис Николаевич  
III – 613, 643–646, 658, 782, 840

- Емельянов III – 630, 690, 694, 695  
Емельянов Василий Семенович  
I – 321, 322  
Есенин-Вольпин А. С. I – 410, 594,  
675, 693, 697, 715, 887;  
II – 72, 194, 216, 692, 693  
Ермолов Алексей Петрович  
II – 743  
Ефимов I – 622, 734, 736  
Ефрем – см. Янкелевич Ефрем  
Ефрон I – 70
- Ж**
- Жаворонков Геннадий  
Николаевич III – 514, 617  
Жаворонков Н. М. I – 606, 608  
Жаринов Е. И. I – 336, 340  
Жданов I – 358  
Жженов Георгий Степанович  
III – 65, 66, 69, 858  
Живлюк Юра  
I – 591, 595–597, 611, 613,  
614, 619, 634, 651, 652, 661,  
665, 669, 883  
Жорес II – 763  
Жоспен Лионель III – 779
- Жуков (маршал) I – 368, 380,  
395, 425  
Жуков Юрий II – 477, 652  
Жуковский I – 766, 767;  
II – 764, 785  
З
- Забабихин Женя I – 87, 101, 246,  
299, 303, 304, 408, 475, 501, 502;  
II – 758, 759, 763  
Завенягин Авраамий Павлович  
I – 211, 302–305, 367, 390, 407,  
408, 411, 422, 423, 467, 471, 873,  
876  
Задунайская Зоя Моисеевна  
II – 27, 28, 295, 553, 802;  
III – 103  
Зайков III – 633, 645, 782  
Зайцева Дуся I – 134  
Закс Б. Г. II – 303  
Закс Юла II – 287, 399, 400, 403,  
817  
Закусов Василий Васильевич  
II – 21  
Залмансон Вульф II  
Залмансон Сильва I – 703, 706;  
II – 170, 175–177, 536

- Заломов III – 161  
Залыгин С. П. III – 553, 554  
Занд Михаил I – 732  
Заславский Илья III – 612  
Засулич Вера I – 799  
Засурский II – 92  
Затикян Степан II – 394, 399, 400,  
402–405, 408, 410–413, 421, 436,  
818  
Зверев I – 210, 211, 213  
Зворыкин I – 64  
Зелинский Корнелий III – 83  
Зельдович Шурочка I – 301  
Зельдович Яков Борисович  
I – 200, 207, 214, 215, 228,  
232–235, 244–250, 254, 255,  
263–266, 271, 280, 295–302,  
305–309, 362, 367, 374, 377, 382,  
384, 388, 389, 394, 397, 401, 403,  
405, 408, 409, 415, 419, 420, 422,  
426, 427, 430, 437, 439, 440, 451,  
494, 511, 514, 528, 533, 541, 544,  
556, 569, 571, 572, 574, 593, 599,  
643, 685, 864, 865, 873, 887;  
II – 116, 231, 539, 549, 550, 552,  
578, 759, 774, 805;  
III – 90, 814, 828, 830  
Землячка II – 61  
Зи I – 563  
Зивс II – 656  
Зикики III – 457–459  
Зикмунд I – 657, 663  
Зимянин М. В. III – 782, 784  
Зинаида Евграфовна – см. Софиано  
Зинаида Евграфовна  
Зиновьев (писатель) II – 592, 740  
Зиновьев (соратник Ленина) II – 13  
Зия III – 478  
Злотник Моисей II – 302, 303, 574,  
662, 667;  
III – 72, 79–81  
Злотник Семен II – 204, 301–304,  
573, 574, 662, 667; III – 80, 81  
Зочка – см. Задунайская Зоя  
Моисеевна  
Золотухин (чиновник)  
II – 206  
Золотухин Борис Андреевич  
I – 886  
Зорин I – 440  
Зоря (двоюродная сестра  
Е. Г. Боннэр) III – 493, 656, 704  
Зосимов II – 275, 306–309, 436,  
829



- Зотов К. И. I – 757;  
     II – 393  
 Зощенко III – 68,  
 Зоя – см. Разживина Зоя  
 Зоя Моисеевна – см. Задунайская  
     Зоя Моисеевна  
 Зубарев Дмитрий Николаевич  
     I – 211, 212, 268, 293, 294  
 Зубов Андрей III – 574, 579, 581,  
     582, 589, 590, 593  
 Зусскинд I 563  
 Зысин Юрий Аронович  
     I – 340, 347–349, 408, 479  
 Зысина Ирина I – 348  
 Зысины I – 259;
- И**
- И. В. – см. Курчатов Игорь  
     Васильевич  
 И. Е. – см. Тамм Игорь Евгеньевич  
 И. Я. – см. Померанчук Исаак  
     Яковлевич  
 Ибаррури II – 14  
 Иван – см. Сахаров Иван Иванович,  
     Семенов Иван Васильевич  
 Иваненко II – 724, 725
- Иванов (сотрудник МИДа) III – 482  
 Иванов (следователь)  
     III – 636, 637, 659, 662  
 Иванов Альберт II – 397, 398  
 Иванов В. В. II – 692, 693  
 Иванов Сергей I – 794  
 Иванова II – 261  
 Ивич Игнатий Игнатьевич  
     II – 9, 692, 693  
 Игнатов I – 469  
 Игнатьев (популяризатор)  
     I – 84  
 Игнатьев А. Ю. I – 563, 568  
 Игорь – см. Алиханов Игорь  
 Игорь Евгеньевич – см. Тамм Игорь  
     Евгеньевич  
 Игрунов III – 539  
 Ида Петровна – см. Мильгром Ида  
     Петровна  
 Идлис II – 550  
 Израилева Ревекка Израилевна  
     I – 246, 253, 266  
 Илиопулус II – 296  
 Илия III – 642  
 Иловайская-Альберти Ирина  
     Алексеевна III – 305, 567, 572,  
     618, 619, 640, 647, 648

Ильенко Ольга Степановна

I – 776

Ильинский Игорь II – 770

Ильичев I – 521, 522

Ильф I – 107

Ильюшин А. А. I – 356, 357

Имшенецкий А. II – 59

Инбер Вера II – 748

Инна – см. Этингер Регина

о. Иосиф Васильевич

(прапрапрадед А. Д. Сахарова)

I – 783, 824

Иоффе Б. I – 290, 591;

II – 296

Иошимура М. I – 563, 564

Ира – см. Гальперина Ира,

Иловайская-Альберти Ирина

Алексеевна, Кристи Ирина

Ирина – см. Иловайская-Альберти

Ирина Алексеевна, Сахарова

Ирина

Исаак Яковлевич – см. Померанчук

Исаак Яковлевич

Исат Ирина Борисовна (верно –

Дмитриевна) – см. Шамина

Регина

Искандер Фазиль II – 360

К

Каверин В. А. II – 692, 693

Каганов I – 638

Каганович I – 399, 468, 874

Кадомцев Б. Б. II – 584; III – 458

Казакова Т. Д. III – 680

Казаринов II – 763

Казарян Каро II – 81

Казарян Р. III – 590

Каипбергенов III – 662

Калашников Сергей Григорьевич

II – 731, 733, 734

Калганов II – 24

Каллен II – 681

Каллистратова Софья Васильевна

II – 241, 353, 392, 415, 437–440,

445, 529, 796–798;

III – 235, 240, 438, 440, 827, 841

Калугина Фаина Петровна

I – 69

Калуца III – 404

Камо II – 13

Кандыба Иван II – 339, 638

Капитонов И. В. III – 782, 785

Капица Петр Леонидович

I – 279, 521, 537, 582, 653–661,

- 677, 883, 884;  
II – 59, 115, 476, 479, 534, 535,  
584, 763, 786, 790, 791; III – 450
- Каплер I – 662
- Каплун Ира I – 692, 888; II – 469
- Капутикян Сильва III – 589
- Караванский II – 53
- Карамзина Катерина Андреевна  
II – 752
- Кармаль Бабрак II – 450, 452, 453,  
532
- Карпец III – 755
- Карпинский Л. В. III – 538
- Картан А. III – 487
- Картер Джимми II – 319, 320,  
323–325, 327–330, 343, 344, 568,  
696, 698, 815; III – 225
- Карякин Ю. Ф. III – 538, 627
- Касем II – 22, 23
- Каспаров Гарри III – 573
- Кассирский I – 291
- Кассий II – 794, 795
- Кассо I – 25; II – 476
- Катусев III – 671
- Катя – см. Сахарова Екатерина  
Ивановна
- Кафтанов С. В. I – 108, 859
- Кацнельсон I – 359
- Качалов II – 750
- Кашин Николай Владимирович  
I – 821, 822
- Квачевская Джема I – 723
- Квачевский Лев I – 723
- Кейлис-Борок III – 588
- Келдыш Мстислав Всеволодович  
I – 375, 376, 398, 519, 521, 608,  
609, 669, 676, 677, 682, 684, 880;  
II – 72, 110, 115, 124, 207
- Келли Петра III – 480
- Кельвин I – 198
- Кене II – 340
- Кеннан III – 564
- Кеннеди (президент США)  
I – 474, 478, 513
- Кеннеди (ректор Стенфордского  
университета) III – 288
- Кент III – 374
- Кизеветтер Александр  
Александрович I – 801, 826
- Кикоин И. К. I – 397
- Килланин II – 425
- Ким Ир Сен I – 94
- Кинг Мартин Лютер II – 238;  
III – 840

- Киплинг II – 346, 786  
Киржниц Д. А. I – 542;  
II – 547;  
III – 350, 407  
Кириллин Владимир I – 598, 599,  
685; II – 171  
Кириллов В. И. III – 633  
Киркпатрик Джин III – 451, 453,  
454  
Киров I – 77, 592, 857; II – 14  
Киссельман II – 668  
Киссинджер Генри II – 100, 130,  
136, 694;  
III – 451, 452, 454, 788  
Клава – см. Вихирева Клавдия  
Алексеевна  
Кладницкий III – 845  
Клайн Джилл III – 109, 208, 210,  
456, 567, 570  
Клайн Кэрол III – 456  
Клайн Эд I – 11, 12;  
II – 98, 238, 581, 697;  
III – 208, 210, 220, 221, 388, 456,  
457, 475, 566, 570, 853  
Клаузиус II – 731  
Клейн О. I – 574; III – 404  
Клетенник I – 88  
Климов Валентин Николаевич  
I – 268, 293, 294  
Клоуз Кевин II – 531  
Кнопфель I – 341, 343  
Кобзарев I – 290  
Кобулов I – 368, 372, 728  
Ковалев Иван I – 726;  
II – 248, 249, 535, 821, 824;  
III – 38, 157, 158, 171,  
Ковалев С. А. I – 331, 676, 691, 693,  
725; II – 52, 156, 177–179, 186,  
187, 189, 194–198, 238, 240–250,  
267, 330, 351, 353, 434, 535, 692,  
693, 697, 699, 711, 810–813, 824;  
III – 438, 499, 507, 558, 790  
Ковалевы (семья) II – 638, 824  
Коваль Бэла II – 373, 604, 608, 680;  
III – 41, 64, 523  
Ковнер Марк II – 480, 481, 483,  
496, 598, 600, 602, 603, 605, 609,  
610, 686, 764, 765; III – 58, 119,  
198, 199  
Козинс I – 330  
Козлов Борис Николаевич I – 499,  
503, 508  
Козлов Фрол Романович I – 507  
Кокошин III – 473, 476

- Кокошкин I – 801  
Колаковский II – 639  
Колесников Геннадий Павлович  
III – 122, 128, 131–133, 136, 142,  
143, 145, 146, 161, 179, 239, 354,  
371, 733, 751, 760, 859  
Колмогоров I – 148, 247, 248, 583,  
584  
Колчин В. А. III – 819  
Колумб II – 754  
Коломийцева Л. А. I – 798  
Коль III – 687  
Коля – см. Дмитриев Николай  
Александрович, Сахаров  
Николай Иванович (дядя  
А. Д. Сахарова)  
Комаров I – 603  
Компанеец Александр  
Соломонович I – 228, 234  
Кондратьев С. III – 776  
Конев I – 368  
Конецкий Виктор II – 19  
Кони Анатолий Федорович  
II – 798  
Конквест I – 74, 592  
Константин (великий князь)  
III – 425  
Константин – см. Софиано  
Константин  
Константинова Шура II – 627  
Копелев Лев Зиновьевич  
II – 144, 223, 272, 360, 389, 692,  
693  
Коптюг В. А. III – 628, 629  
Корвалан Луис II – 313–315, 592  
Корешкова В. II – 692, 693  
Кориолис I – 718  
Корнеев И. – 692, 693  
Корнилов Владимир  
II – 600, 608, 755  
Корнилов Юрий II – 89, 103, 104,  
326, 652, 804  
Королев Сергей Павлович  
I – 392–394, 635, 872;  
II – 39  
Короленко Владимир  
Галактионович I – 18, 19, 794;  
II – 353, 475, 749  
Корягин Анатолий I – 726;  
II – 639  
Костава Мераб II – 382, 383, 536,  
537, 638, 821;  
III – 482, 667  
Костерин А. Е. II – 645

- Костерин Алексей – см. Смирнов  
Алексей  
Костерина Лена III – 45, 46  
Костерина Нина II – 645  
Косыгин Алексей Николаевич  
I – 582, 599, 607, 608, 828;  
Котельников В. А. III – 615, 625,  
Коч III – 359  
Кочетов III – 665  
де Крайф Поль – см. де Крюи Поль  
Кракси Беттино III – 618, 647, 648  
Крамерс Х. I – 191  
Красавин Феликс  
I – 704;  
II – 480, 483, 484, 489, 528, 590,  
591, 596, 600–602, 609, 651;  
III – 58, 111, 119, 120, 198, 199  
Красавина Майя II – 497, 528, 600,  
602, 651;  
III – 58, 111, 112, 119, 120, 198  
Красин В. I – 693;  
II – 54, 67–70, 802, 803  
Красников Н. В. I – 563  
Краснов (врач) III – 60  
Краснов-Левитин Анатолий  
Эммануилович I – 693, 732,  
737–740, 890;  
II – 43;  
III – 45  
Кривенко Сергей Николаевич  
I – 793–795, 805  
Крик I – 434  
Кримски Джордж II – 275, 306,  
311, 312, 829  
Кристенсен I – 550  
Кристи Агата I – 628;  
III – 327  
Кристи Ирина I – 734, 737, 692,  
693; III – 131, 235, 236,  
239–244, 251, 769  
Кронин I – 550  
Кросс Яан – 862  
Круглов С. Н. I – 367, 871  
Крупенская Катерина  
Христофоровна I – 767  
Крупская I – 34, 821  
Крылов II – 789, 797  
Крымов А. Г. II – 16  
де Крюи Поль I – 84, 89  
Кубояма I – 383  
Кувакин Всеволод  
III – 156, 169, 860  
Кудирка Симас I – 754;  
II – 170, 176, 177, 196

- Кудрин Леонид III – 661, 662, 676, 677
- Кудрявцев (академик) III – 642
- Кудрявцев Всеволод Александрович I – 70
- Кудрявцев Олег I – 65, 68–72, 102, 210, 826, 827, 856
- Кудрявцева Ольга Яковлевна (урожд. Лукашева) I – 70, 71, 856
- Кудрявцевы I – 44, 70
- Кузнецов (художник) I – 594
- Кузнецов В. В. III – 782, 785
- Кузнецов Исая III – 86
- Кузнецов Рудольф Алексеевич III – 28, 294, 295
- Кузнецов Эдуард I – 702–711, 751; II – 27, 71, 126, 127, 138, 140, 153, 176, 319, 370, 372, 373, 378, 536, 568; III – 247, 353
- Кузьмин В. А. I – 558, 563, 568
- Кукк II – 191
- Кукобака Михаил II – 435, 638; III – 559
- Кулон II – 760
- Кульберг I – 781
- Кун Бела II – 61
- Кунин Петр Ефимович I – 92, 114, 156, 163, 164, 180, 181; II – 237, 262, 265, 266, 757
- Купер (физик) I – 293
- Купер Фенимор I – 48, 745
- Курант Р. I – 84
- Куркин Михаил Иванович I – 784
- Курчатов Игорь Васильевич I – 111, 185, 209, 212, 213, 221, 242, 244, 253, 265, 317, 324, 326, 328–330, 353, 355, 360, 380, 381, 388, 396, 398, 401, 404–406, 415, 419, 422, 428, 430, 438, 441, 447, 449, 450, 454, 455, 458–462, 496, 639, 653, 872; II – 38
- Курченко Надя I – 702, 703, 888; II – 486
- Кулузов I – 30
- де Куэльяр Перес III – 570
- Кэрролл II – 549
- Кюхельбекер II – 745
- Л**
- Лаверов III – 589
- Лаврентьев М. А. I – 87, 356, 375; III – 458,

- Лаврентьев Олег I – 310, 325, 326
- Лавров Кирилл III – 705
- Лавут Александр Павлович  
I – 676, 693, 886; II – 186, 197,  
245, 267, 283, 415, 638
- Лагранж I – 193, 573, 732, 733
- Ладыженская О. II – 693
- Лакоба I – 369
- Лангрен Дан III – 13, 14
- Ланда Мальва Ноевна  
II – 186, 239, 275, 313, 316–318,  
349, 399, 404, 406, 412, 433, 537,  
569, 571, 638, 707, 814;  
III – 156, 451
- Ландау Лев Давыдович I – 90, 162,  
166, 172, 185, 192, 193, 195, 232,  
280, 553, 570, 655, 656, 661, 734
- Ландсберг Г. С. I – 36, 91, 156, 717,  
860
- Ланфанг II – 15, 16
- Лапин Слава II – 560, 692, 693
- Лара – см. Богораз Л. И.
- Лариса – см. Богораз Л. И.
- Латтэс I – 163, 196, 199, 277
- Лашкова Вера I – 12, 596, 597, 612,  
736, 739; II – 330;  
III – 44, 237, 858
- Лбов Саша I – 348
- Ле Карре III – 327
- Лебедев П. Н. I – 25, 219;  
II – 475
- Лебедева Наталья II – 388, 389
- Лебединский I – 250
- Левенгук I – 84
- Леви Абрам Соломон (Николай  
Петров) I – 785
- Левин Михаил Львович II – 560,  
731, 766, 822;  
III – 416
- Левитин (Краснов) – см. Краснов-  
Левитин Анатолий  
Эммануилович
- Левич В. Г. II – 692
- Левич Е. II – 692, 693
- Левченко II – 193
- Левшина Оля II – 115, 217, 222,  
369, 370, 380, 572, 575
- Легал Пьер II – 423
- Легасов В. А. II – 780
- Ледницкий I – 800
- Лезан Шарль I – 84
- Лейбовиц Джоэль II – 602
- Лейпунский А. И. I – 329
- Лейпунский О. И. I – 442, 446



- Леметр Джордж I – 537
- Лена (дочь Льва Зиновьевича Копелева) III – 241, 300
- Лена – см. Костерина Лена
- Ленин В. И. I – 34, 39, 80, 148, 272, 506, 628, 630, 636, 638, 646, 659, 661, 662, 821, 866, 867;  
II – 13, 60;  
III – 20, 243, 382, 451, 478, 541
- Леонов III – 539
- Леонтович Михаил Александрович  
I – 91, 92, 110, 156, 178, 273, 317, 320, 323, 324, 328, 329, 353, 519–521, 525, 582, 601, 653, 658, 712, 717–722, 860;  
II – 692, 693, 763, 773, 789
- Леотар Франсуа III – 155, 156, 170
- Лепешинская I – 281
- Лермонтов I – 20;  
II – 738;  
III – 678
- Лернер Александр I – 742;  
II – 338, 692, 693
- Лерт Раиса Борисовна  
II – 231
- Лесик – см. Гальперин Лесик
- Леша – см. Гальперин Лесик
- Лешков I – 793
- Ли I – 551–553, 556, 557;  
II – 745
- Либби I – 442
- Либсон I – 781
- Ливчак Вера Федоровна  
II – 175, 217, 218, 239, 349, 394, 429–432
- Лигачев III – 443, 518, 813, 814
- Лидия Корнеевна – см. Чуковская Лидия Корнеевна
- Лиза – см. Алексеева Лиза
- Лизеганг I – 83
- Линде А. Д. I – 103, 542, 543;  
II – 547;  
III – 111, 350, 407, 408, 418, 420, 502
- Линева I – 774
- Лионас Аасе II – 244, 253;  
III – 207
- Липавский С. II – 337, 338, 386, 815
- Липеровский I – 23
- Лисянский Марк III – 13
- Литвин II – 191
- Литвинов М. М. (нарком иностранных дел) I – 633, 670

- Литвинов М. М. (сын  
Литвинова М. М.) II – 246
- Литвинов Павел I – 612, 633, 880;  
II – 112, 121, 669, 743, 827
- Литвинова Татьяна Максимовна  
I – 670;  
II – 57, 257, 693
- Литвиновы – Литвинов М. М. (мл.)  
и его жена III – 27
- Литинский Леня III – 121, 268
- Литлвуд II – 785
- Лифшиц Евгений Михайлович  
I – 90, 162, 172, 232, 540, 570
- Лифшиц Илья I – 599
- Лихачев III – 509, 609
- Лихачева Ата II – 752
- Лихтман II – 145
- Лия III – 305
- Лобачевский II – 544, 552
- Логунов А. А. III – 613,
- Ломоносов I – 277; II – 736
- Лондон Джек I – 66
- Лопушанский III – 18
- Лоу Френсис I – 167; II – 297
- Луговской II – 735
- Луи Виктор II – 233, 234, 321, 322,  
775, 776;
- III – 16, 175, 207, 227, 293, 294,  
349, 355, 412, 805, 806, 840, 841
- Лукашев Глеб I – 70, 71, 856
- Лукашев Кирилл I – 70, 71, 856
- Лукашева Агриппина Григорьевна  
I – 69, 856
- Лукьяненко Левко  
II – 339, 638, 815
- Лукьянов Анатолий Иванович  
II – 727;  
III – 516, 549, 633, 645, 668, 670,  
674, 676, 688, 702, 704, 705,  
717–721, 824
- Лумумба II – 131
- Лунин III – 19, 20, 425, 426, 451
- Лупынос Анатолий II – 30, 41–43,  
801
- Лури Ричард I – 12
- Лысенко Трофим Денисович  
I – 111, 178, 438, 439, 455,  
518–521, 527, 718, 875
- Львов Коля I – 87, 99
- Лэмб I – 191, 192
- Лэттер I – 448
- Лю Янь III – 683, 684
- Люба (жена Алексея Смирнова)  
III – 45, 46

Люба – см. Сахарова Люба  
Любарская II – 242  
Любарский Кронид II – 53, 71,  
83–85, 189, 412, 802, 803, 809,  
818  
Любенков I – 805  
Людаев Роберт Захарович  
I – 336, 337, 340, 344  
Людерс I – 552, 554, 566  
Людмила Ильинична III – 110  
Люся – см. Боннэр Елена  
Георгиевна

## М

Мажино III – 470  
Майани II – 296  
Майман I – 332  
Майя – см. Красавина Майя  
Макаренко II – 697  
Макаров I – 415; II – 486  
Мак-Клой Джон I – 481, 874  
Максвелл I – 83  
Максимов В. Е. I – 306, 849;  
II – 32, 35, 112, 125, 143, 144,  
161, 225, 238, 692, 693;  
III – 573

Маленков Георгий  
Максимилианович I – 362,  
367, 373, 374, 383, 384, 386,  
387, 398, 406, 407, 874  
Малик I – 512  
Малиновская Лена I – 266, 267  
Малиновский (министр обороны)  
I – 486, 496, 497, 526, 527  
Малиновский Александр  
Александрович I – 76  
Мало I – 31, 65  
Малов А. Н. I – 130, 133, 151,  
152, 861  
Малов Н. Н. I – 35  
Малышев Вячеслав  
Александрович I – 373, 374,  
380, 381, 385–387, 390, 391,  
394, 397–400, 404–407, 425,  
467, 471, 872  
Малышев Ф. Н. I – 165, 237, 238  
Мальва – см. Ланда Мальва  
Ноевна  
Мальцев Ю. I – 693  
Маляров I – 602;  
II – 104, 112, 113, 326, 447, 462  
Мамут Мусса II – 398  
Мандела Нельсон III – 803

- Мандельштам Леонид Исаакович I – 36, 110, 111, 112, 159–161, 163, 202, 272, 749, 860;  
III – 483
- Мандельштам Осип II – 750, 826;  
III – 65
- Мандельштам С. Л. I – 202
- Маневич А. II – 692, 693
- Маневич Е. II – 692, 693
- Манкур III – 224
- Мао Цзедун I – 416, 513, 627
- Марат II – 764
- Маресин II – 196
- Марина (внучка А. Д. Сахарова)  
I – 645;  
III – 243, 338
- Марина (двоюродная сестра  
А. Д. Сахарова) I – 516, 781
- Марина Петровна III – 47, 48, 50
- Маринович Мирослав II – 339
- Мария Петровна – см. Сахарова  
Мария Петровна
- Мария Тимофеевна II – 616, 617,
- Марк – см. Ковнер Марк
- Маркиш I – 359
- Марков (студент МГУ)  
I – 107
- Марков (студент МЭИ)  
I – 172
- Марков Моисей Александрович  
(физик)  
I – 217
- Маркова Люба I – 217
- Маркс Карл I – 148, 617;  
II – 339, 340;  
III – 328
- Мартин (Михаил Дмитриев) I – 785
- Мартынов I – 20
- Мартэн III – 487
- Марченко Анатолий  
I — 631–633, 665, 735, 742, 880,  
890; II – 191, 476, 513, 534, 535,  
638, 797, 798, 820; III – 18–21,  
394, 409, 419, 423–426, 428, 432,  
435, 857, 864, 865
- Марченко Валерий II – 191
- Марченко Павлик I – 735;  
II – 535; III – 19, 426
- Марчук Гурий Иванович  
II – 778;  
III – 423, 427–429, 437, 460,  
461, 481, 486, 614, 626, 813–815
- Маршак (физик) I – 299
- Маршак (поэт) II – 17, 28

- Марше Жорж III – 778, 779  
 Мастерс Декстер I – 252, 866  
 Матвеева Новелла III – 337  
 Матвей – см. Янкелевич Матвей  
 Матрена Андреевна – см. Вихирева  
     Матрена Андреевна  
 Маттерн Михаил Михайлович  
     I – 792  
 Матусевич Никола II – 339, 536,  
     824  
 Матусевич (семья) II – 639, 824  
 Матусова III – 58  
 Махнев I – 325  
 Мачтет I – 794  
 Маша – см. Михаеллес Мария  
     Васильевна, Петренко-  
     Подъяпольская Мария  
     Гавриловна, Сахарова Мария  
     Ивановна  
 Маяковский I – 79, 210;  
     II – 738  
 Медведев В. А. III – 381, 546–549,  
     673  
 Медведев Григорий III – 553  
 Медведев Жорес I – 522, 523, 591,  
     618, 645, 658, 670, 673, 674, 677,  
     686, 724, 849, 850, 875, 876;  
     II – 194, 227, 228, 433, 694, 695;  
     III – 843  
 Медведев Рой I – 326, 591–593,  
     595, 601, 602, 611, 613, 641, 668,  
     670, 673, 676, 713, 828, 849, 850,  
     883;  
     II – 58, 149, 227, 530, 692, 693;  
     III – 450, 660–662, 843  
 Межиров Александр I – 616, 617,  
     880;  
     II – 143, 269, 348;  
     III – 199, 273, 493  
 Мейланов III – 559  
 Мейман Наум Натанович  
     II – 361, 426;  
     III – 169  
 Меклер Юра II – 297, 298  
 Мельников III – 643  
 Менгеле III – 227, 287, 356, 686  
 Менделевич И. I – 706, 710, 888  
 Ментешавили III – 816, 817  
 Меретик II – 423  
 Меркулов I – 368, 371, 655  
 Мешик I – 368, 370, 528;  
     III – 524  
 Мешко Оксана II – 339  
 Мештрович I – 659

- Мещеряков I – 242  
Мигдал А. Б. I – 185, 213  
Мизнер I – 535  
Мизякин Арий II – 423  
Микоян Анастас Иванович  
I – 479, 526;  
II – 13;  
III – 222  
Милз Вильбор (Уилбур)  
II – 151–154, 807  
Миллер Миша II – 761, 777  
Миллионщиков I – 708, 709, 888  
Миллс I – 551  
Мильгром Ида Петровна  
II – 520; III – 35, 40, 41  
Милюков I – 801  
Мини Джордж II – 366, 367  
Митерев I – 650  
Митин I – 85  
Миткевич В. Ф. I – 112, 860  
Митлянский Даниэль  
II – 797, 798  
Миттеран III – 274, 413, 480, 565,  
566, 569, 570, 778–781, 785  
Миттеран Даниэль III – 567, 570  
Митя (сын Натальи Светловой)  
II – 160  
Митя – см. Сахаров Дмитрий  
Андреевич, Сахаров Дмитрий  
Иванович  
Михаеллес Мария Васильевна  
(урожд. Олсуфьева)  
II – 203–205, 223, 227, 228, 238,  
252;  
III – 60, 305  
Михаил Иванович – см. Блудов  
Михаил Иванович  
Михаил Сергеевич – см. Горбачев  
Михаил Сергеевич  
Михайлов Михайло  
II – 605, 610, 622  
Михалков Сергей I – 68  
Михеев Дмитрий – см. Т.  
Михозэлс I – 359  
Миша (киевлянин) III – 371  
Мишель II – 620; III – 487  
Млодзеевский (мл.) I – 87  
Моденов II – 90  
Можайский I – 275  
Моисеев I – 87  
Мойшезон II – 692, 693  
Молотов I – 88, 94, 96, 399, 468,  
469, 633, 874;  
II – 348

Монгайт I – 699  
Морлей Маргрет Уорнер  
I – 856  
Мороз Валентин II – 173, 569,  
697;  
III – 323, 353,  
Мороз Олег III – 441–443  
Морозов Г. I – 677  
Морозова В. А. – 801, 802  
Москаленко I – 368  
Мотя – см. Янкелевич Матвей  
Моцарт I – 23; II – 34  
Музруков Борис Глебович  
I – 410–412  
Мумендейл Дитрих II – 457  
Мумендейл Зора II – 457  
Мур II – 785  
Мураховский В. С. III – 692, 872  
Мурашев А. Н. – 823, 827  
Мурженко Алик I – 703, 704, 706;  
II – 638, 809  
Мухамедьяров Роальд  
III – 488, 489, 866  
Муханов Евграф Николаевич  
I – 771  
Муханов Николай Евграфович  
I – 780

Муханова Анна Петровна I – 780  
Муханова Ольга I – 771  
Мухтаров III – 660–662  
Мэтлок III – 640  
Мясищев II – 39

## Н

Н. Н. – см. Боголюбов Николай  
Николаевич  
Н. П. – см. Дубинин Н. П.  
Набоков II – 614, 615; III – 17  
Наворский Филарет I – 784  
Наджаров I – 717, 721  
Назаров Анатолий I – 629, 754;  
II – 55  
Нанопулос I – 563  
Нансен Фритъоф II – 253  
Наполеон I – 354  
Нарбут III – 17  
Насер II – 23  
Настя – см. Подъяпольская Настя  
Наталья Михайловна – см.  
Евдокимова Наталья  
Михайловна  
Наталья Николаевна (жена  
А. С. Пушкина) II – 735, 797

- Натансон III – 306  
Наташа (жена Михаила Левина)  
II – 766, 771, 774, 777, 798;  
III – 416  
Наташа – см. Гессе Наталья  
Викторовна  
Негин Евгений I – 246  
Неделин М. И. I – 422, 427–429,  
431, 432, 873;  
III – 473  
Нейман I – 294  
Некипелов Виктор I – 725;  
II – 433–435, 638; III – 866  
Некрасов Виктор I – 322;  
II – 45, 46, 144, 238, 692, 693  
Некрасов (поэт) II – 166, 748  
Некринч I – 671  
Нектарий I – 784  
Неля (жена Эмиля Шинберга)  
III – 116, 294–296  
Немировская Шурочка  
I – 165, 862  
Немировский Павел  
Эммануилович I – 165, 213  
Неру Джавахарлал I – 459  
Неруда Пабло I – 306;  
II – 112, 125, 126, 216  
Несмеянов А. Н. I – 438  
Нетер Эмми I – 451  
Нечаев В. В. I – 774  
Никита Сергеевич – см. Хрущев  
Никита Сергеевич  
Никифоров III – 755  
Никлус Март II – 339, 638  
Николай – см. Сахаров Николай  
Иванович (дядя А. Д.  
Сахарова)  
Николай I I – 39, 772;  
III – 193  
Николай Николаевич – см.  
Боголюбов Николай  
Николаевич  
Никольский (биолог)  
I – 604  
Никольский (секретарь ЦК КП  
Грузии) III – 639  
Никольский (чиновник)  
I – 239  
Никонов В. П. III – 782  
Никсон Р. I – 707, 708;  
II – 174  
Нина – см. Харкевич Нина  
Адриановна  
Нипков I – 58



- Новак III – 770
- Новиков И. Д. (физик)  
I – 544, 556;  
II – 552
- Новиков Иван Кузьмич (директор школы) I – 73
- Новиков Петр I – 723;  
II – 72
- Новиков Сергей II – 785
- Новиков-Прибой I – 14
- Новосильцев I – 801
- Норд В. II – 692, 693
- Норден I – 87
- Носов I – 441
- Нудель Ида I – 742;  
II – 638
- Нуждин Н. И. I – 518–522, 525,  
527, 528, 719
- Ньютон I – 70, 83, 557
- О**
- Оболенский (декабрист) II – 743
- Оболенский III – 658
- Оболенский М. Ф. I – 817
- Обухов А. М. I – 217
- Обухов Олег Александрович  
II – 624;
- III – 133, 176, 177, 181, 182, 184,  
186, 238, 258, 260, 266, 284, 286,  
297, 340, 343, 345, 348, 350, 351,  
355, 389, 394–397, 414, 747, 808,  
809, 859, 862
- Обухова А. А. III – 345, 414, 415, 808
- Огурцов Игорь II – 173, 697;  
III – 323
- Окиалини I – 163, 196, 199, 277
- Окубо Соломон I – 555, 560
- Окуджава Булат II – 30, 31, 34;  
III – 572
- Окунь I – 290
- Олег – см. Кудрявцев Олег
- Оленин Владимир  
I – 794–796
- Олеша Юрий Карлович  
II – 9, 629;  
III – 835
- Олсуфьева Мария Васильевна – см.  
Михаеллес Мария Васильевна
- Олсуфьевы II – 205
- Ольшанский М. I – 523, 876
- Омнес I – 548
- Опарин А. И. I – 519
- Оппенгеймер Роберт I – 199, 222,  
224–229

Орвелл (Оруэлл) I – 74, 857;  
II – 619;  
III – 209, 352, 747  
Орлов I – 794  
Орлов А. К. II – 342, 816  
Орлов Владимир I – 343  
Орлов Г. М. I – 605, 880  
Орлов Сергей II – 19  
Орлов Юра (одноклассник А. Д.  
Сахарова) I – 80, 81, 859  
Орлов Юрий Федорович (физик)  
I – 331, 658, 660, 719, 738, 859;  
II – 120, 238, 246, 299–301, 319,  
320, 329, 331, 337, 358, 380,  
382–384, 388, 425, 475, 537, 592,  
638, 656, 700, 711, 805, 806;  
III – 45, 572  
Осецкий Карл II – 238  
Осинский В. В. I – 55  
Осипов Владимир II – 223  
Осипова Татьяна I – 725, 738; II –  
249, 535, 821, 824; III – 45  
Осипьян III – 691  
Остин (врач) III – 313, 401  
Остин Тони (корреспондент) II –  
457, 458  
Островский А. Н. II – 774

## П

Павел I II – 33, 736  
Павельев А. А. II – 780  
Павленков I – 629  
Павлов (физиолог) I – 659  
Павлов Николай Иванович  
I – 351–355, 360, 390, 487, 491,  
508  
Павловский Александр Иванович I  
– 340, 342  
Павша И. В. I – 35  
Панахов III – 587  
Панов I – 557  
Пановский I – 223; II – 212;  
III – 290, 502, 506  
Папа Римский III – 618, 619  
Паприц Евгения Эдуардовна  
I – 807  
Паркер I – 573  
Паскаль III – 140–142  
Пастернак Борис II – 270, 297, 529,  
764;  
III – 17, 314, 830, 859  
Пати I – 558, 562  
Патиашвили III – 632, 639, 641,  
665–667

- Паули I – 90, 160, 163, 167, 173,  
552, 554, 566, 679
- Пауэлл I – 163, 196, 199, 277
- Пахомов II – 232
- Пашка – см. Марченко Павлик
- Пейдж III – 485
- Пекер II – 620; III – 487
- Пелл III – 62
- Пензиас I – 544
- Пеньковский I – 495, 875
- Первухин I – 467–469, 471
- Переверзев I – 459
- Перелыгин  
II – 472, 473, 489–493, 496,  
522–524, 721–723;  
III – 161, 167
- Перельман Марк II – 30
- Перельман Я. I – 83, 84
- Пертини III – 618
- Петлюра II – 94
- Петр Григорьевич – см. Григоренко  
Петр Григорьевич
- Петраков III – 630
- Петренко-Подъяпольская Мария  
Гавриловна I – 676, 886;  
II – 98, 99, 133, 134, 175, 267,  
269, 432, 469, 598;  
III – 45, 168, 235, 239–241, 299,  
300
- Петров I – 107
- Петров Г. И. II – 692
- Петровский (зам. министра  
иностраннных дел) III – 431
- Петровский Б. (медик)  
I – 511, 642, 677; II – 159
- Петровский Иван Георгиевич  
II – 89–95, 109, 368, 827
- Петрянов-Соколов I – 604, 606
- Петя – см. Кунин Петр Ефимович
- Пехлеви Реза II – 308
- Пименов Револют I – 678, 680–690,  
698, 703;  
II – 29, 71, 433, 590, 592, 593,  
619; III – 640, 641
- Пименова Виля I – 690, 691
- Пиночет II – 125, 313
- Пир Джордж Ла I – 630
- Писарев II – 783
- Планк I – 195, 571, 749
- Плевако Федор Никифорович  
I – 18, 793, 795
- Плисецкая Майя I – 582;  
III – 478
- Плутарх I – 768

- Плучек Валентин Николаевич  
III – 86
- Плющ (редактор «Недели») I – 532
- Плющ Леонид I – 532, 693, 877;  
II – 42, 43, 53, 173, 223, 242
- Плющев Юрий Николаевич I – 336,  
340
- Победоносцев II – 415
- Погосян Генрих III – 581, 592
- Подгорецкий М. И. I – 551, 878
- Подгорный Николай Викторович  
I – 707, 708, 828, 888
- Подрабинек Александр  
I – 726;  
III – 156, 568
- Подъяпольская Маша – см.  
Петренко-Подъяпольская Мария  
Гавриловна
- Подъяпольская Настя  
II – 469, 603, 609
- Подъяпольский Григорий Сергеевич  
I – 670, 676, 693; II – 98, 99, 133,  
134, 175, 262, 266–269, 469, 692,  
693, 828
- Познер III – 476
- Пойндекстер III – 223, 224
- Полевой Ксенофонт II – 737
- Покровский М. Н. II – 736, 743
- Полежаев Александр  
II – 34, 35
- Политцер I – 167
- Поль I – 36
- Поляков I – 809
- Померанц Григорий I – 641, 664,  
895; II – 416
- Померанчук Исаак Яковлевич  
I – 166, 167, 169, 185, 186, 193,  
195, 213, 267, 271, 288, 290–292,  
864; II – 806
- Пономарев (бывший  
политзаключенный) I – 629;  
II – 480, 481, 483
- Пономарев (член оргкомитета  
«Мемориала») III – 539,  
545–547, 613, 616
- Пономарев Борис II – 14
- Пономарев Л. (физик) I – 201
- Понофидин I – 780
- Понтрягин II – 93
- Попель Стасик II – 740, 741
- Попов Г. Х. III – 609, 615, 630, 634,  
654, 676, 823, 827
- Попов Никита Анатольевич  
I – 332

Попова П. Н. I – 778  
Поремский I – 630  
Постовская Наталья Михайловна I – 826  
Предводителей I – 111, 117  
Приставко Е. Ф. III – 772, 773  
Прокофьев I – 24  
Прокунин Василий Павлович I – 773  
Пронюк II – 53, 697  
Пропп I – 421  
Протопопов Алексей Николаевич I – 153, 154, 266, 349  
Прохоров А. М. II – 652, 653; III – 61, 164, 726  
Проценко III – 443  
Пугачев I – 64  
Пуго III – 637  
Пумпер I – 101  
Пушкин А. С. I – 39, 65–67, 71, 594, 766–769; II – 35, 365, 366, 377, 380, 511, 731, 734–739, 743, 746–752, 756, 763, 777, 782, 783, 785–789, 797, 798, 822; III – 142, 182, 243, 301, 398, 721, 847

Пушкин Василий Львович II – 773  
Пуцин Иван II – 738, 757, 766, 767, 777  
Пшежедомский Андрей Станиславович II – 724, 725  
Пылаев II – 650; III – 51  
Пэнсон II – 567  
Пяткус Викторас II – 243, 339, 638  
Пятницкий И. А. II – 15  
Пятницкий Игорь II – 15, 16

## Р

Р. Г. – см. Боннэр Руфь Григорьевна Рабинович (профессор МГУ) I – 87  
Рабинович Евсей (сотрудник объекта) I – 484, 485  
Рабинович Матвей Соломонович I – 164, 217  
Рагозин I – 604  
Радек Карл I – 73  
Радемахер I – 84  
Радзинский III – 19, 425, 451  
Разживина Зоя II – 172  
Раинька – Раиса Лазаревна Боннэр (1905–1985), двоюродная сестра Руфи Григорьевны

- Боннэр  
III – 124, 213
- Райт I – 275
- Ракобольская Ирина I – 103
- Раман I – 36
- Рапетти Сережа II – 356
- Раппопорт II – 608
- Раскин Александр II – 158
- Рассел I – 611
- Раушенбах III – 459
- Рафаэль I – 32
- Рашидов III – 634
- Рая (жена Льва Зиновьевича  
Копелева) II – 389
- Рая (жена Лени Щаранского) II –  
388
- ван хет Реве Карел I – 622
- Револьт – см. Пименов Револьт
- Регельсон II – 226, 707
- Регина – см. Этингер Регина
- Реддавей Питер III – 564, 658
- Резерфорд Э. I – 191, 192, 654, 883,  
884
- Резников III – 492
- Резникова III – 147, 158–160, 167,  
170, 172, 174, 178, 179, 189, 190,  
230, 231, 235, 240, 339, 754
- Рейган Рональд II – 627, 669, 672;  
III – 293, 368, 472, 478, 560, 561,  
785, 861, 862
- Рекубратский Ваня I – 820;  
II – 353;  
III – 566
- Рекубратский Виталий  
I – 40–41;  
II – 196, 353
- Рекубратский Сережа II – 353
- Рекунков А. М. II – 462–467, 473,  
481, 705, 722
- Рема – см. Янкелевич Ефрем
- Ремарк II – 183; III – 390
- Рембрандт II – 199
- Решетовская I – 636
- Ржезач II – 670
- Риббентроп I – 47
- Ригерман Леня I – 708
- Рид Майн I – 66
- Рильке II – 269
- Римский-Корсаков I – 23
- Рогинский III – 539
- Родионов III – 664–666
- Рожнов Владимир Евгеньевич  
III – 184, 288, 344
- Розенштейн III – 719

- Розин Есель Аэриелев (Николай Николаев)  
I – 785
- Рокар III – 569
- Рокотов I – 531
- Романенков II – 578
- Романов Юрий Александрович I – 218, 265–267, 284, 299, 301, 408;  
III – 90
- Романюк Василий Емельянович II – 223, 697; III – 151, 860
- Ромашевский Збигнев II – 394, 426–429
- Ромм Михаил I – 321, 322, 661, 662;  
II – 347
- Росельс I – 781
- Рост Юрий III – 441–443, 592, 601
- Ростовский Семен Николаевич – см. Генри Эрнст
- Ростропович I – 665;  
II – 150, 692, 693
- Ротман Тони I – 12
- Рубакин Н. А. I – 798, 799
- Рубан Петр II – 127, 319, 320, 697, 829
- Руббиа Карло III – 537
- Рубинштейн бр. I – 774
- Рубцов Володя II – 354
- Рудановский I 23
- Руденко Никола II – 319, 339–341, 536, 700, 815, 824;  
III – 436
- Руденко Рая II – 341, 536, 824
- Руденко (семья) II – 638, 824
- Руйэн Кэвин II – 400, 401
- Рукавишников II – 605, 606
- Румер Юрий Борисович I – 394, 872; II – 39
- Руммель Иосиф Богданович (Ипполит Павлович Байков) I – 785
- Румянцев Алексей Матвеевич I – 668, 669
- Рунов II – 612, 616, 617, 626
- Руппель Фридрих I – 743–746, 749;  
II – 211
- Русаков II – 220
- Руфь Григорьевна – см. Боннэр
- Руфь Григорьевна
- Рушди II – 788
- Рыбаков Б. II – 795

Рыжков Н. И. III – 587, 601, 604,  
606, 607, 676, 688, 697, 702, 782,  
784

Рыжова III – 282

Рябинин II – 507, 617–619

Рязанов II – 377

## С

Саакян Гурген I – 164

Савищев (Савущев) Костя I – 86

Сагдеев Р. З. II – 806;  
III – 459, 460, 502, 554, 555, 609,  
615, 616, 627, 672

Саката I – 185, 187

Салам I – 299, 553, 558, 562

Салтыков-Щедрин II – 185, 739

Сальери II – 734

Сальцева III – 345

Самодуров III – 539

Самойлов Борис I – 83, 115, 203

Самойлов Давид II – 32, 377;  
III – 378

Сандлер Е. X. II – 303, 304; III – 81

Саркисов Геннадий (Гаек)  
Богданович I – 40–41, 58, 59,  
781

Сартр II – 421

Сафир Зора II – 354;  
III – 450

Сафонов В. И. I – 774

Сахаров Александр I – 789, 790

Сахаров Борис I – 789, 790

Сахаров Борис Александрович I –  
789

Сахаров Василий I – 789, 790

Сахаров Ваня I – 27, 40–41, 816

Сахаров Георгий (Юрий)  
Дмитриевич I – 29, 31, 33,  
40–41, 51, 68, 121, 158, 497, 516,  
782, 875;  
III – 91

Сахаров Георгий (Юрий) Иванович  
I – 20, 27, 40–41, 528, 806, 812,  
814–816

Сахаров Григорий I – 789, 809

Сахаров Дмитрий Андреевич  
I – 136, 642, 644, 648;  
II – 9, 43, 54, 106, 608, 787;  
III – 72, 89–91, 115, 116, 119,  
120, 136, 175, 338, 494, 794

Сахаров Дмитрий Иванович (папа)  
I – 16, 20–29, 33, 34, 35–37,  
40–41, 42, 44, 45, 54, 59, 60,



- 63–66, 82, 92, 102, 104, 121, 156,  
158, 175, 177, 205, 482, 483, 489,  
491–493, 515, 516, 528, 644, 766,  
776, 780, 782, 806, 807, 811, 814,  
815, 820–823, 854, 875;  
II – 541, 742, 750, 751, 797
- Сахаров Иван Иванович  
I – 16, 20, 27, 28, 38, 40–41,  
55–57, 60, 63, 66, 68, 93, 529,  
806, 811, 812, 815–820;  
II – 174, 353
- Сахаров Иван Николаевич  
I – 18, 19, 40–41, 789–814, 854;  
II – 358
- Сахаров Иоанн Иосифович  
I – 783–786, 790, 825
- Сахаров Иосиф I – 785
- Сахаров Михалек I – 27, 40–41,  
812, 816
- Сахаров Леонид I – 785
- Сахаров Николай Иванович (дядя  
А. Д. Сахарова)  
I – 20, 25, 26–28, 40–41, 528,  
806, 814, 823
- Сахаров Николай Иванович  
(прадед А. Д. Сахарова)  
I – 17, 785–789, 792
- Сахаров Сергей Иванович  
I – 20, 28, 40–41, 793, 806, 811,  
823
- Сахарова Александра Алексеевна  
(урожд. Терновская) I – 786, 789,  
809
- Сахарова Александра Николаевна I –  
789, 808
- Сахарова Валентина (урожд.  
Бандровская) I – 16, 28, 40–41,  
57, 68, 97
- Сахарова Евгения Александровна  
(урожд. Олигер) I – 16, 27, 28,  
40–41, 56, 86, 528, 529, 818, 819,  
823;  
II – 174
- Сахарова Екатерина Алексеевна  
(урожд. Софиано; мама) I –  
13–16, 26, 28–31, 33, 34, 40–41,  
46, 54, 59, 65, 67, 93, 104, 121,  
158, 175, 216, 483, 484, 489, 491,  
493, 494, 497, 515, 516, 772, 776,  
778, 780, 782, 810, 814, 815;  
II – 797
- Сахарова Екатерина Ивановна I –  
27, 28, 31, 33, 40–41 44, 48, 68,  
86, 808, 823

- Сахарова Ирина I – 16, 28, 31, 32, 40–41, 48, 51, 57, 65, 68, 69
- Сахарова Лидия I – 789, 790
- Сахарова Люба I – 136, 265, 269, 348; II – 9, 232, 381, 608; III – 72, 89, 136, 137, 794
- Сахарова Мария I – 789
- Сахарова Мария Ивановна  
I – 40–41, 820;  
II – 353;  
III – 566
- Сахарова Мария Петровна (урожд. Домуховская)  
I – 19, 20, 40–41, 792–796, 798, 801, 802, 807, 808, 810–812, 819, 823, 824, 854
- Сахарова Надежда I – 789, 790, 809
- Сахарова Параскева I – 785, 810
- Сахарова Таня I – 136, 157, 174–176, 187, 217, 265, 269, 396, 645, 648; II – 607, 608; III – 72, 89–91, 118, 119, 136, 338, 794
- Саша – см. Семенова Александра
- Свердлов I – 823; II – 60
- Светличный Иван I – 596;  
II – 42, 53, 697
- Светлов Михаил Аркадьевич III – 40
- Светлова Наталья II – 154, 156, 160, 161; III – 543
- Свифт I – 66
- Свободин Александр III – 86
- Сева – см. Багрицкий Всеволод
- Седов Л. И. I – 233
- Селассие Хайле II – 258
- Семенов Алеша I – 46, 118, 248, 704; II – 9–11, 21, 23, 29, 43, 47, 48, 54, 79, 81, 89, 99, 100, 104–108, 110, 115, 116, 131, 133, 141, 156, 193, 194, 217, 222, 253, 269, 345, 352, 367–370, 373, 375, 380, 381, 395, 474, 480, 553, 565–567, 572, 573, 575, 579, 581, 582, 585, 592, 593, 599, 609, 613, 619, 621, 624, 627, 663, 665, 668, 669;  
III – 21, 27, 28, 72, 77, 89, 90, 92, 125, 220, 221, 225, 253, 265, 267, 269, 272, 273, 301, 302, 304, 314, 316, 317, 366, 374, 397, 400, 454–456, 461, 494, 564, 570, 588, 736, 793, 799, 850, 858, 863
- Семенов Иван Васильевич  
II – 11, 668; III – 77, 83, 124
- Семенов Николай II – 791

- Семенова (депутат) III – 649
- Семенова Александра II – 627;  
III – 37, 104, 313, 564
- Семенова Катя II – 222, 369, 380,  
572, 575
- Семенова Лиза – *см.* Алексеева  
Лиза
- Семенова Мария Павловна  
II – 697; III – 149, 150, 860
- Семенова-Янкелевич Татьяна – *см.*  
Янкелевич Таня
- Семеновские I – 794
- Семичастный I – 343, 525, 527
- Сербин I – 423
- Сербский II – 435, 819
- Сергей – *см.* Сахаров Сергей  
Иванович
- Сергей Иванович – *см.* Вавилов  
Сергей Иванович
- Сергиевский I – 23
- Сергиенко II – 697
- Серебров Феликс II – 579;  
III – 153, 154, 156, 167, 168, 753,  
754, 759
- Сережа (муж Ирины Кристи)  
III – 235, 239
- Сережа – *см.* Ковалев С. А.
- о. Серж III – 619
- Сетон-Томпсон I – 66
- Сименон Ж. I – 628
- Симонов II – 752
- Симис Д. – 692, 693
- Синай I – 113
- Синявский А. I – 597, 598, 602, 613,  
879; II – 659, 746, 756, 788
- Сиротенко Елена II – 407
- Скарятин II – 764
- Скворцов I – 801
- Скеппенс II – 394; III – 306
- Скобелев I – 13, 767
- Скобельцын Дмитрий  
Владимирович I – 649, 881; II –  
791
- Скородинская III – 76
- Скотт Вальтер II – 748
- Скрябин (композитор)  
I – 23–25
- Скрябин Г. К. II – 560, 620, 652;  
III – 49, 51, 61, 164, 488, 726,  
848
- Скубур Катя I – 522
- Скурлатов I – 595, 596
- Славский Ефим Павлович  
I – 360, 469–471, 486, 490, 494,

- 501, 503–513, 598, 606, 623, 624,  
626, 627, 638, 648, 874, 881; II –  
54, 64–66;  
III – 92, 473, 784
- Слепак Владимир I – 742;  
II – 328, 329
- Смагин Борис I – 260, 261, 267, 866
- Смирнов Алексей II – 639, 645,  
646;  
III – 38, 45, 46
- Смирнов В. И II – 61, 693
- Смирнов Е. Н. I – 340
- Смирнов Л. В. I – 467
- Смирнов Л. Н. I – 711, 888
- Смит I – 209
- Смит Хедрик II
- Смоленцев Е. А. II – 410, 817
- Смрковский I – 634
- Снайдер I – 284
- Снегов I – 366
- Снежневский II – 46, 68
- Снежницкий II – 499, 500, 606;  
III – 16, 193
- Соболь Ричард III – 13
- Собянин Александр III – 610
- Сокирко II – 707
- Соколов И. И. I – 822
- Соколов С. И. II – 137;  
III – 184, 185, 247, 249–251, 260,  
269, 270, 274, 285, 286, 343,  
393–397, 420, 797, 798
- Соколов С. Л. III – 782, 785
- Сократ I – 659
- Солженицын Александр Исаевич  
I – 46, 256, 618, 629, 634, 636,  
637, 639, 662, 665, 696–698, 715,  
723, 761, 890; II – 58, 62, 69,  
95–97, 112, 116, 117, 121–123,  
129, 147–151, 153–158, 160–168,  
196, 250, 258, 292, 794;  
III – 541–543, 548, 553, 843
- Соломенцев III – 637
- Солонин П. II – 68
- Софиано Алексей Семенович  
I – 13, 15, 40–41, 767–772, 782
- Софиано Алеша I – 775, 782
- Софиано Анна Алексеевна – см.  
Гольденвейзер Анна Алексеевна
- Софиано Антонина Михайловна  
(урожд. Фальковская) I – 775, 776
- Софиано Владимир Алексеевич I –  
13, 40–41, 57, 771, 774, 775, 778
- Софиано Евгений I – 40–41, 57,  
775–778

- Софиано Евгения Николаевна  
I – 775
- Софиано Екатерина Петровна  
(урожд. Чурилова)  
I – 40–41, 770, 771
- Софиано Зина I – 775, 782
- Софиано Зинаида Евграфовна  
(урожд. Муханова) I – 13, 14,  
40–41, 57, 766, 771, 772, 775,  
776, 781, 782
- Софиано Константин Алексеевич  
I – 13, 40–41, 58, 772, 776,  
778–780
- Софиано Мария Владимировна  
(урожд. Понофидина) I – 779
- Софиано (Софианос) Николай  
Петрович I – 768, 769
- Софиано Николай Семенович I –  
772, 782
- Софиано (Софианос) Петр (Петрос)  
I – 768, 769, 780
- Софиано Татьяна I – 13, 40–41, 58,  
59, 516, 776, 778, 780–782
- Софиано Юрий I – 57, 58, 778
- Софианос I – 767
- Софианос Анастасио – 769
- Софианос Иосиф – 769
- Софианос Марулио – 769
- Софианос Родоес I – 766, 768, 769,  
825
- Софроницкий I – 25
- Софья Васильевна – см.  
Каллистратова Софья  
Васильевна
- Спарре Виктор II – 253
- Спенсер Вильямс I – 781
- Сперанский II – 769
- Спивак I – 113
- Спитцер I – 328
- Спок III – 358
- Сретенский I – 92
- Сталин I – 38, 39, 55, 59, 77, 80,  
94–96, 106, 123, 129, 142, 148,  
178, 179, 183, 210, 212, 226, 250,  
268, 276, 302, 306, 358–361,  
370–372, 383, 388, 398, 414, 416,  
430, 439, 463, 464, 524, 582, 584,  
585, 592, 593, 623, 638, 654, 666,  
671, 727, 729, 743, 855; II – 21,  
271, 292, 340, 348, 397, 435, 455,  
514, 751, 752, 764;  
III – 243, 449
- Станкевич С. II – 787
- Старобинский А. А. I – 543

- Старовойтова Галина Васильевна  
III – 574, 579, 582, 584, 590, 593,  
684, 701, 705
- Стасив-Калынец Ирина  
II – 53
- Стейнбек I – 121
- Стеклов I – 681
- Стенхольм Улле II – 89, 102, 103,  
113, 153, 803
- Степанян А. II – 394, 399, 402, 408,  
410, 412, 413, 421, 817
- Стивенс Эдмунд III – 779
- Столярский III – 623
- Стоун Джереми II – 361, 474, 602;  
III – 106, 143, 144, 462, 473, 477,  
509
- Строкатая Н. II – 53, 802
- Стус Василь II – 53, 191, 339, 536,  
638, 815
- Стучинский II – 159
- Суворов I – 63, 64
- Сударшан I – 299
- Суконщикова III – 75
- Суок-Олеша Ольга Густавовна II – 9,  
629; III – 82
- Суперфин Габриэль II – 128, 138,  
139, 697
- Суслов Михаил Андреевич  
I – 415, 452–455, 526, 600; II –  
243, 668;  
III – 525
- Сухарев III – 637, 670, 671
- Сухарто II – 179, 182, 828
- Сцилард Лео I – 229, 611;  
II – 533, 631;  
III – 562
- Сыркин II – 528;  
III – 109, 110, 112, 761
- Сытин И. Д. I – 799, 803
- Сыщиков II – 138–140;  
III – 393
- Т**
- Т. I – 732, 750–754, 891;  
II – 10
- Тавхелидзе А. Н. I – 563;  
III – 667
- Такибаев Джабага I – 165
- Таксар Тамара I – 163
- Таксар Шура I – 163, 164;  
II – 265, 266
- Тамвакис I – 563
- Тамм Женя I – 285

- Тамм Игорь Евгеньевич  
 I – 22, 109, 110, 112, 147, 148,  
 156, 158–160, 164, 168–170,  
 173, 177, 180–182, 184, 185,  
 188, 189, 205, 211, 214, 216, 218,  
 220, 221, 231, 232, 234, 236,  
 238–240, 243, 264, 267–269,  
 271–289, 294, 295, 299, 310,  
 312, 316–318, 322, 323, 329,  
 354, 361, 366, 384, 385, 387,  
 394, 395, 397, 400, 403, 437,  
 510, 519–521, 525, 610, 649,  
 678, 679, 719, 723, 860, 866,  
 867, 881;  
 II – 39, 100, 146, 175, 640, 641,  
 790;  
 III – 420, 812
- Тамм Наталья Васильевна  
 I – 274, 287
- Таня – см. Сахарова Таня,  
 Якушкина Татьяна, Янкелевич  
 Таня
- Тараки II – 451
- Тараховская Наталья (урожд.  
 Софиано) I – 779
- Тараховский Константин  
 I – 779
- Таршис Иосиф Аронович – см.  
 Пятницкий И. А.
- Татьяна – см. Софиано Татьяна,  
 Якушкина Татьяна, Янкелевич  
 Таня
- Твардовский А. I – 676;  
 II – 751;  
 III – 183
- Твен Марк I – 66
- Твердохлебов А. I – 596, 695, 696,  
 734, 738;  
 II – 45, 98, 134, 238, 275,  
 277–279, 287, 290–292, 349, 399,  
 692, 693, 813;  
 III – 45
- Твердохлебова Сара Юльевна II –  
 349
- Теллер Эдвард I – 224–229, 448; III  
 – 54, 431, 561, 562
- Тельников I – 703, 711
- Тенцинг I – 285
- Теплиц I – 84
- Теразава Хидецуми I – 574
- Теребилов II – 250
- Терентьев I – 167
- Терехов II – 15, 16
- Терлей I – 550

- Терлецкий Я. П. I – 339, 718, 868, 889
- Терляцкас Антанас II – 248
- Тер-Мартиросян I – 290
- Тернер I – 563; II – 547
- Терновская Александра Ивановна I – 790
- Терновский Алексей Петрович I – 790
- Терновский Леонард I – 725, 888; II – 638
- Терновский Петр Алексеевич I – 786, 787
- Тетенов II – 221
- тетя Валя – см. Сахарова Валентина
- тетя Женя – см. Сахарова Евгения Александровна
- тетя Таня – см. Якушкина Татьяна
- тетя Туся – см. Софиано Татьяна
- Тимашук Лидия I – 358; III – 88
- Тимирязев I – 111
- Тимофеев-Ресовский Н. В. I – 527–529, 876; III – 524
- Тимур II – 54
- Тито Иосип Броз I – 659; II – 14, 364, 801
- Титов I – 479
- Тихий Алексей (Олекса) II – 191, 319, 339, 341, 343, 700, 815, 816
- Тихонов (член политбюро) II – 477
- Тихонов А. Н. I – 87; II – 652; III – 61, 164, 726
- Тихонов В. А. III – 630, 690, 823, 827
- Толпежников III – 649
- Толстикова II – 749
- Толстой А. К. II – 770
- Толстой Лев Николаевич I – 18, 19, 29, 67, 772, 804, 854; III – 194, 243, 396, 420, 811, 834
- Толченов III – 145, 258
- Толь II – 747
- Тольц III – 38
- Тольятти II – 14, 802
- Толя – см. Марченко Анатолий, Щаранский Анатолий
- Томар – см. Фейгин Томар
- Томонага I – 192
- Торн I – 535
- Трапезников Сергей Павлович I – 619, 654, 666–669; II – 92, 93



- Трейман I – 563  
 Триоле Эльза III – 836  
 Трепов Д. Ф. I – 799  
 Троицкий – II – 742  
 Троцкий I – 142; II – 13, 742  
 Трошин III – 181, 188, 344  
 Трумэн I – 209, 222  
 Трутнев I – 403  
 Тувин Юрий II – 223  
 Туманов Кот II – 739, 741, 758–760  
 Туманский Гриша II – 263  
 Тумерман Алексей II – 43, 79, 692, 693  
 Туполев Андрей Николаевич  
     I – 392, 463, 464;  
     II – 30, 38–41  
 Тургенев Александр Иванович  
     II – 766  
 Тургенев II – 18, 802  
 Туровский II – 741, 742  
 Турчин В. Ф. I – 326, 641, 651–653, 662, 663, 665, 668, 713, 828, 883; II – 112, 119, 120, 238, 246, 275, 277–279, 311; III – 437  
 Турчина Таня I – 663  
 Туссант I – 563  
 Туся – см. Софиано Татьяна  
 Тучкевич II – 763  
 Тынянов II – 734  
 Тырков Аркадий I – 794  
 Тырков В. I – 794  
 Тыркова Ариадна I – 794  
 Тэйлор I – 233  
 Тэтчер Маргарет III – 413, 480, 560, 806  
 Тютин Игорь I – 167  
 Тютчев II – 786  
 Тягунов III – 584
- У**
- Убожко Лев I – 698–700, 887, 888  
 Уилер Джон I – 535, 643;  
     II – 100; III – 482, 483  
 Ульмер I – 45  
 Ульянов (артист) III – 605  
 Ульянов Владимир – см. Ленин В. И.  
 Ульянов-Ленин В. – см. Ленин В. И.  
 Уманский Гриша I – 49–51, 114  
 Уманский Изя I – 50  
 Умеров III – 492  
 Уорд I – 192  
 Уотсон I – 434

Усова Софья Ермолаевна

I – 793–795, 805

Устинов Д. Ф. I — 463, 466, 467;

II – 682, 820;

III – 770

Устинов Питер III – 479

Ушинский I – 800

Уэллс I – 66, 585

## Ф

Фабрикант В. А. I – 171

Фаддеев Людвиг II – 785

Фадеев II – 210, 233, 234

Файбишенко I – 531

Файнберг В. Я. II – 570; III – 411,  
616

Файнберг Виктор I – 633, 640, 712,  
715, 716, 721–724, 889

Фалин III – 514–517, 525

Фаллада II – 183

Фарж Ив I – 359, 360

Фаулер К. I – 343

Федоренко II – 697

Федоров (сосед) III – 364

Федоров Е. К. (бывший папанинец)  
I – 510; II – 475

Федоров Юрий I – 703, 704, 706,  
710; II – 638, 697

Федорчук В. В. II – 718, 860

Федотов А. И. III – 818

Фейгин Роза II – 352

Фейгин Томар

II – 184, 193, 331–333, 351–353,  
567 579

Фейгин Шмуул II – 352

Фейнберг Евгений Львович

I – 178, 273, 283, 286, 288, 555,  
678, 679, 860, 867 881; II – 99,  
144, 790, 791;  
III – 51, 58, 91, 111, 112, 114,  
197, 406, 483, 554

Фейнман I – 181, 190, 192, 264, 281,  
291, 299

Феликс – см. Красавин Феликс

Фельдман Лена I – 359

Феодоритов В. П. I – 484, 485, 874

Феоктистова Екатерина Алексеевна  
I – 336, 340, 404, 408

Ферми I – 218, 219, 221

Фешбах Герман II – 694; III – 455

Фибоначчи II – 554

Филатов Владимир Петрович  
III – 75

- Филатова Маргарита (Марина)  
Владимировна  
II – 662; III – 84, 85, 859
- Финкельштейн Эйтан I – 742;  
II – 239, 240
- Финляндская III – 75
- Фитч I – 550
- Фицнер Владимир Сергеевич  
I – 780
- Фишер I – 654, 655
- Фишман Д. А. I – 353, 485
- Флора (жена М. М. Литвинова-мл.)  
III – 241
- Фок Владимир Александрович  
I – 655, 656, 661;  
II – 538
- Фолкнер II – 512
- Фомин П. Ф. I – 488
- Фонтанов Андрей I – 784
- Фрадкин Е. С. I – 165–167, 193;  
III – 407, 616
- Франк (физик) I – 196, 198–200
- Франк Барни III – 13, 14
- Франк-Каменецкий Давид  
Альбертович I – 246, 247, 252
- Франклин II – 539
- Франко I – 710
- Франциск Ассизский III – 619
- Фреззотти Ренато  
II – 222, 238, 353, 389, 394;  
III – 306, 737
- Фрейденберг Ольга II – 529;  
III – 859
- Френкель I – 105, 106
- Френч I – 192
- Фридман Александр I – 534, 536,  
537, 540, 570; III – 529
- Фролов III – 510
- Фукс Клаус I – 214, 391
- Фурсов I – 112, 113
- Фурцева I – 451, 469;  
III – 374
- Фучик III – 20, 427
- Х**
- Х. – см. дядя Веня
- Хаббл I – 534, 535, 537, 538, 547
- Хаиров Рустем III – 503, 504, 512
- Хайдер II – 790
- Хайкин С. Э. I – 718
- Хайновская Надя II – 651
- Хайновские II – 558–560, 590, 614,  
623, 651; III – 198

- Хайновский Юрий II – 558, 623,  
651
- Хаммер Арманд III – 478, 479, 509
- Ханджян Агаси I – 370;  
II – 14
- Хандлер Филипп II – 124, 474
- Ханин Г. II – 790
- Ханютин Алеша II – 748
- Харди Фрэнк I – 390; II – 785
- Харитон Юлий Борисович  
I – 179, 207, 239, 241, 245, 261,  
293, 298, 307, 308, 341, 356, 357,  
374, 375, 395, 397, 401, 404, 405,  
408, 411, 414, 415, 422, 428, 430,  
454, 463, 471–473, 479–481, 485,  
494, 495, 496, 500, 505, 514, 620,  
621, 623, 627, 694, 695, 864;  
II – 578; III – 557
- Харкевич Нина Адриановна  
II – 202, 205, 232, 233, 238;  
III – 60, 305, 620
- Хартли III – 484
- Хартман Артур III – 143, 731
- Хаттер III – 308, 318, 401, 417
- Хау Джеффри III – 480, 481
- Хаустов Виктор I – 597, 733;  
II – 128, 138, 139
- Хачатурова Тамара I – 636, 665
- Хейг II – 598
- Хенкин Кирилл I – 74, 655;  
II – 126, 806
- Хиггс I – 563
- Хиллари I – 285
- фон Хиппель III – 462, 476, 477
- Хлопов М. Ю. III – 502
- Хнох II – 568
- Ходасевич III – 17
- Ходорович Сергей II – 620, 639;  
III – 44
- Ходорович Татьяна I – 693;  
II – 52, 133, 134, 186, 434, 692,  
693, 810
- Холовей Д. I – 214
- Хомейни II – 182, 788;  
III – 584
- Хоукинг Стивен  
III – 483–485
- Хофт I – 568
- Хохлов Р.В. II – 95, 367, 368, 668,  
760
- Хриплович И. I – 167
- Хрущев Никита Сергеевич  
I – 276, 329, 361, 365, 369, 383,  
407, 439, 440, 446, 449, 451,

- 456–460, 462–469, 471, 473–482, 486, 494–496, 506, 507, 508, 512, 513, 524–527, 592, 622, 657, 671, 681, 729;  
II – 37, 200, 341, 342;  
III – 21, 447, 473, 515, 516
- Хрущева Рада I – 525
- Ху Яобан III – 683
- Хуа Гофен II – 702
- Хьюмансон I – 534, 535, 537, 538, 547
- Ц**
- Цвейг I – 291, 574
- Цвигун II – 471, 477
- Цезарь I – 22; II – 618
- Цейтлин А. А. III – 407, 411
- Цейтлин Яша I – 114, 164, 860
- Циля – Цецилия Ефимовна Дмитриева (1899–1982)  
III – 300
- Цингер (популяризатор)  
I – 85
- Цингер Олег (художник)  
I – 85
- Циолковский I – 393
- Цирков Георгий I – 336, 598
- Цитленок Б. II – 692
- Цубербиллер О. Н. II – 742
- Цукерман В. А. I – 408;  
II – 90
- Цукерман Саша II – 90, 91
- Ч**
- Чаадаев II – 746, 792
- Чавчанидзе Володя I – 165;  
II – 30;  
III – 61
- Чазов Евгений Иванович  
III – 287, 288, 358
- Чайковская О. Г. III – 636
- Чаковский Александр II – 89, 102, 827;  
III – 205, 442
- Чалидзе Валерий I – 670–672, 674, 675, 680, 683–686, 691, 693–698, 700, 706, 707, 711–713, 720, 732–734, 736–738, 889;  
II – 15, 44, 53, 57, 58, 89, 95–98, 101, 149, 216, 266, 267, 276, 433, 581, 692, 693, 694, 695;  
III – 66

- Чвилева Александра I – 336  
Че Гевара I – 702  
Чебриков Виктор Михайлович  
III – 665, 685, 687, 782–784, 797,  
813–815  
Челноков М. В. I – 802  
Чень Дун III 683, 684  
Червонопиский III – 678  
Черенков П. А. I – 560  
Чернавский Д. II – 266  
Черненко К. У. III – 114, 515, 738,  
762  
Черниченко Ю. Д. III – 690, 827,  
872  
Чернобыльский Борис  
III – 507, 558  
Чернов I – 659  
Черновол II – 53  
Чернышев Владимир  
Константинович I – 340, 342  
Чернышевский I – 186, 535  
Черчилль I – 208  
Чесноков I – 359  
Чижов I – 794  
Чехов А. П. I – 799, 806  
Чирковский III – 75  
Чудновский Г. I – 147, 860  
Чудновский Д. I – 147, 860  
Чуковская Лидия Корнеевна II –  
112, 121–123, 391, 590, 598, 600,  
608, 619, 692, 693; III – 58, 59,  
241  
Чуковский К. И. I – 65;  
II – 121  
Чупров Юрий Петрович  
II – 473, 482–485  
Чурилов Петр Борисович  
I – 771  
Чурилова Надежда Петровна  
I – 772
- Ш**
- Шабад Анатолий III – 610, 615,  
616, 706  
Шабалин II – 296  
Шабат Б. В. I – 217  
Шагал III – 612  
Шаймухамедов Рафкат II – 446,  
447  
Шальников I – 235  
Шамин Толя III – 148  
Шамина Регина III – 136, 148, 149  
Шапиро (физик) I – 442

- Шапиро З. (жена И. М. Гельфанда)  
 I – 482
- Шаповаленко III – 703, 704
- Шапошников М. Е. I – 563, 568
- Шаскольская I – 88
- Шафаревич Игорь Ростиславович  
 I – 61, 714, 715, 740;  
 II – 98, 99, 121, 331, 692, 693,  
 746
- Шахмагонов I – 634–636
- Шаховские I – 801
- Шаховской Д. И. – 805
- Шварц I – 781
- Шварц Л. III – 487
- Швейский II – 281
- Швейцер Альберт I – 442; II – 237
- Швейцер Михаил I – 79
- Швингер Юлиан I – 170, 192, 264;  
 II – 538
- Шеварднадзе Э. II – 536, 537;  
 III – 482, 640, 666, 782, 784
- Шевелев Я. В. II – 780
- Шевченко Тарас II – 42
- Шевчук А. К. II – 728
- Шейнин Лев II – 303, 662;  
 III – 73, 79–81, 83
- Шейсон Клод III – 779
- Шекспир I – 67;  
 II – 737, 750, 780, 781, 788
- Шеллапутин Павел Григорьевич  
 I – 821
- Шелков Владимир Андреевич  
 I – 17;  
 II – 191, 394, 415–419, 480, 639,  
 818, 819
- Шеннон I – 294
- Шепилов I – 413, 468, 874
- Шинберг Эмиль II – 478, 481;  
 III – 100, 102, 116, 200, 201, 294,  
 295, 299, 416
- Ширак Жак III – 413, 480, 481, 486
- Ширков Дмитрий Васильевич  
 I – 268, 293, 294
- Ширшов I – 251, 252
- Ширяева I – 300, 301
- Сих Юра – см. Шиханович Юра
- Шиханович Юра II – 34, 35, 52, 53,  
 71–75, 498, 499, 586, 620, 646,  
 692, 802, 803, 820; III – 38, 41,  
 45, 58, 64, 69, 100, 103–105,  
 193, 200, 201, 523, 660, 849, 858,  
 872
- Шкловский Виктор Борисович  
 II – 204; III – 306, 836

Шкловский Иосиф  
I – 107;  
II – 84  
Шмелев III – 615, 630, 634, 690,  
692, 693, 698, 699  
Шмидт (лейтенант) I – 107  
Шмидт Гельмут I – 749, 750;  
II – 423, 577, 584, 585, 597  
Шмуклер Ю. II – 692, 693  
Шнирельман II – 785  
Шолохов М. I – 598, 636, 879  
Шопен I – 23, 773, 774  
Шостакович Д. I – 24  
Шпольский Э. В. I – 35  
Шрагин Б. II – 112, 121  
Шриффер I – 293  
Штейнгауз I – 248  
Штерн II – 338, 697  
Шубин I – 274  
Шубинский I – 793  
Шувалов И. И. II – 736, 772  
Шувалов Николай Николаевич  
II – 473, 482, 765, 766, 768, 769  
Шульц III – 560  
Шуман I – 23  
Шумилин II – 390, 430, 431  
Шумук II – 53

## Щ

Щаранский Анатолий  
I – 331, 742;  
II – 319, 337, 338, 380, 385–388,  
425, 520, 537, 592, 638, 817;  
III – 35, 39–41, 353  
Щаранский Леня II – 387;  
III – 41, 200  
Щелкин Кирилл Иванович  
I – 261, 356, 357, 401, 494  
Щелоков I – 730, 731; II – 330  
Щербаков I – 358

## Э

Эванс III – 770  
Эд – см. Клайд Эд  
Эдик – см. Кузнецов Эдуард  
Эйдельман II – 33; III – 256  
Эйзенхауэр I – 510, 512  
Эйкинс III – 313, 314, 319, 401  
Эйлер I – 70  
Эйнштейн I – 161, 171, 319, 536,  
537, 556, 557, 572, 611; II – 100,  
543, 734; III – 485  
Эйхе I – 370



Элсберг Дэниел III – 479, 480  
Эльсгольц I – 88  
Эмануэль I – 647  
Эмиль – см. Шинберг Эмиль  
Энгельгардт В. А. I – 518–522, 525;  
II – 790, 791  
Энгельман II – 583  
Энгельс I – 90, 148  
Эренбург I – 468, 585;  
II – 752  
Эренфест II – 734  
Эрколи-Тольятти – см. Тольятти  
д'Эстен Жискар  
II – 394, 421–423, 829  
Этвеш I – 557  
Этингер Евгения III – 79  
Этингер Регина II – 12, 27, 28, 228,  
295, 302, 304, 479, 553;  
III – 12, 79, 103, 124, 149

## Ю

Ю. Б. – см. Харитон Юлий  
Борисович  
Юдин III – 544, 545  
Юкава I – 185, 187  
Юла – см. Закс Юла

Юлий Борисович – см. Харитон  
Юлий Борисович  
Юра – см. Шиханович Юра  
Юрий – см. Орлов Юра, Сахаров  
Георгий Дмитриевич, Сахаров  
Георгий Иванович  
Юрский Сергей II – 750

## Я

Я. Б. – см. Зельдович Яков  
Борисович  
Яблоков А. В. III – 603, 690, 695,  
871  
Явлинский I – 503  
Яглом Акива I – 81, 210, 292  
Яглом Исаак I – 81  
Ягода I – 56, 818, 819  
Якир Иона II – 64  
Якир Петр I – 593, 693, 695; II – 45,  
53, 54, 62–65, 67–70, 803  
Якобсон Анатолий I – 693;  
II – 52  
Яков Борисович – см. Зельдович  
Яков Борисович  
Яковлев (авиаконструктор)  
I – 463, 464